

ДИОН

ТЕЙХТВАНГЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1968

ФЕИХТ'ВАНГЕР

ИОН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией
А. Дышница, Б. Сучкова,
С. Тураева и А. Чаковского*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1968

Ф. ИОН ЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

МУДРОСТЬ ЧУДАКА
РАССКАЗЫ

ПЕП
СТАТЬИ

Переводы с немецкого

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1968

LION FEUCHTWANGER

NARRENWEISHEIT
ODER
TOD UND VERKLÄRUNG DES
JEAN — JACQUES ROUSSEAU

Roman
1952

ERZÄHLUNGEN
PER
AUFSÄTZE UND KRITIKEN

Составитель
Б. СУЧКОВ

Примечания
С. ТУРАЕВА и Г. РАТГАУЗА

МУДРОСТЬ
ЧУДАКА,
ИЛИ
СМЕРТЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ЖАН-ЖАКА РУССО

Р О М А Н

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ — ЭТО МЕТЕОРЫ,
САМИ СЕБЯ СЖИГАЮЩИЕ, ДАБЫ
ОСВЕТИТЬ МИР.

Наполеон

Перевод

И. Горкиной и И. Горкина

Часть первая

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖАН-ЖАКА

Из слепых слепые — это сыны богов.
Ибо ведомо человеку, где строить свое жилище,
А зверю — свое логово.
Только неискушенным душам
Ниспослан изъяз,
Дабы не знали они пути своего.

Гельдерлин

Глава первая

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ

После завтрака, как всегда по утрам, мосье де Жирарден просматривал почту; читал он без особого внимания, больше — из чувства долга.

Вдруг лицо его оживилось, как от радостной неожиданности.

Неужели? Возможно ли? Мосье де Жирарден и надеяться не смел. Но сомнений быть не может, благая весть у него в руках: Жан-Жак приезжает! Вот здесь об этом сказано, друг Лебег пишет: высокочтимый муж, величайший из современников, Жан-Жак Руссо приезжает!

С письмом в руках мосье де Жирарден ходит из угла в угол, снова и снова его перечитывает.

Философия Жан-Жака глубоко проникла в жизнь мосье де Жирардена. Рене-Луи маркиз де Жирарден, граф де Вовре и де Брежи, сеньор Эрменонвиля и владелец ряда других поместий и недвижимостей, служил в Люневиле при дворе польского короля первым камергером и начальником лейб-гвардии. Он жил полнокровной жизнью, вызывавшей всеобщую зависть. Но стоило ему примерно лет двенадцать назад познакомиться с творениями женевского гражданина Жан-Жака — и он увидел всю тщету своей жизни; подобно многим другим, ему открылся смысл суще-

ствования. Цивилизация растлила мир; кто хочет освободиться от мучительного чувства опустошенности, должен вернуться к простоте, к природе. И маркиз покинул двор в Люневиле, решив отныне строить свою жизнь в духе учения Жан-Жака. Он отстаивал политические новшества, которые проповедовал учитель в своей книге «Общественный договор», он воспитывал своего сына и наследника Фернана по принципам, провозглашенным Жан-Жаком в его педагогическом романе «Эмиль», а в своем поместье Эрменонвиль он точно воспроизвел ландшафт, описанный Жан-Жаком в любовном романе «Новая Элоиза».

Сам Жан-Жак вот уже много лет снова жил в Париже, приговоренный правительственным указом к изгнанию, терпимый по молчаливому согласию. Сблизиться с великим учителем, обмениваться с ним мыслями, беседовать — было заветным желанием мосье де Жирардена. Но Жан-Жак отличался нелюдимостью, маркизу привелось лишь однажды, несколько лет назад, посетить его.

И вот разнесся слух, что Жан-Жак, утомленный многочисленными тяготами парижской жизни, ищет спокойного пристанища в сельской обстановке. Мосье де Жирарден в сердечном и почтительном письме предложил ему свое гостеприимство, а доктора Лебега, их общего друга, просил в должном свете представить Жан-Жаку все преимущества Эрменонвиля. Но многие высокопоставленные господа оспаривали честь принять у себя Жан-Жака; маркиз знал об этом и почти не надеялся на успех. И вот выбор учителя все же пал на него.

Ему хотелось тотчас же поделиться с Фернаном огромным счастьем, которое ожидало замок Эрменонвиль. Но он не разрешил себе этого. В его сердце жили свободолюбивые идеи Жан-Жака, однако годы военной службы выработали в нем привычку к дисциплине, строгое чувство долга. После завтрака следовал обход владений. Так у него издавна заведено, ничего не изменит он и в это утро. Он отложил радостный разговор с сыном.

Мосье де Жирарден — высокий, сухощавый человек лет пятидесяти — надел плоскую шляпу с узкими полями и взял в руки длинную гибкую трость с золотым набалдашником. Так, по-сельски просто одетый, в долгополом кафтане и коротких сапогах, он вышел из дому. Немногочисленная свита тотчас же присоединилась к нему: управляющий, старший садовник, один из слуг.

Ежедневный обход парка принадлежал к излюбленным занятиям Рене де Жирардена. А сегодня, представляя себе в этих садах Жан-Жака, от присутствия которого они обретут высший смысл, он с удвоенной радостью совершал свой обход.

Мосье де Жирарден на основе учения Жан-Жака написал обстоятельный труд «Руководство по архитектуре ландшафта», а парк, разбитый вокруг замка, являлся претворением в жизнь его теорий. В противоположность вымеренным, подстриженным садам Версаля, Эрменонвильский парк призван был возбуждать в душе человека, гуляющего по его аллеям, повышенное ощущение близости к природе. К природе во всем ее многообразии. Бархатистые лужайки, дремучие чащи, стремительный водопад, смиренный ручей и меланхолически очаровательное озеро, величественный, суровый горный пейзаж и прелестная долина — все было собрано в этом парке, и гуляющий мог по желанию выбрать себе пейзаж, который отвечал бы его настроению. Были здесь и уголки, напоминавшие о прошлом, о вечном. Тут и там разбросанные небольшие храмы или руины приводили на память великую эпоху Греции и Рима, а вырезанные на спинках скамей, на стволах деревьев или выгравированные на колоннах всякого рода классические и современные изречения говорили о связи всех этих памятных мест с историей духа.

В этот мир маркиз погружался изо дня в день, внимательно приглядывался ко всему, оценивал. Многое он уже осуществил; но то и дело обнаруживал недостатки, находил в завершенном несоответствие с задуманным, и это служило источником вечных терзаний и ежедневных радостей. Жестом полководца он взмахивал длинной, гибкой тростью и отдавал приказания садовникам и строителям, легонько дотрагиваясь до предмета, о котором шла речь, или похлопывая по плечам своих людей. «Отец Колотушка» называли своего добродушного и деспотического хозяина его работники. Сегодня его взгляд был еще придирчивее, чем всегда, его энергия еще напористей, ибо ему предстояло отдать свое детище на суд Жан-Жака.

Он шел по берегу небольшого озера; в иллюзорной дали высился на холме миниатюрный храм, Храм философии. Мосье де Жирарден пересек приветливые мирные луга с пасущимися стадами, вышел на Аллею грез и по лесной тропинке поднялся к суровым Скалам уединения. Полно-

бывался открывавшейся отсюда широкой красочной панорамой. Он был уверен: этот мир, созданный его руками, выдержит испытание перед взором судьи, сотворившего его в своих мечтах.

И какое милосердное провидение подсказало ему, Жирардену, три недели назад идею построить шале, швейцарскую хижину. Маркиз направился к строительной площадке. Да, работы шли хорошо. Жан-Жаку некоторое время придется пожить в Летнем доме, но потом он сможет переселиться в хижину. Она строилась на пологом склоне, покрытом лугами, а за лугами шумела почти нетронутая человеческой рукой зеленая густая роща. Это были кущи «Новой Элоизы». Кларанский рай. Жан-Жак будет жить в окружении такой же природы, среди которой живут герои его немеркнувшего творения — Сен-Пре и Юлия.

Маркиз закончил обход. Теперь он мог доставить себе огромную радость: сообщить сыну о предстоящем приезде Жан-Жака.

Он послал за сыном. Фернан пришел. Семнадцатилетний Фернан, носивший как наследник эрменонвильского сеньора титул графа Брежи, был одет еще проще маркиза: вместо полагающегося роскошного кафтана и золотом расшитого камзола на нем была открытая рубашка.

— Граф Фернан, — торжественно произнес отец, обращаясь к вопросительно глядевшему на него сыну. — Радостная весть! Приезжает наш друг и учитель Жан-Жак. Отныне он будет жить в Эрменонвиле.

Черные большие глаза юноши вспыхнули таким восторгом, что отец умилился.

— Ну, мой мальчик, скажи, хорошо я все это устроил? Угодил я тебе? — сказал он, стараясь шутливым тоном прикрыть свое волнение.

Фернан ответил с трудом, растроганным голосом:

— Благодарю вас, батюшка. Благодарю, благодарю!

И он убежал в лес, начинавшийся там, где кончались сады. В лесу была укромная лужайка, куда он прибегал, когда чувствовал потребность справиться с каким-нибудь переживанием. Он бросился в мох под старой сосной, его закадычным другом. Отдался своим мыслям.

Да, отец хорошо все это устроил. Но если Жан-Жак решил приехать, так это великий триумф самого Фернана. Ведь Жан-Жак, — хотя это, конечно, глубокая тайна, — его друг. Когда в Париже отцу посчастливилось

проникнуть в дом нелюдимого философа, он взял с собой и Фернана. Они привезли ноты, чтобы отдать их Жан-Жаку в переписку. Это была одна из причуд учителя: не желая превращать свою философию в источник существования, он предпочитал зарабатывать на жизнь ремеслом — перепиской нот. И вот там, в скромно обставленной квартире на улице Плятриер, на пятом этаже, Фернан очутился перед щедедушным человеком: он погрузил свой взгляд в глаза, в которых были бог и правда, он был потрясен простотой величайшего из современников. И тогда он набрался смелости и заговорил. Сказал, что ранняя редакция небольшой оперы Жан-Жака «Деревенский колдун» нравится ему больше, чем новая, в которой она идет теперь на сцене Парижской оперы. Но Жан-Жак улыбнулся мудро, мягко и горько и ответил, что молодой человек, может быть, и прав, в новой редакции немало украшенного и искусственного, но есть свои соображения, почему опера ставится в этой редакции. Потом Фернан — именно он, как было условлено, а не отец — пришел вторично за переписанными нотами, и опять Жан-Жак говорил с ним. И разрешил ему прийти в третий раз. Да, три раза беседовал Фернан с учителем. Нет сомнений, если Жан-Жак приезжает теперь в Эрменонвиль, то не ради отца: он приезжает к нему, Фернану.

Сердце готово было выскочить у него из груди от радости, он выпускал ликующие крики, а на лужайке было чудесное эхо. Он кричал: «Жан-Жак! Слышишь, лес, мы увидим Жан-Жака!» Он кричал: «Добро пожаловать, Жан-Жак!» — и «Жан-Жак! Жан-Жак!» — стократно вторило эхо.

Но ему мало было поделиться своей радостью с деревьями. Они не понимали, что Жан-Жак приезжает к нему, к нему! Он должен открыть свою гордую тайну человеку, который поймет его.

Он поскакал верхом в замок Латур, к своей подруге Жильберте. Поскакал, как был, в открытой рубашке, без парика, его темные волосы развевались на ветру. Долговязый, худой юноша с крупным характерным носом на костистом лице, с большим адамовым яблоком на длинной шее был некрасив, но черные одухотворенные глаза делали его красивым.

Прискакав в замок Латур, он тотчас побежал к Жильберте. Он нашел ее в обществе английской гувернантки,

танцмейстера и воспитательницы. Жильберта была в бальном платье и брала урок танцев.

Жильберта Робинэ де Латур была незаконной дочерью очень богатого господина из новых дворян и безвестной актрисы. Родители ее умерли рано, опеку над ней взял дед. Владелец огромного состояния, генеральный откупщик податей Робинэ, привязался к ребенку; он удочерил Жильберту и сделал ее наследницей всего своего состояния. Фернана и Жильберту связывала тесная дружба. Маркиз не одобрял сближения сына с девушкой, принадлежавшей к второразрядной знати, да к тому же еще сомнительного происхождения. Ему неприятна была мысль о необходимости просить у короля разрешения на брак его первенца, ибо, если не будет согласия короля на этот неравный брак, граф Фернан и его потомство потеряют право на владение Эрменонвилем и на другие привилегии. Однако Жирарден подавил свое недовольство, не желая поступать вразрез с философией Жан-Жака. Но уж если он пошел на то, чтобы взять Жильберту в свою семью, он хочет принять участие в ее воспитании. О границах этого участия было много долгих споров с умным и насмешливым дедом Жильберты, генеральным откупщиком податей Робинэ. Фернан нравился Робинэ, и его забавляла возможность выдать свою незаконнорожденную внучку за отпрыска старинного аристократического рода; однако позволять кому-либо вмешиваться в ее воспитание он не желал. Он знал Руссо, находил его идеи интересной темой для беседы, но считал их утопическими и подтрунивал над преклонением Жирарденов перед человеком, который хотел бы всех превратить в канадских дикарей. Робинэ не возражал против того, чтобы Жильберта облачалась иной раз в крестьянское платье из грубой ткани, от случая к случаю разрешал ей прогуляться в замок Эрменонвиль пешком или поскакать туда верхом на лошади, в мужском костюме, амазонкой. А вообще-то как там ни восхищайся идеями Руссо, но Жильберта пусть ведет себя, как подобает молодой девушке из высшего круга.

Кроме того, в этом году ей предстояло вступить в свет, и мосье Робинэ пригласил учителей, чтобы обучить внучку сложному этикету, согласно строгим требованиям салонов и бальных зал.

Фернан застал ее как раз в момент, когда шел один из таких уроков. Ему показалось, что парижский бальный

туалет уродует рослую, свежую девушку; ее крупное, румяное, оживленное лицо было гораздо естественнее без пудры, а большой веселый рот намного красивее без мушек над ним. Но ему пришлось смириться с тем, что его подругу и любимую так вырядили. Ничего другого не оставалось, как с досадой усесть у стены, смотреть и ждать.

Жильберта по его лицу мгновенно поняла, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Она взяла на себя ответ перед дедом, склонилась в глубоком реверансе, которому ее только что обучили, сказала учителю танцев и воспитательницам:

— Простите, уважаемые дамы и господа, — повернулась спиной к растерявшимся наставникам, взяла Фернана под руку и повела в свой небольшой будуар.

Но выйти из роли светской дамы ей удалось не сразу. Она величественно опустилась на софу, а ему указала на маленький позолоченный стул. Так сидели они друг против друга, он — в своей открытой рубашке и грубошерстных штанах, она — в блестящем бальном туалете. Парча трогательно оттеняла ее плечи; густые темно-русые волосы, уложенные в высокую прическу над круглым, детским, несколько своевольным лбом, были обсыпаны пудрой.

— Что случилось, Фернан? — спросила она.

— Жан-Жак приезжает. Он теперь будет жить в Эрменвиле, — ответил юноша.

И тотчас же — он попросту не мог дольше сдерживать себя — выпалил всю свою гордую тайну. Рассказал, подчеркивая их значение, о трех парижских встречах с учителем, восклицал, торжествуя:

— Он приезжает ко мне! Жан-Жак приезжает! Приезжает ради меня!

Он не мог усидеть на своем позолоченном стульчике. Бегал из угла в угол. Восторженные фразы, обгоняя одна другую, слетали с его губ. Отец при всей широте и восприимчивости своей натуры выбрал в себя слишком много от растленных идей Версаля и Люневиля. Учение Жан-Жака нельзя написать на однажды уже исписанной бумаге. Только они, молодые, до конца понимают его замечательные, ясные и все же такие новые мысли и чувства. В английских колониях Америки, в этой молодой стране, борцы за свободу намерены претворить в жизнь принципы Жан-Жаковой философии. Если Жильберте и ему будет

позволено дышать одним воздухом с учителем, если им даровано будет неизъяснимое счастье ежедневно слышать его милый глуховатый голос, то это вольет в них такие силы, что они смогут вместе с другими строить новую Францию в духе Жан-Жака.

Жильберта слушала. Она прожила свои детские годы с матерью, актрисой, на ее долю выпало немало превратностей судьбы. От матери она унаследовала здравый практический ум, и от деда ей также приходилось слышать приправленные грубоватым юмором реалистические суждения. Ее глаза смотрели на мир трезвее, чем глаза Жирарденов, они лучше различали грань между грезой и действительностью. И, глядя, как Фернан, в своем вызывающе простом костюме, с прыгающим вверх и вниз кадыком на длинной обнаженной шее, неуклюже размахивая длинными руками, носится по изысканно обставленному будуару, она, разумеется, отлично видела комичность ситуации. Но она видела и мечтательные, устремленные вдаль глаза Фернана, его характерный нос с горбинкой, слышала его взволнованный голос, знала, что означает предстоящий приезд Жан-Жака для ее доброго, умного, смелого, горящего в огне адского честолюбия друга, и не улыбнулась этому безбрежному потоку восторгов.

Красноречие и обаяние Жан-Жака, чувства «Новой Элоизы» нашли отклик и в ней, она с величайшим любопытством и интересом ждала встречи с творцом этого произведения. И как это будет замечательно, если в Сен-Вигоре, поместье деда под Версалем, куда она поедет через некоторое время, она сможет рассказывать придворным кавалерам и дамам о своих беседах с величайшим писателем века.

Фернан предложил отправиться в Эрменонвиль и там, на лоне Жан-Жаковой природы, почитать вместе «Новую Элоизу», как они иногда это делали. Жильберта тотчас же согласилась.

Она переоделась, и теперь оба были в костюмах, гармонирующих с миром героев Жан-Жака. Верхом отправились они в Эрменонвиль. Они читали о чистой, глубокой, горячей любви Юлии к Сен-Пре и Сен-Пре к Юлии. Они сами были Юлией и Сен-Пре, они целовались, далекие от пошлого жеманства двора и города Парижа, они были безотчетно счастливы.

Глава вторая

ЖЕНА ЖАН-ЖАКА

Доктор Лебег приехал в Эрменонвиль, чтобы осведомить маркиза о пожеланиях и особенностях Жан-Жака.

Знаменитый врач был в дружбе и с Жан-Жаком и с Жирарденом. Жан-Жак доверял ему, потому что Лебег не увлекался модной медициной и боролся с болезнями не вопреки природе, а в союзе с ней. Лебег рассказал, как ему удалось склонить Жан-Жака к переезду в Эрменонвиль. Прежде всего он завоевал согласие женщин. В повседневном быту Жан-Жак зависит от жены, Терезы, а та, в свою очередь, слепо идет на поводу у матери, старой мадам Левассер. Старуха жадна к деньгам, и он, Лебег, подкупал ее небольшими подношениями. Кроме того, он пообещал, что маркиз пришлет своих людей, чтобы перевезти домашнюю обстановку и утварь, а сама мадам Левассер будет вознаграждена за хлопоты, связанные с переездом. Он, Лебег, советует маркизу немедленно отправить старухе пятьдесят ливров на предстоящие расходы. Если все будет благополучно, так на следующей неделе приедет сначала Жан-Жак, а через некоторое время, закончив хлопоты с парижской квартирой, за ним последуют жена и теща.

Для маркиза и Фернана наступили дни ожидания. Но прошла неделя и еще несколько дней, а Жан-Жака все не было. Потом маркиз получил письмо с просьбой прислать в Париж лошадей и слуг для переезда.

Прибыла мебель, приехали обе женщины, Тереза и ее мать. Но Жан-Жака все не было.

Мосье де Жирарден недоумевал. Разве доктор Лебег не объяснил ему, что первым прибудет Жан-Жак, а уж затем обе женщины? Они и сами были удивлены: Жан-Жак покинул Париж несколько дней назад. Но особенно они не тревожились. Этот чудаковатый человек, говорили они, часто идет в обход, вместо того чтобы идти прямо; вероятно, он где-то бродит; ничего, явится.

Маркиз опомнился и в изысканных словах выразил радость по поводу приезда дам. В тот раз, когда он в Париже посетил Жан-Жака, он лишь мимоходом видел Терезу. Знал, что, когда Жан-Жак познакомился с ней, она была еще совсем юной и служила кельнершей в заштатном отеле. Теперь ей, вероятно, уже лет тридцать семь — три-

дцать восемь. Одета она была в простое платье из дешевой бумажной ткани в цветочках; каштановые волосы скрывал чепец горожанки. Мадам Руссо показалась маркизу вульгарной, однако не без привлекательности. Ее несколько полное лицо было маловыразительным, но большие спокойные глаза и ленивые движения, вероятно, нравились мужчинам. Неторопливо, наивно, без стеснения и скромности разглядывала она людей и предметы. Говорила мало, и казалось, будто ей стоит усилий подобрать нужное слово.

А мадам Левассер, мамаша, напротив, была очень речиста.

— Я родилась в Орлеане, но я парижанка,— рассказывала она.

Это была женщина преклонных лет, вероятно, за семьдесят, но крепкая и подвижная. Груз жира придавливал к земле маленькую фигурку; черное платье едва не лопалось на мощном бюсте, дышала старуха с трудом. Но все это ее мало беспокоило. Она считала себя вправе и как личность, и как теща Жан-Жака предъявлять требования, и ее быстрые, черные, колючие, недобрые глаза над маленьким носом смотрели зорко и запальчиво.

Маркиз показал обеим женщинам Летний дом, где им предстояло временно поселиться. Это был павильон, расположенный неподалеку от замка, красивое двухэтажное сельское строение: раньше здесь жил кастелян.

— Для постоянного обслуживания разрешите прислать вам из замка служанку,— сказал Жирарден.

— Хороши бы мы были, господин маркиз,— ответила мадам Левассер,— если бы мой зять не мог обходиться без помощи посторонних.

А Тереза сказала своим грудным медлительным голосом:

— Жан-Жак желает, чтобы только я его обслуживала, значит, так и должно быть.

Жирарден, подготовленный доктором Лебегом, знал, что с этими двумя женщинами, во избежание недоразумений с Жан-Жаком, необходимо считаться. Маркизу, который со времен службы в армии сохранил привычку приказывать, пришлось сдержаться и терпеливо разъяснить собеседницам, что здесь не Париж, здесь за всяким пустяком надо отправляться за тридевять земель. Лекарства, например, в которых, как он слышал, нуждается учитель, можно

получить только в аптеке в Дамартене или в Санлисе. Необходимо также поддерживать связь с замком, а кроме того, дамы, конечно, нуждаются в особом обслуживании. Он еще раз просит разрешить предоставить в их распоряжение служанку.

— Если вы настаиваете, господин маркиз, то мы с признательностью принимаем ваше предложение,— ответила мадам Левассер.

Тереза, однако, заявила с флегматичным упрямством:

— Но служанка, которую вы хотите прислать нам, ни в коем случае не должна показываться на глаза Жан-Жаку. Он желает полного покоя. Поэтому он и приезжает сюда. В дом никого нельзя впускать без его прямого разрешения. А когда я буду уходить и мать тоже — дом придется запирать.

Мадам Левассер сказала как бы в оправдание:

— У моего уважаемого зятя свои фан-та-зи-и.— Она произнесла по слогам это изысканное, по ее понятиям, слово.— У каждого великого человека своя блажь.

Жиранден никак не мог примириться с мыслью, что на территории его владений окажется дом, в который ему, сеньору Эрменонвилю, не будет доступа. Но в конце концов к Летнему дому, так же, как ко всем другим строениям на территории его обширного поместья, есть вторые ключи, хранящиеся у него в спальне.

— Все ваши пожелания будут исполнены, сударыни,— сказал он.— У меня есть человек, который, полагаю, вполне вас устроит. Это мой посыльный Николас, моя правая рука, так сказать. Он по-прежнему останется в замке, но в любую минуту будет к вашим услугам. Николас точно выполняет мои приказания и никогда не проявит никакого любопытства. Кроме того, он превосходно ездит верхом и, когда бы вам ни понадобилось, может отправиться в город. Я пришлю его к вам.

Домашние вещи обеих женщин были выгружены. Маркиз пообещал зайти позднее, чтобы осведомиться, нет ли у дам еще каких-либо пожеланий, и откланялся.

Женщины очень рано выехали из Парижа. Было жарко, и они устали. Когда расставили мебель, им захотелось прилечь. Мадам Левассер поднялась на второй этаж, где устроила себе спальню. Тереза заперла входную дверь, сняла платье, легла на кровать, поставленную в нише, задремала.

.Вдруг она вскрикнула и подскочила. Посреди комнаты стоял, расставив ноги, невысокий, рыжий, поджарый субъект.

— Простите, мадам, — произнес он квакающим голосом. Он говорил по-французски с иностранным акцентом. — Я стучал, и так как никто не отозвался, вошел.

Тереза набросила на себя шаль.

— Но ведь я заперла дверь, — сказала она.

— Господин маркиз дал мне второй ключ на случай, если бы дамы вышли в сад, — объяснил незнакомец. — Господин маркиз посылает дамам фрукты и сласти.

Он поставил корзину на стол и методично выложил ее содержимое.

Тереза сидела на кровати, слегка ссутулив под шалью голые плечи, и молча следила из полутемной ниши за его движениями.

Незнакомец сделал все, что ему полагалось, но не собирався уходить. Он разглядывал Терезу, ее теплое, смуглое, слегка помятое от сна лицо, ее карие, спокойные, как у животного, глаза, ее круглую гладкую шею, ее скрытую шалью полную грудь.

— Я, так сказать, ваш камердинер, мадам, — объявил он, низко, чуть иронически кланяясь. — Фамилию мою французам трудно выговорить. Называйте меня просто Николас.

Его наглые бесцветные глаза над вздернутым носом с широкими ноздрями в упор смотрели на Терезу, полунагую под шалью, накинутой на плечи, окутанную теплом и испарениями своего пышного тела. От первого испуга у нее осталось недоверие к этому человеку, но манера, с какой он разглядывал ее в упор, дерзко, с вожделением, примешивала к неприязни ощущение легкой щекотки. Она сидела, молча уставившись на него своими карими медлительными глазами, и не шевелилась.

— Чем могу служить дамам? Не нужно ли чего сейчас? — спросил он.

Тереза ответила своим ленивым голосом, что должна узнать у матери. Пока она поднималась по лестнице, он провожал ее глазами, угадывая под длинной нижней юбкой соблазнительную округлость бедер. Молодой ее уже нельзя было назвать, но это хорошо сохранившаяся, аппетитная женская плоть.

Тереза спустилась с лестницы в сопровождении старой мадам Левассер.

— Господин маркиз приказал мне, мадам,— все тем же преувеличенно учтивым тоном сказал Николас,— быть всецело к вашим услугам.

Мадам Левассер смерила его взглядом с ног до головы.

— Вы говорите на каком-то чудном французском, сын мой,— сказала она; в ее сиплом, беззвучном голосе послышалась нотка антипатии.

— Я подданный его великобританского величества, мадам,— пояснил Николас.

— Думаю,— сухо сказала мадам Левассер,— что мы особенно не будем вас затруднять, сударь. Разве только если придется сходить за чем-нибудь.

— И верхом можно съездить, если будет угодно,— сказал Николас и, повернувшись к Терезе, добавил: — А в случае, если мадам пожелает оказать мне честь, я могу обучить ее высшим приемам верховой езды. Я был первым берейтором у мистера Тэтерсолла в Лондоне. Господин маркиз переманил меня к себе, чтобы я привел в порядок его графские конюшни и надзирал за ними.

Тереза разглядывала его без любопытства, но в упор.

— Главное,— сказала мадам Левассер,— чтобы вы не попадались на глаза моему зятю. Он не любит посторонние...— она поискала слово,—...физиономии.

— Что он не любит? — спросил Николас.

— Незнакомые лица,— ответила мадам Левассер.

Николас не сводил глаз со смуглой Терезы.

Когда спала жара, явился, как он и обещал, мосье де Жирарден. Он похвалил обеих женщин, сумевших в столь короткий срок создать уют в комнатах, и пригласил осмотреть парк; он сам будет сопровождать дам, сказал он.

Перед домом их дожидался молодой человек. Жирарден представил им сына, графа Брежи. Фернан присоединился к ним; медленно вчетвером пошли они по дорожкам.

Маркиз, привыкший к выражению восторгов, ждал, что жена и теща Жан-Жака разразятся градом восторженных восклицаний. Но мадам Левассер только сказала:

— Очень мило, прелестно! Не так ли, Тереза? — И вслед за тем: — Какая приятная прохлада!

В конце концов разочарованный маркиз не выдержал и принялся объяснять:

— Этот небольшой виноградник сделан по образцу пейзажа, описанного Жан-Жаком в пятой книге «Новой Элоизы». Помните?

— Ах, п в самом деле,— сказала Тереза.

А мадам Левассер тоже без всякого выражения проговорила:

— «Новая Элоиза»? Да-да, он читал нам кое-что из этой книги, когда писал ее. А писал он «Новую Элоизу» на бумаге с золотым обрезом. И присыпал обязательно голубым и серебряным песком. Мы все это выписывали из Парижа. Интересная книга.

Маркиз был исполнен горечи.

Дорожки сузились. Пришлось разделиться на пары. Жирарден и мадам Левассер пошли вперед, Тереза и Фернан следовали за ними.

Тупость этих женщин потрясла Фернана даже больше, чем мосье Жирардена. Фернан видел Терезу в Париже, тогда он не отважился вступать с ней в долгие разговоры, все же он еще там заметил, что Тереза очень ограничена. Он, как и все, знал, что она низкого происхождения, и объяснял себе женитьбу Жан-Жака как символический акт; брак этот призван был, вероятно, олицетворять его связь с народом.

Теперь, свободный от робости и благоговенья, сковывавших его в Париже, когда он бывал у Жан-Жака, Фернан осмелился получше разглядеть Терезу; ему хотелось обнаружить в ней те простые и прекрасные качества, которыми, несомненно, обладала эта женщина, те добродетели, которые побудили Жан-Жака избрать именно ее спутницей своей жизни.

Он искоса взглянул на нее. Несколько прядей каштановых волос выбились из-под мещанского чепца. Она, видно, ничего не имела против того, что он ее рассматривает, наоборот, она повернулась к нему всем лицом и отвечала спокойными взглядами. У нее были красивые, большие глаза, бездумные, как сама природа. И пусть все, что она говорила, не отличалось значительностью, но ее голос звучал душевно. И в походке ее Фернану будто слышалась какая-то ленивая мелодия. Жан-Жак знал, конечно, почему он именно на ней остановил свой выбор.

Тем временем мадам Левассер, идя с маркизом впереди, говорила о вещах практических. Ее зять, поясняя она, очень гордый человек. Он ничем не желает пользоваться безвозмездно. Квартирную плату, например, так же как провизию, присылаемую из замка, он намерен возместить работой. Больше всего ему улыбалось бы, если бы маркиз

соблаговолил давать ему для переписки ноты, как в тот раз, в Париже. Теперь прямо из рук рвут все, что выходит из-под пера Жан-Жака, а он по-прежнему берет все те же двенадцать су за страницу. В Париже она не хотела разговаривать с маркизом на эту тему, но обычно она с Терезой за спиной Жан-Жака договариваются о надбавке и получают ее сами. Поэтому она просит разрешения после расчета господина маркиза с Жан-Жаком представлять свои счета. Но только сохрани бог, чтобы ее многоуважаемый зять узнал об этом.

Маркизу были противны маневры тучной старухи.

— Прошу вас, мадам, делайте так, как полагаете нужным,— ответил он сухо.

Мадам Левассер уловила раздражение в его тоне.

— Что поделаешь, у него есть свои чудачества,— оправдывалась она.— Его возражения всегда прямо-таки в тупик ставят. Ведь он нуждается в покое, да ему и самому очень хотелось переселиться в деревню. Но вы себе и представить не можете, господин маркиз, сколько он упрямился и чего мне стоило уговорить его дать свое согласие на переезд.

— Очень признателен вам за хлопоты,— сдержанно ответил Жирарден.— Я надеюсь лишь, что и учителю и вам пребывание здесь будет во всех отношениях приятно.

— Все было бы просто,— продолжала свои жалобы старуха,— если бы это был нормальный, а не великий человек. Иной раз и вправду кажется, что он немножко тронулся. Здесь, у вас, ведь, безусловно, никто на него не покушается. Но уже в Париже — Тереза давеча говорила вам — он ворчал: «Помни, чтобы дом всегда был на запоре».

Маркиз понял угрозу. Если он своевременно не договорится с этой гарпией, она запрет Жан-Жака в доме, и он, Жирарден, хотя у него и есть второй ключ, останется в дураках.

— Само собой разумеется, мадам,— ответил он,— все мы готовы всячески считаться с потребностью мосье Жан-Жака в уединении. С другой стороны, мне бы, конечно, хотелось время от времени видеть учителя и внимать его речам.— Он остановился, слегка коснулся кончиком трости старухи и сказал: — Если вы мне в этом поможете, мадам, рассчитывайте на мою признательность.

Мадам Левассер взглянула на него черными, хитрыми, быстрыми глазками.

— По рукам, господин маркиз,— сказала она.— За мной дело не станет.

Глава третья

ЖАН-ЖАК ПОКИДАЕТ ПАРИЖ

Человек, вокруг которого шел этот торг, Жан-Жак Руссо, распроставшись с улицей Плятриер уже неделю тому назад, действительно намерен был отправиться в Эрменонвиль. Он хотел пройти весь путь пешком, он любил такие путешествия. До Эрменонвиля было не так уж далеко, двенадцать — четырнадцать часов хода спокойным шагом.

На нем был черный сюртук горожанина и черные чулки. В дорожном мешке у него лежали лишь самые необходимые вещи. Он опирался на посох, к которому привык, путешествуя пешком по своей родной Швейцарии. Так шел он по улицам Парижа, изможденный шестидесятишестилетний человек, слегка сутулый; шел, однако, быстрой, бодрой походкой. Его неудержимо влекло к деревьям, не покрытым пылью, не окутанным чадом, он хотел среди вольной природы один на один говорить с водами ручьев и рек, с ветром, запутавшимся в ветвях, с собственным сердцем и с богом. Он хотел бежать из Парижа: в каждом парижанине он видел врага. Он и бежал, ведь это было подлинное бегство.

Но, дойдя до городской черты, он замедлил шаг. Одна еще неясная мысль, все последние дни не дававшая ему покоя, хотя он не позволял себе додумывать ее до конца, вдруг стала отчетливой, о чем-то напоминая, связывая движения. Нет, он еще не вправе уйти. Прежде чем покинуть нечестивый город, он должен еще раз, последний раз, воззвать к нему — ради своего великого дела.

В эти тяжелые годы жизни в Париже он написал книгу «Руссо — судья Жан-Жака». Мысленно он называл свое произведение «Диалоги»: он спорил в нем с самим собой, обвиняя себя, оправдывая себя, раскрывая свое сердце. Эта книга не предназначалась для современников, она должна была воочию показать потомкам, как не понимало и с каким бессмысленным коварством преследовало его современное ему общество.

Что проделывали с его рукописями при издании их? Лжедрузья тайно снимали с них копии и, чтобы очернить его, публиковали в искаженном виде: меняли отдельные фразы, придавая им обратный смысл. Он хотел уберечь свою великую книгу самооправдания от подобной участи. А что, если этот человек, этот Жиарден, к которому он направляется, окажется таким же вероломным тайным врагом? Что, если он только выжидает случая, чтобы вырвать у него рукопись? Разве не обязан Жан-Жак Руссо перед собой и миром найти для своей книги надежного защитника?

Из туманных мыслей последних дней возник план действий. Надо обратиться к провидению. Воззвать к нему, пусть из недр Неизвестного пошлет человека, которому он сможет доверить свою рукопись. А если судьба откажет ему в этом, если он такого человека не найдет, он передаст свою рукопись самому богу, положит ее на алтарь.

Но осуществление этого плана требовало нового, большого, очень тонко написанного творения. Он мог бы вернуться к себе на квартиру, но опасался, что Тереза и ее мать попытаются отговорить его от задуманного, а он изнемог, у него нет сил для новых перепалок. Где найти ему, гонимому со всех сторон, такого друга, который без долгих расспросов приютит и выручит бы его?

На ум ему пришел один-единственный человек, не навязчивый, с простым, хорошим лицом. Звали его Франсуа Дюси, он сочинял трагедии и глубоко сострадал Жан-Жаку в его бедах.

К нему-то украдкой и направился Жан-Жак. Попросил Дюси приютить его у себя на одну-две ночи, никому ничего об этом не говоря. И сам Дюси пусть не тревожит его. Потом сказал, что ему нужны бумага, чернила и перья. Дюси без лишних слов все исполнил.

Жан-Жак принялся за работу. В пламенных словах взывал он ко всем тем французам, которые еще почитают право и правду. «Почему меня, одинокого, многострадального человека, вот уж пятнадцать лет унижают, высмеивают, оскорбляют, отказывают в признании, никогда не говоря мне, за что? Почему только я один не знаю, за что меня обрекли на эти муки? Французы! Вас обманывают, и так оно будет, пока я живу».

Все, что он писал, шло из глубины честного, отчаявшегося сердца, но снова и снова выражал он свои мысли

и чувства в темных, витиеватых словах, и те, кто не знал близко творений, жизни Жан-Жака, его существа, с трудом могли бы понять его.

Он исправлял текст воззвания, сжимал, расширял, потом, придав ему форму прокламации, заготовил много копий. Он писал весь долгий день. Писал и при свечах всю ночь напролет. Пересчитал количество листков, заготовленных им, — их было тридцать шесть. Достаточно, вероятно, чтобы умиловить случай и найти своему великому произведению достойного читателя.

Так же тайно, как он появился, он покинул квартиру Дюси. Прокламации он рассовал по карманам и за обшлага рукавов; книга его самооправдания — «Диалоги» — опять лежала в дорожном мешке.

Он направился в Люксембургский сад. В одной из безлюдных аллей выбрал скамью. Достал из карманов листки, из саквояжа — объемистую, обернутую плотной бумагой рукопись. Так сидел он в тенистом уголке, худой, изможденный старик, с испитым, изрезанным морщинами лицом, бессильно опустив плечи, положив возле себя «Диалоги» и воззвания — этот крик мольбы о человеке, который поймет его. Он смотрел на пляшущие солнечные зайчики под колышущейся листвой, радовался легкому весеннему ветерку; собирал силы для задуманного отважного шага.

Внимательно оглядывал гуляющих. Он умел читать в человеческих лицах. Если пройдет кто-нибудь, кто покажется ему отзывчивым, он даст ему воззвание, и если прочитавший листок выкажет взволнованность, Жан-Жак вручит ему свою большую рукопись, чтобы тот сохранил ее для грядущих поколений.

Здесь было мало прохожих. Но все они шли медленно, не торопясь, они гуляли, они грезили, они думали о чем-то своем, у Жан-Жака было время внимательно вглядываться в лица.

Гуляющих становилось все больше. Но ни одно лицо не внушало ему надежды, что от брошенной им искры оно озарится светом. Однако нельзя больше колебаться, нельзя больше увливать, надо наконец сделать попытку.

Вот идет пожилой господин, идет неторопливой походкой, лицо у него приветливое, и как раз никого нет поблизости. Жан-Жак подходит и протягивает листок.

— Прошу вас, мосье, возьмите и прочитайте,— говорит он своим грудным красивым голосом.

Седой господин не знает, как отнестись к этому непонятному человеку.

— Сколько стоит ваша брошюра? — осторожно спрашивает он.

— Прочтите, мосье, это все, чего я хочу,— настойчиво просит Жан-Жак.— Прочтите во имя человечности, во имя справедливости.

Господин, недоверчиво насупившись, начинает читать. «О вы, граждане Франции,— читает он,— граждане того народа, который некогда был таким сердечным, таким добрым, что стало с вами?»

«Ах,— подумал он,— это, очевидно, один из тех псевдо-философов, тех фантазеров, которые хотят перестроить Францию и весь мир». Он читает еще несколько строк. А потом наставительно, ибо сам он был философ, но философ с холодным рассудком и чувством меры, он сказал Жан-Жаку:

— Вы тут написали какую-то заумь, друг мой. Вы не усвоили того, чему учились. Вам нужно бы сначала заняться простыми книгами по истории, географии. А затем, получив некоторую подготовку, вы могли бы приступить к Вольтеру или Руссо.

— Дочитайте, по крайней мере, до конца,— слабо попросил Жан-Жак.

Но господину уже надоели и этот человек, и его воззвание.

— Благодарю, мой друг,— сказал он и вернул Жан-Жаку листок.— Мне все ясно.— И размеренным шагом, но не мешкая, удалился.

Жан-Жак сел, глубоко вздохнул, закрыл глаза. Снова набрался смелости. Мимо шла молодая дама. Женщины всегда понимали его лучше мужчин. Дама красивым естественным движением держала над собой зонт, под ним светилося нежное, тонкое лицо. Несомненно, она читала «Новую Элоизу» и плакала над ней, несомненно, его идеи запечатлелись в ее сердце. Жан-Жак подошел.

— Я несчастный человек, мадам,— сказал он тихим, вкрадчивым голосом, и так как она, испугавшись, собиралась быстро пройти мимо, он поспешил добавить: — Уделите мне минуту внимания, мадам. Прошу вас от имени всех гонимых созданий.

Дама замедлила шаг.

— Пожалуйста, прочитайте, — горячо продолжал Жан-Жак, — и вы тотчас увидите: это голос человека, которому причинили неслыханные страдания и обиды. Подарите мне десять минут, заклинаю вас. Прошу вас, мадам, прочитайте! — И он протянул ей воззвание.

Дама остановилась. Она и в самом деле читала «Новую Элоизу» и была впечатлительна, этот явно опустившийся человек показался ей интересным, что-то в его голосе тронуло ее. Но у нее здесь, в саду, было назначено свидание с другом, она могла побыть с ним всего двадцать минут, не он ли уж показался в конце аллеи?

— Успокойтесь, сударь, успокойтесь, — сказала она участливо и не взяла его воззвания.

Измученный, сидел он на своей скамье. О, если бы он мог немедленно бежать отсюда, покинуть этот тупой, бесчувственный Париж! Но он еще не смеет разрешить себе это. Он должен в последний раз воззвать к великому городу.

Вот, читая на ходу, проходит молодой человек, по-видимому, студент. Жан-Жак опять попытается. Молодые, чье сердце еще не очерствело, чей ум еще не извращен, понимали его лучше старых. Он порывисто бросился к студенту. Тот, вздрогнув от неожиданности, поднял голову и растерянно посмотрел на бедно одетого старика.

— Прочтите, дорогой мосье, прочтите! — заклинал Жан-Жак юношу, протягивая ему листок.

Студенту, вероятно, еще и двадцати не минуло, но он был парижанин, он знал жизнь и не сомневался, что старик, конечно, пристает к нему с рекламой какого-нибудь шарлатанского препарата или дома терпимости.

— Пожалуйста, дедушка, если этого вам так хочется, — сказал он, слегка посмеиваясь, взял листовку, начал читать — что-то очень истерическое, в стиле чувствуется влияние Жан-Жака, а вообще ничего нельзя понять. Он оглядел старика, который стоял перед ним, ожидая, горя нетерпением, требуя. Какие у него удивительные глаза! Как они блестят! Ведь это...

— Простите, — неуверенно сказал студент, — но я, кажется, имею честь разговаривать с самим мосье Жан-Жаком, не так ли?

Жан-Жак, смущенный, почти испуганный, отвернулся, покраснел.

— Ну конечно же, вы Жан-Жак! — воскликнул студент. — Какое неожиданное счастье! Скажите, можно мне оставить у себя этот листок? — спросил он взволнованно.

Двое молодых людей остановились, заинтересованные восторженной жестикующей студента и робким видом старика.

— Это Жан-Жак! — провозгласил студент. — Жан-Жак Руссо!

— В самом деле! Жан-Жак! — хором воскликнули подошедшие молодые люди. — А газеты вчера сообщали, будто бы Жан-Жак болен и его вовсе нет в городе.

Подожел еще кто-то и еще кто-то, в толпе перешептывались, Жан-Жака окружили. Растерянный, он бросился к своей скамье, одним движением сгреб листовки, сунул объемистую рукопись в дорожный мешок. Толпа кинулась за ним. Он просил молящим голосом:

— Пропустите меня, многуважаемые месье и медам! Оставьте меня одного! У меня срочные, очень срочные дела!

Упорствуя, нехотя, они пропустили его, некоторое время следовали за ним в отдалении и постепенно рассеялись.

У него были *действительно* срочные дела. Теперь, когда люди его оттолкнули, он сделает так, как повелел ему внутренний голос, — он обратится к своему создателю, к богу, заступнику всех угнетенных, ревнителю правды и справедливости. В сердце у него звучал стих из Библии: «Господи, дай мне пасть в твои руки, но не дай мне пасть в руки людей». И невольно он — музыкант и писатель — все время, пока шел к божьему дому, изменял эту строфу, подбирая все новые и новые слова, звучные, трогательные.

Но вот он уже на мосту. Перед ним поднимается громада из серого камня — собор Парижской богородицы. Тридцать шесть лет назад он впервые увидел собор, с тех пор был в нем бесчисленное количество раз, досконально знал все его обычаи и порядки. Он рассчитал, что в этот день там никого не будет, и он возложит свое творение на главный алтарь собора Парижской богородицы, этого благороднейшего из храмов.

Как всегда, при виде громадного и вместе с тем легкого здания собора на него снизошли типина и смирение. Он пересек площадь. Ему казалось, что он сейчас окунется в целительный мрак тенистого леса.

Он вошел в храм через боковую дверь. Направился к алтарю благоговейным, смиренным шагом. Паломник.

Сердце у него остановилось. Алтарь был заперт. Никогда за все эти тридцать шесть лет не было случая, чтобы в субботу алтарь был заперт. А сегодня перед ним — железная, неумолимая решетка. Свершилось страшное чудо. Бог не принял его самооправдания. Бог, как и люди, отверг его.

Он бежал из собора с неподобающей поспешностью. Он бежал по улицам Парижа, словно за ним была погоня, он спешил переступить черту города, выбраться на волю, уйти от близости людей.

Глава четвертая НАЗАД, К ПРИРОДЕ

Но не сразу обрел Жан-Жак одиночество, которое искал. Здесь, под Парижем, земля была вдоль и поперек изрезана оживленными дорогами и тропинками, по которым двигались экипажи, всадники, пешеходы. И потом, уже в более отдаленных, безлюдных окрестностях города, он все еще не чувствовал уединения. Правда, реже, но по-прежнему еще встречались пешеходы, всадники, кареты. Было время, когда дела, зависимое положение и коммерческие авантюры заставляли его, разыгрывая из себя барина, разъезжать в карете, с соответствующим багажом. Он не мог избавиться от забот, больших и малых, от страха перед пассажирами и необходимости считаться с ними. В поездках он ничего не испытывал, кроме страстного желания поскорее прибыть на место. Насколько приятнее и свободнее он чувствует себя сейчас. Его не интересует, когда он прибудет в Эрменонвиль, — завтра, послезавтра или еще через два дня; скоро, скоро, как только навстречу ему перестанут попадаться люди, он почувствует радость от движения, от смены дорог, от красоты природы.

Вот наконец город далеко позади. Жан-Жак сошел с широкой дороги, выбрал узкую тропинку, потом — еще более узкую стежку. Затерялся среди полей и лесов. И вскоре терзавшее его отчаяние уступило место почти что утешительной покорности судьбе.

На опушке леса он присел на пенек. Отдыхал.

Какое благо быть одному! Издали слабости людей бледнеют; когда люди далеко, от них не требуешь качеств,

которыми они не обладают. Хорошо, что закон его внутреннего склада неизменно возвращает его к природе, к тем «неодушевленным» предметам, которые наполняют его сердце упоительными чувствами и ощущениями. Как быстро в тишине природы уходят тревоги и отчаяние. Глупые люди говорят, что только злодеи бегут от своих ближних. Верно обратное. Для дурного человека остаться наедине с собой, должно быть, адская мука, а для доброго одиночество — рай.

Медленно рассеивались мысли. Он впал в то сладостное состояние грусти и грез, когда в душе живут только образы и музыка. Он слился с окружающей природой, с деревьями, мхом, жучками и муравьями, он был частью этого леса, он весь обратился в чувство. Бремя бесплодных размышлений, тщеславных слов не тяготило его более; где-то там, очень далеко, остался тяжелый долг писательства.

Весь остаток дня он шел, куда его влекло, по наитию, он лишь приблизительно держался направления на Эрменонвиль, не страшась путаных кружных дорог.

Наступил вечер, и он решил заночевать под открытым небом, как ему не раз приходилось. Он растянулся на мху под деревом. Сквозь ветви смотрел в высокое небо, сначала бледное, потом потемневшее. Ушла куда-то болезненная жажда показать равнодушным; очерстевшим людям, как чисто его сердце и как глаза их слепы. Легко и радостно заснул он.

И на следующий день, и на третий день он шел без цели, уверенный, что придет к цели, и только на четвертый добрался до деревни Эрменонвиль.

Сделал привал в трактире «Под каштанами». Уселся за один из непокрытых деревянных столов в саду. Кругом росли незатейливые цветы, невдалеке блестел небольшой пруд с вершами.

Подошел хозяин, по-деревенски небрежно одетый, — штаны и рубашка, на голове колпак. С добродушной бесцеремонностью разглядывая запыленного путника, его заросшее щетиной лицо, он спросил, что гость будет есть. Жан-Жак заказал омлет и вина. По улице прошел священник, читая свой требник. Хозяин и Жан-Жак поздоровались с ним.

— Здравствуйте, папаша Морис! Здравствуйте, мосье! — ответил священник.

Хозяин принес завтрак. Жан-Жак с удовольствием ел омлет и неторопливыми глотками прихлебывал темно-золотистое вино. Хозяин болтал с ним. Вдруг его что-то поразило в лице посетителя. Папаша Морис встал, снял колпак и спросил взволнованно и почтительно, не с великим ли Жан-Жаком Руссо он говорит. Жан-Жак с легкой досадой подтвердил. Папаша Морис сказал, что он перечитывал произведения Жан-Жака семь раз, страницу за страницей, и семь раз они его трогали до слез. Кстати, в замке, где мосье Жан-Жака боготворят, его ждут с превеликим нетерпением.

Жан-Жак пожалел, что миновали дни прекрасной бездумной безымянности.

Папаша Морис послал свою дочурку в замок с вестью о прибытии желанного гостя. Девочка встретила маркиза, окруженного мастеровыми и садовниками, в парке. Маркиз громко выразил свою радость, поцеловал маленькую вестницу и тут же поспешил в деревню за Жан-Жаком.

В самом деле, здесь, под каштанами деревенского трактира, сидел величайший — со времен Монтеня и Декарта — мыслитель, которого дал народ, говорящий на французском языке; сидел и беседовал с папашей Морисом, как равный с равным; так, вероятно, Сократ разговаривал с первым встречным или даже с рабом. Умиление охватило маркиза, он подошел к Жан-Жаку.

— Разрешите мне, о великий муж! — воскликнул он и, отложив свою трость, обнял гостя. Потом отступил на шаг. — Добро пожаловать в Эрменонвиль, Жан-Жак Руссо! — произнес он торжественно и взволнованно.

Он повел Жан-Жака к дому, временно предназначенному для него. Проходя по парку, Жан-Жак сразу увидел, что этот пейзаж создан по его описаниям. Он остановился, посмотрел своими красивыми, выразительными глазами в лицо Жирардену и сказал:

— Это мой пейзаж, это места моей Юлии.

Радость залила сердце маркиза, но он сдержанно отвечал:

— Да, мосье Жан-Жак, я сделал скромную попытку скопировать ваш пейзаж.

Так, беседа, подошли они к Летнему дому.

— Прошу вас на несколько недель удовольствоваться этим павильоном. Другое — простое, но с любовью задуманное жилище сейчас заканчивается. Родная вам швей-

царская пастушья хижина, в которой, я надеюсь, вы будете здравствовать долгие годы.

Жан-Жак разглядывал Летний дом, высокие деревья, окружавшие его, деревянный забор, ручей с сельским решетчатым мостиком, маленький водопад. Он пожал руку маркизу.

— Благодарю вас, сударь. *Nos erat in votis* — об этом я мечтал.

Жирандену хотелось многое сказать Жан-Жаку, но он совладал с собой. Он только вынул из кармана сюртука очень большой сложный ключ.

— Этот ключ,— сказал он,— отопрет вам, глубокочтимый муж, все ворота и двери на территории Эрменонвиля. А теперь оставляю вас вашим дамам,— быстро прибавил он и удалился, чтобы в конце концов все же не утомить гостя выражением своих чувств.

Жан-Жак вошел в дом. Увидел Терезу. Понял, как сильно ее не хватало ему в эти последние ужасные дни в Париже,— ведь она его защита от враждебности окружающего мира, единственный человек на земле, в чьем присутствии он чувствует себя в безопасности. И в ее сонных глазах что-то медленно затеплилось. Он обнял ее. Она не спросила, почему он так долго не приезжал. Она явно обрадовалась, что он наконец здесь.

Жан-Жак осматривал свое новое жилище. Повсюду стояли привычные, полюбившиеся вещи. Вот простые стулья с плетеными сиденьями, вот спинет с неизменно заваливающимся «си», комод, шкаф. Сквозь подхваченные лентой, приветливые, белые с голубым занавеси над альковым виднеются кровати, покрытые такими же белыми с голубым одеялами. Вот письменный стол с большим чернильным прибором, ножик, которым он обычно подчищает нотные листы. Тут же и ларь с его рукописями. На камине, под зеркалом, расставлены кофейник и чашки. На стенах — две гравюры его работы: «Лес Монморанси» и «Дети кормят парализованного нищего». Здесь, в книжном шкафу орехового дерева,— его книги и ноты. А вот клетка с обеими канарейками. Хорошо сделали женщины, что расставили мебель совсем как в парижской квартире. Но насколько приветливее кажется в этих комнатах привычная обстановка! В Париже на подоконниках стояло несколько жалких комнатных растений в горшках. А тут в большие окна заглядывают со всех сторон деревья

и кусты, слышно журчание ручья, стены комнаты как бы исчезают, и она сливается с общим пейзажем.

Да, остановив свой выбор на Эрменонвиле, Тереза липпий раз доказала, что она — орудие всевышнего. Здесь, в счастливом уединении, он проживет свои последние годы.

День близился к концу. Повеяло прохладой. Тереза распаковала его дорожный мешок. Он положил свою рукопись в ларь, к остальным. Сел в любимое большое деревянное кресло с подлокотниками и плетеным сиденьем. Наслаждался покоем своего нового жилья.

Тихий отчетливый стук заставил его вздрогнуть. По тому, как скромно, как благоговейно его встретил маркиз, он надеялся, что никто из обитателей замка не станет тревожить его покой. Но вот они все-таки осаждают его. Пока Тереза бежала к дверям, он с досадой встал, отвернулся от дверей и подошел к окну полюбоваться зеленым садом.

Тереза открыла двери и вышла в сад. Когда она вернулась, лицо Жан-Жака было искажено гримасой ужаса и отвращения.

— Что случилось? Что с тобой? — спросила она.

Он ничего не ответил.

В окне, к которому он подошел, появилась чья-то голова: отталкивающее, враждебное лицо, белесые злые глаза, рыжеватые волосы, приплюснутый нос с крупными поздрями. Глаза пристально смотрели на него, ухмылялись. Его выследили, враги заслали своих соглядатаев и сюда.

Тереза привыкла к тому, что во время таких приступов он не отвечал ни на какие вопросы. Она пожала плечами и внесла в комнату стоявшую под дверью корзину с фруктами, холодным мясом, печеньем и сладостями. Объяснила, что это маркиз, вероятно, захотел приветствовать Жан-Жака в своем замке и что корзину принес слуга, приставленный к ним, которому маркиз приказал не появляться в доме.

Жан-Жак постепенно успокоился. К тому времени, как сверху спустилась старая мадам Левассер, по лицу его уже ничего нельзя было заметить.

Ночь он провел спокойно.

Назавтра он встал рано, как всегда, когда бывал в деревне. Тереза приготовила незатейливый завтрак: кофе,

молоко, хлеб и масло. Старуха еще спала. Они ели, пили и вели ленивый разговор о повседневных делах.

Воспользовавшись его ровным настроением, Тереза спросила, как он себя чувствует. С юных лет Жан-Жак страдал болезнью мочевого пузыря, причинявшей ему часто сильные боли, связанные с мучительными задержаниями урины. Нередко поступки его и все поведение определялось этим недугом. Он избегал говорить о нем, даже доктору Лебегу нелегко было выпытывать у него подробности.

Только с Терезой он не скрытничал, перед ней он не стеснялся сетовать на проклятую хворь, позволял лечить себя. Тереза с радостью услышала, что в эти последние тяжкие дни в Париже болезнь пощадила его, хотя обычно сильные волнения сопровождались приступами.

После завтрака он взял свою палку и вышел из дому познакомиться с миром, в котором отныне ему предстояло жить. С удовольствием поддался он иллюзии этого многообразия пейзажей. Тут были и пастбища, и перелески, и кустарники, и дремучая чаща, и пустынный горный пейзаж, и сквозистая роща. Тут были картины природы, создатель которых ребячески и вместе с тем так умно стремился напомнить о тех местах, в которых жили люди в его, Жан-Жака, книгах; фантазия Жан-Жака с легкостью раздвигала рамки этих очаровательных, искусных пасаждений, перенося его в края, где он испытал столько сладостных мук и испепеляющих страстей.

Узкая извилистая тропинка вела на вершину лесистого холма. Поднявшись до половины его, Жан-Жак увидел перед собой голое плато, усеянное камнями и утесами. Была тут и хижина, сколоченная из грубых бревен. Жан-Жак присел на один из массивных камней. Перед ним открылся чудесный вид на маленькое темное озеро и цепь лесистых холмов, вырисовывавшихся на горизонте.

Он спустился вниз, пошел вдоль мягко поблескивавшего озера. На берегах его, как бы приглашая воспользоваться, лежали лодки, а на косе, вклинившейся в озеро, стояла высокая, пышно разросшаяся, прекрасная ива, и ветви ее нависали над водой. Напротив темнел маленький остров. Жан-Жак тотчас же влюбился в него. Трепещущая листва высоких тополей на островке отражалась в зеркале воды. Под густыми колышущимися ветвями ивы зеленела узкая скамья из дерна. Этот превосходный

уголок был как бы создан для тех благословенных прогулок, которые он, Жан-Жак, так любил, для неторопливой сладостной грусти, для меланхолических грез.

Он побрел дальше. Вверялся тропинкам, терявшимся в лесной чаще. Дошел до границ парка, который незаметно переходил в широкий простор полей и лесов.

Повернул назад и пошел в сторону замка. Попал в рощу. Здесь были старые деревья, запущенные и разросшиеся, густо обвитые плющом. Повсюду торчали покрытые мхом пни. Кроны деревьев переплелись и образовали зеленый свод. В этом светлом, милом лесу росли крупные цветы, свет и тени чарующе и причудливо играли на мшистой земле.

Жан-Жак пошел по берегу маленького ручейка, пересекавшего рощу. Сквозь поредевшие деревья показался полого поднимавшийся луг. По ту сторону, на краю его, плотники воздвигали небольшой дом. Жан-Жак тотчас же догадался, что это и есть та самая пастушья хижина, которая предназначена для него, тот самый швейцарский домик, о котором говорил маркиз. Издали Жан-Жак не различал отдельные лица, но ему показалось, что там был и Жирарден и что теперь Жирарден ушел, скромно скрывшись из виду, потому что он, Жан-Жак, приближался. Жан-Жак улыбнулся, тронутый чуткостью маркиза.

Он присел на пенек и задумчиво глядел, как строится уютный домик, приют его старости, строится на клочке земли, превращенной в мир «Новой Элоизы». Времена смешались: далекое светлое прошлое, в грезах протекающее настоящее, предчувствие тихих дней будущего в этом маленьком домике.

Долго сидел он так, без страстей, без желаний, счастливый. Солнце поднялось высоко, он потерял счет времени.

Когда он вернулся в Летний дом, оказалось, что жаркое пересохло. Мадам Левассер ворчала, Тереза не ворчала, но видно было, что ей жаль вкусного обеда, который перестоялся.

Глава пятая

ФЕРНАН — УЧЕНИК ЖАН-ЖАКА

Мадам Левассер с гордостью сообщила маркизу, что она уговорила своего уважаемого зятя принять приглашение мосье де Жирардена завтра у него отужинать. Это было не так-то просто.

Мадам Левассер лгала. Жан-Жак, тронутый видом

швейцарского домика и еще больше — удивительной чуткостью и скромностью Жирандена, без ее уговоров сказал, что завтра вечером он нанесет визит маркизу.

В замке царило праздничное оживление. Наставник Фернана, робкий эльзасец мосье Гербер, был взволнован не менее остальных. Фернан с разрешения отца послал слугу в Латур: Жильберта непременно должна разделить с ним счастье сегодняшнего события.

Жан-Жака встретили у парадного подъезда. Руссо был педантически аккуратно одет в скромный сюртук горожанина и держал себя просто и приветливо. Сердечно поздоровался с Фернаном и внимательно посмотрел на Жильберту и мосье Гербера, которых еще не знал. Он даже подошел к ним поближе, чтобы лучше разглядеть; он был близорук, но когда доктор Лебег посоветовал ему носить очки или пользоваться лорнетом, он с досадой отмахнулся от него. Природа знает, почему она того или иного наделяет слабым зрением. Не следует быть умнее природы.

Во встрече гостя принимала участие рыжая ирландская собака из породы легавых, красивая, длинношерстая. Она с радостным, возбужденным лаем насканивала на Жан-Жака, прыгала вокруг него, и когда он ее погладил, ласково что-то приговаривая, с видимым удовольствием приняла это.

— Батюшка привез мне Леди из Англии, — сказал Фернан.

— О, он привез вам чрезвычайно ценное и красивое животное, — со знанием дела ответил, улыбаясь, Жан-Жак.

Замок Эрменонвиль был обставлен солидно, со вкусом, без излишней роскоши. Особенно понравилась Жан-Жаку музыкальная комната со множеством инструментов, пултов, нот.

Он начал рассказывать о своей прогулке и в присутствии всего общества, — как радостно забилося сердце у маркиза! — с полным пониманием превозносил красоты парка. Он все увидел, даже надписи. Упомянул и о строящемся швейцарском домике и сам теперь назвал весь этот уголок «Кларанским раем».

Когда встали из-за стола и маркиз спросил, не желает ли Жан-Жак немножко помузицировать, он без всякого жеманства сел за фортепиано, похвалил прекрасный инструмент, играл и пел «Я жду, не дождусь» и «Влюбляйтесь, влюбляйтесь в пятнадцать лет!». Он спел

еще много маленьких, нежных, наивных народных песенок, переложенных им на музыку; голос у него был грудной, немного усталый, но теплого, задушевного тембра.

— Хватит,— прервал он себя наконец.— Хорошо было бы услышать теперь молодой голос,— обратился он к Жирардену.

— Пригласите мадемуазель де Латур что-либо спеть, батюшка,— отважился предложить Фернан. Отец, хорошо расположенный, ответил:

— Если тебе этого хочется, граф,— и склонился в поклоне перед Жильбертой.

Жан-Жак несколько разочаровал Жильберту. Подчеркнутая скромность его костюма показалась ей нарочитой, а когда он почти вплотную приближался к собеседнику, глядя в упор, она едва удерживалась от смеха. Да он и не высказал ни одной сколько-нибудь значительной мысли. Нет, знаменитый человек не произвел на нее впечатления.

Приглашенная маркизом, она без всякой застенчивости спросила Жан-Жака, не спое ли он с ней свой дуэт «Там, в глубине долины счастья». Учитель, изумленный такой непочтительностью, уставился на высокую свежую девушку своими большими близорукими глазами.

— Сегодня я петь больше не буду, мадемуазель,— сухо сказал он.

Наступило неловкое молчание. Жильберта не обиделась, она взяла в руки лютню и, выполняя просьбу, запела.

Она пела о короле Генрихе и красавице Габриели. Это была солдатская песня, которая стала как бы гимном замка Эрменонвиль. Некогда Генрих Четвертый, или Великий, вместе со своей прекрасной подругой Габриелью д'Эстре часто посещал своего друга и соратника де Вика в его замке Эрменонвиль. Башня, где она жила, Башня Габриели, хорошо сохранилась, сувениры, связанные с пребыванием Габриели и короля, были во множестве рассеяны по всему замку. «Когда король Генрих Четвертый»,— пела Жильберта,—

Устал от побед наконец,
Он сделал своею квартирой
Излюбленный этот дворец.
С красавицей Габриелью
Он здесь веселился не раз.
И вспоминать об этом
Нам радостно и сейчас ¹.

¹ Все стихи даются в переводе Л. Гинзбурга.

Жан-Жак молча прослушал песню. Фернану было больно, что его подруге Жильберте не посчастливилось списать похвалу учителя.

Повернувшись к Фернану, он спросил:

— И вы также занимаетесь музыкой, сударь?

Фернан, смущаясь, сказал, что он немного обучался игре на фортепиано. Не сказал он лишь того, что ему гораздо больше хотелось учиться игре на скрипке, но по каким-то соображениям маркиз не соглашался на это. Больше того, когда он обнаружил, что Фернан тайно обучается у своего воспитателя Гербера, страстного скрипача, он во имя поддержания дисциплины разбил скрипку.

Теперь, как бы оправдываясь перед гостем, маркиз рассказал, что он воспитывал Фернана по принципам, провозглашенным Жан-Жаком в его педагогическом романе «Эмиль». Чтобы не разнеживать юного графа, он заставлял его совершать большие прогулки пешком и даже зимой купаться в озере. Он следил также за тем, чтобы сын постоянно соприкасался с народом. С этой целью Фернан обучался чтению, письму и счету у деревенского учителя Филиппа Арле вместе с крестьянскими детьми из Эрменонвиля, в играх которых мальчик также принимал участие.

— Это, разумеется, не мешало его занятиям искусствами и науками. Наш милый ученый Гербер преподавал ему классическую литературу и основы этики, а также немецкий язык, которым сам он, как эльзасец, превосходно владеет.— Жирарден отвесил легкий поклон в сторону мосье Гербера.— Я хотел, чтобы сын мой читал и понимал чудесные идиллии великого Геснера, немецкого Жан-Жака, на том языке, на котором они были прочувствованы и написаны.

Тогда как мадемуазель де Латур своей развязностью пришлась не по душе Жан-Жаку, к застенчивому Фернану, который стоял рядом с отцом, краснея всякий раз, когда тот о нем заговаривал, капризное сердце Жан-Жака сразу расположилось.

— Так ведь молодой граф в десять раз учнее меня, старика,— пошутил Руссо. И, трепля по голове Леди, которая внимательно смотрела на него своими добрыми влажными глазами, он обратился к маркизу: — Тем не менее, мне хотелось бы, если разрешите, принять участие в

госпитании вашего уважаемого сына и таким образом частично возместить плату за квартиру. Я вам дела не испорчу, мосье Гербер. Я намерен лишь, если молодому графу угодно иногда сопровождать меня в моих прогулках, беседовать с ним обо всем, что придет в голову.

Выражая величайшее удовольствие и горячо благодаря, маркиз принял предложение учителя. Фернана захлестнула волна радости. Он лишь сожалел, что учитель так холодно отнесся к Жильберте. А самое Жильберту это, видимо, мало трогало.

Отныне Жан-Жак и Фернан часто гуляли вместе; обычно и Леди увязывалась за ними. Жан-Жак не обсуждал с Фернаном философских вопросов, но юноше все его речи, даже когда он говорил о мелочах повседневной жизни, казались значительными.

Вдвоем они вдоль и поперек исследовали парк и окрестности Эрменонвиля, обнаруживая на редкость много укромных уголков и тайн. Фернан показал Жан-Жаку «свою» лесную лужайку. Учителю понравилась ее тишина, уединенность.

— На вашей лужайке должно быть великолепное эхо, — сказал он, раньше чем Фернан обратил на это его внимание, и тотчас же по-мальчишески попробовал. — Большое спасибо, милый мой Фернан! — крикнул он в сторону леса. «Милый мой Фернан», — отозвалось эхо; впервые Жан-Жак назвал юношу по имени, и Фернан радостно вспыхнул.

— Я счастлив, мосье Жан-Жак! — крикнул он в сумеречную чащу. «Мосье Жан-Жак», — ответил лес.

Жан-Жак ласково улыбнулся Фернану. А затем встал и крикнул своим грудным голосом:

— Свобода и равенство!

— Свобода и равенство! — крикнул Фернан, повернувшись в противоположную сторону. «Свобода и равенство!» — откликнулось со всех сторон. Но на этот раз отклик был смятый, искаженный и грозный, и они больше не вызывали эхо.

К молодым людям Жан-Жак не испытывал неприязни: они были еще близки к природе и понимали его. В обществе Фернана Жан-Жак веселился, как дитя. Порой он больше ребячился, чем Фернан. Когда Фернан собирал для его канареек их любимый корм: немного очной травы, кошачьей лапки и мокричника — мелкое красноватое ра-

стение,— этот ожесточившийся человек, который не принимал подарков от знатных особ, благодарил его с видимой радостью.

Охотно, но без менторства рассказывал Жан-Жак о природе и жизни растений. Ботаника — чудесная наука. Опыт и знания можно приобретать, гуляя. Жан-Жак составлял себе гербарий, он начал новый альбом, в котором засушивал растения, собранные в Эрменонвиле. Фернан помогал ему засушивать их. Позднее, говорил Жан-Жак, ему достаточно будет взглянуть на «флору Эрменонвиля», и перед ним, как живые, встанут эти леса, долины и холмы.

Без всякого перехода он заговаривал о больших проблемах: о границах государственной власти, о естественных правах человека, о разумном общественном строе, не противоречащем природе человека.

В дружбе с учителем Фернан видел осуществление своей заветной мечты; это было огромное счастье. Одно его огорчало. Он не решался делиться своим счастьем с Жильбертой. Ведь она, наверное, очень страдает, что Жан-Жак невзлюбил ее. Бережно выбирая слова, он утешал подругу. Но Жильберта не нуждалась в утешении. Крупной, сильной рукой отмахнулась она от причуд капризного старика.

— Меня трогают только его книги,— сказала она.— Я читаю «Новую Элоизу», и за нее я ему благодарна.

А вообще говоря у Жильберты были совсем другие заботы. Ей предстояло на некоторое время покинуть Латур. Она уезжала с бабушкой в его замечательное поместье под Версалем, Сен-Вигор. Мосье Робинэ пригласил туда большое общество знатных кавалеров и дам, чтобы представить им Жильберту. Позднее он собирался с ней и в Париж, на одну-две недели.

Весело и оживленно рассказывала она Фернану о туалетах, которые готовились для нее, демонстрировала перед ним жесты придворной дамы, танцевальные па, реверансы и тысячи других премудростей, которые ей предстояло усвоить.

Фернан сам провел свои детские годы с отцом при дворе польского короля Станислава в Люневиле, да и теперь еще отец и сын Жирандены нередко показывались в Версале и Париже. Но Фернан, обуреваемый освободительными идеями Жан-Жака, лишь с трудом подчинялся пу-

стому хлопотливому этикету, всему стилю придворного общества и парижских салонов с их бездушным остроумием, и не раз с горечью потешался над ними. Он считал достойным подражания поступок Жан-Жака, когда тот после представления его нашумевшей оперы «Деревенский колдун» не явился на аудиенцию к Людовику Пятнадцатому, хотя знал, что его гордое отсутствие будет ему стоить твердой ежегодной пенсии.

Жильберта не скрывала от Фернана, что не разделяет его неприязни к придворному обществу и парижским салонам. Она радовалась поездке в Париж и Сен-Вигор. Его обижало, что предстоящая разлука не так глубоко ее волнует, как он того ждал. Она заметила это, и ей захотелось чем-нибудь его порадовать.

Фернан рассказывал ей, что Жан-Жак часто сидит на берегу озера под старой ивой и, устремив взор на Остров высоких тополей, грезит, размышляет. На густо заросшем острове можно было расположиться так, чтобы видеть Жан-Жака, оставаясь невидимым. Жильберта предложила Фернану спрятаться на острове и в тот час, когда Жан-Жак будет сидеть под своей ивой, устроить ему маленький концерт из песенок и романсов его сочинения. Так и сделали. Они играли и пели дуэты Жан-Жака и народные мелодии. Жильберта исполнила песню, которая звучала по всей Франции, ее можно было услышать и в салоне королевы, и в мансарде модистки, и на крестьянском дворе:

Веселые птицы, влюбленные стаи,
Услышьте меня!
Не пойте, в тиши надо мной пролетая,
О радостях дня.
Простилась я с милым, простилась с желанным,
Не встретимся вновь.
Он ищет сокровища за океаном,
Покинул любовь.
Грозит ему смерть,
Не найдет он привета у сумрачных скал.
Зачем на сокровища Нового Света
Он счастье сменял?

Они боялись, как бы Жан-Жак, раздосадованный, не ушел: никогда нельзя предугадать, как он отнесется к тому, что сделано из любви к нему. Но он сидел, слушал.

В следующий раз, придя в замок, он рассказал, что слышал, как на острове чьи-то молодые голоса пели под

аккомпанемент лютни. Он не знает, то ли все это ему пригрезилось, то ли на самом деле происходило; так или иначе, это было прекрасно.

Фернан и Жильберта не раскрыли своей тайны. Держась за руки, они улыбались и были счастливы.

Спустя два дня Жильберта уехала в Сен-Вигор.

Глава шестая РАССУДОК И ЧУВСТВО

Жан-Жак пришел к убеждению, что мосье Жирарден искренне желает ему добра. Он все чаще бывал в замке, проводил там два-три вечера в неделю.

Он благосклонно выслушивал вопросы мосье Жирардена о сокровенном смысле некоторых мест из его произведений и отвечал терпеливо, иной раз пространно. Маркиз заказал для книг Жан-Жака чудесные переплеты, причем в каждую книгу были вброшюрованы чистые страницы; на этих страницах он записывал толкование Жан-Жака, порой выводя в заключение изящными греческими буквами: *autòs érpha*, собственные слова учителя.

Случалось, что Жирарден рассказывал Жан-Жаку о своих делах. Как-то вечером он горько жаловался на принца Конде, за которым королевская егермейстерская канцелярия признала право, как за принцем крови, охотиться во владениях Жирардена. Крестьяне, горячился маркиз, попросту плачут — такой огромный урон это им наносит. Егеря принца неоднократно стреляли в крестьян маркиза, пытавшихся отгонять дичь от своих полей. Он всегда восставал против такого превышения королевских привилегий, сказал маркиз и привел эпизод из жизни Фернана, когда тот был еще ребенком. Однажды, много лет назад, принц объявил, что будет сюда на охоту, и маркиз, желая избежать необходимости принимать его, уехал, препоручив своему маленькому графу, в те поры двенадцатилетнему мальчику, выполнить долг гостеприимства. Фернан появился за столом принца лишь к десерту, и когда принц предложил ему угоститься отборнейшими фруктами, ответил: «Благодарю, монсеньер, я здесь у себя дома и уже приказал подать мне».

Жан-Жаку очень понравилась эта история. Граждан-

ское мужество, сказал он, встречается реже, чем воинское. Фернан покраснел.

В другой раз, когда Жан-Жак казался маркизу особенно расположенным к откровенной беседе, он спросил:

— Что, в сущности, произошло с «Польской конституцией», которую вы написали для нашего друга, графа Вьельгорского? Почему были опубликованы только отрывки из нее?

Жан-Жак нахмурился.

— Граф мне не друг,— ответил он и пояснил: — Выдержки из конституции были опубликованы преждевременно и в искаженном виде, и это дало повод к новым преследованиям. Я не знаю, виноват ли в том граф, но я, во всяком случае, не давал согласия на публикацию.

В тот вечер Жан-Жак привел с собой своих дам. Кроме мадам Левассер, с равнодушной миной отведывавшей от разных яств, все смущенно молчали. Мадам Левассер хорошо знала закулисную сторону этого дела; именно она-то и выдала кое-кому копию знаменитой рукописи, польский граф ничего не знал об этом; ее тогда щедро вознаградили, уважаемый зять, этот чудак, по всей вероятности, преувеличивает последствия.

Тем временем Жан-Жак мрачно продолжал:

— Все равно Вьельгорский и его приверженцы не могли бы провести мою конституцию в жизнь. Мои положения воплотить в действительность — задача трудная, пока неразрешимая. Ненужная была работа. Да и создание «Корсиканской конституции» — напрасная работа. Еще не наступило время для воплощения моих политических положений в практические законы. Сейчас это лишено всякого смысла,— повторил он гневно.— Демократия не устанавливается путем указов.

Мосье Гербер отличался крайней скромностью и редко участвовал в застольных беседах. Но сегодня он не мог молчать.

— Разрешите мне,— сказал он с жаром,— взять на себя защиту Жан-Жака против Жан-Жака. Тысячи людей на примере «Конституции для свободного государства Корсики» убедились в том, что общие принципы, изложенные в «Общественном договоре», могут служить основой для законов в каждом отдельном конкретном случае.

— Вы же видите, что стало со свободным государством Корсикой, что стало с моей конституцией, — с горечью молвил Жан-Жак.

— Ведь конституция Платона, написанной им для Сиракуз, — горячился мосье Гербер, — тоже не суждено было воплотиться когда-либо в действительность. И все же сила воздействия платоновского «Государства» еще и поныне не утрачена. Американцы поняли, что ваше учение больше, чем прекрасная утопия, и взялись применить его в жизни. Наступит время, когда и Франция, когда вся Европа сделает вас своим Ликургом.

Фернан вскочил.

— Так будет! — воскликнул он пылко. — Я знаю, так будет!

Жан-Жак встал и протянул ему руку.

— Вы правы, Фернан, — сказал он. — Люди вернутся к природе и добродетели. Но путь этот долог и тернист. — Он говорил без пафоса, и все же его глубокий, старческий, трагический и в то же время проникнутый верой голос дошел до самого сердца Фернана.

С тех пор как уехала Жильберта, он очень часто встречался с учителем. Он настолько сблизился с ним, что однажды, преодолев врожденную застенчивость, заговорил с ним о Жильберте.

— И это вам, вам мосье Жан-Жак, — сказал он страстно, — я всем обязан. С тех пор как я узнал «Новую Элоизу», я понял, как прекрасна может быть жизнь и как естественна и угодна богу любовь.

Жан-Жак долго не отводил от него своего страдающего, мудрого, пытливого взора.

— У вас счастливые глаза, дорогой Фернан, — сказал он. — Вы смотрите на любимую девушку счастливыми глазами. Желаю вам много-много лет видеть ее такой, какой вы видите. И я некогда был очень счастлив, но чувствительная душа — это роковой дар небес. Тот, кто наделен ею, становится игрушкой стихий, солнце или туман определяют его бытие, направление ветра решает, счастлив он или несчастлив.

С каждым днем они все лучше понимали друг друга. Часто сживали они в лесу один против другого — старый философ с живым лицом, подвижными губами, крупным, смелым носом и великолепным умным лбом — и молодой человек с горящим взором. В ногах у них лежала собака

Леди. Они чувствовали взаимную близость, когда беседовали, и еще больше — когда молчали.

Иной раз Фернану казалось, что Жан-Жаку хочется быть одному; в такие минуты он старался незаметно удалиться.

Однажды на прогулке, когда они присели отдохнуть и учитель, словно забыв о Фернана, явно разговаривал сам с собой, Фернан решил потихоньку уйти. Но Жан-Жак поднял глаза и, бросив: «Почему вы все убегаете, Фернан?» — продолжал говорить, высказывать сокровеннейшие мысли в присутствии Фернана.

С тех пор это не раз повторялось. Жан-Жак размышлял вслух, и присутствие Фернана, видимо, было ему приятно. Он, например, жаловался, что говорит на простейшем языке мира, на языке сердца, но именно этот язык многие не желают понимать. Непонимание делало из друзей врагов и навлекало на него столь страшные гонения, какие никому еще не выпадали на долю.

— И у моих преследователей есть враги, — говорил он, — но им враги нужны, им нужны преследователи, они получают удовлетворение от борьбы. Это толстокожие люди, их кожа от мытарств становится еще толще и мозолистей. А моя кожа не столь груба, она легко ранима. Бывшие друзья не понимают, что делают. Они издеваются надо мной, они терзают меня, и когда я кричу, говорят: «Какая чувствительность!» А я их любил, я был им настоящим другом, мне их не хватает. Утрата тех, кто уходит от меня при жизни, больнее поражает меня, чем утрата тех, кто совсем уходит из жизни.

Фернан сидел, затаив дыхание, и хотя Жан-Жак и просил его остаться, ему казалось, что он подслушивает чужие тайны.

Сердце его сжималось от боли за учителя. Ему непременно хотелось как-нибудь проявить свою любовь. И вот однажды застенчивый юноша решился. Почтительно попросил он Жан-Жака взять к себе в дом собаку Леди и, неловко привирая, объяснил, что она очень привязалась к нему, к учителю, и теперь видит хозяина в нем. Учителю она нужна, сказал Фернан, ему нужен сторож, который охранял бы его от многочисленных врагов.

Растроганный Жан-Жак, улыбаясь, принял дар.

Глава седьмая

НИКОЛАС И ТЕРЕЗА

Как-то вечером, когда Жан-Жак был в замке, а женщины одни сидели дома, раздался стук в дверь. Они удивились. Вошел Николас.

Он отвесил глубокий, иронически преувеличенный поклон. Господин маркиз, объяснил он с вежливой ухмылкой, наказал ему всегда и во всем быть к услугам дам. Но так как ему запрещено показываться на глаза мосье Руссо, он до сих пор не имел возможности по-настоящему осведомиться, нет ли у дам каких-либо особых пожеланий. И вот, воспользовавшись тем, что многоуважаемый философ находится в замке, он разрешил себе явиться.

Женщины собрались ужинать. От миски с горячим жарким шел пар, мадам Левассер разглядывала Николаса маленькими колючими глазками.

— У нас есть все, что нам требуется, — сказала она.

А Тереза прибавила своим ленивым голосом:

— Очень любезно с вашей стороны, мосье Николас, что вы зашли осведомиться.

Старуха подчеркнуто молчала, всем своим видом требуя, чтобы Николас поскорее убрался. Он не уходил. Нахально вперившись в Терезу, он с наглым одобрением разглядывал ее с ног до головы. Тереза откликнулась на его взгляд.

— Не поужинаете ли с нами, мосье Николас? — пригласила она.

— Жан-Жак ежеминутно может вернуться, — сердито сказала мадам Левассер.

Николас, не отводя глаз от Терезы, сказал с сильным английским акцентом:

— Господин писатель и философ Руссо вряд ли скоро вернется. Ужин в замке всегда затягивается, за столом ведутся интересные разговоры, да и после ужина господин маркиз все не отпускает господина философа.

— Я не желаю, чтобы мой зять вас здесь застал, ни в коем случае, — сказала своим беззвучным голосом мадам Левассер. Она подчеркнула «вас». Николас, откровенно потешаясь, поклонился.

— Именно поэтому, милостивые государины, я и выбрал час ужина для своего посещения.

Он снова поглядел на Терезу. Она, словно привороженная, словно под гипнозом, произнесла:

— Садитесь же, пожалуйста, мосье Николас, — и встала, собираясь пойти за прибором.

— Было бы невежливо, сударыня, если бы я ответил отказом на ваше любезное приглашение, — сказал Николас.

Мадам Левассер все время неприязненно молчала. Этот молодчик — не по душе ей. Но Николас был боек на язык и без труда рассеял возникшую за столом тягостную неловкость. Он знает свет, говорил Николас, он был в Лондоне первым берейтором у мистера Тэтерсолла, знаменитейшего на весь мир лошадника. К нему со всего света съезжались высокопоставленные господа, и господин маркиз потратил немало денег и хороших слов, чтобы смазать его, Николаса, к себе, а ведь у него была превосходная служба. Он не раз жалел, что променял огромный, великолепный Лондон на скуку и безлюдье Эрменонвиля. Но теперь он уже не жалеет: встреча с мадам Руссо вознаграждает его за все. Он поднял стакан, приветствуя мадам Левассер, затем, пристально глядя на Терезу, сказал:

— За ваше здоровье! — и выпил до дна.

Но не о себе он хочет говорить, продолжал Николас, как заведенный, а о единственном в своем роде господине Руссо. Несмотря на знание света, он еще таких людей не встречал. И в Лондоне есть свой знаменитый философ, известный доктор Джонсон. Это господин, который любит пожить и умеет из всего выколачивать деньги. А такой философ, как мосье Руссо, намного ведь знаменитей, не привлекает из своей славы ни единого су и ни единого пенни. Он, Николас, очень любознателен и был бы весьма обязан дамам, если бы они ему объяснили, как это возможно.

Подозрительность мадам Левассер росла. Молодчик нацелился на Терезу — это ясно. Он сразу почуял, что она потянулась к нему; эта простофиля бросает на него взгляды, не оставляющие никаких сомнений. А так как Николас, видно, опытный бабник, его, конечно, не может привлечь такая расплывшаяся и далеко не юная женщина, как Тереза. Ясно, что за философией Жан-Жака он почуял запах денег и хочет втереться в семью. Она, мадам Левассер, должна с самого начала перечеркнуть все его планы. Она должна сохранить власть над дочерью, она не собирается позволить первому встречному англичанину спутать ей карты.

Тереза медленно встала и принялась убирать тарелки.

— Ну, мне пора,— сказал Николас,— иначе господин философ и впрямь может нагряться. А мне бы еще так хотелось услышать что-нибудь о его философии и расспросить дам об их особых пожеланиях. Я позволю себе, если мадам не возражает,— обратился он к Терезе,— пригласить мадам проводить меня немного, чтобы мосье Руссо не застал нас врасплох. Мы обо всем побеседуем: и о философии, и об особых пожеланиях.

Тереза застыла в нерешительности. Мадам Левассер тихо и резко сказала:

— А посуду мне самой мыть, что ли?

Противодействие матери подстегнуло Терезу, она заупрямилась.

— Я скоро вернусь,— протянула она и вышла с Николасом.

В парке было безветренно и очень темно. На узких дорожках вдвоем было тесно; идя рядом, они то и дело касались друг друга. Вошли в небольшой лесок. Николас уверенно вел Терезу, он, видно, чувствовал себя в ночной тьме, как дома. Они слышали дыхание друг друга; под ногами трещали ветки.

— Жизнь ваша с уважаемой мамашей и с господином философом нелегка, должно быть,— сказал наконец Николас.— Столь очаровательная дама заслуживает, говорю я, лучшей жизни.— Как ни приглушал Николас свой квакающий голос, в безмолвии ночи он звучал пронзительно. Обхватив Терезу за талию, конюх вел ее. Она чувствовала исходивший от него крепкий мужской запах.

— Если я говорю: очаровательная дама, мне можно поверить. Я человек с опытом.

Внезапным резким движением он рванул ее на себя и поцеловал в губы нахально, сильно, долго не отрываясь. Выпустив ее из объятий, сказал утихо:

— Благодарю, сударыня,— и возобновил прерванный разговор.— Нет, вам, конечно, нелегко. Мосье Руссо понимает кое-что в своей философии, но в жизни ничего не смыслит. Поверьте мне. Иначе он снимал бы урожай, пока время не ушло. Нынче аристократы без ума от господина Руссо, но кто может сказать, что будет завтра? Капризы знатных господ меняются быстрее, чем месяц на небе. Я знаю свет, я человек бывалый. В один прекрасный день

окажется, что слишком поздно, и господин философ сядет на мель, а с ним и вы.

Тереза взяла Жан-Жака под защиту.

— Мой муж не нуждается в аристократах,— сказала она с несвойственной ей запальчивостью.— Издатели предлагают ему за философские сочинения сколько хочешь денег. А написанного у него — кипы целые. Он только не отсылает ничего. Он не желает никаких денег.

Николас присвистнул сквозь зубы.

— Понимаю, сударыня. Он считает, что его философия велит бедно жить.

— Мой муж великий человек, все это говорят,— произнесла Тереза немножко беспомощно, уже без всякого подъема, и слова ее прозвучали, как извинение.

— Возможно,— снисходительно сказал Николас,— я в этом ни черта ни понимаю. Но я понимаю, что он непрактичный человек, совершенно неопытный, и разрешите мне сказать вам откровенно: чужак.

Тереза попыталась объяснить:

— Это все его философия. Он говорит: «простота», он говорит: «назад, к природе» — и не берет денег.

— Все это хорошо,— возразил Николас.— Но почему он не возвращается к природе один, без вас? При чем тут вы? Вы не созданы для одной природы, мадам. Не для нее вы рождены. Я увидел это с первого взгляда.

Тереза молчала. Николас, заливаясь соловьем, продолжал:

— Вы могли бы спросить: «А вам-то что до этого, мосье Николас?» И в известном смысле вы были бы правы. Если мосье Руссо непрактичен и вы, сударыня, миритесь с этим, то мне это как будто должно быть совершенно безразлично. Однако мне не безразлично. Нет, не безразлично. Даже кровь бросается в голову. Не господин философ меня волнует, а вы. Вы, наверно, уже заметили, что я к вам равнодушен.— И он поцеловал ее вторично, еще жарче, чем раньше.

Тереза, тяжело дыша, поправляя чепец на голове и косынку на груди, сказала:

— Мне нужно домой. Иначе Жан-Жак и в самом деле придет и не застанет меня.

— Жаль,— галантно сказал Николас.— Я мог бы беседовать с вами, мадам, всю ночь напролет. Но, если нужно...— И он пошел с ней назад.

— И все-таки мы с вами еще не договорились ни насчет ваших особых пожеланий, ни насчет тех или иных пожеланий мосье Руссо, — сказал он, когда показались освещенные окна Летнего дома. — Нам надо как-нибудь опять встретиться. Но мне, к сожалению, не удалось снискать симпатии вашей многоуважаемой матушки; боюсь, что ей не доставит удовольствия видеть меня. Смею ли я предложить, чтобы мы с вами в следующий раз, когда господин философ будет ужинать в замке, поговорили без вашей уважаемой матушки? Смею ли я ждать вас тогда здесь, в темном саду?

Она ничего не ответила. Он поцеловал ее в последний раз, общупал всю, она обмякла, и он уже не сомневался: она придет.

Тихонько насвистывая, Николас направился в замок. Он был доволен. Эта дуреха уже у него в руках. А заполучить ее — кое-что да значит! И деньжата там есть. Славная бабенка в простоте души проговорила. «Назад, к природе». Уж он, Николас, приберет денежки к рукам, пусть хоть лопнет от злости старуха, вислозадая кобыла, вонючка жирная.

До сих пор от его пребывания во Франции не было никакого толку. Он мечтал открыть в Париже заведение, такое же, как у мистера Тэтерсолла в Лондоне, где желающие могли бы обучаться верховой езде, покупать лошадей и заключать пари. Но без основного капитала ничего не сделать. На том все и застряло. Мадам Руссо — это неплохое стремя. Кто знает: ведь счастье любит иной раз окольные пути. Того и гляди, писанину этого глупца удастся превратить в добрых лошадок. Одно можно сказать с уверенностью — зад у жены философа заслуживает всяческого одобрения.

Пока графский слуга предавался таким мечтаниям, Тереза мыла посуду, а мадам Левассер излагала ей все, что думала по поводу возможных отношений своей дочери с мосье Николасом.

Мадам Левассер ничего не имела против того, чтобы ее Тереза с кем-либо путалась. Жан-Жак стар, да и в лучшие свои годы он неспособен был удовлетворить крепкую женщину. Ее дочь вдосталь повозилась и натерпелась с ним. Не каждая так заботливо ходила бы за этим калеккой, особенно во время приступов; тут и самой черной работы было хоть отбавляй. Не каждая бы с такой кротостью

терпела и его капризы. Так что Терезе перед богом и людьми не грех побаловаться в редкие минуты ее досуга. Однако ухажеров своих пусть соблаговолит выбирать с большей требовательностью.

— Ты бы могла найти своему Жан-Жаку более достойного заместителя, — сказала мадам Левассер. — С этим англичанином путаться не дело. Он пронюхал, что из твоего философа можно вытрясти монету, и только на это он и зарится. Только для этого ты ему и нужна. Ох, уж эти мне тупоносые, белоглазые! Насквозь я их изучила. Неужели ты думаешь, что его обворожили твои телячьи глаза или твой толстый зад? Стоит ему захотеть, и у него отбоя не будет от молоденьких и не таких жирных бабенок, как ты. Если уж тебе, дрянь ты этакая, непременно нужно баловать, так найди себе, пожалуйста, кого-нибудь, кто не помышлял бы только об одном — как бы ограбить тебя и твою старую мать.

Тереза мыла посуду. Молчала.

Глава восьмая ФЕРНАН В СМЯТЕНИИ

Не уговариваясь, Жан-Жак и Фернан избегали рассказывать третьим лицам о своей дружбе. Когда Жан-Жак бывал в замке, он обращался со своими речами к Жирардену или мосье Герберу и лишь изредка — к Фернану.

Фернану бросилось в глаза, что Жан-Жак, разговаривавший с отцом и с мосье Гербером, совсем не походил на Жан-Жака их совместных прогулок. Обмениваясь вопросами и ответами с отцом и мосье Гербером, он был совершенно не тем, кто бродил с Фернаном по лесу, непосредственный, молодой, веселый. Люди, пожалуй, не имеют твердых очертаний: они меняются в зависимости от того, кто их окружает.

Временами, когда Жан-Жак бывал в замке, Фернан совершенно не узнавал его. Однажды ощущение это так обострилось, что Фернан не выдержал и ушел, чтобы чужой Жан-Жак не вытеснил образа, который юноша хранил в своем сердце.

Он брел по дорожкам ночного сада, погруженный в думы о своем Жан-Жаке. Сумеет ли он добиться, чтобы этот Жан-Жак увидел Жильберту его, Фернана, глазами?

Человеческие голоса спугнули его думы. До слуха его донеслись шепот, приглушенные возгласы, вздохи и стоны любовной пары. Фернан остановился, притягиваемый и отталкиваемый. Он рано познал страсть, то были короткие, сумасшедшие, дурманные, мутные, полные разочарования эпизоды, один здесь, другой — в Париже. Он неохотно возвращался к ним мыслью, а с тех пор, как понял, что любит Жильберту, глубоко любит, старался загнать воспоминания о тех эпизодах в самые отдаленные уголки души.

Ему хотелось поскорее уйти отсюда; неприлично, недостойно подслушивать эту пару. Наверное, какой-нибудь работник и служанка совокупляются. У животных совокупление чище, чем у людей. Животные просто не знают ничего иного; люди же, растрчивая на совокупление то, что должно принадлежать любви, испытывают жгучий стыд.

Он круто повернулся, сделал несколько шагов вперед, чтобы не слышать шепота и вздохов.

И вдруг узнал голоса.

Сначала — голос мужчины; так говорить, так квакать мог только один человек, только этот отвратительный Джон Болли, Николас, конюх. И в ту же секунду Фернан, пораженный в самое сердце, узнал голос женщины. И этот голос, ленивый, грудной, также нельзя было спутать ни с чьим другим; это голос... Даже в мыслях Фернан не хотел назвать имени той, кому принадлежал женский голос. Нет, нельзя подслушивать. Теперь подслушивать — уже преступление. Он должен уйти.

Он остался. Подслушивал.

Подслушивал, весь взбудораженный. Такую женщину, такую низкую тварь, этакое полуживотное выбрал себе в подруги величайший мыслитель Франции. Вот он сидит там, в замке, и ведет с отцом и мосье Гербером сверкающий остроумием разговор, а жена его, женщина, с которой он прожил десятки лет, лежит в объятиях этого подонка, этого куса глины, в который создатель вдохнул лишь намек на душу. Они что-то бормочут и стонут в угаре животной похоти, катаются в грязи. И это участь величайшего, мудрейшего из смертных! Неужели Жан-Жак так слеп? Неужели тот самый человек, который заглянул в судьбы мира глубже, чем кто-либо и когда-либо до него, был слеп в собственном доме, между своих четырех стен, в своей супружеской постели? Беспредельное изумление охватило Фернана, страх перед жизнью, глубокая боль за этого

великого, по-детски доверчивого человека, связавшего свою жизнь с похотливой сукой.

Долго носился Фернан в темноте ночи, смятенный, недоумевающий. Что делать? Как он встретится с Жан-Жаком? Не обязан ли он рассказать Жан-Жаку о своем страшном открытии?

На следующий день он уклонился от встречи с Жан-Жаком: ему нужно было сперва самому во всем разобраться. А вдруг он ошибся? Быть может, в своей растерянности он ослышался? Как ужасно было бы допустить ошибку в такой чудовищной вещи! Он ошибся. Не мог не ошибиться. Этот английский конюх снюхался, наверное, с какой-нибудь служанкой. А если так — услышал и прошел мимо. Выкинул из головы.

Но приглушенные, невнятные, низменные и сладострастные звуки, подслушанные в кустах, не вытравить из памяти. И это, конечно, она, жена Жан-Жака. Второго такого голоса нет на свете.

Необходимо еще раз его услышать. Проверить себя.

Он сочинил предлог, чтобы повидать Терезу. Пришел в Летний дом в такой час, когда Жан-Жак обычно гулял.

Женщины были удивлены. Он мялся, лепетал что-то о том, будто хотел просить Жан-Жака по возможности скорее переписать вот эти ноты, пусть лучше Жан-Жак отложит другую работу, ноты Фернану очень нужны; речь идет о сюрпризе для отца. Мадам Левассер взяла у него из рук нотную тетрадь и обещала все передать Жан-Жаку.

Фернан, в сущности, мог бы и уйти. Он остался. Его длинные, ничем не занятые руки беспомощно болтались. Он, как ему казалось, украдкой рассматривал Терезу. Она спокойно глядела на него своими бесстыжими малоподвижными, как у животного, глазами. Она сразу почуяла, что он пришел ради нее.

Все молчали. Канарейки чирикали в своих клетках. Женщины не спешили выручить его. Они ждали, пока он заговорит. Он начал издалека.

— Я хотел спросить, — сказал он, — хорошо ли мосье Жан-Жак чувствует себя в этом доме, хорошо ли вы все себя чувствуете здесь? — Он говорил торопливо, стараясь преодолеть смущение. — Вам, вероятно, известно, сударыни, — пояснил он, — что Жан-Жак часто устаивает меня своим обществом и даже, льщу себя надеждой, дружбой. Вы понимаете, сударыни, как мне важно поэтому

знать, удовлетворен ли мосье Жан-Жак созданной ему в нашем Эрменонвиле обстановкой? Удовлетворены ли также и вы? — стремительно прибавил он, лукаво и любезно.

Он думал: «Все-таки я ошибся. Она так невозмутима. Правда, она не знает, что мне известна ее гнусная тайна. Как она на меня смотрит! Нет, я не ошибся. Она кого хочешь сведет с ума, это чувствуется. А ведь ее даже краской не назовешь. И, кроме того, она глупа и неотесана. Отребье. Так она и не отведет своих глаз от меня?»

Мадам Левассер тем временем размышляла о том, что так никто никогда не поймет и не угадает, чем та или иная женщина привлекает к себе мужчину. Ее Тереза, бесспорно, красотой не отличается, лицо толстое и невыразительное, глупа она и ленива, как стадо коров, а мужчины льнут к ней, как мухи к падали. Вот стоит этот молодой граф, наследник огромного поместья, — и лепечет, и бормочет, и виляет, все от вожделения. Вообще-то говоря, это очень хорошо. Быть может, удастся натравить его на негодяя, проходимца и пролазу, на лошадника Николаса. Уж такой деревенский невинный агнец наверняка не захочет переложить деньги Жан-Жака в свой карман и лишить ее, старуху, причитающейся ей доли.

— Мы очень признательны, господин граф, за дружеский интерес к нам, — сказала она. — Нам живется неплохо, и мой уважаемый зять чувствует себя хорошо. Вряд ли мы скоро вернемся в Париж. Если у Жан-Жака будет здесь достаточно работы, — она подбородком указала на ноты, — тогда мы и здесь найдем свой кусочек хлеба с маслом.

Тереза не сводила глаз с Фернана. Ей было приятно, что на нее загляделся мальчик, чуть ли не в два раза моложе ее, что он красив, это тебе не какой-нибудь философ, из которого песок сыплется. Да еще и знатен вдобавок.

— Большое спасибо, граф Фернан, — произнесла наконец и она. — Нам здесь очень нравится.

Это прозвучало как «вы мне очень нравитесь».

Долго бродил Фернан в тяжелых думах и грезах. Тереза полна тайн, как сама природа. Когда смотришь ей в глаза, кажется, что заглядываешь в бездны мироздания. Потому-то, наверно, Жан-Жак и связал свою жизнь с нею. В ее лице он обручился с самой природой, сочетающей в себе добро и зло.

И в последующие дни Фернан избегал учителя. Он ходил вокруг да около Летнего дома, заведомо выбирая часы, когда Жан-Жак отсутствовал. Это было подло, нечестно, это было предательством по отношению к учителю. Но разве сам он не учит, что черпать знания следует не столько из книг, сколько из непосредственных наблюдений над природой? Он, Фернан, должен раскрыть темную тайну. Должен понять, что привязывает Жан-Жака к этой женщине, а ее — к животному Николасу.

Недолгое время спустя, показавшееся ему вечностью, он встретил Терезу. Она собиралась пройти мимо, она как будто торопилась куда-то. Он набрался смелости и спросил, не разрешит ли она задать ей несколько вопросов, касающихся Жан-Жака. Она подумала, потом без всякого смущения ответила, что Жан-Жак рано ложится, еще засветло, поэтому она сможет встретиться с Фернаном нынче же вечером, в девять часов, у моста.

— В эти теплые ночи приятно погулять, — сказала она. Она говорила запинаясь, с трудом подыскивая слова.

Ночь была довольно светлая, все же лесные тропинки и дорожки были затенены и терялись во мраке. Тереза и Фернан разговаривали мало, идти надо было осторожно; время от времени они перекликались, предупреждая друг друга о лежащем на дороге камне или о торчащей ветке. Все, что они говорили, они говорили со стесненным дыханием, сдавленными голосами. Они шли, окутанные таинственностью, атмосферой запретности.

Он был в глубоком замешательстве. Вот он крадется по лесу с этой женщиной, как Николас, животное. Что подумал бы Жан-Жак, увидев его сейчас? А Жильберта? Жильберта отвернулась бы от него навек. Однако оба были бы неправы. Он не преследует здесь целей какого-нибудь Николаса, только интерес к философии привел его сюда.

Они подошли к озеру. Здесь была ива, под которой любил сидеть Жан-Жак. Тереза раздвинула ветви и, легонько переводя дыхание, опустилась на скамью из дерна. Скупым жестом она пригласила Фернана сесть рядом. Скамья была узкая. Они сидели вплотную друг к другу.

Напротив был Остров высоких тополей, в тени которых он и Жильберта пели для Жан-Жака. Серебристо-зеленый свет луны заливал остров.

И вот теперь он, Фернан, сидит здесь с женой и подружкой Жан-Жака и намерен выспросить ее о нем, шпионить за Жан-Жаком. Но чувство запретного не было неприятно, оно возбуждало.

Все же он невольно слегка отодвинулся от Терезы. Она чуть заметно удивленно повела плечом.

— Вы хотели что-то спросить меня о Жан-Жаке, не правда ли, господин граф? — сказала она своим грудным голосом.

Он был благодарен, что она нарушила тягостное молчание.

— Да, мадам, — поспешил он ответить. — Было бы очень любезно, если бы вы мне рассказали о нем.

— Что же рассказать вам? — спросила она, помолчав.

Он подумал. Потом сказал:

— Что делает Жан-Жак в часы, когда бывает дома? Работает?

Она, слегка недоумевая, ответила:

— Разумеется, мосье. Он часто возится с засушенными растениями. Усердно переписывает ноты.

Фернан терпеливо объяснил:

— Меня не это интересует. Я спрашиваю: пишет ли он какое-нибудь новое произведение?

— Бывает, что и пишет, — приветливо-равнодушно ответила Тереза. — Несколько дней назад он мне кое-что читал. Он часто читает мне. Я не все понимаю. У меня, знаете ли, голова плоховатая. Вся эта писанина мне не по зубам. Она вообще не для нынешних людей. Она для тех, кто будет жить после нас, говорит он.

«Мне не следовало бы слушать ее, — думал Фернан. — Это нечестно. Если она предает его, она делает это по глупости, в простоте душевной. Я же ведаю, что творю».

— Не поздно ли, мадам, для вас? — спросил он. — Быть может, хотите вернуться?

— Нет, ничего, — спокойно ответила она. — Жан-Жак в постели, он спит крепко и хорошо.

Фернан ухватился за ее слова, довольный, что разговор перешел на эту безобидную тему.

— Мосье Жан-Жак, значит, чувствует себя хорошо здесь, в Эрменонвиле? — спросил он.

— Да, — ответила она. — Теперь он, слава богу, здоров. Но всегда можно ждать приступа. Вы ведь знаете, что он

ужасно страдает от воспаления мочевого пузыря, у-ре-мии,—раздельно произнесла она медицинское слово.— И приступы всегда случаются в самую неподходящую минуту. Как в тот раз, например, после представления его оперы при дворе, когда ему обещали аудиенцию насчет назначения нам пенсии. Он попросту не мог отправиться к королю. Вы, может, слышали, когда начинается приступ, каждую минуту нужно на двор, понимаете? И это ведь неудобно было бы перед его величеством и всеми этими вельможными господами и дамами. Когда у него приступ, он всех гонит от себя, только мне разрешает оставаться. Ухаживать за таким больным не так-то просто. Надо вводить зонд, и боже сохрани, чтобы было больно,— Жан-Жак очень нетерпеливый, а это, правда, ужасно болезненно. И он, конечно, ворчит и очень раздражается. Но я привыкла, я не жалуюсь.

Значит, не из гордости свободолюбивого человека от-казался тогда Жан-Жак от аудиенции у короля, все дело было в его недуге! Фернан крепко сжал губы. Нет, это не может, не должно так быть. Это лишь так преломилось в ее примитивном сознании. «Надо уйти, надо уйти,— думал он снова и снова.— Я шпиону за обнаженным Жан-Жаком. Я выпрашиваю эту женщину, невинную и не ведающую стыда, как сама природа. Этого нельзя делать. Это значит: красть плоды с древа познания. Я не смогу больше смотреть Жильберте в глаза. Нет, я не имею права слушать ее».

Но Тереза спокойно сидела на скамье, явно желая продлить свиданье, а он все никак не мог придумать пред-лога, чтобы встать и уйти. Он спросил:

— Ведь вы уже не один десяток лет замужем за Жан-Жаком, не правда ли, мадам?

— Замужем только десять лет,— ответила она без всякого смущения.— Но живу я с ним с восемнадцати лет. Жан-Жак вытащил меня тогда из ужасного отеля. Другие мужчины ко мне приставали, а он за меня заступился. Он был очень добр ко мне. Но и я за ним тоже всегда очень хорошо ходила. И вдруг на него какая-то блажь нашла, и он на мне женился. Свадьбу справили прямо на диво. Мы тогда жили в Бургуэне, в гостинице «Золотой колодец». Он пригласил двух приятелей — артиллерийских офице-ров, заказал отдельную комнату и произнес замечатель-ную речь. «Итак, я женюсь на этой женщине, которая есть

сама природа», — так он сказал. Мы все умилились, а потом был замечательный ужин, и мы пели. — Она рассказывала медленно, но не от смущения: она с трудом подбирала слова.

Вдруг она с неуклюжим кокетством оборвала себя.

— Однако я все о себе рассказываю. А ведь не я вас интересую, а Жан-Жак.

Густо покраснев, чего, конечно, она не могла заметить в темноте, Фернан неловко заверил ее, что его интересует все, что касается Жан-Жака, и в особенности она, его близкая подруга.

— Подруга, — медленно повторила Тереза. — Какое красивое слово, надо его запомнить. Да, верно. За те долгие годы, что мы вместе, у нас с Жан-Жаком было много хорошего. И много дурного, это, пожалуй, тоже нужно сказать. Как приятно иметь друга, с которым можно обо всем поговорить. А то другие только все ревнуют оттого, что я жена великого Жана-Жака, и всегда бранят меня. А ведь нелегко простой девушке быть женой философа. Подругой. Жан-Жак, конечно, святой, но жить с ним трудно: он больной, и ходить за ним тяжело, и потом — нетерпеливый тоже, всегда ворчит. Забот и хлопот с ним не оберешься.

Тереза плотнее придвинулась к Фернану и протянула ему руку. Он ли взял ее за руку или она его? Рука была большая, мясистая, чуть влажная. Он стиснул ее. Медленно, не отнимая руки, она поднялась. Встал и он — порывисто, в страшном смущении, но руки не выпустил.

Возвращались молча. Он проводил ее почти до дома.

В следующий раз, когда Тереза встретилась со своим Николасом, она вся исходила нежностью. Он истолковал это с присущим ему цинизмом:

— Ага, ты снюхалась с графенком, с этой длинной жердью, — сказал он.

С несвойственной ей живостью Тереза возразила:

— Ты с ума сошел. Граф Фернан робкий и совсем еще молоденький мальчик. Он разговаривает только о философии.

— Вот еще, учи меня, — фыркнул Николас. — Говорит он, может, об оглобле, а имеет в виду коня. Не подумай, что я, чего доброго, ревную. Я-то знаю себе цену. От сравнения я только выиграю.

Глава девятая

НА СЦЕНУ ВЫСТУПАЕТ НЕКИЙ СЕРЖАНТ

Из городка Дамартен Николас привез письмо, полученное им в трактире «Два ангела», с просьбой вручить в собственные руки мадам Левассер.

— Любовное письмо твоей уважаемой мамаше, — ухмыльнувшись, сказал он Терезе.

Старуха, всегда такая выдержанная, энергичная, побледнела и даже утратила дар речи, как только узнала почерк на конверте. Письмо от Франсуа, от сержанта Франсуа Рену, ее сына! Он, значит, вернулся из Америки. А она-то с тех пор, как король заключил этот союз для обороны и нападения, потеряла всякую надежду увидеть когда-нибудь своего любимца Франсуа.

Она держала нераспечатанное письмо в своих ныне уже старческих, трясущихся руках, и перед ней, обгоняя друг друга, проносились картины всей ее трудной, богатой и счастьем и тревожностями жизни. Промелькнули недолгие веселые годы ее первого замужества. Сержант Рену, ее незабвенный Поль, хотя и немножко легкомысленный был человек, но настоящий солдат. Звезд с неба он не хватал, но что за мужчина! Всем, всем взял! Она любила его, даже когда он причинял ей огорчения, даже когда ей приходилось метаться в поисках денег, за которыми он то и дело являлся к ней. Но зато как же он рассказывал о сражениях, в которых участвовал, о больших сражениях времен войны за польское наследство, под Филипсбургом, под Миланом. Сердце радовалось от рассказов его мощного голоса, от его молодого счастливого смеха, когда он похлопывал ее по заду. Их сын, Франсуа, был весь в него. Он тоже солдат с головы до ног. Хохо-тал он так же громоподобно, и сердце у него было такое же широкое и безмятежное. И когда он со смущенной и лукавой улыбкой во все лицо просил денег, без конца денег и денег, ему так же нельзя было отказать, как и отцу. Правда, сражения, в которых Франсуа участвовал, были проиграны. Но если треклятый, безбожный прусский король Фридрих одержал победу под Росбахом и Крефельдом, так это, во всяком случае, не вина ее сына. Свою храбрость он теперь вновь доказал, отправившись за океан к американцам, к бостонцам, которые ведут войну за сво-

боду, за установление нового порядка. Ну а теперь, когда заключен этот союз, они, конечно, в сержанте Франсуа-Рену больше не нуждаются, и вот он вернулся к ней.

Она вскрыла конверт. Да, ее Франсуа в Дамартене, в гостинице, и разве не замечательно, что не успел он вернуться от индейцев, как тут же поспешил сюда, чтобы обнять свою мамочку. Просто горе, что ему нельзя тотчас же приехать в Эрменонвиль. К несчастью, ее зять, этот блаженной, впадал в бешенство, стоило ему лишь увидеть Франсуа. И все потому, что Франсуа как-то в отсутствие Жан-Жака взял из его комода несколько сорочек на подержание. Жан-Жак бог знает как бушевал из-за этого «воровства». Кричал, что сотни ливров, которые вытащил у него из кармана Франсуа, он ему прощает, но украсть эти сорочки из индийского шелка, одну из немногих его радостей,— это, мол, безмерная подлость, и он раз навсегда запрещает Франсуа попадаться ему на глаза. Ах, она могла обнять своего любимого сына только за спиной этого юродивого Жан-Жака.

Они встретились в Летнем доме, когда Жан-Жак ужинал в замке. Тереза оставила их одних, и мадам Левассер учивалась таким счастьем, какое господь бог, вообще говоря, приберегает только для святых.

Она не могла наглядеться на сына. Он и впрямь был восхитителен собой, сержант Франсуа Рену, и мадам Левассер вправе гордиться, что она, маленькая женщина,— мать этого статного блестящего солдата. Он, значит, сражался в далеком краю, в краю дикарей, в первобытных лесах Америки, сражался на стороне бостонцев за чай и свободу. К сожалению, как видно было из его увлекательных рассказов, ему и там не повезло. Правда, он был в большом почете; он, конечно, не стал делать тайны из того, что Жан-Жак, который, можно сказать, изобрел свободу,— его шурин; но, кроме почестей, из этого похода мало что удалось извлечь.

— Это страна только для таких, как Жан-Жак,— подытожил он с горечью.— Одна природа да добродетели, а денег — ни-ни.

Потому-то, как только был заключен союз и отпала надобность в нем, сержанте Рену, он взял да приехал на родину. В семи сражениях он участвовал, а когда в Гавре ступил на родную землю и подсчитал военную добычу, то ее всего и было, что двенадцать ливров и три су.

— Итак, — сказал он своим громоподобным голосом, — Америка обманула мои ожидания. Поборники свободы не в состоянии платить. Я, конечно, отправился туда не ради денег, но за семь сражений, за столько пролитого пота и крови, двенадцать ливров и три су — очень уж жидко для сына моего отца... и моей матери, — смеясь и нежно глядя на мать, поправился он и крепко хлопнул ее по плечу.

Мадам Левассер таяла от блаженства. Ибо, к счастью, Франсуа был действительно сыном своего отца, а этого отца она любила, потому и сын у нее такой удачный. За второго мужа, чиновника монетного двора Левассера, родом из Орлеана, унылого, жалкого человечка, она вышла по расчету, и сердце и плоть ее молчали. Оттого брак этот ничего хорошего и не дал, — только бездарную, глупую, тупую Терезу. Но она вот счастливая, а ее замечательному сыну, которому уже под пятьдесят, даже в дикой Америке не удалось схватить фортуны за чуб.

— Зато я вывез оттуда хорошую идею, — продолжал сержант Франсуа. — Видишь ли, когда наш добрый король Людовик заключил союз с поборниками свободы, я как-то в одну долгую, печальную, злосчастную ночь на бивуаке досконально продумал политическое и военное положение. Он отлынивает, наш добрый король Людовик, он не любит этих поборников свободы, что не поставишь и в вину ему, если взять во внимание его специальную точку зрения; он, видишь ли, не хочет послать им ни одного солдата. Но, сказал я себе, в конце концов послать ему придется. Бостонцы сами не справятся. Если французская армия не встрянет, победят англичане. А этого всехристианнейший опять-таки не может допустить. И, значит, вот помани мое слово, мамочка, как бы он ни изворачивался, а эту горькую пилюлю ему проглотить придется.

Сержант опрокинул стаканчик любимого вина Жан-Жака.

— Ну и что же? — спросила мадам Левассер.

— А то, — ответил сержант, — что солдаты будут, следовательно, нужны, и если уже сейчас мало рекрутов, то чем дальше, тем их будет меньше. Итак, рекрутский вербовщик — занятие теперь еще более прибыльное, чем раньше. Но это трудное дело. Рекрутским вербовщиком надо родиться и вырасти, надо обладать отменным красноречием и военным опытом. «Значит, сержант Рену, — сказал я себе, — ты со своим опытом и хорошо подвешенным

языком, что не раз проверено на деле, теперь понадобится. В Париже ты можешь принести больше пользы свободе и себе самому, чем в лесах Америки», — сказал я себе. И вот я тут.

Мадам Левассер предчувствовала, что счастливая идея ее сына Франсуа в конце концов ударит ее по карману. Но недоброе предчувствие потонуло в огромной радости, что сын вернулся. Одно можно было сказать с уверенностью: Франсуа здесь, во Франции, а война за океаном, в Америке.

— Стало быть, ты так скоро теперь не отправишься на войну, сынок, верно? — сказала она, облегченно вздохнув.

В Париже он пробыл два дня, рассказывал Франсуа; ему не сиделось, он хотел как можно скорее увидеть дорогую мамочку. Но все же успел найти возможность переговорить со старым другом, полковником де ля Роком. Полковник хорошо знает своего сержанта Рену и без долгих разговоров обещал предоставить ему монопольную должность вербовщика для своего полка. Если Франсуа получит ее и если он в блестящей форме вербовщика королевской армии, осененный развевающимися знаменами, под гром военного оркестра выйдет на площадь и произнесет свою зажигательную речь, то мамочка, конечно, не сомневается, что штатские пачками будут добиваться чести стать под королевские штандарты. Одна загвоздка: военное министерство требует от каждого, кто претендует на должность рекрутского вербовщика, залог в сто лундоров. Он, Франсуа, надеется, что мамочка одолжит ему эту сумму; если нет, то ему грозит опасность потерять столь верный заработок, счастливейший шанс его жизни.

О «верных заработках» подобного рода мадам Левассер слышала от сына не в первый раз, но из всех его начинаний никогда ничего не выходило. В глубине души она была убеждена, что и сейчас ничего не выйдет. Но она представила себе своего Франсуа в парадной сверкающей форме вербовщика, с гордо вздымающимся на шлеме плюмажем в четыре завитка, представила себе, как мощный голос ее сына гремит над толпой, как весело и настойчиво Франсуа насаждает на нерешительных, поигрывая звонкими золотыми монетами. Нет, она не может не выручить сына, раз уж он вернулся к ней из Америки. Она даст ему денег, обещала она, пусть только Франсуа на несколько дней задержится в Дамартене, пока она их раздобудет. Благо-

душно настроенный, он ответил, что иначе и не думал, — мамочка, конечно, не держит денег в чулке, сто луидоров — не безделица; но ее обещания вполне достаточно. Договорились, что в гостинице «Два ангела» он будет ждать от матери весточки.

Оставшись одна, мадам Левассер вожделеющим оком сердито и беспомощно посмотрела на письменный стол Жан-Жака и на ларь с рукописями. Вот лежит писанина этого чудака — ведь это наличные деньги, стоит ему только захотеть; издатели Басомпьер в Женеве и Мишель Рей в Амстердаме предлагают ему тысячи за его рукописи. Но, — и в этом у мадам Левассер был богатый опыт, — никакие ухищрения не помогали, ничего с этой грудой бумаги не удастся предпринять. Господа издатели, прожженные дельцы, не довольствуются хитро составленными письмами и не вполне подлинными подписями, они требуют заявлений, написанных собственной рукой Жан-Жака.

Мадам Левассер так глубоко вздохнула, что пушок на ее верхней губе тихонько заколыхался. И все же она не допустит, чтобы планы ее славного сына рушились по милости этого юродивого Жан-Жака. Что-нибудь да придет ей в голову. Придет непременно.

Назавтра ее осенило.

Она нанесла визит мосье де Жирардену.

— Мне крайне неприятно являться к вам в качестве просительницы, господин маркиз, — начала она. — Мой покойный первый муж, сержант королевского драгунского полка Рену, был гордым человеком. Он любил воевать и жить на свою долю военной добычи, а не на подаянья. Но, говоря открыто и напрямик, господин маркиз, как пододбает жене солдата: мне нужны деньги.

Иона рассказала о планах своего сына. Ее материнское сердце жарко билось, жесткий, беззвучный голос приобрел вдохновенные нотки. Сын ее задумал не просто получить должность рекрутского вербовщика, объясняла она. В первобытных лесах индейцев сын ее сражался за свободу на стороне бостонцев. Он собственными глазами, рискуя жизнью, убедился в том, что философия ее зятя, его идеи насчет свободы и насчет природы могут воплотиться в жизнь только в том случае, если король пошлет за океан сильную армию. Ее сын желает помочь королю. Для этого сыну нужны деньги.

Жиарден видел, что она нацелилась на крупную сумму. Он строго выпрямился и ткнул тростью в ее сторону.

— Сколько вам нужно, мадам? — спросил он по-военному кратко.

— Сто луидоров, — в тон ему лаконично ответила мадам Левассер.

Это было наглое требование, и по лицу Жиардена без труда можно было прочесть, что он именно так и думает.

— Я, конечно, не собираюсь брать у вас деньги без возврата, — поспешила пояснить мадам Левассер. — Мы можем предложить хороший залог: у Жан-Жака есть произведения, которые должны быть опубликованы только после его кончины. Толстые пачки исписанных страниц. Мы храним их здесь. Я прошу под них займы сто луидоров.

Маркиз попытался прибегнуть к тактическому маневру. Он готов дать просимую сумму, но не за спиной учителя. Пусть мадам разрешит ему, Жиардену, спросить согласия у Жан-Жака.

— Что ж, сударь, спросите, пожалуйста, — сказала она холодно. — Вы добьетесь лишь того, что с ним будет приступ его безумия. Заранее предсказываю. Это именно я и хотела предотвратить. — Она была оскорблена. Голос ее звучал очень тихо и очень жестко. — Если вы завтра спросите Жан-Жака, он послезавтра вернется в Париж. Как дважды два четыре. Я знаю своего зятя. Он не останется под кровом, где его попрекают бедностью.

Подлая попытка вымогательства со стороны этого жирного вампира взбесила маркиза. Но такая пиратка вполне способна заставить Жан-Жака возвратиться в Париж. Маркизу придется выполнить ее наглое требование. Однако, может быть, удастся извлечь при этом кой-какую пользу. Неопубликованные произведения Жан-Жака, несомненно, *существуют*, это известно; Жан-Жак писал мемуары, отрывки из них он публично читал в Париже, но, так как многие высокопоставленные дамы и господа почувствовали себя задетыми, вынужден был по приказу министра полиции прекратить чтения. Было соблазнительно обеспечить себе некоторое право на эти рукописи.

— Мне даже думать тяжело, мадам, о том времени, когда эти рукописи позволено будет опубликовать. Но уж поскольку вы этот вопрос возбудили, я хотел бы удостовериться, правильно ли я вас понял. Мне, разумеется, и в

голову не приходит в какой-либо доле участвовать в финансовой реализации этих произведений. Даже намек на что-либо подобное явился бы уже оскорблением. Я понял вас так: если когда-нибудь, хочу надеяться, в очень отдаленном будущем, дело дойдет до издания рукописей Жан-Жака, вы и ваша дочь, мадам Тереза, уполномочите меня принять участие в редактировании. Ведь вы именно это имели в виду, мадам?

Старуха плохо понимала смысл длинных, напыщенных фраз Жирардена, но она видела, что он готов расстаться со ста луидорами, и храбро ответила:

— Само собой, мосье, именно это я и имела в виду.

— Хорошо, мадам,— сказал Жирарден,— буду весьма рад вручить вам просимые сто луидоров.

Глава десятая ВЕРШИНЫ И БЕЗДНЫ

Мадам Левассер подала весточку сыну. Он немедленно явился.

— Я так и знал,— ликовал он,— на мамочку можно понадеяться.

Статный Франсуа обнял маленькую толстую старушку и смачно поцеловал ее в обе щеки.

На этот раз, однако, она недолго оставалась с глаз на глаз со своим сыночком. Николас вместо того, чтобы развлекаться с Терезой в парке, пришел поглядеть на сводного брата Терезы, на своего, так сказать, шурина. Ему понравились рассказы мосье Рену, философия сержанта совпала с его собственной, они припились по душе друг другу.

В дверь опять постучали, и вошел не кто иной, как молодой граф Фернан.

В те дни он часто встречался с Жан-Жаком. Ровная меланхолическая веселость учителя убедила Фернана, что учитель берет природу такой, какая она есть, что он и Терезу принимает такой, какая она есть. Было бы невероятной дерзостью нарушить эту гармонию.

Кроме того, он, Фернан, ведь мог и ошибиться в тот раз ночью. Это следовало забыть, он старался забыть.

Ах, если бы Жильберта была здесь. Беспредельная тоска по Жильберте охватила его. Он обходил места, где они бывали вместе. Поскакал верхом в покинутый замок

Латур. Заставил удивленного управляющего впустить его в дом, побежал в комнаты Жильберты, в ее будуар, ее спальню. Он прижимал к себе платья, оставленные ею, целовал их. Душа и тело его горели, воспоминание о Жильберте преследовало его.

Он написал ей длинейшее письмо. Рассказал о своих беседах с Жан-Жаком и о том, как однажды учитель жаловался на бесплодность своего труда. Потом рассказал ей, как ездил в покинутый Латур. Всю душу свою он излил. Восторженно исписывал страницу за страницей, разговаривал с Жильбертой языком «Новой Элоизы».

Позднее ему пришло в голову, что он ничего не написал о своих встречах с Терезой. Но это не было лицемерием, он в самом деле забыл о Терезе, когда писал.

А сегодня, в замке, его опять обуяли прежние колебания и сомнения. Жан-Жак, как почти всегда в присутствии посторонних, обходился с ним ласково, но как чужой. И еще отчетливее, чем раньше, Фернан увидел: Жан-Жак никогда не был одним и тем же; каждый, с кем он разговаривал, превращал его в другого Жан-Жака. Каков же он в своей интимной жизни с Терезой, когда делится с ней чувствами и заботами?

Вот он, довольный, сидит за столом его отца, болтает и шутит. Кто же он, этот непостижимый человек, самый холодный и самый пылкий, один из самых ясновидящих и самых слепых из смертных? Неужели ни сердце, ни ум ему не подсказывают, что, быть может, что наверное творит в эту минуту его жена?

Фернану вдруг мучительно захотелось узнать больше, чем он знал. Он не мог усидеть в замке. Эта женщина, конечно, воспользуется отсутствием Жан-Жака, чтобы встретиться со своим любовником. Если же она это сделала, если она опять это сделала, какие же тогда могут быть сомнения? Что-то толкало его собственными глазами все увидеть, собственными ушами все услышать.

Он отправился в Летний дом. Если в окнах будет свет, он под каким-нибудь предлогом войдет и убедится, дома ли Тереза.

Свет был, он вошел. Вот тебе и на! За столом сидело двое мужчин. Ничего не доказано, ничего не опровергнуто. Ему-то хотелось либо встретить Терезу одну дома, либо застигнуть ее где-нибудь в парке в запретном объятии с этим подонком, с этим животным. Ну, значит, он зря сюда

пришел, хотя решиться на это было нелегко. Фернан был разочарован и взбешен.

Он превратился вдруг в знатного господина, будущего сеньора, полновластного хозяина этих владений.

— Вам было приказано, — сказал он Николасу, — не появляться в Летнем доме. Как же вы смеете околачиваться здесь?

Николас взглянул на него, ухмыльнулся и перевел глаза на Терезу.

— Отвечай, холоп! — крикнул Фернан.

Николас спокойно сказал своим квакающим голосом:

— Если меня спросит господин маркиз, я объясню, почему я пришел сюда.

— Вон, негодяй! — рявкнул Фернан.

Николаса грызло сознание, что этот молокосос в присутствии всего семейства Левассер так надменно отчитал его. Он уже собрался было едко и грубо ответить, но сказал себе, что это глупо. Искоса смерив взглядом сначала Фернана, потом Терезу, он вышел.

Фернан выразил сожаление, что к дамам приставили столь наглого и назойливого слугу, как Николас. Он говорил и держал себя свободно, без следа смущения, с безукоризненной светскостью. Тереза почувствовала, что выросла в глазах брата и матери: шутка ли, такой великолепный молодой человек добывается ее любви.

Мадам Левассер, довольная, что этот голубок проявил себя настоящим мужчиной и прогнал ненавистного проходимца, представила своего сына, сержанта Рену. Фернан, немножко пристыженный оттого, что второй мужчина оказался не любовником Терезы, а ее братом, мягче посмотрел на Терезу, мысленно прося у нее прощения.

Сержант, стараясь произвести впечатление на молодого графа, рассказывал об Америке. Фернан слушал его с огромным интересом. Ведь новое американское государство строилось по принципам Жан-Жака, бostonцы объявляли себя пламенными приверженцами Жан-Жака, их Вениамин Франклин, ныне посол в Париже, пользовался каждым случаем, чтобы подчеркнуть, сколь многим американская революция обязана учению Жан-Жака.

— Это чертовски жестокая, грязная война, — рассказывал сержант. — Мелкий люд полон энтузиазма, богачи же в душе на стороне тиранов. У них карманы застегнуты на все пуговицы, а поборники свободы очень бедны. Они

воюют, живота не жалея, голодают, мундиры на них превратились в лохмотья, обуви нет, а холодно там дьявольски. Одним энтузиазмом сыт не будешь и не согреешься. Если мы не пошлем им солдат, они сами не справятся. Это говорю вам я, господин граф, сержант Франсуа Рену. Кто-то из наших отправился туда, среди них даже несколько аристократов; о мосье Лафайете вы наверняка слышали. Но все это, конечно, капля в море.

Фернан самозабвенно слушал. «Мелкий люд полон энтузиазма». Да, народ приносит жертвы во имя идей Жан-Жака. Народ понимает его. У Жан-Жака с народом общий язык.

Франсуа встал.

— Мне, пожалуй, надо идти, — сказал он. — Нехорошо будет, если мы с Жан-Жаком встретимся. У нас, видите ли, с шурином существуют кой-какие разногласия; дело в том, что Жан-Жак очень непрактичен, — пояснил он Фернану. — Но его идеи вполне стоящие, и ради них я живу, за них умру.

Он обнял мать.

— Приезжай поскорее, сын мой! — сказала она.

— Я бы с величайшей радостью, но не знаю, удастся ли, — ответил сержант.

— Приезжай, сынок, прошу тебя! — повторила она. Ее жесткий голос звучал почти умоляюще.

Фернан тоже стал прощаться.

— Приходите почаще, господин граф, — пригласила его мадам Левассер.

Тереза, пока мать обнимала сержанта, проводила Фернана до дверей.

— Приходите как можно скорее, — сказала она своим грудным ленивым голосом тихо, зовуще.

Фернан еще долго бродил один по ночному парку, размышляя, какой непреодолимой силой обладали слова и образы Жан-Жака. Они изменили лицо целой части света по ту сторону океана. Они заставили короля, вопреки собственному желанию, прийти на выручку свободе. Даже в столь неотесанном солдафоне, как этот сержант, они разбудили такие чувства, что он отправился за океан, чтобы там, в первобытных лесах, воевать против тирании.

Фернан забыл, зачем он шел в Летний дом. Бесследно исчезли все мысли о слепоте Жан-Жака, все мысли о тех слабостях и странностях, о которых рассказывала Тереза.

А тут еще он получил ответ от Жильберты на свое длинное письмо, и ответ этот окончательно вытеснил Терезу из его сердца и ума. Даже среди светской суеты, писала Жильберта, она находит время читать «Новую Элоизу», и так странно вплетались в ее легкое, веселое повествование о сен-вигорской жизни мечтательные, проникнутые глубокими чувствами строки. Фернан читал, и на душе у него светлело, перед ним вставала живая Жильберта, он прижал ее письмо к губам. Она была с ним, только она, Жильберта.

Но это возвышенное настроение длилось недолго. Уже на следующий день им завладело воспоминание о Терезе. Он видел мысленно ее, ее мать, ее брата такими, какими застал их в тот последний раз в Летнем доме, видел их лица и жесты, слышал их речи. Это были те же лица и те же слова, что в действительности, и в то же время иные — зловещие и страшные. Вот сидят при свете свечей все трое, все семейство Левассер, сидят вокруг стола Жан-Жака и говорят о нем, распоряжаются им, как слабоумным ребенком. Он вспомнил о негодяе Николасе, и вот их уже четверо, и все они ждут кончины Жан-Жака, точно стервятники, усевшиеся вокруг умирающего.

Фернан стиснул зубы, отогнал от себя страшное видение. Усилием воли вызвал в памяти, увидел перед собой торопливый детский почерк Жильберты. Услышал негромкий и все же проникновенный голос Жан-Жака, который словами «Общественного договора» призывает к царству свободы и равенства.

Но в этот голос ясно, настойчиво и обольстительно вплетался грудной ленивый голос Терезы: «Приходите как можно скорее!» Не само ли провидение этим голосом требовало от него раскрыть загадку непонятных, волнующих уз, связывающих учителя с Терезой?

Он не последует велению этого голоса. Он не желает больше мучиться этими дурацкими сомнениями. Он подождет, пока вернется Жильберта. С нею обсудит все то двойственное, что видел и слышал. Стоит ему только поговорить с Жильбертой, поглядеть в ее ясное лицо — и все его сомнения разрешатся.

А надо ли ждать? Нет ли более короткого, прямого, верного пути добиться ясности? Разве учитель не написал мемуары? И разве Тереза не сказала: «...эти писания для тех, кто будет жить после нас». Писания — это и есть,

очевидно, мемуары. Они здесь. Они в Летнем доме. Вот что он, Фернан, должен прочитать. Учитель сам раскроет ему загадку учителя.

Он добьется возможности заглянуть в мемуары. Тереза ему поможет. В этом смысл его дружбы с Терезой.

Опять бродит он крадучись вокруг Летнего дома. На этот раз ему без труда удастся тайком увидеть Терезу. Они уговариваются о встрече в ближайший вечер, когда Жан-Жак отправится в замок.

В этот вечер Фернан испытывал такую же скованность, как и в первую встречу с Терезой. Они шли рядом по узким дорожкам и молчали. Фернан решил про себя избегать всякого неосторожного слова, всякого неосторожного жеста и говорить с Терезой только об учителе.

Сдавленным голосом, торопливо и сбивчиво заговорил он о том, как знакомые по книгам слова Жан-Жака совсем по-иному воспринимаются, когда слышишь их из его собственных уст и как они тогда воодушевляют, увлекают. И как прекрасно, что сержант Рену под влиянием Жан-Жака отправился в Америку. Тереза удивилась. Насколько ей известно, Франсуа пришлось удрать из Франции, ведь он был замешан в каком-то темном деле, которым заинтересовались королевские суды. Но чего ради станет она все это выкладывать молодому графу?

— Да, — сказала она, — Жан-Жак очень хорошо читает. Приятно, когда кто читает, а ты в это время что-нибудь делаешь. Особенно зимой, вечера длинные, и мне нравится, когда он читает, а я в это время шью.

Они опять подошли к берегу озера, к знакомой иве. Тереза села на дерновую скамью, на которой сжививал обычно Жан-Жак. Скамья была неширокая. Фернан не захотел сесть рядом: он пришел не ради Терезы, а ради Жан-Жака. Он продолжал стоять. Она, несколько удивленная, спросила.

— Почему вы не садитесь?

Он сел. «Говорить только о Жан-Жаке, говорить только о мемуарах», — велел он себе. Вслух он сказал:

— Вы были так любезны, мадам, и поведали мне, что мосье Жан-Жак теперь кое-что пишет и что у него уже есть и готовые рукописи.

Тереза недоверчиво взглянула на него. Смотри-ка, он опять заговорил о писаниях Жан-Жака! Быть может, она ошиблась, быть может, его и в самом деле интересует не

она, а эта гора бумаги? Но нет. Разговоры только для отвода глаз. Глупа-то она, может, и глупа, но в том, чего хотят мужчины, ее не обманешь.

— Да,— сказала она,— там есть много написанного, целые пачки, но все это для людей, что будут жить после нас. Разве я не говорила вам?

Он ждал такого ответа и заранее придумал, что на это сказать. Но он все забыл. Ее близость выводила его из равновесия, он и не пытался взять себя в руки. Оба молчали. Впереди неясно вырисовывался Остров высоких тополей, листва на деревьях шелестела, тихо плескалось о берег озеро.

— Как жарко,— сказала Тереза.

Медлительными движениями она развязала ленты чепца и сняла его. Слегка встряхнула рукой волосы, и они всей массой рассыпались по плечам. Он не решался посмотреть в ее сторону. Пряди этих каштановых волос, выбивавшиеся из-под чепца, он помнил. Он представил себе эти волосы открытыми, без чепца. Что-то щекотало его щеку, это были ее волосы, и он все-таки посмотрел на них.

— Да,— сказала Тереза,— волосы у меня густые, длинные, их очень трудно заправить под чепец.

Фернан проглотил слюну. Он не смеет давать себе волю, нельзя ни на секунду терять нить мыслей.

— Я знаю, мадам,— сказал он,— что рукопись мосье Жан-Жака для будущих людей. Но я еще молод и в известном смысле я тоже человек будущего. Вы мне позволите заглянуть в эту рукопись?

Тереза была неприятно удивлена. Возможно ли? Неужели и впрямь его интересуют только писания? Она смутно припомнила, как жаловался Жан-Жак на то, что его друзья что-то меняют в них, желая очернить его перед королем и всем миром. А может, и этот молодой человек?.. Глупости. Она не могла ошибиться. Так хрипло и так возбужденно говорит лишь человек, который желает одного...

Она слегка повернула голову, так что волосы всей своей массой коснулись его лица. Он хотел отодвинуться, хотел бежать. На ничтожную долю секунды вспомнил Жильберту, ее комнату, ее платья, ее запах. Но воспоминание рассеялось, не успев стать отчетливым, а здесь, в непосредственной близости, были волосы Терезы. Рука против его воли скользнула по волнистым прядям, гладила их, погружалась в них, трепала их, тихонько дергала.

— Вы делаете мне больно,— сказала она и в темноте ощупью поискала его руку. Взяла ее в свою. Он, как обоженный, выдернул руку, протянул ее опять, схватил ее руку, обхватил плотнее, стиснул, ослабил пожатие, стиснул чуть-чуть сильнее.

Она ликовала. Но теперь она потомит молодого графа. Она не откликнулась на то, чего он на самом деле хотел, больше того, теперь она взяла деловой тон и вернулась к его глупой ребячьей просьбе — позволить почитать писания Жан-Жака.

— Я не знаю,— сказала она,— смогу ли я вам чем-нибудь помочь. Надо поговорить с матушкой. Жан-Жак, наверное, был бы против. А если он против, я этого не должна делать. Он так добр ко мне. Он — святой.

Фернан слушал ее и не слышал. Он держал ее руку в своей, но почему она не отвечает на его пожатие? И почему она опять заговорила о рукописи? Он был разочарован.

Но вот она решила, что пора.

— Однако отказать вам в чем-нибудь трудно,— сказала она, ответила на его пожатие и обняла за плечи.— Для вас я не только это сделаю,— добавила она.

Они поцеловались.

От всех его строгих решений не осталось и следа, он забыл обо всем. Он не знал, она ли его привлекла к себе, сам ли он прильнул к ней. Он уже едва сознавал, как в безвольном желании погружался в пучину, в огненную стихию, в самую природу.

Глава одиннадцатая

ВОЗДЫХАТЕЛИ ТЕРЕЗЫ

Тереза никогда не чувствовала вины в том, что искала радостей вне брака. Когда в свое время она призналась Руссо, что она не девственница, он не обратил на это никакого внимания. Она не знала, замечал ли он, когда она позднее баловала с другими мужчинами,— он ни разу ни словом не упрекнул ее. Во всяком случае, она чувствовала себя вправе утешаться с посторонними мужчинами, раз он был такой. Но если уж она с кем-нибудь спутывалась, она оставалась верна своему любовнику и больше ни с кем не заводила шашни. Она думала, что в это лето в Эрменон-

виле таким единственным будет Николас, и вдруг является этот птенец граф и соблазняет ее.

Но, в общем, раз уж так случилось, то делать нечего, и пусть все идет, как идет. Все же Николас — она это с первого взгляда почувствовала — был для нее, как ни посмотри, самым подходящим. И по своей стати, и по своему происхождению. Поэтому совесть ее грызла, что она не сохранила ему верности. Путаться с двумя одновременно нехорошо. Для этого она слишком порядочная, да и недостаточно умная.

На этот раз, однако, все обойдется. Николас ведь господский слуга и человек одного с ней сословия, он не может не понять, что простая женщина вынуждена подчиниться воле настоящего графа и будущего сеньора Эрменонвиля. А что до графа Фернана, то он еще очень молод и неопытен и, конечно, не заметит, что она путается с Николасом.

Ей, в сущности, совершенно искренне нравились оба: и Николас и Фернан. Николас в любовных делах стоил, конечно, побольше, но и с таким юным, чистеньким и неискушенным в любви мальчиком, как господин граф, неплохо было поиграть. Да, кроме того, с графом, хотя он и столь знатный господин, ей говорилося легко, легче даже, чем с Николасом, ее ровней.

Когда она встретила с Николасом в первый раз после сближения с Фернаном, страсть ее вспыхнула с новой силой. Николас казался ей особенно мужественным; как никогда, она чувствовала: все-таки он и никто другой ее единственный, и то, что она согрешила перед ним, делало его еще желаннее. Но в ту минуту, когда он ее взял, мысленно она была с Фернаном, ей представлялось, будто она занимается любовью с обоими сразу, и это было очень сладостно.

Позднее ей казалось, что по-настоящему она изменила Николасу только в ту минуту, когда, лежа в его объятиях, думала о графе Фернане. Она решила оправдаться перед своим Николасом. Сначала с неуклюжей кокетливостью спросила, верен ли он ей.

— Не пори чепуху, старушка,— ответил он грубовато, но добродушно.

Она же, точно он требовал отчета, рассказала, что молодой граф вовсе не «этого» от нее хочет, он хочет только прочитать писанину Жан-Жака.

Слова Терезы лишили всегда столь бойкого на язык Николаса дара речи. С тех пор как Тереза впервые упомянула о писаниях чудака Жан-Жака, Николас рассчитывал, что найдет способ выколотить из этой груды бумаги те двести луидоров, которые ему нужны для оборудования скаковой конюшни. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта длинная жердь, молодой граф, стал ему поперек дороги. Надо действовать.

Он обстоятельно изложил Терезе свои планы. По сути дела, сказал он, маркиз его обманул. Разве уехал бы он из Лондона, если бы маркиз не прельстил его обещанием, что он будет управлять здесь большой конюшней? Вместо этого мосье де Жирарден ухлопал деньги на свои идиотские сады. Николас и не помышляет застрять здесь надолго. Как только ему удастся сколотить кругленькую сумму, он тут же откроет в Париже собственные скаковые конюшни. И он пустился в многословное описание того, как он станет парижским мистером Тэтерсоллом. Когда Николас говорил о лошадях, он весь преображался. Тереза не всегда понимала, о чем он говорит, но она верила ему и была в восторге.

— И только подумать, что всего-то мне нужны какие-нибудь несчастные двести луидоров! — возмущался он. — А на свете столько монеты пропадает зря! И вы испытываете те же трудности, мадам Тереза. Писания господина философа лежат себе и лежат, а такая красotka, как вы, нуждается в самом необходимом, целыми днями хлопочет и имеет одно-единственное шелковое платье. И тут еще является этот граф Фернан и желает, видите ли, почитать писания мосье философа. Он наверняка вас подведет, ваш граф Фернан, поверьте мне. Он пойдет кругом трезвонить, а когда о писаниях болтают направо и налево, они, так сказать, лишаются своей девственности, их любительская ценность вылетает в трубу, и вы, мадам Тереза, как ходили в своих дешевеньких платьях, так и будете ходить. Советую вам: превратите писания в монету, пока на них есть спрос. Я успел убедиться, что у вас, мадам, нет коммерческой жилки. Но неужели же такая оборотистая дама, как ваша уважаемая матушка, не справится с этим бессильным идиотом, господином философом? А как только денежки окажутся у нас в руках, вы увидите, до чего живо они расплодятся. У меня будут мои конюшни, у вас — платья, драгоценности, роскошный экипаж, как и подобает такой

даме, как вы. Поговорите с вашей уважаемой матушкой. Я этого хочу! Я настаиваю!

Тереза знала: если бы что-нибудь можно было сделать с этими писаниями, мать давно сделала бы. Но ей льстило, что мосье Николас ревнует ее к молоденькому графу и что смотрит на нее не только как на женщину, с которой можно побаловать, но и как на подругу, с которой он обсуждает свои дела. А кроме того, она уже знала, что ему нельзя перечить, иначе худо будет. Она ответила, что передаст матери его совет. Николас милостиво и крепко шлепнул ее по задку и сказал, он-де сразу увидел, что имеет дело с женщиной, с которой разумный человек может повести разумную беседу.

Возвращаясь к себе по пустынному парку, Николас продолжал обдумывать свои планы. Ему нужно двести луидоров, о меньшем и разговаривать нечего, нельзя очень уж мелко начинать, надо взять свое первое препятствие в хорошем стиле.

Его деловые размышления были прерваны отчаянным лаем, и тут же на него кинулась собака. Он мгновенно соборазил, в чем дело. Господин философ, этот чудак, в последнее время всегда брал с собой в замок Леди. Проклятая псина с самого начала невзлюбила Николаса, а теперь станет еще помехой в его встречах с Терезой.

— Замолчи, мерзкая сука! — понизив голос, прикрикнул он по-английски, пытаясь унять лающую, взвизгивающую, рычащую собаку. — Это я, — громко сказал он по-французски, — я, мосье Николас, слуга господина маркиза.

— Сюда, Леди, — слышался успокаивающий голос чудака. Собака отбежала. Философ и конюх разминулись, и каждый пошел своей дорогой.

Терезу удивляло, даже немножко смешило, что оба ее воздыхателя так сильно интересуются писаниями Жан-Жака. Ну что ж, она попробует удружить и Фернана и Николаса.

Стараясь все это похитрей обставить, Тереза сначала заговорила с матерью о просьбе Фернана позволить ему заглянуть в бумаги Жан-Жака. А затем, безотчетно предавая своего миленка графа, продолжала так, словно это ей самой пришлось в голову.

— Может, и впрямь в болтовне Жан-Жака что-то есть, и враги его в самом деле правдами и неправдами

стараятся заполучить его книги и чего-то там подделать. Может, их надо скорее продать, а, мама? Иначе они потеряют свою любительскую ценность.

Мать зорко посмотрела на Терезу своими пронизательными глазами.

— Что они потеряют? — спросила она, ухмыляясь. — Любительскую ценность? Высечь бы тебя за эту твою любительскую ценность. Думаешь, я не вижу, кто стоит за этой трескотней? Твой молодчик, конюх Николас, проклятый кобель.

Тереза досадливо нахмурилась. Ее расстроило, что она так неловко все это сделала, но от матери все равно ничего не укроется.

Мадам Левассер с неумолимой логикой продолжала:

— Если бы у тебя котелок хоть немного варил, ты бы поняла, что конюх зарится не на остатки твоих прелестей, а на наши денежки. Или тебе это все еще неясно? И вообще-то ты дура, а как кровь у тебя заиграет, так последние крохи разума теряешь.

И она поглядела, как не раз уже, вождедеющим и сердитым оком на стол и ларь Жан-Жака. Она не нуждается в советах какого-то Николаса. Она сама давно бы превратила всю эту писанину в деньги, и не откладывая на завтра. Она не молоденькая, и ей хочется еще урвать что можно от этой благодати, ради того хотя бы, чтобы доставить радость дорогому сыночку Франсуа. Но, к сожалению, ей пришлось научиться терпеливо дожидаться своего часа.

Она строго сказала Терезе:

— Покажу ли я писания Жан-Жака графу, об этом я еще подумаю. Я сама поговорю с ним, ты же смотри помалкивай, не то быть беде. А своему хахалю можешь сказать: если ему угодно облагодетельствовать меня своими советами, пусть этот плут соблаговолит собственной персоной пожаловать ко мне. Я уж вправлю ему мозги.

Оставшись одна, она долго и всесторонне обдумывала, как ей быть. Конюха Николаса она ни при каких обстоятельствах не подпустит к письменному столу и к ларю. Что же до молодого графа, то пусть себе копается в этом ворохе бумаги. Не мешает иметь про запас такого голубочка.

Глава двенадцатая

«ИСПОВЕДЬ»

В груди Фернана, после того, что случилось, бушевали такие смятенные чувства, каких он еще не знал никогда.

Он согрешил против Жан-Жака, Жильберты, Терезы, он осквернил себя и других.

Между тем то, что он испытывал и испытывает к Терезе, не походило только на грубое вожделение и животную страсть, охватившие его в тот первый раз — в Париже и в следующий раз — здесь, в деревне. Но и любовью это назвать нельзя было; уж одно сравнение его чувства к Жильберте с тем, что он питал к Терезе, было бы кощунством. К Терезе его влекла ее глубокая первобытность, сама природа, воплощенная в ней. Она — кусок глины, лишенный каких-либо признаков мысли, болото, грязь, в то же время она и свет, отраженный в болоте. Но ее тоже влекло к нему нечто большее, чем простое вожделение. Как она сказала: «Для вас я не только это сделаю», — в бархатном тембре ее голоса прозвучала такая нежность, что он в жизни этого не забудет. Она любила его, любила.

Как все сложится в дальнейшем? Как он посмотрит в глаза Жан-Жаку? Что будет, когда вернется Жильберта?

Самое мудрое было бы вырвать из груди чувства к Терезе, как острие отравленной стрелы. Но если он прекратит встречи с Терезой, попросту сбежит от нее, ведь это будет трусость, подлость, разве не так? Он не имеет права уклоняться от ответственности. Еще только один раз он должен ее повидать, объяснить, что для них обоих было бы лучше избегать друг друга. Но он боится себя самого. Он испытывает омерзение к себе за свой поступок, и его тянет все повторить еще и еще раз.

И опять он пошел в Летний дом, когда Жан-Жак, как обычно в эту пору дня, гулял. Идти туда — уже в этом одном были и щемящая горечь, и жгучее сладострастие.

Он постучал. Беззвучный голос ответил:

— Войдите!

Он вошел. Застал одну мадам Левассер. Почувствовал глубокое разочарование и... вздохнул с облегчением.

Старуха была довольна, что может поговорить с Фернаном с глазу на глаз. Он, вероятно, пришел насчет писаний Жан-Жака, сказала она, дочь передала ей его просьбу.

— Но,— продолжала она,— то, что вы от нас требуете, господин граф, мы, по правде говоря, не вправе делать. Мой зять пожелал, чтобы до его смерти никто не видел его сочинений.— Она взглянула на Фернана острыми маленькими глазками.— А почему, собственно, вы не спросите разрешения у него самого? — перебила она себя.— Ведь вы так часто с ним встречаетесь.— Он смущенно молчал.— Наш Жан-Жак странноват, это верно,— поспешила она на помощь Фернану,— но вы его искренний друг, я это вижу, да и мой уважаемый зять это говорит. Стало быть, я сделаю вам одолжение,— милостиво снизошла она.— Однако мы должны быть осторожны. Приходите только в те часы, когда будете совершенно уверены, что он не застанет нас врасплох.

Фернан пролепетал слова благодарности. Она лукаво погрозила пальцем.

— Ну и хитрец же вы, мой юный граф, дочь мою вы уже обворожили, а теперь и я, старая женщина, из-за вас впервые в жизни обманываю человека. Стало быть, приходите завтра.

Фернан ушел подавленный. Почему он не обратится прямо к Жан-Жаку, спросила мадам Левассер, даже она увидела, как недостойна его затея. Нет, он не пойдет завтра в Летний дом, не будет украдкой рыться в рукописях Жан-Жака.

Назавтра он пошел в Летний дом. Мадам Левассер дала ему две тетради.

— Всего в пачке семнадцать тетрадей,— сказала она.— Я пересчитала. Мне приходится хорошенько запоминать, в каком порядке лежат в ларе и в ящиках стола тетради, чтобы я могла потом все в точности положить на прежнее место.

Тереза была в комнате и занималась какими-то домашними делами. Она не сводила с Фернана глаз, она так давно его не видела. Он был смущен, ее присутствие мешало ему.

— А нельзя ли взять эти тетради домой? — спросил он наконец.

— Да что вы, дорогой граф,— возмутилась мадам Левассер.— Как будто мы и без того недостаточно рискуем. Садитесь-ка за тот стол,— скомандовала она, показывая на кресло у письменного стола Жан-Жака.

Фернан нерешительно сел. Разве то, что он собирается совершить, не святотатство? Сидеть за письменным столом

учителя и рыться в его тайнах, да еще в присутствии его жены, которую он, Фернан, запятнал, — это чудовищно! Но он прыгнул в водоворот — и возврата нет.

Он открывает первую тетрадь. Заголовок «Воспоминания» перечеркнут и вместо него красивым, твердым и в то же время изящным почерком Жан-Жака выведено: «Исповедь».

Он читает:

«Я принимаюсь за труд, которому нет примеров в прошлом, никогда не будет и впредь. Я хочу показать созданиям, себе подобным, человека в его истинном свете, в его ~~с~~тестве. Показать себя.

Только себя. Я хорошо знаю свое сердце и знаю людей. Я не похож ни на одного из тех, кого я встречал, и смею думать, ни на кого из моих современников. Возможно, что я не лучше других, но я, во всяком случае, иной.

Когда раздастся трубный глас Страшного суда, я предстану перед всевышним судьей с этой книгой в руках и заявлю: здесь записано все, что я делал, что думал, чем был. Я не утаил своих пороков, не приукрасил себя добродетелями. Я представил себя таким, какой я есть, временами — презренный и низкий, временами — добрый, благородный и великий. Пусть бесчисленное множество современников услышат мою исповедь, вздохнут о моих пороках, с краской в лице узнают о моих злоключениях. И тогда пусть хоть кто-нибудь дерзнет перед ступенями твоего престола, о всевышний, сказать: «Я был лучше этого человека».

Фернан продолжал читать, и ни с чем не сравнимые по ясности Жан-Жаковы строки действительно потрясали его своей до ужаса обнаженной правдивостью. Он никогда не представлял себе, что может найтись человек, у которого хватило бы мужества так глубоко вгрызаться в собственное «я». Как бесстрашно разворошены здесь недра души, с гораздо большей отвагой, чем все земные недра, вместе взятые. Чудо из чудес, что тот, кто дерзает проникнуть и заглянуть в эти зловещие тайны, не теряет рассудка.

Фернан читал о первом телесном наказании, которому подвергся восьмилетний Жан-Жак. И как это наказание, осуществленное рукой красивой тридцатилетней женщины, пробудило в маленьком мальчике нечто вроде сладострастия, преждевременного пробуждения полового чувства и как это переживание на все времена определило направлен-

ность его желаний, страстей, характер его чувственности.

И Фернан читал о том, как в девять лет Жан-Жак впервые познал несправедливость. Как его мучили за проступок, которого он не совершил, и как он настаивал на своем, «упрямился», по мнению окружающих, и не сознавался в том, чего не делал, и, хоть и истерзанный, но все же вышел из этого испытания победителем. «Вообразите себе мальчика,— читал Фернан,— застенчивого и послушного, привыкшего к разумному и мягкому обхождению. И вдруг по отношению к такому мальчику совершают несправедливость, и совершают ее те самые люди, которых он больше всех на свете любит и почитает. Какое крушение всех понятий, какой перелом в душе, переворот в мыслях. Как ни сильна была физическая боль, она не причиняла мне особых мучений: меня душили негодование, ярость, отчаяние. Когда наконец я лег в постель, я дал волю своему гневу, я сел на свой бедный зад и во все горло прокричал раз сто: «Carnifex! Carnifex! Carnifex! Палач! Палач!» Еще и сейчас, когда я пишу эти строки, мой пульс учащенно бьется, и если бы я прожил сто тысяч лет, те минуты все равно не потускнели бы в моей памяти. Это первое столкновение с насилием и несправедливостью так глубоко запечатлелось в моем сердце, что оно начинает бешено биться всякий раз, как я вижу несправедливость или слышу о ней, безразлично к кому бы она ни относилась; оно бьется так, словно жертва ее — я сам. В тот день кончилось мое беззаботное детство».

И Фернан читал о том, как восемнадцатилетний Жан-Жак, в ту пору лакей в богатом доме, без всякой видимой надобности украл старую ненужную серебристо-розовую ленту и взвалил вину за воровство на милую горничную, безобидное существо, не причинившее ему никакого зла. Жан-Жак образно рассказывал об этом, он ничего не старался объяснить, это попросту было так, и Фернан пришел в ужас от всемогущества безрассудного и злого начала, вновь и вновь одолевающего даже таких людей, как Жан-Жак.

Все глубже и беспощадней погружался Жан-Жак в темный и вязкий лабиринт своего «я». Рассказывал о все новых «смехотворных и жалких» поступках и пристрастиях. О наивных утехх плоти и об изощренных наслаждениях в мечтах.

И Фернан читал о горьких, тяжелых разочарованиях Жан-Жака в друзьях. Среди них были величайшие мужи своего времени — Дидро, Мельхиор Гримм, создатели Энциклопедии, сам великий Вольтер, и почти все они сплотились против Жан-Жака, предали его и подвергли преследованиям. Все эти люди оказались тщеславными, мстительными, ослепленными, их учтивые, значительные лица были масками, за которыми скрывались перекопанные звериные морды, и единственный, кто устоял перед беспощадным судом Жан-Жака, был Жан-Жак.

Три дня приходил Фернан по утрам в Летний дом и читал объемистые тетради «Исповеди». Мадам Левассер давала ему их вразбивку, но он не возражал. В любую из тетрадей он впивался с мучительным увлечением. Ему хотелось читать медленно, внимательно, но он читал быстро, лихорадочно, нетерпеливо. Ведь необходимо быстро читать, не так ли? А вдруг это сумасшедшее счастье оборвется, вдруг мадам Левассер передумает, или его тайное занятие будет кем-либо предательски раскрыто, или какой-нибудь завистливый случай вообще все расстроит?

Женщины хозяйничали, в окна заглядывали деревья, канарейки распевали в своей клетке. Фернан читал. Иногда присутствие Терезы, как он ни противился внутренне, отвлекало его. Но подчас его отвлекало именно то, что ее не было в комнате. Воображение рисовало ему, что она лежит в объятиях Николаса, и адовы муки, горевшие в словах Жан-Жака, сливались с невыносимыми картинами близости Терезы и Николаса и раздирали ему душу.

Он читал все, что рассказывал Жан-Жак о семействе Левассер. Читал об этой горькой и смешной истории, как брат Терезы сержант Франсуа, этот «американец», украл шелковые сорочки. Читал, как мадам Левассер и вся ее семья безбожно обирали «удивительно безответную» Терезу. Как сверх того старуха, внешне вкрадчиво-ласковая, даже заискивающая, шпионила и выдавала Жан-Жака его врагам. «Алчность,— читал он,— я мог еще простить ей, но притворство — никак. Ее низость была мне настолько отвратительна, что порой я лишь с трудом скрывал свое презрение». Фернан был раздавлен сознанием, что вот и он воспользовался теперь услугами этой коварной старухи, и в то же время злорадствовал: ведь мадам Левассер собственноручно предоставила ему возможность прочесть все то плохое, что Жан-Жак написал о ней.

И о своем недуге рассказывал Жан-Жак, об «органическом расстройстве мочевого пузыря, влекущем за собой почти постоянное расстройство мочеиспускания». Здесь было черным по белому описано, как в Фонтенебло, после блестящего успеха оперы «Деревенский колдун», гофмаршал пригласил его явиться на следующий день во дворец, он-де его представит королю, и тот назначит Жан-Жаку ежегодную пенсию. «Первая моя мысль,— читал Фернан,— была о моей частой потребности выходить по нужде. Уже во время представления оперы это меня невыносимо терзало, и я был уверен, что на следующий день, в покоях короля, среди всех этих вельмож и дам, мой недуг еще мучительнее даст о себе знать. Мне делалось дурно от одной мысли, какой будет скандал, если на глазах у короля мне придется убежать. Лучше умереть. Только тот, кто сам испытал это состояние, знает, как ужасно одно его приближение». Значит, Тереза была права. Не гордость гражданина, а болезнь мочевого пузыря заставила Жан-Жака сделать благородный жест. И все-таки Терезино упрощенное понимание этого события неверно: Жан-Жак говорил и о других мотивах — мотивах искреннего гражданина. В простых, убедительных словах он описывал, как старался не льститься на золото и почести, чтобы сохранить независимость, и как поссорился со своим другом Дидро, который еще и после того настоятельно советовал возбудить ходатайство о пенсии. Именно эта беспощадная четкость, с какой Жан-Жак излагал все свои мотивы, толкала Фернана от восхищения к разочарованию и от разочарования к преклонению.

Потом Жан-Жак с презрением рассказывал, как один из его друзей, пожилой человек, изуродованный подагрой, расслабленный чрезмерными чувственными наслаждениями, старался увлечь Терезу, пуская в ход самые подлые и бессовестные средства: деньги, отвратительную книгу, грязные картинки. Стыд и жестокое раскаяние душили Фернана. Если Жан-Жак с таким презрением говорил о своем старом лжедруге, то как же велико было бы его возмущение им, Фернаном, своим учеником, полуребенком, который подошел к подруге учителя с грязными руками и с грязными помыслами. Но не дико ли: вот же гложет его раскаянье, а присутствие Терезы все-таки горячит его кровь. Эта женщина словно щекотала его, вызывала отвращение и возбуждала так, как ничто и никогда не возбуждало. Он силился представить себе Жильберту,

надеясь, что ее чистый образ прогонит плотское желание, возникавшее от близости Терезы. Тщетно. Он попытался вернуться к «Исповеди» и не мог читать дальше.

Он побежал на озеро, он плавал долго и стремительно, точно грязь с души можно было смыть водой.

Глава тринадцатая ПРОДОЛЖЕНИЕ «ИСПОВЕДИ»

Жиарден и мосье Гербер были приятно удивлены, когда в один из этих дней Жан-Жак, не предупреждая заранее, появился в замке с женой и тещей. А Фернан не знал, о чем говорить с ними, куда глаза девать. Мадам Левассер взглянула на него с едва заметной плутоватой улыбкой, и в сонном лице Терезы тоже мелькало веселое лукавство.

Жан-Жак, как всегда, держал себя просто и естественно, оживленно разговаривал с маркизом и даже мосье Гербера втянул в общую беседу. Застенчивый Гербер рассказал, как он и Фернан, когда тот был еще ребенком, устраивали спектакли кукольного театра и с каким увлечением и талантом маленький Фернан играл в них. Он умолчал о том, что в часы досуга сам сочинял для этих спектаклей наивные пьесы и что это доставляло ему большую радость. Жан-Жак с явным одобрением слушал рассказы эльзасца и, когда тот кончил, сказал:

— А что, граф Фернан, не устроить ли и нам маленький спектакль? Давайте, например, поставим моего «Деревенского колдуна», хотите?

Дружеский тон ничего не ведавшего Жан-Жака потряс Фернана.

Прощаясь, учитель сказал:

— Вы придете завтра, Фернан?

Никогда еще Жан-Жак так прямо не приглашал сопровождать его на прогулке; Фернану стало не по себе.

И на следующее утро Жан-Жак был настроен мирно, дружелюбно, меланхолически-весело. Фернан шел рядом с ним, чувствуя себя самым подлым лицемером, которого когда-либо носила на себе земля. Он был молчалив, его живое лицо выдавало душевную растерянность, как ни старался он скрыть ее. Он надеялся лишь, что Жан-Жак ничего не заметит.

Но тот вдруг спросил:

— Что с вами, Фернан? Мне кажется, что вы чем-то угнетены. Тоскуете по вашей подруге?

Фернан сгорал от стыда и муки; ему хотелось зареветь как маленькому ребенку.

Все же назавтра, когда Жан-Жак в обычный час отправился на прогулку, Фернан явился в Летний дом; вынужденное ожидание только усилило его неистовую и сладостную жажду этой отравы — читать, читать дальше, еще и еще копаться в тайнах учителя.

И случилось так, что именно в этот день он узнал о чудовищном и страшном факте. Распространяемые врагами Жан-Жака слухи, которые он, Фернан, отвергал как злостную клевету, оказались правдой. Вот тут все написано изящным, твердым почерком Жан-Жака, его недрогнувшей рукой; он действительно требовал от Терезы, чтобы их детей подбрасывали в Воспитательный дом, и не одного, а всех. И об этом леденящем душу поступке, оскорбляющем человеческую природу и человеческие чувства, он повествовал как о самом обычном, самом естественном явлении в мире. Повествовал со всеми подробностями, не стремясь «ни оправдать себя, ни обвинить». Он избрал этот «выход из затруднений» весело и смело, без малейших колебаний, и перечислял доводы в оправдание своего поступка — ясные, прозаические, будничные. Во-первых, так уж оно повелось. Во-вторых, он хотел спасти честь Терезы, с которой еще не состоял в законном браке. В-третьих, он лишь следовал собственным принципам: как гражданин и отец он предпочитал сделать из своих детей ремесленников и крестьян, а не авантюристов и ловцов счастья. Только одна трудность стояла на его пути: надо было сломить сопротивление Терезы. Как ни странно, по нелегко было убедить ее такой ценой спасти свое доброе имя и честь. «Она подчинялась, горько рыдая», — рассказывал Жан-Жак.

Фернан читал это в присутствии той самой женщины, у которой «отбирали ее новорожденных», и сердцем он был с Терезой; простые, циничные слова Жан-Жака заставляли его содрогаться. Какую муку должна была претерпеть эта ограниченная, слепо следующая своим инстинктам женщина, когда у нее отбирали детей!

Фернан вернулся к ранее прочитанному. Заново перечитал все, что Жан-Жак писал о Терезе. Он читал

с жгучим, невыносимым любопытством, жадно перевертывая страницы, пожирая каждое слово, которое относилось к Терезе. Было здесь много критически-холодного и сердечно-теплого, низменного и искренне возвышенного.

Фернан читал, как Жан-Жак впервые увидел Терезу в маленьком захудалом отеле «Сен-Квентен», и как он, тронутый ее скромностью и кротким, чистосердечным выражением глаз, защитил ее от нахалов, грубо подтрунивавших над ней, и как она отблагодарила его тем, чем могла, — отдалась ему. Как вскоре затем между ними возникло недоразумение. Тереза, впервые переспав с ним ночь, повела загадочные речи о каком-то признании, которое она должна ему сделать. Он с ужасом подумал, что она больна и заразила его. Несколько дней, встречаясь, они избегали прямого разговора, пока наконец она не спросила, не заметил ли он, что она уже не девственница. «Как только я понял ее, — рассказывал Жан-Жак, — я радостно воскликнул: «Девственность! Кто надеется найти ее в Париже? Да еще у двадцатилетней девушки. Ах, дорогая моя Тереза, как я счастлив, что ты такая порядочная девушка, а главное — здоровая».

И Фернан читал: «Вначале я ничего другого не искал, кроме развлечения, а нашел спутницу жизни. Я думал только об удовлетворении страсти, а воздвиг фундамент своего счастья».

Потом, однако, Фернан прочел: «В первое время я пытался развить ее ум. Напрасный труд. Ее внутренний мир остается таким, каким его создала природа; она не поддается никакому воспитанию. Я без краски в лице признаюсь, что она так и не выучилась как следует читать, а пишет с грехом пополам. Целый месяц я старался научить ее, как определять время по часам; она по сей день не умеет этого сделать. Она не умеет подряд перечислить название месяцев, у нее нет ни малейшего представления о самых простых правилах арифметики. Она неправильно сочетает слова и часто говорит противоположное тому, что думает. Ее невежество, ее ляпсусы — излюбленная тема для пересудов среди моих друзей; однажды, чтобы позабавить мадам де Люксембург, я составил целый список комических выражений Терезы. Однако в затруднительных случаях эта ограниченная и, если угодно, глупая женщина нередко поражала меня своими верными

суждениями, а ее советы неоднократно уберегали меня от серьезной опасности».

И снова: «Но даже самое полное слияние двух тел никогда до конца не удовлетворяло меня. Мне всегда страстно хотелось слияния двух душ в одном теле». Потом еще: «У меня с Терезой в конце концов нет никаких общих мыслей и представлений, а окружающая природа пробуждает во мне чувства, которые она не в состоянии разделить со мною. В деревенском же уединении нужен друг, который может понять твои чувства».

Фернан читал, изумленный, потрясенный. Вот в одной комнате с ним сидит Тереза во плоти, не подозревая, что здесь, на страницах рукописи Жан-Жака, живет другая Тереза, превозносимая за свою доброту и преданность, но беспощадно оголенная, во всем своем убожестве и ничтожестве; Тереза призрачная и бессмертная и гораздо более реальная, чем та, живая, которая сидит тут, рядом.

«Я всегда считал день, соединивший меня с моей Терезой, днем, который окончательно определил мой внутренний мир. Наш союз прошел испытание временем и всеми превратностями судьбы и лишь стал теснее от ударов, которые могли бы его разрушить».

Но на следующей странице было сказано: «Что же подумает читатель, если я со всей присущей мне правдивостью, в которой он, вероятно, уже убедился, заявлю, что с первой минуты, как я увидел Терезу, и по сегодняшний день я не испытал к ней ни искорки любви. Близость с ней удовлетворяла мои чувственные потребности, но это только потребности тела, не имеющие ничего общего с моей личностью». Так здесь было сказано, обнаженно, цинично. Фернан был подавлен.

И дальше Жан-Жак заявляет ясно, коротко, черным по белому: «Она лишена даже тени какой бы то ни было неестественности или кокетства. Мне ничто не угрожало со стороны посторонних мужчин. Я уверен, что, кроме меня, Тереза никого по-настоящему не любила, и ее умеренная чувственность никогда не толкала ее к другим мужчинам, даже после того, как я перестал быть ей мужем».

Фернану показалось, что он что-то, по-видимому, не понял, он перечел последние строки во второй и в третий раз.

Как могло случиться, чтобы человек, заглянувший в тайны природы и в отношения людей глубже, чем кто бы то ни было, мог быть так слеп, когда дело касалось собственной жены, с которой он прожил жизнь!

В самом ли деле он так слеп? Или он хочет быть слепым? А величие, соединенное со столь удобной слепотой,—вправе ли оно еще называться величием?

Но кто такой он, Фернан, дерзнувший быть судьей Жан-Жака? Да, он тщательно изучал произведения Жан-Жака, несколько недель живет с ним бок о бок, и, оказывается, он ничего о нем не знал и ничего вообще не понимал.

А теперь Фернан что-нибудь знает о нем? Может ли быть, чтобы в одном лице соединялись тот, кто на страницах «Исповеди» жил чудовищной, бесстыдной жизнью, терпел неслыханные муки и причинял другим неслыханные муки, и тот, кто вчера так мирно гулял с ним, собирал гербарium, способен был пожалеть каждого бедняка и любую живую тварь? Кто же из этих двух подлинный Жан-Жак? Тот простой человек, который заговаривал с каждым лесным сторожем и выслушивал поучения папаша Мориса, хозяина трактира «Под каштанами», или тот, кто ставит себя в пример всему человечеству?

«Таков я, Жан-Жак, гражданин Женевы. Есть ли на земле еще кто-нибудь, кто так глубоко познал бы ужасы жизни? На долю которого выпало бы больше страданий, чем на мою? Ессе homo. Все не правы, кроме меня».

А, если это так? Если Жан-Жак прав, а все остальные не правы? Разве нет у него в таком случае оснований для беспредельной гордости? Ведь это он провидел и открыл Новый Свет. Он более смелый первооткрыватель, чем Колумб. Иначе как устоял бы он, такой хилый телом, под тяжестью своих огромных знаний? Разве удержался бы он на ногах без своей непомерной гордыни?

Смешанное чувство восхищения, испуга, сострадания, благоговенья и легкого цинического презренья волновало Фернана. И оттого что фигура Жан-Жака, чем больше он узнавал о нем, представлялась ему все непонятнее и неопределеннее, все другие люди тоже теряли свои определенные очертания. Образы его близких бесконечно менялись. Устойчивой действительности не существовало более. Жизнь, которую Фернан видел вокруг себя,—это была всего-навсего поверхностная тонкая корка; и лишь под

ней начиналась настоящая многообразная и непостижимая жизнь.

Все последнее время Фернан почти не спал. По ночам он мысленно видел перед собой изящные, четкие буквы на страницах «Исповеди», они оживали, превращались в людей и предметы, о которых повествовали. Он сам, Фернан, был Жан-Жаком. Совершал уродливые преступления Жан-Жака. Жил на содержании возлюбленной намного старше его. Отрекался от своей веры. Отрекся потом и от новой веры, чтобы вернуть себе право гражданства в своем родном городе Женеве. Любил женщин, которыми никогда не обладал, и обладал женщинами, которых никогда не любил. Подкидывал собственных детей, плоть от плоти своей. Предавал друзей. Обвинял себя и приводил в свое оправдание никчемные доводы. Презирал себя и бахвалился этим презрением. И что бы он ни делал, он всегда был прав. Он чувствовал себя единственным праведником на земле. И что самое удивительное: он был им.

Эти дни, эти недели Фернан жил не в Эрменонвиле, он жил в мире Жан-Жака, в чудовищном мире «Исповеди». Его собственный мир был теперь таким же. Ведь если бы он, Фернан, с той же правдивостью, что и учитель, описал свою юную жизнь, разве не оказались бы и в ней такие же страшные пропасти, как те, в которые падал Жан-Жак? И он, Фернан, не любит Терезу, у него нет с ней ничего общего, никакой большой, безумной страсти он к ней не питает, а если он близок с ней, если обманывает учителя и погряз в болоте, то потому лишь, что низменное, грязное влечет его к себе, потому что он насквозь испорчен. А что он еще вдобавок ко всему ходит в Летний дом и копается в тайнах учителя, что это, как не безмерная подлость?

Но запретность, бессовестность этого чтения делали его только более захватывающим. И пусть бы пришлось расплатиться за него еще более жгучими муками, он все равно с жадностью продолжал бы вкушать от древа познания. Что по сравнению с глубокой двуликой мудростью этой книги все истины, провозглашенные великими мыслителями древности, или откровения Библии, или учения классиков его родной Франции? Каким страшным, испепеляющим правдолюбием обжигают страницы «Исповеди», какой сокрушающей, благодатной страстью к двуликому Янусу познания!

Глава четырнадцатая ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

На долю Фернана выпала нелегкая юность. Мосье де Жирарден, с удовольствием и с гордостью вспоминая о временах, когда он служил генералом, весьма огорчился, что у Фернана нет вкуса к дисциплине и склонности к военному делу. Стремясь закалить мальчика, он послал тринадцатилетнего Фернана в военное училище, славившееся своей строгой муштрой. Это учебное заведение посещали главным образом сыновья богатых представителей третьего сословия и чиновной знати. Учителя и начальники, стараясь подчеркнуть свое полное пренебрежение к титулу графа Брежп, обращались с Фернаном особенно сурово; товарищи — сознательно или бессознательно — также проявляли недружелюбие к будущему сеньору Эрменонвиля, перед которым открывалась легкая и блестящая карьера: они чурались его или открыто выказывали неприязнь. Чувствительного Фернана терзали физически и морально, порой он думал, что не вынесет этого больше, не дотянет до конца. Позднее, когда отец взял его с собой в дальнее путешествие и он, Фернан, убедился, как горячо отец его любит, и еще позднее, когда он нашел в Жильберте свое большое счастье, он твердо поверил, что вместе с канувшими в лету горчайшими годами военного училища он навсегда избавился от самого страшного, что может быть у него в жизни. А теперь он по собственной вине запутался в таких похождениях, что по сравнению с их ужасающей гнусностью годы в училище в полном смысле слова — детские игрушки.

Он решил во всем признаться учителю. И не смог, сосовал.

Он решил написать Жильберте, другу сердца, рассказать ей о своем запретном чтении, исповедаться в своей связи и сообщничестве с Терезой и сделать это с такой же фанатической откровенностью, с какой рассказал о своей жизни Жан-Жак. Как только все, что его угнетает, будет черным по белому излито на бумаге, он, быть может, выкарабкается из пропасти, куда его завлекла неслыханная дерзость.

Только еще обдумывая это решение, он уже знал, что не выполнит его. Ему отказано в способности говорить о своих мерзких, грязных делах с мужественной делови-

тостью Жан-Жака. Он приукрасил бы свои поступки, он мелодраматично обвинял и оправдывал бы себя, он хныкал бы по поводу своей испорченности. И все было бы ложью. Ему вовсе не хочется расстаться с этой испорченностью, ни за что на свете. Он горд тем, что он такой, какой есть.

И связь с Терезой он вовсе не хочет рвать. Он содрогался, когда думал о Терезе, но знал, что стоит ей сказать своим грудным ленивым голосом: «Не желаете ли, господин граф, пройти со мной?» — и где бы он ни находился, он вскочит и побежит за ней. Жаркая похоть, исходившая от нее, ее запах, ее бездонная невинная развращенность, ее медлительная, дразнящая походка, усилие, с которым она нанизывала слова, чтобы выразить свое глухое нутро, даже отвращение, которое она ему внушала, — все это были звенья одной цепи, которой она его опутывала.

Тереза не предложила ему пойти погулять с ней, когда они в первый раз после их сближения увиделись. Ее разочаровало, что он так смущен и сдержан. Что же, может, он раскаивается, что полюбил ее? Или, может, растратил всю свою любовь в том единственном объятии? Но инстинкт подсказывал ей, что это не так. Просто он граф и поэтому стесняется. Теперь она почти безвыходно сидела дома, когда он читал рукописи Жан-Жака, и с удовлетворением отмечала про себя, что ее присутствие кружит ему голову; стоило ей только глянуть на него, и он утрачивал спокойствие. Но она не поощряла его.

Два раза Фернан не заставлял ее дома, и оба раза она, как он с горечью, издевкой и яростью догадывался, была с Николасом. Но удовольствия эти встречи ей не доставили. Она боялась рассказать Николасу, что мать отвергла его совет предпринять что-либо с писаниями Жан-Жака. А Николас ждал и, так как она отмалчивалась, спросил в упор:

— Вы говорили с вашей уважаемой матушкой, мадам?

— Еще нет, — ответила она робко.

Он сердито насупился, замолчал, а когда она попыталась обнять его, отстранился и заявил, что сегодня ему не до глупостей.

— Для этого у тебя есть твой графчик, — сказал он едко, и она поняла, что, пока не уладит дело с писаниями Жан-Жака, Николас не подарит ей своей любви.

Зато Фернан, приходивший обычно днем, вдруг явился

как-то вечером, когда Жан-Жак был в замке. Обе женщины сразу поняли, что он пришел за Терезой.

Тереза надеялась, что Николас воспользуется этим вечером, она долго ждала его; однако, желая, очевидно, ее наказать, он не пришел. Она была раздражена и злыми глазами смотрела на Фернана. Старуху возмущала глупость дочери; она решила помочь молодому графу.

— Отчего бы вам с Терезой не прогуляться? В такую теплую ночь хорошо подышать свежим воздухом, — сказала она без дальних околичностей.

Фернан беспомощно и вопросительно посмотрел на Терезу, но Тереза, бесстыдно глядя на него, протянула:

— Мне сегодня неохота.

Фернан, посрамленный, ушел. Он бежал сквозь ночь, уничтоженный, изнемогая от ярости. Но ярость его обратилась не против Терезы, а против Жан-Жака. После чудовищного зла, которое тот причинил Терезе, она другой и не могла быть. Фернан все больше распалялся против учителя. Он, проповедующий в «Эмиле» самые благородные, самые мудрые принципы воспитания, попросту обязан был сам вырастить своих детей.

Женщина, которой пришлось столько вытерпеть, заслуживает сострадания, Фернану хотелось приласкать ее. Воспоминание об ее глазах волновало его. Необузданные, сладострастные образы «Исповеди» запленили его, смешались с игрой собственного воображения. Он мечтал об объятиях, еще более жарких, еще более неистовых, чем в тот раз, на берегу озера.

Тереза, которую Николас и в последующие встречи отстранял от себя, в свою очередь, раскаивалась, что так нехорошо обошлась с молоденьким графом. Теперь она обоих лишилась. А ведь граф ничего дурного не думал, он попросту мечтатель, ребенок, глупый и неловкий. Нельзя углублять их нарочитый разрыв, не то плакала эта милая дружба. Всего только раз побаловаться с ним — такое ей и в голову не приходило.

Она подстерегла Фернана. Именно так, как ему грезилося, как он того боялся, она сказала:

— Не пройти ли нам с вами как-нибудь опять, господин граф?

Они встретились в тот же вечер. Все было, как в его мечтах, шквал страсти смыл все колебания и, ослепив, с неистовой силой захлестнул его.

Потом они сидели на дерновой скамье под ивой. Тереза исходила нежностью.

— Фернан,— сказала она своим грудным голосом, упиваясь звучанием этого имени.— Ведь я могу называть тебя Фернаном, да? — спросила она гордо и влюбленно. Впервые она обращалась к нему на «ты».— С аристократами мне еще никогда не приходилось это делать,— сказала она раздумчиво.

Ей пора было домой, но она не уходила. Фернан ведь совсем не то, что Николас, он не просто возлюбленный, он действительно ее друг, с ним можно и поговорить. И со свойственной ей угловатостью она попыталась объяснить Фернану, что она совсем не безнравственная. Жан-Жак — добрейший человек, он — святой, но он не мужчина. Во всем виновата его болезнь. Даже когда он был молодой, давным-давно, он часто по нескольку месяцев, а иной раз по году не был с ней близок и лежал рядом неподвижный и бесчувственный, как кусок дерева. Она имеет полное право на настоящего мужчину, даже мать, а ведь она строга, признает это.

Фернан молчал и слушал.

— И потом, насчет детей. Этого он не должен был делать,— сказала она.

Фернан забыл, что только что держал эту женщину в объятиях; она перестала существовать, существовала только «Исповедь». Беспредельная жажда узнать правду, всю правду, снедала его. Конечно, то, что Жан-Жак рассказывал,— правда, но это всего лишь частица правды; только в том случае правда будет полной, если Фернан узнает то, что знала и чувствовала Тереза.

У него пересохло во рту. Он спросил:

— А действительно он отнимал у вас детей?

Тереза невозмутимо ответила:

— Да это же все знают.

Фернан допытывался:

— Всех пятерых?

Тереза удивилась и переспросила:

— Пятерых? Кто тебе сказал, что их было пятеро?

Двое.

Это был удар для Фернана. Неужели Жан-Жак лгал? Неужели в самой правдивой книге мира, с которой Жан-Жак хотел предстать перед Страшным судом, он лгал?

Тереза между тем продолжала:

— Оба раза я очень страдала. Ему-то было легко. Это были *мои* дети.

Фернан очень тихо переспросил:

— Не его?

Тереза своим невозмутимым голосом сказала:

— О чем ты? Я не расслышала.

Он с трудом, несколько громче повторил:

— Это были не его дети?

— Нет. По-настоящему — не его.

Фернан, делая над собой отчаянное усилие, продолжал:

— А он это знал?

— Возможно, — сказала Тереза. — Иначе он не поступил бы так жестоко.

Ночь была темной, Фернан почти не различал Терезы, он только слышал ее ровный голос. И он увидел перед собой изящным, твердым почерком написанные строчки «Исповеди», черные на желтовато-белой бумаге, рассказывающие эту историю без обиняков, убежденно и убеждающе, с множеством обоснованных доводов, разъяснявших, почему он, Жан-Жак, вынужден был действовать именно так, а не иначе. И все это ложь... «Иначе он не поступил бы так жестоко». Этот глупый, бездушный голос говорил правду, и все великолепное здание из принципов, чувств и признаний рушилось.

Фернан возмущился против учителя, но превозмог свое возмущение. Все было, конечно, не так просто, как он рисовал себе. Жан-Жак не лгал. С такой потрясающей искренностью писать для людей будущего, для Верховного существа можно лишь то, что думаешь в сокровеннейшей глубине души. Тереза с ее убогим разумом выбалтывает свою убогую правду. Но ведь действие рождается под влиянием множества смешанных в одно причин, в основе каждого поступка лежат благородные и низменные побуждения, неразрывно перепутанные, и нет истины, которая бы не состояла из множества правд.

Вот сидят они на дерновой скамье под ивой, на скамье Жан-Жака, и Тереза предает Жан-Жака, и он, Фернан, предает Жан-Жака, они объединились, чтобы предавать Жан-Жака. Одно мгновение Фернану кажется, что он прав, а в следующее — он презирает себя. И вопреки всему испытывает горькое, сладострастное, покаянное удовлетворение.

Тереза, окутанная тьмою, сказала жалобно и любовно:
— Я ни с кем, кроме тебя, не могу поговорить, даже с матерью.

«И даже с конюхом?» — подумал Фернан. А она, словно догадываясь своим примитивным умом, что в нем происходит, продолжала:

— С тобой, Фернан, я могу говорить, о чем хочу. Ты один мне друг, Фернан.

Глава пятнадцатая

CAVE CANEM!¹

В очередную встречу с Николасом она набралась мужества и рассказала ему, что говорила с матерью. Мать не хочет трогать писания Жан-Жака.

Николас потемнел.

— Видно, вы не очень умно повели разговор, мадам, — сказал он с язвительной вежливостью. И вдруг его прорвало: — У тебя труха в голове. От тебя прямо-таки разит глупостью. Бессмысленно что-нибудь советовать такой безмозглой бабе.

— Вы с самого начала знали, мосье Николас, что я не философ, — обиженно сказала Тереза. И, помолчав, прибавила: — Маменька говорит, если у вас есть что сказать ей, то потрудитесь сами это сделать.

— Только этого не хватало, — взбесился Николас.

Но, оставшись один, он задумался. Затягивать дело было рискованно. Каждую минуту к этой писанине мог подобраться ловкий делец, а то еще встрянет какой-нибудь идиот-идеалист из аристократов да всю кашу испортит умному человеку. Ничего не остается, как самому потолковать со старухой. В конце концов и для нее разумнее всего договориться с ним.

Он отправился к мадам Левассер с таким расчетом, чтобы застать ее одну. Попросил об откровенном обсуждении назревших вопросов, касающихся их обоих. Старуха оглядела его своими маленькими колючими глазками.

— Я не знаю никаких таких вопросов, но если у вас что-либо на уме, выкладывайте.

¹ Берегись собаки! (лат.)

— Вы, мадам, со свойственной вам проникательностью, несомненно, уже заметили, что между вашей многоуважаемой дочерью и вашим покорным слугой кое-что есть. Мадам Руссо пленила, так сказать, мое сердце. Это был удар молнии, как принято выражаться в вашей стране. И я горд и счастлив, что моя смиренная настойчивость увенчалась успехом.

— Я старая и, к сожалению, недостаточно сильная женщина: я не могу дать вам такую звонкую затрещину, какую вы заслужили,— сказала мадам Левассер.

Николас любезно улыбнулся.

— Вы закрываете глаза на положение вещей, мадам,— ответил он,— вы недооцениваете склонность вашей уважаемой дочери к вашему покорному слуге, и вы недооцениваете мою британскую настойчивость. Я не добиваюсь чего-либо недостойного, наоборот, хочу узаконить мои отношения с мадам Руссо.

Он встал и поклонился.

— Имею честь, мадам, просить руки вашей уважаемой дочери.

Старуха сухо ответила:

— Моя дочь замужем. Полагаю, что это вам известно.

— Вы, мадам, вынуждаете меня грубо и ясно изложить вам, как обстоит дело. Я всегда замечал, которая из моих лошадей вот-вот сыграет в ящик, и я вам говорю: господин философ недолго протянет. Шестьдесят шесть лет философией выворачивать себе мозги наизнанку — это уж значит стоять одной ногой в могиле. На случай чего — я под рукой. Как преемник, у которого серьезные намерения, я попросту считаю своим долгом заблаговременно, другими словами, уже сейчас объясниться с моей будущей многоуважаемой тещей.

— Вы, мосье, подобно епископу из Туля, попали пальцем в небо,— с дружелюбной иронией молвила мадам Левассер.— Хотя мой уважаемый зять хрупок от природы, но он здесь превосходно поправился, Тереза и я хорошо ухаживаем за ним. Как раз такие с виду слабые люди очень выносливы. Наш Жан-Жак еще долго проживет, будьте покойны.

— Хорошо,— ответил Николас.— Если вам угодно, не будем больше касаться состояния здоровья мосье Руссо. Но я, как сказано, сердечно увлечен вашей дочерью и, кроме того, любознателен от природы. Разрешите, мадам,

задать вам один вопрос. Как и почему столько времени не выходит ни одной новой книги господина философа? Я слышал, что он много работает, весь мир ждет его новой книги. Да тут же можно выручить пропасть денег. Почему такая умная женщина, как вы, не оседлает эту лошадку?

— На прямой вопрос полагается и прямой ответ,— дружелюбно сказала старуха.— Мой уважаемый зять из каких-то там философских соображений, недоступных моему разуму, а вашему и подавно, не желает, чтобы его новые произведения вышли в свет до его кончины. Он не хочет. Понятно вам? Баста. Точка. Все.— И она благодушно продолжала: — Из этой писанины деньги не выколотить. Зарубите себе это на носу, молодой человек, раз навсегда. В этом доме вам капиталов не нажить.

— Мне кажется, вы мне не доверяете,— меланхолически сказал Николас.— Но я вас понимаю. Я знаю людей и могу себе представить ваши рассуждения, мадам. Голодранец, говорите вы себе, лакей, господский слуга, чего нам с дочерью ждать от него? Но *кое-чего* ждать от вашего покорного слуги можно. Я больше чем простой лакей. Я был первым берейтором у мистера Тэттерсолла в Лондоне. Вам, мадам, это ничего не говорит, но парижской знати это говорит очень многое.— И Николас изложил ей свои планы.— Необходим только маленький основной капитал,— добавил он,— лундоров двести. Разумеется, я мог бы эти деньги раздобыть иным путем, но, повторяю, я равнодушен к вашей уважаемой дочери и хотел бы вас обеих взять компаньонками в дело. Вы улыбаетесь, мадам. Вы по-прежнему мне не верите. Но ручаюсь, ваши деньги размножатся. Первый же год принесет такой барыш, что мы все трое будем обеспечены до конца дней наших.

Старуха слушала не без интереса. Этот человек напоминал ей сына, сержанта Франсуа. Такая же дерзкая напористость, но этот, пожалуй, поумней Франсуа. Николас мгновенно заметил, что подул попутным ветром.

— Окажите мне хоть чуточку доверия,— взмолился он,— и вы не раскаетесь, право. Ведь душа болит, когда глядишь, как плохо вы здесь живете. Если господин философ считает, что природа и бедность — высшее благо, то вам, мадам, такая философия вряд ли по нутру.— Николас вошел в раж.— Вон лежат эти кипы бумаги. Неужели

вы, такая разумная женщина, не сумеете выручить за них каких-нибудь двести луидоров? Вложите эти деньги в мое дело, и я даю вам слово, слово честного человека, лошади-ника и британца: я женюсь на мадам Руссо, и мы все заживем как у Христа за пазухой.

Но интерес мадам Левассер к этому краснобаю и прожектеру уже остыл. Николас — не ее сын Франсуа, и у нее нет ни малейшего желания делить с ним состояние Терезы. Однако она вполне отдавала себе отчет в том, что помещанная на мужчинах Тереза влюблена в него, а этот молодчик способен на любую каверзу. Он не задумается с помощью Терезы украсть рукописи Жан-Жака или сделать какую-нибудь другую гадость. Стало быть, его нельзя дразнить, нельзя ему напрямик отказывать.

Она деловито объяснила, что реализовать рукописи Жан-Жака без его ведома нет никакой возможности. Покупатели раньше, чем заглотнуть крючок, непременно явятся к Жан-Жаку собственной персоной, чтобы из его уст получить подтверждение предложенной сделки; письменных документов, как бы тонко их ни составить, им мало. Увидев разочарованную мину насупившегося Николаса, мадам Левассер поспешила успокоить его:

— Не унывайте, мосье. Я не отвергаю ваших предложений. Но не будьте так нетерпеливы. Рукописи своей ценности не теряют, а здесь они у меня хранятся надежней, чем грош в кармане у господ бога.

На сей раз Николас отказался от мысли переубедить мадам Левассер. Нельзя чересчур натягивать вожжи, не то эта старая кобыла, того и гляди, лягнет.

Он попытался ослабиться. Старуха между тем, чуя за этим лбом недоброе, продолжала вразумительно уговаривать Николаса:

— Напрасно вы призываете смерть на голову моего дорогого зятя. Я уж не говорю о горе, которое причинила бы мне и Терезе его кончина, но это еще и жестоко ударило бы нас по карману. Старик до сих пор пишет, как молодой. Когда на него находит так называемое вдохновение, перо галопом летит по бумаге. Не успеешь оглянуться, как у него готова новая рукопись, и в результате наследство, которое когда-нибудь останется после него, вырастает на новых восемь — десять тысяч ливров. Только дурак может пожелать, чтобы курица, несущая золотые яйца, переселилась в лучший мир.

— Я понимаю,— сказал Николас,— и поэтому мирюсь с тем, что вы пока не желаете узаконивать мои отношения с вашей уважаемой дочерью. Но я ни от чего не отступаю,— продолжал он с хорошо наигранным молодежесством.— Я настойчив.

— В таком случае выпьем по рюмочке,— предложила мадам Левассер.

Она принесла абрикотин, присланный маркизом в Летний дом, они чокнулись, выпили и расстались чуть не друзьями, даже немножко сообщниками.

Но ликером мадам Левассер не смыла страха перед этим опасным малым. Едва за ним захлопнулась дверь, как лицо ее приняло выражение озабоченности и неприязни.

Да и Николас не проглотил своей досады вместе с превосходным ликером. Эта старая вислозадая кляча его не проведет. Это — враг. Она все сделает, чтобы не подпустить его к рукописям; уж она постарается, чтобы он вовек не увидел собственной скаковой конюшни. Но старуха проиграет игру. Николас сердито сплюнул тяжелый стук мокроты.

Как будто с единственной целью еще больше расстроить его, снова с отчаянным лаем на него накинулась Леди. Сдержанным голосом он прокричал в темноту, что это-де он, Николас, камердинер господина маркиза. Голос Жан-Жака окликнул Леди, Николас же, когда собака отбежала, разразился ей вслед целым градом проклятий, английских проклятий, и в его приглушенном голосе хлопотали ярость и бешенство.

Через несколько дней, когда Жан-Жак вышел утром из дому, чтобы отправиться на обычную прогулку, конура Леди была пуста. Он покачал головой. Только однажды случилось, что собака не выбежала ему навстречу.

В обед Леди тоже не появилась, и Жан-Жака охватил панический страх. Он не сомневался, что это происки его старых врагов Гримма и Дидро. Чтобы досадить ему, чтобы лишить его сторожа, они извели Леди, это прекрасное животное. Какая низость, какая бессмысленная жестокость. Но он все-таки еще сдерживал себя. Когда же и на следующий день собаки нигде не оказалось, страх, ужас, безумие прорвались наружу.

— Это все Гримм и Дидро,— бушевал он.— Они проникли и сюда! Новые наскоки. Новые преследования. Они не оставят меня в покое. Любыми средствами хотят они

известить меня. Я погиб, я должен бежать! За границу! За океан!

Мадам Левассер старалась урезонить его. Напрасно. Но на следующий день Тереза приготовила ему успокоительное питье, настой из трав, в целебные свойства которых он верил; он выпил и потребовал вторую чашку. К вечеру он успокоился и все говорил о том, как благотворно на него действует мир и тишина Эрменонвиля.

Мадам Левассер, однако, отнюдь не успокоилась. Зять ее, к сожалению, прав. Против него ткалась сеть злейших умыслов. Конечно, не теми, кого он подозревал. Она догадывалась, кто убил собаку. У этого молодчика все семь грехов написаны на лице, он способен на любые, гораздо более страшные злодеяния.

Необходимо устранить его с дороги. Она пошла к Жи-рардену.

— Вы знаете моего зятя, господин маркиз,— начала она.— Как у всякого философа, у него есть свои причуды, свои прихоти. Как это ни жалко, может быть, но он питает неприязнь к мосье Николасу. Говоря прямо, он его не выносит. Мосье Николас, несомненно, замечательный человек, но лучше ему и близко не подходить к Летнему дому.

Жи-рарден кое-что слышал о заигрывании мадам Руссо с Николасом; в этом, вероятно, и крылась причина, почему старуха хотела избавиться от Николаса. Жи-рарден не любил отменять свои распоряжения, но в данном случае, пожалуй, это было бы умнее всего.

— Благодарю вас, мадам, что вы поставили меня в известность,— сказал он несколько сухо.— Я пришлю к вам другого слугу.

— От души вам признательна, мосье,— ответила старуха,— но этого недостаточно. Неприязнь моего глубокоуважаемого зятя к мосье Николасу — не случайный каприз, а, так сказать, органическая антипатия. Поэтому я бы просила вас совсем удалить Николаса из Эрменонвиля.

Любезное лицо маркиза сразу посуровело, он выпрямился во весь рост и ткнул тростью в сторону мадам Левассер.

— Если я вас правильно понял, мадам, вам угодно, чтобы я уволил его? — спросил он.

— Да, господин маркиз,— ответила мадам Левассер,— чтобы вы его вышвырнули вон!

Мосье Жи-рарден невольно вспомнил одно обстоятель-

ство, имевшее место несколько дней назад; в сущности, это было не какое-то реальное обстоятельство, а лишь слабый намек на него. Доска с запасными ключами ко всем многочисленным строениям, расположенным на территории его владений, была вмурована в стену его спальни и хорошо замаскирована. На доске висело более ста ключей, расположенных в определенном, только ему одному известном, только им одним изменявшемся порядке: один ключ висел бородкой вправо, другой — влево. Дважды за последнее время маркиз обнаруживал едва заметное расстройство в этом порядке, и у него мелькнуло подозрение, что чья-то чужая рука прикасалась к доске. Но он тотчас же сказал себе, что, вероятнее всего, ему изменяет память. Потом он как-то застал у себя в спальне Николаса в такое время дня, когда тому нечего было там делать. Оба этих пустячных обстоятельства вспомнились теперь Жирандену, и он невольно связал одно с другим.

Недобросовестно, конечно, на основании каких-то смутных ощущений в чем-то заподозрить надежного человека; все в Жирандене восставало против дерзкого требования мадам Левассер.

— Николас преданный, испытанный слуга, — сказал он. — Можете вы привести какие-нибудь порочащие его факты? Что, он нарушил запрещение переступать порог Летнего дома? Или мосье Жан-Жак выразил свое недовольство чем-либо?

Последний вопрос не застал врасплох мадам Левассер, она ждала его.

— Вы ведь знаете, господин маркиз, что мой уважаемый зять, как все философы, не выражает простыми словами того, что думает. Он не говорит ни о каких фактах, но верьте мне, господин маркиз: у него бывают такие предчувствия, что иной раз только рот раскроешь от удивления. А исчезновение Леди вызвало у него совершенно отчаянный взрыв предчувствий. Он шумел, говорил, что его парижские враги подкупили кого-то из живущих здесь, в замке. А кого он имел в виду из числа «живущих в замке», сомневаться не приходится.

Жиранден сердито молчал. Старуха продолжала сверлить.

— С философией моего уважаемого зятя приходится считаться, господин маркиз. Это я, старуха, знаю по собственному опыту. Иначе он в один прекрасный день —

шапку в охайку, да и сбежит у нас в Париж или даже в Англию. А ведь он так хорошо себя здесь чувствует, всем нам здесь очень хорошо. Было бы крайне досадно, если бы все это сорвалось только из-за мосье Николаса.

Вымогательские приемы старухи раздражали Жирандена, но у нее были средства выполнить свою угрозу. Кстати сказать, он теперь все точно вспомнил: когда он в тот раз застал Николаса в своей спальне, Николас спросил, не прикажет ли господин маркиз оседлать ему завтра кобылу Вихрь. Он мог бы с таким же успехом спросить об этом на следующее утро, после завтрака, как обычно.

— Я уволю Николаса,— сказал маркиз.

— Благодарю вас от имени Жан-Жака,— ответила мадам Левассер. И, опасаясь мстительности негодяя Николаса, торопливо продолжала: — Еще только одна просьба: устройте, пожалуйста, все так, чтобы мосье Николас не догадался, что вы увольняете его из-за Жан-Жака. Иначе он это растрезвонит по всей деревне, пересуды дойдут до Жан-Жака, а Жан-Жак очень чувствителен — и хлопот тогда не оберешься.

В тот же самый день маркиз заявил Николасу: он-де очень сожалеет, что тогда в Лондоне обнадежил его. Он окончательно отказался от мысли распирить свой конский двор и поэтому не возражает против того, чтобы Николас вернулся в Лондон; жалованье за весь год он получит сполна.

Николас тотчас же догадался, откуда дует ветер. Значит, старая кобыла все-таки лягнула. Но он промолчал и пораскинул умом быстро и четко.

Сумма, которую ему предлагает маркиз в возмещение убытков — не понюшка табаку; может, удалось бы даже вырвать у маркиза, который явно чувствует угрызения совести, и все двести луидоров, нужных ему, Николасу, для обзаведения собственными конюшнями. Но связь с Терезой сулит больше, чем эти две сотни; там целое состояние, он и не подумает оставить в руках этой вислозадой клячи рукописи чудака. Напротив, он оплатит, и с процентами, этой коротышке, этой старой, жирной ведьме за ее коварство. Ему только время нужно, время, чтобы улучшить подходящий момент.

— Мне кажется, я был вам хорошим слугой, милорд,— сказал он по-английски, обиженно и с достоинством,— но воля ваша.

— У меня нет причин для недовольства вами, мистер Болли,— испытывая неловкость, сказал маркиз.— Но я не хочу дольше отвлекать вас от дела, к которому вы чувствуете призвание.

— Ваша благосклонность, милорд,— сказал Николас,— позволяет мне обратиться к вам с просьбой о двух любезностях, которые облегчат мне уход от вас.

— Говорите, Николас,— молвил мосье де Жирарден, переходя на французский.

— Мистер Тэттерсолл вряд ли примет меня назад, раз я сам ушел от него. Это значит, что в Лондоне мне, может быть, не сразу удастся найти подходящее занятие. Могу ли я, пока спишусь с кем-нибудь, пожить в Эрменонвиле?

— Разумеется,— ответил маркиз.

— И потом,— продолжал Николас,— мне будет трудно найти хорошее место, если станет известно, что вы меня уволили. Вы очень облегчите мне поиски места, господин маркиз, если о моем уходе некоторое время никто не будет знать.

Маркиз, довольный, что сбросил с плеч неприятное дело, пообещал и это.

Глава шестнадцатая ДРУГ И ВРАГ

Убедившись, что, вопреки всем обещаниям маркиза, этот негодяй и наглец Николас по-прежнему преспокойно живет в Эрменонвиле, мадам Левассер расстроилась и возмущилась. Правда, она знала, что аристократы, если это им на руку, нарушают свое слово так же легко и ни с чем не считаясь, как простые буржуа, но от маркиза, философа, ученика ее зятя, она такой низости не ожидала.

Нельзя было даже предвидеть, какую еще гнусность измыслит теперь Николас. А тут еще дура Тереза безнадежно в него втюрилась, да и этот блаженный Жан-Жак может ведь в одночасье отправиться к праотцам: здоровье у него отнюдь не такое цветущее, каким она старалась расписать его английскому проходимцу Николасу; и если что, этот подлец приберет к рукам и Терезу и рукописи.

Она должна выбить его из седла раз и навсегда. Мадам Левассер придумала новый ход.

Она питала глубокое почтение ко всему, что связано с юридическим крючкотворством и адвокатской ловкостью. По бумаге за подписью и печатью нотариуса ее вытурили из собственного дома и магазина в Орлеане. Она прошла суровую жизненную школу, на себе испытала все юридические уловки и увертки, а теперь она сама пустит их в ход. Она добьется нотариального документа, по которому отныне и впредь Тереза сможет распоряжаться своим имуществом только с ее, мадам Левассер, согласия. Этим она застрахует рукописи от посягательства со стороны разбойника Николаса; и тогда негодяй наконец поймет, что его обскакали.

Она без обиняков объяснила Терезе, что от нее требуется подпись для того, чтобы спасти ее же деньги от посягательств дружка.

— Как я это сделаю, тебя не касается, ты все равно ничего не поймешь, — сказала она. — Когда все будет готово, ты попросту отправишься со мной к нотариусу и поставишь свою подпись. Только смотри, на этот раз крепко держи язык за зубами.

Дочь нахмурилась, но была довольна, что ее умница мать взяла дело в свои руки. Перед Николасом Тереза испытывала сладостный трепет и сознавала, что, вопреки всем доводам рассудка, всегда с радостью отдаст ему все, что бы он ни потребовал.

В Эрменонвиле, однако, мадам Левассер не просто было осуществить свой план. Ей нужен был изощренный и опытный нотариус, который сумел бы составить такой документ, чтобы Николас при всем желании не мог найти в нем никаких лазеек. Лучше всего было бы съездить в Париж, но тогда этот продувной шельмец насторожился бы. Она слышала, что в Санлисе есть искусный адвокат; к сожалению, он на две или три недели куда-то уехал. Вздыхнув, мадам Левассер решила дожидаться его.

Если происки Николаса не давали покоя мадам Левассер, то исчезновение Леди взбудоражило Фернана сверх всякой меры. На него ложилась ответственность за преступление, совершенное против учителя; это его порочная связь с Терезой разъярила Николаса. Опасность была налицо. И он, Фернан, навлек на учителя эту опасность.

Он избегал Жан-Жака, он боялся Жан-Жака. По мере возможности он избегал также отца и мосье Гербера. Он не хотел, чтобы его о чем-нибудь спрашивали, не хотел

и сам говорить. Он носился по полям и лесам один со своими думами, глубоко угнетенный. Стараясь вырваться из круга своих метаний, он опять зачастил в деревню Эрменонвиль.

Мальчиком он, подчиняясь воле отца, много времени проводил там. Нелегко было добиться, чтобы крестьянские дети приняли его в свою среду, как ровню, а за то время, что он пробыл в военном училище, прежние товарищи еще больше отделились от него. Все же Фернан не порывал с ними и вникал в их повседневные заботы и горести. Теперь больше чем когда бы то ни было ему захотелось услышать их грубоватые, бесхитростные речи.

Особая дружба связывала его с Мартином Катру, сыном вдовы Катру, у которой была мелочная лавчонка в деревне Эрменонвиль. Мартин, ровесник Фернана, коренастый парень, часто ездил по делам матери в соседние села и города; бывал он и в Париже, видел там и слышал многое и, обладая хорошим чутьем на людей и явления, делал для себя выводы. Острые, прямолинейные и разумные народные суждения Мартина резко отличались от всего того, что Фернану приходилось обычно слышать; они занимали его ум, отталкивали и притягивали. Мартин любил его поддразнить, он видел в Фернане аристократа. Фернан обижался, но превосмогал себя и старался понять Мартина.

Однажды в эти тяжелые для себя дни Фернан встретил Мартина. Тот спросил у него:

— Ну и как же поживает ваш многоуважаемый святой?

Фернан смотрел в его некрасивое, умное, усмехающееся лицо, и ему казалось, что в словах Мартина он слышит всю издевку врагов Жан-Жака.

— Оставь, пожалуйста, Жан-Жака в покое, — сказал он наигранно равнодушным тоном. — Ты в нем ничего не смыслишь.

— Почему, интересно? — возмущился Мартин. — Я часто видел его, он наш постоянный покупатель, и у меня ровно столько же глаз, сколько у тебя.

Фернан почувствовал в голосе Мартина воинственные нотки, но старался держать себя в руках.

— Допускаю, — сказал он, — что в очень многих людях ты понимаешь очень многое. Но моего Жан-Жака оставь, пожалуйста, мне.

Мартин продолжал поддразнивать:

— В Париже говорят: быть великим философом не штука, надо только прикинуться чудаком. А это ему трудно, это у него от рождения.

Фернан страдал от глубоко скрытого стыда — ведь и он порой сомневался в Жан-Жаке, и ему порой думалось, что поступки и речи Жан-Жака нелогичны.

— Неблагодарный сброд, — возмутился Фернан. — Он жизнь свою положил на то, чтобы провозгласить равенство людей, он терпит тысячи преследований ради вас, а вы в ответ называете его чудаком.

Мартин сидел против него, крепкий, коренастый, подавшийся вперед черноволосой головой с широким, низким лбом.

— Да, свобода, равенство, братство, — насмешливо повторил Мартин, и слова эти, произнесенные сквозь зубы, превратились в пустой звук, в чистейшую глупость. — Когда слышишь их, кажется, что тебя покормили вкусной жареной уткой. А на самом деле такие словеса только людей морочат. Пусть бы лучше твой Жан-Жак нам когда-нибудь сказал, как добыть эту его свободу, когда повсюду жандармы, и податные инспекторы, и аристократы, и султаны. Второй-то, этот Вольтер, нам и в самом деле помог. Он показал вам, как вы низко пали, окружив себя подлыми судьями и всякими судейскими крючкотворами. И своих сторонников он научил кое-чему практическому: например, как заработать несколько су и эку. А ваш-то Жан-Жак хоть что-нибудь такое осязательное сделал? Или сказал что вразумительное насчет налогов, таможенных пошлин?

Фернан вспомнил слова Жан-Жака: «Мой труд напрасен», — но в тот же миг подумал об Америке и хотел уже сказать о ней Мартину. Но тот продолжал:

— Он толкует в своих проповедях о тысячелетнем царстве. Совсем как наш кюре Гоше. Потому-то, кстати, вы, аристократы, и превозносите своего Жан-Жака до небес. Этим вы доказываете, что сочувствуете нам, мелкому люду, ну, мол, и достаточно с нас. А до остального вам дела нет. Мы за того, за второго.

Фернан все еще сдерживался. Он ответил невозмутимо, с проницей.

— Быть может, ты бы все-таки прочитал своей безупречной парой глаз хотя бы одну из его книг, раньше чем повторять, как попугай, весь этот дурацкий вздор.

Широко расставив ноги, крепко сколоченный, сидел против него Мартин.

— А мне нет надобности читать его книги,— сказал он.— Мне достаточно видеть, как он мечтательно бродит тут. Он словно по облакам шествует, когда проходит, скажем, по нашей грязной деревенской улице. Уверю тебя, он не видит, что делается у него под носом.— И так как Фернан в ответ только пожал плечами и встал, добавил: — Он слеп и в своих четырех стенах, ваш святой. Его уважаемая супруга, говорят, распутничает, а он ничего не замечает.

Фернан потерял власть над собой. Он кинулся на Мартина, как делал это маленьким мальчиком, хотя знал, что Мартин сильнее. Мартин сначала спокойно отбросил его, но так как Фернан продолжал наскакивать, пустил в ход свои мускулистые кулаки, и Фернану солоно пришлось.

Сгорая от стыда, вернулся Фернан домой. Кто он? Что дает ему право возмущаться зазорными речами Мартина? *Он сам совершил зазорное.*

Но слова Мартина не давали ему покоя. Крупица правды была в том, что мудрейший из людей слеп, живет в блаженном самообмане и в самом деле походит на чудака. Это было немыслимо, и все же это было так. Фернан сопоставлял написанное в «Исповеди» с тем, что рассказывала в своей простоте Тереза и что говорил простой народ, и одно с другим не вязалось.

Он не в силах был справиться с этими жгучими сомнениями.

Не в его характере было делиться с кем-нибудь своими переживаниями, но в мосье Гербере он сизмальства видел друга; мосье Гербер в трудные для Фернапа годы военного училища, когда Фернан приезжал на каникулы, был ему опорой и утешителем, понимал все с отдаленного намека и находил в ответ нужные слова.

Осторожно поведал Фернан своему наставнику мучительные сомнения в Жан-Жаке; говорил о том, что поступки и речи Жан-Жака не всегда соответствуют его творениям и учению и порой это сбивает с толку.

— Враги,— с такой же осторожностью сказал, немного помолчав, мосье Гербер,— подходят к Жан-Жаку с меркой своей пошлой логики. Они сравнивают его ранние мысли с позднейшими, они сравнивают то, что он делал в разных местах и в разное время или вовсе никогда не делал, с иде-

алами, которые он провозглашает, а потом плоско высмеивают его.

Фернан знал, что друг и наставник не хотел его обидеть, но ведь он-то не какой-нибудь враг Жан-Жака, и он начал оправдываться. Но мосье Гербер, прервав его, продолжал:

— На мою долю выпало счастье внимать Жан-Жаку, когда он, беседуя даже со мной, маленьким человеком, давал волю полету своей мысли. В такие минуты меня тоже иной раз смущало в нем нечто чрезмерное, не знающее границ. Но потом я говорил себе, что мне не дано объять все его величие, что никто не может объять его величие, и тогда я смирялся и умолкал. Не разрешайте себе ни малейшего сомнения в нем, Фернан. Именно гений, это непостижимое явление, обращается в ничто, как только начинаешь в нем сомневаться. А Жан-Жак,— запальчиво сказал этот скромный человек,— среди нас, живущих,— неповторимый, единственный гений. Другие трудятся до изнеможения, изо всех сил стараются и тысячу раз пережевывают одно и то же, он же одним взмахом пера ставит все на место,— он творит. Он не доказывает, он вещает. Другие тащатся в поте лица своего через горы и доли, он взмывает ввысь, и он уж у цели. Не позволяйте, Фернан, ввести себя в заблуждение тем или иным словом, которого мы не понимаем. Отбросьте сомнения.

Никогда еще наставник не говорил так вдохновенно. Это горение, эта отрешенность напомнили Фернану самого Жан-Жака. Перед лицом такой восторженности старшего друга он устыдился своей неверности.

Но разговор с мосье Гербером ненадолго успокоил его: тоска и сомнения вновь и вновь осаждали Фернана.

Стало известно, что через два дня приезжает Жильберта. Фернан вздохнул с облегчением. Он решил во всем ей признаться. Она сама такая ясная, что, как только она будет рядом, все станет ясным.

Жильберта хорошо провела это время. И в Сен-Вигоре и в Париже ее окружала толпа молодых аристократов, соревновавшихся в изящных комплиментах. Один из них, Матье Курсель, молодой человек лет двадцати пяти, влюбился в нее, и как будто не на шутку; пока еще он носил титул барона де Васси, но являлся наследником владетельного графа, пожилого Анри де Курселя. Матье был хорош собой, изыскан в своих манерах, его ухаживания явно

выходили за пределы обычной светской галантности. Дед часто дразнил Жильберту, говоря, что перед нею открывается еще одна легкая возможность обменять свой еще очень зеленый да к тому же сомнительный титул на титул почтенный, уже покрывшийся мхом от времени. Она не придавала большого значения ухаживаниям Матье, но они доставляли ей удовольствие.

Жизнь в Париже была не та, что в Эрменовиле, и Жильберта увидела и узнала много нового; ей казалось, что за несколько недель она поумнела и повзрослела на несколько лет. Сопоставляя идеи Жан-Жака с действительностью, она пришла к выводу, что некоторые из них очень наивны; порой ей казалось, что при всей своей молодости она гораздо лучше знает жизнь, чем этот старый человек и великий философ.

В одном она соглашалась с Фернаном: и придворные, и завсегдатаи парижских салонов — все они до мозга костей ходульны, все боятся выказать искреннее чувство, это будто бы недостойно светского человека. Даже ее Матье так завуалированно и замысловато выражал свою влюбленность, что часто она с трудом удерживалась от смеха. Нередко на каком-нибудь приеме, среди блестящего общества, она вспоминала Фернана. В такую минуту она, вероятно, улыбалась, но эта улыбка не была иронической, Жильберте очень не хватало его ребячливой, прямолинейной искренности, его порывистости и мечтательности, его неподдельного чувства.

Но вот она снова в Латуре, и он видит ее. Она напудрена, на лице мушки, она побледнела и похудела, но лучезарные глаза ее все те же, и большой веселый рот тот же, и вся она лучится все той же чистой красой. И Жильберта, глядя на него, видит своего длинного и тощего Фернана, с выступающим кадыком, непокорными вихрами и с такими робкими и в то же время горящими глазами. Все сомнения и муки Фернана улетучились, вся парижская умудренность и светский лоск Жильберты улетучились, руки их сплелись в длительном пожатии, они поцеловались — сначала нерешительно, потом долгим и глубоким поцелуем.

Жильберта рассказывала. Обо всем и ни о чем. Смеясь, прервала себя:

— По десять раз в день со мной случалось что-то такое, о чем я непременно собиралась поделиться с тобой,

а теперь мне в голову ничего не приходит. Расскажи лучше о себе,— попросила она.

Ей казалось, она наперед знает, о чем он ей расскажет. С улыбкой, с умилением читала она его длинные, мечтательные письма; нечто подобное собиралась она теперь услышать: путаное, трогательное, чуть-чуть смешное.

Однако веселое оживление, озарявшее ее лицо, быстро погасло. Связь, о которой он говорил, связь с этой мадам Руссо — не пустяк, она сразу это почувствовала. Она увидела в ней нечто темное, грозное. Фернан говорил с трудом, запинаясь, он все время подыскивал точные, честные слова, часто бормотал что-то невнятное, как человек, скованный мукой. Но Жильберта ничего не замечала. Она видела лишь, что перед ней новый Фернан, тот Фернан, который нанес удар ей и ее любви. Между нею и Фернаном выросла стена отчужденности, что-то ее даже отталкивало.

Фернан тяжело дышал, он умолк и не мог продолжать. Жильберта не помогала ему, она ни о чем не спрашивала, она не шевелилась. Она устала себе в колени. Наступила тягостная тишина.

Наконец Фернан заговорил опять, он рассказывал, при каких щекотливых обстоятельствах он читал «Исповедь». Правдиво рассказал, как проник в Летний дом и как рылся там в мрачных тайнах Жан-Жака, а Тереза тем временем сидела рядом, ничего не понимающая, глупая, развратная, обольстительная. Рассказывал, что Жан-Жак собственноручно написал и сам засвидетельствовал, что он очень хорошо видел, как тупа и безмозгла Тереза, и что между ним и ею никогда не существовало духовной общности. Сказал далее, что он, Фернан, знал о ее любовной связи с этим отвратительным малым, с английским конюхом. Сказал, что содрогается при мысли о Терезе и однако с ней не порвал.

Глаза Жильберты потемнели, ее ясный лоб нахмурился, ее большой рот строго сомкнулся. Перед ней стоял уже не мальчик, а взрослый мужчина, и к нему пристала грязь, через которую, вероятно, неизбежно проходит каждый мужчина. Но в Сен-Вигоре и Париже она тосковала по мальчику Фернану; как она отнесется к мужчине Фернану, она не знала.

Он говорил теперь не о себе, а об учителе, о том новом Жан-Жаке, которого он увидел и узнал в «Исповеди». Речь его уже не прерывалась, он с жаром защищал учителя. Из

кожи лез вон, силясь доказать Жильберте, что Жан-Жак велик именно тем, что не замалчивает своих слабостей. Живописал перед ней чудовищные муки, которых стоило Жан-Жаку его чудовищное творение.

Жильберта слушала рассеяннo, она вся была взбуждена тем, что ей рассказал Фернан о своей связи с Терезой.

Но вдруг она насторожилась. Фернан рассказывал, что Жан-Жак отдавал своих детей в приют и почему он так делал. А это уже чувствительно затрагивало ее самое.

В Париже каких-нибудь две недели назад, когда графиня Монперо отвозила подарки в Воспитательный дом, она пригласила Жильберту и целый сонм молодых людей и дам поехать с ней. Приют этот считался достопримечательностью Парижа. По дороге Жильберте рассказывали, что, собственно, вызывает в аристократическом обществе интерес к этому приюту. Нередко случалось, что молодые аристократы, испытывавшие финансовые затруднения, подкидывали свое внебрачное потомство в Воспитательный дом, а при обходе приюта все забавлялись тем, что отгадывали, в какой степени родства находится тот или иной из его маленьких обитателей с тем или иным из гостей. Так было и на этот раз; однако Жильберта, права она была или нет, почувствовала себя уязвленной, ей казалось, что подобные шутки — камешки в ее огород, намеки на ее «незаконнорожденное дворянство». Со смешанным чувством стояла она перед нишей, в которую подкидывали младенцев; в задней стенке ниши находились раздвижное окошко и колокол, которым возвещали о прибытии нового обитателя приюта. Быть может, семнадцать — восемнадцать лет назад кое-кто подумывал убрать навсегда и ее, Жильберту, в эту нишу. Посещение Воспитательного дома не оставило в ней приятного воспоминания.

Ощущения пережитых тогда минут вернулись к ней с новой остротой под впечатлением рассказа о злодеянии Жан-Жака. Пока Фернан говорил о себе и Терезе, она слушала молча, но теперь ее прорвало:

— Да ведь твой Жан-Жак чудовище! — воскликнула она.

Фернан не ждал этого. Он поперхнулся.

— Ты не должна так говорить, Жильберта, — произнес он наконец.

Но она уже не думала о Жан-Жаке. Что ей до Жан-Жака? Дело идет о ней и Фернанде. Она видела, как он ждет ее слова, видела, как он то сжимает, то разжимает руки. Этими самыми руками он прикасался к той женщине. В то самое время, когда она в Сен-Вигоре, окруженная галантными молодыми людьми, рассыпавшимися перед ней в комплиментах, так тосковала по нем, он обнимался с этой грязной бабой. У Жильберты было такое чувство, точно ее унизили, насмеялись над ней. Ее всегда веселое лицо потемнело сильнее прежнего. Она начала говорить, но почувствовала, что слово, произнесенное в первом порыве гнева, может оказаться роковым для судьбы их обоих. Она замолчала.

Фернан, замирая от страха, напряженно ждал. Тяжкая задача признания была выполнена. Он ничем не облегчил ее себе, он ни разу не солгал, ничего не утаил. Очередь за Жильбертой: в ее власти оправдать или осудить его. Он всматривался в ее лицо, и это была другая Жильберта — не та, которую он знал; это взрослая, умудренная опытом, отнюдь не добрая, скорее даже злая Жильберта. Но с ужасом и вожделением он почувствовал, что он эту новую Жильберту любит еще сильнее, чем прежнюю, ребячливую, веселую, жизнерадостную.

Не успел он опомниться, как это чувство сменилось другим: ему захотелось овладеть ею, как Терезой, — с сокрушительной страстью; ему захотелось унижить ее, растоптать ее чистоту, ее проклятую невинность, увлечь ее в свое болото.

Она по-прежнему молчала. Он не выдержал. Подошел к ней. Взял за руку. Она невольно отдернула руку, отстранилась.

Было ясно: она разгадала его. Он устыдился до слез. Ее приговор был произнесен.

Она видела, как он несчастен. Так ему и надо. Ей очень хотелось сказать ему что-нибудь, что его ранило бы, сказать ему, как низко он пал. И ей очень хотелось сказать ему что-нибудь дружеское, что-нибудь ободряющее. Она сама не знала, чего хочет.

— Простите меня, Фернан, — сказала она наконец. — Но оставьте меня сейчас. Мне нужно со всем этим справиться. Я сама должна прийти к какому-то выводу. Дайте мне срок. Несколько дней не приезжайте, пожалуйста.

Жан-Жак издавна лучше всего себя чувствовал, обращаясь с людьми из народа, с крестьянами и малоимущим городским людом. С тех пор как не стало собаки, он все чаще отправлялся в окрестные деревни, чтобы поболтать с простыми, неиспорченными людьми. Он обсуждал с ними их будничные дела и, если разговоры затягивались, дарил табак в возмещение за потерянное рабочее время. Крестьяне и арендаторы считали его чудачком, у которого «не все дома», ему-де их сеньор оказывает княжеские почести, а он меж тем держит себя с ними, как с ровней. Но вскоре, к своему удовольствию, они заметили, что его ненормальность обращается им на пользу. Он выступал перед маркизом ходатаем по их жалобам. Сеньор смягчил свою военную суровость и реже пользовался тростью. По просьбе Жан-Жака он даже дал свое согласие на замужество дочери одного из батраков, в котором долгое время отказывал. С тех пор бабка невесты ежедневно молилась за господина писателя Руссо, хотя он и не был католиком.

И хотя он и не был католиком, он любил поболтать с кюре Гоше. Они прохаживались взад и вперед, и Жан-Жак говорил о благе терпимости, а священник ругал маркиза за крутой и упрямый нрав. Жан-Жак говорил о величии и многогранности природы, а священник превозносил ее создателя; они отлично сговаривались друг с другом.

Принимал Жан-Жак участие и в развлечениях селян: играл в шары и даже, несмотря на слабое зрение, стрелял из лука. По воскресеньям народ плясал под волюнку и флейту, а когда однажды мадам Ганеваль спросила учителя, не присоединится ли он к танцующим, он долго не чинился и встал в круг.

Его часто видели в саду трактира «Под каштанами». Он сидел там за одним из непокрытых деревянных столов, потягивал темно-золотое вино, от души любовался клумбами с незатейливыми деревенскими цветами, кормил уток или рыбу в маленьком пруде. Находил время, слушать почтительно-фамильярную болтовню трактирщика, папаши Мориса, и любого посетителя, который хотел поговорить с ним.

¹ Последнее творение (лат.).

Здесь, в трактире «Под каштанами», услышал он о смерти Вольтера, своего великого коллеги и друга-врага. Эту весть сообщил ему папаша Морис, знавший тысячи подробностей. В сущности, Вольтера убили неумеренные восторги парижан. Вернувшись после длительного изгнания в свой родной город, этот восьмидесятитрехлетний старик не выдержал оваций, которыми Париж в течение многих недель встречал его.

Выразительное лицо Жан-Жака попеременно отражало потрясение, затаенное удовлетворение, глубокую скорбь. Его самого парижане преследовали, как никого больше. Вольтеру они оказывали почести, как никому больше. Быть может, это была одна из причин, — но в том Жан-Жак не хотел признаться себе, — побудивших его вскоре после возвращения Вольтера покинуть Париж.

Папаша Морис многословно и с возмущением рассказывал, как ненависть архиепископа преследовала великого борца и философа даже после смерти, как Вольтеру было отказано в христианском погребении, как его близкие, опасаясь, чтобы тело не вышвырнули на живодерню, вынуждены были поспешно, с тысячью всяких недостойных, рискованных уловок, вывезти его из Парижа.

И теперь на лице Жан-Жака ничего нельзя было прочесть, кроме участия и возмущения. Он думал о собственной расправе с архиепископом, о том, как его, Жан-Жака, книги вновь и вновь рвались и сжигались рукою палача, как его гнали из города в город, и за пределы страны, и за море. Он забыл о ядовитой ненависти, с какой Вольтер преследовал его, он чувствовал себя другом и товарищем покойного; оскорбления, нанесенные Вольтеру, наносились ему. Он хотел остаться один и распрощался с папашей Морисом. Но при выходе из сада увидел идущего навстречу священника. Тот с места в карьер заговорил о Вольтере, кипя от ненависти и ликования.

— Я слышал, — торжествовал он, — что этот еретик, этот богоотступник, этот богохульник отправился к праотцам в муках отчаянья.

Жан-Жак обычно добродушно проходил мимо непринужденных и резких суждений экспансивного священника. Сегодня же, чувствуя себя заодно с оклеветанным, он отчитал его:

— И как только у вас язык поворачивается, отец Гоше, называть великого Вольтера безбожником! Изучите его

труды, и вы найдете сотни мест, доказывающих его благоговение перед Верховным Существом.

Он отделался от Гоше и искал уединения в объятom тишиной парке. На краю запущенной рощи опустился на мшистый пенъ. По ту сторону луга строился его домик, оттуда приглушенно доносился шум работ.

Теперь, когда ни перед кем не надо было защищать усопшего, застарелая вражда вытеснила все остальные чувства. От этого только что скончавшегося старца он не видел ничего, кроме зла; Вольтер поднимал его на смех, натравливал на него глупость и грубый произвол. Из чистейшей зависти. А между тем для зависти у Вольтера не было причин: он жил окруженный славой, богатством, благополучием. Ум, дерзость и ирония Вольтера затмевали значение и одаренность его, Жан-Жака; мир видел в усопшем высочайшую вершину науки и искусства.

Но как раз на Вольтере оправдалась провозглашенная им, Жан-Жаком, истина, что именно наука и искусство ведут человека к гибели. Он, Жан-Жак, лицемерил, когда, великодушно защищая своего мертвого противника, убеждал священника, будто бы Вольтер был верующим. Нет, Вольтер ни во что не верил. В сущности, это была жалкая тварь, злая, ядовитая, беспокойная, и себе и людям в тягость. Он, Вольтер, обладал лишь умом, души у него не было.

А теперь вокруг него тьма, ничего больше.

Жан-Жак, с присущей ему остротой воображения, представил себе разлагающееся тело умершего и тьму вокруг. Пустота и ночь вокруг мертвого Вольтера погасили светлые краски лесной опушки и пологого луга, на месте легких, белых летних облаков лениво и грозно ворочались свинцовые тучи, пение ветерка превратилось в злобное заывание, в глухом шуме, доносившемся со стороны швейцарского домика, как будто слышались удары молотка по крышке гроба.

Все вокруг дышало тлением.

Жан-Жак усилием воли стряхнул с себя страшные видения. Стук молотков на постройке зазвучал, как прежде, звонко, крепко, радостно. Это для него строится дом. Он живет; это строится приют его мирной, счастливой старости.

Мысли об умершем враге и друге уступили место проникнутым мечтательной меланхолией, примиренным раз-

мышлениям о смерти. Он знал, что такое смерть: на страницах «Новой Элоизы» он не раз умирал вместе со своей Юлией, сладостно и безболезненно, догорая, как свеча, растворяясь, как звук; он знал, что в смерти нет ничего страшного.

Потом против воли опять заспорил с Вольтером. Вольтер сам виноват, что вызывал к себе столько ненависти. Всю силу своего острого ума он употребил на то, чтобы исказить лицо мира. Он все видел таким, каким был сам: тщеславным, мелочным, едким. Он довольствовался ролью великого писателя, но так ли уж это много?

Насколько это мало, он, Жан-Жак, знал лучше, чем кто бы то ни было. Он всегда ощущал свою славу как бремя. Оставляя Париж, он радовался, что заживет наконец тихо и мирно и не напишет больше ни одной книги.

Но теперь, когда тот ушел из жизни и в мире остался только один великий писатель — Жан-Жак, разве не обязан он положить последний камень для завершения здания? Он рассказал о своей борьбе и о том, что познал. Так не обязан ли он теперь написать книгу о своем умиротворении и самоотречении?

Уже по дороге домой в уме у него слагались фразы. Он произносил их вслух, заменял и переставлял слова, радовался их звучанию.

Едва переступив порог Летнего дома, он взялся за перо. Через открытые окна доносились порывы ветра, шум деревьев, журчание ручейка Нонет, и в щебет птиц в саду вплеталось чириканье его канареек. Он писал. Писал на красивой бумаге с золотым обрезом: он любил хорошую писчую бумагу. Писал изящным, твердым почерком. Писал, улыбаясь. Легко ложились под пером слова.

Работа захватила его. Он был одержим ею. Где бы он ни находился, он работал, искал и слагал. Он не ел, он мало спал, он работал.

В своей одержимости он не замечал, что Фернан по-прежнему избегает его. А когда однажды, во время прогулки по садам, неожиданно встретил Фернана, он был настолько поглощен собой и своей работой, что не увидел смущения юноши.

— Вообразите, Фернан, — воскликнул он, — я опять пишу. Я пишу о своих прогулках и о своих грезах.

Фернан был счастлив, что учитель и отдаленно не намекнул на его отсутствие, он хотел даже поведать Жан-

Жаку о разрыве с Жильбертой, хотел пожаловаться на то, как тяжело, что люди, даже самые близкие, друг друга не понимают. Жан-Жак тем временем забыл о нем, углубился в себя, говорил сам с собой.

— Я не имею права скрывать от людей мое необыкновенное счастье, — размышлял он вслух. — Пусть все знают о посещающих меня прекрасных часах самоотречения и заново переживают их вместе со мной. — И он говорил, обращаясь к самому себе, бормотал, улыбался, жестикулировал, он явно работал над своим произведением.

Фернан хотел незаметно уйти. Но Жан-Жак остановил его:

— Нет, нет, не уходите.

И Фернан пошел рядом с ним. Жан-Жак направился к лужайке с эхом.

Там они уселись, и Жан-Жак своим глубоким, негромким голосом по-прежнему говорил сам с собой. Фернан, занятый мыслями о Жильберте, слушал сначала рассеянно. Но мало-помалу речь Жан-Жака завладела его вниманием, это была музыка, она прокладывала себе путь прямо к сердцу слушателя. Как мог тот самый человек, который, не падая себя, изображал горячечные события «Исповеди», сотворить себе такой безоблачный покой? Фернан забыл Жильберту, он отдался обаянию душевной мудрости Жан-Жака, он закрыл глаза, он видел мир таким, каким видел его учитель; вместе с ним ощущал он простой, величественный покой природы, вместе с ним чувствовал нераздельную связь с деревьями и всякой живой тварью.

Постепенно, однако, в умиротворенность Жан-Жака начала вплетаться нотка застарелого безумия.

— Пусть весь мир будет по-прежнему в заговоре против меня, меня не ранят более никакие преследования, — размышлял он вслух. — Я научился жить под сенью своих страданий, без надежд и исполненный покоя. Иной раз мне еще хочется, чтобы муки мои пошли на пользу грядущим поколениям, как страсти Сократа или Иисуса из Назарета. Но если враги уничтожат мои творения и муки мои окажутся напрасными, то я и с этим примирюсь. Мне ничего не нужно. Я один на всей земле, — грезил он, — у меня нет ни брата, ни родни, ни друга, ни спутника, у меня только я один и есть. Да, по единодушному решению, — он посмотрел на Фернана невидящим взглядом, — самый общительный, самый доброжелательный из людей

отвержен всеми. Так живу я в глубине бездны, обреченный на вечное одиночество, несчастный человек, смертный, но, подобно богу, недоступный более никакому потрясению.

Мороз пробежал по спине Фернана. Как зачарованный, смотрел он на сидевшего перед ним безумца и мудреца, такого кроткого и такого скорбного. Неподвижный, осыпанный рябью солнечных бликов, он слагал изумительные фразы, извлекая из недр души свое самое сокровенное.

Над полянкой стояла знойная грозная тишина, в вибрирующем воздухе кружились мошки. Глаза Жан-Жака, глубокие, прекрасные, смотрели на Фернана, видели и не видели его. Эти глаза, которые замечали тысячу вещей, не замечаемых другими, не видели того, что происходило рядом. Смутно вспомнились Фернану страницы из древней истории, которые он когда-то читал, готовя уроки. Древние представляли своих ясновидящих слепыми. Тиресий был слеп, Гомер был слеп, Эдип, разгадавший загадки сфинкса, сам себя ослепил.

— Я ничего не жду более,— сказал Жан-Жак в пространство,— я живу на дне пропасти и доволен. Мне ничего, от всего сердца говорю, ничего не нужно.

Он умолк. Он сидел кроткий, без желаний, вертя мельничное колесо своего безумия.

Лавина чувств и мыслей обрушилась на Фернана: страдание, благоговение, ужас, даже смех потихоньку разбирал его. Он не мог более вынести эти видящие и слепые глаза Жан-Жака, не мог более вынести этот низкий, мягкий голос, говоривший: «Мне ничего, ничего не нужно». Ему хотелось уйти, но он не посмел.

Жан-Жак опять умолк. Он сидел напротив Фернана, в тени под соснами, умиротворенный, и небрежно поигрывал тростью. Было жарко. Оба молчали.

Фернан не выдержал. Торопливо заговорил и, быть может, для того, чтобы протянуть нити между собой и Жан-Жаком, неожиданно рассказал о выпавшем и на его долю зле, о тяжелых годах военного училища. Он говорил о жестокости начальников и товарищей, которые всячески изводили его только потому, что он сын сеньора Эрменонвиля. Особенно изощрялся учитель гимнастики — сержант, ветеран, человек лет сорока, грубый, мускулистый, жирный и розовый; он ненавидел его, Фернана, преследовал, измышлял всевозможные каверзы, во время уроков мучил, подталкивал больно то кулаком, то ногой, выдавая это за

помощь. Так прошли два мучительных года, полных бесчеловечности и несправедливости, истязаний физических и душевных.

— Люди злы,— закончил он беспомощно, мрачно, озлобленно.

Жан-Жак посмотрел на него своими прекрасными, молодыми, живыми глазами.

— Люди злы, вы правы,— сказал он.— Но человек добр. Человек добр! — повторил он страстно, с жаром.

Да, в эти дни он глубже чем когда-либо верил во врожденную доброту человека. Лето было на редкость прекрасное: солнечные, не очень жаркие дни сменяли друг друга, и волнующая, жгучая радость творчества не покидала его.

Он надолго останется здесь, в этом благословенном Эрменонвиле, до глубокой зимы, а быть может, и на всю зиму, на весь остаток своей жизни. Он закончит «Классификацию растений» и маленькую оперу. Просмотрит и соберет все песни, переложенные им на музыку в последние годы.

У него рождались все новые и новые планы. Он дополнит свой воспитательный роман «Эмиль» новыми главами. Во время прогулок с Фернаном он почерпнул для себя много новых наблюдений над чувствами и мышлением молодого человека.

Жаль, что Фернан, который в последнюю их встречу был весь нараспашку, с тех пор почти не показывается. Причина, вероятно, кроется в шестидесяти семи годах Жан-Жака; молодому человеку трудно понять его кроткую и горькую старческую покорность судьбе.

Но как сильно молодежь привязана к нему, несмотря на его преклонные лета, Жан-Жаку пришлось именно теперьшний раз убедиться.

В один из этих светлых летних дней, когда он шел вдоль озера, собирая растения, и нагнулся над каким-то цветком, к нему подошел незнакомый юноша.

— Разрешите помочь вам? Можно мне понести ваши книги? — спросил он.

Жан-Жак, слегка озадаченный, ответил вопросом:

— Кто вы? Что вам угодно?

— Я студент,— ответил молодой человек,— изучаю право, и теперь, когда я встретил вас, мне больше в Эрменонвиле ничего не нужно, все мои мечты сбылись.

Жан-Жак сказал с незлобивой насмешкой:

— Так молод и уже такой льстец.

Незнакомец, покраснев до ушей, защищался:

— Я, мосье Жан-Жак, шел пешком десять часов не для того, чтобы говорить вам комплименты, а ради счастья увидеть вас.

Жан-Жак, улыбаясь, ответил с легкой иронией.

— Десять часов пешком — этим вы меня не удивите, мосье. Я старый человек, но меня не пугают гораздо более длительные пешие переходы.

Он почти вплотную подошел к юноше и стал разглядывать его своими близорукими глазами. Незнакомец был очень молод; широкий, упрямый лоб, волосы, начесанные на лоб, горящие глаза, благоговейно устремленные на Жан-Жака.

— Вы производите впечатление искреннего человека, мосье, — сказал наконец он. — Не взыщите, что я вас так неприветливо встретил, но мне приходится ограждать себя от досужих бездельников. Париж вторгается в мой покой, лишь бы поглазеть на меня, Париж докучает мне. Он не желает даровать мне мирной старости.

— Позвольте мне заверить вас, — почтительно ответил юноша, — что нас, молодежь Франции, влечет к вам отнюдь не досужее любопытство. Мы любим вас и безмерно восхищаемся вами. Чтобы строить жизнь, нам нужен ваш совет, нужны ваши идеи.

— Хорошо, — сказал Жан-Жак, — если вам угодно, прогуляем вместе по этим садам и поболтаем. Боюсь, однако, что о политике вы услышите совсем немного. Я охотнее поговорю с вами о деревьях и цветах. Вы увидите, друг мой, что ботаника приятнейшая из наук.

Юноша сопровождал его, он не задавал вопросов, внимательно слушал.

Под конец, чувствуя, что рядом с ним друг, Жан-Жак заговорил о том, что его постоянно угнетало: как его не понимают, как все, что он пишет, толкуют превратно, убивая самый смысл и силу воздействия его творений, какую безнадежную борьбу ведет он в одиночку против всеобщей бесчувственности.

Молодой человек с жаром возражал.

— Вы не оказываете воздействия? — воскликнул он. — Но вы же нам близки. Народ вас любит. Все остальные — Дидро, и Рейналь, и прочие высокоинтеллектуальные

писатели, даже великий Вольтер, пишут для избранных. Эти господа не понимают народ, и народ их не понимает. Ваш язык, учитель, понятен всем. «Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах»,— это понятно всем. «Свобода, равенство и братство»,— это понятно всем. Тех, других, наша страна церемонно величает мосье Вольтер или мосье Дидро. А вы, учитель, вы для Франции, для всего мира — Жан-Жак. Никому другому не оказывается такая честь. Вас называют только по имени, как короля.— Он прервал себя.— Какое бессмысленное сравнение. Простите меня. Ведь я знаю, что вы думаете о королях, я навсегда это запомнил...— И он процитировал.— «Нет сомнения, что народы сажали королей на троны для того, чтобы короли защищали свободу, а не уничтожали ее». Клянусь вам: мы, молодежь Франции, позаботимся о том, чтобы ваши слова превратились в нечто зримое, в дела. Вы указали нам путь. Мы этим путем пойдем. Мы, Жаны и Жаки, заменим Людовика Жан-Жаком.

Жан-Жак слушал, улыбаясь.

— Перед деревьями Эрменонвиля вы можете безнаказанно произносить такие речи,— сказал он.— Но в Париже пусть этого никто не слышит. Иначе, мой молодой друг, век ваш так укоротят, что вам не придется претворять в жизнь свои мечтания.

Юный студент пылкостью чувств напомнил ему Фернана. Он лукаво сказал:

— Если вы хотите доставить мне удовольствие, соберите немного мокричника для моих канареек.

Но когда незнакомец, прощаясь, спросил, можно ли прийти еще раз, Жан-Жак заставил себя отказать ему в этой просьбе.

— Боюсь, друг мой, что я к вам привыкну,— сказал он.— Я не могу позволить себе заключать новую дружбу: новое разочарование мне теперь не под силу.

Юноша почтительно поклонился и ушел.

Вернувшись в Париж, студент — ему было девятнадцать лет, он был родом из города Арраса и звался Максимилиан Робеспьер — записал в свой дневник:

«Я видел Жан-Жака, женевского гражданина, величайшего из людей нашего времени. Я все еще полон гордости и ликования: он назвал меня своим другом!

Благородный муж, ты научил меня понимать величие природы и вечные принципы общественного порядка.

Но в твоих прекрасных чертах я увидел скорбные складки — следы несправедливости, на которую тебя обрекли люди. На твоём примере я воочию убедился, как люди вознаграждают стремление к правде.

И все же я пойду по твоим стопам.

Старое здание рушится. Верные твоему учению, мы возьмем в руки лом, разрушим старое до основания и соберем камни, чтобы построить новое здание, чудесное, какого мир еще не знал. Быть может, мне и моим соратникам придется расплатиться за наше дело глубочайшими несчастьями или даже преждевременной смертью. Меня это не пугает. Ты назвал меня своим другом: я покажу, что достоин им быть».

Часть вторая

СМЕРТЬ ЖАН-ЖАКА

Vitam impendere vero — жизнь посвятить истине.
Ювенал — Жан-Жак Руссо

Полезная ложь лучше бесполезной правды.
Французская народная мудрость

Глава первая РОКОВОЙ ВЕЧЕР

Услышав, что обе женщины едут в Санлис, Фернан решил воспользоваться их отсутствием и зайти за Жан-Жаком, чтобы вместе отправиться на прогулку; ему казалось, что он почувствует себя свободнее, если будет знать, что Терезы нет. Но под разными предлогами он мешкал, и когда пришел в Летний дом, Жан-Жака он уже не застал. Фернан обошел все любимые уголки учителя и не встретил его. Побрел в деревню. В саду трактира «Под каштанами» он увидел папашу Мориса и спросил, не заглядывал ли сюда Жан-Жак. Морис сказал, что заглядывал, и болтливо прибавил: Жан-Жак-де очень недолго оставался, говорил, что его тянет к работе, и сейчас же пошел домой.

Беспокоить учителя во время работы не следовало. Но случилось, что, устраивая себе передышку, Жан-Жак играл на клавесине, и Фернан решил: если услышит звуки музыки, он, не колеблясь, войдет. Он направился к Летнему дому. Дверь была заперта, и изнутри ничего, кроме посвистывания канареек, не доносилось. Фернан досадовал на себя, что упустил Жан-Жака, и чуть-чуть был доволен. Пожав плечами с чувством не то сожаления, не то облегчения, он ушел.

После обеда он читал с мосье Гербером Тацита. Потом опять обошел сады, но и теперь Жан-Жака нигде не было. Поплавал в озере, уселся под ивой и долго ждал.

Ужинать сели рано. Маркиз был хорошо настроен, и мосье Гербер был сегодня разговорчив. Он рассказал, что третьего дня Жан-Жак сыграл ему несколько романсов, написанных им здесь, в Эрменонвиле. Мосье Гербер, бесспорно, не хотел похвалиться доверием учителя, но Фернана царапнуло, что не он первый слышал эти романсы. Маркиз сказал, что в ближайшие дни попросит Жан-Жака устроить для них музыкальный вечер.

Заговорили о другом. Гербер с похвалой отзывался о неутомимости, с какой Фернан читал Тацита. Маркиз подал мысль поговорить немного по-латыни. Перебрасываясь шутками, поговорили; Фернан даже повеселел. Вечер прошел оживленно.

Но еще до наступления ночи все смешалось в неописуемом ужасе. Из вестибюля слышались громкие крики и плач, туда сбегались слуги. А в центре стояла Тереза, Тереза, какой ее никто еще не знал. Всегда такая спокойная, медлительная женщина металась в панике. Ее платье, ее нарядное светлое платье, в котором она ездила в Санлис, было в пятнах, буровато-красных пятнах крови.

Что случилось? Она поранилась? Нет, не она, а Жан-Жак. У Жан-Жака приступ? Возможно. Он не шевелится. Он холоден и недвижим. Он мертв. Никто ничего не понимал.

— Недвижимый, и холодный, и мертвый,— повторяла Тереза.

Мосье де Жирарден, привыкший действовать, отдавал приказания.

— Поль, немедленно сбегай за доктором Шеню. Ты, Гаспар, возьми лошадь, скачи в Санлис и привези доктора Вийерона. Доставьте их сюда обоих, чего бы это ни стоило!

Затем он побежал в Летний дом, с ним Фернан, мосье Гербер и другие.

Тем временем мадам Левассер оставалась в Летнем доме, одна с мертвым Жан-Жаком. Найдя бедного чудака плавающим в собственной крови, она отчаянно испугалась. Ее первым побуждением было не вмешиваться в события, предоставить их естественному ходу, пусть бы этот отъявленный негодяй и проходимец окончил жизнь на виселице или на колесе. Тереза же сразу закричала, и ее крик заставил мадам Левассер опомниться. Глухой Терезе — той можно ни о чем не думать, дать себе волю, а она, семидесятитрехлетняя старуха, обязана думать, думать быстро и четко.

Прохвост не просто проломил череп ее уважаемому зятю, он аккуратненько уложил убитого около камина, да так, чтобы напрашивалось предположение, будто, падая, Жан-Жак расшибся о край решетки. Этим негодяй явно хотел пригрозить ей: пускай, мол, только посмеет высказать подозрение против него, Николаса, ведь тогда неизбежно всплывет его связь с Терезой — и все пойдет прахом, и не только для него, но и для Терезы.

Все это старуха обдумала в несколько кратких секунд, и она поняла: мерзавец рассчитал умно и правильно, она не может схватить его за глотку, больше того, она должна его выгородить. С этого надо начать.

— Помоги положить его на постель, — резко крикнула она Терезе.

Тереза, наклонившись над огромной лужей крови, опять завопила. На этот раз старуха ничего не имела против, она не останавливала дочь, и та плакала и голосила, а потом выскочила из дому и понеслась в замок. И мадам Левассер осталась одна. Но через несколько минут она уже не будет одна, через несколько минут все будет здесь, а до тех пор необходимо сочинить вполне правдоподобную версию из той полуправдоподобной, которую подготовил негодяй.

Прежде всего она с лихорадочной поспешностью осмотрела ларь. Они были на месте, драгоценные страницы, сверху донизу исписанные чудакom; злодей был достаточно умен, чтобы не тронуть их.

Она села, она почувствовала большую слабость. Но надо взять себя в руки, надо думать и думать, четко и логично, нельзя допустить никакой несурязицы, на которой ее можно было бы поймать. Хорошо, что голова ей служит лучше, чем ноги.

Но вот уже прибежал маркиз, а с ним — и все остальные.

В Летнем доме было сумрачно, и все-таки Жирарден сразу увидел на полу пятна крови.

— Что это? — спросил он. — Где он?

Мадам Левассер жестом показала на альков, тонувший в полумраке.

— Мы уложили его на кровать, — сказала она.

Маркиз нерешительно подошел. Глаза его медленно осваивались с темнотой. Жан-Жак лежал на кровати в плафрое; худое лицо было в сгустках запекшейся крови.

При виде этого зрелища Жиранден потерял нить мыслей, он тупо уставился на покойного, он ничего не слышал; впервые в жизни ему показалось, что он сейчас упадет.

Мадам Левассер что-то говорила.

— Что вы сказали, мадам? Как вы говорите? — спрашивал он, стараясь овладеть собой.

— Мы нашли его на полу, — пояснила мадам Левассер, — здесь, возле камина. Мы подняли его и положили на кровать. Вернее говоря, мне пришлось это сделать самой. Тереза была почти невменяема. Но он ведь очень легкий. Он уже был совсем холодный, а кровь успела запечься. И все-таки, как видите, мы кругом в крови.

Маркиз сделал шаг к кровати.

— Он, видно, ударился правой стороной, — сказала мадам Левассер. — Рана проходит через весь правый висок.

— А дом был заперт, когда вы вернулись из Сан-лиса? — спросил маркиз.

— Да, — ответила мадам Левассер и продолжала: — Я так себе все это представляю: с ним случился удар, и при падении он расшибся о край камина.

В глубине души маркиз облегченно вздохнул: такого рода объяснение правдоподобно, оно должно быть правдоподобным. Он сделал еще шаг к кровати. На поле брани Жиранден видел много страшных ран, но ничего страшнее этого лица, покрытого запекшейся кровью, он в жизни не видел.

— Да, это, вероятно, был правый висок, — сказал он бессмысленно.

Долгие годы ничто не нарушало спокойного течения и благополучия его жизни, он был доволен собой, да, в сущности, и миром. Тем сильнее потрясла его непостижимая кончина Жап-Жака. Внезапно счастливейшее событие его жизни, приезд Жан-Жака, обратилось в зловещую беду. Великий, кроткий учитель был внезапно и кроваво вырван из тишины и мира, которые он наконец обрел у него. И сам Жиранден каким-то образом вовлечен в это страшное дело, каким именно — он, разумеется, не знал и знать не хотел.

Ему нужно было поделиться с кем-нибудь своим горем.

— Ты был с ним очень близок, сын мой, — сказал он. — Погляди на него. Подойди сюда и не пугайся его вида.

Фернан помимо своей воли все время впивался взглядом в пятна крови на платье Терезы. Тереза вызывала в нем отвращение, и, хотя он понимал, что не она пролила

эту кровь, ему надо было собрать все свое благоразумие, чтобы согласиться с этим. Она со старухой были в Санлисе, у обеих неопровержимое алиби. Виноват во всем он, Фернан. С тех пор как исчезла Леди, он знал: Жан-Жак в опасности. Именно сегодня какое-то предчувствие подсказало ему, что нужно зайти к Жан-Жаку, что нужно охранять его. Но он боялся натянутости первого приветствия и умышленно оттягивал встречу. Он несет ответственность за свершенное злодеяние.

Он подошел к телу, подчиняясь воле отца. Перед ним лежал его друг. Друг предложил ему свою любовь, но сердце Фернана оказалось ленивым, он был неспособен сильно любить. Он смотрел, не отрываясь, на эту голову, покрытую запекшейся кровью. Мыслей не было, он отупел от горя, он никогда не думал, что может быть такое нестерпимое горе.

Жиранден между тем овладел собой. На нем лежит ответственность за покойного и за самого себя. Если уже его испугал вид окровавленного тела, то другие, наверное, не захотят поверить в разумную как будто версию мадам Левассер. Нагромождят всякие страшные сказки вокруг крови. Он, Жиранден, обязан позаботиться о том, чтобы рассудок победил вымысел, фантазию и суеверие. Чувство долга и ответственности взяли верх над горем маркиза.

Прибыл главный хирург Эрменонвиля Шеню.

— Боюсь, доктор, мы все слишком поздно явились,— сказал Жиранден и вместе с врачом подошел к телу.

Доктор Шеню после самого краткого освидетельствования, пожав плечами, заявил, что мосье Руссо, по всей вероятности, уже давно мертв, не менее четырех-пяти часов. Маркиз поспешно подхватил:

— Ужасная картина, не правда ли? Но совершенно ясная. Дом был заперт. Жан-Жак был один в доме, когда с ним приключился удар. Падая, он разбился об острый край каминной решетки. Так полагает мадам Левассер, так оно, вероятно, и произошло.— Жиранден говорил возбужденно.

— Да, так, вероятно, оно и произошло,— несколько вяло поддакнул хирург Эрменонвиля сеньору Эрменонвиля.

С досадой смотрел Жиранден на комнату, набитую людьми. Священник Гоше был здесь и мэр Эрменонвиля Мартэн, а в окна заглядывали слуги из замка, люди из деревни.

Доктор Шеню сказал вполголоса, что, пожалуй, следовало бы для осмотра тела пригласить мосье Боннэ, прокурора Эрменонвиля. Маркиз выслушал врача с неудовольствием. С прокурором Боннэ у него были счеты. Но доктор прав. Прокурора необходимо известить, таков закон, да и, кроме того, это нужно, чтобы пресечь всякие вздорные слухи. Послали за мосье Боннэ.

В глубине души Жирарден теперь был совершенно уверен, что враги постараются распространить вздорные слухи; они не остановятся перед тем, чтобы и на него, маркиза, набросить тень подозрения, его обвинят в том, что он недостаточно охранял жизнь своего гостя от врагов. Эта мысль вызвала в гордом Жирардене жгучий гнев, почти не уступавший его горю. А комната между тем все больше и больше наполнялась людьми, они перешептывались, и в их шепот вплеталось беззаботное посвистывание канареек.

— Заставьте наконец этих птиц умолкнуть! — нервно и громче, чем он того хотел, сказал он мадам Левассер. Старуха, ни словом не возразив, набросила на клетку платок.

Она вполголоса отдала какое-то распоряжение Терезе. Тереза с опустошенным лицом, слегка полуоткрыв рот, сидела, забившись в угол, совершенно раздавленная.

— Посторонитесь, пожалуйста, — обратилась мадам Левассер к тем, кто стоял вблизи камина. Тереза принесла маленькую бадейку с водой и принялась смывать кровь с пола. Никто не помогал. Все молча следили за тем, как она этим занималась.

«Теперь они молчат, — думал маркиз. — Но не успеют они выйти за порог, как языки развяжутся. Сейчас уж, вероятно, все известно даже в Санлисе, а вскоре и до Лувра докатится. Почтарь Пейен — невероятный болтун, обо всем этом он будет рассказывать с ядовитыми замечаниями, будет рассказывать всем своим пассажирам, а в Лувре все они делают остановку. Еще до наступления вечера Париж будет осведомлен обо всем. День долог».

День был длинный, бесконечно длинный летний день, и в дом набивались все новые и новые люди. На место одного ушедшего приходили трое других, и в окна появлялись все новые лица. Маркиз с наслаждением выставил бы всех, но этого, конечно, сделать было нельзя.

Прибыл прокурор мосье Боннэ. Он привез с собой, как

полагалось по закону, врача того самого доктора Вийерона, за которым маркиз посылал. Прокурор вежливо поздоровался. Лицо маркиза помимо его воли напряглось, во рту у него пересохло. Теперь надо быть начеку.

Прокурор задал обеим женщинам несколько вопросов по существу дела. Тереза сидела с безучастным видом, отвечала мадам Левассер. Присутствующие внимательно прислушивались. Все, что она говорила, было понятно, трудно было к чему-нибудь придаться. Да, дом был заперт, как всегда, задвижка и замок в полном порядке, окна закрыты; Жан-Жак закрыл их, вероятно, спасаясь от жары. Они нашли его на полу, всего в крови, вот таким, какой он сейчас. Она и дочь весь день провели в Санлисе, ездили туда за покупками. Она назвала магазины, в которые они заходили. О посещении нотариуса Жибера мадам Левассер не упомянула. В заключение повторила свою версию о кровоизлиянии и о камине.

— Таково мнение и доктора Шеню, — поспешил заверить Жирарден.

Но кто этот непрошенный дурень, который вмешивается в разговор? Трактирщик, папаша Морис, арендатор и данник маркиза!

— Я, пожалуй, последний из тех, кто видел так ужасно почившего ныне, — обратился он к прокурору, некстати разболтавшись. — Я семь раз перечитал все его произведения, и я беру на себя смелость сказать, что он охотно со мной беседовал. У мосье Жан-Жака был на редкость хороший вид, когда он заходил ко мне сегодня, я даже обратил на это внимание; ничуть не болезненный, господин прокурор. Понять невозможно, как это он ни с того ни с сего лежит тут мертвый.

— Благодарю, мой друг, мы будем иметь вас в виду, если возникнут какие-либо вопросы, — сказал прокурор и повернулся к доктору Вийерону: — Будьте добры, мосье, освидетельствовать тело.

Доктор Вийерон наклонился над покойником.

— В сущности, исключается всякое иное объяснение, кроме предложенного мадам Левассер, — внушительно произнес маркиз.

Врач, бегло осмотрев тело, сказал:

— Весьма возможно, что причина, изложенная мадам, могла привести к летальному исходу. Но окончательный вывод возможен лишь после вскрытия.

Мадам Левассер почувствовала враждебность, с какой люди смотрели на Терезу, когда она смывала кровь с пола. Своим сильным, беззвучным голосом, очень спокойно она сказала, бросая вызов этому сброду.

— Мой уважаемый зять, — сказала она, — неоднократно выражал пожелание, чтобы его не хоронили без вскрытия и чтобы на вскрытии присутствовало не менее десяти лиц. Он всю жизнь боялся врагов, это всем известно. Я прошу вас, господин маркиз, и вас, многоуважаемый господин прокурор, распорядиться насчет вскрытия. Для того чтобы выяснить все, что подлежит выяснению.

Жиранден с первой минуты проникся глубокой неприязнью к старухе, и вопреки всем доводам рассудка в нем шевелилось подозрение, что она каким-то образом связана с этим кровавым делом. Но, увидев, как мужественно и умно она себя держит — он сам ничего лучшего не придумал бы, — маркиз воздал ей должное, даже почувствовал нечто вроде благодарности, и их молчаливое взаимопонимание росло.

Прокурор мосье Боннэ сказал:

— Вряд ли тут есть что выяснять. Но, поскольку вы, мадам, и вы, господин маркиз, того желаете, вскрытие будет произведено. — Он учтиво поклонился старухе и Терезе: — Разрешите выразить вам мое искреннее соболезнование, сударыни, — сказал он и вышел.

Маркиз облегченно вздохнул. Первая опасность миновала. Ужасающее зрелище запекшейся крови, естественно, возбуждало воображение; как только тело приведут в достойный вид, легче будет добиться торжества правды.

Разошлись бы наконец эти люди!

— Мне кажется, друзья, — обратился он с несколько наигранной непосредственностью к набившемуся в комнату народу, — теперь следует оставить обеих дам одних.

Дом постепенно опустел. Тем временем стемнело. Мадам Левассер зажгла свечи. Жиранден, отдав первые, самые необходимые распоряжения, не противился более охватившей его слабости. Опустился в кресло, закрыл глаза.

Но, подумав о том, сколько еще предстоит сделать этой ночью и в ближайшие дни, он не разрешил себе передышки. Надо немедленно поручить мадам Обрен, обряжающей покойников, к раннему утру привести тело в надлежащее состояние. Затем с первой же почтой необходимо

отправить письмо доктору Лебегу. И скульптора Гудона надо вызвать, чтобы снять посмертную маску. Скульптору нужно прибыть безотлагательно, немедленно. Маску следует снять раньше, чем произведут вскрытие.

Взгляд его упал на письменный стол и на ларь. Рукописи необходимо надежно спрятать, и тоже как можно скорее, чтобы с ними не случилось какой-нибудь беды. Но, пожалуй, до погребения с этим ничего не сделаешь. Похороны он устроит скромные, достойные. Жан-Жак, по крайней мере, будет погребен здесь, на его, Жирардена, земле, и Эрменонвиль, вместо того чтобы стать приютом мирной старости величайшего мужа столетия, станет местом его последнего успокоения.

Деловые мысли медленно оттеснялись, уступали место чистой, глубокой скорби. Он подошел к телу Жан-Жака. Еще так недавно Жан-Жак весело и оживленно говорил, как много хочется ему сделать: сборник песен, и «Прогулки», и «Классификацию растений», и многое, многое другое, и швейцарский домик, где все это должно было осуществиться, домик, который так его радовал, в ближайшие дни будет готов; но Жан-Жак уже не поселится в нем. Вот лежит он с зияющей раной в виске, вырванный из гущи всех своих планов. Так много друзей было рядом, а он, великий старик, истек кровью и изошел последними хрипами один, в том ужасном, холодном одиночестве, безысходность которого он всю жизнь оплакивал и вспевавал.

Никогда ни на одном поле сражения Жирарден с такой потрясающей силой не чувствовал, как жалок удел живого создания. Смешно, но, вопреки подавленности и скорби, угнетавшим его, в ушах все время звучало латинское двустипение, при помощи которого учащиеся запоминают глаголы, при которых лицо, испытывающее чувство, нужно ставить в винительном падеже. Этот стих мосье Гербер часто повторял Фернану: *piget, pudet, poenitet, taedet atque miseret* — досадовать, стыдиться, раскаиваться, испытывать отвращение и жалеть.

Он заставил себя вернуться к действительности. Он совершенно забыл о старухе и Терезе. Надо позаботиться о них, ничего не поделаешь.

— Не поужинаете ли с нами в замке, сударыни? — обратился он к мадам Левассер. — Я бы прислал сюда кого-нибудь побыть возле тела.

— Спасибо, господин маркиз,— холодно, даже неприятно ответила мадам Левассер.— Вы очень добры, но мы останемся здесь.

Жиранден возвратился в замок; почти безотчетно, машинально он прошел к себе в спальню и открыл тайник, в котором была вмурована доска с многочисленными запасными ключами. Ключи висели правильно, в том сложном, умышленно перепутанном порядке, который был известен ему одному. Запасной ключ от Летнего дома висел, как ему полагалось, бородкой вправо, наполовину прикрытый ключом от калитки 17; все ключи висели в установленном порядке. Смутно возникло воспоминание, как он однажды застал Николаса в спальне. Он тотчас же подавил в себе это воспоминание. Но не смог помешать памяти восстановить враждебный взгляд, которым старуха посмотрела на него, отклоняя приглашение поужинать в замке. Он не хотел знать, но он отлично знал, что говорил этот взгляд. Если бы ты сдержал обещание и отослал Николаса прочь, этого бы не случилось,— вот что говорил взгляд старухи.

Чего только ему не чудится. Он досадливо мотнул головой.

Направился в кабинет; дел было по горло. Он рад был, что у него много хлопот, это отвлекало.

— Пошлите ко мне управляющего,— приказал он.— И пусть люди будут наготове. В Париж поскачут курьеры. Несколько человек. Я сделаю также ряд распоряжений относительно похорон.

Он командовал, отдавал приказания, строго, лаконично, по-солдатски. Он хотел, чтобы похороны, при всей их простоте, надолго запомнились. Чтобы отдаленные потомки еще рассказывали о погребении Жан-Жака Руссо.

Глава вторая ОБМАНУТЫЙ ОБМАНЩИК

Была уже ночь, когда мадам Левассер и Тереза остались наконец одни. Мадам Левассер сидела в любимом кресле Жан-Жака. Она устала до изнеможения. В ее жизни, далеко не бедной трудными днями, этот день был самым трудным. И завтрашний день, и послезавтрашний — вся предстоящая неделя безделицей для нее не будет.

Хорошо хоть, что она вовремя успела закончить дело с нотариусом. Этот мэтр Жибер горазд вытягивать из чужих карманов деньги, как бы глубоко их ни спрятали; но он знает свои законы, он понял, чего она добивается и что от него требуется; в самые ближайшие дни документ будет у нее в руках. Тереза поставила свою подпись под многочисленными бумагами, не хватало только ее последней подписи и печати нотариуса. Но он сказал, что это уже пустая формальность. Сразу же после похорон она поедет с Терезой в Санлис, нужно только следить, чтобы до тех пор дочь не оставалась наедине с проходивцем.

Сегодня ей, старой женщине, пришлось думать четко и быстро, она ни разу не сплосковала и была довольна собой. Она тотчас же дала понять маркизу, у которого голова не бог весть какая светлая, что сейчас самое важное. А когда явился господин прокурор, у нее от страха кровь застыла в жилах, но и тут она выдержала испытание, а уж то, что она сама потребовала вскрытия,— это заслуживает высокой похвалы.

Если уже сейчас пущена в обращение версия, что этот блаженный умер праведной, естественной смертью, то это целиком ее заслуга.

Она хорошо все обстряпала, она чувствовала свое превосходство над маркизом, над прокурором, над смертью и над самим сатаной. Но это потребовало напряжения всех ее сил, и она устала, она совершенно разбита.

— Приготовь что-нибудь поесть,— приказала она Терезе.

— Я не в состоянии есть,— горестно захныкала Тереза; жалко было смотреть на ее беспомощно поникшую фигуру.

— Безмозглая корова,— выругала ее старуха, на этот раз все же беззлобно. Она с трудом встала и сама принялась хлопотать о еде.— Переоденься, по крайней мере, и отмой пятна на платье,— снова приказала она.

Тереза послушно встала, чтобы выполнить приказание. Сжавшись от страха, она обошла альков.

— Не знаю, как же будет ночью,— причитала она.— Не могу же я спать с мертвецом.

— Так тебе и надо,— произнесла мадам Левассер. Больше она ничего не сказала о вине Терезы в смерти Жан-Жака, но Тереза поняла ее.

Мадам Левассер быстро собрала незамысловатый ужин, и Тереза в конце концов тоже села за стол.

Они еще ужинали, когда раздался громкий стук в дверь. Вошел Николас.

Тереза коротко вскрикнула, ее всегда сонное лицо исказилось от страха. Она невольно посмотрела на альков. Где-то и когда-то она слышала, что раны убитого в присутствии убийцы начинают кровоточить. Дрожа, косилась она на кровать, едва видимую в мерцающем свете свечей.

Мадам Левассер ждала, что негодяй явится для разговора с ней. Но она не допускала мысли, что у него хватит сверхъестественной наглости прийти этой же ночью.

Она чувствовала смертельную усталость, она боялась, что не выдержит нового и жестокого напряжения. Но она должна взять себя в руки — в который раз за этот ужасный день! Она не может себе позволить накинуться на этого человека, как бы страстно ей ни хотелось этого; она должна помешать ему поговорить с Терезой наедине и прежде всего должна коротко и ясно сказать ему, что у Терезы нет права распоряжаться рукописями.

— Немножко поздно, пожалуй, сударыни, — начал между тем Николас, стараясь вложить в свой квакающий голос нотки достоинства и участия, — но я не мог утерпеть, чтобы сегодня же не выразить вам мое глубокое соболезнование по поводу столь ужасного несчастья, так неожиданно постигшего вас. Не взыщите, многоуважаемые. Увидев свет в окнах, я как друг ваш, — смею надеяться, что я вправе так называть себя, — позволил себе войти. В подобном положении, сказал я себе, две одинокие дамы нуждаются в знающем свет покровителе.

— Очень любезно с вашей стороны, — ответила мадам Левассер, — но о нас не беспокойтесь, пожалуйста. У нас есть покровители. Весьма влиятельные. Нас охраняет даже королевская печать.

— Я не очень силен во французском языке, — сказал Николас, — и, быть может, неправильно понял, что вы этим хотели сказать. Легко могу себе представить, что наш бедный усопший оставил завещание. Но достаточная ли это гарантия? Вот, например, стоит ларь с знаменитыми бумагами. Мы все знаем, как наш дорогой покойник тревожился о них. Он всегда боялся, что кому-нибудь из аристократов взбредет вдруг в голову захватить все писания,

или тем же философам, например, они ведь всегда на ножах между собой, сами не знают почему.

— Мы-то этого не боимся, дорогой друг,— едва ли не добродушно заверила Николаса мадам Левассер.— Это же была только причуда моего бедного зятюшки, которая теперь вместе с ним и умерла. Жизненный опыт научил меня, что на эти рукописи могут зариться только самые обыкновенные низкопробные проходимцы. И вот как раз от происков таких мерзавцев я теперь и застраховала себя документом, скрепленным королевской печатью. Мы его добыли в последнюю минуту, в ту самую минуту, когда чья-то преступная, зверская рука разделалась с нашим бедным Жан-Жаком.

— Нехорошо, мадам, прямо-таки богохульство называть руку провиденья преступной,— с мягким укором сказал Николас.— Но я понимаю, вы не в себе. Все же, многоуважаемые, несмотря на вашу королевскую печать, я вам советую: спрячьте рукописи, отдайте их в верные, надежные руки. Отдайте ларь на сохранение вашему преданному слуге и испытанному другу.—И он сделал шаг к ларю.

Вся выдержка, вся рассудительность мадам Левассер, как только она это увидела, покинули ее. Давно сдерживаемое бешенство прорвалось наружу, она попыталась повисить свой беззвучный голос, попыталась кричать.

— Руки прочь от ларя,— зашипела она.— Ах ты собачий выродок, гад, подлый кровавый стервец! Глупости в тебе, оказывается, больше, чем подлости. Ты все еще ничего не понял? Пока ты тут совершал свое гнусное, кровавое дело, мы там все узаконили. Твоя карта бита, безмозглый!

Жутко и смешно было смотреть, как старуха пыталась напрячь свой бессильный голос до крика, а получалось только какое-то пискливое клохтанье. Несколько спокойнее она продолжала:

— Быть может, вы, господин барышник, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы, сообразоволяете съездить в Санлис, к королевскому нотариусу Жиберу. Там можете попросить, чтобы вам показали документ. И если вы понимаете хороший французский язык, то вам станет ясно: над рукописями теперь хозяйка я, вдова Левассер. Тереза без меня ничего не может сделать. Вы напрасно, совершенно напрасно старались, голубчик мой, вы ни одного су не получите, самое большее, что вы можете получить,— это виселицу или колесо.

Вдруг, как помешанная, залопотала Тереза:

— Это ужасно, ужасно, что вы натворили, мосье Николас! Этого я не хотела. Вы не можете сказать, что я этого хотела. Все это просто ужасно.

Николас сохранял спокойствие, только ноздри его широкого носа вздрагивали. Бегло взглянул он на Терезу своими злыми белесыми глазами и опять повернулся к старухе с любезной, несколько напряженной улыбкой.

— Вот видите, мадам, теперь вы и бедную вашу дочь довели до безумия,— сказал он своим квакающим голосом.— Сначала вы говорили о кровавой деснице провиденья, а теперь сваливаете все на меня. Я понимаю, вполне понимаю, как вы потрясены, но ведь я не провиденье, я простой слуга господина маркиза,— правда, и будущий владелец скаковых конюшен а-ля Тэтерсолл. Признаюсь, впрочем, что теперь, после печальной кончины господина философа, мне куда сильнее, чем раньше, кажется, что я уже держу в руках свои конюшни. Что ж, что одному похоронный звон, то другому благовест.

Старуха необычайно спокойно сказала:

— Я знаю, мой мальчик, почему ты так нагло ведешь себя. Ты полагаешь, что в том случае, если я дам ход этому кровавому делу, моей бедной Терезе тоже не поздоровится, а поэтому я не стану избличать тебя. Однако, возможно, ты и тут просчитаешься. Надежда увидеть тебя на колесе так заманчива, что за нее не жаль и дорогой цены.

Николас по-прежнему уравновешенно ответил:

— Я никогда не сомневался, мадам, что вы умная женщина, и вы не раз и не два подумаете раньше, чем доставить себе такое удовольствие.

Но он понял, что она и впрямь ездил в Санлис не за тем, чтобы любоваться достопримечательностями города, и от страшного разочарования, что его замысел, так молниеносно и дерзко осуществленный, провалился, он вдруг света белого не взвидел. Лицо его превратилось в маску беспредельного, страшного гнева.

— Заткни пасть, вислозадая кобыла! — рявкнул он.— Думаешь, я испугался твоей беззубой болтовни? Я знаю, как оседлать такую старую клячу. Вот захочу и заберу твою сокровище! — И он кинулся к ларю.

Мадам Левассер бросилась ему наперерез и заслонила ларь своим телом. Жалкое зрелище представляла собой эта жирная, задыхающаяся старуха, пытающаяся вступить

в единоборство с таким крепким детиной. Она старалась закричать. Голоса не было.

В отчаянии она схватила Терезу за плечо.

— Кричи ты, дура! — беззвучно закликала она дочь. — Он грабит твои деньги. Больше тебе не на что будет жить. Кричи же!

Тереза видела напряженное лицо матери, видела на нем ужас, ярость, энергию. И весь страх, все благоговение, какие она испытывала перед этой женщиной с той минуты, как начала понимать и чувствовать, завладели ею, и она закричала. Пронзительно кричала она своим грудным голосом.

Николас тотчас же выпустил ларь из рук.

— Дура, — сказал он. — Теперь она действительно сама упускает счастье всей своей жизни. Но я ведь знал это с самого начала: дура.

Он уже снова овладел собой.

— По-видимому, многоуважаемые дамы, — учтиво сказал он, — вы слишком убиты горем, а потому не видите, кто ваш истинный друг. Итак, разрешите откланяться. Еще раз приношу мое глубокое соболезнование.

— Прощайте, мой ненаглядный, — сказала мадам Левассер. — Прощайте и от имени Терезы. Если я хотя бы раз еще поймаю вас с ней вдвоем, я с вами рассчитаюсь. Обещаю вам. Помните!

Но этим она только дала ему возможность отступить, оставив за собой последнее слово.

— Адресуйте ваши советы к мадам Руссо, милостивая государыня, — сказал он. — Не сын моего отца бегал за вашей дочерью, а ваша дочь — за ним. — Он поклонился и вышел.

Мадам Левассер, ничего больше не сказав дочери, поднялась к себе наверх, чтобы наконец немного поспать.

— Не оставляйте меня одну, матушка, — молила Тереза. Она заплакала. Но старуха не остановилась. Тереза даже не знала, слышала ли ее мать.

Она осторожно прошла в уголок, как можно дальше от алькова, и села там на стул, опустошенная и усталая. Однако помимо ее воли в ней закопошились какие-то мысли. Как это низко со стороны Николааса, что он в таком некрасивом свете выставил ее перед матерью. Она не бежала за ним, это ложь. И он сам ведь, конечно, что-то чув-

ствует к ней. Так не ласкают женщину, когда ничего не чувствуют к ней, в этом-то она разбирается. Подло, что он теперь отказывается от всего.

Все мужчины подлецы. И молоденький граф тоже подлый. Даже Жан-Жак подлый — иначе он не сделал бы такого с ее малютками. Но про него нельзя так думать, ведь он лежит совсем рядом да в таком страшном виде.

Она сидела на своем стуле вялая и тупая, в ее медлительно думающей голове не уместалось, что впредь придется жить без Жан-Жака, быть как бы госпожой самой себе да еще с деньгами управляться. Это все натворил мосье Николас. Его могут теперь казнить, колесовать или даже четвертовать. Дамьена тоже четвертовали. У нее всегда мороз пробежал по коже, когда она вспоминала картинки и подробные рассказы, как это все было ужасно, а ведь Дамьен не убил короля, а только собирался убить. Если бы Николас ничего к ней не чувствовал, он бы так страшно не рисковал. Он сделал это ради нее, нет никаких сомнений, — и в душе у Терезы глухо шевельнулось удовлетворение.

Она задремала. Как это замечательно: Николас хочет ее, и ему очень трудно отказать. Хорошо, что мать здесь. Без нее и в самом деле все деньги пошли бы прахом. Мать часто ее била, но стоило ей сегодня почувствовать на плече руку матери и увидеть ее лицо, как вся слабость сразу куда-то улетучилась, и она смогла закричать.

В ближайшие дни она прямо-таки не отойдет от матери, ей нельзя теперь видаться с Николасом наедине. Жаль, ведь он любит ее. Только поэтому он не мог дожидаться, пока Жан-Жак сам отойдет в лучший мир. Бедный Жан-Жак! Она с удовольствием пересела бы в большое кресло, но нынче ночью не может решиться. Это кресло Жан-Жака. Так, бочком, сидела Тереза на маленьком стуле, пока наконец не заснула тяжелым сном.

Глава третья ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНЬЕ

Несмотря на смертельную усталость от тревожных этого ужасного вечера, Фернан всю ночь глаз не сомкнул. Раскаянье жгло его. Вместо того чтобы безгранично верить Жан-Жаку, как настойчиво советовал ему мосье Гер-

бер, он холодно, на все лады критиковал его; еще резче, чем Мартин Катру. На его, Фернана, долю выпала благословенная судьба внимать сокровенным мыслям мудрейшего из людей, он же недостаточно любил учителя, любил ленивым сердцем, был глуп и невнимателен и по недомыслию упустил свое неслыханное счастье.

Едва взошло солнце,— а солнце всходило в эти дни очень рано,— он убежал в парк. Заглянул на лужайку с эхом. Вспомнил последнюю встречу с Жан-Жаком, каждый его жест, каждое слово. Отчетливо услышал музыку его речей, смягчавшую то безумное, что было в них. Он видел живые, глубокие глаза Жан-Жака, устремленные на него, слышал его последние слова, обращенные к нему, Фернану, слышал низкий, растроганный голос, который наставительно произносил: «Человек добр».

Нет, он, Фернан, не добр. И не злой тоже. Он хуже: он бесчувственный, равнодушный и ленивый. Из лени, из боязни пережить неприятные минуты он, когда это потребовалось, не охранял учителя, не прислушался к своему внутреннему голосу.

Он должен что-то сделать. Хотя бы во имя мертвого должен что-то предпринять.

Он бросился на поиски Николаса. Он боялся этой встречи. Боялся себя самого. Скрежетал зубами от желания убить этого человека, топтать его ногами. Но все равно он разыщет его, потребует к ответу.

Он нашел его в конюшне. Окликнул.

— Чем могу служить, господин граф? — спросил Николас.

— Где вы были вчера? — властно крикнул Фернан.

Николас с хорошо наигранным легким удивлением ответил:

— Господину графу угодно, как я понимаю, упрекнуть меня в том, что я недостаточно беспокоился о господине философе, не так ли? Я бы с полным удовольствием. Но господин маркиз приказал не попадаться на глаза покойному, и, если я не ошибаюсь, вы и сами, господин граф, мне это внушали.

Желание, которого он боялся, желание собственными руками задушить негодяя, обуяло Фернана. Николас продолжал едва ли не добродушно:

— Я рад был, что обе дамы Руссо уехали, и у меня освободилось время для моих лошадей.

— И вы весь день провели в конюшнях? — спросил Фернан.

— Не весь, пожалуй, — нагло и учтиво ответил Николас, — к сожалению, здесь меньше дела, чем господин маркиз сулил мне.

Фернан не сдерживался более. Хлыстом ударил он Николаса по лицу.

Николас был силен. Одним движением, одним пинком он мог бы так проучить этого длинного балбеса, что тот на всю жизнь запомнил бы. Но рассудок он редко терял; в споре с знатным аристократом бедный конюх, что бы там ни было, потерпит поражение, да еще это темное дело у него на шее, — нет, тут надо держать ухо востро!

— Я было думал, что философия покойного научила господина графа умерять свои порывы. Но понимаю, что горе утраты немножко подействовало ему на мозги.

Фернан тихим голосом, чуть не шипя, сказал:

— Ты его убил, мерзавец, убийца. Ты и Леди убил.

Очень зудило Николаса крепко, в лоб, ругнуть балбеса. Но он и это желание подавил в себе, он старался сохранить хладнокровие. Этот графенок глуп и не предвидит последствий своих поступков, Николас должен обратить на них внимание длинного дурня.

— Когда вы сможете спокойно рассуждать, господин граф, — сказал он, — вы сами увидите, что трагическую кончину мосье Жан-Жака очень легко объяснить естественными причинами. Если же предполагать здесь насилие, то подозрение падет прежде всего на тех, кто украдкой рылся в писаниях господина философа, в особенности, если те господа еще, кроме того, питали человеческий интерес к жене покойного.

Волна бешеной ярости сдавила горло Фернану. Тереза с головой выдала его этому негодяю. Вполне вероятно, даже наверное, Тереза причастна к тому страшному, что произошло. Пятна крови на ее платье мелькали у него перед глазами.

Но ярость его была бессильна. Опасность, которой грозил этот мерзавец, реальна. Если изобличить Николаса, начнут копаться в его связи с Терезой, тем самым Тереза будет вовлечена в это дело, а с ней и он, Фернан. Ему уже слышался бранчливый, душепаздирающий шум, поднятый во всей Европе вокруг Жан-Жака, вокруг него самого, вокруг отца, вокруг Эрменонвиля.

Он был безоружен перед негодяем Николасом.

Фернан круто повернулся и, не оглядываясь, убежал.

Николас хмыкнул и, собрав стукот слюны, с силой сплюнул. Ему было больно, все лицо у него горело. Но он продолжал ухмыляться. Не виселица, не колесо, а удар хлыстом — вот и все, чем он поплатился. За писания Жан-Жака не такая уж высокая цена. Он не сомневался, что завладеет Терезой, а вместе с ней и рукописями, как бы старуха ни брыкалась и ни бесилась.

Фернан, покинув Николаса, не находил себе места от чувства гадливости и глухой подавленности, от сознания, что он увяз в этом кровавом торге. В нем закипала ярость. И пусть весь мир ополчится против него, но он не допустит, чтобы преступники ушли безнаказанно, унося с собой свою добычу.

Прежде всего он обязан установить, насколько велика причастность Терезы к преступлению.

Но если бы он даже и вынудил у нее полное признание, что мог он сделать? Какое право он имеет обрушить на голову отца такой позор? Какое право он имеет облегчить хулителям возможность выставить Жан-Жака жалким, бесхарактерным глупцом?

А что, если эти соображения лишь предлоги и пустая болтовня, придуманные им для того, чтобы уклониться от тяжелой задачи?

Если бы он со всеми его сомнениями не был бы так одинок! Если бы Жильберта была рядом, если бы он мог излить перед ней все свои муки, все свое раскаянье!

Когда он пришел в замок, оказалось, что там, несмотря на очень ранний час, гости. Мосье Робинэ поспешил к соседу, чтобы выразить ему свое соболезнование по случаю смерти друга, о котором мосье де Жирарден с такой любовью заботился и пекся. Жильберта приехала с дедом.

У Фернана перехватило дыхание, когда он ее увидел. Он уставился на нее в упор. Она не обронила ни слова, но глаза ее говорили, что приехали они по ее почину. На мгновение Фернан забыл о покойном. Он ликовал, он думал: теперь все хорошо.

А мосье Робинэ тем временем продолжал говорить. Он обратился к Фернану.

— Примите и вы, молодой человек, мое искреннее соболезнование, — сказал он своим трескучим голосом. — Ведь вы были его близким другом, для вас эта потеря,

вероятно, вдвойне тяжела.— Медленно и неохотно Фернан отвел глаза от Жильберты и взглянул в красное четырехугольное лицо Робинэ.

— Скажите, мосье,— обратился тот снова к маркизу, живо, доверительно и сочувствующе,— правда ли, что Жан-Жак сам ушел из этого мира, который был не по нем?

Фернану пышущий здоровьем Робинэ, отвлекавший его в эту минуту от Жильберты, был сегодня еще антипатичнее, чем всегда. Раньше, чем отец успел что-либо ответить, Фернан с неучливой поспешностью сказал:

— Нет, мосье, это неправда.

— Прошу прощения,— добродушно продолжал мосье Робинэ,— но повсюду шушукаются, что в этой внезапной смерти не все чисто.— И так как оба Жирардена растерянно молчали, он быстро добавил: — Я далек от мысли омрачить его память. У него как у философа есть свои заслуги. При жизни ему, конечно, пеняли: тот, кто так плохо устраивает собственные дела, может ли радеть об общем благе? Но сейчас упрек этот отпадает. Человек, создающий смелое философское учение, находит себе признание только после смерти, когда он уже не может внести сумятицу в жизнь.

Фернану неловко было более слушать эту развязную болтовню. В прежние приезды мосье Робинэ Фернан и Жильберта оставляли обычно стариков вдвоем; он надеялся, что так будет и на этот раз.

И в самом деле: Жильберта встала и вышла вслед за ним в парк.

Когда Жильберта узнала о внезапной кончине Жан-Жака, да к тому еще до нее докатились все эти ужасные слухи, она сразу же забыла обо всем, что встало между ней и Фернаном; ничего, кроме мучительного сострадания и глубокой тревоги, что ж теперь, во имя всего святого, будет делать Фернан,— она не испытывала. Ее долг — тотчас же отправиться в Эрменонвиль и удержать Фернана от благородных, безумных и непоправимых шагов.

И вот они идут рядом по узкой тропинке, и Фернан не отваживается взглянуть на Жильберту. Прежняя робость овладевает им, потому что она молчит.

— Фернан,— сказала она наконец, и ее голос заставил его поднять голову.— Фернан,— повторила она; она ничего не прибавила, ее большие глаза потемнели.

Робко, бережно он взял ее за руку. Она отвела глаза, но руки не отняла. Он сжал эту руку, она ответила пожатием. Он не решился поцеловать ее, но ему казалось, что теперь, после всего того темного, что произошло, их дружба стала гораздо теснее, чем прежде.

Они долго шли рядом и молчали. Окружающий мир исчез для Фернана. Он хотел бы идти так рядом с Жильбертой, держа ее большую, крепкую, добрую руку в своей, и завтра, и послезавтра, всю жизнь; и он не заметил, что думает словами Жан-Жака.

— Ну, говори же, — сказала Жильберта.

Он испуганно вздрогнул, выведенный из своей сладостной задумчивости. В дни своих одиноких метаний, он не раз мысленно объяснялся с Жильбертой, обвиняя себя, оправдывая себя. Так хотел он сделать и сейчас. Но она прервала его.

— Ни слова об этом. Раз и навсегда. Расскажи, что здесь произошло, — вернула его Жильберта к эрменонвильской действительности.

То была тяжкая действительность, но уж далеко не такая запутанная, раз можно было излить душу перед Жильбертой.

— Мосье Робинэ ошибается, — с горечью и раздражением сказал Фернан. — Это было не самоубийство, это было убийство. Его убил негодяй Николас, конюх, ради Терезы. Он и не отрицает даже.

Безмерное возмущение поднялось в Жильберте. Прикончить надо подлого негодяя. И женщину вместе с ним. Предать их суду надо. Повесить и колесовать. Но еще не остыло возмущение, как ей уже было ясно, что тогда и Фернана втянуло бы в водоворот. И она вспомнила, зачем приехала в Эрменонвиль.

— Знает кто-нибудь об этом, кроме тебя? — спросила она деловито. — Кто-нибудь еще говорил об этом?

— Пожалуй, что нет, — ответил Фернан. — По крайней мере, со мной никто не говорил. Но догадываются, думают так — многие. И я обязан отомстить за него, — вскричал он мрачно, горячо и по-мальчишески. — Нельзя допустить, чтобы убийца остался безнаказанным, да еще уехал с деньгами Жан-Жака и с его женой.

Жильберта опасалась, что Фернан именно так будет думать: она не любила бы его, если бы он думал иначе. Снова глухо заклокотал в ней гнев. Неужели они никогда

не развяжутся с этой дрянной женщиной? Но и на этот раз победил присущий ей практический ум и здравый смысл, выработанные в тяжелые годы детства, когда она жила с матерью. Она должна одолеть безрассудную, беспокойную совесть Фернана, должна удержать его от опрометчивых поступков во имя Жан-Жака.

— В этом случае сам Жан-Жак, безусловно, пожалел бы эту женщину за ее глупость, — сказала Жильберта. — Он, конечно же, не допустил бы, чтобы она попала под суд, а тем паче на виселицу. — Фернан молчал. Жильберта положила ему руку на плечо. — Не тревожь ты его в его могиле, — уговаривала она друга; она была моложе Фернана, но говорила с ним, как старшая. — Не раскапывай ты всей этой грязи и пакости. Пусть эта низкая женщина и этот подлец хоть поженьтся, если хотят, — воскликнула она яростно. — Что нам до них!

Глава четвертая ВСКРЫТИЕ

Так и случилось, как опасался мосье де Жирарден: в естественность смерти Жан-Жака не верили. Вид окровавленного тела дал пищу воображению посетителей; из Эрменонвильского замка ползли темные слухи. Поговаривали, будто бы в Летнем доме часто происходили ссоры, вызванные похождениями Терезы, и что будто бы Жан-Жак из-за этого и покончил самоубийством. Недоброжелатели рассказывали, что во время одной из таких ссор Тереза якобы чем-то ударила мужа, и удар оказался смертельным. Многие уверяли, что своими глазами видели, как Тереза блудила в кустах со слугами.

Папаша Морис, гордый сознанием, что он был последним из тех, кто разговаривал с великим человеком, уверял всех и каждого, что Жан-Жак прекрасно себя чувствовал, что он с удовольствием собирался поскорее засесть за работу, а вовсе не кончать жизнь самоубийством и что в Летнем доме господин маркиз никого не подпускал к телу. И священник Гоше, у которого были с маркизом кое-какие нелады, считал, что маркиз мог бы принять более энергичные меры для выяснения этого дела.

Слухи такого рода доходили до Дамартена, до Санлиса, до самой столицы — Парижа.

Еще до того, как в замок Эрменонвиль прибыли господа, извещенные Жирарденом через специальных курьеров, в Летний дом неожиданно появился гость — сержант Франсуа Рену. Отложив все дела, он примчался на перекладных, чтобы утешить мамочку и сестру. На этот раз он мог без дальних околичностей появиться в Летнем доме: покойник не выгонит его вон.

— Для вас, наверное, это был ужасный удар. Подумать только, вы приходите, а он лежит тут мертвый и уже холодный, — сказал он, обращаясь к матери и сестре. — Правда, шестьдесят семь годков — неплохой возраст, в особенности для философа, который всю жизнь только и делал, что работал головой.

Он прошел в альков, к смертному одру Жан-Жака. Ранним утром там уже побывала мадам Обрен, обряжающая покойников. Она отмыла сгустки крови, но глубокая зияющая рана на виске была все-таки видна. Сержант Франсуа Рену не заметил ее или не пожелал заметить.

— Да будет земля тебе пухом, Жан-Жак, — гаркнул сержант. — На тебя, правда, иной раз находило и, к сожалению, жертвой твоих заскоков нередко бывал я, но ты был хорошим соратником в борьбе за хорошее дело.

Салютуя по-военному, он постоял у тела, как не раз стоял возле умерших однополчан, провожая их в последний путь. Отдав долг покойному, он вернулся к матери и сестре.

Мадам Левассер похлопала своего любимого сына по руке. Нет худа без добра — теперь она могла беспрепятственно любоваться красавцем Франсуа, хотя, правда, на нем был не блестящий мундир офицера-вербовщика, а лишь скромная форма сержанта. Планы Франсуа потерпели крах, ибо сумму залога самым подлым образом увеличили, как он вскользь сообщил матери. Но в том или другом мундире, а хорошо, что Франсуа здесь, ибо, думала мадам Левассер, в эти первые тревожные дни никто лучше, чем он, не мог бы оградить ее и Терезу от негодяя Николаса.

— Есть все же маленькое утешение в нашем большом горе, — изрек позднее сержант Франсуа. — Отныне в звонкой монете у вас недостатка не будет. Отныне никакие дурацкие причуды и свержщепетильные соображения моего

уважаемого шурина не помешают нам обратить его философию в наличные денежки! — И он с вожделением глянул на ларь с рукописями.

Мадам Левассер не понравились эти речи.

— Разумеется, мы всю эту писанину обратим в деньги, — уклончиво ответила она. — Но боюсь, что не скоро. Ты ведь знаешь, дорогой мой Франсуа, каково иметь дело с этими судейскими крючкотворами. Пока введут наследников в права наследства да скрепят это подписями и печатями, — много воды утечет.

Сержанта осенила счастливая мысль.

— Не лучше ли, мама, пока суд да дело, взять мне ларь к себе? — предложил он. — У меня связи. Я мог бы немедленно, сейчас же начать в Париже деловые переговоры.

Старуха, не на шутку перепугавшись, отклонила предложение сына.

— Издатели, конечно, ни одного су не заплатят, пока все не будет точно и ясно по закону оформлено. Я эту братию знаю. Но дай срок, я с ними справлюсь.

Сержант даже не старался скрыть свое разочарование.

— Ну что ж, если ты так думаешь. Хотя, в сущности, теперь глава семьи — я, — сказал он.

— Разумеется, я буду с тобой советоваться, дорогой Франсуа, — поспешила за добрить сына старуха. Но ее решение — сразу же после похорон отправиться к мосье Жиберу — окрепло, а уж ларь она как можно скорее упрячет так, чтобы до него не дотянулась рука мерзавца Николаса, да и ее дорогого сына, обладавшего, к сожалению, очень уж широкой натурой и вдобавок еще легкомыслием. Ужасно, что такой старой наседке, как она, все еще приходится брать под крылышко своих цыплят, давно уже вышедших из цыплячьего возраста. Еще счастье, что она может этим заниматься.

Тем временем в Эрменонвиль съехались господа, которых известил через своих курьеров мосье де Жирарден, — доктор Лебег, скульптор Гудон. Приехал и мосье Дюси, автор трагедий, тот самый, у которого Жан-Жак провел свою последнюю ночь в Париже, когда он писал воззвания по поводу «Диалогов». Затем прибыл Мельхиор Гримм, барон Гримм, знаменитый философ из той плеяды, которая создала Энциклопедию. Некогда Жан-Жак был

связан тесной дружбой с основателями Энциклопедии — с Дидро и прежде всего с Мельхиором Гриммом. С течением времени, однако, дружба превратилась в ожесточенную вражду, и насколько приезд Дюси был приятен маркизу, настолько же появление Гримма его раздражало. Тем не менее он не мог не допустить к телу Жан-Жака того человека, к слову которого в вопросах литературы и вкуса прислушивалась вся Европа и отпущения которого с Жан-Жаком были известны всему миру.

Помимо друзей, в замке собрались хирурги, доктора и судейские; одни должны были произвести вскрытие, другие — засвидетельствовать результаты. Всех принимали с широким гостеприимством; на дворецком и слугах были черные жабо, все двигались с траурным выражением на лицах и говорили приглушенными голосами.

Еще до вскрытия мосье де Жирарден повел двух ближайших друзей Жан-Жака, Лебега и Дюси, к его смертному одру. Он изложил им свои соображения о вероятных обстоятельствах, при которых произошла смерть Жан-Жака.

— Только так это и могло случиться, — заключил он.

Лебег и Дюси молчали. По деревянному, честному лицу Дюси видно было, что он не верит. Он всегда и во всем усматривал трагические взаимосвязи, до него дошли разные слухи, он знал об атмосфере враждебности, окружавшей его умершего друга.

— Великая, трагическая судьба сопровождала Жан-Жака от колыбели и до могилы, — сказал он вдруг.

Лебег еще меньше, чем Дюси, верил в примитивное объяснение Жирардена. Глядя на тело, он все сильнее проникался жгучим гневным горем. Он очень любил Жан-Жака — человека с могучим мозгом и большим сердцем, со слабым зрением и проклятым недугом, очень любил этого беспомощного беднягу, до старости сохранившего душу младенца. Он не сомневался, что смерть Жан-Жака — дело злодейских рук и что обе женщины, быть может, невольно, но сопричастны к злодейству. Горько было от сознания, что Жан-Жак, который мог бы еще жить и работать, будь он окружен более заботливыми друзьями и советчиками, так ужасно погиб. И все же Лебег понимал Жирардена и склонен был помочь ему. Доктор Лебег знал свет. Грязный процесс по поводу кончины Жан-

Жака привел бы не только к громкому скандалу, порочащему Эрменонвиль, он замарал бы самую память Жан-Жака, а тем самым умалил бы и силу воздействия его творений. При составлении акта вскрытия слово доктора Лебега будет решающим. Он без колебаний, за подписью и печатью, засвидетельствует для потомков, что Жан-Жак умер естественной смертью. Он будет лгать, все будут лгать. Это ли не трагично? Даже то, что творят напоследок с телом бедного Жан-Жака, носит характер такого же пошлого и предательского фарса, как многое другое, что разыгрывалось вокруг него при жизни.

И со скульптором Гудоном был у маркиза весьма тягостный разговор. Молодой, знаменитый художник, приглашенный в Эрменонвиль, чтобы снять посмертную маску, растерянно смотрел на проломленный висок.

— Не может ли здесь помочь ваше искусство? — спросил Жирарден. Лицо скульптора Гудона помрачнело. — Я, разумеется, не хочу сказать, что рану следует сделать невидимой, — поспешил пояснить свой вопрос Жирарден, — но в конце концов разве не глупая случайность, что при падении учитель разбил висок? Нужно ли поэтому увековечить его лицо обезображенным? Не правильной ли, чтобы посмертная маска показывала потомкам истинное благородное лицо Жан-Жака?

— Посмотрим, что можно сделать, — холодно ответил скульптор.

Вместе с двумя своими подручными, итальянцами, он снял маску.

В назначенное время, около трех часов дня, началось вскрытие. Присутствовали, согласно воле покойного, десять человек: пять медиков, двое судейских, два полицейских чина и десятый — Жирарден. В числе медиков было три хирурга: Шеню из Эрменонвиля, Брюсле из Монтанье, Кастерэ из Санлиса и два других врача: доктор Вийерон из Санлиса и доктор Лебег — представитель медицинского факультета Парижского университета. В число четырех чиновников входили: прокурор Боннэ и мэр Мартэн, лейтенант полиции Блондель и сержант полиции Ландрю — все из Эрменонвиля.

В комнате было жарко; от аромата цветов, в которых утопала вся комната, нечем было дышать. Покойника раздели. Он лежал, жалкий в своей наготе, и рана на виске зияла.

Цветы были в причудливом, диком контрасте с работой комиссии. Мосье Жирарден едва сдерживал свое волнение. «Какое гнусное дело!» — думал Лебег; среди собравшихся медиков он пользовался наибольшим авторитетом.

— Начните, прошу вас, коллега,— обратился он к доктору Кастерэ.

Вскрытие заняло около двух часов. Члены комиссии переговаривались приглушенными голосами, густо пересыпая речь специальными латинскими терминами. Врачи знали, что от них требуется; часть членов комиссии уже заранее определила свое мнение.

Маркиз сидел в углу на маленьком стуле. Лебег видел, как он мучительно напряжен при всей внешней сдержанности. Через некоторое время, еще до окончания операции, Лебег, обратившись к нему, сухо сказал:

— Уважаемые коллеги, по-видимому, единодушны во мнении, что в данном случае имело место кровоизлияние в мозг.

В этом смысле и был составлен длиннейший протокол. Он состоял из пяти частей и был подписан двумя врачами и двумя чиновными лицами в качестве экспертов, остальными — в качестве свидетелей.

Глава пятая ПОГРЕБЕНИЕ

Жирарден был убежден, что существует только одно достойное место вечного успокоения для Жан-Жака; Остров высоких тополей. Ему даже будто помнилось, как в одну из своих лирических минут Жан-Жак сказал, что он бы хотел быть похороненным там, против его любимой ивы.

Маркиз назначил погребение в полночь; была как раз пора полнолуния. Крестьяне, проживавшие в его владениях, получили указание выстроиться с горящими факелами вдоль берега озера и на окружающих его холмах. Туда же мог прийти каждый, кто пожелает. Факелы заготовлены для всех.

Но на крошечный островок проводят ладью с умершим только обе женщины и ближайшие друзья.

Когда гроб выносили из Летнего дома, по берегу озера

и по склонам холмов стояли люди с горящими факелами в руках.

Под звуки тихой, трогательной музыки три челна поплыли по озеру. На первом был гроб, его сопровождали Жирарден и Фернан; они сами гребли. На втором находились Тереза и мадам Левассер. На третьем — Лебег и Дюси, а также барон Гримм, которого маркиз никак не мог исключить из числа сопровождавших ладью с гробом. Медленно переплывали челны очень короткий путь к острову по мерцающему в лунном свете озеру. Толпа молчала, крестьянам было строго наказано не разговаривать между собой. Слышны были лишь тихо льющиеся звуки музыки, удары весел, крики вспугнутых водяных птиц, стрекотание цикад, кваканье лягушек.

Большинство селян, стоявших по берегу озера, были люди медлительного ума. Они не имели ни малейшего представления, что значил для мира покойник. Но, глядя, как много народу понаехало из Санлиса и даже из Парижа, решили, что покойный занимал, видно, какой-то большой пост. Тем сильнее осуждали они своего сеньора, покрывавшего тех, кто прикончил этого господина Жан-Жака.

Особенно многоречиво выражал свое негодование папаша Морис. Позор, говорил он яростным шепотом, что маркиз ничего не сделал, чтобы покарать кого следует за кровавое убийство друга человечества. Конечно, если бы дело шло о каком-нибудь аристократе, маркиз давно отправил бы в темницу несколько десятков людей. Он преступно высокомерен, их сеньор. Он выдает себя за свободомыслящего, но между его делами и философией Жан-Жака нет решительно ничего общего. Жан-Жак, например, учил, что, по сути дела, селянин ли, маркиз ли, никакой разницы нет — свобода, равенство, братство. Дьявол! Убыло бы, что ли, от маркиза, пригласи он на остров как представителя человечества хоть одного друга Жан-Жака из низов, например его, папашу Мориса?

И в голове Мартина, сына мелкой лавочницы, вдовы Катру, ровесника и друга Фернана, тоже теснились бунтарские мысли. Для аристократа Фернан, конечно, порядочный парень, но он все же аристократ, и как только доходит до дела, он в кусты. Сколько Фернан болтал о том, как, мол, он глубоко чтит своего чудаковатого философа, а тот же Фернан и бровью не повел, когда слуга

его папаши разможил череп Жан-Жаку; палец о палец Фернан не ударил, чтобы отдать убийцу в руки судей, столь быстрых на расправу в других случаях. При всем том Мартин любил Фернана и теперь жалел его. В конце концов много ли он мог сделать, если его уважаемый родитель, сеньор, из каких-то темных соображений прикрывал и покрывал преступление. Но так или иначе, а это безобразие. Тем более что, говоря честно, Жан-Жак был не только чудачком. Мартина задел брошенный как-то Фернаном упрек, что он, Мартин, мол, говорит и говорит, а ни одной строчки Жан-Жака так и не прочел, и Мартин тут же принялся наверстывать упущенное. И хотя многое показалось ему заумным, он все же нашел у Жан-Жака и чертовски ясные мысли. «Деспот не смеет жаловаться на свергающее его насилие. На насилии он держится, насилие же сваливает его; угнетенные угнетают угнетателей. Круг замыкается, все идет своим естественным путем». Надо обладать мужеством, чтобы публиковать такие мысли во владениях всехристианнейшего короля и его жандармов.

Среди приезжих, прибывших на погребенье, находился и тот молодой студент-юрист из Арраса, который посетил Жан-Жака в один из его последних дней. Лицо этого юноши, когда он смотрел на плывущий по мерцающему озеру челн с гробом, в котором лежало тело боготворимого учителя, было еще своевольнее, еще одержимее и мечтательнее, чем в час первой и последней встречи с Жан-Жаком. В тот день, незадолго до своей кончины, Жан-Жак, исполненный горечи, едко высмеивал мир, ненавидящий и порочащий всякого честного искателя правды; и учитель был прав. В глубине своего сердца юный студент произносил нечто вроде обета над гробом Жан-Жака: «Тираны ослепили людей, внушив им ненависть к тебе, о друг человеческого рода, внушив им, что ты безумец и дьявол. Но мы, молодые, полны решимости следовать за тобой по тернистому пути познания, а нас — тысячи. Я клянусь тебе, мы заставим слепых прозреть, полюбить тебя и пожать плоды счастья, посеянные тобой».

Был исполнен возвышенных чувств, но совсем иного рода и мосье Гербер. Он вытеснил из своего сознания злобный вид мертвого тела Жан-Жака, он видел перед собой учителя, который кротко бродит по садам, возглашая в музыкальных словах свою умиротворенную мудрость.

Сомнения, одолевавшие Фернана, волновали Гербера сильнее, чем он признавался в том; он не был свободен от них. Но теперь они навеки рассеялись, и этот скромный человек испытывал в сокровеннейших тайниках души неосознанное облегчение оттого, что плотский облик Жан-Жака отныне не будет его смущать. Отныне творенье Жан-Жака заживет своей собственной жизнью, отделенной от него. Только мудрость его останется в веках, продолжая вершить свое дело.

С мыса за скользящим по озеру челном следили мосье Робинэ и его внука. Вокруг большого девичьего рта Жильберты застыла едва приметная недобрая улыбка. С первого мгновенья, как появился в Эрменонвиле этот человек, которого вон в той лодке везут теперь к месту его последнего успокоения, он приносил ей несчастье. Еще немного, и он искалечил бы всю ее жизнь. Возможно, что он и в самом деле великий философ, и ей от всего сердца жаль Фернана, потерявшего его при таких ужасных обстоятельствах, но что ни говори, а подкидывание детей было и остается подлостью. Теперь, когда этого человека нет в живых, наслаждение, которое доставляют ей страницы «Новой Элоизы», будет чище.

При свете луны и факелов мосье Робинэ наблюдал эту едва заметную улыбку Жильберты. С тех пор как отец Жильберты, его единственный сын, погиб в Вест-Индии, куда он ездил проверять состояние своих плантаций, Робинэ ни к кому не привязывался, кроме Жильберты; у него не было больше близких. Он видел ее насквозь, никогда ни о чем не спрашивал, никогда не уговаривал, воздействовал на нее только разумными доводами. Конечно, он знал, что она повздорила с Фернаном, и, по-видимому, из-за Жан-Жака; он догадывался о том, что в ней происходило, и на его лице появилась такая же едва приметная улыбка.

Лодки пристали к острову. Мадам Левассер, поддерживаемая Лебегом и Дюси, сошла на берег с некоторым усилием. Ни одного слуги не было на крохотном острове, ни одного могильщика: могила была вырыта заранее. Жирарден и Фернан вынесли гроб из лодки, остальные привязывали суденышки к причалам.

Окружили открытую могилу. Тереза стала рядом с Фернаном. Разве он не самый близкий ей человек здесь? Но он ни разу не взглянул на нее, и она смутно почувство-

вала досаду. Уж если с кем путаешься, так умей и пожалеть, когда стряслось такое большое горе!

Фернан и в самом деле не замечал Терезы, взгляд его был мрачен, обращен в себя. Вот через несколько минут опустят в землю останки человека, подарившего миру величайшие истины своего времени. Человек этот ни телом, ни душой не был стар и дряхл, он мог еще многое создать и многому научить — глубокому, важному. А он, Фернан, приложил руку к тому, чтобы самое живое в мире сердце и самый могучий в мире мозг перестали существовать.

Мосье де Гримм, представитель великого века просвещения, стоя у могилы, вершил суд над покойным и над самим собой. Среди тех, кто хоронил Жан-Жака, он, пожалуй, был единственным, кто мог справедливо взвесить и огромные заслуги покойного, и сотворенное им чудовищное зло. Они — он и остальные истинные философы, последователи Разума, — всячески поддерживали Жан-Жака и не скупились на дружеские советы. В конце концов не кто иной, как Дидро, подал ему знаменитую идею об обоюдоостром влиянии цивилизации — идею, сделавшую Жан-Жака знаменитым. Они правильно наставляли его. Они стремились ввести в русло все анархическое и необузданное, что было в нем. Но он принадлежал к числу тех пациентов, которые оплевывают врача, когда тот прописывает горькое лекарство. И вот теперь Жан-Жака постигла нехорошая, грязная, насильственная смерть. Быть может, к ней причастны и обе эти вульгарные особы, к чьей бессмысленной трескотне Жан-Жак всю жизнь прислушивался больше, чем к разумным советам первых умов Франции. Дидро и он, Гримм, предупреждали Жан-Жака, предсказывали ему, что эти женщины погубят его. Так оно и случилось: нелепая смерть логически завершила нелепую жизнь. Но какое все же слабое утешение сказать себе, что ты прав! Мосье де Гримм предпочел бы тысячу раз оказаться неправым. Стоя у открытой могилы, он мысленно уже слагал фразы некролога, который собирался написать. Это будет чудесная поминальная песнь, страницы неувядаемой прозы. Вот следует ли в прощальном слове намекнуть на загадочность кончины усопшего мечтателя?

Гроб начали опускать в могилу. Музыка умолкла, молчание стояло вокруг. Слышался лишь плеск воды, крик

вспугнутых птиц, шелест листьев под легким ветром — одни лишь голоса природы.

Вдруг что-то резко нарушило тишину. Это Тереза всхлипнула, вскрикнула, залилась глупым детским плачем.

Бережно опустили гроб в могилу. Фернан помогал. Он хоронит человека, который удостоил его своей дружбой, хоронит великого, величайшего из современников, а он, Фернан, не ценил дружбы этого величайшего из живущих, он называл его чудачком. Да он сам чудак. Ярko всплыло воспоминание о ребячливой мягкости Жан-Жака, о том, как Жан-Жак будил лесное эхо, как он помогал устраивать спектакль кукольного театра. Фернану вдруг почудилось, что он укладывает в ящик куклу и вот-вот захлопнется крышка. Но это же не марионетка, а Жан-Жак. До этой минуты Фернан вел себя мужественно и сдержанно, но больше он не в силах был владеть собой. Хотя он знал, что все на него смотрят — отец, Жильберта, его друг Мартин и многие деревенские парни, — он громко зарыдал, светлые слезы катились по его лицу. Да, Жильберта смотрела на него, от ее чуть заметной улыбки давно не осталось и следа, Жильберта плакала.

Все три лодки поплыли обратно. Только мосье Жирарден остался на острове, у могилы; он предался скорби, той сладостной меланхолии, которую так часто превозносил его усопший друг. Невольно складывались в голове стихи во славу покойного, очень простые стихи, но он знал, что они в духе Жан-Жака, что они — достойная эпитафия достойному человеку, который теперь уж во веки веков останется гостем Эрменонвиля.

Затем, по заранее отданному распоряжению, к Жирардену на остров прибыло несколько слуг. Они привезли с собой известь, песок и урну. Воздвигли надгробье, нечто вроде алтаря. Жирарден работал вместе со слугами. Он собственноручно насыпал могильный холмик над гробом учителя.

Работа заняла немного времени, Жирарден вновь остался один у могилы; отныне она его самое драгоценное достояние. Он сидел, объятый тихой, баюкающей скорбью, пока не настало утро. Когда взошло солнце, он покинул остров.

Глава шестая

ТРЕВОГИ О СУДЬБАХ НАСЛЕДСТВА

Сознание своего долга не давало покоя мосье де Жирардену. Он спал всего два-три часа в сутки. На нем лежала ответственность за посмертную славу Жан-Жака; от его стараний и изобретательности зависит, насколько действительно и длительно будет влияние творчества покойного. Прежде всего он должен обеспечить наследию Жан-Жака надежную сохранность. Следовало, ни на час не откладывая, взять рукописи к себе.

Вступать в переговоры с этими двумя женщинами было очень противно. С неприятным чувством вспоминал он враждебные взгляды старухи, которые она бросала на него. Но он превозмог себя и ранним утром отправился в Летний дом.

С тревогой обнаружил, что ларя на месте нет. Очевидно, мадам Левассер перенесла его к себе в спальню. Жирарден с места в карьер перешел в наступление.

— Вы помните, мадам, ваше обещание предоставить мне возможность принять участие в редактировании произведений нашего дорогого Жан-Жака? — сказал он.

Мадам Левассер поняла, куда клонит маркиз, и про себя обрадовалась: если маркиз возьмет рукописи под свою опеку, ей нечего будет опасаться посягательств Николаса и ее сыночка. Но она и виду не подала, что обрадовалась, — ей хотелось как можно больше монет выколлотить из своего единственного сокровища.

— Да, как будто, — ответила она осторожно, колеблясь.

— Прежде всего важно установить, — продолжал маркиз, — какие неизданные произведения тут есть. Я полагаю, мадам, что было бы хорошо, если бы с этой целью я занялся их изучением.

— Не сомневаюсь, господин маркиз, что вам дороги интересы вдовы бедного Жан-Жака и ее старой матери. Я готова передать вам рукописи, но обещайте, господин маркиз, не мешкать с их просмотром. Нам нужны деньги, и безотлагательно. Близкие великого человека должны вести и после его смерти жизнь, достойную его, а мы бедны, как церковные крысы. Вам это известно.

— Будьте покойны, мадам, — поспешил с ответом маркиз. — Когда дело дойдет до реализации рукописей, мой адвокат будет блюсти ваши интересы совершенно так же, как мои. И вообще я считаю долгом своей чести заботиться о благосостоянии родных моего великого друга. Сколько денег вам понадобится на ближайшее время?

Мадам Левассер, подумав, ответила.

— Двести ливидоров.

Маркиз усилием воли подавил вспышку гнева. Он судорожно глотнул слюну и сказал:

— Я пришлю слуг за рукописями. Они же вручат вам чек на мой банк «Валет и сын» в Санлисе. Советую вам держать столь значительную сумму в том же банке на текущем счету.

Маркиз поклонился и вышел. Через час слуги принесли чек и забрали рукописи.

Мадам Левассер сообщила своему сыну Франсуа, что мосье де Жирарден прислал за рукописями. Он хочет посмотреть их для определения философской ценности. Сержант помрачнел.

— Я это говорил тебе, мама, — заныл он. — Ты должна была поручить это дело мне. Если только аристократ сунет ложку в мед, так простому человеку ничего, кроме вылизанной тарелки, не останется.

— Маркиз нас не облапошит, — старалась успокоить сына мадам Левассер. — Он всегда был истинным другом Жан-Жака. Да и все, что из этой писанины можно выжать, для такого знатного барина — понюшка табаку.

Но сержант не пожелал сменить гнев на милость. Что же, раз никто здесь в нем не нуждается, он сегодня же уедет в Париж, объявил он. И просит поэтому мамочку дать ему десять ливров.

— Не уезжай так скоро, Франсуа, — попросила мадам Левассер. — В ближайшие дни мне, несомненно, понадобится твой совет. Побудь еще немного — и ты вернешься к твоим парижским делам не с десятью ливрами, а с двадцатью пятью ливидорами в кармане.

Франсуа просиял.

— В самом деле, мамочка? — спросил он, желая услышать подтверждение. — Это не просто соломенная приманка для меня, бедной мыши?

— Не стану же я водить за нос моего милого сына, — завсрила мадам Левассер.

— Значит, двадцать пять луидоров? — еще раз удостоверился Франсуа.

— Да, — сказала старуха.

— По рукам, — сказал сержант.

На следующий день мадам Левассер и Тереза поехали в Санлис. Мэтр Жибер, торжественно выразив им соболезнование, объявил, что, к сожалению, кончина мосье Руссо усложняет выдачу документа, который дамы пожелали получить. С юридической точки зрения вдова Руссо — это совсем не то, что супруга живого мосье Руссо; необходимы новые основания, и весь документ должен быть заново переписан от слова до слова. Кроме того, сейчас речь пойдет о значительно больших имущественных ценностях, и закон в этом случае предусматривает более высокие пошлины. Он вынужден назвать новую цифру гонорара, а также просить почтенных дам представить дополнительно ряд сведений и дать ему еще несколько дней срока.

Мадам Левассер с трудом скрыла свое раздражение. Так уж оно водится: весь мир — это дремучий лес, и за каждым деревом тебя подстерегает разбойник. Вот он сидит, этот жирный боров, лениво барабанит по столу толстыми пальцами, желая показать, как ему скучно, и вымогает все, что можно, у нее, беспомощной старухи, и у ее дочери — двух бедных вдов. Но что поделаешь? Она знает свою Терезу. Тереза, правда, не прочь связать себя по рукам и ногам, чтобы не отдать всего своему хахалю; но в то же время она готова все отдать, только бы удержать его. Вот она сидит и желает, чтобы документ был оформлен, и надеется, что он не будет оформлен. Мадам Левассер не может выжидать, ей нужна эта бумага сегодня же, ничего не остается, как уплатить этой раскормленной каналье нотариусу ту цену, которую он спросит.

Они очень измучены своим страшным горем, сказала она, им не хочется еще раз приезжать в Санлис, они хотели бы покончить с этим хлопотливым делом, пусть это обойдется в несколько лишних су или даже экю. У них есть кое-какие дела в городе, нужно купить траурные платья и еще кое-что, она просит поэтому мэтра Жибера не отказать в любезности и сегодня же к вечеру подготовить документ, чтобы осталось только подписать и поставить печати.

Нотариус с озабоченным выражением лица ответил, что не знает, возможно ли это технически: как раз сегодня

у него еще два срочных дела. Старуха спросила напрямик, сколько это будет стоить. Начался жестокий торг вокруг определения размеров предполагаемого состояния вдовы Руссо. Кстати, вскользь заметил нотариус, он, в сущности, должен был бы просить вдову Руссо о представлении брачного свидетельства: необходимо проверить, имеет ли брак, заключенный Жан-Жаком, юридическую силу. Короче говоря: раньше нотариус довольствовался восемьюдесятью экю, теперь же он требовал не меньше двухсот. Двести талеров звонкой монетой! Шестьсот ливров! С великим трудом мадам Левассер удалось выторговать пятьдесят экю — на ста пятидесяти сошлись.

Когда в условленный час женщины вернулись к нотариусу, документ еще не был готов, несколько писцов переписывали его; не меньше часа придется еще поработать над ним, сказали мадам Левассер и Терезе. Мадам Левассер за ее долгую жизнь пришлось немало ждать; однако редко когда ожидание было ей так тягостно, как в этот раз. Писцы постепенно приносили переписанные страницы, нотариус внимательно проверял их и передавал мадам Левассер. Она читала, но понимала далеко не все, там было много чисто судейского, и латыни, и вообще непонятного, но, по-видимому, без этого нельзя, и в общем документ, по ее мнению, получился хороший.

Но вот наконец все готово. Мэтр Жибер, попросил:

— Минутку, уважаемые дамы! — удалился и вернулся в мантии и берете. И хотя мадам Левассер насквозь видела этого жирного вымогателя, в мантии и берете он предстал перед ней в новом качестве. Теперь это был королевский нотариус, олицетворение закона. Теперь перед ней и перед ее глупой Терезой стоял сам закон, вся священная власть Франции и короля, которая защищала их от бешеного волка Николаса.

Нотариус официально и торжественно спросил:

— Вдова Левассер и вы, вдова Руссо! Поняли ли вы все, что записано в этом документе, и готовы ли вы своими подписями дать ему законную силу?

— Да, мосье! — сказала мадам Левассер.

— Да, мосье! — как попугай, повторила за ней Тереза.

Нотариус обратился к мадам Левассер:

— В таком случае прошу вас, мадам, поставить здесь свое имя и фамилию, а также фамилию отца и фамилии ваших покойных мужей. — Мадам Левассер написала:—

А теперь вы, мадам,— обратился нотариус к Терезе.— И вас я тоже попрошу поставить свою девичью фамилию.

Тереза растерялась и ничего не поняла. Мать резко приказала:

— Пиши: Тереза Левассер, вдова Руссо.

— Совершенно верно, мадам,— похвалил нотариус.

Тереза с трудом, неуклюже вывела свое имя и фамилию. Один из писцов принес свечу и сургуч. Трепеща от радости, глубоко дыша, смотрела мадам Левассер, как мэтр Жибер растапливает сургуч. Она с жадностью вдыхала запах разогретой смолы и торжествующим взглядом следила за движением пухлой руки нотариуса, вдавливающей печать в мягкий сургуч.

Вот теперь уж с полной уверенностью можно сказать, что зря, совершенно зря этот кровавый пес Николас уколошил ее бедного зятя. Подлость Николаса принесла ему столько же пользы, сколько гребень плешивому. Только он и добился, что беспокойных ночей, бессильного бешенства и отчаянного страха: не доберется ли все же до него рука палача?

А для мадам Левассер наступили хорошие, спокойные дни; о полуторастах эюк, которые пришлось уплатить нотариусу, она не жалела. Зато она возвела добротный забор, преграждающий ее дочке-корове путь в чащу.

Старуху не особенно встревожило, когда однажды ночью она услышала, как Тереза, крадучись, выскользнула из дому. Пусть ее потаскуха обнимается со своим конюхом: озолотить его луидорами ей уже не удастся.

Не с Николасом встретилась Тереза; мадам Левассер ошибалась. То был Фернан.

Да, молодой граф наконец-то опять подстерег ее и попросил о встрече, правда, как-то нерешительно, прямо-таки сумрачно. Она, значит, тогда, на погребении, напрасно вообразила, что он к ней охладел. Радуюсь новому сближению, она тотчас же пообещала прийти.

Как только они встретились, она по привычке пошла по тропинке, которая вела к знакомой иве. Он, однако, к ее удивлению, выбрал другую тропу — ту, что вела вверх, к Храму философии.

Он уговорился с Терезой о встрече, чтобы разрешить жизненно важный для него вопрос: причастна ли каким-нибудь образом Тереза к убийству. Если причастна, он, невзирая на совет Жильберты, изобличит обоих преступ-

ников, пусть даже ценой собственной гибели, это его долг по отношению к учителю и... к правде.

Они сели. Внизу, в ночном сумраке, лежало озеро и Остров высоких тополей. Тереза тосковала по человеку, с которым можно было бы поговорить обо всем этом ужасе. И вот наконец есть с кем поговорить. Все, что она смутно чувствовала, она силилась втиснуть в простейшие слова. Он еще не успел задать ей ни одного из своих тщательно подготовленных вопросов, как она заговорила. Прimitивно и чистосердечно она высказала то, что за последние дни снова и снова мысленно повторяла.

— Как все это ужасно!

В сущности, эти наивные слова, с такой искренностью произнесенные, исчерпывали миссию Фернана. Он чувствовал — Тереза никакого отношения к убийству не имеет, она потрясена не меньше, чем он сам.

Невинность Терезы одновременно сняла с него тяжелое бремя и наложила на него тяжелое бремя. Как быть теперь с преступником? Изобличить убийцу — значит втянуть и Терезу в пропасть, Терезу, которую он, Фернан, соблазнил и вина которой перед учителем не больше, а меньше, чем его вина.

Как она глупа. Как счастливо живет ей за стеной ее глупости в ее примитивном мире.

С каким добродушным презрением раскрывал и изоблажал Жан-Жак ее убожество. Больше того: он находил слова для того, чтобы превозносить эти черты. Жильберта с ее здравым, трезвым умом права: Жан-Жак простил бы эту Терезу, именно потому, что она так глупа; он снял бы с нее всякую вину, он оправдал бы ее.

Но Фернан — не Жан-Жак, он не святой, и он должен хотя бы сказать ей, что он о ней думает. Мрачно, тихим голосом, он проговорил:

— И только подумать, что мы виноваты!

— Мы? — переспросила она, искренне удивленная.

Разумеется, она не поняла его мысли и не поймет, сколько ей ни объясняй. Безнадежно. Его охватила глухая ярость. И вот эта женщина, это воплощение глупости — причина того, что мир потерял своего величайшего учителя. Фернан зло взглянул на Терезу, залитую неверным светом луны. Внизу лежало озеро с Островом высоких тополей. Он не понимал, что могло привлекать его в этой женщине.

Она почувствовала его неприязнь. Снова, как на погребении, он сердился на нее, и она совершенно не знала почему.

— Скажи мне хоть несколько ласковых слов,— попросила она и взяла его за руку.

Он отдернул руку.

— Послушайте,— резко выкрикнул он,— я запрещаю вам встречаться с этим вырождаком, с этим убийцей. Не смейте больше видаться с ним. Никогда.

Теперь ей ясно, почему он так сердится. Она почти обрадовалась. Он, значит, так представил себе дело, будто бы Николас ради нее все это совершил, потому что он ее очень любит. Значит, молодой граф попросту ревнует.

— Я заслужила, Фернан, чтобы вы со мной так разговаривали,— смиренно сказала она.— Когда я начала с Николасом, вас еще не было, и я была очень одинока, и житье у меня было нелегкое, вам же известно. Если бы я знала, что вы явитесь и скрасите мое одиночество, я бы не связалась с мосье Николасом. Но теперь ведь случилось это страшное, и если человек такое страшное сделал, значит, он сделал это все-таки ради меня. Так не могу же я быть с ним жестокой, поймите меня, Фернан. Я еще сама не своя. Дайте мне срок. Все эти дни я с ним не виделась. Я с ним не разговаривала.

Фернан молчал. Тогда она повторила:

— Дайте мне срок, Фернан.— И закончила, неуклюже кокетничая: — Теперь, когда Жан-Жака только-только похоронили, вы ведь тоже не захотите этого от меня?

Внизу лежало озеро с Островом высоких тополей. Фернан посмотрел на Терезу, содрогаясь от отвращения.

— Не захочу этого от вас? — переспросил он в ответ.— Я ничего не хочу от вас. Вы не смеете оскорблять память покойного. Вы не смеете у его могилы, в нескольких шагах от его могилы, прелюбодействовать с этим вырождаком. Это все, что я от вас хочу. И никогда я ничего другого от вас не захочу. Никогда. Поняли вы наконец?

Она поняла. И в ее глазах, глазах животного, вспыхнула глухая ненависть.

— Вот вы какой, значит,— сказала она. И, подбирая колкие слова и сколачивая их в неуклюжие фразы, она медленно, с наслаждением выговаривала их своим грудным голосом: — Сначала вы путаетесь со мной, а потом говорите мне гадости. И это называется граф, будущий

сеньор! Мне жаль каждой минуты, которую я с вами провела. Стыдитесь! И в его писаниях вы рылись, как вор, вы, знатный господин, аристократ. И всегда потихоньку, всегда прячась. Знаете, кто вы? — Она искала слово. — Лицемер вы! Заячья душа! И вы еще хотите мне приказывать? Вы не смеете мне приказывать. Я буду это делать с мосье Николасом, когда захочу и где захочу. Он не такой невежа, как вы. Он знает, как нужно поступать, когда любишь женщину. Его я люблю, а не вас!

Фернан встал. Она продолжала сидеть, неподвижная, залитая неверным светом луны, и слова медленно вылетали из ее большого рта. У него было время полностью вникнуть в их смысл. Он читал «Исповедь», и он вник в их смысл. Она чувствовала благодарность к убийце, потому что он убил ее мужа ради нее. Фернан понял ее, как понимал учитель, понял ее глубоко невинную порочность.

Она смотрела ему прямо в лицо. Он не мог выдержать этого гордого, презрительного взгляда. В его глазах были протест, ненависть, отвращение, страх. Он круто повернулся. Пошел прочь.

Все эти дни Николас, таясь, бродил вокруг Летнего дома. Но Тереза считала предосудительным встретиться с ним так скоро, ведь только что был весь этот ужас. После ссоры с Фернаном она больше не избегала мосье Николаса. Она любила его всем своим существом. Любовь возвышала ее над самой собой, и она находила для него все новые ласкательные имена. Она называла его: «Колá, мой Колá». Или игриво: «Мой милый повелитель Курносик!» или же: «Мой господин Тэтерсолл!»

Глава седьмая ОПАСНАЯ ПРАВДА

Маркиз де Жирарден читал «Исповедь». Испуг, брезгливость, жгучий интерес попеременно владели им, он с трудом сдерживал поднятую в его душе бурю. Тот самый человек, который написал «Новую Элоизу», который в тихой грусти бродил по Эрменонвилью, тот самый кроткий Жан-Жак сгорал на этих страницах, сжигаемый мрачным огнем.

И если «Исповедь» привела в такое смятение его, Жирардена, то что скажут тысячи людей, которые прочтут

эту книгу с холодным, равнодушным или даже враждебным сердцем? Как будут они, все эти мракобесы и враги, люди с грязными мыслями и грязными чувствами, копаться в тайнах Жан-Жака? Какие гнусности будут они выкрикивать на весь мир? Нет, Жирарден не смеет бросить на растерзание черни эту опасную правду.

Но как же быть с ясно выраженной волей Жан-Жака опубликовать это произведение после его смерти? Кто дал право Жирардену скрыть от мира вопреки воле учителя эту новую, страшную и волнующую благую весть?

Он дал прочитать рукопись Дюси, другу Жан-Жака. Поэт испугался того, что открывалось со страниц этой книги. Он разделял сомнения маркиза.

Тем временем выяснилось, что Жан-Жак доверил копии рукописи нескольким женевским друзьям: пастору Мульту и полуамериканцу Дюпейру, завещав, чтобы они опубликовали манускрипт после его смерти. Они так и намерены были сделать. Маркиз в красноречивых письмах старался их отговорить. Но пастор Мульту, ссылаясь на безусловную правдивость Жан-Жака, а также на его завещание, настаивал на необходимости немедленно опубликовать «Исповедь». После длительной переписки принято было предложение Дюси издать новое большое собрание сочинений Жан-Жака, так чтобы впервые публикуемые произведения вошли в последний том. Жирарден облегченно вздохнул. Обнародование опасной правды откладывалось по меньшей мере на три года.

Он не принял в расчет мадам Левассер.

К Терезе обращалось уже несколько издателей, желавших приобрести литературное наследство Жан-Жака, и мадам Левассер потребовала, чтобы маркиз продал рукописи сейчас, когда они разойдутся, как свежееиспеченные булочки. Мосье де Жирарден растолковал ей, как он себе мыслит опубликование этих рукописей. Она тотчас же сообразила, что таким путем доберется до жирных гоноров только через много лет, и стала возражать.

— Но если мы не позволим с опубликованием, мы рискуем нанести ущерб посмертной славе Жан-Жака. Так думают все его друзья,— горячился маркиз.

— Я и моя дочь, две бедные вдовы, не можем себе разрешить таких тонких соображений,— взбунтовалась мадам Левассер.— Нам нужны деньги. Мы достаточно долго их дожидались, мы достаточно натерпелись из-за пунк-

тика моего уважаемого зятя. Я не могу допустить, чтобы сейчас еще какая-нибудь философия встала на нашем пути.

Маркиз, раздраженный сопротивлением, ответил:

— Вы, мадам, вынуждаете меня коснуться момента, о котором я хотел умолчать. В этих рукописях есть места, набрасывающие тень на репутацию вашей дочери, да и на вашу лично.

Старуха возмутилась. Сначала Жан-Жак всю жизнь донимал ее дочь неаппетитной хворью, без Терезы он давно пропал бы и погиб, потом утачил у нее детей, а теперь в благодарность он еще из гроба поносит ее, этот юродивый, этот философ. Но мадам Левассер сдержалась и деловито предложила:

— Можно ведь не печатать эти места, которые портят репутацию, попросту выпустить их, и все тут. Мой уважаемый зять в могиле, он ничего не заметит.

Жиранден вышел из себя.

— И речи быть не может, мадам, чтобы к произведениям Жан-Жака прикоснулись ножницы или постороннее перо. Ни один издатель на это не согласится и никто из друзей, в том числе и я,— резко отчеканил он.

— Что ж,— спокойно ответила мадам Левассер,— пусть остаются эти места и портят нашу репутацию. За горсть луидоров наш брат готов и не то проглотить.

Жиранден смотрел на нее, и ярость душила его все сильнее. Если эти две женщины не были прямыми виновницами страшной смерти Жан-Жака, то прямой причиной ее они были. А теперь эта туша, эта старая хищница посягает еще и на посмертную славу усопшего. Довольно! Всякую деликатность с ней побоку!

— Я вам уже сообщал, мадам,— сказал он,— что управление финансами его величества короля Великобритании еще не ответило на мой запрос, будет ли пенсия вашего покойного зятя сохранена и в дальнейшем. И милорд маршал еще не вынес своего решения о дальнейшей выплате пенсии, назначенной им Жан-Жаку. Если рукописи, которые вас компрометируют, появятся в свет, мадам, то вы и ваша дочь едва ли сможете рассчитывать на получение этих сумм.

С горечью лишней раз убедилась мадам Левассер, как трудно маленьким людям отстоять свое право в борьбе со

знатными господами. У этой высокородной сволочи круговая порука. Но она все же еще не сдавалась.

— Теперь только мы почувствуем, в какие тиски попали с утратой нашего дорогого Жан-Жака, — сетовала она. И, уставившись на маркиза своими колючими маленькими глазками, сказала раздельно, тихо и выразительно. — Подумать только, что так легко можно было предотвратить эту утрату.

Она, как ей и хотелось, чувствительно задела Жирардена. На немой укор старухи, когда они стояли у смертного одра Жан-Жака, маркиз ничего не сказал, но эти бесовские слова он не намерен пропустить мимо ушей.

— Что это значит? — резко спросил он. — Объяснитесь точнее.

Старуха не отступала.

— А что тут объяснять? — спокойно ответила она и пристально посмотрела на Жирардена насмешливым, понимающим взглядом. — Я не судья, и не священник, и не философ, и что случилось, то случилось. Но я вас своевременно предупреждала, господин маркиз, вы этого не можете отрицать. И если бы вы тогда последовали совету старой женщины, правда, не высокого рода, но знающей жизнь и людей и хорошо видящей, что делается вокруг, многое сложилось бы иначе, господин маркиз.

На мгновение Жирарден света неувидел от душившего его гнева — так возмутила его эта подлая попытка вымогательства. Но он овладел собой. Старуха рассчитывала на немедленное получение наследства, у нее ничего нет за душой, кроме этих рукописей, понятно, что столь вульгарная особа в подобной ситуации теряет всякое благоразумие и черт знает что выдумывает. Пока что, и это главное, — необходимо предотвратить всякие разговоры вокруг «Исповеди», надо деньгами заткнуть этот подлый рот, и в конце концов он поступит в духе Жан-Жака, если возьмет на себя заботу о его жене и ее матери.

— Испытываемые вами трудности извиняют все то лишнее, что вы изволили тут наговорить. — И высокомерно, почти не скрывая своей антипатии, продолжал: — Я готов временно взять на себя выплату упомянутых английских пенсий. Рассматривайте это как ссуду под рукописи.

Мадам Левассер с самого начала одолевала сомнения, будут ли им выплачивать английские пенсии, теперь она

была приятно поражена предложением маркиза и сказала:

— Простите старую женщину, на голову которой обрушилось столько горя, если она порой и сболтнет что лишнее, господин маркиз. Я всегда знала, что вы — наш доброжелатель и что вы не бросите нас, бедных вдов, на произвол судьбы.

И, довольная, повернулась и пошла.

Жиарден тоже был доволен собой, он действовал, как верный друг Жан-Жака и как верный хранитель его творений.

Он остановился перед посмертной маской Жан-Жака, сделанной Гудоном. Глубокий меланхолический покой исходил от этого лица, и тем страшнее казалась впадина на нем — след раны, злоеющее углубление, проходившее от изрезанного складками лба через весь правый висок. Отчетливо вспомнился Жиардену разговор со скульптором, когда он, Жиарден, впервые увидел маску. «Вы не могли бы... мосье, смягчить неровности с правой стороны?» — спросил он с несвойственной ему перешителю. «Нет, мосье», — коротко ответил Гудон. А с тех пор как Жиарден познакомился с «Исповедью», проломленный висок зиял еще грознее. Чего только не насочинит падкая до сплетен толпа, каким только злобным толкованием не оплетет она эту вмятину, если к ней на зубок попадет история жизни учителя.

Насочинит! Внезапно его потрясло сознание, что здесь незачем сочинять. Он все это время обманывал себя, он на все закрывал глаза, еще только час назад он возмущался ужасающе прямыми словами старухи, как попыткой вымогательства. Теперь он вдруг понял: «болтовня» была правдой. Этот Николас... «Произнеси!» — приказал он себе... Он *убил* Жан-Жака.

Ноги у Жиардена подкосились, ему пришлось сесть. Он виновен, старуха справедливо взваливала вину на него. Нельзя было так легкомысленно заглушать в себе внутренний голос в тот раз, когда он, Жиарден, заметил непорядок на потайной доске с ключами. И во второй раз он не захотел услышать предупреждения, когда была отравлена собака. И в третий раз он ничего не предпринял, когда старуха, все понимающая своим низменным умом, требовала, чтобы он прогнал этого молодчика. Надо было действовать тогда, надо было вышвырнуть конюха вон.

И все-таки можно ли сказать, что он, Жирарден, виновен? Ведь у него были все основания принимать за пустую болтовню слухи об этой Терезе. Разве сам Жан-Жак, как о том свидетельствует «Исповедь», не верил Терезе? Разве он, Жирарден, обязан был быть умнее учителя?

Да, да, обязан был. Именно так. Жан-Жак мог себе позволить верить. Его задачей было ясновидение в большом, а не в ничтожном — не в таком, как его потаскуха Тереза. Жирарден же, знавший двор и людей, командовавший армией, не имел права быть глупее, чем старуха Левассер.

Что же ему делать? Что мог он сделать? Если бы даже тогда, стоя у трупa Жан-Жака, он так же ясно представлял себе взаимосвязь событий, как сейчас, он все равно вынужден был бы молчать и лгать. Раз он оставил у себя этого конюха, раз он тогда неправильно поступил, он обрек себя на необходимость и дальше молчать, и дальше лгать, и предпринимать сотни позорных, лживых шагов, чтобы преградить путь правде, становившейся все более и более опасной.

Покарать убийцу он не мог. Но одно он может сделать: порвать свое темное сообщничество с ним, прогнать его с позором и проклятиями.

Он вызвал к себе Николаса.

Спросил его строго и коротко, продолжает ли он об-служивать дам в Летнем доме. Николай ответил с наглой учтивостью:

— Да, господин маркиз. Ведь в конюшнях почти не-чего делать, поэтому я часть времени посвящаю обслужи-ванию дам.

Жирарден сухо спросил:

— Вы состоите в интимной дружбе с вдовой Руссо?

— Нельзя сказать, чтобы вдова Руссо не благоволила ко мне, — ответил Николай и, чуть заметно ухмыльнувшись, деловито продолжал: — Я был бы себе лиходеем, если б не поддерживал этой дружбы.

— Извольте немедленно убраться из Эрменонвиля! — крикнул Жирарден. — Сегодня же!

Николай, поскольку до сих пор его никто не трогал, полагал, что вся история погаснет, как догоревшая саль-ная свеча: чуть повоняет и забудется. Это, надо думать, старуха, вислосада кляча, не давала покоя идиоту мар-кизу. Как бы там ни было, но сейчас придется отступить.

— Что же, пожалуйста, если вы думаете, что мой уход повысит славу господина философа,— пожав плечами, нагло проговорил он. Маркиз поднял трость. Николас не дрогнул.— Вам не выбить из меня дружеские чувства к мадам Руссо, господин маркиз,— учтиво сказал он.

— Мой судья получит указание бросить вас за решетку, если вы еще когда-нибудь осмелитесь ступить на мою территорию,— не допускающим возражения тоном объявил маркиз.

— Не тревожьтесь, господин маркиз,— сказал Николас,— я по горло сыт достопримечательностями Эрменонвиля.

Выбросив из своего дома этот ком грязи, Жиранден почти физически почувствовал, как несносна ему постоянная близость обеих женщин. К сожалению, он не мог, не возбуждая скандальных толков, прогнать вдову Жан-Жака и ее мать из Эрменонвиля, где находилась могила Жан-Жака. Но, по крайней мере, их надо упрятать куда-нибудь подальше, с глаз долой.

Швейцарский домик был готов, тот самый маленький домик, который Жиранден строил для Жан-Жака. Он велел передать женщинам свое пожелание, чтобы они туда переселились.

В последний раз, исполненный умиленной грусти, посидел он на том самом пне на опушке леса, откуда в свое время Жан-Жак смотрел, как растет его дом. И больно и смешно, что не Жан-Жак, а эти женщины поселятся в швейцарском домике. Но здесь они хотя бы не будут попадаться Жирандену на глаза.

Они переехали, и отныне Жиранден даже близко не подходил к швейцарскому домику.

Глава восьмая

ИЗГНАНИЕ ЗЛОГО ДУХА

Жиранден передал Фернану гербарий, с такой любовью собранный покойным. Мадам Левассер прислала его вместе с рукописями. Но Фернан утратил всякий интерес к ботанике, он не умел, подобно учителю, протягивать нити воспоминаний от засушенных растений к людям и событиям.

В его воспоминаниях Жан-Жак все больше приобретал черты величия, но зато живые черты, как в сокровеннейшей глубине души признавался себе Фернан, все больше и больше бледнели.

Скорбя об учителе, он старался совсем не думать о собственном бессилии и собственной вине. И так как отец прогнал Николаса, то многое из того, что было запутано, распуталось без участия Фернана, а с тех пор как жепщины переселились в швейцарский домик и он почти не встречал их больше, он нередко на долгие часы, а то и дни забывал о Терезе и о том ужасном, что было с ней связано. Он с готовностью поддавался разумным уговорам всегда такой ясной Жильберты, а она убеждала его, что тяжкие дни прожиты и отжиты и нечего к ним возвращаться.

Иной раз, правда, когда он стоял перед посмертной маской Жан-Жака, им овладевало страстное желание искупить свою вину, что-то предпринять. Посмертная маска с вмятиной на виске, а не торжественный бюст Жан-Жака, была действительностью.

Фернан знал, что и в деревне Эрменонвиль людей не перестает будоражить смерть Жан-Жака. Заметив приближающегося Фернана, они обычно обрывали разговоры.

Однажды он напрямик спросил Мартина Катру:

— Что там у вас такое? О чем вы шушукаетесь? И почему вы умолкаете, когда я подхожу?

Мартин усмехнулся.

— Ты что, сам сообразить не можешь? — сказал он своим высоким пронзительным голосом. — Толкуют все насчет вашего покойного святого.

— Что же они там насочинили, интересно? — спросил Фернан с плохо наигранной иронией.

— Насочинили? — переспросил Мартин, пожимая широкими плечами. — То же самое, что и вся страна.

Фернан покраснел.

— Может быть, ты сообразишь несколько точнее выразиться? — сказал он вызывающе, и так как Мартин молчал и только смотрел на него черными, умными, насмешливыми глазами, он надменно скомандовал: — Изволь объясниться!

— Если вы заговорили со мной таким тоном, граф Брежй, — сказал Мартин, — то было бы правильнее на сегодня прекратить нашу приятную беседу.

— Да говори же, говори наконец, — заклинал его Фернан. — Почему каждое слово нужно из тебя клещами вытягивать?

Хотя Фернан совсем не глупый малый, но кое в чем он все-таки ограничен, ведь это аристократ, думал Мартин; однако не может же он быть настолько ограничен, чтобы не знать того, что всему свету известно.

— Неужели тебе и вправду нужно еще объяснять? — спросил Мартин.

— Да скажи наконец, скажи, — настаивал Фернан.

Мартин, пожав плечами, ответил:

— Ну хорошо. Если человек отправляется к праотцам или если его отправляют к праотцам таким подлым образом, то следовало бы, как полагают наши деревенские, как полагаю я, да и решительно все, разобраться в случившемся. Вы же не захотели разбираться. Сначала вы не знали, куда усадить вашего гостя, какие еще почести ему воздать, а потом, когда ваш конюх проломил ему череп, вы просто закопали его в землю, и точка. Вот это они, наши деревенские, не очень-то одобряют.

Фернан отлично знал, о чем толкуют в деревне, но когда он все это услышал, сказанное недвусмысленными словами, его живое лицо исказила гримаса ужаса.

— Проломил череп? Наш конюх? — ошеломленно повторял он.

Такая безмерная глупость, или притворство, или и то и другое вместе возмутили Мартина.

— А кто же? — грубо сказал он. — Ведь всем известно, что жена вашего святого без памяти втюрилась в этого английского конюха, а святой мешал им. Они и решили от него избавиться. Ясно, как дважды два.

Фернан впился в Мартина глазами, горевшими бесильным гневом. А Мартин, раздраженный такой младенческой наивностью, едва ли не сочувственно добавил, сам все же немножко растерянный:

— Она многим вешалась на шею, эта особа.

Фернан испугался до смерти. Этот Мартин все знает. Все всё знают. *Piget, pudet, roenitet* — досадовать, стыдиться, раскаиваться, машинально повторял он про себя. Он непроизвольно закрыл лицо руками, так стыдно ему было.

Мартин жалел его. И все-таки рад был, что сунул все это под нос Фернану, этому аристократу. Он разошелся и не мог уж остановиться.

— Не знаю, как там у вас, аристократов, думают насчет таких вещей, но мы, мелкий люд, называем это неслыханным безобразием. Сначала ваш английский конюх, паглая рожа, идет и приканчивает Жан-Жака, потом над его гробом обнимается с его женой, а вы стоите рядом и преспокойно на все это посматриваете. Тут мы говорим: «Тьфу, пропасть!» И как-нибудь наши парни подкараулят молодчика, когда он будет от нее возвращаться, и измолотят так, что живого места на нем не останется.

Фернан недоуменно уставился на Мартина.

— Но ведь Николаса нет здесь,— сказал он.— Батюшка его давно прогнал.

Удивление Мартина было не меньше.

— Ах ты, мой херувимчик невинный,— издевался он.— Конечно же, негодяй здесь. Где у тебя глаза? Конюх на службе у Конде. От вас до Конде не так уж далеко.

Это было чудовищно, но Фернан не сомневался, что так оно и есть. Принц Конде всегда рад подложить отцу свинью.

Он носился по лесу, сгорая от ярости и стыда. Даже крестьяне чувствовали, что так этого нельзя оставить, а он, Фернан, безвольно опустил руки и успокоился. Деревянный он, что ли? Он не вправе допустить, чтобы эта бессовестная женщина продолжала блудить с негодяем над могилой Жан-Жака. Даже если придется застрелить это грязное животное.

На этот раз он не станет предварительно вести долгие разговоры с Жильбертой, слушать ее проповеди благоразумия и трусости.

Он пошел прямо к Жирардену. Сказал:

— Вы прогнали английского конюха из ваших владений, батюшка. Но наш друг, принц Конде, взял его к себе на службу. Николас продолжает обретаться в здешних местах и встречается с мадам Руссо.

Судья Эрменонвиля, рапорт которого Жирарден выслушивал каждое утро, уже докладывал, что известный Николас Монтрету все еще проживает в соседнем владении. Судья хотел еще что-то добавить, но Жирарден, прервав его, спросил: «Он по-прежнему показывается в Эрменонвиле?» — и вполне удовлетворился, когда судья на его вопрос ответил отрицательно. И вот теперь сын заставляет его снова вернуться к этой истории. Он рассердился.

— Дурацкие слухи,— сказал он.— Не беспокойте меня пустяками, пожалуйста.

— Нет, не слухи,— настаивал Фернан.— Негодяй встречается с этой женщиной по-прежнему. Все это знают, все об этом говорят. Вы должны что-то предпринять, батюшка. Заклинаю вас: примите какие-нибудь меры против него. Решительные! Бесповоротные!

Тон сына, настойчивый, обвиняющий, возмутил маркиза. Ни разу в жизни Фернан не позволял себе критиковать отца, и одной дружбой с Жан-Жаком нельзя объяснить столь неслыханную дерзость. У мальчика, видно, есть основания посильнее, более личного характера. И тут вдруг ему почему-то вспомнилось, как Фернан иногда исчезал перед ужином и прятался от Жан-Жака. Все это, конечно, связано одно с другим: Фернан, должно быть, путался с этой потаскухой.

Он почувствовал даже некоторое облегчение, что может сорвать гнев на сыне.

— Как вы посмели явиться ко мне с подобными слухами? Как вы посмели читать мне нравоучение? — крикнул он строго. Фернан, густо покраснев, молчал, и Жирарден безжалостно спросил: — Граф Фернан, в чем вы хотели признаться мне?

Фернан был оскорблен. Он не пощадил себя, он исполнил тяжкий долг и указал отцу, что убийца все еще нагло разгуливает по окрестностям и наслаждается плодами своего злодеяния и что это позор для Эрменонвиля. А сеньор Эрменонвиля платит ему тем, что бросает тень на его побуждения. Ему стыдно за отца.

Вспомнилась мелочная строгость отца, в которой тот все годы держал его, стараясь подчинить себе; вспомнилось, как отец мытарил и изводил его всякими придирками. Вспомнилось, как отец сломал скрипку. Вспомнились страшные годы военного училища, куда отец послал его. Отчетливо всплыл вдруг смешной и обидный эпизод, случившийся много лет назад. Однажды, когда Фернан был на охоте, отец послал за ним верхового с приказом немедленно возвратиться домой. «Мосье,— сказал ему отец,— вы забыли закрыть за собой двери своей комнаты. Закройте — и тогда можете продолжать охоту».

Конечно, отец и любовь выказывал ему на много ладов. Он, например, взял его с собой в длительное путешествие по Италии и Швейцарии, хотя это, несомненно, обремен-

няло его. Под сотнями предлогов он проявлял знаки робкой, почти скрытной нежности к сыну.

Исполненный гнева, осуждения, но в то же время и любви, смотрел на отца Фернан, и по судорожно-напряженному лицу его с мучительной ясностью читал, что и у отца много своих терзаний. Несомненно, этого гордого, справедливого человека не меньше, чем его самого, жгла потребность покарать злодеяние. Но его волновал престиж Эрменонвиля; сеньор Эрменонвиля не хотел рисковать славой и честью своего дома, а они могут пострадать, если поднимется шум вокруг кончины Жан-Жака.

— Я жду ответа,— сказал Жирарден.

Фернан, запинаясь, мужественно признал:

— Да, мои отношения с этой женщиной возлагают на меня вину. Но именно поэтому,— продолжал он пылко,— мне так важно, чтобы человек, связанный с учителем столь страшными узами, был раз навсегда изгнан отсюда. Он не смеет больше осквернять его память своим присутствием здесь. Быть может, это очень дерзко, батюшка, но еще и еще раз прошу вас: положите конец этому позору. Он надрыгает мне сердце, этот позор! — И с перекошенным лицом иступленно крикнул: — Воздухом Эрменонвиля нельзя дышать!

Таких слов еще никто не говорил маркизу. Никому и никогда не приходилось призывать его к защите своей чести, и уж совсем не к лицу ему выслушивать подобные призывы от собственного сына. Он непроизвольно поднял руку, собираясь ударить Фернана. И вдруг взгляд его упал на посмертную маску Жан-Жака. Рука сама собой опустилась. Громко заговорило в нем сознание собственной вины.

Но никогда и никому он не признается в своей вине. Он искал сильные слова, чтобы поставить на место взбунтовавшегося сына. Не находил их. Мягко, грустно и устало сказал:

— Тяжесть утраты, мой сын, лишила тебя благоразумия.

И в эту минуту Фернан, в свою очередь, понял, что происходит в душе отца. После длительного молчания он тихо и почтительно спросил:

— Что вы решили, батюшка?

— Я поеду в Париж, к министру полиции,— ответил Жирарден.

Мосье Ленуар, министр полиции, по-видимому, не был особенно удивлен, когда маркиз потребовал высылки своего бывшего конюха Джона Болли, проживающего под именем Николаса Монтрету. Он велел принести объемкостое дело и резюмировал:

— Я вижу,— сказал он, перелистывая дело,— что однажды мы уже намеревались выслать вашего конюха за пределы страны. Это когда вы его уволили. Но после того как его высочество принц Конде взял его к себе, нам пришлось отменить свое решение. Сообщенные вами сведения, дорогой и многоуважаемый маркиз, меняют ситуацию. Мы находимся в состоянии войны с Англией, и столь сомнительной личности, как сей англичанин, нечего делать на нашей земле. Я отдам приказ об его высылке.

Маркиз был приятно удивлен легкостью, с какой ему удалось добиться своего. Но его смущало и угнетало, что министр, по-видимому, был отлично осведомлен о событиях в Эрменонвиле. Значит, экспертиза врачей и судебных не убедила Париж. Не слишком ли много Жиранден взял на себя, скрыв от современников и от потомков правду о загадочной кончине Жан-Жака?

Как бы там ни было, ближайшая цель достигнута: убийца скроется с глаз.

Уже через несколько дней Николас получил подписанный самим министром полиции приказ в течение недели покинуть земли всехристианнейшего короля и под страхом сурового наказания не показываться в их пределах.

Николас густо сплюнул и присвистнул сквозь зубы. Нельзя было не признать: не глупый ход они придумали — этот спесивый Жиранден вместе со старой кобылой. Придется подчиниться.

Однако мистер Джон Болли не принадлежал к числу людей, легко отказывающихся от того, что однажды забрали себе в голову. Он покинет пределы Франции, но до поры до времени; когда-нибудь война кончится, все позабудется, и тогда он вернется и получит эту женщину, а с ней — писания чудака и деньги.

Прежде всего, следовательно, необходимо обеспечить за собой Терезу, наложить на нее свое тавро.

Как только наступила ночь, он отправился в швейцарский домик. Женщины собирались уже запереть все двери и лечь спать. Мадам Левассер, увидев Николаса, оцепе-

нела — ее охватил панический страх: домик стоял в глубине парка, на отлете, далеко от замка; здесь никто не услышит призыва на помощь — хоть разорвись от крика.

— Добрый вечер, мадам, — вежливо сказал Николас. — Добрый вечер, мой ангел, — обратился он к Терезе. — Мне нужно с тобой поговорить.

Тереза тоже испугалась. Случилось, наверное, что-то очень важное, иначе мосье Николас не пришел бы сюда, да еще так поздно; в то же время ее самолюбию польстила отвага, проявленная им ради нее. Ведь ему так опасно показываться на территории Эрменонвиля.

— Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз, — пояснил он.

Но старуха уже владела собой.

— Убирайся вон, шелудивый пес, — сказала она спокойно, не повышая голоса.

— Видишь, дорогая Тереза, даже твоя матушка хочет, чтобы наш разговор происходил без ее участия. Это-то я тебе и предлагаю. Пойдем же.

Тереза при всей своей любви смертельно боялась Николаса. Он наверняка хотел от нее чего-то нехорошего. Она готова все для него сделать, но все-таки счастье, что мать рядом.

— Ты никуда не пойдешь, — тихо сказала старуха, — а вы убирайтесь, мерзавец этакий.

Николас шагнул к Терезе. Но она придвинулась к матери и, когда та взяла ее за руку, крепко обхватила материнскую руку.

Николас пожал плечами.

— Мадам капризна, — сказал он. — То она хочет, чтобы мы поговорили в парке, то — здесь, в доме. Я светский человек, я уважаю старость. Останемся здесь. Конечно, нынче ночью я особенно хотел побыть с тобой наедине, Тереза, сокровище мое. Дело в том, что мы с тобой некоторое время не сможем видеться. Я пришел с прощальным визитом.

— Ты хочешь уехать? — спросила Тереза.

Сердце ее забилося так, что у нее перехватило дыхание. Никогда раньше она с таким страхом и с таким чувством глубокого счастья не сознавала, как сильно она любит этого человека; если это не та настоящая любовь, о которой поется в песнях, значит, вообще никакой любви нет. Ей когда-то казалось, что она любит Робера, молодого при-

казчика из мясной лавки, но то чувство ничто по сравнению с теперешним. Тридцать восемь лет исполнилось ей, свои лучшие годы она убила, ухаживая за Жан-Жаком и обслуживая его, и вот наконец пришла настоящая любовь, и она может отдаться ей, никто ей не мешает, и даже деньги у нее есть, а он хочет уехать.

— «Ты хочешь уехать?» — передразнил ее Николас. — Я вовсе не хочу уехать, я *должен* уехать, а все ты виновата. Твой миленький любовник, этот фруктец, аристократичка, нам все подстроил. — И вдруг его долго сдерживаемое бешепство прорвалось наружу. — И все оттого, что ты путалась с этим молокососом. Он ревнует и прячется за полицию, вельможный трус, заячья душонка!

Мадам Левассер мысленно пела осанну и аллилуйю. Она, значит, все-таки добилась своего: негодяя выпроваживают отсюда, а она остается. Она крепче сжала руку дочери, она мысленно заклинала Терезу сохранить еще только одну капельку благоразумия, всего на несколько минут, и тогда обе они спасены, и их деньги тоже, и тогда Терезе больше ничего не угрожает. Она, эта старуха, вся напряглась, она всла немой разговор с Терезой, молила ее, ругала ее, убеждала, все это вкладывая в свою руку, сжимавшую руку Терезы. И она чувствовала: Тереза, несмотря на всю свою похотливость, боится этого молодца и доверяет ей, матери. Она не пойдет, негодяю ничего не удастся сделать.

Слегка охрипшим голосом Тереза спросила:

— Когда ты должен ехать? И когда ты вернешься?

— Я уезжаю завтра, — сказал он, — а когда вернусь, не знаю.

— Я буду ждать тебя, — обещала она, — а может, поеду вслед за тобой. Когда-нибудь я буду свободна.

Он до конца наслаждался смыслом этих слов, выразивших ее сокровенную мечту. Она крепко ухватилась за руку матери, а в душе желала ей смерти. Он чувствовал: эта женщина от него не ускользнет. Она *будет* ждать его.

— Конечно, было бы славно, если бы мы отпраздновали наше расставание где-нибудь на лужайке, — соблазнил он.

Она тянулась к нему всей своей плотью, она подалась вперед, но рука старухи вселяла в нее благоразумие, и она крепко держала эту руку. Он пожал плечами.

— Война скоро кончится,— сказал он.— И тогда я вернусь. Смотри только, чтобы мамаша не порастрясла все деньги на своего птенчика, на нашего американского сержанта. А сколько их, денег-то, интересно? — властно спросил он.

— Тебе, видно, очень хочется знать,— издевалась старуха.— Но придется тебе унести ноги, так и не дознавшись, стоит ли возвращаться. Сколько там денег — об этом твоя Тереза не имеет ни малейшего представления. Но много ли, мало ли, а они так надежно положены, что ни один ворюга до них не доберется.

— Вы недооцениваете силу моей любви, мадам,— ответил Николас.— Я вернусь. Так и быть, рискну. Много ли, мало ли денег, мы с моей Терезой одно тело и одна душа.

— А к молодому графу вам незачем резновать, мосье Николас,— заверила его Тереза.— Было время, когда оп мне нравился, что правда, то правда. Но с тех пор, как вы...— она искала слово,— сделали это самое ради меня, я знаю, кому принадлежит мое сердце, и я ни на кого больше и глядеть не хочу.

— Умница,— похвалил Николас.

О, как он издевается над ее бедной Терезой, думала старуха.

— Ну что ж, если наше прощание наедине не вышло, то я лучше пойду. Адрес свой я тебе сообщу.

— Да, пиши мне,— слезно попросила Тереза,— пиши как можно чаще.

— Я по-французски отчаянно пишу,— ответил он.— А если бы и хорошо писал, так ты же все равно не сумеешь прочесть.

— Как-нибудь уж разберусь,— покорно сказала Тереза.

— Вот уж сомневаюсь,— ответил он.— Если мне так писать, чтобы третий не понял нас, то тут надо чертовски хитро завернуть, а у тебя умишко, к сожалению, совсем крохотный, ненаглядное мое сокровище.

— Тебя-то я пойму, мой Кола,— заверила его Тереза.

— Я не граф и не богач,— сказал он,— но я кое-что принес тебе на прощание.— Он вплотную подошел к Терезе.

— Дай руку,— потребовал он.

— Нет! — запретила мать.

— Дай руку, — приказал он вторично.

И теперь Тереза жаждала только одного: исполнить его волю, хотя бы ценой своей бедной души. Она высвободила руку и протянула ее Николасу.

— Я ничего ей не сделаю, — сказал он с издевкой, повернувшись к старухе. — Вот, — милостиво обратился он к Терезе и надел ей на палец кольцо. — Наше обручение, понимаешь? Наше венчание. Теперь я твой законный муж, по крайней мере, такой же законный, как твой покойный Жан-Жак. Теперь ты моя, и я, можно сказать, твой.

— Да, мой Кола, мой дорогой Кола, — послушно откликнулась Тереза.

Всем телом дрожала она от счастья, от гордости, от страха. Это была величайшая минута ее жизни.

Глава девятая КОРОЛЕВСКАЯ КОМЕДИЯ

Король, шестнадцатый по счету Людовик, сидел в своей библиотеке в Версале и читал тайные донесения министра полиции Ленуара. Двадцатичетырехлетний монарх читал охотно и много, в особенности официальные документы.

Он наткнулся на заметку: некий Джон Болли, именуемый также Николас Монтрету, конюх принца де Конде, ранее конюх маркиза де Жирардена, выслан за пределы страны; Болли находился в преступной связи с вдовой недавно скончавшегося писателя Жан-Жака Руссо, помимо всего прочего, он англичанин.

Молодой король обладал блестящей памятью. Отчетливо помнил он тайные донесения, в которых сообщалось о смерти Руссо. Подвергалось сомнению, действительно ли этот человек умер от кровоизлияния в мозг; речь шла о каких-то темных слухах, и уже тогда упоминалось имя этого английского конюха.

Толстый, в некрасивой позе сидел Людовик у своего письменного стола. Опустив на руки большую жирную голову с покатым лбом, он смотрел близорукими, несколько выпуклыми глазами на украшавшие его письменный

стол фарфоровые бюсты великих умерших поэтов — Лафонтена, Буало, Расина и Лабрюйера. Изящные фарфоровые бюсты были изготовлены по личному заказу короля, в его севрской мануфактуре. Это все писатели, которые ему по сердцу. Они творили с верой в бога и в установленный богом порядок на земле. Теперь таких писателей нет. Ему, Людовику, приходится то и дело отбиваться от атеистов и бунтарей, от таких, как Вольтер, как Руссо.

Он думал о злых семенах, посеянных этими философами, и о ядовитых обильных всходах, которые эти семена принесли. Цинизм и богоотступничество завладели его двором и его столицей. Мятежи, вспыхивающие то там, то тут во всем мире, служат для его вельмож только развлечением, они беспечно подпиливают сук, на котором сидят. Поддавшись уговорам министров, он заключил союз, направленный против своего же кузена на английском престоле, союз с взбунтовавшимися английскими провинциями в Америке. Это путь в пропасть, и на этот путь его заставили вступить; он слишком слаб, он не может противостоять всеобщей воле, — кажется, он мысленно употребил оборот, сочиненный Руссо? Больше того, он знал, что ему еще придется послать войска на помощь мятежным американцам, восставшим против богоданного короля. Он видел, только он один и видел, что все это рано или поздно обернется против него самого.

Всевышний показал ему свою милость, послав столь позорную смерть обоим бунтарям-философам, одному вслед за другим. Тело Вольтера вынесли втихомолку ночной порой и с неподобающей поспешностью втихомолку же где-то похоронили. В таких похоронах было что-то непристойное, и это, к счастью, умалило величие памяти и имени Вольтера. А теперь и второй богоотступник кончил бесславной смертью, убитый любовником своей жены.

Вскоре после кончины Руссо ему как-то пришла в голову мысль назначить расследование дела. Но премьер-министр выразил сомненье: весь мир-де высоко ценит этого философа, его слава — слава Франции. И вот теперь предполагаемого убийцу даже выслали, чтобы сохранить незапятнанной память бунтаря. Неужели же он, король, глядя на все это, по-прежнему будет сидеть сложа руки? Не обязан ли он, всехристианнейший монарх, распространить

версию с сомнительной кончине богоотступника и тем самым умалить воздействие его книг?

На ближайшем докладе министра полиции Ленуар король сказал:

— Я вижу, дорогой Ленуар, вы тут выслали некоего конюха, который находился в связи с вдовой пресловутого Руссо. Не слишком ли поспешно вы действовали? Не затруднит ли его высылка расследование слухов по поводу смерти этого неспособного философа?

— Экспертиза безупречна, — ответил Ленуар, — протокол подписан видными врачами и представителями властей, из него явствует, что мосье Руссо скончался от кровоизлияния в мозг.

— А вы дознались, какой смертью он на самом деле умер? — спросил Людовик и жестом как бы сбросил со счетов экспертизу. — Что там такое с этим конюхом, который будто бы убил его, потому что состоял в грязной связи с его женой? Неопровержимо ли доказано, что он невиновен?

— Получить неопровержимые доказательства едва ли удалось бы, — осторожно сказал Ленуар. — И многие истинные патриоты Франции рассматривают отсутствие таких доказательств как благоприятное обстоятельство для королевства.

— *Justitia fundamentum regnorum*¹, — сказал Людовик. — А архиепископ Парижа, вероятно, не видит в этом благоприятного обстоятельства для Франции. Я не помню, чтобы я повелел воздержаться от судопроизводства.

— Если это приказ, ваше величество, — помолчав, сказал министр, — тогда я пошлю секретные протоколы господину генеральному прокурору с просьбой изучить и затем доложить вашему величеству о возможности возбуждения дела.

— Благодарю вас, Ленуар, — сказал Людовик.

Спустя несколько дней в Эрменонвиль прискакал доктор Лебег. Он был в необычайном волнении. Едва поздоровавшись, он сообщил, что затеваются дела, касающиеся их обоих, и когда Жирарден встревоженно вскинул на него глаза, пояснил:

— Пусть вас не удивит, дорогой маркиз, если в Эрменонвиль по специальному заданию генерального проку-

¹ На справедливости зиждутся царства (лат.).

рора явится следственная комиссия. Король считает желательным досконально выяснить все обстоятельства смерти Жан-Жака. Мне рассказал об этом доктор Лассон, лейб-медик короля.

— Но ведь все выяснено, — испуганно воскликнул Жи-рарден. — Ведь есть протокол, вашей рукой подписанный протокол.

Лебег пожал плечами.

— *Regis voluntas — suprema lex*¹.

— Неужели этому злополучному делу так никогда и конца не будет? Нельзя же возбуждать судебное преследование на основании пустой болтовни, — сетовал Жи-рарден.

Лебег едва ли не благодушно ответил:

— В таких случаях прибегают к эксгумации трупа.

Жи-рарден впал в отчаяние. Он представил себе, как чиновники уголовной полиции переезжают по озеру на Остров высоких тополей, как там равнодушными руками сдвигают с места надгробный памятник, перерывают свя-щенную землю и вытаскивают из гроба труп, чтобы его заново кромсать.

— Что же делать? — растерянно спросил он.

— Король медлителен, — ответил Лебег, — пройдет какое-то время, раньше чем он решится отдать приказ о до-следовании. Это время необходимо использовать. Надо, чтобы кто-нибудь из приближенных короля постарался на него воздействовать. Жан-Жак в моде, а круг королевы не отстает от моды. Вы как будто в родстве с маркизом де Водрейлем? Королева делает все, что захочет Водрейль.

Маркиз скроил кислую мину. Он и кузен Водрейль не любили друг друга. Сверхизысканный щеголь и ветреник, Водрейль с головы до пят был царедворцем. Жи-рарден расценивал его интерес к философии и литературе как чистейшее позерство. В свою очередь, Водрейль посмеивался над интеллектуальной кичливостью своего деревенского кузена.

— Не представляю себе, — сказал Жи-рарден с доса-дой, — как бы я мог убедить Водрейля вмешаться в уго-ловное расследование, в котором заинтересован король.

— Это можно было бы сделать обходным путем, — ска-зал Лебег. — Водрейль и вся Сиреневая лига бредят

¹ Воля властителя — высший закон (лат.).

«Новой Элоизой». Места, где Жан-Жак провел последние месяцы своей жизни, и его могила таят, несомненно, прелесть сенсации и моды для этих чувствительных кавалеров и дам. Водрейль вряд ли ответит отказом, если вы пригласите его приехать в Эрменонвиль... с королевой.

Жиранден понял, куда клонит Лебег. Водрейль был у королевы в большом фаворе, она безоговорочно принимала все его предложения. И если уж королева посетит могилу Жан-Жака, то осквернить ее после этого шумом уголовного дела будет невозможно. И тогда Жан-Жака навсегда оставят в покое. А вместе с Жан-Жаком и его, Жирандена.

Он поехал в Версаль. Водрейль держал себя точно так, как ждал того Жиранден, — иронически и покровительственно. Было горько просить у этого вылощенного вельможи об одолжении. Жиранден сделал над собой усилие, унился, попросил. Как известно уважаемому кузену, сказал он, показать королеве, создательнице Трианона, Эрменонвиль — его давнишнее заветное желание; а теперь, когда в земле Эрменонвиля погребен величайший мыслитель Франции, быть может, и королеве самой захочется посетить Эрменонвильские сады.

Водрейль с удовольствием наблюдал, каких усилий стоит его деревенскому кузену поддерживать придворный тон. Он насквозь видел подоплеку всего этого дела. Водрейль находил безвкусной идею толстяка Людовика поднять шум вокруг мертвого Жан-Жака, и его подмывало подстроить королю каверзу.

Если Водрейль вместе со смешливой, элегантной королевой, этим избалованным ребенком, приедет на могилу Жан-Жака, это создаст пикантную ситуацию и будет понято как весьма иронический символ. Вельможа уже сейчас мысленно улыбался, представляя себе, как вся Европа заговорит об этом паломничестве. Даже в хрестоматиях далеких потомков еще можно будет найти поучительные рассказы о том, как юная королева Мария-Антуанетта и ее первый камергер украшали полевыми цветами могилу философа-бунтаря.

— Вы правы, уважаемый кузен. Наши подданные исполнятся благодарностью к своей монархине, если она воздаст должное памяти любимого философа. Я передам Madame приглашение, — милостиво пообещал он, — и от души посоветую его принять. Более чем уверен, что Madame согласится. Рассчитывайте, любезный кузен, в самое

ближайшее время увидеть нас в Эрменонвиле. Madame посетит могилу Жан-Жака и выразит свое соболезнование его вдове.

Да, это дополнение Водрейль тут же мгновенно придумал. Он приперчит удовольствие, это будет высочайшая комедия — королевская комедия, если королева Франции выразит соболезнование особе, являющейся главной виновницей темного конца этого наивного философа.

Все в Жирардене возмутилось. Он с наслаждением огрел бы своего кузена по гладкой, красивой, самодовольной физиономии. Но картина королевского посещения, нарисованная Водрейлем, отвечала духу и требованиям благопристойности. Жирарден не видел пути, как отклонить его предложение. Кроме того, своей дьявольской идеей, так внезапно его осенившей, Водрейль невольно оказывал ему еще одну услугу. После того как ее величество милостиво поговорит с главной виновницей убийства, та перестанет быть главной виновницей убийства, а значит, не было и убийства.

— Вельма благодарен, масье, за вашу любезность, — сказал Жирарден. — Почтительно и взволнованно жду дальнейших сообщений касательно ее величества.

Спустя несколько дней к главным воротам Эрменонвиля действительно подъехала королева с немногочисленной свитой.

После завтрака Мария-Антуанетта совершила прогулку по парку. В Башне Габриели Жирарден устроил для нее маленький концерт: были исполнены песни Жан-Жака, главным образом неопубликованные. Стройной, очень юной, светловолосой даме понравились простые песенки, она сама спела одну из них с листа; у нее был красивый голос.

Затем направились к озеру, и маркиз, собственноручно гребя, перевез Марию-Антуанетту и Водрейля на остров. Полные три минуты все стояли в молчании у могилы. Как было предусмотрено, королева Франции убрала скромное надгробье полевыми цветами.

— Красиво, — сказала она. — Красиво здесь, и такой глубокий покой вокруг. Тут ничто не тревожит его вечный сон. Я просила почитать мне страницы из «Новой Элоизы», — рассказывала она Жирардену. — Я даже написала об этом моей матери, императрице; она отнюдь не пришла в восторг. Все же мне хотелось послушать еще несколько

глав из «Новой Элоизы». Но вы знаете, дорогой маркиз, как я занята: я ничего не успеваю. Теперь, побывав на могиле Жан-Жака, я непременно наверстаю упущенное. Напомните мне об этом, милый Водрейль.

Грациозно сидя под ивой на дерновой скамье Жан-Жака, Мария-Антуанетта принимала почести, воздаваемые ей сельской молодежью. Она привыкла к сценам такого рода; с дружелюбно-участливым выражением лица слушала она девушку в белом платье, читавшую оду королеве, и думала о другом.

Но вот Водрейль обратился к Жирандену. Сказал, что скоро надо возвращаться, а ее величество желала бы еще выразить свое соболезнование близким Жан-Жака.

Губы королевы кривила легкая, озорная улыбка. Водрейль рассказал ей историю злополучного брака великого философа: он женился на скудоумной особе и, когда у нее рождались дети, подкидывал их в приют; в конце концов она возненавидела его и вдвоем со своим любовником злодейски устранила с дороги. Водрейль объяснил Марии-Антуанетте, что говорить об этом вслух нельзя, Жан-Жак — слава Франции, но все, что он рассказал ей, — правда и весьма интересный случай. Мария-Антуанетта с ним согласилась; она приехала главным образом затем, чтобы поглядеть на эту роковую особу.

Когда мадам Левассер и Терезе сказали, что королева хочет их повидать, они сперва не поверили. Даже всегда невозмутимая мадам Левассер заволновалась. Терезе впервые приоткрылось, что значит быть вдовой Руссо.

И вот они здесь, и перед ними королева.

С живым интересом, с легким содроганием разглядывала Мария-Антуанетта эту женщину. Тот самый Жан-Жак, который написал такую чудесную, трогательную, знаменитую книгу и был предметом соперничества знатных дам, наперебой искавших его расположения, жил с этой неуклюжей, вульгарной особой и погиб от руки ее любовника. Да, удивительно! Она с удовольствием рассмотрела бы ее в лорнет; быть может, в далеком прошлом и было в этой женщине что-то привлекательное. Но пользоваться лорнетом, пожалуй, не подобает здесь, почти у самой могилы. Матери вообще нельзя написать, что она ездила сюда, но мать все равно узнает и направит к ней посла, который, не отступая от этикета, почтительно и впушительно отчитает ее; и ее добрый толстяк Людовик

будет дуться. Но разговаривать с этой особой — тут есть своя пикантность, и Мария-Антуанетта заранее предвкушала удовольствие, как она обо всем расскажет своей подруге Ивонне и другим членам Сиреновой лиги.

— Я посетила могилу вашего супруга, моя милая, — сказала она серьезным, дружеским тоном, однако без излишней фамильярности; так разговаривала она с людьми из народа, когда желала выразить им свое участие. Она научилась у матери-императрицы обращению с простыми людьми; в приветливости никто из монархов не превосходил Габсбургов. — Тяжелый удар постиг вас, — продолжала Мария-Антуанетта и добавила тихо, почти интимно: — Мне рассказывали, сколько вам пришлось вытерпеть из-за беспокойной философии вашего уважаемого супруга, который при всем своем величии был несколько чудаковат. Представляю себе, мадам, что вы испытывали, теряя ваших малюток.

«Должно быть, наш юродивый и впрямь был великий человек, если королева разводит вокруг него столько антимоний. Уж теперь рукописи наверняка поднимутся в цене, надо надеяться, что маркиз вдобавит это издателям. Если бы только Тереза не держала себя такой дурой! Поплакать-то чуть могла бы, королева!»

Но Тереза онемела в своем счастливом смущении. «Какая милостивая важная дама, — думала она. — А что за красавица. И кавалер ее. Как одет! А как статен! И все они приехали ко мне! Какая честь! Вот жаль, что Жан-Жак не дожил до этого! А уж что мосье Николас всего этого не видит — так до слез обидно». Но слов для ответа королеве Тереза не находила.

— Да, Madame, — выручила ее наконец мадам Левассер. — Моей дорогой Терезе пришлось немало перенести. Но он ведь был великий философ, наш бедняжка Жан-Жак, и тут уж смиряешься и все причуды принимаешь как должное. Я всегда говорила моей Терезе: ты несешь свое бремя во славу Франции.

«Надо непременно сказать несколько ласковых слов и этой противной старухе, иначе Водрейль меня потом загрызет», — думала Мария-Антуанетта.

— Но у вас, по крайней мере, есть ваша дорогая ма-тушка, — сказала она Терезе. — Это большое утешение, я знаю по себе. В тяжелые минуты я всегда вспоминаю о своей матери, императрице, и это придает мне силы.

— Да, Madame, — сказала Тереза и поцеловала Марию-Антуанетте руку.

А мадам Левассер заверила:

— Весь остаток моей жизни я буду молиться за ваши величества, за вас, Madame, и за вашу всемилостивейшую мать — императрицу.

Так завершилось посещение Эрменонвиля Марией-Антуанеттой. Этим посещением королева как бы лично скрепила печатью протокол Лебега о смерти Жан-Жака, и теперь уж не было ни надежды, ни страха, что зияющая рана на виске умершего и ее отгиск на посмертной маске станут еще когда-нибудь предметом исследования.

Глава десятая ФЕРНАН ВИДИТ СВЕТ

Добившись у отца изгнания убийцы, Фернан думал, что его задача выполнена и что отныне воздух Эрменонвиля чист по-прежнему.

Комедия у могилы Жан-Жака показала ему, как сильно он заблуждался. Королева Франции по-сестрински благосклонно протянула руку женщине, виновной в смерти учителя!

Глядя на эту слащавую и глубоко гнусную комедию, Фернан понял: если убийство могло совершиться, то вина за него падает не только на непосредственного злодея; убийца понадеялся — и не без основания, — что его не станут преследовать. Повелители страны не только закрывали глаза на грубый обман, которым оплели правдивейшего из людей, они извращали вдобавок картину его смерти — заволакивали его кончину туманом лжи. Правды не хотят знать, никому в стране нет дела до правды, все дружно стараются втоптать ее в землю.

Эта мысль обрушилась на Фернана, как землетрясение. Она потрясла все его бытие.

До сих пор он не очень задумывался над своим будущим, заранее предопределенным. После нескольких лет в армии или на дипломатической службе он с Жильбертой вновь поселится в деревне, в Эрменонвиле или в другом его владении; имениями своими он будет управлять, пользуясь новейшими методами и заботясь о физическом и нравственном благоденствии арендаторов и

крестьян; но больше всего он будет читать, размышлять и, быть может, писать.

И вдруг он понял: так жить он не сможет. Ему тошно оставаться в Эрменонвиле. Ему невыносим отец, который презренными средствами старается подклеить и подлатать разбитый образ Жан-Жака. Невыносимы сады с их искусственной мирной безоблачностью, чья лживость наказана могилой убитого Жан-Жака. Фернан не может жить в этих местах, освященных, обещенных, оскверненных, проклятых всем, что пережито здесь Жан-Жаком и им, Фернаном.

Не только Эрменонвиль постыл ему, но и все это от нутра идущее философствование и мудрствование взято им теперь под сомнение. Сидеть в деревне, читать, размышлять о мире, о жизни и о собственной душе — этого мало. Никто так не усовершенствовался в этом, как Жан-Жак. Никто так широко не объял умом мир и его взаимосвязи и так глубоко не заглянул в собственное сердце, как он. Но окружающей действительности он не видел. Он умел летать, ходить он не умел.

Ярче и сокрушительнее чем когда-либо раскрылось перед Фернаном противоречие между жизнью Жан-Жака и его учением.

Без философии нельзя заниматься практической деятельностью, но одной философии, теории мало. Теорию нужно мерить масштабами окружающей действительности, шлифовать о реальную действительность. Нужно руками осязать суровую живую жизнь, непрестанно с ней соприкасаться, получать от нее толчки и пинки. Нужно испытывать горечь и сладость, и тогда, исходя из собственного опыта, решать, что благо и что нет.

Так учил сам Жан-Жак. Его Сен-Пре в состоянии полного отчаянья не кончает собой, он бросается в гущу жизни, принимает участие в грандиозном кругосветном путешествии.

Ему, Фернану, нужно отправиться куда-нибудь очень далеко. Одному, без наставников и без провожатых. Путешествия, которые он совершал с отцом, — в Англию, Италию, Швейцарию, эти комфортабельно обставленные поездки с целью изучения искусств, не много дали ему.

Надо увидеть подлинный мир, а не мир старинных книг. Надо поглядеть на него собственными глазами, осязать его собственными руками.

Жильберта, конечно, не обрадуется, узнав, что он уедет па много лет. Но она поймет его, должна понять.

Назавтра же он был у нее. Изложил ей свою идею.

Если посмотреть на посмертную маску Жан-Жака с левой стороны, разъяснял он Жильберте, то от нее веет покоем, благородством, величием, но стоит взглянуть на нее справа, как в глаза бросается глубокий шрам, и от покоя ничего не остается. Шрам проходит не только через висок Жан-Жака, он проходит через всю Францию. Первое — правда и второе — правда, но эти две правды находятся в противоречии. Любой, кто посмотрит, непременно ощутит: между тем, что должно быть, и тем, что есть, — нет более ничего общего.

Фернан бегал из угла в угол, говорил быстро, торопливо, он так много открыл для себя, он хотел всем этим поделиться с Жильбертой и хотел сказать все сразу.

Жильберта старалась его понять.

— Ты, значит, больше не веришь в Жан-Жака? — спросила она, деловито подытоживая.

Фернан испугался: он, видимо, плохо выразил свою мысль.

— Конечно, верю! — воскликнул он. — Глубже чем когда бы то ни было. Но дело в том, что учение Жан-Жака так и осталось словами. Слова за ним повторяют, измельчая и пережевывая, но ни для кого они не являются законом жизни. И я тоже не нашел пути от этих слов к действительности. Я только невероятно плутал.

Жильберта все еще не понимала, куда он клонит.

— А теперь ты нашел правильный путь? — спросила она напрямик.

С быстротой молнии и словно озаренный ею, он вдруг понял. Попросту пуститься в путешествие куда глаза глядят — этого еще недостаточно. Существует часть света, одна, определенная, которая влечет его к себе.

— Есть на земле люди, — заявил он пылко и решительно, — действующие по заветам Жан-Жака. Не здесь. За океаном. Я хочу быть с ними. К ним я поеду.

Вот еще новая выдумка! Жильберта молча, внутренне кипя, смотрела на него. Возможно, что для американских повстанцев и для их Франклина и Вашингтона война в лесных дебрях как раз то, что им нужно, но графу Брежи и будущему сеньору Эрменонвиля там делать нечего. Можно от всего сердца желать американцам победы,

но нет никакой необходимости самому участвовать в этой войне, терпеть лишения, валяться в грязи и ставить свою жизнь на карту. Она непроизвольно покачала головой.

Фернан, счастливый, продолжал с жаром:

— Понимаешь, теперь оказывается, что я не зря провел два проклятых года в военном училище. Провидение есть, Жан-Жак и в этом прав; в итоге даже злое и глупое приобретает свой смысл.

Но он видел, что Жильберта не верит ему и что в ней растет протест, он прямо-таки из кожи лез вон, стараясь убедить ее:

— Пойми же меня, Жильберта. Эти безмозглые версальские франты, эта королева со своим кокетливым Трианоном, весь этот изолгавшийся двор с его выветрившимся ароматом великих столетий, отошедших в прошлое, — ведь это не жизнь. Все эти люди только и способны, что на праздное острословие, на отплясывание гавотов и на разыгрывание пасторалей. Все это мертво и уже наполовину истлело. Из всех этих кавалеров и дам никто представления не имеет, что такое народ, да они и забыли, что он существует вообще. Я правильно делал, что никогда не хотел жить этой жизнью. — И по-мальчишески задорно воскликнул: — Теперь я знаю, где мое место! Теперь я знаю, что должен делать!

«*Ça у est*, вот тебе и подарочек!..» — подумала Жильберта. Так говаривала ее мать, когда попадала в затруднительное положение, что случалось нередко. Это была одна из первых присказок, которые усвоила маленькая Жильберта. «Вот так, с ясного неба и сыплются на человека напасти, — думала она. — Но этого надо было ожидать при таком экзальтированном увлечении зловредным старым чудáком. К сожалению, у Фернана все это не пустая болтовня, он упрям и одержим».

— А что будет со мной? — тихо спросила она с горечью и гневом. — Я тоже отношусь к «мертвым, наполовину истлевшим»?

На мгновенье Фернан растерялся. Но затем твердо и решительно объявил:

— Ты, конечно, поедешь со мной.

Жильберта считала Фернана необычайно умным, но непрактичным; однако что он настолько оторван от действительности, она и не предполагала.

— А ты себе представляешь, что это значит? — спросила она, стараясь скрыть досаду. — Америка — страна первобытных лесов и войн. Совершенно не понимаю, кому я могу быть там полезна. Ты говоришь, что между учением твоего Жан-Жака и реальной жизнью — огромная дистанция. Быть может, если ты ринешься к этим, за океан, то ко многим заблуждениям прибавится еще одно.

Его задело, что она сказала: «К этим, за океан». Еще больше его задело, что она сказала: «твой Жан-Жак». Значит, она отделяла себя от него, Фернана! И все же кое в чем она права: его план *очень* трудно осуществить. Помолчав, он несколько вяло произнес:

— Нужно лишь, чтобы человек понял, где лежит правильный путь, и твердо решил встать на него, — все остальное устроится.

Эти расплывчатые общие фразы окончательно вывели из себя Жильберту.

— А если я не могу устроить все остальное? — спросила она. — Если я останусь, ты все-таки уедешь?

Слова ее прозвучали запальчивее, чем ей хотелось. Она боялась, что он скажет: «Я останусь», — и боялась, что он скажет: «Я уеду».

Фернан сказал раздумчиво и как-то угловато, и он верил в то, что говорил:

— Когда я принял решение, мне казалось само собой разумеющимся, что мы поедем вдвоем.

Она видела, что продолжать разговор — значит поссориться.

— Обдумай все еще раз, Фернан, — сказала она. — Обдумай спокойно. И я тоже подумаю еще.

В эту ночь Фернан не заснул.

Он старался вспомнить высказывания Жан-Жака, которые укрепили бы его в его намерениях, высказывания об Америке и о борцах за свободу. Но — увы! — ничего не мог вспомнить. За столом учитель, бывало, говорил о многом, но едва ли касался когда-либо крупных злободневных событий. Правда, он учил: «Корпиями своими все переплетено с политикой». Но когда внимание всего мира было приковано к борьбе американских повстанцев, он вряд ли когда-нибудь задумывался о ней. По-настоящему Жан-Жака всегда захватывала только теория, признал про себя озадаченный Фернан, только эскиз здания занимал его; как построить здание — его не интересовало.

Но разве не кощунство такие мысли? Мало разве терпел Жан-Жак от несправедливых нападков? Нужно, что ли, чтобы еще и он, Фернан, предал учителя и усомнился в его учении?

Он встал, крадучись выбрался в парк, побежал к озеру. Отвязал лодку и поплыл на Остров высоких тополей. Опустился на колени у могилы. Просил покойного просветить его.

«*Vitam impendere vero* — жизнь посвятить истине» — этот суровый и гордый лозунг Ювенала Жан-Жак сделал девизом своей «Исповеди». Как верный ученик Жан-Жака, Фернан должен посвятить жизнь служению своей правде.

Фернан поднялся с колен. Большие решения надо принимать самому, тут никакой учитель не поможет и никакая философия. Когда стоишь перед суровым испытанием, слушай только голос собственного разума и собственного сердца, слушай самого себя. Никто никому помочь не может.

Он сел в лодку и поплыл назад. Ему не нужны ничьи советы — ни живых, ни мертвых. И Жильберте нечего учить его уму-разуму. Он осуществит то, что задумал.

До сих пор за него жили, отныне он будет жить сам.

Как только он увидит утром отца, еще раньше, чем он встретится с Жильбертой, он объявит ему о своем решении, о своем окончательном решении.

Отец был в спокойном, почти веселом расположении духа. Скверная комедия, в инсценировке которой он волею-неволей участвовал, позади, отныне он может всецело посвятить себя культу Жан-Жака. Вот, стало быть, в таком настроении — приподнятом, скорбном, умиленном, торжественно-меланхолическом — Фернан застал отца.

В кратких словах изложил он свое решение стать в ряды учеников Жан-Жака, американских борцов за свободу, и сделать их дело своим. Он намерен отправиться в Америку и вступить в армию генерала Вашингтона. Просит благословения отца и его помощи.

Маркиз, столь неприятно потревоженный в своей мирной и возвышенной меланхолии, склонен был расценить желание сына как юношеский безрассудный порыв. Он ответил просто, даже шутливо:

— Ты с ума сошел, мой милый граф.

Фернан сдержался.

— Разве это сумасшествие, если человек делает попытку претворить в жизнь принципы Жан-Жака? — спросил он.

Мосье де Жиранден пожал плечами.

— Принципы Жан-Жака не так легко претворить в жизнь, — наставительно сказал он. — Жан-Жака не занимала грубая материя; он стремился проникнуть в сокровенный смысл вещей.

То, что отец, возражая, высказал мысль, которая приводила самого Фернана в смятение, еще больше ожесточило его.

— Выходит, учение Жан-Жака — только туманные разговоры и чувствительность? — возмутился он. — И вся его мудрость, выходит, остается лишь красивой декорацией?

Жиранден вспоминал, как Фернан требовал у него удаления Николаса. В тот раз он стоял перед сыном, как нерадивый школьник, не выучивший урока. Теперь он чуть ли не торжествовал оттого, что ему удалось поймать сына на безнадежной глупости.

— Я вижу, мой мальчик, что ты не понимаешь существа философии, — все еще кротко урезонивал он сына. — Философия ставит проблемы, и на этом ее роль кончается; разрешать их — дело каждого в отдельности. А разрешить их правильно можно лишь в том случае, если ученик углубляется в философию учителя с любовью, благоговением и, — он слегка повысил голос, — с самодисциплиной.

— Так именно я и поступил, батюшка, — негромко, но решительно сказал Фернан. — Я сделал выводы из Жан-Жакова учения, отвечающие моим запросам. Выводы вполне закономерные. Объявление независимости Соединенными Штатами основано на доктрине Жан-Жака. Требования, заключенные в «Общественном договоре», осуществлены в американской республике полнее, чем где бы то ни было на земном шаре. Если я внесу свою скромную лепту в то, что там свершается, я буду вправе сказать, что строю свою жизнь на принципах Жан-Жаковой мудрости. — И, все больше горячась, он закончил: — Жить именно так учили меня и вы, батюшка.

От слов сына пахло бунтом. Но Жиранден все еще держивался от отцовского окрика; взяв себя в руки, он молчал и обдумывал, какими практическими соображениями можно удержать сына от опрометчивого шага. Поскольку заключен союз с Соединенными Штатами, за оке-

ан, очевидно, будет послана французская армия. Это, конечно, возьмет некоторое время. И если Фернап захочет вступить в нее,— тут можно будет потолковать.

Но раньше, чем он пришел к такому выводу, раньше, чем заговорил, Фернан потерял с великим трудом сохранившееся спокойствие.

— Пожалуйста, батюшка, не вздумайте отчитывать меня, как мальчишку,— выпалил он.— Я молод, разумеется. Но молодые люди лучше понимают Жан-Жака, чем другие. Только молодежь способна до конца понять его, так он сам сказал однажды.

Теперь, однако, лопнуло терпение и у Жирандена.

— Ты что, хочешь сказать, что я не понимаю Жан-Жака? — закричал он на Фернана.— А себе присваиваешь монопольное право толкователя? Ты, очевидно, полагаешь, что взял его на откуп, потому что связался с этой бабой, с его женой? Ты стал дерзок, сын мой, более чем дерзок.— Он выпрямился и ткнул тростью в сторону строптивого сына.— Хватит! Довольно! Я запрещаю тебе, слышишь, запрещаю раз и навсегда носиться с такими глупыми, незрелыми планами.

— Благодарю вас, батюшка, за беседу,— сказал Фернан.— Теперь мне известно ваше мнение.

Он поклонился. Вышел из комнаты.

Глава одиннадцатая ФЕРНАН ДЕЙСТВУЕТ

Не спала в эту ночь и Жильберта; она обдумывала разговор с Фернаном.

Он сказал, будто жизнь здесь мертвая и полуистлевшая. Правда, в ней много пустого и напускного, и нередко среди светской суеты в Париже и в Сен-Вигоре она начала понимать, почему Фернан так не любит столицу и двор. Но чаще всего она от души наслаждалась этой суетой. Правда, из месяца в месяц, изо дня в день вести такой образ жизни было бы невыносимо, Фернан прав. Но ведь они твердо уговорились, что большую часть года будут проводить в деревне, и она с удовольствием жила бы в деревне с Фернаном.

Ему легко говорить: он родился знатным, он не понимает, что значит постоянно быть начеку, постоянно

бороться. Он потешается над церемонией обхода Версаля, который им предстоит совместно проделать, чтобы получить согласие короля и всей его семьи на брак. А она, Жильберта, ждет этого, как счастья; как только она пройдет через этот ритуал, с ее незаконнорожденным дворянством будет навсегда покончено, она избавится от проклятого ига бесправия, она получит права и привилегии, облегчающие жизнь. Она хорошо помнила невзгоды и унижения, которые отравляли существование ее матери потому, что мать не принадлежала к классу привилегированных; а как недавно она сама, Жильберта, неприятно себя чувствовала в Воспитательном доме. Ей хотелось плакать от радости, когда она представляла себе легкий и свободный путь, который откроется перед ее детьми.

Разумеется, прекрасно, что у Фернана такие смелые идеи, за это она его и любит. Для него они не просто болтовня, в нем все неподдельно — и дурное и хорошее. С ним, когда они будут вместе, она сможет свободно говорить обо всем, даже о самом последнем, самом сокровенном, о мыслях и страстях, в которых сама себе не решается признаться. Нет, ей не нужна никакая Америка, никакие приключения. Когда они с Фернаном пожениются, жизнь ее расцветет, получит цель и смысл.

А если Фернан считает здешнойю жизнь такой бессмысленной и бездушной, почему бы ему не постараться внести в нее смысл? Почему бы ему не постараться изменить ее? Например, позаботиться о том, чтобы такие люди, как Жан-Жак, не должны были подкидывать своих детей в приют?

Вдруг совершенно непроизвольно в ушах у нее зазвучала песенка Жан-Жака:

Простилась я с милым, простилась с желанным,
Не встретимся вновь.
Он ищет сокровища за океаном,
Покинул любовь.

Жгучая ярость против Жан-Жака охватила ее. Всем он принес несчастье. Нет, она не допустит, чтобы он еще из гроба вторгся в ее жизнь, этот мертвый безумец.

Она понимает Фернана. Понимает, что он никогда ничего не делает наполовину и всегда идет самым прямым путем. Но как бы хорошо она ни понимала его, все в ней восстает против его плана. Она любит его так, как только может человек любить человека, а он бежит от ее любви,

добровольно отправляется в какие-то дебри воевать за идеи старого безумца. А что будет с ней? Хватит ли сил сидеть здесь одной и ждать его? А если он... а если с ним что-нибудь случится?

Она негодовала и плакала, она думала, и передумывала, и взвешивала, и размышляла, и не могла прийти ни к какому решению, и опять и опять ломала себе голову, пока незаметно для себя не уснула.

На следующий день Фернан прискакал в Латур, полный радостной решимости. Теперь, когда бесповоротное было совершенно и разговор с отцом состоялся, все остальное уже ясно и просто. Сопровождать его Жильберта, вероятно, не сможет — в этом она права. Но она его поймет, она, с ее светлым умом и отважным сердцем, примет как должное эту отсрочку, так же, как принимает ее он.

Когда Фернан рассказал Жильберте о разговоре с отцом, она побледнела от возмущения. Фернан действовал и принимал решения так, словно ее не существовало. Она была оскорблена до глубины души. С трудом выговорила:

— А как ты представляешь себе дальнейшее?

Он ждал этого вопроса.

— У меня есть наследство, оставленное мне матерью, — ответил он. — В Париже я займу под него денег. Там и подготовлю свой отъезд. Через месяц, самое позднее, отплыву.

Жильберта спросила так же, как вчера:

— А я?

— Мы до отъезда поженимся. Само собой разумеется.

Она теперь очень спокойно задавала вопрос за вопросом:

— А король даст свое согласие, если не будет согласия твоего отца?

— Если не даст, мы поженимся и так, и я откажусь от Эрменонвиля, — не задумываясь, ответил Фернан. — Я и не помышляю изменить философии Жан-Жака и своей собственной.

— А что скажет мой дедушка? Ты подумал об этом? Или ты и от моего наследства готов отказаться?

Она говорила с горечью. Неужели надо напрямик разъяснить ему, каких жертв он от нее требует? Она знать не хочет, что, в сущности, он уже сделал выбор. Пусть выбирает заново, в ее присутствии. Но она боялась услышать приговор, она хотела отодвинуть эту минуту, хотела

получить поддержку. Прежде чем он успел ответить, она продолжала:

— Раньше всего нам надо поговорить с дедушкой.

Он колебался.

— А какой смысл? — спросил он. — Для мосье Робинэ мои идеи только мишень для насмешек.

— Дедушка меня любит и знает, что ты для меня значишь, — ответила Жильберта. — Если есть человек, который может нам помочь, так это он.

Фернан, все еще колеблясь, согласился.

Задача, вставшая перед мосье Робинэ, когда Жильберта рассказала ему, с какими планами носится Фернан, была не из легких. Он знал: чем дальше, тем больше придется Жильберте познать унижений в свете; ведь она, «незаконнорожденная аристократка», стоит на последнем месте в рядах знати, и мысль, что замужество с аристократом Жирарденом избавит ее от этих тягот, радовала его.

Да и сам Фернан в качестве будущего мужа его внучки был ему приятен. Особенно нравилось ему, что молодой Жирарден терпеть не мог светской и придворной жизни. Как ни высоко ценил мосье Робинэ практическую сторону привилегий, но он, деятельный и жизнерадостный человек, от всей души презирал изнеженных носителей этих привилегий.

Если, стало быть, Фернан хочет жениться на Жильберте, он приветствует это. А если Фернан хочет отправиться в Америку и задержаться там на долгий срок, то этому он рад еще больше. Робинэ был сильно привязан к внучке и не мог себе представить жизнь без нее. С другой стороны, он понимал, что означала для его Жильберты разлука с Фернаном.

Он осторожно спросил:

— А если твой молодой граф в самом деле отправится в Америку, что ты на это скажешь?

— Он хочет, чтобы мы до его отъезда поженились, — скучно ответила Жильберта и потом вдруг беспомощно и бурно воскликнула: — Посоветуйте что-нибудь, помогите мне, дедушка, прошу вас!

Мосье Робинэ сидел перед ней крепкий, коренастый, надежный. На его красном четырехугольном лице было даже нечто вроде улыбки. Жильберта рассказала ему о столкновении Фернана с отцом, и Робинэ втихомолку

позлорадствовал: вот Жирарден и пожинает плоды увлечения крайностями своего философа. Маркизу, этому апостолу свободы, понадобится теперь множество всяких логических выкрутасов, чтобы отбить у сына охоту завоевывать эту самую свободу. Но Робинэ был уверен, что маркиз пустит в ход эти выкрутасы и сделает все, чтобы удержать юношу от безрассудного шага.

— Думаю, дочка, что мы образуем твоего молодого графа.

Фернан получил приглашение приехать на следующий день к обеду.

— Раньше, чем я отправлюсь вздремнуть, мой дорогой граф,— сказал после обеда Робинэ,— мне хотелось бы просить вас ответить на несколько вопросов. Я слышал, вы намерены нас покинуть? Собираетесь ехать в Америку, к повстанцам? Чего вы ждете от этой поездки?

Холодная вежливость старика взорвала Фернана. Он сдержался и ответил:

— Я хочу внести свою лепту в дело осуществления великих принципов Жан-Жака.

— Сам Жан-Жак бежал от своих мнимых преследователей не в страну свободы, а к вашему уважаемому батюшке, в Эрменонвиль,— сказал Робинэ.

— Ему не было надобности проповедовать свои идеи американцам: те уже усвоили их,— мгновенно отпарировал Фернан.— Его миссия состояла в провозглашении свободы, наша задача — претворять ее в жизнь.

— Вы превосходно полемизируете, мосье,— признал Робинэ.— Но о положении в Америке вы осведомлены плохо. С Вест-Индией меня связывают деловые интересы, а в Филадельфии у меня есть толковый агент; из вполне достоверных донесений мне известно, в чем нуждается Америка. Нуждается она не в добровольцах, а в деньгах. Вы гораздо существеннее поможете Америке и свободе, уважаемый граф, если вместо того, чтобы самому ехать туда, переведете повстанцам несколько тысяч ливров.

Фернан вспомнил, что рассказывал ему сержант Франсуа, шумный сын мадам Левассер; к сожалению, в словах Робинэ была доля правды. Робинэ, чувствуя, что попадает в цель, продолжал:

— Вы возразите, что самый факт присоединения к повстанцам человека вашего круга, наследника Эрменонвиля, произведет впечатление. Вы укажете мне на выиг-

рыш в престиже, подобный тому, какой доставил американцам отважный подвиг мосье де Лафайета. Однако если в ту пору мужество мосье де Лафайета имело свой смысл, то теперь оно было бы излишним; ведь в недалеком будущем король волей-неволей пошлет в помощь американцам вышколенную, отлично вооруженную армию. Подождите, по крайней мере, пока это совершится, и тогда вступите в армию. Одно можно сказать с уверенностью, граф: вы очень мало поможете свободе, если сейчас отправитесь в первобытные леса Америки. Вы лишь доставите этим нашей Жильберте сердечные муки.

Фернан слушал его с замкнутым лицом. Все рассуждения мосье Робинэ были голосом холодного, сухого разума — разума Гримма и Дидро, врагов Жан-Жака; ему, Фернану, нечего противопоставить этому разуму, кроме веления сердца. Но важно именно оно, веление сердца, ничего больше, и Жильберта это поймет.

— Состязаться с вами в логике, мосье, я не берусь, — смело сказал Фернан. — Но я прошу меня понять. События в Эрменонвиле, ужасная смерть Жан-Жака и вся возня вокруг нее, а напоследок еще посещение королевы ввергли меня в глубокое смятение. Я знаю, что все, что произошло и еще произойдет, — до ужаса лживо. Нигде нет правды. Вся страна погрязла во лжи. Одно мне ясно, более ясно, чем что бы то ни было: философия Жан-Жака — не праздное развлечение, и я должен попытаться жить по ее принципам. Бороться доводами разума против чувства, которое движет мною, бесполезно. Я должен что-то предпринять. Ради себя самого я должен отправиться за океан. Я не могу более довольствоваться одними ироническими речами об извращенности нашего общества. Я погибну, если буду продолжать жить так, как живу. Я должен действовать. Должен бороться. *Должен*, поймите вы меня, — просил он почти в отчаянии. Он обращался к Робинэ, но имел в виду Жильберту.

Она чувствовала, как ему мучительно трудно, и думала: «Он говорит только о себе. А я? А что будет со мной?»

Мосье Робинэ сделал все, что мог. Он видел, что ребяческие речи Фернана ничем не перешибешь. Деловито спросил он:

— Когда вы намерены покинуть Францию, мосье?

— Как только все улажу, — ответил Фернан. — Самое позднее, через месяц.

— А как вы полагаете поступить с нашей Жильбертой, уважаемый граф? — спросил Робинэ. — В ваших отношениях с моей внучкой я видел своего рода помолвку. Как же все это сложится в дальнейшем, если вы на неопределенное время уедете за пределы страны?

— Я полагал, что до моего отъезда мы с Жильбертой поженимся, — ответил Фернан.

— Вы скачете на курьерских, уважаемый граф, — сказал Робинэ. — А что же дальше? Допустим, что брак будет оформлен, полагаете ли вы воспользоваться этим обстоятельством до того, как отправитесь завоевывать свободу?

Жильберта покраснела от слишком откровенного вопроса дедушки. Но она была благодарна ему: он дал понять Фернану, что ставится на карту. Она любила Фернана, она принадлежала ему. И Фернан принадлежал ей. Ей он принадлежал.

— С человеком, который отправляется на войну, все может случиться, ведь это только человек, — сказал Робинэ. — Подумали ли вы, граф, что тогда Жильберта останется одна, вдовой в девятнадцать — двадцать лет.

Уж одно то, что этот неотесанный мужлан так нескромно вызвал в своем собственном и в их воображении картину, как он, Фернан, и Жильберта ложатся вместе в постель, заставило Фернана задохнуться от гнева и стыда. Теперь его прорвало.

— Невежливо, мосье, хоронить меня раньше, чем я умер.

Мосье Робинэ невозмутимо ответил:

— Я был бы Жильберте плохим опекуном, если бы из вежливости пренебрег ее благом. — Он выпрямился и деловито подытожил: — Говоря коротко и ясно, граф, я дал согласие моей внучке на брак с вами и от своего слова не отрекаюсь. Но при условии, что наследница моих владений, всего моего состояния выйдет замуж за будущего сеньора Эрменонвиля. Брак без соизволения короля исключается. Я не хочу, чтобы вы могли когда-нибудь бросить моей Жильберте упрек в том, что ради нее отказались от Эрменонвиля.

Фернан поразмыслил. На получение согласия короля в лучшем случае потребуется три-четыре месяца.

— Раз вы так ставите вопрос, мосье Робинэ, — раздраженно ответил он, — значит, нам придется отложить свадьбу до моего возвращения.

Робинэ жестом отмахнулся от слов Фернана.

— Уверен, граф, что по зрелом размышлении вы этого не потребуете от Жильберты. Я подвожу итог. Если вы женитесь на Жильберте теперь и с соизволения короля, я даю согласие на ваш брак. Если же вы отправитесь в Америку, не женившись на Жильберте, ваша помолвка с ней расторгается.

Фернан судорожно проглотил слюну. Он был очень бледен. Он понял: Робинэ принуждал его сделать выбор между Америкой и Жильбертой.

— Обдумайте, пожалуйста, все, что я вам сказал, и в течение, скажем, трех дней сообщите нам о своем решении, — все так же учтиво заключил Робинэ.

Была бледна и Жильберта. Фернан посмотрел ей в лицо, славное и открытое лицо. С трудом, охрипшим голосом произнес:

— Мосье Робинэ сказал: «Сообщите *нам* о своем решении». Говорит мосье Робинэ и от твоего имени, Жильберта?

«Теперь он должен решать, — подумала она с горечью, с триумфом и со страхом. — Или же я должна решать? Нет! Он, он, он, — дедушка прав. То, что он задумал, — безумие и блажь».

— Да, Фернан, дедушка говорит и от моего имени, — сказала она.

Фернан повернулся к Робинэ.

— Я позволю себе сообщить вам мое решение немедленно, — сказал он и поклонился. — Я не могу последовать вашему совету. Не могу. — Он говорил раздраженно, беспомощно, гневно, слова срывались с его губ твердые, оторванные одно от другого. — Прощай, Жильберта! — сказал он и, круто повернувшись, выбежал из комнаты.

Три дня спустя он выехал в Париж. Сколотил, преодолевая множество трудностей, нужную ему сумму денег. Добыл, преодолевая множество трудностей, нужные документы. Погрузился на судно, отправлявшееся в Америку.

Часть третья

ЖАН-ЖАК И НАСЛЕДНИКИ

Корнями своими все переплетено
с политикой.

Жан-Жак Руссо

Да что вы толкуете: судьба!
Политика — вот она, судьба.

Наполеон

Глава первая

ПАЛОМНИЧЕСТВО К МОГИЛЕ

Стараясь преодолеть в себе горечь и негодование, вызванные вероломством Фернана, мосье Жирарден с головой ушел в культ Жан-Жака.

Взамен временного надгробья он заказал в Париже скульптору Лесюэру памятник по эскизу художника Гюбера Робера. Весь свой Эрменонвильский парк Жирарден принялся перекраивать так, чтобы он служил одновременно и обрамлением и фоном для гробницы. Искусственно возведенные возвышенности кое-где наново сравнивались с землей, а в других местах наново насыпались небольшие холмы; повсюду валили деревья, расчищали, пересаживали. Цитаты из Вольтера соскабливались и на их место наносились изречения Жан-Жака. Любимые уголки учителя безошибочно угадывались по многим неприметным, едва уловимым штрихам. И все вело к святилищу, к гробнице Жан-Жака на Острове высоких тополей.

Но больше, чем новое оформление парка, Жирардена беспокоил вопрос об издании рукописей Жан-Жака. Ведь именно он в совершенстве изучил Жан-Жаково наследие, он является единственным хранителем подлинных толкований учителя ко всем темным и внешне противоречивым местам его произведений; он чувствовал себя призванным сказать здесь свое веское слово. Правда, господа женевские пэдатели отнюдь не всегда склонны были соглашаться с

его точкой зрения; особенно несговорчивым оказался пастор Мульту. Помочь делу могла только личная встреча; и пастор пообещал в ближайшее время приехать в Эрменонвиль.

Несмотря на свою занятость, Жирардену не всегда удавалось избавиться от гнетущего чувства одиночества; с горечью ощущал он, как не хватает ему непокорного Фернана. Был бы хоть мосье Робинэ здесь, с которым можно бы и повздорить, и поговорить по душам. Но Робинэ со своей внучкой надолго уехал за границу. Должно быть, мадемуазель де Латур нелегко далась разлука с Фернаном.

Мысленно маркиз не раз гневно спорил с Фернаном и слово за словом повторял про себя их последний решающий разговор. Он был тысячу раз прав. Что ж, унизиться следовало перед этим безусым мальчишкой, что ли? Но было обидно и больно, что только мысленно можно объясняться с Фернаном, и он обратился с просьбой к министру иностранных дел графу Вержену, чтобы тот дал указание французскому послу в Филадельфии не выпускать Фернана из виду.

Был лишь один человек, с которым маркиз мог делиться своими тревогами,— мосье Гербер. Гербер сам предложил удивленному Жирардену: он останется в Эрменонвиле и поможет в редактировании рукописей Жан-Жака. Этому даровитому молодому человеку ничего не стоило получить блестящую, интересную должность, а он предпочел разделить со стареющим Жирарденом его сельское уединение. Он ничего лучшего не желает, сказал он, как посвятить остаток своей жизни культу Жан-Жака и изучению его творений. Где же можно найти для этого более подходящее и достойное место? Жан-Жак раз и навсегда показал ему, каким должен быть мир; ни к чему поэтому тратить силы на дальнейшее познание действительности. Жирарден охотно принял предложение Гербера.

За стол они садились вместе. Они обменивались воспоминаниями о Фернана, маркиз советовался с Гербером насчет предполагаемых новшеств в парке, обсуждал с ним подробности редактирования полного собрания сочинений Жан-Жака. К его удивлению, мосье Гербер, несмотря на свою застенчивость, высказывал безапелляционные суждения. И у него было собственное представление о Жан-Жаке. И он тоже не раз слышал из уст Жан-Жака толкования темных мест в его произведениях. И частенько

autòs épha свое собственное противопоставлял autòs épha маркиза. В таких случаях Жиранден делал строгое лицо или отвечал обиженно и иронически.

Однажды Жиранден выразил предположение, что тон мосье Гербера едва ли приличен по отношению к человеку, за столом которого он сидит. В ответ на это мосье Гербер не появился ни за очередной, ни за последующими трапезами. На третий день маркиз отправился к нему. Гербера нетрудно было найти: он сидел под ивой и играл на скрипке. Мосье Жиранден признал, что, отстаивая свое понимание текста, он, пожалуй, несколько погорячился, но и мосье Гербер обнаружил отсутствие душевной кротости, недостойное ученика Жан-Жака.

— Так давайте восстановим мир,— предложил Жиранден и, взяв трость в левую руку, протянул Герберу правую. Тот бережно положил скрипку на газон и пожал руку Жирандена.

Прибыл, как обещал, пастор Мульту из Женевы. Поль-Клод Мульту, одних лет с маркизом, отличался спокойным нравом и сдержанным, убедительным красноречием. Он привез свой рукописный экземпляр «Исповеди» и те письма Жан-Жака, которые помогали осветить то или иное место в тексте. Когда в рукописных текстах обнаруживались расхождения, маркиз всегда предпочитал редакцию, которая вернее могла содействовать поднятию авторитета Жан-Жака в глазах читателей. Суровый же пастор Мульту был уверен, что девиз Жан-Жака — жизнь посвятить истине — отнюдь не пустая болтовня, и друзьям покойного не к лицу выставлять его лжецом. Как правило, мосье Гербер принимал сторону Мульту. Жиранден негодовал на обоих зарубежных французов, швейцарца и эльзасца, но волей-неволей подчинялся, тем более что Мульту мог сослаться, к неудовольствию маркиза, на длинные и весьма дружелюбные письма самого Жан-Жака.

Еще во время пребывания Мульту в Эрменонвиле произошло событие, о котором Жиранден долго вожделенно мечтал: памятник был завершен. Он представлял собой античный алтарь, отвечавший ансамблю острова и парка, скромный и достойный, украшенный барельефами на сюжеты из произведений Жан-Жака, и прежде всего из его «Эмиля». Тут были и преисполненные благодарной радости женщины и дети, которых Жан-Жак освободил от гнета чудовищных предрассудков, и обнаженная фигура

Истины с факелом познания в руке, и Природа в образе матери, кормящей грудью своих детей. На одной из стенок алтаря была вырублена надпись: «*Ici repose l'homme de la nature et de la vérité.*— Здесь почитает певец природы и истины»; на другой — девиз Жан-Жака: «*Vitam impendere vero.*».

В глубине души Жиранден все еще питал наивную надежду, что Фернан вернется ко дню открытия памятника; обходным путем — через французского посла в Филадельфии — он все время осведомлял Фернана о ходе работ по сооружению памятника и даже оттянул столь возжеленную минуту открытия. Но Фернан ни словом не откликнулся.

На открытие прибыли художник Гюбер Робер и скульптор Лесюэр, авторы памятника, а также скульптор Гудон. Одновременно приехали Лебег и Дюси. Кроме того, присутствовали Гербер и гостивший в замке пастор Мульту. Скрепя сердце маркиз пригласил также обеих женщин: обойти Терезу и мадам Левассер было неудобно.

В окружении стройных, высоких тополей стоял изящный памятник, мягко и живописно сочетающийся с окружающим пейзажем. Вечнозеленый цветущий барвинок, излюбленное растение покойного, обвил надгробье. Увидав эти цветы, Тереза всхлинула и заплакала.

Жиранден и Дюси выступили с речами. Они старались говорить кратко и сдержанно. Даже Мульту, знаменитый проповедник, ограничился десятком-двумя простых фраз. Через несколько дней Мульту собрался в обратный путь, в Женеву. При расставании маркиз не выдержал и спросил:

— Вы, надо думать, слышали о кривотолках по поводу смерти нашего друга?

— Да, — ответил Мульту.

— Все это, разумеется, чистейший вздор, — заверил Жиранден. Мульту промолчал. — Тем не менее, — продолжал маркиз, — я этого конюха удалил, чтобы ликвидировать самый источник, питающий слухи.

И на это Мульту ничего не сказал.

Знаменитый Жан-Мишель Моро, директор королевского кабинета эстампов, сделал гравюру с гробницы. Его примеру последовали и другие художники. Вскоре Остров высоких тополей с гробницей Жан-Жака прославился на весь мир, и отныне тополь называли Древом Свободы.

Многие считали позорным знамением времени, что могла величайшего писателя народов, говорящих на фран-

пузском языке,— предмет забот какого-то друга и покровителя покойного, а не Швейцарии или Франции. Немецкий поэт, прославившийся недавно своей вольнолюбивой трагедией — его имя было Фридрих Шиллер,— воспел гробницу в бунтарских стихах. Мосье Гербер принес стихи маркизу. Тот, думая о Фернанде, сказал, что, хотя стихи сами по себе заслуживают похвалы, они все же грешат недержанностью.

Толпами шли к могиле паломники. «Все религии,— писала одна из парижских газет,— имеют свои места поклонения; отныне и философия обзавелась своей святыней — могилой Жан-Жака. Половина Франции уже побывала в Эрменонвиле, и многие дали торжественный обет — ежегодно повторять паломничество в галльскую Мекку».

Здесь побывали принцы крови, приезжал граф де Линь и король Швеции Густав III; приехал со своим внуком посол Соединенных Штатов Вениамин Франклин, прозванный l'ambassadeur électrique¹.

Среди бесконечного потока восторженных почитателей Жан-Жака многие столь бурно выражали свои чувства, что от этого страдали сады. Никто не покидал остров без сувенира; цветы вокруг могилы были оборваны, тополи лишили нижних веток, даже от самой гробницы отбили кусок мрамора. Маркиз распорядился, чтобы посетителей сопровождали садовники, а на остров без письменного разрешения никого не допускали. Один англичанин, которому было отказано в разрешении, переплыл озеро в одежде, чтобы хоть рукой коснуться священной земли острова.

Ослепительная красавица, молодая актриса Эжени Мейяр, своей заразной веселостью срывавшая бурные аплодисменты в театре Французской комедии, потеряла у могилы Жан-Жака все свое самообладание. Ее светлое лицо затуманилось, она разрыдалась и взмолилась, чтобы Жирарден позволил ей почаще черпать возле этой святыни бодрость и энергию, нужные ей как актрисе, ибо сеять вокруг себя веселье стоит борьбы с собой, душевных мук, огромной затраты сил. Она также попросила мосье Жирардена разрешить ей построить такую же гробницу в ее собственном нормандском имении на скале Сен-Квентин.

¹ Электрический посол (франц.).

Двое молодых людей, аббат Габриель Бризар и Жан-Батист де Клоотс, барон дю Валь де Грас, целыми днями восторженно бродили по парку, читали произведения Жан-Жака и вслух декламировали отрывки из них. Жирарден, тронутый столь фанатическим преклопением перед Жан-Жаком, предложил лично свезти обоих в лодке на остров. Воодушевленные вниманием маркиза, они попросили разрешения принести на могиле жертву во имя ненависти и любви; они задумали, пояснили молодые люди, предать сожжению на могиле Жан-Жака «Опыт жизнеописания Сенеки», этот пасквиль, написанный «гнусным предателем Дидро» вдогонку умершему другу. Маркиз дал согласие.

Ранним утром следующего дня на остров отправились вчетвером — молодые паломники, маркиз и мосье Гербер. Аббат и барон несколько раз приложились к алтарю. Тихо помолились. Осыпали могилу цветами. Преклонили колена. Потом, пока один из молодых людей высек огонь из кремня, другой вырвал из книги Дидро страницы, на которых упоминалось имя Жан-Жака. Страницы вспыхнули ярким пламенем, и тогда аббат швырнул в огонь все, что осталось от книги. Черный дым пополз вверх по памятнику. «Да развеется так самое воспоминание о всех кознях и наветах против Жан-Жака!» — исступленно выкрикивали молодые люди.

Вскоре после этого Эрменонвиль почтил своим присутствием посетитель, занимавший гораздо более высокое положение, чем все паломники, что побывали здесь. Он скромно величал себя графом Фалькенштейном, однако было известно, что граф этот — старший брат королевы, римский император Иосиф Второй. Жирарден видел в Иосифе самого передового монарха, какого носила на себе земля со времен императора Марка Аврелия, всей душой восхищался Иосифом и был глубоко взволнован его приездом.

Все поведение императора соответствовало славе о нем. Он беседовал с Жирарденом, как равный с равным, с интересом слушал его, когда тот приводил изречения Жан-Жака, обменивался с ним мыслями по поводу «Общественного договора» и, хотя роялист по положению, проявил себя более передовым человеком, чем сам Жирарден.

После обеда император с подкупающей сердечностью и прямоотой попросил своего гостеприимного хозяина не сопровождать его во время прогулки, которую он соби-

рается совершить; ему хочется насладиться одиночеством в духе Жан-Жака. Жирарден озабоченно обратил его внимание на тяжелые грозовые тучи, но граф Фалькенштейн сказал, что горные восхождения в его собственных Альпах приучили его ко всему, и не внял опасениям, высказанным Жирарденом. Примерно через час разразилась гроза. Жирарден мучительно колебался: не послать ли людей на помощь светлейшему гостю? Он дал распоряжение и тут же отменил его. Еще через час появился сам граф Фалькенштейн, улыбающийся и насквозь промокший, и рассказал, что в самый отчаянный ливень он укрылся в одном из гротов. Граф переоделся в сухое платье, предложенное маркизом, и они расстались, в высшей степени довольные друг другом.

Маркиз назвал тот маленький грот «Гротом Иосифа» и сделал на нем надпись:

Странник! Не спеши, постой!
Этот тесный грот немой
Был убежищем монарха
Добродетели святой.

Глава вторая

СЕЛО ЭРМЕНОНВИЛЬ

И «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР»

К радости мосье де Жирардена по поводу визита Иосифа примешалась капля горечи. Император Иосиф отказался переночевать в замке и приказал поставить походную койку, которую всегда возил с собой, в трактире папаши Мориса.

Императору по душе пришелся простой дом; часть крыши была покрыта соломой, и это напоминало ему хижину Филемона и Бавкиды. А тем временем папашу Мориса раздирали противоречивые чувства. Ему была оказана неслыханная честь: само римское величество соизволило пожелать провести ночь под его кровом! Но философия Жан-Жака привила папаше Морису гражданскую гордость, он не желал даже такого гостя обслуживать с большим уважением, чем всякого другого. Все же, когда император потрепал по щечкам его дочурку и приветливо спросил, как ее зовут, Морис не в силах был дольше совладать с собой.

— Какая честь, какая честь,— бормотал он.— Как обрадовала бы подобная приветливость покойного Жан-Жака.

После ужина Иосиф попросил Мориса поделиться своими воспоминаниями о живом Жан-Жаке. Когда же трактирщик упомянул, что он семь раз перечитывал все произведения учителя, Иосиф заинтересовался мнением Мориса об «Общественном договоре» и выслушал все его соображения, время от времени восклицая: «О, это заслуживает внимания, почтеннейший!» или: «Совсем не так глупо».

Раз маркиз сделал на своем гроте гордую надпись, то и папаша Морис не пожелал ударить лицом в грязь. Он обратился к мосье Мийе, известному в Санлисе поэту, с просьбой написать стихи, соответствующие случаю. Мосье Мийе исполнил его желание, и в стену трактира была вмурована доска с начертанными на ней стихами, прославлявшими пребывание Иосифа. Они начинались так: «Венценосный философ, ты хижину скромную дворцу предпочел...» и кончались: «Отец и владыка германцев счастливых». Вскоре все жители Эрменонвиля знали эти стихи наизусть.

Бросающаяся в глаза доска рассердила маркиза. Этот Морис всегда чем-нибудь да разозлит его. С незапамятных времен трактир его назывался «Под каштанами»; теперь же, как гласила вывеска, на которой ярко раскрашенный Жан-Жак прогуливался на лоне природы, трактир был переименован в «Убежище Жан-Жака». Под воздействием папаша Мориса жители села рассказывали всем, как часто и охотно сиживал Жан-Жак в саду «Убежища», и паломники шли туда и обозревали это памятное место. Вскоре книга записей, заведенная невесть что возомнившим о себе трактирщиком, запестрела именами многих выдающихся мужей Франции.

Морис имел обыкновение подсаживаться к своим гостям и болтать с ними. Он передавал суждения, будто бы высказанные Жан-Жаком, рассказывал пустяковые, трогательные и смешные случаи, связанные с учителем, нашептывал темные слухи о причине смерти своего великого друга. Гости слушали, умилялись, приходили в ужас, кормили уток и рыб, которых кормил Жан-Жак; граф де Линь дал трактирщику деньги, чтобы тот не изводил эту жизнь на потребу гостям, а позволил ей умирать естественной смертью.

Не только маркиз, но и мадам Левассер находила, что зловещие нашептывания Мориса никому не нужны. Со свойственной ей энергией она решила положить им конец.

Вся в черном, осыпанная рябью солнечных бликов, она величественно восседала в садике под каштанами. Она ела омлет, попивала золотистое вино, кормила рыбок. Папаша Морис беспокойно сновал взад и вперед.

— Подойдите-ка сюда, мосье,— приказала мадам Левассер.— Присядьте. Говорят, вы неплохо наживаетесь на кончине моего досточтимого зятя?

— Смею утверждать, что в меру моих скромных возможностей я был ему другом,— ответил трактирщик.— Это известно, это ценят, и люди, конечно, идут ко мне.— А так как мадам Левассер промолчала на это, он вызывающе добавил: — Меня поразило в самое сердце, что кончина моего друга Жан-Жака наступила так внезапно. Ведь еще за несколько часов до того он оживленно беседовал со мной и прекрасно себя чувствовал.

— Внезапная кончина, говорите вы? — откликнулась мадам Левассер.

Она продолжала кормить рыбок, но пушок на ее верхней губе чуть заметно колыхался под мощным дыханием.

— Внезапная кончина... а некоторые, верно, еще добавляют: подозрительно внезапная кончина. О чем только не судачат эрменонвильские кумушки, чтобы скоротать длинный день. Но глядите, мосье, как бы люди не начали шептаться, что вы сами тут замешаны; эта внезапная кончина явно пошла вам на пользу. Дождетесь, чего доброго.

Трактирщик растерянно уставился на мадам Левассер.

— Но ведь всем известно!..— с негодованием вырвалось у него.

— Но ведь всем известно также,— оборвала папашу Мориса мадам Левассер,— какой это ужасный удар для меня и моей дочери, и не только в самое сердце, но и по нашему карману. И все-таки находятся люди, которые точат зубы на нас, на двух беззащитных вдов.

Морис весь взмок и умолк. А мадам Левассер весьма по-приятельски, чуть не вплотную, придвинулась к нему всей своей громоздкой тушей и зарокотала:

— Вы должны помочь нам, мосье, это в ваших руках. Под вашими прекрасными каштанами посиживает, развязав языки, немало народу; хороший трактирщик часто

осведомлен лучше полиции. Так вот, постарайтесь выудить, кто же разводит эту досужую болтовню, и только моргните мне. А я уж позабочусь, чтобы судья маркиза добрался до пустомелей. Вы обязаны оказать нам эту услугу, папаша Морис, вы были другом моего незабвенного зятя. Моя Тереза уже давно собирается преподнести вам несколько сувениров из вещей, принадлежавших покойному.

Ее маленькие колючие глазки глядели на трактирщика серьезно, печально, требовательно.

— Вы очень добры, мадам,— сказал Морис.— Но уж если у нас пошло на откровенность,— продолжал он, набравшись духу,— то позвольте и мне быть с вами откровенным. Со смертью ныне отошедшего в вечность дело-то ведь и впрямь нечисто; этого вы и сами не станете отрицать, мадам.

— Может быть, так, а быть может, и не так,— чисто-сердечно сказала мадам Левассер.— Мой достопочтенный зять постоянно жаловался на своих философских врагов, как вам известно; поэтому и я думала всякое, когда он неожиданно скончался. Но в конце концов свидетелей не было, и господа судьи решили, что смерть произошла естественно, что он умер от кровоизлияния в мозг, и ее величество королева, которой благоугодно было нанести мне и моей дочери высочайший визит соболезнования, как бы утвердила собственной персоной решение судей. Так не думаете ли вы, что теперь, когда королева и суд сказали свое веское слово, некоему папаше Морису и какой-то там мадам Левассер лучше всего крепко-накрепко держать язык за зубами? — Мадам Левассер прервала себя.— Мне пора,— сказала она.— Сколько я вам должна, мосье?

— Ничего, мадам,— ответил папаша Морис.— Вы оказали мне честь. А если вы всерьез упомянули насчет сувенирчиков, то я не премину доставить себе удовольствие посетить вас и вашу уважаемую дочь. И без того я давно мечтал поглядеть на швейцарский домик, которому так радовался наш богом забытый, незабвенный Жан-Жак.

Не прошло и двух дней, как Морис появился там. Разговор о Жан-Жаке протекал в трогательных, возвышенных и попросту в сердечных тонах.

— Подумать только, что ему так и не суждено было пожить в этом доме,— через два слова на третье сокрушенно повторял папаша Морис.

Трактирщик ушел с халатом покойного, с его табакеркой, тростью и стоптанными, подбитыми овчиной соломенными шлепанцами.

Отныне Морис, рассказывая о друге и учителе, демонстрировал перед избранными гостями драгоценные сувениры. Трепетными руками и с замиранием сердца прикасаясь к реликвиям, гости частенько мечтали о приобретении какой-нибудь из них. Но папаша Морис не поддавался соблазну заманчивых посулов. Нет, он не то, что Вилет, муж приемной дочери Вольтера, который продал какому-то англичанину-коллекционеру за триста луидоров самое великодушное из когда-либо бившихся во Франции сердец — сердце покойного Вольтера, с урной в придачу.

Однако, видя, как огорчает паломников его непреклонность, папаша Морис спросил себя: а что сказал бы покойный Жан-Жак, если бы знал, как он, Морис, обижает его почитателей? Обзаведясь целой серией в точности воспроизведенных табакерок и шлепанцев, он стал продавать их, утешая себя тем, что подлинные реликвии он не выпускает из своих верных рук.

Трактирщик, оставив в покое Терезу и ее мамашу, с удвоенным ожесточением принялся за травлю маркиза. Весь Эрменонвиль повторял за ним сочиненные им сплетни.

Добиться этого было нетрудно, так как крестьяне маркиза де Жирардена не любили своего сеньора. Правда, просвещенный сеньор освободил их от многих тягот, вычетов и налогов, но в мелочах он донимал их, был несправедлив, своеволен и даже жесток, а с тех пор, как Жан-Жака не стало, он все чаще выказывал себя самодуром, Отцом Колотушкой. Крестьяне роптали. И то, что он пусть и хорошо обходился со своими крепостными, но все же не давал им вольную, вызывало недовольство не только самих крепостных, но и арендаторов, и свободных крестьян.

За свои привилегии он держался не из корыстных побуждений, а из патриархальной добросовестности. Без строгого отеческого попечения, рассуждал он, эти тупые существа, эти полуживотные, того и гляди, натворят всяких преступлений против самих же себя. Его сердило, что ему не удастся привить упрямам любовь и почтительность, которые он вполне заслужил, и что наперекор всему не прекращаются нелепые и злостные слухи об его ответственности за смерть Жан-Жака.

А тут еще один из его крепостных, батрак Труэль, обратился к нему с просьбой дать согласие на брак его дочери Полины с одним свободным крестьянином, парнем, который жил к тому же не во владениях маркиза, а во владениях его ненавистного соседа, принца де Конде. Жи-рарден долго колебался. Наконец преодолел себя. Решил один раз попытаться воздействовать на крестьян всемило-стейшей кротостью и не только дать согласие на брак Полины Труэль, но и дать вольную своим крепостным.

Жи-рарден приказал крестьянам прислать в замок делегацию, чтобы через нее возвестить о своем великодуш-ном решении.

Когда делегация собралась в большом зале замка, он начал с того, что хоть и скрепя сердце, но все же дает со-гласие на брак Полины Труэль с Жозефом Картерэ. И он уж собрался перейти к своей заранее подготовленной речи, как вдруг, неуклюже царапая деревянными башмаками красивый, блестящий, точно зеркало, паркет, из толпы выступил вперед Мишель Депорт и дерзко заговорил. Сеньор, сказал крестьянин, часто проявлял дружественное расположение к бедным и униженным, он оказал госте-приимство другу человечества — мосье Жан-Жаку. Однако многие другие, даже сам всехристианнейший король, дали вольную своим крепостным и уравнили их в правах со всеми, отказавшись от своих привилегий. Почему же их сеньор не последует примеру своего могущественного по-велителя? Это ранит их в самое сердце. И как будет дальше? Не следует ли и монсеньеру взяться за ум и ска-зать: пора покончить с таким положением.

Жи-рарден отступил на шаг. Он почувствовал обиду: у него хотят вынудить то, что он готов был отдать по собственному великодушному побуждению. Он ничего не ответил.

Тогда заговорил старик Антуан Монье, которого все на-зывали «дедущка Антуан». С тех пор как среди них жил мосье Жан-Жак, сказал он старческим, дребезжащим го-лосом, они частенько усаживаются в кружок и кто-нибудь из грамотеев — учитель Арле или папаша Морис — читает им ту или иную главу из книг Жан-Жака и все разъяс-няет. И они не осмелились бы всеподданнейше предстать перед сеньором, если бы в книгах Жан-Жака не стояло — и он процитировал, словно из Библии: «Суть в том, чтобы провести справедливую границу между правами обеих

сторон — повелевающих и подчиненных, а также провести границу между обязанностями, которые несут подчиненные, и естественными правами, которыми они обладают как человеческие существа».

Это уж вконец омрачило Жирардена. Сначала сын его бунтарски истолковал учение Жан-Жака, а теперь и его крестьяне, набравшись дерзости, пытаются указать ему, Жирардену, чему учит Жан-Жак и как, значит, надлежит поступить. Все оттого, что он так попустительствовал своим крестьянам. Но он им покажет. «Quos ego! — Я вас!» — мысленно пригрозил он. Однако, представив себе, как мосье Робинэ и кузен Водрейль будут иронизировать, если он попросту грубо отмахнется от философии своих крестьян, он превозмог себя.

— Друзья мои,— наставительно обратился он к делегатам с несколько кривой усмешкой,— наш Жан-Жак говорил не совсем так, как это разъяснил вам папаша Морис. Книга об Общественном договоре, видите ли, основана на идее, что отдельные части государства, подобно органам человеческого тела, должны взаимно дополнять друг друга. При этом наш Жан-Жак имел в виду случай из римской истории. Римляне были великим и добродетельным народом древности. И вот однажды, когда третье сословие восстало, один из деятелей первого сословия, некий Менений Агриппа, объяснил восставшим роль отдельных органов. Одному сословию, сказал он, надлежит служить мозгом, другому — чревом. Не станете же вы, надеюсь, утверждать, что представляете собой мозг?

Жирардену не хотелось опускаться до спора с чернью, но он ничего не мог с собой поделать — в тоне его прозвучала издевка.

И в ответ снова раздался голос того же Мишеля Депорта.

— Нет,— грубо и простодушно сказал крестьянин,— мы-то брюхо, это мы знаем.— И с юмором добавил: — Быть бы ему только сыту, этому брюху.

Все засмеялись.

Не смеялся только маркиз. За смехом крестьян звучало нечто неприятное, опасное, злое. Он вдруг увидел лица своих крестьян такими, какими они были на самом деле. Даже если они и тупы на вид, то добрая часть этой тупости наигранная, за этой маской таятся вражда, крестьянская хитрость, опасность.

— Не взыщите, монсеньер,— снова примирительно вмешался дедушка Антуан.— Может, и правда мы дерзки и нет у нас никакой философии, кроме как нашей собственной. Но,— и его старческий голос задрезжал,— хоть мы и с неумытым рылом, а говорим: своя навозная куча дороже соседского цветника.

Жиарден твердо решил, что не позволит нагло вырвать у него то, что он готов был отдать добровольно. Расстались сумрачно.

Целыми днями он негодовал про себя. Его крестьяне вели себя так, точно Жан-Жак гостил у них, а не у него. Да ведь «Общественный договор», наконец, писался не для этих мужицких увальней, а для избранных, коим вверена забота о всеобщем благоденствии.

Среди тех, кто, по мнению маркиза, вероятно, особенно злонамеренно толковал учение Жан-Жака, был, несомненно, Мартин Катру. Скрытый парень с дерзким лицом и острым взглядом живых глаз никогда не пользовался его расположением, и Жиарден отнюдь не испытывал удовольствия, видя, что Фернан именно его избрал себе в друзья.

А Мартина заставил призадуматься поступок Фернана. Явно под влиянием покойного Жан-Жака Фернан наконец-то взбунтовался и отправился к заокеанским свободолюбцам. Со свойственной Мартину дотошностью он все глубже зарывался в книги Жан-Жака и наряду с путаницей и головоломками все чаще находил там новые идеи, неожиданные, все ниспровергающие. Непонятно, как аристократы не только терпели этого человека в своей среде, но даже высоко чтили. Его, Мартина, Жан-Жаковы творения лишь укрепляют во враждебной настороженности к барам. Даже когда эти жиардены проявляют великодушие, у них тоже ничего путного не получается; пороку не хватает. Все ценное идет снизу, из третьего сословия, из народа — вот чему учит Жан-Жак. А высокопросвещенных — тех силой надо заставлять делать добро.

С каждым днем Мартину все теснее становилось в Эрменовиле. Он до тех пор обрабатывал школьного учителя Арле, пока тот не порекомендовал маркизу устроить способного юношу письмоводителем в городе, лучше всего в Париже. Маркизу Мартин всегда болезненно напоминал о Фернане, поэтому он охотно отправил бы куда-нибудь парня, только бы с глаз долой. Но разве история с кре-

стьянской делегацией не показала, как философия кружит головы людям из низов? А молодой Катру был еще бунтарем от природы. Поэтому-то Жирарден не сказал ни «да», ни «нет».

Незначительный случай положил конец его колебаниям. Старинный рыболовный статут, действовавший в его владениях, принадлежал к числу тех привилегий, которых он особенно ревниво держался. Разрешая крестьянам рыбную ловлю в его водах, он сохранял за собой право первым приобретать часть улова для своей кухни. Как-то выяснилось, что вдова Катру продавала в своей лавчонке рыбу, не предъявленную ранее служебному персоналу замка. Привлеченная к ответу, лавочница всячески виляла и оправдывалась, что еще больше распалило раздраженного маркиза. Воспользовавшись тем, что у Катру истек срок аренды, он передал лавку другому претенденту. Это сильно ухудшило и без того тяжелое положение старухи и ее сына. Жители деревни брюзжали и ворчали.

Жирарден чувствовал себя уязвленным. Он задумал отказаться от крепостного права, а невежественные мужики вынудили его оставить все по-прежнему. Теперь эта безрассудная вдова вынудила его отнять у нее лавчонку. Он — добрейший из сеньоров, но всегда все говорит против него, и крестьяне ропщут. А все потому, что они считались Жан-Жака и то и знай толкуют его мысли вкривь и вкось, мысли самого ясного и самого мудрого из смертных.

Не в принципах маркиза было отменять раз принятое решение. Но он сожалел, что пришлось так жестоко покарать вдову Катру. Без долгих размышлений он потолковал с мэтром Бувье, своим парижским адвокатом, и тот изъявил готовность принять Мартина к себе в контору.

Мартин Катру переехал с матерью в Париж.

Глава третья

МАДАМ ЛЕВАССЕР ВЫХОДИТ ИЗ ИГРЫ

Тереза часто навещала могилу покойного мужа. Она боялась, как бы усопший не прогневался на нее за то, что она позволила Николасу, отправившему его в могилу, перед лицом природы назвать ее своей женой. Она просила прощения у Жан-Жака и старалась объяснить ему, что

при этом ничего дурного не думала и совершенно не хотела его обидеть.

В день годовщины смерти Жан-Жака она сидела под знаменитой ивой, бездумно уставившись на гробницу, и вдруг заметила приближающегося Жирардена, но маркиз, как только увидел ее, повернул назад.

Не безобразие ли, в самом деле, что маркиз так плохо относится к ней? По крайней мере, в годовщину смерти Жан-Жака не мешает быть любезнее с его вдовой.

— Уж если королева нами не побрезговала, так нечего ему воротить свой благородный нос,— возмущалась она, жалуясь матери на маркиза.— Давай лучше уедем отсюда и оставим его одного в этом постылом замке.

Мадам Левассер вздохнула над несусветной чепухой, которую, как всегда, наболтала ее Тереза.

— Как бы явно маркиз ни показывал своего отвращения и желания выжить тебя отсюда,— не уставала твердить она дочке,— помни: вдова Руссо неотделима от Эрменонвиля, от могилы. Стоит тебе перестать быть горестной вдовицей,— вдалбливала она Терезе,— как ты превратишься в чистейшее дерьмо. Тогда уж ни от английского короля, ни от милорда маршала тебе не дожждаться ни единого су, ни единого пенса. Помни: могила Жан-Жака — это твоя кормушка, корова ты этакая.

Тереза редко приходила в такое дурное настроение, как сегодня,— очень уж обидело ее поведение маркиза. Обычно вялая и тихая, она была как будто вполне довольна жизнью в уединенном домике. Мадам Левассер с удовлетворением отмечала, что Тереза ни с кем не путается.

Между тем она легко могла бы иметь поклонников. Вдова Руссо представляла собой известный интерес, немало нашлось бы охотников поволочиться за ней, да и сама она время от времени не прочь была убажить свою плоть. Но она обуздывала себя. Она ждала своего Николаса.

Дважды за эти годы он тайно присылал ей вести. Давал знать, что обязательно вернется. По-хозяйски приказывал ждать его и не делать глупостей.

Тереза повиновалась.

Она думала, что своим похвальным и добропорядочным поведением она обеляет себя в глазах покойного Жан-Жака. Собственно, она-то вообще совершенно невинна в его преждевременной смерти, но мосье Николас сделал

это ради нее, и поэтому Жан-Жак, пожалуй, мог все-таки сердиться. Вреда, во всяком случае, не будет, если она постарается умиротворить Жан-Жака. Она не только усердно посещала могилу, но и прилежно ухаживала за его канарейками, часто меняла воду в блюдечках и ежедневно собирала для птишек мелкое красноватое растение — мокричник, их излюбленное лакомство.

Проходили месяцы, годы, и мадам Левассер стала замечать, что конец ее близок.

Она собралась с силами и отправилась к мэтру Жиберу в Санлис, чтобы сделать последние распоряжения. Адвокат был из породы хищников, но знал свое дело, и она с полной откровенностью выложила перед ним свои заботы и чаяния. Она хотела даже из потустороннего мира опекать сына и дочку; оба хотя и в годах, а еще нуждаются в том. Пусть адвокат составит ей такое завещание, — требовала мадам Левассер, — по которому Франсуа ежегодно получал бы по двадцати луидоров, не больше. Но прежде всего она просит мэтра Жибера всячески: юридическими путями, и личным воздействием, и уговорами — удержать Терезу от второго брака. Тереза должна остаться вдовой Руссо, жить на пенсии вдовы Руссо и зависеть от них. Об этом мадам Левассер еще и еще раз просила мэтра Жибера заботиться по мере возможности, и пусть он поклянется ей именем господа и святого Иова — покровителя адвокатов, что исполнит ее просьбу. Она же готова солидно заплатить ему.

Сила слов и твердость воли расплывшейся, сипящей, дряхлой старухи произвели впечатление на мэтра Жибера. Все ее распоряжения по-матерински мудры, признал он, и, кроме того, он высоко ценит философию Жан-Жака. Разумеется, едва ли существуют статьи закона, которые могли бы удержать вдову в узде; но, соблазнившись мздой в пять луидоров в год, адвокат все же обещал сделать все от него зависящее.

По возвращении в Эрменонвиль мадам Левассер слегла и стала ждать смерти.

Приехал сержант Франсуа и, увидев мать, бурно рыдался.

— Я о тебе позаботилась, мой славный, мой храбрый сын, — утешала она его, — тебе обеспечена годовая рента. И как только — надеюсь, что скоро, — я проскочу через чистилище, так сразу обойду всех святых и не дам им покоя,

пока они не помогут тебе осуществить твои замечательные идеи.

Когда речь ее уже стала затрудненной, она в последний раз поговорила с Терезой. Мадам Левассер старалась вдолбить дочери, чтобы та не вздумала переселяться в Париж, какие бы блестящие проекты ни сочинял Франсуа. И чтоб Тереза не выходила замуж ни при каких обстоятельствах, даже если этот собачий сын — ее дружок — все-таки явится. В последний раз она повторила:

— Деньги у тебя будут, пока ты вдова Руссо. Как только негодяй заметит, что ты осталась без денег, так, дитя мое, для тебя настанут трудные дни, да и те, может, будут сочтены. Будь верна могиле Жан-Жака! Оставайся вдовой Руссо! — приказала мадам Левассер. И тотчас же началась агония.

Сержант Франсуа самолично доложил маркизу о кончине матери. Он попробовал намекнуть на то, что старуху следовало бы похоронить рядом с Жан-Жаксом, о котором она так преданно заботилась.

— Ну, уж этому не бывать! — вырвалось у маркиза.

Заносчивость аристократа раззадорила сержанта. Он не пожалел средств и заказал для матери похороны по первому разряду. Все духовенство из Дамартена участвовало в них. Папаша Морис не упустил случая и произнес над могилой тещи Жан-Жака надгробную речь. Он оплакал ее трагическую судьбу: враги Жан-Жака оклеветали преданную старушку, не щадившую сил в попечении о своем зяте, и старались посеять раздор между ними. Жители Эрменонвиля были тронуты. Маркиз, присутствовавший на похоронах, слушал с каменным лицом.

В швейцарском домике брат с сестрой поговорили по душам. Франсуа объявил Терезе, что хочет забрать ее к себе в Париж. Она ответила, что мать завещала ей оставаться подле могилы Жан-Жака. Франсуа сказал, что закон предоставляет ему право определить местожительство сестры, ибо он, Франсуа, — глава семьи. Тереза с неизменным и тихим упрямством отвечала, что, как бы там ни было, а она не двинется с места, пусть это будет и не по закону. Если так, угрожающе сказал Франсуа, то ему придется очень ограничить ее содержание; ведь совершенно очевидно, что состояние матери досталось им обоим, и ему, как главе семьи, принадлежит право распоряжаться им. Тереза невозмутимо ответила, что все это, конечно, гораздо

обстоятельнее разъяснит им обоим мэтр Жибер. Франсуа понял, что ему не удастся прибрать сестру к рукам.

— Мы еще доживем до того, — уныло и разочарованно предрек он, — что в один прекрасный день ты явишься ко мне в Париж оборванная, заросшая грязью и взмолишься о помощи. И я, конечно, не откажу тебе в крове и тарелке супа, ибо я солдат и умею быть великодушным. Но я никогда не прощу тебе недоверия. А теперь дай мне два эку на обратный проезд.

На этом они распрощались.

Тереза осталась в Эрменонвиле. Так требовали приличия, так требовал долг. Она не сомневалась, что, вернувшись, Николас будет искать ее здесь.

Уютно она не чувствовала себя в швейцарском домике. Здесь бродили призраки — дух Жан-Жака, дух ее матери. И тот и другой были недовольны ее намерением сожительствовать с Николасом; особенно бранилась и грозила маменька. Тереза все показывала матери кольцо, которое надел ей на палец Николас. Разве этим кольцом она не обречена с ним? Но мать не успокаивалась.

Снова появился таинственный посланец от Николаса и принес ей весточку. Мосье Николас собирается вскоре вернуться, сказал он; пусть она не трогается с места и ждет его. И пусть не вздумает делать глупостей. Таков строгий наказ.

Тереза была счастлива. Время от времени она тщательно принаряжалась. Ей не хотелось, чтобы ее милый муж застал ее врасплох, неприбранной. Так сидела она часами, по-праздничному разодетая, и, не отрывая глаз от кольца, улыбалась бездумной и мечтательной улыбкой.

Глава четвертая ЖИЛЬБЕРТА В ВЕРСАЛЕ

Женевские друзья Жан-Жака не желали более откладывать издание «Исповеди». Жирарден, хотя и опасался, что эта книга приведет к новым сильнейшим нападкам на Жан-Жака, вынужден был сдаться.

«Исповедь» появилась. Она произвела впечатление, совершенно обратное тому, какого ждал Жирарден. То, что Жан-Жак так беспощадно обнажал свою жизнь и свою душу, волновало читателей; они восторгались его фанати-

ческим правдолюбием. Им казалось, что «Исповедь» вскрывает сокровеннейший источник их собственных чувств и многих их мыслей, до той поры необъяснимых. Автор, представший перед ними в «Исповеди», сочетал в себе благороднейшие эмоции с чувствительностью и возбудимостью, которые граничили с безумием. Первые вызвали восхищение и любовь, вторые — сочувствие. Отпыне, считали они, можно выражать вслух такие мысли и высказывать такие убеждения, в которых до сих пор никто и себе не осмеливался признаться. «Исповедь» вознесла славу Жан-Жака до небес.

Жильберта де Латур находилась в Париже, когда книга вышла в свет. Мосье Робинэ принес ей «Исповедь». В этот вечер она была звапа на бал к маркизе де Сен-Шамон. Она не поехала на бал; после обеда сразу же ушла к себе и начала читать.

Она лежала в постели в своей прелестной спальне; мерцающий свет свечей падал на строки, чистосердечно раскрывающие жизнь этого пресловутого Жан-Жака.

Читала быстро и жадно. Время от времени все же выпускала книгу из рук и закрывала глаза. И тогда ей чудилось, будто она слушает Фернана, который рассказывает о людях и делах, описанных в книге. Голос Фернана отчетливо раздавался в комнате, и его слова и слова книги сливались воедино.

С каждой новой страницей «Исповедь» вызывала в Жильберте все большую брезгливость. Первое впечатление от Жан-Жака, когда она увидела его в вестибюле Эрменонвильского замка, ее не обмануло. Здесь, в этой книге, он сам громогласно заявляет всем, кто желает слушать, что он жалкий, смехотворный, нечистоплотный, слабодушный, больной и неаппетитный человек.

И перед ним все падают ниц. Слепые они, что ли? «Апостолом правды» они величают его. Не видят они, что у него что ни слово, то ложь? Отдельная страница, взятая сама по себе, звучит убедительно. Но уже следующая опровергает предыдущую. Он попросту не способен говорить правду, этот Жан-Жак. Любое событие теряет для него свою правдоподобность в ту самую минуту, когда оно происходит. Преследуемый своими эмоциями, он бросается из одной крайности в другую, все у него колеблется, для него нет ничего устойчивого. Можно ли такое шатание, такую неустойчивость выдавать за философию? Она покорно

благодарит за подобную философию. Это просто черт знает что, одно кривлянье.

Жильберта захлопнула книгу, задула свечи, попыталась заснуть. В ушах ее звучала песенка: «Простилась я с милым, простилась с желанным, не встретимся вновь».

И опять она думает о Фернана, да еще под неотступную мелодию нелепой песенки Жан-Жака. Тысячи раз она клялась себе не вспоминать больше о нем. Фернан — это прошлое, отжившее. Он продал свою душу и тело этому лжепророку, во имя него искалечил свою жизнь. Так нечего ему еще и ее жизнь калечить. Все кончено.

Но увь, далеко не все кончено, и незачем себя обманывать. Путешествуя с дедушкой по Швейцарии и Италии, она, любуясь горной вершиной, или озером, или городом, невольно думала: а что сказал бы Фернан, глядя на них? И с чего это ей вдруг взбрело в голову интересоваться Новым Светом? Чего ради она читает так много книг об Америке?

Все-таки возмутительно, что Фернан совсем не дает о себе знать. Уж отцу-то он, во всяком случае, мог бы писать почаще и пообстоятельнее. Встречаясь с мосье де Жирарденом, дедушка всегда из вежливости спрашивается о Фернана; но маркиз и сам почти ничего не знает: сын пишет ему очень редко. Когда французский экспедиционный корпус под командованием генерала Рошамбо высадился в Америке, все они надеялись, что Фернан вступит в эту армию. Но упрямый мальчишка остался в армии генерала Вашингтона, а когда маркиз за это упрекнул его в письме, Фернан и вовсе умолк.

Напрасно все же она не поехала сегодня на бал к маркизе де Сен-Шамон. На таких вечерах она всегда отлично веселится. Разве это предосудительно? Прав, что ли, Фернан, утверждая, что только пустым, ветреным созданиям может доставлять удовольствие общество любезных, изысканных, холеных и изящных людей.

Конечно, Матье будет на балу и, конечно, ему будет очень недоставать ее. Ей следует быть с ним поласковее, не мучить его так. Вот уже больше года, как умер отец Матье, оставив ему в наследство все свои высокие титулы и звания, два ветхих замка и долги. Матье сразу избавился бы от забот и хлопот, согласись он занять один из тех высоких военных или дипломатических постов, которые в любую минуту были к услугам высокочтимого и сиятель-

ного сеньора, мессира Матье-Мари графа де Курселя. В том, что он уклоняется от назначения, повинна только Жильберта. Он не желал служить генералом в каком-нибудь провинциальном городе или состоять в качестве посла при иноземном дворе. Ему хотелось оставаться в Версале, поближе к ней. Матье никогда не говорил ей о своих чувствах, не навязывал ей своей руки, он чертовски горд, но она-то знает: он ждет только благосклонного намека, и тогда он заговорил бы.

Долго ли еще она будет его мучить? Он добивается ее отнюдь не для того, чтобы подкормить свои захиревшие владения ее деньгами. Он отверг многих богатых наследниц — Жильберта знала об этом от мосье Робинэ.

Но немножко ему придется еще подождать. Перемирие с Англией подписано. Фернану больше нечего делать в Америке. Его возвращение не может, конечно, что-либо изменить, но на последний разговор по душам он все-таки вправе претендовать.

Мосье де Жирарден, приехав с очередным визитом в замок Латур, рассказал, что, вопреки его ожиданиям, сын не вернется с французской армией; больше того, Фернан отправился в Вест-Индию, в Сан-Доминго, и собирается там обосноваться. Маркизу, пожалуй, вовсе не хотелось рассказывать об этом, но сердце не стерпело, и слова вырвались сами собой.

Жильберта стиснула зубы и промолчала.

В эту ночь она в десятый раз старалась представить себе жизнь с Матье. Возможно, что ему все же захочется сделать служебную карьеру. У нее же нет ни малейшего желания жить в провинции или в чужих краях. Несколько месяцев в году можно, конечно, проводить в Париже и в Версале; в эти месяцы она даже готова, как этого, несомненно, желает Матье, подчиниться чопорному этикету двора; но большую часть года ей хотелось бы жить в деревне — в Сен-Вигоре, или в Латуре, или в одном из ветхих замков Матье. Об этом она должна договориться с ним твердо и определенно.

Жильберта нахмурилась. С Фернаном ей не пришлось бы заранее договариваться о таких вещах.

На следующий день она поговорила с мосье Робинэ. Не первый год принимает она ухаживания Матье де Курселя, сказала Жильберта. За это время почти все ее ровесницы вышли замуж. Ей кажется, что она любит де Кур-

селя, и ей хотелось бы знать, посоветует ли ей дедушка выйти замуж за Матье.

Робинэ пришлось сделать над собой усилие, чтобы его красное четырехугольное лицо не дрогнуло и оставалось спокойным. Перед ним стояла та же задача, что и в тот раз, когда Жильберта поведала ему о планах Фернана уехать в Америку. Мосье Робинэ ничего не имел против брака Жильберты с Матье, но теперь еще больше, чем прежде, он не мог себе представить, как он будет без нее жить.

В своем обычном, слегка ироническом тоне он сказал:

— Нелегко мне быть твоим советчиком в этом деле, доченька, мне очень не хочется потерять тебя. Я, как видишь, заинтересованная сторона.

— Но, дедушка, о том, чтобы мы жили с вами врозь, нечего и думать,— бурно возразила Жильберта.— Мы, разумеется, будем жить у вас или вы у нас.

Робинэ усмехнулся про себя. Несмотря на взаимную вежливость, его отношения с этим высокоаристократическим Матье нельзя было назвать сердечными. Он сказал:

— Я очень сомневаюсь, чтобы владетельный граф Курсель пожелал жить со мной под одной крышей.

«Значит, есть еще одно обстоятельство, о котором я должна четко договориться с Матье»,— подумала Жильберта.

— Если вы действительно не возражаете, дедушка, то ваш правнук будет именоваться «мосье де Курсель»,— сказала она.

На ее лице, однако, Робинэ увидел ту же едва заметную недобрую улыбку, что и на похоронах Жан-Жака.

На одно мгновение мосье Робинэ заколебался, но затем сказал:

— В таком случае твой сын будет именоваться еще и «мосье де Сен-Вигор», доченька. Некогда Сен-Вигор принадлежал Курселям, и если это поместье попадет в руки одного из их потомков, то к нему перейдет и титул.

Жильберта покраснела от удовольствия и немножко — от смущения; Сен-Вигор представлял собой поместье, состоявшее из нескольких селений. Это был очень ценный свадебный подарок.

— Благодарю вас, дедушка,— сказала Жильберта.

При следующей встрече с Матье она задала ему вопрос:

— Как вы относитесь к моему дедушке?

Несколько сдержанно он ответил:

— Мосье Робинэ очень умный и преуспевающий делец, об этом знает вся Франция.

— Я люблю дедушку,— горячо, с необычной страстью сказала Жильберта,— и никогда не расстанусь с ним, ни за что на свете. Понимаете вы это, граф Курсель?

На красивом удлинённом лице Матье отразилось недоумение, раздумье, огорчение.

— Понимаю,— ответил он и низко поклонился.

А Жильберта продолжала:

— Кроме того, от своего мужа — кто бы он ни был — я потребую, чтобы он по меньшей мере полгода проводил в деревне. Вы не находите это требование чрезмерным, граф Курсель?

— Это, конечно, серьёзное требование,— ответил было Матье. Но, уловив выражение ее лица, поспешно добавил: — Впрочем, нет, не чрезмерное.

— Вы вот, например, согласились бы с таким порядком? — спросила Жильберта.

Матье опять чуть призадумался, затем торжественно и решительно произнес:

— Согласился бы.

— Благодарю,— сказала Жильберта.

Матье, еще не смея поверить своему счастью, смотрел на Жильберту со слегка одурелым видом. Он глядел на ее лицо — такое милое, свежее, смелое, умное, озаренное сейчас чуть застенчивой улыбкой. И вдруг он встрепнулся и с живостью, какой Жильберта никогда не предполагала в нем, стиснул ее в объятиях. Без конца целовал. А он умел целовать! Ее обдало горячей волной.

Была ли она счастлива? Да, это настоящее счастье. На этот раз она сама сделала выбор, по доброй воле; не без участия рассудка, но и сердце не молчало.

Между генеральным откупщиком податей, господином Робинэ, и графом Курселем состоялось деловое собеседование на тему о финансах Жильберты. Долгое и мучительное это было собеседование; Матье упорно отказывался принять от мосье Робинэ те средства, которые тот считал необходимыми для беззаботного существования будущей четы. Со вздохом Робинэ рассказывал внучке:

— Этот твой Матье — аристократ чистейшей воды. Очень порядочный и, как полагается аристократу, ограниченный человек.

Так как Матье принадлежал к потомственной знати и мог предъявить в своем генеалогическом древе тридцать шесть колен, а Жильберта принадлежала к «незаконно-рожденной знати», числившейся дворянами всего только в первом колене, то бракосочетание графа с внучкой откупщика нуждалось в согласии королевской фамилии и министров, иначе дети от этого брака утрачивали отцовские привилегии. Надо было подать множество челобитных и прошений, чтобы граф Курсель и мадемуазель де Латур могли появиться в Версале и получить соответствующие подписи.

Среди всех этих хлопот Жильберта часто вспоминала, как потешался Фернан над подобными формальностями и в особенности над заключительным круговым обходом Версаля. Он живет в эмпиреях, этот Фернан, и он чертовски неправ. Если король и двор окажут Жильберте милость, то это будет вовсе не смешная комедия, а подлинный триумф. Посещение Версаля вознесет на вечные времена ее и ее потомство над толпой безродных людей, обремененных обязанностями и зависимостью, в круг свободной привилегированной знати. Никто не смеет отравить ей этот день проническим смехом, ни один человек — будь он здесь, рядом, или за океаном. Она с радостью ждет этого дня, этого 18 марта.

Мосье де Сегюр, военный министр, родственник Матье, взялся представить брачный контракт на подпись королю. Два смертельно долгих часа пришлось пробыть в приемной, среди многочисленных посетителей, в ожидании утреннего туалета короля. И вот наконец толстый швейцарец стукнул об пол своей алебардой и выкрикнул: — К подписи!

Вот он, долгожданный миг! Матье, Жильберта и мосье Робинэ, предводительствуемые мосье де Сегюром, получили наконец доступ в опочивальню всехристианнейшего величества.

Жильберта украдкой метнула быстрый взгляд на Матье. Матье был красив и величествен, и уж он-то, конечно, не видел ничего смешного в церемониях, через которые им предстояло пройти.

Король сидел у туалетного стола в ленивой и неловкой позе, подставив голову парикмахеру. Роскошный покой был полон народу. Мосье де Сегюр, держа Жильберту за

кончики пальцев, подвел ее к королю. Матье и мосье Робинэ следовали за ними.

— Ваше величество,— сказал министр,— это мадемуазель де Латур, будущая графиня Курсель, если вашему величеству благоугодно будет поставить свою подпись на ее брачном контракте.

Король не спеша рассматривал Жильберту сонными глазами навывкате.

— Так это вы и есть мадемуазель де Латур? — произнес он.— Что ж, прекрасно, отлично.

Военный министр протянул ему контракт, камергер — перо. Выпрямляясь после глубокого реверанса, Жильберта с жадностью следила за белой пухлой рукой, выводящей подпись. «*Ça у est*» — пело в ней. Всю ее залила радость, радость, неукротимая радость.

Людовик подписал.

— Что ж, прекрасно, отлично,— повторил он, с трудом подавляя зевок.— Отныне вы, значит, графиня Курсель. Поздравляю вас.

Они отправились в покои королевы. Мария-Антуанетта опытным оком оценила праздничный туалет невесты и сразу узнала руку мадемуазель Бертин, своей придворной портнихи. Улыбаясь, она сказала:

— Это вам, моя милая, влетело, должно быть, в кругленькую сумму! — и подписала.

Через многочисленные залы, по многочисленным лестницам и длинным коридорам, мимо караульных швейцарцев и величественных камергеров, мимо светских и духовных вельмож они проследовали к братьям короля — к графу Прованскому и графу Артуа. А оттуда — к *Mesdames*, к трем теткам короля. Затем к герцогу Ангулемскому. Сей принц восседал на деревянном коне-качалке, с саблей «на плечо». Ему было четыре года. Подписывал он медленно, старательно, и мосье Робинэ сказал тихонько:

— А ведь он единственный из всей королевской фамилии, чьи каракули можно разобрать.

Покончив с обходом королевской семьи, небольшой торжественный кортеж проследовал к министру юстиции и хранителю королевской печати — мосье де Миромеснилю. Последний скрепил документ королевской печатью и поставил свою подпись.

Так было установлено и узаконено на вечные времена, что графу Матье де Курселию предоставлено право соче-

таться браком с мадемуазель де Латур, дворянкой в первом колене, не теряя при этом ни своего титула, ни званий и привилегий. А Жильберта де Латур в результате означенного брака приобрела право называться дворянкой в третьем колене, и ее первый сын получал право на наследование отцовских титулов, званий и привилегий.

Глава пятая ВОЗВРАЩЕНИЕ СУЖЕНОГО

Глубокой ночью Тереза внезапно проснулась от резкого стука. Подскочив, она с уверенностью и радостным испугом подумала: это он!

Это действительно был он. Ухмыляясь, стоял он перед Терезой.

— Ну, вот и мы, сокровище мое,— проквашал Николас так, будто они вчера только расстались.

С теплым сиянием, разлитым по всему лицу, Тереза жадно разглядывала его. Он немножко пополнел, но был все еще по-прежнему сухопар, и глаза его над приплюснутым носом по-прежнему весело поблескивали.

Он великодушно позволил ей обнять себя и сам милостиво похлопал ее по ягодицам. Тереза всем существом своим ощущала его мускулистое тело, вдыхала его мужской запах; годы разлуки миновали.

Она носилась по комнате босая, взбудораженная.

— Не приготовить ли тебе чего-нибудь поесть? — спросила она, опять уже совсем прежняя, покладистая, глупая Тереза.

— Позднее, может быть,— ответил он.— А вот если у тебя найдется что выпить, я бы не прочь.

Конечно, найдется, сказала она; да вот хотя бы добрая малиновая настойка, которой ее почтил папаша Морис в обмен на Жан-Жаковы письменные принадлежности.

Николас уселся в широкое кресло, любимое кресло покойного Жан-Жака, и окинул взором хорошо знакомую обстановку.

— Приятно вернуться сюда,— произнес он и, входя в роль хозяина, расположился поудобнее.

Немалая осторожность понадобилась, чтобы попасть в швейцарский домик. Во всех прочих отношениях возвращение его представляло не бог весть какой подвиг. После

заклучения мира французское и английское правительства объявили амнистию, которая, очевидно, снимала запрет и с его возвращения во Францию. Он решил, что пора заявиться к своей милке-невестушке. Старая кобыла очурилась и уже не лягнет больше, а писания, которые она так ревностно оберегала, теперь в руках Терезы, иными словами, — у него в руках. И он, следовательно, переплыл через канал, а принц Конде без всяких проволочек снова принял его на службу, живет он, значит, по соседству, и вот он здесь.

Ему доставляло удовольствие сидеть, развалившись в кресле своего предшественника. Он еще в Лондоне слышался об «Исповеди» и прочел эту книгу в английском переводе. Ну и похохотал же он громко и от всего сердца над юродивой мудростью господина философа. Чего-чего только не нагородил тот об их общей Терезе! И все-таки он, Джон Болли, именуемый также Николас Монтрету, сидит здесь; он не философ, зато он весел и жив, а философ лежит в своей холодной могиле, прославленный, но мертвый.

Николас видел восторг, с каким Тереза ухаживала за ним; его отсутствие только упрочило их связь. Он пил, ел и, ухмыляясь, думал, что заткнет за пояс всех мудрецов мира. Простофиля-маркиз выстроил для господина философа швейцарский домик, а хозяйничает в нем кто? Он, Николас! Торжествуя, развалился он в кресле Жан-Жака и благосклонно позволяет Терезе ублажать себя ласками.

— Дела подождут, — говорит он, — сначала давай побалуемся. — И они легли в постель.

Позднее он заставил ее отчитаться перед ним. У нее, сказала Тереза, капитала нет, а только пенсии, которые ей выплачивает маркиз. Николасу это показалось подозрительным. Как так, неужели она не получила за рукописи наличными? И какое отношение к этому имеет маркиз?

— Ты ведь совершеннолетняя. Не нужны тебе опекуны, — изрек Николас. — А если и понадобится какой, так на то я теперь здесь. Ну что, старушка? — благодушно продолжал он. — Поженимся, что ли? Хоть у тебя и нет ничего, кроме пенсий, я все же готов взять тебя.

Ее вялое сердце запрыгало от радости и страха. Как долго ждала она этой минуты! Она готова отказаться от репутации знатной вдовы Руссо и превратиться в обыкновенную мадам Монтрету, даже если ни одна королева не

явится больше, чтобы утешить ее. Уж раз Николас так отчаянно рисковал ради нее, не щадил своей драгоценной молодой жизни, то и она, конечно, должна чем-нибудь поступиться ради него. Но Жан-Жак и мать незримо стоят по обе стороны кровати, призрачные и в то же время такие ощутимые, и мать предостерегает ее: «Смотри, если он слишком поздно узнает, что денег у тебя нет, не сносить тебе головы!»

Тереза наполовину приподнялась на постели.

— Что до меня, так чем скорее мы поженимся, тем лучше.

И так как лежали они в потемках, то он не мог увидеть ее улыбки, застенчивой и лукавой, совсем как у маленькой девочки. Он выжидающе насторожился.

— Но,— продолжала она, на всякий случай боязливо отодвинувшись от него,— может статься, что вы вовсе не пожелаете жениться на мне, мосье Николас, когда все узнаете.

— Какое такое «все»? Что это еще за вздор? — крикнул он с присущей ему такой пугающей и такой любимой грубостью.— Зажги свечу,— сердито буркнул он.

Тереза повиновалась. Он свирепо взглянул на нее.

— Изволь-ка говорить яснее,— приказал он.— Я ничего не понимаю.

— Да я и сама не очень понимаю,— прохныкала она.— В том-то и дело. Куда мне с моим слабым умишком. Вам, конечно, много виднее, что к чему. Но если я выйду замуж, то я, значит, останусь без всяких денег. Сходить бы к господину Жиберу, он бы нам все досконально растолковал.

— Видно, опять кто-то отмочил отчаяннейшую глупость,— выругался Николас.

Он встал и оделся.

— Не сердись, Кола,— смиренно молила Тереза,— я сделаю все так, как ты хочешь.

Они поехали к мэтру Жиберу. Нотариус не скрывал своего недоверия и неприязни к Николасу.

— Вы в самом деле желаете, мадам, чтобы я осведомил мосье Монтрету о запутанном состоянии ваших денежных дел?

Он спросил это так официально, что Терезу обуял страх. Она поняла, что ни Жан-Жак, ни ее покойная мать, ни всемилостивый бог не одобряют того, что она намерена

совершить. Но она собрала все свои душевные силы и выдала из себя:

— Да, мосье.

Мэтр Жибер вспомнил о клятвенном обещании, данном тучной старухе, и решил так затруднить все этой глупой и похотливой бабенке, как только возможно.

— Мне нужен от вас письменный приказ, который освободил бы меня от сохранения профессиональной тайны,— сухо сказал он.

Но и это не устрасило Терезу. Она подписала обстоятельное заявление, составленное нотариусом, и мосье Жиберу ничего другого не оставалось, как приступить к докладу.

Он разъяснил, что английские покровители, выплачивающие пенсии через мосье Жирардена, поставили обязательным условием, чтобы последние вручались только вдове Руссо. Поступления от авторского гонорара за произведения Жан-Жака, в свою очередь, выплачиваются ежегодно и передаются на хранение мосье Жирардену.

Переговоры тянулись долго и мучительно. Мэтр Жибер обильно пересыпал свою речь профессиональными терминами, а Николас не отставал от него, пока не проник во все мелочи. Под конец он спросил нагло и без обиняков:

— А что, если мадам Руссо вторично выйдет замуж?

— Я бы настоятельно посоветовал моей клиентке не делать этого,— сказал Жибер и строго посмотрел на Терезу.— В этом случае выплата английских пенсий, безусловно, прекратится, а что касается издателей, то будут ли они тогда по-прежнему делать отчисления — это более чем сомнительно.

Николас перешел в атаку.

— Неужели во Франции нет более ни права, ни законов? — вознегодовал он.

— Именно потому, что во Франции право и законы процветают, многоуважаемый,— назидательно и важно произнес нотариус,— я столь настойчиво рекомендую моей клиентке воздержаться от второго брака. Тем более что притязания мадам Руссо на право наследования весьма уязвимы и оспариваются племянником покойного. В связи с этим нельзя не коснуться некоего щекотливого обстоятельства: ведь господин Руссо, по личному его свидетельству, сочетался с мадам браком только «перед лицом природы». А влечет ли за собой такой брачный контракт

соответствующие права — это по меньшей мере спорно. До сих пор только слово и веский авторитет мосье де Жирардена удерживали суды от объявления брака мадам Руссо незаконным.

Николас вспомнил некоторые места из книги Жан-Жака и со свойственной ему сметливостью мгновенно представил себе, какими далеко идущими последствиями чревата блажная «Исповедь» блажного господина философа.

Тереза, едва сдерживая торжество, воскликнула:

— Вот видишь, Кола, я же тебе это сразу сказала!

Николас бросил на нее бешеный взгляд, холодно поблагодарил нотариуса за совет, и они удалились.

Размышления и планы не давали ему в эту ночь уснуть. «Значит,— думал он,— старуха, эта гнусная ведьма, сходя в могилу, еще раз стала мне поперек пути. Но она просчиталась. Если ей удалось найти зубастого адвоката, то я выкопаю себе еще позубастее». Николас густо сплюнул.

С рекомендацией от принца де Конде он поехал в Париж к адвокату принца, мэтру Лабурэ. Тот нашел выход. Пусть Николас договорится с Терезой о том, что она назначает его своим *homme d'affaires* или *homme de confiance*, то есть доверенным лицом. А тогда одну или другую пенсию можно будет, пожалуй, пустить в оборот или уж, во всяком случае, получить закладную.

Нельзя сказать, чтобы Николас был недоволен этим советом. Он разъяснил Терезе, что мэтр Жибер, к сожалению, оказался прав: ей в самом деле необходимо оставаться в Эрменонвиле и в качестве почтенной вдовы Руссо охранять гробницу Жан-Жака. С чудесной мечтой о свадьбе придется расстаться. Но если и не законным мужем, то *homme de confiance* ее он все же может стать; это ведь тоже связывает их тесными узами. Тереза слушала его с удовольствием. Значит, она и своего дорогого покойника не прогневает, и в то же время сохранит себе на радость Кола — хотя и втайне от света.

— Значит, все остается по-старому,— подытожила она.

— Не вполне, мой ангел,— сказал Николас.— Ты ведь и сама не захочешь, чтобы твой супруг,— а ведь я и есть твой супруг, хотя бы мэтр Жибер и не желал этого признавать,— махнул рукой на скаковые конюшни, сулящие нам обоим роскошную жизнь. Но чтобы поставить это дело как следует, мне надо жить в Париже.

— А меня ты не можешь взять с собой? — робко спросила Тереза.

— С тобой разговаривать и впрямь, что об стенку горох бить, — грубо оборвал ее Николас. — Ведь все время я тебе толкую, что ты должна оставаться здесь.

Но, увидев, как сразу потускнело ее лицо, он поспешил ее утешить:

— Да ты не принимай этого так близко к сердцу, ангел мой! Я, конечно, буду наезжать, и мы вдоволь натешимся здесь нашей любовью.

Еще через некоторое время Николас сказал:

— Впрочем, для начала нам придется разочек вместе съездить в Париж. Там мы выправим всякие документы, и это будет так же торжественно и великолепно, как на настоящей свадьбе.

На следующей же неделе они и впрямь отправились в Париж, правда, втайне. Даже жить Терезе пришлось не там, где остановился Николас; поселил он ее у некой мадам Беккари, в переулке Людовика в приходе Святой Магдалины.

Назавтра они вместе пошли к мэтру Лабурэ, и там было подписано и скреплено печатью много документов.

Какая это была утомительная и торжественная церемония! Тереза ясно вспомнила, как в свое время ей и матери пришлось у мэтра Жибера ставить много подписей. На этот раз все было даже гораздо торжественнее: мэтр Лабурэ облачился в тогу — старинное одеяние, делавшее его похожим на архиепископа. Все чувства, на какие Тереза была способна, беспорядочно теснились в ее душе. Она благодарила господ за то, что и материнского запрета не слушалась, и Кола своего все же удержала. Она была в восторге от своего дружка, сумевшего так хитро обернуть дело, что он вроде как бы и муж ее был, а в то же время она осталась вдовой Руссо. Но, несмотря на обуревавшие ее чувства счастья и гордости, где-то притаился страх перед матерью, и сквозь потрескивание фтилей в таявшем воске ей слышался сиплый, беззвучный, вьедливый материнский голос.

Затем она начала подписывать. На этот раз ей пришлось проставить много своих подписей, но еще со времени церемонии у мэтра Жибера она знала, как это делается, и поэтому раз за разом храбро выводила: «Тереза Левассер, вдова Руссо».

Отправив ее назад, в швейцарский домик, Николас ретиво и любовно взялся за дело. Ему удалось выгодно приобрести хороших лошадей, а аттестация принца Конде принесла обширную клиентуру. Время благоприятствовало его начинанию — в Париже царила мода на все английское. Хорошее знание дела, задорный тон и почтительные манеры Николаса пришлись по вкусу знатым господам. Все складывалось как нельзя лучше.

Однажды к нему заявился совершенно неожиданный посетитель — сержант Франсуа Рену. Он зычно и бурно приветствовал Николаса, обнял его, долго восторгался конюшнями и манежем. Николас подозрительно присматривался к гостю. Вскоре сержант начал делать какие-то туманные намеки насчет внезапного взлета мосье Николаса.

— Мне подсказывает мой мизинчик, — игриво проворковал Франсуа, — что здесь основательно попахивает деньжонками семьи Левассер. Как глава семьи, я, думается, вправе поинтересоваться: из каких таких капиталов выросли эти восхитительные лошадки?

У Николаса не было ни малейшего желания позволить пройдохе Франсуа шантажировать его, но ссора с братцем Терезы могла повлечь за собой пренеприятные последствия. Владелец скаковых конюшен Монтрету нашел выход: он принял этого представительного мужчину к себе на службу. Франсуа оказался бездельником, под всякими предлогами отлынивал от работы, но все же кой-какой прок от него был: его хвастливая трескотня многим клиентам нравилась. Впрочем, жалованье Франсуа получал у своего шурина мизерное.

Николас не был мелочен, но ему приходилось экономить. Текущие расходы были огромны, доходы числились главным образом на бумаге. Лучшая часть его клиентуры — молодежь из аристократических семей — не спешила, когда дело касалось уплаты долгов, а стоило Николасу несколько настойчивее заявить претензию, как и сами клиенты, и их могущественные покровители гневались и отворачивались от него.

Он понимал, насколько благополучие его зависит от пенсий Терезы, которые, оказывается, нельзя ни заложить, ни получить под них заем. Поэтому он время от времени наезжал в Эрменонвиль. Обычно он появлялся там глубокой ночью, крадучись и без предупреждения, и

пейзменно заставлял всегда ждущую и радостно вспыхивавшую при виде его Терезу.

Он был уверен, что его поездки в Эрменонвиль остаются в тайне. Но о них пронюхали. Судья доложил Жирардену, что конюх Монтрету время от времени проводит ночи у вдовы Руссо в швейцарском домике.

Маркиз рассудил, что было бы нецелесообразно открыто принимать теперь какие-либо меры против этого проходимца. Зато он получил наконец долгожданный предлог развязаться с отвратительной ему Терезой. Он написал ей короткое сухое письмо. Во имя памяти своего друга Жан-Жака, писал он, он почитает долгом воспрепятствовать тому, чтобы по соседству с местом вечного успокоения великого философа творилось непотребство, участницей коего является вдова Жан-Жака. Поэтому он вынужден просить ее поискать себе жилье за пределами Эрменонвиля.

Тереза заметалась в панике. Мать завещала ей непременно оставаться вблизи могилы Жан-Жака. Таково же было и желание Николаса. Если она переселится куда-нибудь, она нанесет кровную обиду своим покойникам; а уж что скажет Николас,— об этом она и думать не могла. Она, конечно, и деньги свои потеряет теперь, все эти непонятные и таинственные доходы, а с деньгами, как и предсказывала мать, утратит любовь своего Кола. Как же тогда жить?

Лучше всего обо всем рассказать Николасу, и немедленно. С письмом маркиза в кармане Тереза помчалась в Париж. Ей пришлось расспрашивать встречаемых, как пройти в заведение Николаса, она ведь никогда не бывала в этом его тэттерсолле. И кто же первым встретил ее там? Братец Франсуа! Увидя на лице Терезы растерянность, Франсуа шумно и покровительственно приветствовал ее.

— Не говорил я тебе, что наступит день, когда ты прибежишь к своему брату в лохмотьях, вся разнесчастная? Не предсказал я тебе это?

Николас при виде Терезы не стал скрывать своего гневного возмущения. Что вдруг понадобилось этой толстой старой бабе, этому пугалу в его элегантном заведении? Она разгонит его клиентов. Он оттеснил Терезу в угол и, раньше чем она открыла рот, грубо приказал ей держать язык за зубами и не сметь тут докучать ему. Пусть отправляется к мадам Беккари в переулок Людо-

вика, вечером он туда приедет, и там они поговорят. А теперь пусть катится, и немедленно. Его суровость напомнила Терезе покойную мать, и она уж почувствовала себя наполовину успокоенной.

Вечером, когда Тереза рассказала ему, что произошло, и дала прочесть письмо маркиза, он впал в мрачную задумчивость. обстоятельно разъяснил Терезе, что в Париже он не может ее поселить. Она должна жить вблизи могилы Жан-Жака, ибо пока они еще не могут позволить себе отказаться от ее, Терезы, доходов. А когда Тереза жалобно спросила, куда же ей деваться, Николас ответил, что подыщет для нее домик в деревне Плесси. Эта деревня находится по соседству с Эрменонвилем и принадлежит к владениям покровителя Николаса принца Конде.

— Плесси,— обронила Тереза растерянно,— Плесси.

— Оттуда,— объяснил ей Николас,— ты без труда сможешь раз или два в неделю ходить на могилу. А с могилы господин маркиз уж не посмеет тебя прогнать,— злобно сказал он.

— Плесси,— повторила Тереза,— туда ты еще реже будешь приезжать ко мне.

Но Николасом уже овладела, видимо, обрадовавшая его новая мысль, он повеселел и милостиво стал утешать Терезу:

— Не горюй, подружка. Через годик, а может, даже через полгода мои лошадки принесут такие барыши, что по сравнению с ними твои доходы покажутся песчинкой. Вот тогда я вытащу тебя в Париж, и мы роскошно проживем; мы плюнем на жалкие крохи со стола аристократов, сыграем свадьбу и больше не будем прятать от людей нашу любовь.

Надежда, больше того — уверенность, что он все же заполучит в свои руки писания, которые у него из-под носа утащила эта старая кляча, Терезина мамаша,— вот что было причиной внезапной перемены его настроения. Грозное письмо Жиардена служило прекрасным предлогом, чтобы вырвать у него рукописи.

— Прежде всего — подытожил Николас,— мы достойно ответим этому вельможе на его наглое письмо, я сам продиктую тебе ответ. Рукописи покойного, бесспорно, принадлежат тебе, и пусть он незамедлительно вернет их, этот знатный вор. Не вздумай шага сделать из Эрменонвиля раньше, чем маркиз не вернет тебе твою собственность.

Николас не писал по-французски. Знал он, что и Тереза пишет только по слуху и что написанное ею псевдобочитаемо. Но именно это и придаст ее письму особый смак, оно покажется маркизу архибодным и кольнет его в самое сердце: шутка ли, драгоценные рукописи отдать в руки такой малограмотной писаки.

На следующий день ему нужно было рано быть в коюшне. Но он не торопился и с расстановкой диктовал Терезе письмо. Со сладострастной мстительностью подбирал он слова, а Тереза выводила их своим малограмотным почерком, — тщательно, усердно.

«Я никак не ожидала, — писала она, — что мосье де Жирарден будет так чернить вдову Жан-Жака. Я веду себя недостойно, клеветеете вы на меня, а болтаете о вашей дружбе к моему мужу. Вы всегда любили его только на словах, я же храню его в моем сердце. Я заявляю, что это *вы* ведете себя недостойно. Вы у меня захватили все писания. Так извольте же, будьте любезны, вернуть мне все: и писания, и все ноты, и, конечно, «Исповедь», это все не ваше. Ладно, я уйду прочь из вашего дома и я вашего ничего не возьму с собой, мне его не надо, но я не двинусь с места, пока не получу свое. Сколько бы вы ни наговаривали на меня, мосье, я была и остаюсь с совершенным почтением к вам и преданная вам по гроб жизни вдова Жан-Жака».

Пока Николас диктовал, а Тереза писала, и он и она готовы были прыгать от удовольствия. Такое письмецо небось собьет спесь со спесивого маркиза. Пусть почитает.

Николас еще раз строго наказал Терезе, чтобы она ни при каких обстоятельствах не покидала Эрменонвиля без рукописей. Затем Тереза поехала домой, отдала свое послание в замок, уселась в швейцарском домике и стала ждать.

Получив грязную писульку, подписанную Терезой, маркиз пришел в ярость. Рукописи-то, правда, были отпечатаны и тщательнейшим образом скопированы, но он, конечно, страстно дорожил автографами. Однако что делать? Навязать себе на шею длительный и скандальный процесс? Нет, этого он не хочет. Надо, видно, расстаться с рукописями. Маркиз в последний раз разложил их перед собой, растроганно полистал, нежно погладил, перевязал, попрощался с ними и отправил бесстыжей.

Тереза подозрительно осмотрела толстые рулоны испи-санной бумаги, как бы проверяя, действительно ли здесь

все. Потом, готовясь к переезду на новое место, завернула «Исповедь» в одну нижнюю юбку, «Диалоги» — в другую, а в третью — «Утешения» — песни, которые Жан-Жак написал и положил на музыку в последние дни своей жизни. Теперь предпологов оставаться здесь больше не было.

Николас снял для нее в Плесси дом у своего знакомого, некоего сьера Бесса. Деревня Плесси не отличалась никакими достопримечательностями, дом был под соломенной крышей, и все в нем было до крайности просто. Это не беспокоило Терезу. Важно, что отсюда до могилы Жан-Жака всего часок ходу, не больше. Да и арендная плата невысокая: каких-нибудь восемьдесят ливров в год, включая плату за износ.

Папаша Морис и сьер Бесса помогли Терезе при переезде. За свои хлопоты Морис попросил несколько пустячков, представлявших собой, однако, для него, да и для других, ценнейшие сувениры. Но большая часть домашней обстановки — простые деревянные стулья с плетеными соломенными сиденьями, спинет с вечно застревающим «си», кровати с бело-голубыми покрывалами — все это находилось теперь в Плесси, в доме Бесса по Кладбищенской улице. И гравюры на стенах висели все те же: «Лес Монморанси» и «Дети кормят парализованного нищего». Не забыта была и клетка с канарейками. И рукописи снова лежали в своем ларе.

Приехал Николас. Осмотрелся. Все та же знакомая обстановка, только здесь она, пожалуй, кажется чуточку потрепаннее. Зато в этом доме они сами себе хозяева, и никакой маркиз не смеет совать сюда свой нос. Да и ларь здесь, и уже не пустой, как раньше. С чувством удовлетворения Николас открыл его, пощупал бумаги и положил их на место. Ни старая кляча, ни маркиз не стоят больше между ним и этой писаниной. Бумаги все-таки у него в руках, наперекор всему. Сливки, правда, с них, с этих бумаг, уже сняты. Частично они уже обращены в лошадок, в замечательных английских чистокровок. Но у него твердая уверенность, что, в случае какой-либо грозы, рукописи послужат ему с Терезой надежным прикрытием.

У него достаточно оснований для таких размышлений. Его предприятие может лопнуть в одну ночь. Молодые родовитые шалопаи, его должники, сулят ему золотые горы... но лишь после смерти своих отцов, а судиться с ними вряд ли имеет смысл. Что касается пенсий, кото-

рые все еще не удалось заложить или обратить в чистоган, то под пих, видне, ни су не получишь, а его покровитель принц Конде помогает ему чем угодно, но только не деньгами.

Николас был человеком неожиданных идей, неиссякаемой энергии, безоглядной жестокости и такого изобретательного себялюбия, какое обычно увенчивается большими барышами. Но ему не везло. И сейчас сударыня Беда нанесла ему такой удар, который окончательно сразил его. Жеребец Счастливчик сбросил его столь несчастливо, что Николас переломил себе тазобедренную кость. Этим завершилась его карьера лучшего берейтора Парижа.

Некоторое время сержант Франсуа пытался вести дело, выступая в качестве доверенного лица Николаса. Но кредиторы наседали на Франсуа, теперь уже не приходили на выручку ни мэтр Лабурэ, ни принц Конде. Кроме того, сержант дал вовлечь себя в драку с одним из молодых должников аристократов, в газетах появилась злостная заметка, и Николасу пришлось закрыть свои скаковые конюшни.

Он удалился в Плесси, к своей душеньке Терезе. Забившись в эту дыру, он любовался на свой единственный капитал — на ларь с рукописями.

Отныне он жил с Терезой в Плесси, в доме сьера Бесса, среди домашних вещей Жан-Жака, по соседству с его могилой. Искалеченный, озлобленный, он непрестанно бахвалился — даже на чужом языке.

А у Терезы — снова муж, требующий постоянного ухода. Она отдается заботам о нем с беспредельной самоотверженностью. Она восхищается своим Кола. В нем все грандиозно, даже — его несчастье.

Глава шестая

ОТЕЦ И СЫН

В скупых словах Фернан известил маркиза, что недели через три прибудет в Эрменонвиль, если только батюшке угодно будет приять его.

Жиарден держал письмо в дрожащих руках. Фернан уже в Англии, быть может, даже во Франции. Через три недели он будет здесь. Мосье Жиарден сразу почувство-

вал себя старым, и слабым, и счастливым, и несчастным, и как-то совершенно неподготовленным ни к огромной радости, ни к сложным решениям, которые предстояло теперь принять.

Семь лет, две тысячи пятьсот дней и ночей напролет ждал он этого письма. После заключения мира с Англией он думал: Фернан вот-вот придет. Долгие месяцы затем он возлагал надежды на влечение Фернана к Жильберте; думал, что оно вернет Фернана домой. А на свадьбе Жильберты ему, глубоко страдающему, вопреки здравому смыслу, казалось, что все же память о Жан-Жаке, тоска по Эрменонвиллю, а быть может, и капелька любви к нему, родному отцу, потянут Фернана к родным пенатам. Но позднее маркиз узнал, что Фернан приобрел земли в Вест-Индии, в Сан-Доминго, что большую часть наследства, доставшегося ему от матери, он вложил в приобретение заморских земель и что, кроме того, ему приглянулась некая мадемуазель Траверсей — хотя и знатного происхождения, но уроженка Вест-Индских островов, следовательно, креолка. Наперекор всему маркиз не мог заставить свое глупое сердце отказаться от надежды, что сын вернется.

И вот наконец он держит в руках это письмо, и он впиивается глазами в короткие строчки и в подпись: «Ваш любящий и почтительный сын Фернан де Брежи» — и не знает, куда деваться от струящегося счастья и уязвленной гордости. Фернан даже не дал себе труда сообщить, едет ли он один или, быть может, с семьей креолов Траверсей? Позволительно ли ему — отцу, солдату, воспитателю — не взыскать за такое легкомыслие? А если он поставит это Фернану на вид, не вздумает ли упрямец вдруг отменить свое решение?

Маркиз написал ответное письмо, в котором приветствовал сына, но и укорял его. Решил, что письмо никуда не годится, подумал было даже поручить мосье Герберу ответить Фернану, отбросил эту мысль, в конце концов написал вторично. Счел новое послание недостаточно сдержанным, чересчур любвеобильным, излишне длинным — и тут же отправил его.

В последующие дни и недели маркиз на все лады обдумывал, как ему держать себя с этим бунтарем, мятежником, перебежчиком, переметнувшимся в сословие купчихек, опустившимся до людей типа какого-нибудь Робинэ,—

со своим блудным сыном. Впрочем, какой же он блудный сын? Он возвращается не без воинской славы и не без вновь приобретенных богатств. Его вест-индские плантации поднялись в цене. Как же маркизу встретить сына? Заколоть для него тельца или проявить отчую суровость?

И вот наконец растерянный и умиленный дворецкий доложил:

— Господин граф Брежи изволил прибыть.

И Жиарден бросился в вестибюль и увидел Фернана. Да, это был он, его Фернан, и в то же время какой-то совсем другой — загорелый, мускулистый, возмужалый. Неужели это тот самый мальчик, у которого вчера еще были такие розовые мягкие щечки? И Жиарден забыл обо всех своих намерениях, обнял сына, прижал к себе, расцеловал и все восклицал, запинаясь:

— Фернан! Неужели это действительно ты? Фернан! Мой Фернан! Сын мой Фернан!

И Фернан, в свою очередь, думал, как ему держать себя с отцом. Ведь отец с головы до ног — человек вчерашнего дня, он же, Фернан, принадлежит сегодняшнему и даже завтрашнему дню, и он уже очень взрослый. Отец для него теперь — любимое, упрямое дитя. Всю жизнь отец только и делал, что поучал его. Фернан решил, что будет снисходителен, но не позволит отцу снова забрать над ним власть, от которой освободился. Однако сейчас, вдохнув воздух родного Эрменонвиля, он ничего не мог с собой поделать: он видел отца, постаревшего гораздо больше, чем он думал, видел его растроганное и счастливое лицо с глубокими бороздами скорби, проложенными минувшим семилетием, и ничего, кроме любви к отцу, он в это мгновение не чувствовал.

Жиарден сам проводил Фернана в его комнату. По дороге заметил, что сын хромает, — слегка, но все же хромает. На встревоженный вопрос отца Фернан рассказал, что был ранен вскоре после своего вступления в армию. Сначала опасались серьезных последствий, поэтому он постарался, чтобы до отца ничего не дошло. Жиарден, охваченный нежностью в ответ на такое внимание сына, устыдился, что иной раз позволял себе усомниться в его любви.

Теперь, когда они снова вместе, думалось ему, Фернан откроет ему свою душу. А он между тем рассказывал лишь о событиях последних дней. По возвращении, сказал

Фернан, он представился в Париже и в Версале, как того требовал существующий порядок, и был очень любезно принят министрами. Военный министр мосье де Сегюр сказал ему даже, что к полученному им званию полковника американской армии будет добавлено, вероятно, и звание полковника французской армии.

Фернан умолк, и тогда Жирарден принялся рассказывать. О посещении императора Иосифа, о многочисленных паломниках; ему не терпелось поскорее показать Фернану новшества, введенные им в садах.

Фернан шел рядом с разговорившимся, восторженно настроенным отцом. Нелегко ему было изобразить на своем лице восторг, которого ждал от него отец. Ну да, это, конечно, пейзажи из «Новой Элоизы», природа Жан-Жака. Она трогательна, располагает к мечтательности и экзальтации, но немножко ведь она и смешна, верно? Фернан, поживший среди беспредельных лесов, равнин и мощных рек Нового Света, перерос эти сады. Они казались ему теперь такими же игрушками, как куклы детских лет.

Он облегченно вздохнул, когда отец оставил его одного у могилы Жан-Жака.

В трудную пору боевой жизни и в бурные годы, проведенные им на Вест-Индских островах, Фернан не раз старался себе представить, с каким чувством он будет стоять у этой могилы, когда вернется домой. Но сейчас все молчит в нем. Святилище не потрясает его души.

Гораздо больше тронула его встреча с мосье Гербером. Этот не старый еще человек казался старше своих лет. Он похудел, ослабел, волосы у него поредели, а глаза шурились чаще прежнего. Встреча с бывшим учеником глубоко взволновала мосье Гербера. Он застепчиво спросил:

— Могу я обнять вас, Фернан?

Лицо его светилось улыбкой, глаза блестели, он всячески сдерживал себя, чтобы не прослезиться.

— Кто бы мог подумать? — несколько раз повторил он по-немецки, не в силах оторвать глаз от Фернана.

Фернана поразило сходство мосье Гербера с Жан-Жаком. Сотворив себе из Жан-Жака собственный прообраз, Гербер, как и все, кто вживается в образ любимого героя, возможно, что и бессознательно, перевоплотился в него.

— Да, милый мой Фернан, — сказал он, — значит, годы ученья и годы странствований, как выражается Платон,

пройденны. Но до чего же вы возмужали, — изумленно вырвалось у него. — Правда, прошло семь лет. И ваши философские взгляды, падо думать, тоже возмужали от соприкосновения с реальной действительностью? — спросил он, и вопрос этот, которому он хотел придать лукавый оттенок, прозвучал как вызов.

Фернан отчетливо вспомнил один их разговор, когда Гербер заклинал его не сомневаться в учителе. Гербер был прав, но в то же время и неправ, и вместо ответа Фернан в таком же тоне вызова спросил своего бывшего наставника:

— А разве «Исповедь» и вас не смутила, мой милый мосье Гербер?

Примечательно, что оба как бы продолжали свой большой разговор, начатый семь лет назад.

— Никогда я не представлял себе, — отпарировал Гербер, — что в душе великого человека всегда только тишь да мир, что он всегда таков, каким мы знали Жан-Жака в Эрменонвиле, «Исповедь» углубила мое смиренное преклонение перед ним. Точно высеченные на граните, слова вступительных строк искренни и честны. Во всей истории человечества нет другого произведения столь неслыханной правдивости.

Фернан был озадачен. Ведь Гербер-то знал о пропасти, лежавшей между фактами и их изображением в этой книге?

— Разве вас не поразило, что Жан-Жак видел свою жену и подругу совсем не такой, какая она на самом деле? — осторожно спросил он.

Не задумываясь, мосье Гербер ответил:

— Жан-Жак вещал правду, а есть ли правда в реальной жизни — не знаю. Он имел право кроить свой мир по собственному разумению. Его книга честна — мир его неподделен.

Гербер повторил эту мысль по-немецки, упираясь музыкай слов.

— Мир Жан-Жака более реален, непреложен и вечен, чем так называемая действительность. Действительности придется равняться по нему.

Глубокая, непоколебимая вера мосье Гербера тронула Фернана. Оставшись один, он задумался над словами эльзасца: «Его книга честна, его мир неподделен». Он проверял эти слова на опыте пережитого. Через какие

только тяжкие испытания не пришлось ему пройти в Америке. Светлые часы редко выпадали там на его долю, зато сколько было дней, разъедающих душу дрянной будничной суетой. Как мало чаяний сбылось, и как много, бесконечно много было разочарований.

Благородный дикарь Жан-Жака, его дитя природы, оказался призраком. Быть может, малая толика свободы и была добыта, но равенством и братством там и не пахнет.

Как-то, — разумеется, в минуту отчаяния, — задумав подытожить свой американский опыт, Фернан пришел к выводу: все завоевания свелись к нулю. В Соединенных Штатах место безрассудного, губительного и разорительного чванства аристократов заняли алчность и фарисейство буржуа. Вот как, ценой невероятных жертв, осуществились в Америке мечты Жан-Жака.

И все-таки Жан-Жак мосье Гербера такой же подлинный, как его, Фернана. Если уж при жизни Жан-Жак представлялся каждому на свой лад, то тем более — сейчас, когда его нет в живых. Прав мосье Гербер и в отношении личной жизни философа. В Жан-Жаке надо уметь отделить бессмертное от повседневного. Нельзя сосредоточивать внимание на том, что снижает его до нас. Наоборот, нужно раз и навсегда вобрать в себя те его черты, которые заставляют нас тянуться к его вершинам. Свет великих идей в произведениях Жан-Жака вечен, как свет звезд. Слепота Жан-Жака в мелочах повседневности предопределила его судьбу: если бы не она, ему не дано было бы так глубоко заглянуть в сущность основных явлений. Она была во вред только ему одному, а ясновидение Жан-Жака служит на благо всем.

Однажды Фернан встретил в парке толстую пожилую даму, всю в черном, возвращавшуюся, по-видимому, с могилы Жан-Жака. Дама эта смотрела на него так, словно удивлялась, что он не узнает ее, она даже сделала движение, как будто хотела заговорить, но потом прошла мимо. Только позднее Фернан догадался, что это, вероятно, Тереза. Он недоуменно покачал головой: он попросту не понимал теперь, как могло случиться, что он так безмерно влюбился в нее когда-то. Годами не вспоминал о ней. Все, что пережито с этой женщиной, ушло безвозвратно и к нему никакого отношения больше не имеет.

Даже узнав, что Тереза живет в Плесси с пресловутым Николасом, Фернан ничего не почувствовал, кроме

какого-то странного безразличия. Он пытался было распалить себя против убийцы Жан-Жака, твердил себе, что, не будь его, величайший мыслитель и писатель земли французской еще и поныне был бы жив. И все же ничего, кроме легкого омерзения к Николасу, он не чувствовал.

Через несколько дней у Фернана произошел первый серьезный разговор с отцом о личных делах. Счастье встречи с сыном было для маркиза омрачено тайными сомнениями. Долго ли пробудет здесь сын? Не уедет ли опять? Что там у него с этой креолкой? И вот наконец мосье де Жирарден собрался с духом и спросил:

— Ты ведь довольно долго прожил на французских Вест-Индских островах, не правда ли? Не расскажешь ли что-нибудь о твоей тамошней жизни?

Фернан без того собирался поведать отцу о своей сандомингской эпопее, и ему было досадно, что отец не дождался, пока он сам об этом заговорит. В Филадельфии, сказал он, много было разговоров об отмене рабовладения. К сожалению, дело так и ограничилось одними разговорами. Вот и захотелось ему собственными глазами посмотреть, как осуществляется в Вест-Индии французское законодательство о рабовладении, так называемый «Черный кодекс».

— В сущности, дорогой батюшка, — улыбаясь, добавил он, — ведь это вы послали меня в Сан-Доминго. Вы в свое время внушили мне, чтобы я изучил труд Рейналя о французской Индии.

Жирарден предпочел бы, чтобы Фернан остановился на личных моментах, а тот все распространялся на свою излюбленную тему о рабовладении.

В общем, продолжал Фернан, вест-индские плантаторы обращаются со своими рабами человечнее, чем их коллеги на южном материке, и Кружок филадельфов в Кап-Франсе сделал немало добра. Он, Фернан, был одним из руководителей этого объединения друзей человечества и на огромных плантациях, приобретенных им в Сан-Доминго, пытался доказать, что именно при мягком обращении с цветными рабами можно добиться наилучших результатов.

Маркиз не совсем кстати сказал:

— Ты, конечно, слышал, что я освободил наших крепостных? Ношусь с мыслью отказаться даже и от своих прав на рыболовные угодья.

Он все ждал, что вот-вот Фернан заговорит наконец о креолке, о мадемуазель де Траверсей, и о своих планах на будущее. Он ждал напрасно. Сын продолжал рассуждать о «Черном кодексе».

Фернану улыбалась мысль привезти Гортензию де Траверсей во Францию и сделать ее своей женой. Но он не рассказывал о ней. Он еще колебался, не знал, как ему быть, и поэтому не хотел принимать никаких скороспелых решений. Именно для того, чтобы взвесить все спокойно и без постороннего влияния, он и вернулся во Францию.

Глава седьмая НОВАЯ ЖИЛЬБЕРТА

Брак Жильберты оказался удачным.

Матье ей нравился, она чувствовала, что он ее любит страстно и сердечно; в атмосфере такой уверенности жилось хорошо. Неприятно было лишь, что он очень уж придирчиво следил за точным выполнением их разнообразных обязанностей при дворе. Зато добросовестно и без малейших возражений выполнял данные ей обещания.

И все же она не так часто бывала с дедушкой, как ей хотелось. Но виноват в этом был не Матье, а мосье Робинэ. Он не менее, чем Жильберта, ценил в Матье искренность и верность; именно поэтому не хотел навязывать ему свое общество.

— Ну, детка, счастлива ты с твоим графом? — иной раз, правда, спрашивал он у внучки.

— Конечно, а почему бы и нет? — отвечала она.

Заметив изменение в ее фигуре, Робинэ спросил, не желает ли она остаться до родов в Латуре? Жильберта знала, как ему хочется быть подле нее, когда придет срок рожать. Но она не могла доставить ему этой радости. Она обещала Матье на время родов оставаться в Сен-Вигоре, вблизи Версаля. По заведенному обычаю, королева потребует, вероятно, чтобы ей сообщили о состоянии ребенка и матери, и пошлет на крестины свою представительницу.

Все шло своим чередом, ребенок родился в Сен-Вигоре, семи фунтов весом, и в первый же день девочке был присвоен титул графини Курсель в одиннадцатом колене, с правом доступа после представления ко двору в спальню королевы.

Маленькую графиню окрестили редким именем Мария-Сидония, традиционным в семье Курселей. Сама королева, по-своему расположенная к жизнерадостной Жильберте, пожаловала на крестины; помимо обычных даров, она преподнесла крохотного пекинского щенка, только что появившегося на свет от ее собственной ручной собачонки. Матье был горд таким знаком особого внимания, да и Жильберта признала, что щенок Понпон очень смешной, он будет презабавно выглядеть у нее на руках, и для ребенка это прелестная игрушка. Но мысль о том, как потешался бы над всем этим Фернан, отравляла ей радость, и собачка уже не нравилась ей.

Курсели находились в Сен-Вигоре, когда стало известно, что Фернан возвращается на родину. Жильберта втайне надеялась, что он посетит ее, и была разочарована, узнав, что он проехал в Эрменонвиль, не заглянув к ней.

Предполагалось, что через три недели она с Матье на короткое время поедут в Латур. Но Жильберта под предлогом, будто бы дедушка соскучился по Марии-Сидонии, заявила, что предпочитает не откладывать поездки и хотела бы отправиться немедленно. Матье возражал, так как срок службы Жильберты при дворе еще не кончился. Она настаивала на своем. Тогда, поклонившись, он ответил, что, если ей угодно, пусть едет с ребенком в Латур; он останется в Версале до истечения срока своих обязанностей. Жильберте только этого и хотелось.

Робинэ знал свою внучку, как собственные пять пальцев; он понимал, почему она приехала на этот раз раньше обещанного. Среди прочих новостей он как бы вскользь упомянул, что вернулся граф Брежи и что молодому человеку следовало бы, пожалуй, несмотря на их давнюю размолвку, нанести им визит. Вскоре, видя что Фернан не является, он вдруг предложил: отчего бы, собственно, не съездить им как-нибудь в Эрменонвиль?

Когда маркиз рассказал сыну, что часто видится с мосье Робинэ, Фернан сделал над собой усилие и не спросил о Жильберте. И позднее, когда отец сообщил, что Жильберта в Латуре, он тоже промолчал, хотя и покраснел. За семь лет пребывания в Америке он так и не научился владеть своим лицом.

Излагая мотивы, побудившие его отправиться в Вест-Индию, Фернан сказал лишь часть всей правды. Философия была только одним из мотивов, Гортензия де Травер-

сей — другим; но был еще и третий мотив, сильнее, чем первые два, он-то и погнал Фернана на Вест-Индские острова: ему хотелось оттянуть возвращение на родину, хотелось испытать Жильберту, заставить ее ждать; если она прождет его достаточно долгий срок, он ее простит, решил он. Но сейчас, услышав, что Жильберта так близко, он вдруг со щемящим сердцем понял: он вел преступную игру и вполне заслуженно проиграл.

Как бы то ни было, прощать он ничего не собирается. Он не поедет к ней после обиды, которую ему нанесли в Латуре.

А потом случилось так, как он опасался, а может быть, и надеялся. Вернувшись однажды с прогулки, он застал гостей, беседовавших с отцом: мосье Робинэ и Жильберту.

Он сразу почувствовал себя мальчиком, время пошло вспять, — никакого Жан-Жака в Эрменонвиле не было, никакой Фернан в Америку не ездил, никакая Жильберта не выходила замуж. В гости приехала Жильберта, которую он видел вчера, и неделю назад, и всю жизнь, приехала со своим дедушкой, как всегда, без предупреждения и прочих формальностей, и они — Жильберта и Фернан — сейчас мигнут друг другу, как всегда, как всю жизнь делали, а потом встанут и оставят стариков одних.

И они встали, оставив стариков одних, и пошли по дорожкам парка.

Возможно, что в комнатах они вели светский разговор о безразличных вещах, возможно, что и сейчас они говорили о пустяках, о безразличном, — они этого не сознавали. Первые слова, осмысленно произнесенные Жильбертой и дошедшие до Фернана, были:

— Что вы со своей ногой сделали, Фернан? Ничего серьезного, надеюсь?

Но в голосе у нее было столько тревоги и нежности, что он почувствовал благодарность к тому англичанину или гессенцу, чья пуля настигла его.

Он был сдержан и молчалив. Говорила больше Жильберта.

— Вы ужасно повзрослели, Фернан, — сказала она. — Разумеется, я представляла себе, что это так, но все же вы меня поразили. — И, помолчав: — Все переменялось, и словно бы ничего не переменялось, — и это опять была просто болтовня, а быть может, в этих словах заключался особый смысл?

— Я бился над множеством вопросов, — заговорил наконец Фернан. Он говорил с трудом, боясь поддаться настроению минуты. В тот раз Жильберта не поняла мучивших его вопросов, она его никогда не понимала и не хотела понимать, и он непременно ей это скажет.

— Зато вы свет увидели, потолкались среди людей, — сказала Жильберта; ему и неприятно было, и в то же время польстило, что Жильберта повторила ему слова, которые он когда-то сказал ей. — Да и приключений у вас было немало, — продолжала она; и никто, вероятно, и она сама, не мог бы определить, сказано это в шутку или всерьез.

— Да, мне пришлось столкнуться со многими поразительными явлениями, — деловито ответил Фернан. — В жизни иные вопросы предстают часто совсем в другом свете, нежели в книгах. — Он сел на своего конька и был счастлив. Заговорил о рабстве — проблеме, для изучения которой отправился в Вест-Индию. Приводил высказывания Франклина и высказывания Вашингтона, Джефферсона, говорил о том, что на французских островах картина совсем не та, что на Американском континенте, там лучше обстоит дело и в то же время хуже, и он говорил о том, что должно быть и что есть. Он увлекся и казался прежним, очень юным Фернаном, он слегка прихрамывал и был чудесным и страшным человеком.

Пока Жильберта находилась рядом, Фернана волновали прежние чувства к ней; но стоило ему остаться наедине с собой, как он снова подпадал под власть разума и философии. Для Жильберты, рассуждал он, прошлое, очевидно, уже не существует, ее радует, что они опять вместе, она безраздельно отдается счастливому мгновению. Ему же такое бездумное счастье недоступно. Не может он забыть и того, что она теперь еще теснее связана с легкомысленными, опасными кругами общества, от которых он бежал. Она и теперь так же мало понимает его и его мир, как и раньше; она не обронила ни единого словечка раскаяния и сожаления о том, что не понимала его. Он из кожи лез вон, стараясь раскрыть перед ней тяжкую проблему рабства, а она не задала ему ни одного вопроса, не выказала никакого интереса. Ему даже казалось, что губы ее кривила едва заметная, жесткая, недобрая усмешка, и чем больше он силился припомнить, была ли в действительности такая усмешка, тем она становилась злее.

Теперь он знает, что делать. Он вернется в Сан-Доминго, и не откладывая. И он уже с удовольствием думал о своей работе на островах, он тосковал по Гортензии. Она стояла перед ним такая, какой он увидел ее в первый раз. Это было на балу у губернатора; она впрорхнула в зал, высокая и тонкая, очень юная; матовая смуглость ее лица оттенялась добела напудренными волосами, девичьи плечи нежно выступали из выреза платья цвета бронзы. То, как она без всякого стеснения очень светлыми глазами смотрела на него и как бы сквозь него, как расспрашивала высоким насмешливым голосом об «его учителя Жан-Жаке», пленило и увлекло его. Конечно, Гортензия, отпрыск старинных родов — французского и кастильского, — была надменна сверх всякой меры. Но выдавались минуты, когда она сердцем понимала его, когда она была его Юлией, и эти драгоценные счастливые минуты в десять раз перевешивали страдания и горькую досаду, которую он порой чувствовал из-за нее. Как будет чудесно, когда он привезет ее во Францию и покажет ей эту прекрасную, хоть и растленную страну, которой все же принадлежит будущее. Он воспитает Гортензию в своем духе и в духе Жан-Жака. Нет, он не будет больше дураком, ему и в голову не придет потерять еще и Гортензию, «испытывая» ее, обрекая на бессмысленное ожидание. Он вернется в Сан-Доминго. Он завтра же, самое позднее послезавтра объявит отцу о своем решении отправиться в Вест-Индию, чтобы привезти свою невесту.

И в Латур он завтра же поедет, чтобы и Жильберте сообщить о своем решении. Его это несколько не пугает. Он откровенно изложит ей свои планы и скажет, что между ними все кончено и прощаются они навеки.

Он поехал не верхом, а в экипаже, облачившись в военный мундир. Не Фернан ехал к Жильберте, а граф Брежи отправлялся с официальным и прощальным визитом к мадам де Курсель. Все это будет, наверно, не слишком приятно; возможно, ему придется полюбоваться ребенком и сказать по его адресу несколько восторженных слов.

Его встретила по-сельски одетая Жильберта, свежая, естественная, обаятельная.

— Надеюсь, Фернан, что мне можно не переодеваться по случаю вашего приезда, — пошутила она, и он показался себе смешным в своем блестящем мундире и при шпаге. Она без умолку тараторила, словно в дни их тес-

нейшей дружбы, и он не понимал, как могло ему прийти в голову, что она изменилась. Ее улыбка вовсе не бессердечная, не злая, это улыбка Новой Элоизы, а он — дурак, ослепленный дурацкими видениями.

Она рассказывала о дружбе дедушки с маркизом. Маркиз все уши прожужжал дедушке, чтобы тот все же перестроил сады Латура в духе Жан-Жака по образцу Эрменонвиля. Но мосье Робинэ решительно отказывался; если уж, говорил он, природа — так настоящая, а если уж парк — так чтобы там были и тис, и бук, и фонтаны, и красивые клумбы: пусть мосье де Жирарден сам наслаждается своей искусственной природой, а ему, Робинэ, она не нужна. Вечно они подтрунивают друг над другом, эти два почтенных старика, но один без другого жить не может. Жильберта рассказывала весело, с юмором и с большой теплотой.

Она не говорила ему ни о Матье, ни о малютке Мари-Сидонии, ни о королеве и собачонке Понпон. И Фернана не расспрашивала об его креолке, о которой, конечно, слышала. И о давнишней размолвке не вспоминала.

Он слушал ее болтовню, но не столько вникал в содержание того, что она говорила, сколько в музыку ее речи. Она сказала вскользь: «Ну разве мосье Робинэ не замечательный человек?» — и смысл этого восклицания он тотчас уловил и понял: в такой мягкой форме она упрекала его за то, что он тогда ее оставил! Можно ли более кротко жаловаться и укорять? Сердце у него сжималось от грусти и радовалось, ибо оно, его сердце, стало мудрее. Не лучше ли и в самом деле было бы для них обоих, если бы он последовал совету мосье Робинэ и дождался формирования французского экспедиционного корпуса?

Все это вздор, конечно. Он, Фернан, правильно тогда поступил.

Но он не мог отделаться от мысли, насколько по-иному все сложилось бы, если бы он проявил тогда больше благоразумия. Жильберта и Гортензия слились в единый образ. Вот он с Жильбертой верхом объезжает свои вест-индские владения, и она изумляется их обширности, бескрайности, задает вопросы, а он объясняет, почему он одно сделал так, а другое иначе, она улыбается одобрительно, нежно и чуть-чуть проницательно над его рвением.

На этот раз, расставаясь, они были очень близки друг другу.

Он не объявил отцу, что уезжает. Вместо этого он написал Гортензии, что некоторые обстоятельства задерживают его пока во Франции; пройдут, вероятно, годы, пока он сможет вернуться на Сан-Доминго. Он написал сердечное, деловитое, очень дружеское письмо, но нежности в нем было мало.

В следующий свой приезд в Латур он застал Жильберту не одну. Приехал Матье.

Жильберта держала себя с Фернаном непринужденно, как с самым дорогим и близким другом; и Матье тоже принимал его, как близкого друга дома. Но Фернан при всем желании не мог преодолеть своей скованности и раздражения. А когда вдобавок ко всему внесли ребенка, маленькую Марию-Сидонию, с собачкой Понпон, Жильберта вдруг представилась ему какой-то совершенно чужой, одной из придворных дам Версаля.

В глубоком замешательстве покинул он Латур. Во сне, что ли, привиделось ему все, что было в прошлый приезд? И опять его больно поразила мысль, как переменчив в его представлении образ одного и того же человека. Жильберта казалась ему то совсем прежней, то новой, иной, и опять другой, и он никак не мог слить воедино эти разные образы.

Он избегал встреч с ней, но предотвратить их не всегда удавалось. Чаще всего он держал себя в ее обществе замкнуто и скованно. А иной раз напряженность рассеивалась, возвращались все ощущения его юности, он забывал о существовании Матье и должен был делать над собой огромное усилие, чтобы вспомнить обо всем том, что встало между ним и Жильбертой.

А она находила, что он такой же, каким был, и хотя сопротивляется ее попыткам восстановить дружбу, все-таки порвал из-за нее со своей креолкой.

Однажды, когда они сидели вдвоем, в комнату вошла маленькая Мария-Сидония. Девочка была одета, как того требовал обычай, по-взрослому: в платье из тяжелой торжественной ткани. Вся повадка ее тоже была кукольно-торжественной и взрослой. Жильберта заметила задумчивый взгляд Фернана, наблюдавшего за ребенком, и сказала, что она бы растила свое дитя шумным и естественным, как росли они с Фернаном, но Матье и дедушка настаивают на воспитании, принятом в высших кругах; они считают, что во времена, когда рушатся устои, это

важно вдвойне. Фернан взглянул на нее, взглянул на ребенка и промолчал. А она увидела в его глазах осуждение, и на лице у нее появилась та самая едва заметная жесткая усмешка.

Глава восьмая

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЖАН-ЖАК

С тех пор как вернулся Фернан, дом маркиза стал таким же радушным и гостеприимным, как в былые времена. Там можно было встретить философов, писателей, представителей передовой аристократии и множество «американцев» — так называли французов, которые в свое время отправились в английские колонии, чтобы драться за дело поборников свободы. Несколько раз приезжал и американский посол Томас Джефферсон.

Разговоры в Эрменонвиле вертелись главным образом вокруг внутренней политики. С государственным бюджетом дело обстояло плохо. Оба привилегированных сословия, аристократия и духовенство, не только освобождались от налогов, но и под видом всяких феодальных поборов перекладывали в свой карман львиную долю государственных доходов. А большинство населения этой богатой страны влачило жалкое, почти нищенское существование. То тут, то там уже вспыхивали беспорядки. Требовалась коренная перестройка, реформа всего государственного строя сверху донизу; назревал переворот.

И свободомыслящие гости мосье де Жирардена считали, что революция неизбежна. Но они полагали, что это будет мирная революция. Повсюду зримы признаки прогресса, говорили они. Просвещенные министры ставят перед собой задачу отмены исключительных прав и преимуществ, которыми пользовались привилегированные сословия; назревают многообещающие благословенные события. У руля революции станут философы, выдающиеся политические деятели, она совершится сверху. Сам король преисполнен доброй воли. Советники-либералы, несомненно, добьются от него провозглашения конституции, устанавливающей равные права для всех.

Фернан во все это не верил. Практический опыт подсказывал ему, что беззубыми декретами и половинчатыми указами не сломить упорное сопротивление готовой на все господствующей верхушки. Благожелательные действия

единичных государственных деятелей мало что могут изменить, ведь вот даже либеральный император Иосиф — и тот не бог весть чего достиг. Существующую в стране феодальную систему надо в корне упитчить, а этого никто не сделает, кроме тех, кто испытывает ее гнет на собственной шкуре и на собственном хозяйстве. Великий переворот может быть совершен только снизу, только массами, народом.

Веками низшие слои принимали свою беспросветную нужду как нечто неизбежное, как порядок, который не может быть изменен. Но вот явился Жан-Жак и показал, что иной порядок вполне возможен. Это дошло до обездоленных, они слышали имя Жан-Жака, смутно знали об его учении. Пока они только просыпаются, протирают глаза, а когда проснутся по-настоящему, они возьмутся за ум и сами сбросят с себя иго. Государство Жан-Жака будет, конечно, построено, но средствами отнюдь не философскими.

Подобные речи Фернана вызывали на лица слушателей изумление, недоумение. Неужели он и впрямь так думает? Неужели он в самом деле считает, что революция непременно должна быть кровавой, как та, которая в прошлом веке потрясла Англию? Нет, в нашей просвещенной Франции подобные явления невозможны. Мы мирно свершим необходимый переворот и введем его в правильное русло.

Как-то в Париже мосье де Жирарден и Фернан были в гостях у мадам де Бово, супруги маршала. Там собралось большое общество: члены академии, придворные кавалеры и дамы, и опять разговор вертелся вокруг того, как много принципов из учения Вольтера и Жан-Жака можно видеть уже в действии. Всюду наблюдается прогресс, грядет эра разума.

— Мы все будем свидетелями этого счастливого переворота, — воскликнул один из гостей.

Среди собравшихся находился пожилой, приятной внешности господин. Звали его мосье Газот. Видный писатель, автор милых рассказов в стихах, мосье Газот был мистиком и считал, что есть люди, которым дано провидеть будущее. К числу подобных провидцев он относил и себя. Некоторое время он молча прислушивался к общему разговору.

— Да, милостивые государи и государыни, — вмешался он наконец в общую беседу, — до вашей великой чудес-

ной революции вы, конечно, доживете, но пережить вам ее не придется. Большинство из вас падет ее жертвами, и самым роковым образом.

Это вызвало смех.

— Какой вздор. Ведь все будет подчинено философии и разуму.

— Вот как раз именем философии и на алтари разума вас-то и будут приносить в жертву, — ответил он и с ледяными душой подробностями принялся описывать гибель то одного, то другого из гостей.

— Да разве во Франции придут к власти какие-нибудь турки или татары? — спрашивали его.

— Отнюдь, — отвечал мосье Газот. — У власти станут философы. Судьи, вынося вам приговоры, будут пользоваться теми же формулами, которыми вы вот уже целый час сотрясаете здесь воздух. С цитатами из Вольтера, Дидро и Руссо вас будут посылать на смерть.

— Однако хватит этих зловещих шуток, — решительно сказала супруга маршала.

— Еще только один вопрос, разрешите? — попросил кто-то из гостей у хозяйки дома и, повернувшись к мосье Газоту, спросил: — А какова будет ваша судьба, господин пророк.

— Все вы, вероятно, читали Иосифа Флавия и, бесспорно, помните то место, в котором рассказывается, как во время осады Иерусалима какой-то человек только и делал, что ходил по валу и целыми днями стенал: «О, горе Иерусалиму! О, горе мне!» Выстрел одного из осаждавших прикончил его.

Мосье Газот откланялся и покинул общество.

Пророчества Газота служили в Париже и в Версале темой бесконечных разговоров, над ними много смеялись. Фернану не было смешно. Слепы все его друзья, что ли? Он, разумеется, не верит ни в пророчества, ни в прочую чертовщину; как и друзья его, он чужд суеверий и всякой иной мистики. Но речи Газота неприятно поразили его, так же как и остальных: они шли не только от веры провозвестника в свой дар ясновидения. Мосье Газот глубоко изучил положение в стране, и это определяло его мироощущение. Его слова должны были бы заставить слушателей хоть разок поразмыслить, не ошибаются ли они в своих рассуждениях. Друзья Фернана очень умны, слов нет, они знакомы с трудами философов и историков, древ-

них и современных, они умеют необычайно красноречиво и убедительно защищать свои доводы. Но замечают ли они то, что происходит рядом с ними? Они, быть может, умеют видеть глубокую взаимосвязь явлений, но не видят людей, непосредственно их окружающих, обездоленных, угнетенных — тех, кто начал шевелить мозгами и уж засучивает рукава, собираясь действовать.

Фернан не верил, а знал: то, что грядет, нельзя будет ввести в намеченное русло, как искусственные ручейки в Эрменонвиле. Грядет наводнение, которое увлечет в пучину немало жизней, в том числе, быть может, и его, Фернана, жизнь. Но он с радостью готов принять великий переворот, во что бы тот ни вылился, и всей душой готов способствовать его приближению.

Нет никакого смысла обсуждать учение Жан-Жака с просвещенными людьми, они и сами его знают. Важно другое — популяризировать принципы этого учения, сделать их доступными народу, чтобы народ руководствовался ими в своих действиях.

Но для этого надо самому проникнуться духом народа. Нужно слиться с массой воедино. Он, Фернан, никогда не чувствовал себя своим среди народа. Вспоминая тяжкие годы пребывания в военном училище, он теперь понимал, что именно восстанавливало против него товарищей и учителей. В нем, вопреки всему, было в ту пору еще очень много врожденного аристократического высокомерия. И как ни старался он просто держать себя в среде деревенских мальчишек, какие усилия ни делал, чтобы стать с ними на равную ногу, для них он всегда оставался графом Брежи, их будущим сеньором. Никогда он и Мартин Катру не понимали друг друга до конца.

Только в Америке, в армии, было по-иному. В суровой обстановке боевых походов, в сражениях, когда повсюду подстерегала опасность, там у него установились подлинные товарищеские отношения с окружающими.

Особенно остро он испытал чувство, что он посторонний в родных местах, в дни, когда Иль-де-Франс постигло наводнение. Смирная речушка Нонет превратилась в бурный поток, сады Эрменонвиля залило полыми водами, на всех землях маркиза вода угрожала урожаю крестьян и арендаторов. Маркиз лично распоряжался, командовал, не разрешал себе ни часа сна, помогал крестьянам людьми, инструментом, деньгами. Фернан с изумлением наблю-

дал, что это ни в ком не вызывает ни малейшей признательности. Крестьяне не желали видеть, что отец, можно сказать, все силы напрягает для их блага. Недоверие их не рассеялось, сеньор и его сын оставались для них чужими.

Ах, если бы удалось сломить стену, стоящую между ним, Фернаном, и народом! Ему хотелось войти в непосредственное соприкосновение с людьми из народа, дружить с ними, ссориться, мириться.

Он знал народ по книгам, по разговорам, ни к чему не обязывающим, по моментам общей опасности, по неясным ощущениям. Но, в сущности, он народа не знал. Люди из народа всегда не так реагировали на вещи, как он предполагал. Братство! Он должен сравняться с ними, стать таким, как они, если он действительно хочет быть их братом.

Но прежде всего надо поближе узнать их.

Обстоятельства складывались благоприятно: власти города Санлиса искали кандидата на пост советника. Обязанности советника входило не только представлять интересы города в многочисленных переговорах с вышестоящими инстанциями, но и консультировать горожан и крестьян, жителей ближайшей округи. Фернан предложил свою кандидатуру.

Маркиз осторожно выразил предположение, что, быть может, правильное было бы поступить на службу в министерство финансов или в военное министерство, это открыло бы перед Фернаном верный путь к быстрой и блестящей карьере. Но Фернан не внял совету отца, и тот не настаивал на своем. Наоборот, сделал вид, что понимает мотивы сына. Перед друзьями он хвалил сына, говорил, что Фернан выказал себя истинным учеником Жан-Жака: он стремится быть ближе к народу и поэтому предпочел скромные дела маленького славного городка Санлиса блестящим придворным постам.

Фернан настолько добросовестно отнесся к своему новому назначению, что даже переехал в Санлис. Он мог бы там поселиться в одном из пустующих дворянских особняков, но предпочел скромный сельский домик на городской окраине.

Городские сановники — епископ, председатель окружного суда, мэр — чувствовали себя польщенными, что могут причислить к своим согражданам будущего эрменон-

вильского сеньора. Местные столпы умственной жизни — историограф, поэт, публицист — рассчитывали привлечь Фернана в свой круг. Но добровольно выбранный пост отнимал у него все время. Он встречался только с мелкими ремесленниками, крестьянами, лавочниками, писцами, нуждавшимися в его советах. Он старался помочь им не только в защите их прав, но и в их повседневных заботах. Он смиренно и упорно добивался дружбы мелкого люда.

Так случилось, что в Санлисе он встретился с другом детства Марином Катру.

В Париже Мартин многому обучился у мэтра Бувье. Диплома адвоката он, конечно, получить не смог — оказалось, что по возрасту ему уже поздно начинать долголетнее учение, и он стал, по сути дела, весьма сведущим письмоводителем с некоторым опытом в судебных делах. Но знание произведений Жан-Жака позволяло ему облекать свои аргументы в форму изречений самой действенной философии, и он добивался успеха там, где дипломированные адвокаты пасовали.

Вскоре о нем пошла слава, что он помогает беднякам добиваться правды в борьбе с несправедливыми законами.

Он приводил свои доводы в резком, независимом тоне, высоким, пронзительным голосом. Его крутая прямолинейность, упорство, с которым он, полагаясь на силу своих доказательств, не шел ни на какие уступки, создали ему друзей и поклонников.

Среди них была и некая Жанна Мопти. Отец Жанны, коренной житель Парижа, человек поровистый, завел тяжбу с каким-то вельможей, был осужден и умер в тюрьме. Жанна была хоть и некрасивая, но дельная и умная девушка. Судьба отца привела ее к философии. В Мартине она увидела человека, который не только говорит о философии Жан-Жака, но и живет ей. Жанна стала почитательницей и ученицей Мартина. Фанатическая вера придавала ей обаяние. Мартин женился на ней.

Жанна спасла немного денег из разоренного состояния отца. Мартин мог себе позволить за малую мзду или вовсе безвозмездно защищать права угнетенных в их спорах с привилегированными.

Некий мосье Вийяр, житель города Санлиса, которого Мартин с успехом защитил, настойчиво убеждал его переехать в Санлис. Мартин не возражал. Его привлекала

мысль работать в этом маленьком, родном ему городе, где его так долго не признавали и третировали как бедняка. В короткое время он и здесь приобрел друзей, пользовавшихся всеобщим уважением. Его выбрали в городское самоуправление.

Там-то, стало быть, в ратуше города Санлиса, Фернан и встретился с другом детства Мартином Катру.

Фернан, разумеется, представлял себе, что за время их разлуки Мартин, вероятно, изменился. И все же он был поражен, увидев перед собой взрослого, широкоплечего, уверенного, многоопытного, словно заполнившего собой всю комнату, Мартина. И сразу почувствовал себя подростком. Он уставился на Мартина и глупо спросил:

— Это ты, Мартин?

— Полагаю, что я, — ответил Мартин. Ухмыляясь, оглядывал он Фернана черными, умными, насмешливыми глазами. Он смотрел в его смелое лицо с глубокой складкой над переносицей, видел, как Фернан смущен.

Оба были искренне обрадованы встречей, но оба сразу насторожились. С первой минуты были восстановлены старые отношения, старая дружба-вражда.

И Фернан тем временем пристально разглядывал Мартина. Тот по-прежнему одевался с подчеркнутой небрежностью. Еще ниже падали волосы на широкий, заросший лоб. В самом облике этого человека было что-то запальчивое, бунтарское.

— Странно, в сущности, что мы до сих пор ни разу не встретились с тобой, — с несколько натянутым оживлением произнес Фернан.

— Вы полагаете, граф Брежи? — ответил Мартин своим высоким, пронзительным голосом.

— Зачем ты так, Мартин, — дружески упрекнул его Фернан. — Почему ты не говоришь мне «ты»?

Он шагнул к нему. Мартин увидел, что Фернан слегка хромает.

— Знаю, знаю. За это время ты снискал себе славу, добывая права для нас, мелкого люда.

Однако сквозь пронию этих слов прозвучала теплота.

— Зайди ко мне непременно, — попросил Фернан. — Мы столько должны рассказать друг другу. Приходи сегодня же, к ужину.

— А могу я пригласить тебя к себе? — встречным приглашением ответил Мартин. — Моя жена будет, несо-

мненно, рада. И мать, конечно, с удовольствием повидает тебя.

Фернан, слышавший о тяжбе отца с вдовой Катру, на мгновение заколебался, но тотчас же сказал:

— Разумеется. Я приду, если тебе это приятнее.

— Хорошо, — заключил Мартин. — В таком случае сегодня вечером я у тебя.

Когда Фернан был в Америке, Мартин с жадностью ловил все, что о нем где-либо рассказывали, и радовался, если его хвалили. Но с тех пор как Фернан вернулся во Францию, вся его деятельность раздражала Мартина. Она доказывала, что в Америке он нисколько не поумнел, а уж то, что он тут, в Савлисе, затеял, было сплошным дилетантством и ремесленничеством, чистейшим кривлянием. Но что поделаешь? Фернан родился аристократом; ему, Мартину, легче быть умным, он должен многое прощать другу своей юности. Направляясь к Фернану, Мартин дал себе слово, что сегодня он воздержится от каких бы то ни было колких замечаний.

Сначала все шло хорошо. Но потом Фернан заговорил о тяжбах бедняков, об их домашних делах, говорил тепло, так, словно он сам один из этих бедняков. Это взорвало Мартина. Побывал человек в Америке, а до сих пор еще не понял, что с мелким людом у него столько же общего, сколько у коровы с академией. Дедушка Поль и папаша Мишель, за которых он так распинается, считают на су, а он, Фернан, — на луйдоры. Уж если ты рожден аристократом, так не лезь, пожалуйста, к народу.

— У тебя здесь очень уютно, — сказал Мартин, — и совсем скромно. Откровенно говоря, меня удивило, что ты не поселился во дворце Левй, — с ехидцей добавил он.

Это был родовой дворец стариннейшей фамилии герцогов Леви, а Леви и Жиардены состояли в дружбе.

— А на что он мне сдался, этот дворец Леви? — ответил Фернан, которого вопрос Мартина скорее позабавил, чем уязвил.

— А как же? Одна часовня там чего стоит. Ежедневно созерцать ее — сколько приятных эмоций для аристократа!

В этой часовне над алтарем висела картина, написанная в тринадцатом столетии. На ней был изображен тогдашний владелец замка, ведший свой род от Леви, третьего сына патриарха Иакова; сеньор де Леви стоял на

коленях перед святой девой, а она, как гласила разъяснительная надпись на ленте, ласково приглашала его: *Couvrez-vous, mon cousin*¹.

Фернан добродушно рассмеялся.

— Я в добрых отношениях с Гастоном де Леви, — ответил он. — Уверю тебя, что он смеется над этой картиной так же, как мы с тобой. — И уже с серьезным лицом, обняв Мартина за плечи, он с мягким укором продолжал: — Зачем ты городишь весь этот ненужный вздор? Почему ты всегда начинаешь с подковырки? Что я тебе сделал?

— Ничего, кроме хорошего, — издевался Мартин, стараясь придать своему пронзительному голосу спокойное звучание, но на лбу у него выступили красные пятна. — Ничего, кроме хорошего, вы мне не сделали. Вы были очень милостивы ко мне. Сначала твой уважаемый батюшка показал моей матери свою власть хозяина, но зато потом был так человеколюбив и милостив, что послал меня учиться в Париж. Если я сейчас что-нибудь представляю собой, то у сеньора есть все основания заслугу в том приписать себе. Он осыпает нас милостями, наш сеньор, и мне тоже кое-что от них перепадает. Я не желаю никаких милостей, — вдруг пронзительно выкрикнул Мартин. — Я хочу получить свое право, свое, природой данное мне право, о котором столько толкует ваш Жан-Жак.

Фернан молчал.

— Впрочем, это не ваш Жан-Жак, — не унимался Мартин. — Он не имеет ничего общего с вашими милостями. Он встал на защиту нашего права. Жан-Жак наш.

Теперь покраснел и Фернан. Он бы с удовольствием бросился на Мартина с кулаками, как в былые дни. Но он не хотел горячиться и поступать, как отец, отнявший лавочку у вдовы Катру.

— А тебе никогда не приходило в голову, что ты чванлишься своей принадлежностью к народу гораздо больше, чем наш брат чванится своим знатным происхождением? — спросил он спокойно.

Мартин пропустил его слова мимо ушей.

— Я считал Жан-Жака юродивым, — признался он. — Я смеялся над ним. И когда я вспоминаю, как он, точно святой Франциск, бредил по Эрменонвиллю, меня и сейчас еще разбирает смех. «Новая Элоиза» — *дрянь*. Эту книгу

¹ Покройтесь, мой кузен (*франц.*).

Жан-Жака вместе с его «природой» можете даром взять себе, господа Жирардены, и тот Жан-Жак, который их создал,— это ваш Жан-Жак. Но его трактат о неравенстве и его «Общественный договор» — в них вы ни черта не смыслите, сколько бы вы ни декламировали по этому поводу. Этого Жан-Жака поймет лишь тот, кто рожден в бесправии. И потому-то, мой милый, потому-то он *наш* Жан-Жак.

Мартин досадовал на себя. Он, бесспорно, прав, и так же, как ему чужда чувствительная мечтательность «Новой Элоизы», Фернану не понять суровых истин «Общественного договора», потому что Фернан всю жизнь был сыт, а он, Мартин, всю жизнь голодал. Но этого Фернану все равно никогда не втолковать, и, стало быть, не следовало пускаться в спор.

— Расскажи-ка об Америке,— предложил он, чтобы переменить тему.— Говорят, весь боевой дух там выдохся, а привилегии только называются по-иному. Расскажи, пожалуйста.

Фернан охотно согласился.

— К тому, что произошло в Америке, нельзя подходить с европейской меркой,— начал он.— Там не было ни Парижа, ни вообще каких-либо крупных городов, не было и владетельных сеньоров; людям приходилось вступать в борьбу лишь со стихийными явлениями природы и с индейцами. Во всяком случае, в первые годы те, кто серьезно желал революции, были в меньшинстве, а среди привилегированных насчитывалось меньше передовых людей, чем здесь. Тем выше следует оценить победу революции. А то, что чистота возвышенных чувств не удержалась на высоте, что в людях вновь зашевелились корысть и мелкая зависть,— это присуще человеку, это естественно.

— Ты, значит, разочарован? — деловито подытожил Мартин.

С минуту Фернан колебался. Потом сказал:

— Там очень многого достигли. И все это — великий пример.

Расстались они, власть наговорившись и с удовольствием думая о следующей встрече.

Но сколько бы они ни зарекались проявлять друг к другу терпимость, они вечно спорили — и о делах города Санлиса, и о делах тех или иных горожан, и оба пускали в ход немало слов, чтобы уязвить друг друга.

Внешне они оставались друзьями, но жители Санлиса чувствовали их постоянную внутреннюю распрю. Приверженцы Мартина питали недоверие к Фернану, приверженцы Фернана питали недоверие к Мартину.

Фернан скромно и неумолимо занимался делами бедняков. Он с полным правом мог сказать, что многие видели в нем не самодура-покровителя, а честного друга. Но слова Мартина о Жан-Жаке не выходили у него из головы, в них было зернышко, в них было даже целое зерно правды. Какая-то доля философии Жан-Жака оставалась для него, Фернана, под замком, она принадлежала «другим», народу.

Глава девятая НУЖДЫ ГОРОДА САНЛИСА

По стране прокатилось мощное движение: объявлено было о созыве Генеральных Штатов, не собиравшихся на протяжении последних ста семидесяти пяти лет. Финансовые затруднения правительства достигли таких пределов, что оно не решалось принимать новый бюджет без одобрения народа.

Генеральные Штаты составлялись из депутатов от обоих привилегированных сословий, дворянства и духовенства, а также от третьего, непривилегированного — буржуазии. Третьему сословию было предоставлено право послать представительство, численно равное представительствам обоих привилегированных сословий, вместе взятых. Это было очень важное прогрессивное новшество. Помимо этого, избирательным правом пользовался каждый француз, достигший двадцати пяти лет и платящий налоги. Впервые с тех пор, как Римская республика вынуждена была уступить место цезарям, впервые за последние две тысячи лет, народ, да еще величайший из европейских народов, был призван решать и определять, как вести хозяйство в стране.

Бурные надежды всколыхнули страну.

Общинам предоставлялось право давать своим депутатам указы, поручения, списки пожеланий и жалоб. Составление наказа от Санлиса магистрат поручил графу Фернану Брежи и сьеру Мартину Катру.

Фернан и Мартин начали с ожесточенного спора. Фернан, опираясь на приобретенный им в Санлисе опыт, по-

лагал, что самое важное — ясно и четко перечислить отдельные нужды. Он хотел выставить требования, сформулированные в самых резких выражениях: об устройстве плотины на реке Нонет, об отмене некоторых дорожных законов и пошлин, а главное — об ограничении прав охоты, которыми пользовались члены королевской фамилии.

Мартин усмехнулся: ему известно было о вечной грызне Жиранденов с королевской егермейстерской канцелярией относительно права охоты принца де Конде.

Мартин не возлагал больших надежд на столь пышно объявленный созыв Генеральных Штатов. Он полагал, что у народных представителей ценой уступок в незначительных, второстепенных вопросах исторгнут согласие на новые обременительные налоги, а затем разгонят всех по домам. Все вместе выльется в этакий торжественный фарс, после которого оба привилегированных сословия, как и прежде, тяжелым грузом повиснут на шее у третьего сословия. Но именно поэтому нельзя останавливаться на мелочах, а нужно требовать самого существенного — отделения исполнительной власти от законодательной, ответственности министров перед народом, короче говоря — ограничительной конституции. Уж поскольку представлялась возможность выступить перед страной и перед всем миром — все, даже самые маленькие общины, должны ставить во главу угла это основное требование.

После долгих пререканий Мартин и Фернан согласились на том, чтобы на первый план выдвинуть требование конституции, но затем изложить в сильных обличительных выражениях требования об устранении отдельных неурядиц.

Городские советники Санлиса чрезвычайно уважительно отозвались о логичности и убедительности наказа. Не встретила возражений и резкая форма требования конституции. Но воинственные интонации в описании злоупотреблений королевской егермейстерской канцелярии смутили господ советников; тут они почесали в затылках. Такой язык, наверное, не понравится принцу де Конде, и в отместку он изведет Санлис всяческими придирками, а может, даже карательными мерами. Фернан, однако, настоял на своем тексте, и Мартин, этот добрый друг, поддерживал его.

В конце концов городские советники потребовали, чтобы оба составителя лично подписались под меморанду-

мом в качестве авторов, и несколько успокоились, увидев под документом подпись будущего эрменонвильского сеньора.

Церемония открытия Генеральных Штатов была обставлена с необычайной пышностью. Стоял погожий майский день, и тысячи парижан приехали в Версаль поглядеть на историческое зрелище. Двор и тысяча двести депутатов, вытянувшись в процессию, проследовали через весь празднично убранный город в церковь св. Людовика, на богослужение. Реакционные дворцовые чиновники придумали мелкую каверзу с целью подчеркнуть дистанцию между привилегированными сословиями и буржуазией: депутаты получили предписание явиться в старинных сословных одеяниях, как это имело место на последнем созыве Генеральных Штатов сто семьдесят пять лет назад. И вот рядом с представителями дворянства и духовенства, облаченными в сверкающие золотым шитьем старинные костюмы из шелка и парчи, шагали буржуа в самых скромных нарядах, в черных плащах. Но среди избранных в Штаты представителей высшей знати можно было увидеть всем известных либералов, да и «американцев» — таких, как Лафайет и кое-кто из его друзей, а среди депутатов третьего сословия попадались аристократы, как, например, граф Мирабо. Согласившись выступить избранныками простого народа, они тем самым открыто выражали свою оппозицию двору.

Зрители с радостью смотрели на это сближение сословий, воспринимая его как знак великого единения нации. Надежда, вера в будущее витали над Версалем в этот чудесный весенний день; ведь сам король, а с ним и архиепископ Парижа, несший святые дары, шли в общей процессии, как бы освящая предстоящее преобразование государства сверху донизу.

Грудь мосье де Жирардена ширилась от ликования и гордости. Исполнилось то, на что он всегда надеялся, что предсказывал: не ожесточенный и страшный взрыв возмущения черни приблизил новые времена. Нет, французские дворяне, такие же, как он, представители знати, претворяют в жизнь учение Жан-Жака.

А Фернан негодовал, глядя, как правящая верхушка, пачиная с предписания формы одежды, всеми способами старается напомнить депутатам буржуазии об их ничтожестве. У него не выходили из головы скептические речи

Мартина, доказывавшего, что привилегированные сословия стремятся всеми правдами и неправдами отнять у народа его права. Ему стыдно было за свой роскошный костюм, и он мрачно смотрел на Жильберту, следовавшую в свите королевы, в негнущемся от множества драгоценностей туалете придворной дамы, пеструю, как цветочная клумба.

Однако, чувствуя, что величественное зрелище единения покоряет недоверчивых парижан и волнует даже надменных аристократов, Фернан мало-помалу поддался общему восторженному настроению. А когда в церкви прогрессивный епископ Нансийский произнес свою торжественную речь, он уже твердо поверил в наступление новых времен. Епископ в присутствии короля обличал существующий строй, указывал на вопиющую нищету народа, приводил слова пророка: «Ты создашь новые народы — и лик земли преобразится». И все высокое собрание впервые в истории Франции аплодировало и ликовало в священных стенах храма, рядом со святыми дарами и королевским венцом.

События ближайшей недели как будто подтверждали правоту Фернана, опровергая недоверие MARTINA. Когда привилегированные сословия попытались при помощи юридических уловок заткнуть рот депутатам буржуазии, те оказали сопротивление; а когда король призвал их разойтись, они связали себя торжественной клятвой не подчиняться призыву и объявили себя Национальным собранием. Двору и обоим привилегированным сословиям ничего другого не оставалось, как подчиниться.

Фернан ликовал.

Но вскоре ему на собственном опыте пришлось убедиться, что противник чувствует себя еще очень сильным.

Когда зачитывались наказания с прошениями и жалобами общин, дерзкий угрожающий тон, в котором город Санлис протестовал против «злоупотреблений егерей принца де Конде», взорвал принца. Увидев под документом подпись этого неприятного молодого Жирардена, он еще больше разгневался. Играя в карты со своим кузеном, королем, он рассказал ему об этой наглости. Людовик также возмутился. Молодой Жирарден не в первый раз заставляет его хмуриться. Этот юнец, не смущаясь, повторяет за разнузданным вольнодумцем Жан-Жаком его бунтарское

учение; едва надев длинные штаны, он сбежал от отца и сделался «американцем». А теперь, изволите ли видеть, подписывает бессовестную записку мятежных буржуа, быть может, даже является ее автором! Это уж предательство по отношению к собственной касте, это значит — мараить собственное гнездо. Людовик, сам страстный охотник, рассуждал так: куда это приведет, если наряду с ограничением столь многих привилегий короны он допустит еще и ограничение права охоты? Он предоставит этому молодому человеку возможность некоторое время поразмыслить над своей дерзостью. Он выдаст ордер, скрепленный королевской подписью и печатью, на арест бунтаря и его заключение в Бастилию.

Два дня спустя в Эрменонвиль приехал мосье Робинэ с Жильбертой и Матье. Старик у которого повсюду была своя агентура, сообщил Жирарденам, что король по настоянию Конде издал приказ об аресте Фернана. В распоряжении Фернана имеется несколько часов, он должен немедленно скрыться куда-либо в безопасное место.

Перед мысленным взором Фернана возникло серое и мрачное здание Бастилии, с его толстыми стенами и башнями. Фернана никогда не пугали никакие опасности и невзгоды, но полное обреченности пребывание в глухих казематах, самый воздух которых с незапамятных времен пропитан страданиями, все-таки внушало страх. Он представил себе и Мартина, как тот, узнав о случившемся, посочувствует и все-таки посмеется над ним.

Все молчали, смотрели на Фернана, ждали.

Маркиз был потрясен. С каким наслаждением он велел бы заложить лошадей и сам отвез бы сына за границу. Но он знал своеволие Фернана, знал, что никакие просьбы и самые добрые советы не помогут. Он заставил себя молчать.

Зато снова заговорил мосье Робинэ.

— Разрешите мне, старику, дать вам совет, — сказал он. — Возьмите вашу лучшую лошадь и скачите отсюда прочь. Вы никому не поможете, если останетесь, только себе повредите. Еще много воды утечет, раньше чем свобода восторжествует, а дожидаться этого в Бастилии — радости мало.

Фернан вспомнил, как Робинэ однажды уже давал ему совет. Он был тогда прав и все же неправ. Так и теперь.

— На вашем месте я не пренебрег бы советом мосье

Робинз,— ко всеобщему удивлению, сказал и Матье. Видно было, каких усилий ему стоило произнести эти несколько слов; дело было, несомненно, нешуточное, если смелый и столь щепетильный в вопросах чести граф Курсель советовал бежать.

Жильберта ни слова не сказала, она только смотрела на Фернана, не отводя глаз. Он знал: она сочла бы глупостью, если бы он остался, но она, конечно, была бы разочарована, если бы он бежал. И так же точно отнесется к этому Мартин. Мартин поднимет его на смех, если он останется, и еще больше — если уедет. А разве Мартину не угрожает такая же опасность? Очень возможно, что он уже скачет куда-нибудь, где можно укрыться. Но все-таки он ухмыльнется и скажет: «Что позволено Мартину Катру, того нельзя графу Брежи».

Фернан поблагодарил друзей за их участие и сказал, что подумает.

Через час к нему прибежал возбужденный и напуганный мосье Гербер. Несколько раз он начинал говорить и беспомощно обрывал себя, наконец сказал: он знает, что его дорогой ученик Фернан всегда прислушивается только к голосу собственного сердца. Но он, Гербер, хотел бы лишь обратить внимание Фернана на то, что Жан-Жак, несомненно, посоветовал бы ему укрыться от произвола властей. Жан-Жак не раз бывал в таком же положении, как Фернан, и он считал, что уж лучше претерпеть муки бегства и изгнания, но только не насилие. Фернан от всего сердца пожал руку своему наставнику; всегда такой красноречивый, мосье Гербер говорил запинаясь и не находил слов.

Фернан остался в Эрменонвиле, ожидая появления жандармов с ордером на арест.

Глава десятая

ЖАНЫ И ЖАКИ

Ордер на арест Фернана де Жирардена от 10 июля был последним тайным указом такого рода, подписанным королем Людовиком и скрепленным его печатью. И указ этот не был выполнен. Бастилию, куда, согласно ордеру, должны были заключить Фернана, 14 июля взял штурмом народ города Парижа.

Какое неопишемое ликование! Вся страна ликovala, ликовал весь мир.

Жиранден пришел на могилу своего Жан-Жака. Тихо, страдая от избытка чувств, он возвестил Жан-Жаку о великом событии: «Ты победил, Жан-Жак! Оплот тирании пал. Всеобщая воля, твоя *Volonté générale* разорвала тысячелетние цепи. Народ взял свою судьбу в собственные руки так, как ты учил и предсказывал, мой друг и учитель».

Братья короля, принц де Конде, реакционная часть аристократии, многочисленные прелаты, консервативные министры бежали за границу.

«Тебе, господи, хвалу воздаем!» — пели в соборе Парижской богородицы. К белому цвету королевской лилии, старому флагу страны, присоединили, по предложению Лафайета, синий и красный цвета города Парижа, и сине-бело-красная кокарда стала знаменем новой, прогрессивной Франции. Королю пришлось уступить настойчивому требованию народа переехать из Версальского дворца в столицу и, украсив свою шляпу трехцветной кокардой, показаться на балконе ратуши ликующим парижанам.

Всю страну обуревало единое мощное чувство; единый мощный порыв, рожденный идеями Жан-Жака, сплотил ее.

В городе Санлисе факельное шествие подошло к дому Фернана, для которого освобождение страны означало и личное освобождение, и, вобрав его в свои ряды, двинулось дальше. Второе факельное шествие подошло к дому Мартина и вместе с Мартином двинулось дальше. На площади перед собором была воздвигнута небольшая трибуна. Там певец города, его поэт мосье Мийе, обратился с речью к Фернану.

— О ты, отпрыск стариннейшей аристократической фамилии! Ты связал себя с народом и принес ему свое сердце и свое достоинство, — воскликнул он и, протягивая Фернану трехцветную кокарду, продолжал: — Ученик и друг Жан-Жака, всем известны твоя добродетель и твоя любовь к отечеству. Ты достоин этой кокарды. Носи ее!

Затем подняли на трибуну Мартина, чествовали и его, и под овации народа Мартин и Фернан обнялись.

События обгоняли одно другое. Национальное собрание торжественно провозгласило Декларацию прав человека и гражданина фундаментом новой Франции. Феодалный

строй был свергнут. Монастыри упразднены, церковная собственность передана светским властям. Национальная гвардия, возникшая накануне штурма Бастилии, была преобразована в регулярную армию; командование взял на себя Лафайет. Короля принудили навсегда покинуть Версальский дворец и перенести свою резиденцию в Париж, куда он и переехал вместе с семьей.

Вся страна была охвачена подъемом, верой в светлое будущее; не были забыты и духовные отцы революции. Если энциклопедисты считали Вольтера крестным отцом нынешних событий, то народ почитал Жан-Жака. Из миллионов людей, провозгласивших Жан-Жака своим святым покровителем, подавляющее большинство не прочитало ни единой строчки из его книг; но умы волновали его великие лозунги и простая увлекательная легенда его жизни и его творчества.

Началось новое паломничество в Эрменонвиль. Снова появился здесь тот самый студент из Арраса, ныне уже не безвестный, Максимилиан Робеспьер. Блестяще закончив курс обучения, он поселился в родном городе, где прославился политическими и литературными трудами; город выбрал его в свою академию, а провинция Артуа послала своим депутатом в Национальное собрание. И вот он стоит у могилы Жан-Жака, высокочтимого и боготворимого учителя, и душа его не вмещает напора огромного чувства: «Я хочу, я обещаю претворить в жизнь провозглашенные тобой принципы. Все до единого, — клянется он про себя, — все до единого».

Прибыл в Эрменонвиль на могилу Жан-Жака и барон Гримм. Маркиз не мог отказать себе в удовольствии дружески поддеть его. Как, мол, мосье де Гримм и энциклопедисты высмеивали труды Жан-Жака, называли их путанными и безрассудными, а между тем эти «безрассудные труды» вызвали к жизни такое мощное движение, о котором ни один философ и не мечтал даже.

— Не я тот человек, который вздумал бы оспаривать исторические заслуги нашего покойного друга, — ответил мосье де Гримм. — Но, быть может, именно непоследовательность его принципов и привлекает к нему человеческие сердца? Его несвязное изображение слабостей и противоречий современного нам общества как раз и действует на умы; тяжелые на подъем массы легче привести в движение, если обращаются к их чувству, а не к разуму.

Я надеюсь лишь,— серьезно и запальчиво сказал он в заключение,— что о Вольтере своевременно вспомнят. Только следование Вольтеру может предотвратить разгул страстей, способный обратить свободу, которую имеет в виду Жан-Жак, в анархию.

Казалось, что депутаты Национального собрания разделяли взгляды мосье де Гримма. Национальное собрание приняло решение перенести останки великого Вольтера, которому тринадцать лет назад старый режим отказал в погребении в Париже, из отдаленного уголка страны, где они были похоронены, в Пантеон — храм вечной славы.

Жиранден услышал об этом решении с двойственным чувством. Разумеется, отрадно, что оскорбление, нанесенное умершему Вольтеру, ныне искупается, но он, Жиранден, не мог допустить, чтобы чествование памяти Вольтера затмило славу его Жан-Жака. Он приобрел гранитные плиты из руин Бастилии и затем заказал высечь на одной из них рельефное изображение учителя, под ним слова: «Создатель освобожденной. Франции», и подарил барельеф Национальному собранию. Он был доволен, что изображение Жан-Жака установили над ораторской трибуной, на самом почетном месте зала заседаний.

А вообще кислые предостережения мосье де Гримма нисколько не повлияли на гордое ликование Жирандена. От всей души признал он власть Свободы и Равенства. Его не огорчила потеря дорогих сердцу прав. Собственноручно вычеркнул он из дворянских реестров свой титул и звание, когда институт дворянства был упразднен, и попросил разрешения заодно уж отказаться от своих аристократических имен Рене-Луи, заменив их именем Эмиль, по названию революционного педагогического романа своего великого друга.

Таким образом, отныне уже не маркиз Рене-Луи, а гражданин Эмиль Жиранден, сопровождаемый управляющим и садовниками, совершал обход своего парка, и не эрменонвильский сеньор, а гражданин Жиранден, помещик и землевладелец, давал советы гражданам арендаторам. Правда, эти советы нередко еще смахивали на команды, иной раз подкрепляемые властным жестом руки, вооруженной длинной, гибкой тростью.

Впрочем, Жиранден мало времени проводил теперь в Эрменонвиле, он часто уезжал в Париж. Там, в своем городском доме, он собирал друзей. Бывал на многих собра-

ниях крупных политических клубов. Чаще всего его можно было увидеть на улице Оноре, где в старой доминиканской церкви заседал один из таких клубов — клуб якобинцев, как его называли в обиходе.

По предложению Жирардена, во дворе дома, где помещался клуб, посадили Древо Свободы — один из тополей с могилы Жан-Жака в Эрменонвиле.

Якобинский клуб стал вскоре наиболее влиятельным политическим обществом города Парижа, и здесь Жирарден излагал новым государственным деятелям принципы Жан-Жакова учения в том толковании, которое ему привелось слышать из собственных уст учителя. Вытянувшись по-солдатски, стоял он на трибуне, а за ним был бюст Жан-Жака и трехцветное знамя. Он говорил с непререкаемым авторитетом: он был представитель Жан-Жака, *praeseptor Galliae*¹.

Помимо множества произнесенных им более или менее коротких речей, он выступил с двумя большими речами. Первая была посвящена реорганизации армии. Он дал себе труд разыскать высказывания Жан-Жака, подкрепляющие его, Жирардена, профессионально-военные соображения, и речь действительно получилась достойная — речь специалиста, философа и революционера. Так ее и оценили якобинцы. Они горячо аплодировали. Больше того: решено было разослать текст речи для дальнейшего распространения по всем департаментам, муниципалитетам и патриотическим обществам.

Воодушевленный успехом, Жирарден с еще большей тщательностью принялся за подготовку второй речи. Ее темой была «Всеобщая воля». Жирарден утверждал, что Всеобщая воля — это основной принцип учения Жан-Жака о государстве, и требовал, чтобы о каждом новом законе народ предварительно широко оповещался и чтобы закон входил в силу лишь после одобрения его всенародным голосованием. Это была хорошо обоснованная, хорошо сформулированная речь, в целом и в частностях подкрепленная высказываниями Жан-Жака. Но якобинцы выслушали ее холодно. Соображения гражданина Жирардена по поводу реорганизации армии носили практический характер, были вполне конкретны; а на этот раз его рассуждения представляли собой далекую от жизни теорию,

¹ Учитель Галлии (лат.).

и если так мудрствовать в толковании принципов Жан-Жака, то от революции ничего не останется. Оратора вежливо дослушали и перешли к очередному пункту повестки дня.

Жиранден был огорчен. Он стал замечать, что с некоторых пор депутаты Национального собрания уклоняются от учения Жан-Жака. Необходимо было напомнить им о великих принципах, провозглашенных учителем; и если кто-либо призван это сделать, то именно он, Жиранден. А его слушали так, точно говорил какой-нибудь Дюпон или Дюран.

Все дальше и дальше отходили законодатели от учения Жан-Жака. Жан-Жак прямо говорил, что ничего не следует ни добавлять, ни изменять без необходимости. Они же, депутаты, с неистовым пылом и без нужды переворачивали все вверх дном.

В глубокой печали сидел Жиранден под ивой, устремив взор на могилу Жан-Жака. Что мог он сделать? Обратиться к массам — бесцельно, это ему ясно. Он обращался к отдельным лицам, к вождям, призывал к умеренности, напоминал о Всеобщей воле. Ему намеками дали понять, что советы его никому не нужны. Он сам себе казался теперь докучливым школьным учителем, его слушали из уважения к прежним заслугам, но с ним не считались.

Он перестал посещать клубы и массовые собрания. Принялся за переработку своей речи в обстоятельную общедоступную брошюру: «О необходимости ратификации законов Всеобщей волей». Изливал перед мосье Гербером свою горечь по поводу действий якобинцев. Все глубже погружался в изучение Жан-Жака.

Замкнулся.

Глава одиннадцатая
ВЗВЕЙСЯ НАД МИРОМ,
ТРЕХЦВЕТНОЕ ЗНАМЯ!

Фернан, не в пример отцу, находил, что декреты Национального собрания отнюдь не страдают излишней радикальностью. На его взгляд, народные представители были чрезмерно осторожны, недостаточно быстро и энергично действовали.

Почему, например, они допускали, чтобы законы исходили из Тюильрийского дворца и провозглашались королем? Почему они не ограничивали все еще реальную власть короля? Ведь всем известно, что если не сам король, то королева и ее советники, в комплоте с иноземными монархами, ведут подпольную деятельность, направленную на подрыв Национального собрания.

И почему народные представители не проводят сколько-нибудь серьезных реформ в колониях? Почему они довольствуются одним выражением сочувствия к коренному населению обеих Индий?

В водовороте огромных парижских событий Фернаном все чаще и чаще овладевало воспоминание о Сан-Доминго. И не только философские проблемы или низменное беспокойство о своих плантациях были тому причиной. Ярче чем когда бы то ни было вставал перед ним образ Гортензии, и тогда страстная и сильная тоска по ней охватывала его. Отец Гортензии и все ее родные, вероятно, с ненавистью и издевкой говорят о парижских событиях. Сможет ли Гортензия разобраться в происходящем? Помнит ли она его, помнит ли, что он говорил ей? Не покажется ли он смешным и ей?

Быть может, он и в самом деле смешон, надеясь и мечтая, что переворот принесет счастье и его любимому острову Сан-Доминго? Когда Национальное собрание торжественно провозгласило Декларацию прав человека, он был уверен, что отныне и над французской Америкой взвьется трехцветное знамя революции, и чернокожие, составляющие большинство тамошнего населения, — те самые благородные дикари, истинные сыны матери-природы, которые являлись предметом особой любви и заботы Жан-Жака, — будут освобождены из-под гнета бесправия и порабощения. Но ничего этого не произошло.

В Париже, правда, возникло Общество друзей чернокожих, в которое входило много видных и влиятельных людей. Но владельцы крупных плантаций и другие толстосумы, владевшие в Сан-Доминго всякого рода имуществом, содержали в Париже весьма пронырливую агентуру. Это был так называемый Колониальный комитет. Он действовал ловко и чрезвычайно успешно. Члены комитета предостерегали депутатов Национального собрания от принятия решительных законов, неустанно внушали им, что равноправие превратит черных в хозяев Сан-Доминго,

что испанцы и англичане не потерпят этого и отторгнут весь остров. Доводы эти, искусно и убедительно преподнесенные, оказали свое действие. Национальное собрание, целиком поглощенное внутренними реформами, правда, объявило в расплывчатых выражениях о правах человека, обязательных для всех, но на запросы губернатора и коменданта Сан-Доминго о статуте для черных дало такие каучуковые указания, что все осталось по-старому.

Фернана коробила и оскорбляла подобная половинчатость.

Он подружился с Луи-Мишелем Лепелетье, бывшим маркизом де Сен-Фаржо, членом президиума Национального собрания. Лепелетье, немногим старше Фернана, имевший свыше шестисот тысяч ливров годового дохода, считался одним из самых богатых людей во Франции. И все же он безоговорочно душой и телом был на стороне трехцветного знамени. Он сам внес законопроект об отмене прав и преимуществ аристократии, деятельно участвовал в проведении гражданской конституции для духовенства, встреченной в штыки Ватиканом, поддерживал все передовые реформы.

Лицо тщедушного на вид Мишеля Лепелетье напоминалось с первого взгляда. Очень крутой лоб, широкий, резко очерченный рот, огромный крючковатый нос и сверкающие голубые глаза. Лепелетье приветствовал все новое, был тонким ценителем искусства, в науках чувствовал себя как дома. Уже в молодые годы выдающийся юрист и председатель трибунала в своей провинции, он, как никто, умел четко и логично формулировать сложные законы и указы.

По образу жизни Мишель Лепелетье полностью оставался крупным вельможей. Дом его, с множеством слуг, отличался роскошью, одежда — изяществом, кухня — изысканностью. На домашней сцене его городского дворца ставились лучшие пьесы. Вообще-то народ невероятно злился на такие повадки аристократов, этих *si-devants*, этих «бывших», но своего Лепелетье парижане любили, и когда он проезжал по улицам Парижа в собственном роскошном экипаже, направляясь в Национальное собрание, они провожали его приветственными кликами.

Как ни странно, но и Фернану нравились аристократические повадки Лепелетье, раздражавшие его в других. Правда, у Мишеля тонкая интеллектуальность слегка иронического склада, характерная для высородной знати,

сочеталась со страстной верой в прогресс и с безудержным стремлением обратить революционные идеи в дела.

Фернану нравился весь круг друзей Лепелетье, в особенности его подруга, актриса Эжени Мейяр, та самая, которая плакала на могиле Жан-Жака. Она по-прежнему была убежденной последовательницей Жан-Жака и нового строя. Но мадемуазель Мейяр, заразительная веселость которой составляла славу театра Французской комедии, терпеть не могла болтовни о добродетели, бережливости и воздержанности и не любила многих торжественно трезвых, угрюмо-аскетических трибунов Национального собрания. Революция олицетворялась для нее в облике Мишеля Лепелетье, который совмещал в себе демократический пыл нового режима с духовной утонченностью и изысканным изяществом старого.

У Фернана было немало мимолетных связей с красивыми женщинами. Но к Эжени Мейяр его влекло нечто большее, чем случайная прихоть. Однако он знал, что она всей душой любит своего умного, безобразного, живого, обаятельного Лепелетье.

К нему, к своему другу Мишелю, пришел Фернан и со своими тревогами о судьбах Вест-Индии.

Мишель разъяснил ему, что нет никакого смысла издавать прямой закон о раскрепощении цветных народов, ибо провести его в жизнь можно лишь с помощью силы, а имеющиеся войска нужны в метрополии.

— Так что же, выходит, надо предать дело освобождения колоний? — мрачно сказал Фернан.

Мишель положил ему руку на плечо.

— Не торопитесь, — уговаривал он его. — Передо мной не раз возникал вопрос: нельзя ли, если не неграм, то хотя бы мулатам, дать равноправие. До сих пор, правда, гражданам законодателям ничего не удалось сделать. Робинэ и его Колониальный комитет слишком сильны. — Мишеля осенила идея: — Послушайте, Фернан, вы, кажется, близко знакомы с мосье Робинэ? Если он ослабит сопротивление, мы проведем закон. Отправляйтесь к нему. Разъясните, что долго препятствовать освобождению негров ему все равно не удастся. Обещайте от моего имени: если он не будет ставить нам палки в колеса в проведении закона о мулатах — и мы не будем его беспокоить; он сможет до конца жизни сколько угодно эксплуатировать своих черных. Он уже немолод.

Фернану не понравился оппортунизм его друга, а вести переговоры с мосье Робинэ претило ему.

Робинэ был настолько богат, что принадлежал к аристократическим кругам, но, как ни странно, а он приветствовал революцию. Переворот, многословно объяснял он Фернану, только вскрыл ту действительность, которая уже давно существовала. Фактически у власти давно стоит крупная буржуазия. Правда, аристократы пользовались привилегиями, вылезали вперед, чванились своими громкими титулами, но на самом деле судьбами страны управляли, находясь на заднем плане, разбогатевшие благодаря своим способностям буржуа. Наиболее одаренные из тех же буржуа занимали и высокие посты. Теперь привилегированных прогнали, и буржуазия также и номинально пришла к власти. Вот и все.

Фернану тошно было от такого одностороннего цинического толкования великих событий. Но Лепелетье знал людей. Он постоянно сталкивался с господами, подобными Робинэ; к разумному совету Мишеля следовало прислушаться. Как ни тяжело было Фернану идти к Робинэ, это надо было сделать.

Мосье Робинэ наглухо заколотил свой роскошный дворец в Париже и переехал в незаметную квартирку в каком-то облупленном доме. Отсюда вел он дела огромного размаха: скупал церковные земли и конфискованные имения эмигрировавших аристократов, заключал с интендантами все растущей численно армии новой Франции договоры на поставку продовольствия, обмундирования и оружия.

И вот в этой-то городской квартире, в крайне просто обставленном кабинете, отпрыск одного из стариннейших аристократических родов Франции и один из самых богатых буржуа страны вели переговоры о судьбе цветных, населяющих Сан-Доминго.

Мосье Робинэ внимательно выслушал Фернана. Он погрозил ему пальцем.

— А вы хитрец, дорогой граф,— сказал он.— Но на этот раз коза волка не поймает. «Мы просим у вас ничтожной уступки,— говорите вы,— ведь мы хотим лишь гражданских прав для нескольких тысяч мулатов». Но вы отлично знаете: кто подает кофе с молоком, должен подать и черный кофе, и если сегодня мы эмансипируем мулатов, завтра предъявят претензии негры. Нет, дорогой мой граф,

из этого ничего не выйдет. Если мы тут хотя бы одну пядь уступим, тогда можно закрывать лавочку, тогда Франция только и видела свои колонии.

Фернан хмуро молчал.

— Теперь вы, конечно, считаете меня оголтелым реакционером, — продолжал Робинэ. — Но вы несправедливы. Я готов пойти на компромиссы. Я не ббльший ретроград, чем ваши пресловутые филадельфийские конгрессмены-свободолюбцы. И мы тоже за то, чтобы предоставить чернокожим права, но не раньше, чем на рубеже века, в следующем столетии. Так полагают и господа в английской Америке. Тише едешь, дальше будешь. Это и складно и разумно. — Робинэ задумался, и его красное лицо, несмотря на свой свежий вид, стало вдруг очень старым и мудрым. — Да, да. Права человека, — сказал он мечтательно. — Я тоже за них, но в Сан-Доминго рано о них говорить. Впрочем, — продолжал он, оживившись, — одна светлая полоска на горизонте, другими словами, только виды на Права человека в будущем столетии и те уже ставят под сомнение выгодность капиталовложений в вест-индские плантации. Свои я собираюсь сбыть с рук. Вы хорошо сделаете, господин граф, последовав моему примеру. Я охотно вам помогу, если пожелаете.

Фернан сухо, неприязненно поблагодарил и откланялся.

В Париж прибыла депутация от мулатов Сан-Доминго отстаивать в Национальном собрании свои требования. Возглавлял депутацию адвокат Венсан Оже, мулат по происхождению. Фернан знал его. Они познакомились в Кап-Франсэ в Кружке филадельфов. Это был интеллигентный, образованный, энергичный человек.

Общество друзей чернокожих всеми силами поддерживало Оже. Но депутаты Национального собрания накормили его и его спутников красивыми речами и обещаниями и... ничего не сделали.

По настоянию Фернана Лепелетье пригласил Оже на обед. Были только Мишель, Фернан и мадемуазель Мейяр. Лепелетье попросил Оже откровенно высказать все, что у него на сердце. И это было необычайное зрелище — под неслышные шаги вышколенных лакеев, с традиционными поклонами обносивших гостей и хозяев изысканными блюдами, наивный, несколько неуклюжий мулат страстно излагал свои демократические требования перед изящным,

избалованным аристократом и красавицей актрисой в очаровательном туалете.

Лепелетье внес в Национальное собрание четко сформулированный законопроект, в котором предусматривалось равноправие,— правда, только для мулатов, а не для чернокожих. Фернану он сказал, что и это он сделал с тяжелым сердцем; он опасается, что даже такая реформа чревата кровопролитием. Закон был принят.

Маркиз де Траверсей в срочном письме заклинал Фернана задержать мулата Оже в Париже. Если Оже вернется в Кап-Франсэ и попытается вместе со своими мулатами, ссылаясь на это безрассудное «равноправие», принять участие в выборах, белое население устроит им кровавую баню.

Сам Оже получал угрожающие письма. Но он решил вернуться, готовый с радостью ринуться в борьбу.

Фернан проводил его на корабль. Оже вез с собой трехцветное знамя новой Франции, подарок Общества друзей чернокожих.

— Это знамя я привезу на родину,— сказал он,— хотя бы белый сброд потом расстрелял и сжег его и меня вместе с ним; я вижу, как оно развевается там...

С надеждой и тревогой ждал Фернан вестей из Сан-Доминго. Все сложилось не так, как он надеялся, а так, как предсказал Робинэ и как того опасался Лепелетье. В день выборов белые с оружием в руках нападали на мулатов; были убиты тысячи цветных. Оже спасся в горы и оттуда руководил организацией вооруженного восстания цветных. Хорошо обученные полицейские части разгромили повстанцев. Оже удалось бежать в испанскую часть острова.

Но этим трагедия не кончилась. Испанские власти на основании старого договора выдали Оже французским плантаторам. После жестоких глумлений и бесчеловечных пыток его судили так называемым военным судом, приговорившим Оже к смерти. Казнь обставили, как всенародный праздник. Отовсюду стекались белые — мужчины, женщины и дети. Толпа торжествующими возгласами сопровождала изощренные длительные мучительства, которым «в назидание всем цветным» подвергали мулата, вплетая его в колесо. Один из членов Клуба филаделфов писал в Париж: «После казни известного Дамьена, покушавшегося на Людовика Пятнадцатого, французы ни разу

не удивляли мир столь потрясающим по своей кровавости зрелищем».

Фернана эта весть застала в Эрменонвиле. В беспомощной ярости он поскакал в Латур. Мосье Робинэ был не один. Жильберта и Матье гостили в Латуре.

— Вот вам, чего добился ваш Колониальный комитет,— с негодованием бросил он Робинэ.

Мосье Робинэ невозмутимо ответил, что в кровавых событиях виновато Национальное собрание, которое издало этот дурацкий закон, несмотря на неоднократные предупреждения Комитета.

— Я опасюсь одного,— сказал он.— Опасаюсь, что Париж пойдет дальше по этому бессмысленному пути и новыми суровыми параграфами заострит закон, вместо того чтобы отменить его вовсе. Если Париж не откажется от этого закона, в колониях все пойдет прахом. Надо было вам, дорогой граф, продать свои плантации. Боюсь, что теперь и мне и вам там больше нечего делать.

— Не вам издеваться надо мной,— вспылил Фернан. Робинэ пожал плечами.

— Я сегодня послал в Кап-Франсэ письмо, в котором настоятельно рекомендовал ослабить репрессии. Но письма ни на кого не действуют. У вас, дорогой граф, в Сан-Доминго есть близкие и влиятельные друзья. Вы сами там пользуетесь влиянием. Поезжайте туда. Попытайтесь лично воздействовать на ход событий.— И с вызывающей издевкой прибавил в заключение: — Я предвижу, что нашим чернокожим друзьям туго придется.

Плоская насмешка мосье Робинэ задела Фернана. У него не однажды являлась мысль о поездке в Сан-Доминго. Он получил от Гортензии письмо. Ей очень жаль, что она не может поговорить с ним о страшных событиях, разыгравшихся на острове, писала она своим детским почерком; ведь у каждого свои взгляды на вещи, она больше ни в чем не может разобраться, страх гнетет ее, ей бы так хотелось, чтобы Фернан был рядом. Слова мосье Робинэ вновь пробудили в нем неукротимое желание вернуться к Гортензии. Разумеется, в напастях, обрушившихся на ее голову и на головы ее близких, виновата их собственная безмозглая закоснелость. Но оттого, что отец Гортензии твердолобый аристократ, имеет ли Фернан право не быть возле нее, когда ей угрожает опасность?

Жильберта внимательно наблюдала за выражением его

лица; ему казалось, что губы ее опять кривит знакомая, едва заметная жесткая улыбка.

— Вы правы, мосье,— сказал он, высоко вскинув голову.— Я еду в Сан-Доминго.

Робинэ смешался. Он этого отнюдь не хотел. Этот дурень и впрямь способен броситься в сан-доминговский ад, и тогда от Жильберты ему, Робинэ, житья не будет.

— Я, разумеется, только пошутил, да к тому же еще и неумно,— поторопился он заверить Фернана.— Вы там ровно ничего не сумеете сделать. Вы лишь себя подвергнете серьезной опасности, а дело еще больше запутаете. Оставайтесь во Франции. Убедите Лепелетье и других депутатов Национального собрания не усугублять новыми бессмысленными шагами того, что там творится. Это все, чем вы можете помочь своим друзьям в Сан-Доминго.

В Париже Фернан с угрюмым удовлетворением увидел: чего Оже не мог добиться при жизни, он добился посмертно. События в Вест-Индии взбудоражили Париж. Общество друзей чернокожих созывало многолюдные собрания, повсюду выставлялись портреты мученика Оже и картины его ужасной казни; даже на сцене изображались его благородная жизнь и его страшная смерть.

Лепелетье без особых просьб со стороны Фернана провел закон, значительно расширявший права цветных.

Фернан прямо-таки мечтал о том, чтобы Национальное собрание послало его в Вест-Индию для проведения нового закона. Но когда он заговорил об этом с Лепелетье, тот сразу же и бесповоротно отверг его просьбу. Закон о цветных — лишь предупреждение аристократам-плантаторам, чисто академическая мера, сказал Лепелетье, провести его в жизнь без вмешательства армии невозможно.

— Поплите меня туда, Мишель,— не внимая никаким разумным доводам, просил Фернан.

— И не подумаю,— ответил Лепелетье.— Я не собираюсь бросить вас в пасть смерти. Только и не хватало там такого человека, как вы. В Сан-Доминго нужен твердый политик, а не философ.

Это был настоящий удар. Друг, несмотря на все пережитое Фернаном, все еще, очевидно, считает его мечтателем и незрелым юнцом.

— А вы,— сказал он с горечью,— вы в Национальном собрании рисовали участь цветных народов с не меньшим сочувствием, чем это сделал бы сам Жан-Жак,

— Я старался добиться принятия закона,— терпеливо объяснял Лепелетье.— А что закон будет проведен в жизнь, на это я никогда не надеялся.

— В таком случае я поеду в Сан-Доминго без правительственного назначения,— упрямо, как мальчишка, твердил Фернан.

— Будьте благоразумны,— дружески уговаривал его Лепелетье.— Вы сами прекрасно знаете, что вас влекут туда не только боль за мученика Оже и не только ваши философские воззрения, а прежде всего воспоминание о той девушке, с которой вы обменивались там нежными речами. Не делайте этого рыцарского жеста! Не бросайтесь очертя голову за тысячи миль, без нужды подвергая себя опасности, только затем, чтобы охранять даму, которая, несомненно, давно находится где-нибудь в надежном месте и которая без вашей помощи спасется куда вернее. Не будьте таким «бывшим», Фернан,— закончил он, подчеркивая каждое слово.

Фернан чувствовал, что его высмеяли, но понимал, что Мишель прав, прав в гораздо более глубоком смысле, чем Робинэ. Тем не менее все в нем восставало против «трусости», которой от него требовали.

В комнату вошла мадемуазель Мейяр.

— Наш друг удручен тем, что я не соглашаюсь помочь ему подставить голову под пули в Вест-Индии,— ввел ее в суть разговора Мишель.

Он увидел, как сильно его слова задели Фернана, и решил теперь же сообщить ему то, что собирался сказать позднее.

— Вы скоро получите возможность, Фернан, здесь, в Париже, гораздо действеннее вмешаться в судьбу колоний, чем могли бы это сделать в Сан-Доминго.

Фернан растерянно посмотрел на него.

— Он ничего не понимает,— улыбаясь, обратился Мишель к мадемуазель Мейяр.— Он слишком скромн.— Лепелетье повернулся к Фернану.— Как вам известно, в ближайшее время вновь состоятся выборы. А Эжени хочется,— пояснил он,— чтобы в новом Законодательном собрании заседали не одни только добродетельные граждане, но и «бывшие», у которых с новыми идеалами в сердце сочетается старая добрая логика в мозгу, хороший французский язык и хорошие манеры.

Фернан встал, беспомощный и растроганный. Мишель, глядя на него, поспешил закончить:

— Да, мои друзья и я выставили вашу кандидатуру, и я уверен, дорогой мой гражданин Жирарден, что вы будете избраны.

От испуга, от счастья Фернан густо покраснел. Значит, Мишель все-таки считает его достойным звания законодателя? Сердце его исполнилось гордости. Но гораздо глубже взволновало его другое. Мишель не выдвинул бы его кандидатуры, если бы не был уверен, что избиратели благожелательно встретят ее, что своей деятельностью в Санлисе Фернан завоевал их доверие. Лучшего доказательства не могло и быть. Народ не оттолкнул его, народ признал в нем брата.

— Как по-вашему, Эжени, наш Фернан будет хорошим законодателем? — спросил актрису Мишель.

— Превосходным, — улыбаясь, ответила мадемуазель Мейяр. — Среди сплошных Брутов и Ликургов появится наконец живой человек с горячей кровью.

Глава двенадцатая

ХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ — НО КОМУ?

Необычайные новости взбудоражили всю страну. Король под чужим именем, запасшись фальшивыми паспортами, вместе со всей своей семьей пытался бежать из Франции. Он пробирался к северо-восточной границе с тем, чтобы, возглавив чужеземные войска, с триумфом вернуться в Париж и разогнать Национальное собрание. Но попытка короля к бегству самым жалким образом провалилась. На какой-то маленькой станции патриот-почтмейстер узнал его по изображению на банкнотах и, не колеблясь, с помощью нескольких отважных граждан задержал почтовую карету. Патриотическая добродетель сорвала козни «бывших». Людовика вернули в Париж, и теперь он и его домашние в полном смысле слова арестованы в Тюильри; во дворце повсюду расставлены часовые, даже у дверей спален короля и королевы.

Это потрясающее событие углубило раскол между гражданами, приверженцами старой и новой Франции. Великое множество колеблющихся вынуждено было самоопреде-

литься и решить: кому сохранить верность? Нации или королю, который из себялюбивых побуждений хотел открыть врагам границы страны?

Эта дилемма во всей своей остроте встала и перед бывшим графом Курселем. Матье был передовым человеком, созыв Генеральных Штатов и штурм Бастилии он от души приветствовал; он осуждал своих собратьев по сословию, бежавших за границу. Они предали родную страну, они бросили короля на произвол судьбы. Но когда король под оказанным на него давлением санкционировал действия, которые он явно не одобрял или даже сам вынужден был предпринимать такие действия, Матье понял эмигрантов. Они правы: над королем совершено насилие, и не к народу перешла власть во Франции, а к кучке недовольных честолюбцев. Все европейские монархи оказывали деятельную помощь эмигрантам, сосредоточившимся на немецкой стороне Рейна, в Кобленце. Они вооружали огромную армию, которая должна была силой восстановить во Франции абсолютную монархию.

И вот король решил стать во главе эмигрантов; он явно одобрял их, одобрял их планы. Кровь уравновешенного Матье закипала, когда он думал о том, что воля всехристианнейшего короля оказалась бессильной перед волей маленького почтмейстера. Какой-то простолудин, плебей посмел заставить властелина старейшей монархии мира с позором повернуть назад.

Передавали подробности жалкого возвращения короля. Ему вместе с его домашними пришлось в эту ужасную жару медленно ехать по пыльным дорогам, движение кареты все замедлялось и замедлялось, со всех сторон стекались толпы народа посмотреть на своего короля, который хотел их предать. Париж прислал комиссаров для сопровождения короля, комиссары сели в карету, отчего там стало тесно и душно; король и королева глотали дорожную пыль, вдыхали запах пота своих стражей и телохранителей, выслушивали проклятья зевак. В Париже короля дожидалась огромная толпа. Национальная гвардия выстроилась шпалерами по обеим сторонам улиц, держа ружья дулами вниз, как на похоронах. Стояла жуткая тишина, было объявлено: за «ура» королю — голову с плеч, за проклятье — тюрьма.

Матье представлял себе, как страдала, должно быть, гордая красавица королева от этих унижений. Рассказыва-

ли, что за четыре дня этого ужасного обратного пути она поседела.

Что ему, Матье, делать? Если он останется, то ему, супругу Жильберты, внучки влиятельного Робинэ, пользовавшегося доверием у депутатов Национального собрания, едва ли угрожает какая-либо опасность. Если же он покинет Францию, он обречет себя на нищету: по существующему закону все владения его и Жильберты в этом случае конфискуются. О гордой нищете эмигрантов рассказывали множество горестных историй. А кроме того, людям, переступившим однажды границу страны, о возвращении нечего было и думать — им грозила смертная казнь.

Но вправе ли он оставаться? Разве не присягнул он на верность королю? Разве не обязан он по долгу чести примкнуть к армии эмигрантов, собиравшей силы для того, чтобы вернуть королю его права?

Уже и раньше переезд через границу сопряжен был с большими трудностями, а теперь заставы были усилены, и бегство с Жильбертой и ребенком представлялось отнюдь не безопасным. Матье колебался. С Жильбертой, однако, он не делился своими сомнениями и колебаниями; он вынашивал их в себе.

Робинэ видел его насквозь.

Сам Робинэ бежать за границу отнюдь не собирался. Он чувствовал себя здесь уверенно, и ему было бы до слез обидно бросить свои процветающие дела. С другой стороны, неудавшееся бегство короля показало, что на стороне революционеров не один только Париж, а вся Франция. В этом, конечно, убедились теперь и все европейские монархи. Они, разумеется, захотят оградить себя от участи своего кузена Людовика. Таким образом, война между абсолютными монархами Европы и демократической Францией неизбежна, и в этой войне Робинэ хочет застраховать себя на все случаи жизни. Он поэтому заинтересован в том, чтобы Матье дрался на стороне эмигрантов. Тогда в случае победы революционеров он, Робинэ, докажет свою преданность патриотическим пребыванием в стране в самое трудное время; а если победят роялисты, он окажется тестем человека, который вместе с ними сражался за их победу.

Разумеется, Жильберте он ни словом не обмолвился о своих размышлениях. Но зато сказал ей, что в связи с последними событиями понял бы Матье, если бы тот решил перебраться через границу, к своим друзьям.

И Жильберта тоже видела, что Матье носит с такими планами.

Она честно старалась разобраться в том, что произошло за последние два года. Временами многое отталкивало ее; но затем размах событий и, не в последнюю очередь, горячее сочувствие, которое они вызывали в Фернанде, покоряли ее. Когда у них с Матье изредка заходил разговор о том, что творится вокруг, она с удивлением замечала, как глубоко проникла в ее сознание философия Жан-Жака, невзирая на все ее насмешки над ним. К тому же она происходила из низов, она на себе испытала все невзгоды, выпадавшие на долю непривилегированных кругов, и в душе радовалась тому, что рухнули искусственные перегородки между сословиями и что теперь народ един. Иной раз, правда, она сама потешалась над собой. Во имя того, чтобы она и ее потомство принадлежали к числу привилегированных, она рассталась с заветной мечтой и вступила в брак, требовавший от нее какой-то сделки с совестью. Но только она добилась своего, как все привилегии вылетели в трубу, и малютка Мария-Сидония была теперь такой же гражданкой, как и все.

Ну не удивительно ли, что провидение сыграло с ней такую злую шутку, а блажная мудрость старого Жан-Жака на поверку оправдала себя? Последние события, бегство и арест короля очень взволновали Жильберту. К медлительному, добродушному королю и к красивой, любезной Марии-Антуанетте, обладавшей всеми теми свойствами, которые презирал Фернан, она питала симпатию, правда, с легким оттенком иронии. И если уж с королем и королевой народ так беспощадно обошелся, то что же ждет Матье, их ребенка и ее самое? Она не только утратила свои привилегии, но опять оказалась в числе бесправных.

Жильберта ломала себе голову, рассуждая и так и этак. Она не была труслива, но не желала без нужды подвергать риску благополучие Матье и ребенка. С другой стороны, ей мучительно не хотелось покинуть страну и бежать от бурно развивающихся событий. Фернан считал бы ее равнодушной и нерешительной и был бы прав.

Поэтому когда мосье Робинэ заговорил о бегстве за границу, она ответила не сразу.

— Если Матье предложит нам эмигрировать, ведь вы, разумеется, поедете с нами, дедушка?

Робинэ не этого хотел. Он мечтал, что Жильберта с ребенком останутся с ним и только этот чопорный Матье уедет.

— Я не о себе говорил, дорогая, так же как не о тебе и не о Марии-Сидонии,— сказал он.

— Я и не подумаю расстаться с Матье,— решительно и запальчиво ответила Жильберта.

— А я бы на твоём месте подумал, доченька,— ласково сказал мосье Робинэ.— Если Матье уедет, он уедет на войну, это ты должна ясно понимать, а нынче не в обычае, да и не рекомендуется, чтобы жены сопровождали мужей в бой.— Он подытожил: — Если Матье по велению сердца захочет отправиться по ту сторону Рейна, я бы на твоём месте предоставил ему свободу решения, но и не стал бы предлагать ехать всем вместе.

— Вы мне советуете отпустить его одного? — не веря ушам своим, повторила Жильберта.

— Он сам вряд ли что-либо иное потребует от тебя,— ответил Робинэ.— Переправиться нынче через границу с женой и маленьким ребенком — задача трудная и рискованная.

Когда вскоре за тем Матье и в самом деле предложил ей покинуть Францию, Жильберта, всегда такая разумная и решительная, хотя она и готовилась к этому разговору, страшно растерялась. Мария-Сидония находилась в комнате; девочка, одетая по-взрослому, благонаправно расхаживала взад и вперед и вперёд и тянула за собой на шнурке игрушечную овечку.

— Я понимаю твоё желание вступить в армию, Матье,— помолчав, сказала Жильберта.— Но как мы там будем жить, я и ребенок? — И в ответ на его озадаченный взгляд — ему и в голову не приходило, что она может предложить ему ехать одному, она прибавила: — Вправе ли мы подвергнуть ребенка опасностям переправы через границу?

В голосе её звучала неуверенность, и Матье знал: её слова только половина правды. Он посмотрел на Жильберту, и во взгляде его было больше печали, чем укора. Он понял, что при всей его любви и преданности ему не удалось завоевать её.

Она невыносимо страдала под этим взглядом, и в то же время с угрюмой иронией и горечью думала: «Никто не заставляет его ехать. Если этот злополучный король ему дороже меня, пусть едет. Я его не удерживаю. Я и другого

не удерживала». Но сердце по-прежнему сжималось от боли. Невысказанные Матье упрёки она делала себе сама. Она не умела в полную силу любить ни одного, ни другого.

Матье привычно скрыл свои чувства за завесой присущей ему изысканной галантности.

— Разрешите узнать ваше мнение, мадам? — спросил он. — Вы мне советуете ехать... — И с усилием добавил: — ...одному?

Жильберта с запинкой сказала:

— Если ты во что бы то ни стало решил ехать, Матье...

Спустя несколько дней Матье, очень просто одетый, с фальшивым паспортом в кармане, пустился в путь.

Часть четвертая

ЖАН-ЖАК И НАРОД

Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я, как все живущие, что ходят под солнцем, признали этого юношу, который займет место того.

Книга Екклезиаста

Солдатам Французской республики казалось, что только они разумные существа. Обитатели всей остальной Европы, которые дрались за сохранение своих пеней, были в глазах этих французов жалкими глупцами или негодями, продавшимися деспотам.

Стендаль

Глава первая

ДОЛОЙ РАВНОДУШНЫХ!

В городе Санлисе, как и во многих других городах и селах, имелся свой созданный по парижскому образцу Якобинский клуб. Здесь делалась политика округа. Председателем клуба был Мартин Катру.

Так часто, как позволяли обстоятельства, Катру ездил в Париж, чтобы зарядиться там мудростью и стойкостью. В Париже жил человек, в совершенстве овладевший учением Жан-Жака, на первый взгляд столь противоречивым, овладевший всеми его гранями и в своей политической деятельности претворявший его в жизнь. Человек этот состоял членом Национального собрания, но проповедовал свои идеи и оказывал свое влияние через Якобинский клуб. И если клуб приобрел почти такую же силу, как Национальное собрание, то в этом была заслуга его, Максимилиана Робеспьера, уроженца Арраса, того самого юноши, который незадолго до смерти Жан-Жака посетил учителя.

Стоило раздаться пронзительному, стеклянному голосу Робеспьера, стоило этому невысокому, одетому с педантичной тщательностью господину произнести одну из своих воспламеняющих холодной логикой речей, как убогая и уродливая церковка на улице Оноре, где заседали якобинцы, превращалась в глазах Мартина в сердце и святыню Франции.

У кумира было мало личных друзей, своим приверженцам он выказывал одну только безразличную вежливость. И все-таки именно теперь, когда Жан-Жак лежал в своей могиле на Острове высоких тополей, многие из самых пламенных патриотов, в том числе и Мартин, видели в Робеспьере провозвестника истинного учения Жан-Жака, его верховного жреца, его исполнителя. Сам Жан-Жак, если бы он выступал перед якобинцами, не мог бы вдохновеннее излагать свои принципы и лучше применять их к политическим задачам дня.

Мартин старался ознакомить санлисских якобинцев с основными принципами Максимилиана Робеспьера. Как и Робеспьер, он сочетал фанатическую веру в учение Жан-Жака с холодным рассудком, до конца осмысливающим выводы из этого учения. Как и Робеспьер, Мартин презирал все половинчатое и равнодушное и целиком разделял вечное настороженное недоверие Робеспьера к «бывшим». Он призывал своих сторонников в Санлисе помнить, что, помимо армии, которую создают за границей бежавшие аристократы, чтобы двинуться войной на французский народ, внутри страны рассеяно еще бесчисленное множество врагов. Пока старое не вырвано с корнем, нельзя достигнуть целей, поставленных революцией.

Речи Мартина не отличались ледяным изяществом ораторского искусства великого парижского якобинца, зато покоряли сочностью народных выражений. Он толковал Жан-Жаковы идеи с пламенной непримиримостью; он разговаривал с санлисскими патриотами их языком.

Фернан, время от времени заглядывавший в санлисский клуб, не одобрял речей Мартина. Правда, Мартин пользовался словами и оборотами Жан-Жака, но вкладывал-то он в них опасный смысл. И без того многие, кому новый порядок вскружил голову, не хотели понимать, что право и закон все еще существуют и что поэтому нельзя действовать и поступать как заблагорассудится. Речи Мартина только развязывали силы произвола.

Как-то после одной из своих особенно неумеренных речей Мартин спросил Фернана:

— По-твоему, конечно, я толкую все превратно?

— Да,— ответил Фернан,— меня берут сомнения, но в двух словах их не сформулируешь. Как жаль, что мы в последнее время так редко встречаемся,— любезно добавил он.

Мартин с ноткой раздражения в голосе ответил:

— У тебя же есть твой Лепелетье.

Фернана обрадовало, что Мартин ревнует его к Мишелю.

— Я бы с удовольствием провел с тобой вечерок,— сказал он сердечно.

Мартин пригласил его к ужину.

Квартира у Катру была незавидная. Мартин жил и работал в трех комнатках, вместе с матерью, женой и маленьким ребенком. Пахло кухней и людьми, младенец ревел. Еда была приготовлена без любви и неумело.

— Не взыщите за скромное угощение бедняков, гражданин Жирарден,— сказала жена Мартина.

Мартин жевал торопливо, безучастно, по-простецки.

— Ты можешь говорить, не стеснясь,— бросил он Фернану.— Жанна знает о нашей старой дружбе.

— Разумеется,— сказала Жанна и повернула к Фернану суровое, выразительное и не очень дружелюбное лицо.

Фернан в эти дни был в тревоге. Из Сан-Доминго поступили дурные вести: белые не желали подчиняться решению Национального собрания, негры и мулаты объединились, остров охвачен волнениями и беспорядками. Плантации в северной части острова, как раз там, где находились владения Траверсей, разграблены, опустошены, сожжены, среди белых много убитых. По слухам, Гортензия и маркиз нашли себе убежище на испанской территории. Но сведения были неточные, и плохим признаком служило отсутствие вестей от Гортензии.

Фернан говорил обо всех этих угнетающих его обстоятельствах.

— Национальное собрание слишком поздно начало действовать,— заметил он с горечью.— И вместо того чтобы послать наконец в Сан-Доминго войска и решительно провести закон о колониях, кое-кто еще и по сей день подумывает, не лучше ли вовсе отменить его и, значит, опять лишить цветное население всех прав.

— Я не в курсе событий в Сан-Доминго,— сказал Мартин,— да и вообще не многие разбираются в тамошней обстановке. Почему бы тебе самому не отправиться туда и не навести там порядок? — вызывающе бросил он.— Тебя там знают. А с помощью твоего друга Лепелетье тебе не стоило бы особого труда добиться необходимых полномочий.

Подвижное лицо Фернана передернулось. Значит, Мартин считает, что внутри страны для него дела не найдется.

— Мой друг Лепелетье,— ответил он уязвленно и торжествующе,— полагает, что я лучше послужу революции, если останусь здесь. Он хочет, чтобы я выставил свою кандидатуру на новых выборах в Национальное собрание.

Лепелетье пользовался авторитетом и у якобинцев, поэтому слова Фернана изумили Мартина, взбудоражили, лоб его покрылся пятнами. Даже женщины удивленно вскинули глаза. Наступила небольшая пауза. Потом вместо ответа Мартин сказал:

— Было бы хорошо, если бы старое Национальное собрание было распущено. Оно мало что сделало.

— Даже если его распустят,— ответил Фернан,— все же именно оно создало конституцию, основанную на Декларации прав.

— Та капля хорошего, что есть в конституции,— сказал Мартин,— это заслуга четырех-пяти депутатов, выдержавших сопротивление остальных тысячи двухсот.

— Не слишком ли ты строг в отношении этих тысячи двухсот? — спросил Фернан.

— Из тысячи двухсот Жанов и Жаков не выкроишь и одного Жан-Жака,— съязвил Мартин.— С этим-то ты, по крайней мере, согласен?

Вдова Катру с восхищением взглянула на сына, который так здорово отбрил этого аристократишку, и из ее старого, беззубого, ввалившегося рта вырвался тихий, дребезжащий смешок. Удовлетворенно и благоговейно посмотрела на мужа и Жанна.

— Не подлить ли вам вина, гражданин Жирарден? — спросила она бесстрастным голосом, но в ее строгом взгляде Фернан прочел недоверие и неприязнь.

Мартин продолжал жевать.

— Я ничего не имею ни против тебя, ни против Лепелетье,— сказал он.— Однако в Национальном собрании заседает слишком много «бывших», этого ты и сам не станешь

отрицать, и таких «бывших», которые при самой доброй воле остаются рабами своего происхождения, своей мощны, своих высоких званий. Когда они величают друг друга «гражданин», это звучит, как «граф» или «маркиз». Мы ведь видели, что с «бывшими» твой Лафайет нянчится, а когда массы требуют Декларации прав человека, Лафайет приказывает стрелять в них.

Жена Мартина и старушка мать принялись мыть посуду, а Мартин и Фернан остались за столом допивать вино.

— На мой взгляд, — возобновил разговор Мартин, — законодательные акты нынешнего Национального собрания беззубы все до одного. Деспотия из года в год упрятывала за решетку четыреста тысяч человек, и мы с тобой тоже чуть не попали в их число. Пятнадцать тысяч ежегодно приговаривалось к смертной казни через повешение. Национальное собрание отменило смертную казнь и дало возможность всем своим врагам — еще бы немного и самому королю — улепетнуть за границу.

Жанна, вытирая тарелки, повернула голову, иронически выжидая, что ответит на это Фернан.

— Но я ведь еще не состою членом Национального собрания, — полусуто сказал он.

— Никто о тебе и не говорит, — возразил Мартин, — я буду голосовать за твою кандидатуру. Но не теши себя зряшными надеждами. Новое Собрание тоже не покончит с этим положением, и никакой настоящей революции все равно не произойдет. Революция придет совсем с другой стороны, снизу. Она созреет в народе, в политических клубках. Там ее и совершат.

В спорах со своими друзьями-умеренными Фернан говорил совершенно то же самое, но Мартину он возражал:

— «Не сокрушать ничего существующего, если в этом нет крайней нужды», — учит Жан-Жак, что тебе следовало бы знать. — Его разозлило, что слова эти прозвучали так, как будто их произнес его почтенный родитель.

— Но в том-то и дело, что крайняя нужда есть, — резко откликнулся Мартин. — И мне так же, как и тебе, известен человек, который тебе это докажет, цитируя того же Жан-Жака.

Фернан пожал плечами.

Мартин уже жалел, что был так резок. С этим Фернаном он почему-то всегда ведет себя, как глупый мальчиш-

ка, старающийся вызвать товарища на драку. А ведь он расположен к Фернану и уважает его. Подумать только: человек, от рождения предназначенный в сеньоры Эрмзонвиля, так смело и открыто вступает за мелкий люд.

Мартин проводил Фернана до дому. Со свойственной ему несколько грубоватой манерой он всячески старался выказать свое расположение к нему. Вот такие-то редкие минуты угловатого проявления дружбы помогали Фернану за фигурой Катру — председателя Якобинского клуба — увидеть прежнего Мартина, преданного друга юности.

Но это нисколько не смягчило острой правды, прозвучавшей в словах Мартина. Мартин говорил не от своего имени, а от имени всех. Бегство короля пробудило в народе новую волну подозрительности против «бывших»; настороженная неприязнь гражданки Катру присуща была не одной этой Жанне, а всем Жаннам, вместе взятым: он, Фернан, навсегда останется чужим для них. Никогда народ не признает в нем брата.

Негодующий и угнетенный, узнал он, что Национальное собрание чуть ли не накануне своего роспуска отменило предложенный Лепелетье закон об освобождении рабов, заменив его немоцными указами, которые вновь обрекли цветное население на бесправие. Жгучее желание искупить этот позор овладело им. Если только его действительно выберут, он уж постарается у всех законодателей пробудить такую же страстную жажду справедливости.

Впрочем, он все меньше и меньше верил в свое избрание.

Лепелетье пытался рассеять скептицизм Фернана. Разве повадки и весь образ жизни его, Мишеля, не разъединяют его с якобинцами гораздо больше, чем Фернана? И тем не менее народные массы признали Мишеля своим. Устные и письменные донесения из департамента Уазы убеждали Лепелетье, что Фернан пользуется там подлинным доверием.

Однако сомнения Мартина оказались сильнее оптимизма Лепелетье. Фернан был по-прежнему подавлен.

Тем сильнее возликовал он, когда его выбрали. Значит, эти прозорливые простолюдины, рядовые граждане городка Санлиса и окружающих сел и поселков все-таки признали в нем неподдельного друга. Из двадцати кандидатов они выбрали именно его! Мартин был неправ: народ признал его, Фернана, братом!

Глава вторая

ВДОВА РУССО

Николас и Тереза все это время жили в Плесси.

В последние годы старого режима Николас все больше таскался по трактирам Плесси и Дамартена и изрыгал злобные и фанфаронские речи. Он знал свет, и собутыльники охотно слушали его разухабистую и желчную болтовню. Как только Тереза получала очередную пенсию, Николас дня на два-три исчезал в Париж; на больший срок не хватало жалкой подачки, которой неблагодарный свет старался откупиться от подружки величайшего из философов.

Жители Плесси — те, что не пьянствовали с Николасом, — не любили своих новых сограждан. Они осуждали Терезу за сожителство с этим мужланом, прикончившим ее супруга. Встречаясь с Терезой, женщины поспешно подзывали к себе детей. Николас ругался и грозил. Терезу отношение окружающих не трогало. Мир устроен прекрасно, если Николас — ее *homme de confiance* и живет с ней под одной кровлей.

Раз в месяц она ходила на эрменонвильское кладбище, на могилу матери, а раз в неделю переправлялась на маленький остров и приносила цветы на могилу мужа. Для очистки совести она еще ухаживала за канарейками Жан-Жака, отыскивала для них мокричник и вместо издохших птичек покупала новых.

Сначала и жители Эрменонвиля ругали ее. Потом понемногу привыкли к виду стареющей Терезы, которая, тихо и степенно двигаясь, навещала своих покойников, а затем, заглянув в «Убежище Жан-Жака», заказывала себе омлет, выпивала глоток-другой темно-золотистого вина, кормила рыбок и уток — так же, как это любил делать покойный, — и вела неторопливую беседу с папашей Морисом.

Однажды, когда Николас отлучился в Париж, к Терезе пришел плессийский священник и стал упрекать ее за постыдное, не получившее благословения церкви сожителство с мосье Монтрету. Она струсила и, как только Николас отоспался после парижского кутежа, робко намекнула ему, что следовало бы повенчаться. Николас рассвирепел и избил ее костью.

Через два дня исчезли канарейки. Тереза вспомнила о суке Леди, о том, как ужасно расстроился тогда Жан-Жак, и подумала: хорошо, что на этот раз ему уж никакие огорчения недоступны. Позднее она спросила Николаса, можно ли ей купить новых канареек. Он злобно отрезал:

— Хватит с твоего покойника и цветов, что ты ему носишь.

Штурм Бастилии вызвал у Николаса величайшее раздражение. Этот невежественный народ! Он, Николай, мыслит, как аристократ. С знатными господами он всегда гораздо скорее находит общий язык, чем с этой сволочью. Его возмущало, что принцу де Конде, его могучему покровителю, пришлось спешно уехать за границу. Впрочем, отъезд принца — это, конечно, ненадолго. Господство черни — дело непрочное, голытьба скоро раскается в своем безумии, а зачинщиков — и не одну тысячу — повесят и четвертуют.

— Никакой пощады этому сброду, — требовал Николай.

Но поскольку возвращение эмигрантов заставляло себя ждать, в плессийском трактире Николасу велели попридержат язык. Эти ослы разводили там рацен насчет Прав человека и честили его, Николаса, господским прихвостнем. Жизнь вокруг становилась все более смутной, мрачной, тоскливой; проклятая омужиченная Франция опротивела ему до тошноты. Он с радостью вернулся бы в Лондон, но на что он, изувеченный мастер верховой езды, мог там рассчитывать? Сюда-то, по крайней мере, приходит на имя Терезы пенсия из Женевы.

Время от времени он все еще ездил в Париж. По соседству с Пале-Роялем, в полулегальных кабачках, он встречался со своими единомышленниками — с лакеями и бродягами «бывших», официантами первоклассных ресторанов, лишившимися заработка по вине нового порядка. Париж пришел в упадок, говорили они. Вместо катанья верхом люди бегают на роликовых коньках. Вместо изощренных чувственных развлечений времен расцвета забавляются детской игрой в жу-жу.

Когда Николай бывал в Париже, Тереза оставалась одна в маленьком невзрачном домике сьера Бесса. В тухлявой крыше шуршал соломой ветер, вечно дующий в плессийской долине. Тяжело дыша, выпятив свой мощный бюст, она сидела праздная, расплывшаяся, на вид старше своих лет. Люди дразнили ее: туша, глыба, неповоротли-

вая слониха. Полуоткрыв рот, она дремала, щеки у нее отвисли, тяжелые веки опускались на глаза. Ветер вдруг выводил ее из полузабытья, у нее мерзли руки, она прятала их в муфту. Она с удовольствием развела бы огонь в очаге, да боялась роскошествовать, боялась, как бы ей не влетело за это от ее милого Николаса.

С легким вздохом она встала и опять — в который раз! — принялась за уборку, так как ветер то и дело покрывал убогую утварь толстым слоем пыли. Она рассматривала свои платья — этим она занималась часто и охотно. Вот они развешаны и разложены: короткие туники, юбки из воклюзского полотна, черная тафтовая мантилья, пара шелковых и пара простых нитяных перчаток и чепцы, чепцы, множество чепцов: льняные, кружевные, муслиновые, с лентами и без лент, и все яркие, пестрые. Тереза с нежностью разглядывала платья, всем им было по многу лет. Она выбирала их с любовью и толком, и не один мужчина провожал ее вожделенными взглядами, когда она наряжалась в них. Теперь они стали ей тесны, но спиты они с запасом, их еще можно расширять и расширять. Взяв одно из платьев, она принялась перешивать его. Она вспоминала, какие ткани нынче в моде: полосатая флоренция, одноцветный пекин, сицилиана, нанкин. А эти милые длинные облегающие жакеты а-ля зулейка, с жилетками на турецкий манер. Тереза призадумалась: как поступить? Надеть ли удобные домашние туфли на теплой подкладке, которые она завела себе по примеру покойного Жан-Жака? Или, может, одеться по-настоящему, чтобы встретить своего Кола не такой неряхой?

Не торопясь, она тщательно оделась и даже слегка наумянилась. Потом пододвинула к столу стул с соломенным сиденьем. К глубокому, удобному креслу Жан-Жака она не прикасалась; оно было предназначено для ее дорогого Кола. Усевшись на стул, она подперла голову руками и стала ждать. Она научилась ждать; большую часть своей жизни она провела в ожидании, и ждать вовсе уж не так неприятно. На опыте она убедилась, что долгожданный и долгожданное в конце концов приходят.

Вокруг стояли привычные предметы ее домашнего обихода. Вот кровати с бело-голубыми покрывалами. Даже спинет еще здесь. Николас хотел было продать его, но за него давали ничтожную цену. Поэтому и еще потому, что Николас так ее любит, он в конце концов решил спинет

оставить для себя. Канареек уже нет, но клетки и гравюры, так хорошо и издавна знакомые, висели по стенам; вот «Лес Монморанси» и «Дети кормят парализованного нищего». Местечко Монморанси, правда, переименовано теперь в Эмиль в честь ее Жан-Жака. И ларь здесь, а в нем — писания. Она положила туда еще одну бумагу: письмо, в котором принц Конде удостоверял, что его милый Монтрету — превосходный наездник.

Тереза сидела за столом, ждала, дремала, опять ждала. Все смешалось в ее сознании, вещи вокруг ведь были все те же, и она уже не разбирала, где она: в Париже на улице Плятриер, в Летнем доме в Эрменонвиле или в Плесси — в доме сьера Бесса? Однажды она испуганно закричала: ей почудилось, будто ее окликнула мать. Но то был лишь ветер. Потом ей пришло в голову: а не время ли мужу ввести зонд? Жан-Жак и Николас слились воедино, и она не знала, то ли нужно растереть мужу спину, то ли ввести зонд. Всю свою жизнь она с кем-нибудь нянчилась, это стало для нее сладостной потребностью, и ей чего-то не хватало, если не с кем было возиться.

Теперь уж ей не обзавестись ни одной из прелестных новых тканей. Если она хотя бы отдаленно намекнет, что хочет новое платье, Николас ругательски изругает ее, да еще и прибьет. Правду сказать, ей и не нужны новые платья. Ее обыывают слонихой и говорят, что она глупа как пробка. Глупа-то она глупа, верно, но ей это пошло впрок. Пусть она и слониха, а все-таки не кто другой, а она выудила себе двух самых выдающихся мужчин Франции: Жан-Жака, которого теперь еще больше восхваляют, чем при жизни, и своего дорогого Николаса, бывшего владельца известного татарсолла, этой самой замечательной скаковой конюшни во всей стране. За Николасом вельможи бегали так же, как за Жан-Жаком, вся Франция дралась за ее мужчин, но достались они ей, и оба любили ее, один из них даже убил из-за нее другого. И всякие, даже знатные господа в нее влюблялись; то была хорошая жизнь, о, она умела ждать! И никогда не ждала напрасно, он всегда возвращался к ней.

Тереза улыбалась сквозь дрему — лукаво, счастливо, придурковато, вся во власти зыбкого дурмана, в котором все и всё перемешалось, и она ждала, и ветер на крыше шуршал соломой.

Глава третья

НИКОЛАС СНОВА НА КОНЕ

Некий господин, годами не дававший о себе знать, посетил Николаса и Терезу. Перед ними предстал гражданин Франсуа Рену, бывший сержант, сводный брат Терезы.

Он здорово сдал, ему нелегко было теперь изображать прежнего говорливого, разухабистого, самоуверенного забулдыгу, но тем не менее он изображал его.

Франсуа заговорил о событиях дня, он вполне сочувствует им, ведь он всей душой революционер. Он всегда высоко ценил идеи своего дорогого шурина Жан-Жака и даже одним из первых дрался за них в лесах Америки с наемниками английских тиранов и с подкупленными ими дикарями-индейцами.

Треща языком, Франсуа окидывал внимательным взглядом убогую комнату. Он с удовлетворением отметил, что вся знакомая обстановка и, в первую очередь, знакомый ларь, как бы там ни было, а пока еще на месте.

— В ларе-то еще что-нибудь есть? — спросил он, не в силах дольше сдерживаться.

— О да, — иронически ответил Николас. — Там, например, письмо принца Конде к моей скромной особе.

Тереза же, увидев, как разочарован Франсуа, гордо завила:

— Все в целости, все писания. Маркиз, этот «бывший», собирался прикарманить их, но Николас задал ему перцу.

— Я всегда говорил, что наш Николас башковитый малый, — одобрительно сказал Франсуа.

— Ты что ж, старая каналья, для того только и пожаловал, чтоб сообщить мне об этом? — поинтересовался Николас.

Тут Франсуа по-военному расправил грудь и произнес следующую речь:

— Мои дорогие, — и ты, моя единоутробная сестра, и ты, мой, с позволения сказать, шурин, оба вы не бог весть как хорошо поступили со мной. Но я не злопамятен. Как глава семьи, я обещал нашей покойной мамочке на ее смертном одре, что не оставлю вас своими заботами. Только что я побывал на могиле дорогой мамочки и, положив руку на сердце, заверил ее: на сержанта Франсуа

Рену можно понадеяться, он держит слово и в дождь и в ведро.

— Откачай-ка воду,— мрачно скомандовал Николас,— и выкладывай на чистом французском языке: какой там новый камень у тебя припрятан за пазухой?

Обдав Николаса косым, преисполненным достоинства и презрения взглядом, Франсуа продолжал:

— Я коротко знаком с депутатом Шапленом, смею даже утверждать, что мы с ним друзья. Вот это человек! Преданный жрец природы и разума, подлинный ученик нашего Жан-Жака. Партия Горы считает за честь, что он принадлежит к числу ее вождей. Он, как вам, конечно, известно, был капуцином, потом — генеральным викарием у епископа в Блуа. Но он освободился от старых предрассудков, как змея от старой кожи, и теперь его философия такая, что лучше и не надо. Шаплен питает слабость к художественной литературе, обожает Жан-Жака и с удовольствием познакомится с вдовой Жан-Жака. Про ее скромность, преданность и добродетель он читал в «Исповеди», да и я ему рассказал много похвального.

Николас ухмыльнулся.

— Не сойти мне с места,— сказал он,— если я не дружил со многими большими господами, даже с принцами крови. А скольких я научил держаться в седле! Так чтобы я, да стал заискивать перед каким-то вшивым депутатом из мужичья? Перед капуцином? Все капуцины смердят.

— Я бы на твоём месте,— ответил Франсуа,— попридержал немножко язык, любезный шурин. За бывших принцев королевской крови никто тебе нынче паршивого су не даст, зато мой бывший капуцин мановением мизинца может забросать тебя талерами. Не вижу я что-то, чтобы талеры дождем сыпались на вас. А они могут посыпаться ливнем, если вдова Руссо расшевелит страсти законодателя Шаплена.

— Понимаю,— пренебрежительно бросил Николас,— ты, конечно, не прочь выцыганить у этого Шаплена какую-нибудь грошовую подачку за сводничество с моей Терезой, а я потом сам растирай свою бедную задницу, так, что ли? Нет, этот номер не пройдет.

— Какое незаслуженное недоверие,— откликнулся Франсуа.— Я-то тебя знаю, и, разумеется, я расписал тебя депутату Шаплену в таких великолепных красках, в каких только совесть мне позволила. Так что гражданин

Шапплен ждет не одну вдову Жан-Жака, но и ее достославного *homme de confiance*.

И вот Тереза и Николас отправились за счет сержанта в Париж представляться депутату.

Депутат оказался тучным, неопрятным, жизнерадостным человеком. Из широко распахнутой рубашки выпирала объемистая шея с мощным загривкой. Грубошерстные штаны, надетые на голое тело, обтягивали массивные ноги. От своего родителя, шеф-повара у богатого настоятеля, Шапплен унаследовал вкус к хорошим яствам. Да и вообще он любил широко пожить. Он окружал себя предметами роскоши. Дом его был полон прекрасных картин великих мастеров, разнообразных кубков, чаш благородных форм, всевозможных художественных безделушек. Религиозные реликвии, к почитанию которых он привык с ранней юности, он заменил теперь изысканными антикварными редкостями и, в первую очередь, литературными уникалами — рукописями и старинными книгами. Жадный на жизнь, он пожирал все — науку, искусство, женщин, лакомые кушанья. Обладал бурной фантазией и вечно находился в погоне за приключениями. Он раскрыл заговор эмигрировавшей знати, агенты которой тайно собирались в замке Багатель. Приказал схватить их и всех предал суду. Сам он однажды подвергся нападению наемных убийц, подкупленных графом Артуа и другими «бывшими». Его ранили, но, к счастью, не тяжело, и с тех пор он пользовался еще большей любовью народа.

Париж тех лет не мог пожаловаться на недостаток в хороших ораторах; Шапплен считался одним из лучших. Его красноречие сочетало в себе античную монументальность и фанатизм проповедников-крестоносцев с чувствительной народностью Жан-Жака. Массы упивались его ораторским искусством.

Все, что касалось Жан-Жака, возбуждало в нем жгучий интерес. Глаза его разгорелись, когда Николас и Тереза показали ему толстые пачки изящной бумаги, испсанной твердым бисерным почерком учителя. Мясистыми руками он нежно поглаживал страницы.

Терезу он приветствовал как некую живую реликвию. Его растрогал вид этой слонихи, неповоротливой телом и душой. Он убедил простоватую и замшелую подругу Жан-Жака и ее милого дружка переехать в Париж со всеми их рукописями и поселиться вблизи от него на его средства.

Довольный Николас густо сплюнул. Поистине благодатная идея осенила его тогда — потребовать у маркиза рукописи. Он мысленно одобрительно похлопал себя по плечу. У него всегда был верный нюх. Он умел извлечь выгоду даже из самых неблагоприятных и пагубных обстоятельств. Всякий другой на его месте отнесся бы к этим писаниям как к выжатому лимону и думать бы про них забыл. Он же не пожалел трудов, он сочинил такое замечательное письмо, что оттягал их у маркиза. И вот теперь старая, истощенная почва дает новые, жирные всходы.

Тереза, счастливая и тупо недоумевающая, наблюдала за тем, как пылко чтит ее покойного Жан-Жака новый Париж. Гражданин Шаплен был ведь из духовных, а значит, понимал толк в этих вещах, и он отзывался об ее дорогом Жан-Жаке как о святом. Да и все так говорят о нем. Повсюду выставлены его бюсты, его портреты красуются во всех витринах. На улицах Де-Греннель и Плятриер, на домах, где в былые годы они жили с Жан-Жаком, прибиты мемориальные доски. А стоит человеку, который только что смотрел на нее безразлично или даже свысока, узнать, что она — вдова Жан-Жака, как выражение лица его сразу меняется и становится благоговейным, как в церкви.

О Терезе появилось множество газетных статей, была написана даже книга. Ее рисовали карандашом и писали красками. Особенно хороша была одна гравюра: на фоне унылого осеннего пейзажа Тереза гуляет по берегу Эрменонвильского озера. На заднем плане — маленький остров с тополями и гробницей, а она, Тереза, величественная и печальная, шествует в своем чепце, держа руки в муфте — такая благородная стареющая дама с чуть наметившимся двойным подбородком. Гравюра называлась «Подруга Жан-Жака». Продавалась она повсюду. Увидев ее, Тереза умилилась. Вот, значит, какая она, Тереза. Все ее ругали, обзывали слонихой, дурой, а на поверку выходит, что она такая прославленная дама. Какая жалость, что Жан-Жак не дожил до этого, что он не видит, как чествуют его верную подругу. Но зато какое счастье, что Кола это видит.

Фернана возмущал весь этот культ, созданный вокруг Терезы. О своей связи с ней он забыл, ее как и не было; что его раздражало, так это осквернение памяти учителя, принявшее такие комические, даже уродливые формы. После некоторых колебаний он спросил своего друга Лепелетье, не следует ли предпринять что-нибудь. Циник

Лепелетье ответил отрицательно. По его мнению, вся ситуация просто забавна.

— Сам Жан-Жак, — сказал он, — был бы, вероятно, доволен, что Терезе уделяется столько внимания. Впрочем, он, быть может, и посмеивается в гробу, но мертвые уста молчат. А если вы станете доказывать, что трогательные басни о Терезе — сплошная ложь, вы окажете плохую услугу и памяти Жан-Жака, и самому себе. Попробуйте доказать верующему, что мощи — это надувательство, и вы увидите: он ополчится не против мощей, а против вас.

Поклонение Терезе, подогреваемое Шапленом, не прекращалось. Друг Шаплена, известный драматург Буйи, задался целью написать пьесу «Жан-Жак и его подруга». Он отправился к Терезе и попросил ее рассказать об ее жизни с учителем. Но, увидев, что добиться толку у нее трудно, обратился к Николасу. И тот насочинил ему кучу коротеньких, за душу хватающих анекдотов из Терезиной интимной жизни с Жан-Жаком и из своей дружбы с ним. Пьеса была поставлена в бывшем Итальянском театре, ныне — театре Равенства. Зрители лили слезы, Терезу заставили обнять и поцеловать бюст Жан-Жака, толпа громкими криками приветствовала ее, успех был неслыханный.

В беседах драматурга Буйи с Николасом много места уделено было детям Терезы, отданным Жан-Жаком в Воспитательный дом. Хотя поведение Жан-Жака отчасти оправдывалось царившими при старом режиме неравенством, несвободой и небратством, все же на его лучезарный образ легла какая-то тень. Николас настоял, чтобы Тереза, забыв страдания, причиненные ей Жан-Жаком, самоотверженно и самоотверженно искупила его пресловутый поступок, вызвавший так много толков. Она продала с аукциона автограф песен Жан-Жака, известных под названием «Утешения», а выручку пожертвовала на приют для подкидышей. Обитатели этого учреждения — их называли теперь «Дети Франции» — в темных форменных платьях, в шапках с трехцветными кокардами пришли поблагодарить Терезу. И по этому случаю было также пролито море слез.

Наконец, Николас придумал номер, который должен был затмить все остальное. Рассчитывая на признательность депутата Шаплена, он заставил Терезу преподнести тому рукопись «Новой Элоизы». К тридцатипятилетию со дня рождения Шаплена Тереза вручила ему этот автограф.

Жан-Жак четырежды переписал «Новую Элоизу» от

румп, каждый экземпляр — с особой тщательностью. Данный экземпляр, предназначенный для одной из его знатных возлюбленных, он выполнил с особой любовью, но поссорился со своей дамой и положил рукопись в ларь. Эту-то рукопись Тереза и отдала теперь Шаплону.

Расплывшееся лицо Терезы дрогнуло, когда она вручала Шаплону желтовато-белые листочки, исписанные мелким изящным почерком. Ведь она сидела рядом с Жан-Жаком, когда он писал на этих листках. Она хорошо помнит, как мать ворчала, что столько хлопот стоит доставать для него синие чернила, уйму бумаги с золотым обрезом и тончайший песок и что все это так дорого обходится. Жан-Жак, несомненно, читал ей, Терезе, вслух из этой рукописи; ведь он все прочитывал ей. А потом сколько спорили из-за этих писаний. Николас своевременно предупредил матушку, но она не захотела отдать ему ларь, а потом подлый Жиарден, этот «бывший», уволок его, но ее оборотливый, ловкий Николас вырвал все рукописи у маркиза. И вот теперь она отдает эти листки доблестному законодателю. Так хочет Николас, а Николас знает, чего хочет.

Шаплен поблагодарил, явно обрадованный. Оставшись один, он погладил листки, умиленно и упоенно перечитывал их и бережно, с нежностью уложил в замечательную шкатулку из слоновой кости, в которой некогда хранились истлевшие мощи святого Лазаря и которая попала в руки Шаплена при конфискации церковного имущества.

Николас правильно рассчитал. Депутат Шаплен в своей благодарности не ограничился красивыми фразами. Он был представителем нации, и он добился того, что нация, в свою очередь, преподнесла вдове Жан-Жака ответный подарок.

Зимой, в одно из вечерних заседаний Национального собрания, в зале появилась Тереза Левассер — жена Жан-Жака Руссо перед лицом природы. Барьеры, отделяющие публику от законодателей, исчезли, депутаты встали со своих кресел, Терезу усадили на почетное место.

Депутат Шаплен поднялся на ораторскую трибуну. Он воздал должное Жан-Жаку как отцу революции. Он воздал должное Терезе, верному гению домашнего очага Жан-Жака и спутнице его жизни, его Евриклее и его Марфе.

Затем внес предложение — установить вдове Жан-Жака солидную пенсию.

Предложение было принято.

Глава четвертая ЗАГОВОР КОРОЛЕЙ

Фернан гордился званием депутата нового Законодательного собрания. Оно насчитывало в своих рядах прославленных ученых, блестящих ораторов и реформаторов, горящих честолюбием и жаждой подвигов. Большинство новых законодателей были молоды, едва ли старше Фернана. Еще ни разу со времен Афин Перикла и сципионовского Рима государством не управляла группа таких честных и одаренных мужей.

Новое Собрание сразу же энергично взялось за претворение бесхребетных и расплывчатых решений, принятых предыдущим Собранием, в четко сформулированные декреты, обязательные для всей нации. В стремительном темпе оно издало ряд законов, которые даже Мартин Катру и ему подобные не могли не признать зубастыми. Новые законодатели заключили в тюрьму всех священнослужителей, отказавшихся присягнуть на верность новому режиму, объявили о конфискации имущества всех бежавших дворян и заочно приговорили к смертной казни тех, кто не возвращался на родину в течение полутора месяцев.

Кипучая деятельность Законодательного собрания вдохновляла Фернана, но ему было горько, что даже эти просвещенные, решительные политики не чувствуют в себе достаточно сил для осуществления в колониях Декларации прав человека. Сообщения из Вест-Индии поступали скупо; все же было известно, что белое население очень страдало. О судьбе Гортензии и ее отца ни Робинэ, ни сам Фернан не получали никаких сведений, направлялись самые ужасные предположения. Тем горячее желал Фернан, чтобы все эти жертвы не оказались напрасными и чтобы освобождение цветных в Вест-Индии стало наконец фактом. Он требовал от своих коллег восстановить законы Лепелетье, предоставлявшие цветному населению колоний полное равноправие, а его, Фернана, направить в Кап-Франсэ для проведения законов. Но никто и слышать не хотел об этом.

— Дорогой друг, — возражали ему, — прежде всего мы должны упрочить революцию здесь, внутри страны. Нам ни к чему искать войну за морем, она у нас здесь, на собственных рубежах.

Так оно и было. Эмигранты превратили город Кобленц в главную ставку контрреволюции. Там, на германской земле, в непосредственной близости к французской границе, они собирали военные силы. А Австрия и Пруссия поддерживали их всеми средствами. Вожди новой Франции полагали, и не без оснований, что король состоит в заговоре с эмигрантами и с иноземными дворами и старается склонить их к быстрейшему нападению на освобожденный народ.

Часть депутатов считала, что необходимо предъявить ультиматум, опередив объединенное наступление королей реакционной Европы на Францию. Они требовали превентивной войны. Фернан был пламенным сторонником этих воззрений.

— Пусть знает Европа, — возглашал он с трибуны Соборания, — что в ответ на вызов враждебных сил десять миллионов французов, вооруженных мечом, разумом и словом, смогут преобразить лицо всего мира и низвергнуть все троны!

Собрание много раз посылало депутации к королю в надежде побудить его к войне с теми монархами, которые состояли в заговоре против новой Франции.

Однажды Фернан возглавил такую депутацию.

Прежний придворный этикет поблек и значительно сократился. Все же в Тюильрийском дворце сохранились еще длинные переходы, и обширные аванзалы, и несущие караул швейцарцы, и отвешивающие величавые поклоны камергеры. Следуя церемониалу, Фернан приложился к пухлой королевской длани. Людовик сидел, рыхлый, моргая тяжелыми веками выпуклых глаз; видно было, что ему претит вести переговоры с бунтовщиками, которых он явно предпочел бы заточить в Бастилию.

Фернан, произнося свою весьма искусно составленную, почтительную и в то же время грозную речь, в которой излагались требования законодательного корпуса, внимательно всматривался в толстое, усталое и напряженное лицо короля и ясно представлял себе, что творится за покатым королевским лбом. Этот Людовик Бурбон любил свой народ и свою страну и чувствовал себя обязанным всем пожертвовать для своей Франции. Но в то же время ведь он — король, отпрыск многих королевских поколений, и он чувствует себя обязанным сделать все, что в его силах, для восстановления богом данной абсолютной

монархии. Он несет ответственность перед Белыми лилиями и перед Трехцветным знаменем. Вот отчего он и тут и там проявляет нерешительность, и он бедный, несчастный, достойный жалости и очень опасный человек.

И Людовик тоже разглядывал Фернана, продерзостного сына старого глупца, из приверженности к философии приютившего в свое время у себя Жан-Жака и окружившего его удобствами. У американских повстанцев молодому Жирардену уже прострелили ногу, но он из этого так и не извлек урока. А теперь он осмелился приковылять сюда и предстать пред очи короля, требуя, чтобы он, король, объявил войну своим братьям, монархам Европы. Ему-то, молодому Жирардену, все нипочем. Он бунтарь и предатель по природе и по профессии, таким его бог создал. В аду с него за все спросят, но на земле этот счастливчик хорошо знает, чего хочет. Ему же, Людовику, провидение не послало такой легкой доли. Ему опять придется наперекор внутреннему голосу дать этому сброду кое-какие неопределенные заверения.

В медлительной, изворотливой речи Людовик пообещал, что он доброжелательно рассмотрит предложения, исходящие от верного ему Национального собрания. Как хорошо, думал он, что как раз на этой неделе удалось отправить тайное послание кузенам: римскому императору и королям Пруссии, Испании и Швеции. В своем послании он просит их подавить соединенными воинскими силами восстание во Франции и предупредить тем самым опасность распространения анархии, этого страшного зла, на всю Европу.

Но народные представители недолго довольствовались неопределенными обещаниями, и как только Австрия и Пруссия заключили союз, направленный против новой Франции, все же вырвали у короля согласие на вооруженный отпор союзникам. Всеми голосами против семи, под неистовый и шумный взрыв энтузиазма Национальное собрание вотировало объявление войны.

Восторженный подъем, охвативший законодателей, увлек за собой народ. Короли Европы вошли в тайный сговор, чтобы похитить свободу, так счастливо завоеванную Францией. Что ж, Франция наголову разобьет наглых хищников. Вряд ли когда-нибудь за всю свою тысячелетнюю историю французская нация вступала в войну с такой бесспорной уверенностью в своей правоте. Бесчис-

ленные добровольцы стекались под знамена революции, под трехцветные знамена свободной Франции.

И гражданин Жирарден, этот бывший маркиз, испытывал радостный подъем. Бегство Людовика потрясло его, оно порвало нити, связывавшие корону и народ. Но вот, на благо своей страны и на горе себе, Людовик расторг многолетний союз с Австрией и объявил войну родине своей супруги. И все сразу забыли об его прошлых ошибках и слабостях, и снова родилось нерушимое единство между королем и народом. Как же! Ведь великодушный, просвещенный король сумел поставить дело народа выше интересов собственной династии, он подчинился Всеобщей воле. Еще один новый и крупный шаг был сделан по пути, предугазанному Жан-Жаком.

Гражданин Жирарден посетил командующих французскими армиями, генералов Лафайета, Рошамбо и Люкнера. Ссылаясь на то, что во время Семилетней войны, в битве при Гастенбеке, ему уже пришлось, и не без успеха, померяться силами с герцогом Брауншвейгским, верховным командующим армией противника, он предложил свои услуги для участия в текущей кампании. Лафайет отклонил его предложение: мол, слишком много «бывших» занимают руководящие посты в армии. Жирарден был глубоко уязвлен. И все же он похоронил огорчение глубоко в сердце своем. Даже сыну ничего не рассказал.

Пришлось ограничиться задачей вселять в других свой энтузиазм. Он добился того, что его департамент выставил наибольшее количество добровольцев. Он дарил каждому пожелавшему вступить в армию двадцать пять ливров на путевые расходы и на приобретение обуви. А когда число добровольцев достигло значительных размеров, Жирарден устроил для них праздник в своем замке и обратился к ним с пламенной речью. Уж если ему, сказал он, с солдатами, прошедшими суровую, деспотическую муштру, удалось обратить в бегство герцога Брауншвейгского, то не подлежит сомнению, что армия, состоящая из добровольцев-энтузиастов, одержит над этим противником куда более блистательную победу.

В душе Жирарден отнюдь не чувствовал уверенности в победе. С начала революции верховное командование армии многократно менялось, многие из числа наиболее опытных офицеров и генералов эмигрировали. Так сможет ли молодая, наспех сколоченная, плохо дисциплинирован-

пая армия оказать сопротивление хорошо вымуштрованным и возглавляемым опытными командирами войскам европейской коалиции?

Вскоре неприятельские отряды действительно вторглись в пределы Франции. Первое столкновение произошло под Лиллем. При одном только виде австрийцев французы обратились в бегство с криками: «Нас предали!» — и убили своего генерала. Пьемонтские полки переступили границу на юге. Восточные крепости, Лонгви, Верден, пали. Командование союзников торжествовало. Разве это кампания? Да это просто прогулка в Париж.

Катастрофическое положение на фронтах угрожало спокойствию и порядку внутри страны. Массы не верили в слабость армии: измена — вот в чем они видели единственную причину поражения. Всех «бывших» народ объявлял предателями. И прежде всего — короля.

Однажды народные массы уже проникли в Тюильрийский дворец. Тогда они, правда, еще в благодушной форме, попрекнули короля в неискренности, навязали ему свои непрошенные братские чувства и нахлобучили на голову революционный фригийский колпак. Теперь же, после иступленной речи депутата Шаплена, они вторично штурмовали королевскую резиденцию. На сей раз все происходило далеко не так благодушно. Было много убитых, королю пришлось бежать, его поместили в смахивавший на тюрьму замок Ле-Тампль.

Париж бурлил. Власти благосклонно терпели мятеж. Тюрьмы брались штурмом, массы сами творили суд и расправу и особо ненавистных «бывших» тут же приканчивали. Памятники прежних королей, украшавшие собой многие городские площади, низвергались с пьедесталов под патриотические песни и ликующие клики. Работа эта была не из легких. Бронзовые короли и их бронзовые кони оказывались часто не в меру крепки, а памятник Людовику Четырнадцатому, падая, убил поющую женщину. Бронзовую руку Людовика Пятнадцатого толпа сохранила для обожаемого и чествуемого ею депутата Шаплена, приобщившего ее к своей коллекции курьезов. Даже почитаемый народом Генрих Четвертый, столько десятилетий любившийся с Нового моста Сеной, не избежал общей участи.

Вера Жирардена в то, что человек добр, уже и без того изрядно потрепанная и кое-как подлатанная, на этот раз основательно пошатнулась. К сожалению, все произошло

именно так, как напроорочил проклятый мосье де Гримм: народовластие, о котором мечтал Жан-Жак, выродилось именно в ту форму господства черни, которая была так ненавистна учителю,— в охлократию. Человек был и остался варваром.

И уверенность Фернана события последнего времени несколько подорвали, хотя надежда на конечную победу не покидала его. Больше всего его потрясли поражения на фронте. Он не мог постичь, почему его друзья — Лепелетье и в особенности Мартин Катру — совершенно спокойно относятся к ним. Больше того, они приветствовали поражения. Мартин Катру, чуть не ликуя, говорил в Якобинском клубе: «Да ведь это подлинное счастье, что война так складывается. Она укрепит свободу и начисто выметет вон последние остатки деспотии».

— Главную опасность представляли ваши старые генералы,— объяснял он Фернану.— Все они в душе монархисты — и твой Лафайет, и другие твои подозрительные «американцы». Если бы они победили, они вернулись бы в Париж, удушили бы революцию и восстановили всехристианнейшего во всех правах. Теперь народная армия взяла войну в собственные руки, прогнала вашего Лафайета и заменила двуручнических генералов надежными революционерами. Теперь истинное отсеено от ложного. Да здравствует поражение,— воскликнул он зло, упрямо.

— Но ведь враг идет на Париж,— воскликнул Фернан. Неужели недоверие и ненависть так ослепили Мартина, что он не видит до ужаса реальной опасности?

Мартин самоуверенно покачал головой.

— Теперь, когда народ сам повел войну, его никто не победит. Помяни мое слово: враг в Париж не войдет.

Поражения на фронте и восстания внутри страны подорвали авторитет Законодательного собрания. Кругом раздавались голоса: конституция устарела, необходимо издать новую конституцию, подлинный Общественный договор. Основанный на чистом Разуме, истинно революционный, он должен на веки вечные определить правовые отношения отдельного гражданина к государству. Были объявлены выборы в новое народное представительство.

Фернан на этот раз тоже выставил свою кандидатуру. Но теперь и он почувствовал на себе общее недоверие к «бывшим». Его забаллотировали. Место его занял Мартин Катру.

Всего семеро «бывших» вошло в новое Собрание, в том числе Мишель Лепелетье.

Фернан не был завистлив. Но все же ему было больно, что народ, принявший Лепелетье, его отверг. При этом Лепелетье не делал никаких уступок. Он отправлялся в Якобинский клуб в своей роскошной карете, в роскошном, аристократически изысканном костюме, нередко вместе с гесьма нарядной дамой. Случалось, что пешеходы, которым приходилось спасаться от резвых коней, враждебно озирались; но стоило им узнать своего Лепелетье, как они тут же дружески приветствовали его. Почему же тогда он, Фернан, остается для народа «бывшим», чужим? Отчего ему отказано в счастье стать звеном в общей цепи, быть братом среди братьев?

Когда вновь избранное Собрание, Конвент, сформировалось, прежний состав представителей снял с себя полномочия и торжественно ввел новых представителей в зал заседаний.

Фернан, уйдя в отставку, вернулся в Эрменонвиль.

Глава пятая ГОРЬКОЕ СЧАСТЬЕ

Конвент на первом же заседании объявил монархию свергнутой и провозгласил Республику. Далее, постановил создать более решительную конституцию на основе «Общественного договора». Введен был также новый календарь. Он начинался с года Первого Единой и Неделимой Республики.

Чудесным предзнаменованием в день открытия Конвента прозвучала весть о перемене военного счастья. В этот первый день работы Конвента одна из французских армий, оборванная, усталая от войны, плохо вооруженная, одержала под деревушкой Вальми решающую победу над неприятельской армией, вооруженной по последнему слову военной техники. Войска союзных королей вынуждены были срочно начать отступление. Солдаты Республики один за другим взяли Верден и Лонгви, заняли Шпейер, Майнц, Франкфурт, вторглись в Савойю, наводнили Голландию, Бельгию.

Победы эти поразили Европу.

Неприятно поразили они и мосье Робинэ. Он всегда

был невысокого мнения об аристократах, но что они так жалко спасуют, — этого он не ожидал.

Очень не нравились ему и дела, творившиеся в Париже. Его политическая теория была проста: нужно, чтобы страной правил избранный круг людей, доказавших свой талант умением наживать богатство. Правда, большинство депутатов Конвента — богатые и разумные люди, представители буржуазии. Но, к сожалению, чернь приобретает все большее влияние, а это добром не кончится, ибо чернь еще глупее, чем аристократы.

Робинэ не сомневался в конечной победе хорошо обученных армий союзников. Он решил дожидаться этой победы во Франции. Было бы забвением своего долга по отношению к внучке и правнучке, если бы он отказался от превосходных дел, которые теперь прямо-таки сами шли в руки.

Оставаться во Франции было небезопасно. Большинство тех откупщиков, которые не скрылись, сидели в каталажке. Он-то, не в пример им, был достаточно умен и не присвоил себе дворянского титула ни по одному из своих владений. А сейчас он держался в тени. Заколотил все свои замки, а также дворец в Париже, жил в Латуре тихо и уединенно, с очень небольшим количеством слуг. Щедро жертвовал на всякие учреждения новой Франции. Нет, ему-то вряд ли угрожала какая-либо опасность.

Он спокойно отнесся к конфискации Сен-Вигора и тут же через подставное лицо снова купил и замок и имение. Все коммерческие сделки он совершал через подставных лиц. Скупал, что только мог скупить, в широких масштабах делал поставки для армии, и все это — через подставных лиц.

А когда придет желанный день, когда объединенные роялистские армии триумфальным маршем войдут в Париж, тогда среди победителей окажется муж его внучки, заслуженный воин граф Матье де Курсель. И тогда Робинэ выступит вперед из темного закутка и докажет, что в отсутствие своего героического родственника преданно и успешно вел его дела.

Но произошло событие, вверх дном перевернувшее все планы мосье Робинэ. Было получено известие, что Матье де Курсель, прикрывая своим батальоном отступление полка, пал в бою за королевские лилии Франции.

Жильберта, услышав это, окаменела. Мосье Робинэ никогда не думал, что можно так побледнеть. Он погладил ее похолодевшую руку. Она отняла у него руку и вышла из комнаты. Он понимал, что в ней происходит: Жильберта обвиняла его и себя самое в нелепой кончине Матье, этого порядочного человека, который любил ее.

Два дня она не показывалась. Он посылал ей еду, она почти ни к чему не притрагивалась. На третий день она сошла вниз. Некоторое время они сидели молча. Потом она сказала:

— Это нечеловечески больно, дедушка.

Думая о своем будущем, рассудительный Робинэ приходил в безрассудную ярость. Он вдруг понял, что оставался здесь вовсе не ради умножения своих богатств, а потому, что хотел удерживать возле себя Жильберту и маленькую Марию-Сидонию.

Подвергать себя и дальше опасности — бессмысленно. Вечность может пройти, прежде чем Европа положит конец всему этому безобразию. А сколько зла тем временем успеют натворить парижские безумцы! Он, Робинэ, в опасности, но еще большая опасность грозит Жильберте, вдове врага Республики. Надо бежать из Франции.

Однако он знал Жильберту. Как она ни благоразумна, но и она заразилась новыми идиотскими идеями, болтовней того самого чудака, который лежит здесь неподалеку, под своими тополями. Жильберта не захочет уехать, будет упорствовать в своем желании остаться и приводить в оправдание тысячи причин, но главной причины не назовет. Ибо главная причина — этот проклятый мечтатель, фантазер, глупец, этот молодой Жирарден.

И вот носившемуся с такими мыслями Робинэ доложили о приезде Фернана.

Весть о смерти Матье ввергла Фернана в глубокое смятение. Он никогда не желал зла мужу Жильберты. Ратуя за войну, он даже в глубине души не затаил мысли об этом честном человеке, по долгу совести покинувшем страну. Великий переворот смел с лица земли многих более значительных людей, но в этой смерти, казалось ему, он, Фернан, чем-то повинен.

Увидев Фернана, мосье Робинэ не скрыл своего гнева. Этаким глупец. Этаким дурень, подламывающий сук, на котором сидит он сам и его друзья. Он внес законопроект о конфискации эмигрантских имений. Он вверг

Францию в братоубийственную войну, стоившую жизни Матье.

— Теперь вы видите, что натворила ваша философия, мосье,— встретил его Робинэ.— Сначала вы болтаете о природе и о мире, о равенстве и братстве, а потом развязываете гражданскую войну. Бедный Матье! Но он, по крайней мере, знал, где его место.

Фернан был изумлен, что этот старик, эта ходячая рассудительность, так сильно взволнован и не скрывает своих чувств.

— Ваше горе извиняет вас, мосье,— сказал он.— Я воздерживаюсь от возражений, дабы не углублять вашего гнева. Я желал лишь выразить вам и Жильберте свое участие, свое искреннее соболезнование.

— Оно не воскресит Курселя,— издевался Робинэ.

На пороге стояла Жильберта. Черное платье подчеркивало ее бледность; такой бледной Фернан никогда ее не видел. Она стояла в дверях и смотрела на него. Слова не шли с ее губ. И Фернан не мог рта раскрыть. Опять это была совершенно новая Жильберта и в то же время прежняя.

Возвращаясь к жизни после оглушившего ее удара, она странным образом прозрела.

Хотя Жильберта и возражала дедушке, когда тот говорил о неизбежной конечной победе монархии, в глубине души она никогда по-настоящему не верила в прочность Республики. Она унаследовала от матери отношение к сильным мира сего, к привилегированным, к представителям власти как к чему-то незыблемому, как к своего рода судьбе. Они на столетия останутся на земле, как вековые утесы. Жильберте казалось немыслимым, чтобы этот юркий старик Жан-Жак и ее чудесный, но все же немножко свихнувшийся Фернан могли надолго свергнуть тысячелетнюю державу. В философии Фернана она видела только его конек, на котором он скачет, упрямый мечтатель, на котором он доскакал до лесов Америки, до трибун парижских мятежников. Но допустить мысль, что эта деревянная игрушка оживет и будет жить, нет, вздор это! — думала она. В сокровеннейшей глубине души она не верила, что ее дитя так и вырастет рядовой гражданкой, а не графиней Курсель, после всех тех жертв, которые она, Жильберта, принесла в борьбе за привилегии.

Смерть Матье сразу и с корнем уничтожила ее глубоко скрытые надежды. Благоразумный Матье, один из вель-

мож, один из несокрушимых, как вековечные скалы, побежден и мертв, а Фернан, мечтатель, вечный отрок, мудрый безумец, он тут, он жив, и он оказался прав. Жизнь показала, что его безумие разумнее, чем благоразумие Матье и дедушки. Старый мир рухнул раз и навсегда, и она, Жильберта, осталась без опоры и без крова, беспомощная, потерявшая почву под ногами. Она с самого начала все делала наизусть. Не Фернан был ребенком и мечтателем, а она была маленькой глупой девочкой. Она прогнала от себя человека, который великодушно предлагал перебросить для нее мост в свой новый мир. Да, прогнала, глупейшая из глупых.

Глядя на Фернана, который сделал несколько шагов ей навстречу, смущенный и все-таки очень мужественный, хромающий и все-таки твердо стоящий на своих ногах, она вдруг безудержно зарыдала. Она вся растворялась в охватившем ее чувстве смирения, сладостно было смириться перед ним.

Фернан никогда не видел Жильберту плачущей. Он был удивлен, смущен, счастлив. Он не решался что-либо сказать, не решался приласкать ее, хотя чувствовал ее сейчас очень близкой, как в далекие, далекие времена.

Робинэ все еще находился в комнате, но они о нем забыли. Он видел, как они поглощены друг другом. Робинэ не был святошей, его не интересовали внешние условности, но, хотя эти двое только издали смотрели друг на друга, то, что происходило на его глазах, было непростительной бестактностью. Первый раз за всю жизнь своей внучки он не понимал ее. Весть о смерти Матье потрясла все ее существо, а теперь она стоит здесь и не может отвести глаз от этого человека! Робинэ хотел что-то сказать ей, это был его долг. Но боялся: если произнесет хоть слово, он и Жильберту потеряет. Он почувствовал себя очень старым и непонятым и незаметно вышел из комнаты.

— Мне очень, очень жаль, — сказал наконец Фернан. Потом прибавил: — Для вас это жестокий удар.

Больше он ничего не сказал. В устах человека, увлекавшего своими речами Законодательное собрание, это были убогие слова, но во взгляде Жильберты светилась благодарность. И вдруг он понял, почему она тогда не хотела отпускать его в Америку и почему она вышла замуж за Матье. И он с радостью понял еще, что теперь она раскаивается и в том и в другом.

Вошла маленькая Мария-Сидония. Девятилетняя девочка была вся в черном. Ей пришлось отучиться от приобретенных с таким трудом манер: обстоятельные реверансы и глубокое приседание теперь не разрешались, но в своем длинном, черном, тяжелом платье, делавшем ее совсем взрослой, и в присутствии Фернана она вдруг превратилась в маленькую графиню Курсель и машинально склонилась перед графом Брежи в реверансе.

Жильберта и Фернан по-прежнему молчали, лишь изредка обменивались несколькими словами. Но вдруг он почему-то заговорил о Сан-Доминго, о том, что оттуда доходят только очень скудные и страшные вести, а у него там друзья, у него там очень близкая подруга, и как это ни ужасно, но весьма возможно, что друзья его погибли в этой грязной войне между цветными и белыми.

Жильберта отлично знала, почему он ей это рассказал. Но так же, как давеча он нашел лишь самые немудреные слова для нее, она тоже сказала очень просто и искренне:

— Да, время тяжелое для всех нас.

Они опять замолчали. Маленькая Мария-Сидония сидела с серьезным видом. Разжиревшая собачка Понпон астматически тявкала.

Фернан распрощался и ушел. Они с Жильбертой много молчали в эту встречу, но обоим казалось, что они вели долгий задумчивый разговор, как в былые дни, дни их самой тесной дружбы.

Это новые времена привели их друг к другу. Революция страшным образом порвала все, что связывало Жильберту с двором, и с беспощадной четкостью указала, где ее место. Теперь она с полным правом могла назвать себя гражданкой Курсель, она была у цели, но и Фернан, счастливый, чувствовал, что нашел то, что искал.

Глава шестая ЗЛОВЕЩИЕ ГОСТИ

Семьсот сорок девять членов насчитывал Конвент. Все они исповедовали принципы Жан-Жака, чье рельефное изображение, высеченное на одном из камней разрушенной Бастилии, смотрело на них сверху. Все они единодушно стремились создать республику в духе Жан-Жака. Но

они по-разному представляли себе пути для достижения поставленной цели. Многие из депутатов были видными буржуа, подчас очень богатыми. Их «радикализм» первых лет революции сменила умеренность. Насилие пугало их; если его нельзя было избежать, они красивыми фразами старались придать ему видимость порядка и законности.

Незначительное меньшинство, менее ста депутатов из семисот сорока девяти, полны были решимости при всех условиях и всеми средствами, не останавливаясь перед насилием и кажущейся несправедливостью, добиться торжества принципов Жан-Жака, торжества полного равенства, всех прав для всех.

Эти ярые демократы занимали в помещении манежа, где заседал Конвент, самые верхние места, и депутат Шаплен, со свойственной ему склонностью к образным выражениям, назвал эту часть зала «La montagne — Гора», и с тех пор партию эту так и называли.

Лидером монтаньяров безоговорочно считался Максимилиан Робеспьер. Мартин Катру, без колебаний занявший свое место на Горе, с изумлением, почтительностью и не без сострадания наблюдал, как изменился Робеспьер с тех пор, как взял на себя столь гигантскую задачу. В первый раз, когда Мартин увидел его на ораторской трибуне Якобинского клуба, у него был ласковый рот, добрые глаза, чистый, ясный лоб. Теперь губы Робеспьера почти всегда сурово поджаты, лоб изрезан глубокими складками, глаза, если их не прикрывают зеленые стекла очков, неподвижны, — глаза человека, погруженного в себя; от улыбки Максимилиана сжималось сердце, а смех его — он очень редко смеялся — звучал резко и жестко. Сверхчеловеческая задача — вести все выше по крутой стезе добродетели избранное меньшинство праведников — хотя и сообщала Робеспьеру громадную силу, но и возлагала на него неимоверное бремя.

Был еще один человек среди товарищей Мартина по партии, к которому Мартин с первого дня питал глубокое уважение: самый молодой из депутатов — Антуан де Сен-Жюст, высокий и очень стройный юноша, едва достигший двадцати пяти лет. Одевался он с необычайной тщательностью и изяществом. Высокий воротничок был повязан несколько даже щеголеватым по ткани и расцветке бантом. Овальное лицо отличалось девической нежностью кожи; над греческим носом светились большие серо-голу-

бые глаза с высокими дугами густых бровей. Темно-русые волосы, слегка начесанные на лоб, длинной волной виспадали на плечи. Манеры у Сен-Жюста были спокойные и изысканные, движения — размеренные до чопорности; но в огромных глазах горел буйный внутренний огонь, укрощенный внешней дисциплинированностью и несокрушимой рассудочностью.

Сен-Жюст не пропускал ни одного заседания Конвента, но он никогда не брал слова. Тем не менее он обращал на себя всеобщее внимание. Это объяснялось не столько его из ряда вон выходящей внешностью, сколько дружбой с Робеспьером; часто они вместе приходили в Конвент, часто вместе покидали зал заседаний.

Мартину стоило большого усилия воли решиться заговорить с Сен-Жюстом. Он заговорил. Сен-Жюст спокойно и до неприличия пристально разглядывал суровое, умное лицо грубоватого, коренастого Мартина. И только затем ответил, вежливо, деловито, обстоятельно. Мартин просиял: Сен-Жюст не отверг его.

Молодые депутаты Сен-Жюст и Катру побывали друг у друга. Переехав в Париж, Мартин снял квартиру в каком-то безобразном доме на одной из безобразных окраин города. Элегантный Сен-Жюст поднялся по истертым, выщербленным ступеням в квартиру, забитую безвкусной мебелью, и Мартин почувствовал себя польщенным, как никогда в жизни.

Конвент упразднил монархию, но большинство умеренных медлило с решением личной судьбы короля. А народ все громче требовал, чтобы рассчитались наконец с Людовиком Капетом — его называли теперь по имени его династии, — с тираном, с изменником.

У Робеспьера не было сомнений в том, что Людовик должен умереть. Правда, казнь тирана вызовет новый военный натиск королей Европы, а малодушные в Конвенте и в народе поднимут неистовый вой. Но подобные доводы против казни бессильны перед доводами за нее, начертанными в книгах Жан-Жака. Людовик должен умереть; только тогда Жаны и Жаки займут его место, а что так будет — в этом Максимилиан поклялся учителю.

С присущей ему логичностью он перечислил Сен-Жюсту свои соображения. Тот на лету схватывал каждое слово Максимилиана, они обменивались мнениями тихо,

сдержанно, в полном согласии, исходившем от полного единомыслия. Эти серьезные люди, один молодой, а другой еще моложе, улыбались от сознания того, как глубоко они понимают друг друга.

Они поехали в Эрменонвиль, на могилу учителя, почерпнуть силы для предстоящей борьбы во имя его.

Медленно, в молчании шли они по садам. Была осень; статуи и храмы зябли в голом парке под свинцовым небом. Максимилиан вспоминал, как он бродил по этим дорожкам с Жан-Жаком в один из последних дней его жизни, как Жан-Жак рассказывал ему о ботанике, об этой приятнейшей из наук, а потом горько сетовал на людей, которые его не понимают и ненавидят за любовь к ним. И только теперь Максимилиан по-настоящему понял учителя. Кто подлинно любит людей, тот привлекает на себя их ненависть, ибо ему приходится совершать поступки, оправдываемые только этой любовью; без нее они были бы немыслимыми преступлениями.

Друзья подошли к озеру. На маленьком острове под высокими, стройными оголенными тополями трогательно, вызывая чувство благоговения, белело надгробье.

Сен-Жюст опустился на скамью под ивой, а друг его один, отвязав лодку, поплыл на остров. Запахнув оливкового цвета плащ, обнажив голову, Максимилиан, прямой и стройный, стоял перед одиноким, серовато-белым алтарем, резко выделявшимся среди голых деревьев острова на фоне осеннего неба. Под холодным, сырым ветром неподвижно стояла тонкая фигура Робеспьера, на плечи которого провиденье взвалило бремя заветов Жан-Жака. Тщательно причесанный, он обратил бледное сухощавое лицо к камню, под которым лежал учитель.

Он стоял, всецело владея собой, но до глубины души потрясенный величием своей миссии: уничтожить Людовика во имя торжества Жан-Жака. Слова высочайшей суровости, сказанные Жан-Жаком в одной из его книг, пришли ему на память: «В славные времена Римской республики ни сенату, ни консулам, ни народу в голову не приходило творить милосердие». И еще одна мысль Жан-Жака вспомнилась ему: «Кто нарушает общественный договор, тот ставит себя вне государства; он враг обществу, и его нужно уничтожить».

Именно кротость и привела Жан-Жака к суровости; логика человечности сделала его сильным и неумолимым.

И эта твердость, рожденная человеколюбием, продолжает жить в нем, Максимилиане. Да, он поступит в духе кроткого учителя, если, свергнув тысячетелный трон французской монархии, низвергнет в ту же пропасть и того, кто сидел на нем последним.

Когда они шли назад по дорожкам Эрменонвильского парка, он поделился с Сен-Жюстом своими мыслями. Человеколюбие Жан-Жака, сказал он, было не слепой чувствительностью, а избирательной мудростью. Для отдельного человека и его личных забот Жан-Жак обладал мягкостью своего «Савойского викария», а для государства и его граждан — суровостью «Общественного договора». Он не боялся в одном случае утверждать то, что в другом отрицал. В этой высокой односторонности заключалось его величие. Некоторые философы и депутаты, из наших умеренных, из жирондистов, эти гибкие, невероятно образованные, обладающие тонким вкусом люди чересчур много видят одновременно; их гибкость делает их слабыми. Кто хочет идти вперед, должен смотреть только прямо перед собой. Избыток философии ослабляет волю. Республика нуждается в людях, сильных своей односторонностью.

Позднее, уже по дороге в Париж, и Сен-Жюст рассказывал другу, о чем он думал, сидя на скамье под ивой. Не странно ли, что драгоценные останки духовного отца Республики покоятся здесь, в этом пустынном парке, под охраной какого-то нелепого «бывшего», делающего вид, будто бы они являются его собственностью. Разве то, что тело Вольтера покоится в Пантеоне, а тело Жан-Жака погребено в парке мосье де Жирардена, закрытом для народа, не противоречит здравому смыслу и достоинству Республики?

Антуан Сен-Жюст прав, подумал Робеспьер, Жан-Жак имеет право на Пантеон, Париж и народ имеют право на останки Жан-Жака. Но в памяти Максимилиана Робеспьера глубоко запечатлелась картина, как он, тогда на пятнадцать лет — ах, не на пятнадцать, на тысячу лет моложе! — гулял с учителем по Эрменонвилю. Воспоминание о Жан-Жаке навсегда связано у него с этими садами; он мог представить себе учителя только среди этих деревьев и холмов, у небольшого озера.

— Вы правы, Антуан, — сказал он. — Но я знаю из собственных, столь дорогих для меня уст Жан-Жака, как нравились ему Эрменонвильские сады. Парижу излишне

напоминать о нем; это делают победы тех армий, которые родились из его книг и из его идей. Пусть тело его покоемся под его любимыми деревьями — *jaceat, ubi jacet*¹.

Сен-Жюст не обиделся на то, что его предложение было отвергнуто. Но другу было неприятно, что пришлось ответить отказом Сен-Жюсту, и ему захотелось показать, как сильно он его любит и уважает.

— Я предложу, чтобы от нашей партии во время прений в Конвенте о суде над королем выступили вы, Антуан, — сказал он.

Бледное лицо всегда сдержанного Сен-Жюста вспыхнуло. Вся страна ждала, что большинству в Конвенте ответит Робеспьер, который потребует суда. Какое доказательство высокого доверия со стороны Максимилиана это предложение! Была ли хоть у одного оратора когда-либо за всю историю человечества более великая тема, чем требование революционной Франции уничтожить деспота и изменника? Жгучий патриотизм и жгучее честолюбие молодого человека слились в единое пламя. Понадобилось много самодисциплины и воли, чтобы столько времени молча сидеть в Конвенте и только слушать, — и вот теперь его изумительный друг награждал его за терпение.

— Если вам это угодно, Максимилиан, я выступлю, — сказал он и, выдержав паузу, прибавил: — Благодарю вас, Максимилиан.

Глава седьмая

ДЕБЮТ

Прения о судьбе короля начались в хмурый ноябрьский день.

От имени большинства умеренных выступил депутат от Вандеи Шарль-Габриель Морисон, один из знаменитейших юристов. В чеканной речи, блиставшей безупречной логикой, он доказывал, что ни правовые нормы страны, ни извечные принципы юстиции не допускают привлечения короля к судебной ответственности, как ни чудовищно его кровавое преступление. Законы, которые он преступил, введены после того, как совершено преступление. Задача Конвента состоит в том, чтобы привлечь к суду монархию, а не неприкосновенную особу монарха. Если Республика

¹ Пусть покоемся там, где покоемся (лат.).

хочет обеспечить свою безопасность, пусть заточит бывшего короля в надежную крепость или административным путем отправит его в изгнание за пределы Франции.

Все ждали, что оппонентом партия Горы выставит Робеспьера и тот камня на камне не оставит от убедительной речи Морисона. Но вместо Робеспьера слово получил молодой человек, которого никто, в сущности, не знал и который еще ни разу не выступал, — депутат от департамента Эн, Антуан де Сен-Жюст.

Медленно поднялся оратор по девяти высоким ступеням на трибуну. И вот он стоит, осененный трехцветным знаменем Республики. Сверху, с барельефа, на него смотрит Жан-Жак. Позади, на стене, огромный щит, обрамленный ликторскими пучками — символом правосудия, — возвещает Права человека, и два гигантских канделябра с бесчисленными свечами освещают бледное лицо оратора.

Без малейшего следа смущения Сен-Жюст кладет перед собой рукопись, поправляет на шее бант, оглядывает зал и начинает:

— Я докажу вам, граждане законодатели, что и речи не может быть о неприкосновенности, которую Морисон требует для бывшего короля Людовика; как раз напротив: державный народ вправе обойтись с Людовиком Капетом так, как это диктуется его, народа, интересами. Я заявляю и докажу сейчас, что Людовика следует рассматривать как врага и поступать с ним как с врагом. Назначение наше не в том, чтобы изыскивать тонкие юридические формулы для оценки его действий, а в том, чтобы окончательно одолеть его.

Умеренные были приятно удивлены, что оппозиция так облегчила им задачу. Чуть ли не с улыбками слушали образованные и искусные ораторы и писатели первые самоуверенные фразы, которыми этот неопытный юнец начал свою речь; без всякого труда, с благодушной иронией они разделяются с ним.

— Нам предстоит учредить Республику, — говорил Сен-Жюст. — А республики не учреждаются при помощи юридических ухищрений и крючкотворства. Излишняя изощренность ума и излишняя утонченность морали — преграды на пути свободы. Грядущие поколения не поймут, как могло случиться, что восемнадцатый век оказался консервативнее века Цезаря. Тогда тиранов лишали

жизни среди бела дня, во время заседания сената, и не существовало иных формальностей, кроме двадцати трех кинжальных ударов, иного закона, кроме свободы Рима.

Зал манежа вмещал две тысячи человек — три тысячи находилось в нем. Затаив дыхание, слушали они оратора, в зале и на галереях стояла глубокая тишина, уверенность жюристов поколебалась.

Между тем оратор не сказал ничего нового, он изложил известное, неправильное и террористическое толкование, которое партия Горы давала учению Жан-Жака. Новое заключалось лишь в форме, в классической простоте, с которой оратор излагал свои кровавые требования. Он читал без пафоса, свойственного монпаньярам. Невозмутимо, холодно, четко слетали с девически нежных уст злое слова, до прозрачности бледное лицо оставалось неподвижным. Красноречие этого депутата словно гипнотизировало, жгучая холодность юноши Сен-Жюста захватила даже его противников.

Мартин Катру самозабвенно слушал. Мысли, высказываемые его другом Сен-Жюстом, были мыслями и его, Катру, и Максимилиана Робеспьера, но насколько иначе они звучали в этих устах, куда более отточенно, совсем по-новому. Их рождала логика республиканского сердца, в них слышался суровый, неустойчивый шаг революции.

— Вправе ли народ, стоящий у врат своей свободы, благоговеть перед цепями, которыми его опутывали? — спрашивал Сен-Жюст. — Как можете вы построить Республику, граждане, если топор дрожит у вас в руках? Народы не вершат справедливости по параграфам запыленных фолиантов свода законов, народы мечут смертоносные молнии. Граждане! Суд, призванный вынести приговор Людовику Капету, — военный суд. Середины здесь нет: либо вы возвращаете тирану его венец, либо вы тирана обезглавливаете.

В безмолвии внимали три тысячи собравшихся, зачарованно глядя на молодого человека, чьи холодные, размеренные слова настойчиво требовали: смерть, смерть!

Было запрещено прерывать ораторов Конвента аплодисментами или выкриками с мест. Но люди, сгрудившиеся на галереях, не могли более сдерживаться, они аплодировали Сен-Жюсту, они истоптленно требовали:

«La mort! La mort! — Смерть тиранам!» Председатель покрыл голову, призывая к спокойствию. Толпа бесновалась. Молодой человек на трибуне поднял руку; легким движением пальцев он добился того, чего председатель не мог добиться. В зале наступила тишина.

— Этот человек, — разъяснял Сен-Жюст, — втайне собирал войска, втайне объявлял вне закона всех добропорядочных и отважных граждан, втайне содержал собственных чиновников и послов. Он рассматривал граждан свободного народа как своих рабов. Он несет ответ за убийство необозримого числа граждан в Нанси, на Марсовом поле, в Тюильри.

Умеренные давно поняли, что дело их проиграно. Спокойные слова изящного молодого человека на трибуне решили судьбу короля. Да, за ними, за умеренными, стоял только разум и опыт государственной деятельности, а за этим юношей стоял народ, кровожадный и необузданный.

— Приведите его на свой суд, граждане, — заключил Сен-Жюст. — Завтра же! Не мешкайте! Этого требует здравый смысл, здравая политика. Людовик должен умереть, если Франция хочет жить!

— Смерть! Смерть! Смерть! — бушевал зал.

Робеспьер без ревности слушал, как уста Сен-Жюста произносят его, Робеспьера, слова, обороты речи. Его любимый друг открывает путь равенству и братству, путь Жан-Жака, открывает его для всех. Максимилиан испытывал большее удовлетворение, чем если бы выступил сам.

Глава восьмая ПРОЧЬ ЛОЖНУЮ ГУМАННОСТЬ!

Вся страна бурлила, взбудораженная предстоящим судом над Людовиком. Конвент забросали просьбами и угрозами, множество граждан предлагало свою жизнь в обмен на жизнь короля. Оказалось, что в стране есть еще миллионы людей, преданных королю. Тем настойчивее требовали его смерти якобинцы.

В эти дни Фернан почти ежедневно встречался с Лепелетье. Его и пугала и восхищала суровость и неумолимость, с какой его друг до конца додумывал идею революции. Несправедливость по отношению к отдельной лично-

сти, говорил он, неизбежный спутник великой конечной справедливости, являющейся существом революции.

— Я всей душой, всеми помыслами своими заодно с революцией, даже если бы она отняла у меня жизнь,— сказал Лепелетье.

И в большом споре о судьбе свергнутого короля он тоже не поддавался никаким эмоциям, которые могли бы повлиять на его суждение. Фернана же, наоборот, мысль о смертном приговоре Людовику приводила в смятение. С того первого раза, когда он мальчиком поцеловал королю руку, и до того дня, когда от имени Законодательного собрания требовал, чтобы Людовик объявил войну, он неоднократно видел его и разговаривал с ним. Да разве весь французский народ не так же традиционно привязан к королю, как он? Людовик последний из шестидесяти королей своей династии, на протяжении тысячи долгих лет судьбы народа были тесно переплетены с судьбами династии Капетов. Этой династии Франция обязана тем, что все французы говорят на одном языке, тем, что они стали единой нацией.

Лепелетье дружеским жестом отмел возражения Фернана. Это ложная гуманность, сказал он. Сухо и деловито он изложил Фернану мотивы, в силу которых Людовик должен умереть. Юридически на вопрос, вправе ли народ и его представители чинить суд над королем и приговаривать его к смертной казни, можно одинаково доказательно ответить и «да» и «нет»; впрочем, это праздный вопрос. Существенно одно — смерть Людовика политически необходима. Если содержать его в заточении, он будет служить постоянным центром всякого антиреспубликанского движения в самой Франции и за границей.

— Нельзя свергнуть монархию и оставить в живых ее наиболее действенный символ — короля,— сказал Лепелетье своим спокойным, приятным, высоким голосом.— В ту самую минуту, когда мы свергали Людовика, его физическое уничтожение было предрешено. От последней ступеньки, ведущей с трона вниз, и до первой, ведущей вверх, на эшафот,— путь очень короток.

Фернан знал, что Лепелетье не питает личных симпатий к членам партии Горы, ко всем этим робеспьерам и сен-жюстам, он часто иронизировал над их узколобостью и твердокаменностью. Он чувствовал себя гораздо лучше с умеренными, с жирондистами, с этими блестящими,

остроумными ораторами и философами. Но в вопросах практической политики Мишель Лепелетье признавал правоту якобинцев.

— Как поступить с королем,— говорил он,— это давно уже должен был уяснить себе каждый политик. Робеспьер и Сен-Жюст уяснили себе все, а наши друзья жирондисты оказались для этого слишком умны. Теперь они стоят перед выбором: кого принести в жертву — короля или Республику.

Единоголосно признав Людовика Капета виновным, представители народа приступили к обсуждению вопроса о мере наказания.

Заседание продолжалось с утра, весь день и всю ночь, большую часть следующего дня, а после перерыва еще день и большую часть ночи. На галереях, тесно сгрудившись, сидело более двух тысяч человек. Дамы в роскошных туалетах, со списками депутатов в руках, считали голоса, ставили крестики, вычеркивали, вкалывали булавки.

Первыми к трибуне были вызваны депутаты от департамента Гаронны. В беззвучной тишине первый сказал:

— Смерть.

Второй:

— Смерть.

Пятый:

— Смерть.

Далее были вызваны двенадцать депутатов Жиронды, среди них известнейшие деятели умеренных. Их лидер Верньо вчера еще уверял своих друзей, что никогда не проголосует за смерть Людовику. Сегодня он заявил:

— В качестве государственного деятеля я был за то, чтобы выслушать голос народа. Конвент решил иначе. Я подчиняюсь. Совесть моя чиста. Как юрист, я говорю: смерть.

Один за другим, в атмосфере крайнего напряжения, депутаты поднимались на трибуну и отдавали голоса, прибавляя порой к своему приговору несколько сильных слов. Один сказал: «Смерть в ближайшие двадцать четыре часа». Другой сказал: «Смерть. Пожалуй, даже с опозданием — не к чести Конвента». Депутат Дюпатель, тяжело больной, велел принести себя на носилках на трибуну, проголосовал за то, чтобы королю даровали жизнь,— и той же ночью умер; многих это насмешило. Какой-то депутат

заснул от усталости, его разбудили, вызвали на трибуну, он сказал, не вполне проснувшись: «Смерть» — и тут же заснул.

Очень тихо стало, когда бывший герцог Орлеанский, именуемый ныне Филипп Эгалите, кузен Людовика, поднялся на трибуну. Он торжественно обещал своим друзьям воздержаться от голосования. Теперь он, сопя, поднялся по крутым ступеням, внешностью и поведкой до смешного похожий на своего кузена Людовика, и заявил:

— Тот, кто глумится над державным народом, должен умереть. Смерть!

С особым волнением ждал Фернан, как поведут себя оба его друга — Лепелетье и Мартин Катру. До самого конца, вопреки всем доводам рассудка, Фернан надеялся, что Лепелетье не пошлет на смерть того, кто предоставлял ему высокие посты и был к нему так благосклонен. Но Лепелетье своим равнодушным, приятным голосом сказал:

— Смерть!

После Лепелетье множество депутатов голосовало за пожизненное заточение или за отсрочку смертного приговора до всенародного опроса. Так голосовали многие, в том числе и члены крайних партий. Чаши весов поднимались и опускались; предсказать исход голосования было трудно.

В Конвенте Французской республики заседал один англичанин по имени Томас Пейн — человек, принимавший деятельное участие в образовании американской республики. Он голосовал за то, чтобы теперь, когда корона Людовика валяется в канаве, самого его подвергли изгнанию, и непременно в Соединенные Штаты Америки. Там, подавленный презренностью и преступностью своего королевского существования и постоянно наблюдая благоденствие американского народа, он поймет, что не монархия наиболее справедливая форма правления, а демократия.

Но вот наконец на трибуну вызывается Мартин Катру. Фернан всем корпусом подался вперед. Мартин своим пронзительным высоким голосом произнес:

— Смерть. Без волокиты.

Секретари Конвента подсчитали голоса. Это длилось долго, они трижды пересчитывали. В переполненном зале

стояла духота, дымили печи, чадили угольные жаровни, многие тысячи свечей. Людям было не по себе, им хотелось встать, выйти под ночное небо, вдохнуть свежего воздуха. Но они сидели; они боялись пропустить минуту провозглашения приговора. На возбужденную, ожидающую многотысячную толпу взирал сверху, со своего барельефа Жан-Жак.

Наконец в два часа пятнадцать минут пополуночи на трибуну поднялся председатель. Он объявил: из 749 членов Конвента 28 человек отсутствуют, таким образом, большинство составляет 361 человек. Голосовало: 360 депутатов за заточение в тюрьму, изгнание или отсрочку смертного приговора и 361 — за немедленную смерть.

В зале стояла глубочайшая тишина. Король большинством в один голос был приговорен к смерти.

Председатель надел шляпу. Объявил:

— Мера наказания, к которой в итоге голосования представители суверенного народа приговорили Людовика Капета, — немедленная смерть.

По-прежнему стояла тишина. Раздались одиночные возгласы: «Да здравствует Республика!» Но масса безмолвствовала.

Фернан с трудом поднялся, расправил плечи. Больная нога мозжила. Он был ошеломлен. Большинство в один голос! Если бы его друг Мишель или его друг Мартин не голосовали за смерть, король остался бы в живых.

После этого бесконечного заседания Лепелетье спал почти весь следующий день. Под вечер он отправился в Пале-Рояль, в аристократический ресторан «Феврие», послушать, что говорят и думают о его поведении в Конвенте. Приверженцы короля, умеренные и даже кое-кто из монтаньяров рассчитывали, что он будет голосовать за дарование жизни Людовику. Никто, вероятно, не понимал, как это он без колебаний предпочел пожертвовать обреченным Людовиком, только бы остаться верным собственному разуму. Пожалуй, многие, даже большинство, несомненно, называли его Иудой за то, что он голосовал за Республику и против короля.

Друзья приветствовали его, когда он вошел в ресторан. Он ел, болтал. По мнению одних, вышло как-то неприятно, что именно его голосом был решен смертный приговор, другие с несколько преувеличенной горячностью превозносили его мужество. Примерно так Лепелетье все это

и представлял себе. Он оставался в ресторане недолго. Усталость от бесконечного заседания все еще давала себя чувствовать. Он распрощался с друзьями.

В районе Пале-Рояль, у любовниц, у бывших поставщиков двора, у всякого рода сочувствующих, нашли себе тайное прибежище многие более или менее замаскировавшиеся личности, недовольные и преследуемые нынешним режимом. Среди таких приверженцев монархии находился бывший телохранитель короля, некий Лепари. Он горел фанатической ненавистью прежде всего к герцогу Орлеанскому, этому архипредателю, который своего кровного двоюродного брата, помазанника божия, толкнул на эшафот. Целый день Лепари кружил в районе Пале-Рояль, где жил герцог, в надежде, что встретит его и на месте прикончит. Герцог же, обессиленный затянувшимся заседанием, был дома и отсыпался. Вечером Лепари, представительный, хорошо одетый господин, отправился искать герцога в ресторан «Феврие». Там его не было. Зато Лепари увидел знакомое всем некрасивое, ненавистное ему лицо Лепелетье. Вот и этого король осыпал милостями, а он предал своего монарха. Лепари подошел к нему в ту минуту, когда Лепелетье стоял у кассы, собираясь расплатиться по счету. Лепари спросил:

— Ведь вы мосье Лепелетье, не так ли? — Лепелетье подтвердил. — Вы голосовали за смерть королю, верно, мосье?

— Да, мосье, — ответил Лепелетье. — Голосовал, как подсказывала мне совесть. Впрочем, какое вам до этого дело?

— Получай же то, что заслужил, Иуда! — воскликнул королевский телохранитель, выхватил ппагу из-под плаща и вонзил ее Лепелетье в бок. Через несколько минут Лепелетье не стало.

Поздно спал в этот день и Фернан. Вечером он вышел, собираясь навестить своего друга Мишеля. Перед домом Лепелетье увидел огромную толпу. Услышал о том, что произошло. У него потемнело в глазах. Он вошел в дом. Увидел тело Лепелетье. Увидел их общего друга, художника Жака-Луи Давида, рисовавшего покойника. Не мог постичь случившегося. И вдруг понял все. Понял, что Мишель Лепелетье, циник, фанатичный поклонник разума, его большой друг, умер смертью, логически завершившей его жизнь.

Фернан пошел на улицу Оноре, в клуб якобинцев. Мартин Катру сказал ему воинственно и торжествуя:

— Он был хорошим человеком, твой друг, и мертвый он послужит Республике еще лучше, чем живой. До этой минуты ореол мученичества окружал Людовика Капета, а теперь мученик — Мишель Лепелетье.

Фернан понял, что имел в виду Мартин. В Париже было немало страстных приверженцев короля, готовых отдать за него жизнь; ждали крупных демонстраций, возможно, даже открытого восстания. Бессмысленное убийство представителя народа, исполнившего лишь свой долг, отвлекло чувства, бурлившие в массах, на убитого. Весь Париж говорил теперь о внезапной трагической кончине Лепелетье, заслонившей собой предстоящую кончину короля: Лепелетье пал жертвой в борьбе за Республику.

Якобинцы и парижские городские советники тут же воспользовались этим событием. Они действовали быстро и энергично. В ту же ночь был издан манифест, гласивший: «Граждане! Коварное злодеяние направлено не против одного человека, оно направлено против всей нации, против свободы, против державного народа!» В ту же ночь было принято решение о торжественном перенесении праха убитого в Пантеон, об открытии памятника ему на Вандомской площади, об установлении его бюста в Конвенте, рядом с бюстами Брута и Жан-Жака, о присвоении его имени одному из районов Парижа, одной из улиц и множеству крупных и мелких общин страны.

В эту же ночь король Людовик прощался с близкими. Ужинал в обществе своего духовника. Потом читал газету «Меркюр де Франс». Затем прочитал главу из «Истории Англии» Юма — о казни Карла Первого. Он начал перевод этой книги и жалел, что не довел его до конца.

Он многого не довел до конца. За тридцать восемь лет жизни сколько ненужного он совершил и сколько необходимого не сделал. Он, например, не должен был оказывать помощь английским провинциям в Америке, восставшим против его кузена, короля Англии. И он опять-таки не должен был щадить еретиков и бунтарей, Вольтера и Руссо, он обязан был их своевременно обезвредить. Тогда бы все сложилось по-иному. Он слишком часто прислушивался к

голосам своих советников, вместо того чтобы прислушаться к божественному голосу собственного сердца. Ведь его советники — они только люди, и они, эти люди, были ослеплены. Большинство из его вельмож сами рыли себе могилу. И ему заодно.

Но он не хочет в свою последнюю ночь плохо думать о ближних. Он вправе сказать себе, что всегда, прежде чем принять какое-либо серьезное решение, честно мучился, прислушивался к голосу своей совести, выслушивал своих советников, обращался к историческим образцам. Он всегда стремился к лучшему, и наступит день, когда его французы и будущие поколения признают это.

Людовик закрыл глаза. Подумал еще о том, чтобы утром не забыть вынуть из карманов кафтана все деньги и прибавить их к гонорару защитника, честного, отважного Мальзерб. Потом уснул. Спал глубоко и спокойно.

Назавтра вся страна, весь мир смотрел, как везли Людовика на площадь Революции и как он всходил на эшафот. Все до мельчайших подробностей отмечалось, записывалось, запоминалось. И когда в десять часов двадцать три минуты палач Сансон схватил за волосы отрубленную голову Людовика и, обходя эшафот, на все четыре стороны показал ее народу Парижа, по городу пронесся мощный клич: «Да здравствует Республика!» Тысячи людей бросились к эшафоту и, толкаясь, дрались за то, чтобы обмакнуть в кровь платки, шарфы, бумажки. Какой-то одержимый, вскочив на эшафот, кропил кровью стоящих внизу людей и кричал:

— Они грозили нам, что кровь короля падет на наши головы. Это ваше крещение, это ваше крещение. Вот как она пала на наши головы!

Труп короля, eskortируемый жандармами и чиновниками Коммуны Парижа, доставили на ближнее кладбище Мадлен-де-ла-Виль-Лэвек. Там брошенное в какое-то подобие корзины тело с положенной между ног головой опустили в очень глубокую яму, дно которой было густо посыпано негашеной известью. Таким же толстым слоем извести засыпали тело сверху, и поверх этого слоя насыпали еще один слой, для того чтобы золото коронованных особ Европы не могло из останков Людовика Последнего создать хотя бы самую крохотную реликвию.

Пока засыпали известью обезглавленного Людовика, готовилось перенесение тела Лепелетье в Пантеон.

Оформление траурных торжеств было поручено первому художнику Франции, Жаку-Луи Давиду.

Тщательно набальзамированный труп установили на Вандомской площади для всенародного обозрения. На высоком роскошном ложе белел обнаженный торс с зияющей раной в боку. Чресла были прикрыты простыней.

В таком же виде тело, уложенное на античную торжественную колесницу, повезли по улицам города Парижа. В ногах покойного стояло двое детей; каждый из них держал перевернутый факел. Впереди колесницы, которую окружали девушки под вуалями, несшие цветы, шагали старики в тогах, с пальмовыми ветвями в руках.

До того как траурный кортеж тронулся, на колесницу поднялся председатель Конвента и возложил на голову покойного венок из дубовых листьев. Все депутаты Конвента, все члены Якобинского клуба, члены всех патриотических обществ и все секции города Парижа приняли участие в шествии. Было множество знамен, окаймленных черным крепом, раздавался приглушенный бой барабанов.

Надписи на огромных щитах восхваляли труды и дела убитого, его Свод уголовных законов, его книгу «Всеобщее бесплатное обучение», многочисленные законы, названные его именем. На других, еще более грандиозных щитах гигантскими буквами были выведены якобы его последние слова: «Я рад пролить кровь за отечество. На крови патриота всходят семена свободы». И над всем этим триумфально и скорбно возвышалось огромное смертное ложе с телом покойного, и зияющая, кровавая рана на нем говорила громче всех слов, написанных, пропетых, произнесенных.

Фернан дожидался процессии невдалеке от Пантеона. Глубокое раздумье, горечь и скорбь владели им. И эта смерть так же, как и смерть короля,— плод идей Жан-Жака. Сколько умных, иронических, скептических и все же полных веры в будущее мыслей высказал бы Лепелетье по поводу своей смерти. Он был истинным вольнодумцем, врагом всякого морализирования, очень человечным учеником Лукреция и Жан-Жака. В ушах и в сердце у Фернана звучал приятный голос Мишеля, спокойно произнесшего: «Я всей душой, всеми помыслами заодно с революцией, даже если она отнимет у меня жизнь». В какой патетический костюм вырядили эти простые слова. Как

глубоко пронизировал бы Мишель над своими якобинцами, которые чествовали его, как Брута, как мученика, как добродетельного героя.

Сколько превратно понятого нагромождено вокруг Жан-Жака и его творения! Сколько лжи! Что только не делается именем Жан-Жака! Как невероятно, как трагично, героически помпезно и причудливо обставлен последний путь Мишеля, его, Фернана, дорогого друга. Но Мишель не возражал бы. Ибо заблуждения и ложь, которые его окружали, рождали жизнь.

Процессия подошла к Пантеону. Хор Большого оперного театра пропел гимн в честь покойного. Тело уложили в гроб и торжественно опустили в гробницу, рядом с телом Вольтера.

Глава девятая ТЕРРОР! ТЕРРОР!

Жиарден, услышав о казни короля, содрогнулся. В день, когда этот ужас происходил, он заперся в своем рабочем кабинете; он не ел, он не мог никого видеть.

Ища, чем бы забыться, он кинулся к книгам Жан-Жака, он читал об одиноких, меланхолических грезах учителя и чувствовал, как на него нисходит умиротворение. Среди океана безумия и жестокости Эрменонвиль — остров мудрости и мира. Здесь природа говорит голосом Жан-Жака, здесь покоятся его священные останки.

Но умиротворенное состояние длилось недолго, убийство короля снова и снова доводило его до исступления. Чем дальше, тем сильнее кровоточила рана, нанесенная страшным событием. Глубокую подавленность сменяла бессильная ярость, а потом опять и опять брали верх скорбь и отчаянье. Но и гнев и горе он замкнул в себе и отклонял все робкие попытки мосье Гербера вызвать его на беседу.

Только когда приехал Фернан, он дал выход своему горю и гневному разочарованию. И так как перед сыном он изливал все, что накопилось на душе, то в его негодующую жалобу на величайшую несправедливость комично вплеталась досада на всякие бесчинства революционеров, ничтожные по сравнению с их огромными преступлениями, но затрагивавшие его лично. Неужели, возмущался он, чернь, вдребезги разбившая бронзовые ста-

туи королей, не могла пощадить памятника Генриху Четвертому, которого она же называла добрым и... который основал Эрменонвиль?

И тут наконец он рассказал сыну об обиде, нанесенной ему Робеспьером и Сен-Жюстом, когда они приезжали на могилу Жан-Жака. Он считал тогда своим долгом пригласить их к обеду, а они резко и пренебрежительно отвергли приглашение. Он никому ни словом не обмолвился об этом, но обиды не забыл. И вот теперь она вырвалась наружу. Уж если эти якобинцы посещают места последнего успокоения Жан-Жака, то как же они смеют его, хранителя могилы, так оскорблять?

Но тут же, спохватившись, он снова серьезно заговорил о серьезных делах.

Фернан сочувственно слушал отца и не прерывал его. Только спустя некоторое время он начал осторожно защищать членов Конвента. Бесспорно, многие из них тщеславны, неотесаны, грубы, говорил он, но их ненависть к тиранам и страстное стремление помочь угнетенным неподдельны. Это вне всякого сомнения. Их большие заслуги перевешивают их большие преступления. Привилегии отменены, неравенство уничтожено, народное государство, Республика стала действительностью.

Жиранден не унимался. Разумность нескольких способных вождей заглушается беспардонной демагогией остальных. Фактически страной правит парижская улица, масса, а значит — глупость. Так оно и есть, как говаривала наша милая мадам Ролан: чем толпа многочисленнее, тем длиннее ее уши.

Но тут уж и мосье Гербер не стерпел. Он вмешался в разговор. Господин маркиз прав: многое из того, что происходит, может показаться произволом, бессмысленным, суровым, жестоким. Но если взглянуть на события последних лет в целом, то с радостью видишь: вопреки всему человечество движется вперед по законам великой благой необходимости.

— За революцией стоит учение Жан-Жака! — воскликнул он. — Пусть ее суровость и горечь не поколеблют вашей веры в Жан-Жака, господа! — заклинал он, и его сияющие глаза горели внутренним огнем. Отец и сын молчали. С изумлением, граничащим с растерянностью, они глядели на мосье Гербера, поражавшего сходством с учителем, хотя Гербер и был намного моложе покойного.

Как все и предвидели, союзники после казни короля послали новые, еще более сильные армии против его убийц. Армии Республики были отброшены. Враг опять вторгся в страну.

Конвент вынес решение: издать закон о всеобщей воинской повинности. Призвать всех граждан на защиту отечества.

Высокие, патриотически вдохновенные слова, в которые Конвент облек всеобщую воинскую повинность, зажгли Жирардена. Но в последующие дни он с растущим возмущением читал о беспощадных мерах, к которым прибегали парижские диктаторы при наборе рекрутов: они отчуждали имущество тех, кто не являлся на призывные пункты, и подвергали аресту родителей, они облагали денежным штрафом общины, которые не задерживали дезертиров. Такой закон и методы, какими он проводился, не могли, разумеется, не свергнуть Жирардена, верного ученика Жан-Жака, в мучительные сомнения. Разве не учил Жан-Жак: «Правительство не должно неволить отдельного гражданина, если он не желает приносить себя в жертву во имя блага толпы». Разве Права человека допускают нечто подобное?

Фернан защищал новый закон. Если отец ссылается на Жан-Жака, то и авторы закона о всеобщей воинской повинности с равным правом могут это сделать. Разве Жан-Жак не учил также: «Несправедливость, учиненная во имя блага человечества, обращается в справедливость!» И, чувствуя, что отец, невзирая на всю свою негодующую и сокрушительную критику, втайне любит безумным по своей отваге шагом Конвента, Фернан продолжал:

— Мы смелее, чем были в свое время американцы. Генерал Вашингтон тоже потребовал введения всеобщей воинской повинности, когда молодой свободе грозила опасность, но Конгресс не одобрил его законопроект. На нашу долю выпало осуществить мечту всех республиканцев: пользуясь средствами принуждения и доводами разума, сплотить народ в единое борющееся целое для войны за Свободу.

Отец думал про себя: «Мне труднее, чем моему мальчику, справедливо судить о новой армии. Ему не пришлось, как мне, лично испытать горечь быть отвергнутым. Он не ведает, что новая Франция всех призывает, а нас, ее самых верных сынов, знать не хочет». Жирарден все еще не рас-

сказал Фернану, что предлагал свои услуги армии и ему ответили отказом.

Он ошибался. Фернана постигла та же неудача. Ссылаясь на свой военный опыт, он хлопотал о предоставлении ему хотя бы подчиненной офицерской должности, но и он получил отказ.

И точно так же, как отец, он ни с кем не поделился нанесенной ему обидой.

Так сидели друг против друга старый и молодой Жирардены, взвешивая достоинства и слабости новой армии, каждый страдая в душе, что его отвергли, и каждый стараясь забыть собственную горечь и думать только о пользе дела.

Если в разговоре с отцом Фернан камня на камне не оставлял от его возражений против всеобщей воинской повинности, то перед другом своим Мартином Катру он не скрывал терзавших его сомнений. То были сомнения профессионала, военного. Целесообразно ли вливать в старую армию новые, необученные пополнения? Способны ли малообученные или совсем необученные новобранцы отразить натиск вымуштрованных войск союзников?

С фронтов, как бы в подтверждение этих мучительных сомнений, поступали недобрые вести. Молодые солдаты, полные энтузиазма, с песнями шли в бой, но стоило заговорить артиллерии противника, как они в панике разбегались. Поражение следовало за поражением. Северная армия была оттеснена врагом; над столицей снова нависла опасность. Вдобавок ко всему внутри страны множество провинций восстало против принудительного набора рекрутов. Вандея, чуть не весь юг были охвачены огнем восстаний.

Уверенность Мартина Катру и на этот раз не поколебалась. В новых ударах он не желал видеть ничего иного, кроме благотворной лихорадки. Негодное погибнет, говорил он, и тогда народ сплотится в подлинном единстве.

— Конечная победа за нами, — упорно продолжал он уверять Фернана. — Народная армия разобьет объединенные войска королей. Это не слепая вера, а математический расчет. Пойми, Фернан: ведь тираны стараются исключительно для себя, думая лишь о сегодняшнем дне; республика же, и только она, способна наметить и осуществить планы с широкими перспективами. Наши солдаты — это разумные существа, ибо они знают, что дело идет об их

свободе, об их счастье. А противники их — жалкие глупцы, полуживотные, которые дерутся за то, чтобы сохранить свои цепи.

Он тяжело шагал взад и вперед по заставленной мебелью комнате.

— Революции не хватало взлета, вдохновения, необходимости превзойти самое себя в своем величии, — возгласил он. — Истинное геройство рождается только отчаянием. Лишь сейчас, когда Республика борется за свое существование, она покажет, на что способна.

Резким, пронзительным голосом бросал он фразу за фразой. Мартин разгорячился, на лбу у него выступили красные пятна. Вдова Катру и Жанна сидели тут же и слушали. Старуха с довольным видом подхихикивала, Жанна не сводила с мужа восхищенных глаз.

— У меня еще много дела, — прервал себя вдруг Мартин и сел за свои бумаги. Этим он как бы дал понять Фернану, что считает напрасной тратой времени внушать ему, маловеру, представление о блеске и величии Республики.

Он и в самом деле не вправе был ни одной минуты бросать на ветер. Конвент работал с лихорадочным напором, без передышки, и Мартин был членом многих его комитетов. Республика, хотя и вовлеченная в борьбу не на жизнь, а на смерть, с ожесточенной энергией проводила многочисленные мирные реформы, большие и малые. Создала бескомпромиссную конституцию. Ввела в обращение братское «ты» как в официальных учреждениях, так и в обиходе между всеми гражданами. Установила пособия для неимущих, бесплатное школьное обучение, единые законы для всей страны, возмещение убытков невинно осужденным. Ввела единую, легко обозримую систему мер и весов. Ввела телеграфную связь и другие технические новшества. Основала научные институты. Создала семь крупных музеев, в том числе Национальный, предназначенный для хранения памятников французской истории и науки, и Луврский — для хранения произведений искусств всего мира.

Мартин приводил иногда своего друга на заседания комитетов, в которых работал, и не столько его фанатические речи убеждали Фернана в мощи Республики, сколько размах деятельности этих комитетов. В предписанные крайне сжатые сроки и тем не менее с величайшей дальновидно-

стью разрабатывались проекты новых законов. Без лишних слов, с невозмутимой рассудительностью и в то же время крайней заинтересованностью обсуждались все «за» и «против». И точно так же работал Конвент. Быстро, без проволочек рассматривал и издавал законы, преследовавшие цель так изменить на все времена государственный строй и жизнь каждого гражданина, чтобы они соответствовали духу учения Жан-Жака. И что удивительнее всего: законы эти становились живой действительностью с той самой минуты, как скреплялись подписью и печатью.

Новые властители были жестоки, беспощадны. Но Фернан воздавал им должное: никогда еще за всю историю человечества столь ничтожному числу людей и в столь короткие сроки не удавалось увлечь за собой так далеко по пути Разума многомиллионные массы народа.

С той же разумной иступленностью Конвент, армия и народ вели войну. В сражающиеся воинские части посылались политические комиссары для контроля над республиканскими добродетелями командиров. Множество генералов лишилось своих постов, совершались новые казни. В армии были оставлены только те командиры, у которых знание военного искусства сочеталось с революционной благонадежностью. Союзники торжествовали преждевременно. Народная армия не отдавала больше ни пяди своей земли. Она шаталась под ударами, но стояла насмерть.

И против внутренних врагов принимались новые меры.

— Те, кто не проникся республиканским духом, — чужаки, враги Республики, — проповедовал Робеспьер. — Они не пользуются покровительством закона. Республика дарует его только тем гражданам, которые ей верны. Для врагов народа у нее в запасе лишь смерть и уничтожение. Так учит Жан-Жак. Нынешний период революции — это война, а война требует беспощадности, власти террора. На войне террор — неотъемлемая принадлежность добродетели, добродетель без него бессильна. Но что такое террор? Не что иное, как скорое, суровое, непреклонное правосудие.

В соответствии с этими истинами против «неблагонадежных» издавались самые строгие законы. Учреждались суды, облеченные чрезвычайными полномочиями, народные суды, революционные трибуналы. Они расследовали

дела неблагонадежных и с небывалой суровостью карали врагов отечества.

Рассудком Фернан одобрял железную власть государственного разума, но в сердце его поднимался протест. Его и отталкивал и притягивал этот двуликий Янус — народ: одно лицо доброе, мудрое и естественное, другое — грубое и жестокое. Он восхищался величием духа и добросердечием народа и ненавидел его необузданность.

Он присутствовал на одном из заседаний парижского Революционного Трибунала. В простом, лишенном всякой торжественности зале сидели в будничных костюмах пятнадцать присяжных заседателей — граждане города Парижа, рабочие, художники, ремесленники, мелкие лавочники. На небольшом возвышении, за зеленым столом, сидели трое судей, в шляпах с пером и трехцветной кокардой, в перекинутом через плечо широким трехцветном шарфе с тяжелой серебряной медалью (таковы были знаки их судейского достоинства). Над их головами на стене висел щит с начертанной на нем Декларацией прав человека и гражданина, а по обе его стороны, глядя в зал, стояли два бюста: Лепелетье — справа и Жан-Жака — слева.

В удобном, правда, изрядно потрепанном кресле сидел обвиняемый. Никаких конвойных возле него не было, но солдаты Национальной гвардии были всегда наготове.

Обвиняемый, некто Мениль-Клермон, человек невысокого дворянского звания, тотчас же после штурма Бастилии покинул страну. Но до окончания положенного законом срока он вернулся, не желая, очевидно, потерять свои имения. Изданный тем временем новый «закон против неблагонадежных» предписывал учинять следствие над каждым, кто уезжал за границу.

Первым в качестве свидетеля давал показания портной Гранваль. По его словам, обвиняемый, находясь в кафе «Тополь свободы», употреблял выражения, порочащие Республику и Конвент; он, портной Гранваль, сидел за соседним столиком и ясно все слышал. Обвиняемый отрицал это, заверяя суд в своей преданности Республике. Он добавил, что с портным Гранвалем у него был однажды спор по поводу заказанного тому фиолетового фрака, который гражданин Гранваль испортил да еще слишком дорого посчитал за него. Второй свидетель показал, что обвиняемый пытался склонить его к продаже земельного участка, предлагая за него английские деньги. Гражданин

Мениль-Клермон ответил, что не он предлагал английскую валюту, а владелец участка настаивал на уплате английскими деньгами. Что произошло между обвиняемым и свидетелем — так и осталось невыясненным. Достоверно было одно: обвиняемый в свое время эмигрировал в Англию; возможно, что он и часть своего состояния перевел за границу.

В высокопарных словах прокурор объявил, что ряд преступлений Мениль-Клермона, его монархические убеждения и противозаконные связи с врагом доказаны. Поэтому он, прокурор, требует для обвиняемого четырех лет тюрьмы за поношение Республики, а за двукратное установление тайных связей с врагом — двукратный смертный приговор. Присяжные долго совещались, прежде чем объявить гражданина Мениль-Клермона виновным. Его приговорили к смерти.

Печальная история Мениль-Клермона не выходила из головы у Фернана. Люди, осудившие этого человека на смерть, эти граждане Дюпон и Дюран, были, вероятно, в повседневной жизни добродушными обывателями, способными здраво рассуждать, но все дело в том, что те, кто послал его на гильотину, уже не были гражданами Дюпоном и Дюраном, они были гласом Республики. Республика вела войну, Республика смертоносными средствами ограждала себя от остального мира, порабощенного и погрязшего в пороках. Республика истребляла всех, кто поддерживал связи с этим миром.

И присяжные Революционного Трибунала, которые осуждали на смерть, и политические комиссары в армии, которые осуждали на смерть, и члены Конвента, которые осуждали на смерть, — все делали это именем Жан-Жака, искренне убежденные, что осуществляют его заветы. И что больше всего смущало Фернана — у них были основания ссылаться на Жан-Жака.

Мартин рассказал Фернану о встрече Робеспьера с Жан-Жаком.

Значит, и Робеспьер, ныне более могущественный, чем когда-либо и какой-либо король во Франции, значит, и этот человек, о котором Фернан не мог сказать, восхищается он им или ненавидит его, — был другом и учеником Жан-Жака.

Кого бы Жан-Жак признал своим лучшим учеником, его, Фернана, или Максимилиана Робеспьера?

Глава десятая

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЕ

Мосье Робинэ, не раз мужественно выходивший из критических положений, жил теперь в постоянном страхе; этот общественно опасный мечтатель, дорвавшийся до диктаторской власти, этот Максимилиан Робеспьер оказался более чудовищным деспотом, чем все французские короли, вместе взятые: он поднял руку на священные основы собственности. «Мы не допустим, чтобы привилегии толстосумов заменили упраздненные привилегии аристократов», — провозглашал кровожадный безумец. «Свобода и равенство останутся пустыми словами, если все наши законы и установления не будут преследовать цели — покончить с несправедливым распределением благ».

Но потом, правда, он утешил: «Не бойтесь, вы, дрянные душонки, для которых существует единственное божество — деньги, я ваших сокровищ не трону». Однако уже назавтра своенравный диктатор забыл о своем похвальном намерении и под восторженные аплодисменты якобинцев на всю страну прокричал изречение другого безумца, похороненного по соседству, в Эрменонвиле: «Если в демократическом государстве горсточка людей владеет во много раз большими богатствами, чем средний гражданин, то либо это государство гибнет, либо перестает быть демократией». И диктатор отдал команду: «Декларацию прав человека и гражданина необходимо пополнить ограничительными параграфами касательно собственности, иначе все права окажутся действительными только для богачей, спекулянтов и биржевых акул».

Робинэ казалось, что Робеспьер, произнося эти слова, метит прямо в него, что он пальцем указывает на него, безобидного старика. Он дрожал за свою драгоценную семидесятипятилетнюю жизнь, и еще больше дрожал он за Жильберту, вдову знатного аристократа, сражавшегося против Республики.

В Париже Робинэ совсем не показывался; жил уединенно вместе с Жильбертой и малюткой у себя в Латуре, в домике садовника, одевался и держал себя, как старый крестьянин.

Он с радостью взял бы в охалку Жильберту и ребенка и сегодня же перебрался с ними через границу, в Испанию.

Жильберта не хотела никуда уезжать. Возможно, что все обстоит так, как утверждает дедушка, думала она, и всем им грозит опасность, но в глубине души она, Жильберта, уверена, что все кончится хорошо. Вот и Фернан считает, что она ни в коем случае не должна растить свое дитя среди детей эмигрировавших аристократов, что надо приучать девочку к честному и разумному образу жизни.

И разве Фернан думает о бегстве, хотя закон о неблагонадежных касается его не меньше, чем всех их? А ведь он, несомненно, очень страдает при виде царящих вокруг неумеренности и несправедливости. На его лице появились ранние морщинки, ей даже казалось, что Фернан сильнее хромает. Но он подавляет все сомнения и не устает с юношеской восторженностью твердить о счастье жить в такое время.

Жиарден часто приезжал в Латур. Робинэ навещал его в Эрменонвиле. Робинэ говорил, что опасно поддерживать отношения с неблагонадежным «бывшим», Жиарден осуждал Робинэ за то, что тот из чистой трусости довел прекрасный замок Латур до полного запустения. Каждый считал другого несносным брюзгой и задирой. И все-таки они снова и снова встречались.

Они сидели друг против друга — старые, одинокие, недовольные. Робинэ ругал философов, виновных во всем; Жиарден, стараясь поддеть его, обвинял алчных толстосумов, приведших Францию к катастрофе: кто, как не они, мешал проведению реформ, когда еще можно было спасти положение? В одном старики соглашались: произвол захватившей власть черни не может сравниться ни с каким произволом попов и придворной клики.

Робинэ желчно пророчил, что такое безобразие все равно долго не продлится. Парижские властители только и держатся, что на принудительных займах. Немыслимо, чтобы режим, расшатывающий основу всякого общества — частную собственность, мог устоять. Не пройдет и нескольких недель, как войска союзников займут Париж, и тогда конец уродливому фарсу, занавес опустится.

— Уродливый фарс? — возражал Жиарден. Мосье Робинэ хватил, пожалуй, через край. Господа эти — варвары, допустим, но в том, как они попросту не желают считаться с поражениями, как наперекор всему провозглашают все более суровые законы и все бесстрашнее

атакуют врага,— во всем этом есть что-то от величия античного мира.

— Величие античного мира? — поднял его на смех мосье Робинэ.— Уверяю вас, господин маркиз, что это юродство, и только. Вашим античным героям место в доме для умалишенных.

Но тут Жирарден встал, грозно ткнул тростью в сторону Робинэ и ответил:

— А я, мосье, преклоняюсь перед тем, что вам угодно было назвать юродством. Да, преклоняюсь. Я называю это отвагой, патриотизмом.

Робинэ только головой покачал: вот старый осел!

Еще труднее ему было разговаривать с молодым Жирарденом, с Фернаном. Фернан положительно прикован к этому горящему дому. Он виноват в том, что Жильберта не желала двигаться с места. Когда человек так упорно отмахивается от собственного блага, он прямо-таки за волосы притягивает к себе беду.

Мосье Робинэ и на этот раз оказался прав.

В Санлисе вместо обходительного Леблана назначен был новый мэр, некий Венсан Юрэ, до одержимости рьяный революционер и фанатик. Он был возмущен, что Жирарденов, этих истинных придворных лизоблюдов и слуг тиранов, считают патриотами.

По новому закону их, вне всяких сомнений, следует причислить к неблагонадежным. Целыми ордами съезжались неблагонадежные в Эрменонвиль, и, конечно, с единственной целью: замышлять заговоры против Республики. Гражданин Юрэ обратился с заявлением в Париж в Комитет общественной безопасности.

Так как Юрэ не делал тайны из своего патриотического подвига, то мосье Робинэ своевременно узнал о надвигающейся беде. Про себя он чуть-чуть позлорадствовал, и хоть страха и тревог было много, но вместе с ними у него появилась и слабая надежда. Теперь уж Жирардены не станут упорствовать в своем безрассудстве и уедут за границу, а тогда и Жильберту удастся склонить к бегству.

Он тотчас же вместе с Жильбертой поехал в Эрменонвиль. Рассказал все. Настойчиво советовал, чтобы Жирардены немедленно собрались и пустились в путь. В Пиренеях у него есть свои агенты, которые помогут им добраться до Испании.

Но он встретил сопротивление.

— Вам всюду чудятся призраки, мосье,— высокомерно молвил Жирарден.— Неужели вы серьезно допускаете мысль, чтобы Республика не пощадила человека, во владениях которого ее вдохновитель обрел свой последний приют?

И у мосье Робинэ, несмотря на всю его бесцеремонную прямолинейность, не хватило жестокости сказать этому старому дурню о том, что снова ожили слухи об его, Жирардена, причастности к темной кончине Жан-Жака и что это усиливает опасность.

Он сказал лишь:

— Этот самый Юрэ пользуется в Париже доверием. Бесспорно, заявлению его дадут ход. А в эту чертову мельницу стоит лишь попасть — выбраться оттуда живым очень трудно. Будьте же благоразумны!

Фернан знал: и теперь, как в тот раз, все, что говорит Робинэ, вполне здраво, и следует бежать. Но одна мысль о бегстве вызывала в нем бурный протест. Он слишком много сил и жизни отдал делу создания новой Франции; он не может бежать из Республики, из своей Республики. Это было бы поражением, крахом, вся жизнь до конца его дней была бы отравлена.

— Убеди отца, Фернан,— просила Жильберта.— Ты ведь знаешь, если они захотят придрататься, они найдут предлог схватить любого — под новый закон можно подвести кого угодно.

Так оно и было. Фернан не скрывал этого от себя. Но разве Жильберте не грозила еще большая опасность?

— Бывший откупщик податей так же неблагонадежен, как и бывший маркиз,— вызывающе сказал он Робинэ.— И в еще большей мере неблагонадежна жена эмигранта Курселя. Увезите куда-нибудь Жильберту подальше от опасности! — бурно потребовал он.

— А ты? — напрямик спросила Жильберта.

Фернан с некоторым усилием ответил:

— Я не имею права уезжать. Я должен доказать, что мы не трусы. Совершенно определенным лицам должен это доказать,— воскликнул он, несомненно, имея в виду Мартина.

Остро и мучительно чувствовал он всю двойственность своего положения. Республика дорога ему не меньше, чем Мартину, или Сен-Жюсту, или тому же новому мэру

города Санлиса. Но ему отказано в счастье служить ей. Армия его отвергла, правительство его отвергло, он принадлежал к числу «неблагонадежных». И, невзирая ни на что, он понимал всеобщее недоверие, он одобрял его.

— Я верю в народ и в его приговор,— сказал он, обращаясь больше к Жильберте, чем к остальным.— Я не стану бежать, я не хочу давать лишнего повода к несправедливому недоверию.

Робинэ в отчаянии уговаривал его:

— Какого приговора вы ждете от этого сброда? Эти люди понимают, что не завтра, так послезавтра они заслуженно будут болтаться на виселице. Они безумствуют и изливают свою бессмысленную ярость на головы порядочных людей. Послушайте, Фернан! Граф! Будьте же благоразумны! Не губите себя собственными руками!

Жильберта не сказала больше ни слова. Но она не отводила испуганных глаз от Фернана.

Тихо, вымученно, почти произвольно, но с горькой решимостью Фернан повторил слова своего друга Мишеля Лепелетье:

— Революция будет права, даже если она отнимет у меня жизнь.

Спустя два дня в замок явился мэр Эрменонвиля с прокурором и несколькими жандармами. Смущенно заявили они растерявшемуся дворецкому, что желают лично видеть помещика и землевладельца Жирардена, а также его сына гражданина Жирардена.

— Я доложу о вас, господа,— сказал дворецкий и побежал к Жирардену.

Справившись с минутным глубоким замешательством, Жирарден тщательно оделся, заставив власти ждать. Наконец он направился в вестибюль, держа в одной руке трость с золотым набалдашником, в другой — экземпляр «Общественного договора».

— Здравствуйте, господа,— сказал он вежливо.— Чем могу служить?

— Неприятное дело, гражданин Жирарден,— заговорил мэр.— Крайне неприятное.— Он повернулся к прокурору: — Может быть, вы?

Тот, подтянувшись, с судорожной официальнойностью заявил, что они явились по распоряжению парижского

Комитета общественной безопасности. В Эрменонвиль неоднократно приезжали неблагонадежные, и поэтому не исключается, что кое-кто из них здесь прячется. На этом основании мэру и ему, прокурору, приказано произвести в замке обыск. Кроме того, следуя приказу, они должны подвергнуть домашнему аресту обоих Жиранденов, так как их лояльность взята под сомнение и дальнейшее безнадзорное пребывание их на свободе представляет собой опасность для общественного благополучия.

— Да, конечно же, — с горькой иронией сказал Жиранден. — Я прячу в своих погребах целую роялистскую армию и только жду удобного случая, чтобы напасть на всю страну сразу. Мой дом на подозрении! — вскипел он. — Мой дом — приют Жан-Жака! Мой дом — всегда открытый и видный насквозь, как фонарь! Обыскивайте, господа! Делайте ваше дело!

Чиновники и жандармы сконфуженно топтались на месте.

— Мы-то что можем сделать, многоуважаемый гражданин Жиранден? — защищался мэр. — Ведь мы действуем по приказу.

Жиранден не слушал.

— Я на подозрении, — продолжал он, и в голосе его прозвучало столько боли, что чиновники почувствовали себя преступниками. — Я строю ковы против общественного благополучия! Поглядите, что говорит мой великий друг Жан-Жак о вашем так называемом общественном благополучии. — Он открыл «Общественный договор» и прочитал: — «Чего только не натворила уже эта болтовня об общественном благополучии! Сколько несправедливости совершалось под вывеской этого благополучия!» — Жиранден сунул книгу под нос сначала мэру, потом прокурору.

Прокурор, оправдываясь, вытащил из общлага ордер Комитета общественной безопасности.

— Убедитесь сами, гражданин, — предложил он Жирандену. — Вот ордер. «Немедленно привести в исполнение», — сказано здесь. Нам и приходится немедленно исполнять.

Не видя, уставился Жиранден на печать Республики; в венце из слов «Свобода, Равенство, Братство» восседала на троне богиня Свободы.

— Я знаю, господа, что вашей вины тут нет, — мрачно

сказал он.— Но,— продолжал он, выпрямившись и тыча тростью в сторону чиновников,— передайте от моего имени вашему начальству: усомниться в чистоте гражданских помыслов человека, во владениях которого автор «Общественного договора» нашел свой последний приют, может только тот, кто сам является недостойным гражданином.

Чиновники и жандармы бегло обыскали дом и в протоколе записали, что ничего подозрительного не было обнаружено. Оставив в замке нескольких жандармов, мэр и прокурор донесли в Париж, что Жирандены, отец и сын, согласно предписанию, находятся под надзором Эрменонвильской общины и в любую минуту могут быть представлены в распоряжение Комитета безопасности.

Часть пятая

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖАН-ЖАКА

Наполеон во время своего посещения Эрменонвиля сказал Фернану де Жирардену: «Для человечества, быть может, было бы лучше, если бы Жан-Жак не существовал вовсе». Фернан: Но тогда, ваше величество, не произошла бы революция, тогда вы не были бы императором французов. Наполеон: Быть может, было бы лучше, если бы и я не существовал вовсе.

Жирарден

...победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной... просвещения над суевением... промышленности над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями.

Карл Маркс

Глава первая

ЛА-БУРБ

Под строгой охраной Жирардену разрешено было остаться в Эрменонвиле, Фернана же перевели в парижскую следственную тюрьму, официально носившую название Порт-Либр, что означает «Ворота свободы». В народе же тюрьма именовалась по той части города, где она находилась, Ла-Бурб — болото. Фернана повели туда по «лестнице Жан-Жака Руссо» и его прямо-таки рассмешило, что путь в тюрьму пролегает по лестнице такого названия.

Обитатели Ла-Бурб не могли пожаловаться на плохое обращение. На каждом этаже был вывешен указ Единой и Неделимой Республики, гласивший, что заключенные, пока они не осуждены, имеют равное со всеми прочими гражданами право на человечность, и Коммуна Парижа, в ведении которой находилась тюрьма, принцип этот

соблюдала. Все громадное здание, с его двумя корпусами, в противоположность большинству парижских зданий, пострадавших от боев, сохранилось в хорошем состоянии и хорошо отапливалось; оно стояло в центре просторного сада, и из него открывался прекрасный вид на обсерваторию и на окрестные поля. Заключенные пользовались всеми видами свободы, возможными в пределах тюремных стен. Им предоставлялось право заниматься своими профессиями; тут были портные, парикмахеры, граверы, сапожники, часовщики. Всякого рода жалобы терпеливо выслушивались главным смотрителем тюрьмы гражданином Альи, старавшимся удовлетворить жалобщиков.

Фернана поместили в камере секции «Равенство» вместе с семьей другими заключенными. Товарищи по камере тотчас же стали предлагать ему свои услуги, выручали в мелочах, советовали передачами с воли улучшить питание, вообще-то неплохое, и показывали огромную баранью ногу, висевшую за окном.

Подследственные, находившиеся в заключении в Ла-Бурб, были людьми самого различного толка: знатные аристократы и нищие, роялисты и демократы. Чаще всего они ничего собой не представляли, их попросту схватили где-то. Но среди заключенных были и знаменитости, чьи имена гремели в Париже и по всей стране, а нередко и такие, кто снискал жизнью своей и творчеством мировую славу. У Фернана гудело в голове от множества имен, градом сыпавшихся на него: казалось, в Ла-Бурб заключены тысячи людей. Но когда он спросил смотрителя Альи, сколько здесь заключенных, он с удивлением услышал в ответ:

— На сегодня вас пятьсот семнадцать душ.

Этот маленький шумный, пестрый мирок ошеломлял своим многообразием. Тут был пошлый болтун Буавен, сообщавший всем по секрету, будто он тайный роялист, но власти настолько глупы, что никогда этого не раскроют; его считали «легавым» — провокатором. Тут была и гражданка Прево, девяноста одного года, заподозренная в контрреволюционном образе мыслей на том основании, что рента приносила ей сто тысяч ливров годового дохода; изо дня в день гражданка Прево повторяла дребезжащим голосом, что ей пришлось пережить немало ударов судьбы и что этот — еще не последний. Тут был и добряк доктор Дюпонтэ, который не только лечил больных, но и здоровых преследовал своими бесчисленными советами. Тут был

и лакей Кюни, пребывавший в состоянии крайней подавленности: на него пало подозрение в том, что он обворовал своего бывшего хозяина, какого-то вельможу. В конце концов лакей перерезал себе горло, после чего выяснилась его невиновность. Тут был и гражданин Дориваль, зазывала на ярмарке в Сен-Жермене. Он расхаживал в генеральской форме и сочинял цветистые побасенки из своего прошлого; его называли «великий тра-ля-ля» и острили, что он на монгольфьере, воздушном шаре, прилетел в Лабурб из пустыни Сахары. Тут был и неизменный оптимист Жиль; желая поднять дух заключенных, он ночами, крадучись, выводил на стенах обнадеживающие надписи. Уже дважды тюремная администрация сурово наказывала его, а заключенные предупреждали, что в конце концов он подведет себя под нож гильотины, но он не унимался, не мог. Тут была и гражданка Карлье, о которой судачили, что, пользуясь своей полнотой, она симулирует беременность, но потом она все же родила. Тут был и гражданин Дювивье, который сразу же после штурма Бастилии встал на сторону революции, пламенными речами и делами доказывал свой патриотизм, но на спине у него были вытатуированы королевские лилии, а поэтому его все время подозревали в неблагонадежности; он был красив и изящен, ухаживал за всеми дамами, и, хотя явно не отличался верностью, дамы одна за другой — стоило ему лишь предложить — соглашались поглядеть на вытатуированные лилии. Тут был и бывший депутат Робэн. Его политическая позиция в первом Национальном собрании успела стать пожелтевшей страницей истории, но он все еще красноречиво, с пеной у рта, защищал ее. Тут были уличные женщины, державшие себя строго и чинно, и добродетельные матери семейств, державшие себя вызывающе. Тут были знаменитый писатель Флориан, автор «Нумы» и «Вильгельма Телля», и лирик Робер Виже, чьи стихи вся Франция знала наизусть. Тут был очень спокойный состоятельный гражданин Дежарден, ободрявший отчаявшихся и вдруг выбросившийся из окна. И среди всех этих ипохондриков и оптимистов, стариков и детей, бранчливых и уживчивых носились и лаяли собаки, большие и маленькие; ибо каждый второй заключенный приводил с собой в тюрьму свою собаку.

Когда позволяла погода, заключенные гуляли в саду. Вечерами мужчины и женщины собирались в общей ком-

нате, в зале. Надписи на стенах зала возглашали: «Идеалами истинного патриота в любой жизненной ситуации неизменно остаются — Свобода, Равенство и Разум». Или: «Свободолюбивый любит свободу, даже если у него насильно ее отняли». Под этими надписями вывешивалось обычно меню на завтрашний день.

В зале играли во всевозможные игры: в шахматы, трик-трак, карты. Женщины пилили корпию, многие читали, некоторые музицировали или декламировали, мужчины и дамы вели светские разговоры. Обсуждали злободневные события тюрьмы, где всегда случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, и фантазия узников приукрашивала эти сенсации еще более сенсационными подробностями. Ежевечерне кто-либо читал вслух «Монитор», правительственную газету, дававшую повод к бесконечным дискуссиям на политические темы. И хотя было известно, что среди заключенных немало «легалых», осторожность почти не соблюдалась, и порой между демократами, умеренными и теми, кто почти не скрывал своих монархических убеждений, разгорались ожесточенные споры. Осмотрительные люди призывали к спокойствию либо покидали зал. Иной раз беседа поднималась на высоты философии. Чаще, однако, она кончалась грубой перебранкой, и собеседники откровенно излагали свое мнение друг о друге.

Пришла зима. Снега в этот год было больше, чем обычно, и в саду началось веселье. Катались на салазках, лепили снежных баб, играли в снежки, дети и собаки шумели и радовались.

Но как ни красочна, как ни весела была жизнь в Ла-Бурб, узники знали, что над ними занесен топор палача. Забыть об этом не удавалось ни на минуту. Ежедневно кого-нибудь из заключенных увозили в Революционный трибунал, и в двух случаях из трех трибунал выносил смертный приговор, который в двадцать четыре часа приводился в исполнение. Состав заключенных в Ла-Бурб отличался большой текучестью.

Когда и кого настигнет злая судьбина, когда последует вызов в Трибунал, — зависело от настроения того или иного судьи, присяжного заседателя, депутата, городского советника, мелкого писаря или даже от какой-нибудь пометки в деле. Ла-Бурб была преддверием гильотины, и ожидание изматывало нервы.

Узники старались не думать об опасности. С головой погружались они в крайне ограниченную повседневность Ла-Бурб, без конца болтали, заводили друзей и наживали врагов. Внутреннее напряжение искало себе выхода во вздорных стычках; заключенные ссорились по поводу взаимных оскорблений, о которых якобы узнавали от третьих лиц, по поводу несправедливости при раздаче еды и по разным другим мелочным поводам. Каждый призывал всех остальных в свидетели и судьи, создавались партии, вынужденность постоянного совместного пребывания увеличивала раздражительность.

Бывало тут и карикатурное соперничество, смехотворная потребность блистать в этой жалкой компании, в которую попадали не по доброй воле. Так, например, вечерами в зале иной раз забавлялись игрой в буриме; из редко употребляемых, отдаленных по смыслу, рифмующихся слов составлялись окончания стихотворных строк, и надо было соединить их в осмысленное стихотворение. Среди заключенных находились писатели и поэты, произведения которых прославились на всю Европу: Флориан, Виже. Все они принимали участие в дурацкой игре сначала в шутку, но постепенно входили в азарт и старались изо всех сил. Победа, однако, доставалась обычно не им, а некому Деламелю, заурядному адвокату; это задевало поэтов за живое.

Тут были актеры, пользовавшиеся шумной славой, Флери и Дюгазон из театра Французской комедии. Борьба за роли, которую они с десятков лет, не гнушаясь самых низменных средств, вели друг с другом, служила постоянным предметом разговоров в Париже. Теперь соперники жили в тесной дружбе, их часто видели прогуливающимися рука об руку. Вечерами в зале, когда их просили что-нибудь прочитать, они не заставляли себя долго уговаривать. Но если только одному из них выпадала возможность показать свое искусство, другой не скрывал обиды. Однажды после такой «обиды» мосье Флери ночью явился в камеру Фернана и его товарищей, рассказал какой-то анекдот по поводу одного представления «Митридата» и прочел знаменитый монолог.

Однако все усилия уйти от мыслей о том темном, что каждому предстояло, мало помогали. Оно всегда было тут, всегда и сквозь все пробивалось. И каждый про себя готовился мужественно принять смерть.

Мосье де Николаи, один из министров Пятнадцатого и Шестнадцатого Людовиков, был вызван в Трибунал во время обеда.

— Велите жандармам подождать, пока я кончу,— сказал он. Он потребовал, как всегда, кофе и ликер. Добрый доктор Дюпонтэ спросил, не помассировать ли ему на прощание больное плечо.

— Благодарю,— ответил мосье де Николаи,— не стоит беспокоиться. Мой недуг переключался в затылок, а не будет затылка, вылечится и плечо.

Вообще героически остроумная фраза высоко ценилась, и люди не отказывали себе в удовольствии броско ответить, даже когда знали, что расплаты не миновать.

Так, полковник Лапалю в присутствии других заключенных жаловался городскому советнику Дюпомье, что вот уже почти год, как он здесь, а ему все не объявляют, в чем, собственно, он обвиняется.

— Терпение, гражданин,— успокаивал его советник.— Правосудие справедливо, не век же здесь сидеть. Терпение!

— Терпение! — передразнил его полковник.— Терпение — добродетель ослов, но не солдат.

Ему действительно не пришлось долго терпеть: через неделю он исчез.

Гражданин Деламель, адвокат, был вызван в Трибунал как раз в ту минуту, когда шла игра в буриме, в которой он всегда так блистал. Он сначала закончил стихотворение, радуясь, что внезапность вызова не лишила его остроумия. Все выразили восхищение его мастерством. Он поблагодарил, сказал поэту Флориану, который далеко не так успешно подбирал стихотворные строчки:

— Завтра, мосье, у вас будет одним конкурентом меньше,— пожелал дамам удовольствия от этой игры и в дальнейшем, поклонился и вышел.

В Ла-Бурб все болезненно интересовались, как вел себя тот или иной осужденный, всходя на эшафот. Чаще всего осужденные держались мужественно. Почти все, по примеру людей античного мира, заранее придумывали последнее слово, и многим удавалось спокойно произнести его.

Подмастерье пекаря Аллен гордился своей принадлежностью к черни и любил посмеяться над прилизанными манерами аристократов. Но однажды, когда кто-то рассказал о новом случае мужественного поведения аристо-

крата на его последнем пути и наступило молчание, Аллен полууважительно заметил:

— Жить по-человечески вы, «бывшие», не научились, но умирать — это вы умеете.

Глава вторая СМЕРТЬ НЕ СТРАШИТ НАС

Фернан, чей счет в банке был секвестрован, с досадой стал замечать, что запас денег подходит к концу. Вопреки наступившему Равенству и в Ла-Бурб деньги обеспечивали их обладателю удобства и почет. Ремесленники, находившиеся в тюрьме, портные, сапожники, парикмахеры, часовых дел мастера обслуживали состоятельного человека быстрее и лучше, чем других; вознаграждение за труд они брали не по затрате усилий, а по состоятельности клиента.

Помимо всего прочего, многие товарищи по заключению обращались к богатому Фернану с просьбами ссудить их деньгами, а он не любил обманывать чьи-либо надежды.

Поэтому Фернан был очень доволен, когда однажды ему тайно вручили солидную сумму; из намеков он понял, что деньги послал мосье Робинэ.

Мысли о Латуре, об Эрменовиле, о жизни на воле не так уж часто тревожили Фернана. Как ни странно, но больше всего напоминали ему о прошлом многочисленные собаки, находившиеся в лагере; образы рыжей Леди и жирной пыхтящей собачонки Понпон возвращали его мысли к дорогим и близким людям.

Но эти грустные воспоминания быстро вытеснялись вздорными, ничтожными радостями и горестями тюремного обихода. Фернан, как все обитатели Ла-Бурб, принимал живое участие в повседневной жизни тюрьмы. Вместе со всеми он возмущался, что на обед сегодня опять гороховый суп, с горячностью обсуждал приятные или раздражающие свойства надзирателя Бенара, вместе со всеми смеялся над дурацкой манерой гражданина Буайанваля перебивать каждого, кто рассказывал какую-нибудь забавную историю, и тем самым разрушать всю соль ее. Если вечерами, во время игры в рифмы, Фернан удачно выходил из затруднения, он радовался и часто жалел, когда ровно в десять раздавался звонок и все волей-неволей расходились по камерам.

Среди заключенных женщин были хорошенькие и даже красавицы; с многими из них можно было приятно поговорить. Мужчины и женщины могли беспрепятственно встречаться, и изящный гражданин Дювивье без особого труда добивался возможности показать дамам свои вытатуированные лилии.

Условия тюремной жизни исключали уединение и вынуждали к известному бесстыдству, но хорошие манеры соблюдались.

Был назначен новый смотритель тюрьмы, грубоватый, прямолинейный и справедливый человек по имени Тирион. Он обратился к узникам Ла-Бурб с речью:

— Граждане и гражданки! Весь Париж рассказывает анекдоты о нашем заведении. Говорят, что его заслуженно называют болотом, что это просто-напросто большой бордель. Я поставлен только затем, чтобы никто из вас не мог бежать. В мои обязанности не входит забота о вашей добродетели. Но одно все же я хотел бы вам сказать: у многих из вас есть основание ждать от правосудия Республики быстрой расправы. На вашем месте я посвятил бы свои последние дни добродетели, а не легкомысленным удовольствиям. Прощайте!

Несмотря на такое предупреждение, в Ла-Бурб по-прежнему процветала игра в любовь и ухаживание, порою бывала и ревность, а иной раз — и подлинная привязанность. Влюбленные охотно принимали свои отношения за великую страсть, даже когда это было всего лишь бегством от завтрашнего лютого дня.

Фернан наблюдал за этой любовной суетней с сочувствием и порой с улыбкой. А иной раз ему становилось жутко. Он видел тень смерти на лицах своих товарищей по заключению. Люди, которые тут любезничали и любили, превращались вдруг в паясничавшие скелеты. Это не мешало ему разделять их радости.

Не прошло и двух-трех недель, а он уж наравне со всеми полностью включился в жизнь Ла-Бурб. Занятый мелочными заботами, подстрекаемый любопытством, он целыми днями носился по коридорам и комнатам обширного здания, по территории сада. Раненая нога дожимала его сильнее, чем прежде, но совет добряка доктора как можно больше двигаться служил ему желанным предлогом бегать от одного к другому, как делали все.

В глубине души он ставил себя выше остальных, и когда ловил себя на том, что поведение его ничем не отличается от их поведения, удивлялся себе, пожалуй, даже испытывал стыд.

И все же он был не таким, как все; порой постоянное вынужденное пребывание на людях жестоко его мучило. Товарищеские отношения, которых он обычно настойчиво добивался, в такие дни казались ему несносными. Он чувствовал неприязнь даже к тем, к кому питал уважение и симпатии, и теперь он понимал, почему Жан-Жак, горячо любивший людей, народ, так отчаянно боролся за свое одиночество.

В такие дни Фернан искал возможности побыть одному. Он садился, скажем, на скамью в саду и углублялся в книгу, всем своим видом подчеркивая, что хочет быть один. С этим никто не желал считаться. Не только громкие разговоры проходивших мимо пар или целых компаний отвлекали его, но любой мог подойти к нему, бесцеремонно заговорить, поведать свои интимные дела, потребовать его суждения в том или ином споре, потребовать принять сторону того или другого; и Фернан убедился, что малейшая попытка уклониться от сочувствия оскорбляла людей и толковалась как себялюбие и высокомерие.

Даже ночью нельзя было остаться наедине с собой. В той же камере находилось еще семеро заключенных, из других камер приходили гости, горел свет. Обитатели Ла-Бурб страшились сна, они старались не спать, предпочитали тысячи раз пережевывать уже сказанное. Они знали: им отмерены считанные дни и ночи, каждый день и каждая ночь могли стать последними; и все-таки они предпочитали заполнять время пустой болтовней, а не одинокими думами.

И когда наступали наконец тишина и мрак, на Фернана обрушивались горести других. Ибо ночью обретал голос страх смерти, подавляемый в течение дня. Заключенные разговаривали во сне, метались; их явно мучили кошмары.

Иной раз, когда Фернан лежал в постели — отнюдь не жесткой, — страх находил и на него. Мужественные слова: «И если революция отнимет у меня жизнь, она и тогда будет права» — нисколько не помогали. Страх смерти хватал за горло с такой жестокой силой, какой Фернан не знал в самые мучительные дни американского похода.

Бессмысленность того, что творили с ним, приводила его в бешенство. Ему казалось, он вот-вот задохнется; он ловил ртом воздух.

В Ла-Бурб был заключен и некий мосье Риуф, тихий пожилой человек, большую часть своей жизни посвятивший переводу Лукреция на французский язык. Перевод был давно закончен, уже вышел вторым изданием в улучшенной редакции, был в десятый, в последний раз отшлифован и переработан. Теперь, несмотря на шум, постоянно стоявший в тюрьме, мосье Риуф перерабатывал его в одиннадцатый, сверхпоследний раз, останавливаясь на ненужных мелочах, возвращаясь к одному и тому же и больше всего беспокоясь, что его вызовут в Трибунал раньше, чем он закончит последнюю, наиболее точную редакцию. К Фернану, хорошему латинисту, он очень привязался, не проходило дня, чтобы он не прибегал к нему, радостно возбужденный: ему удалось передать еще один тончайший оттенок.

Вновь и вновь читал ему гражданин Оноре Риуф строки Лукреция и свой перевод. Чаще всего — известные стихи о смерти, ясные и глубокие. В этих стихах говорилось, что с телом умирает и душа и поэтому бессмысленно бояться смерти; ведь она ведет в Ничто, где нет больше страданий. Точно так же, как наше поколение не чувствует отчаянья того времени, когда Ганнибал стоял у ворот, мы после смерти не почувствуем ужасов грядущих времен, хотя бы море затопило землю, а небо поглотило море.

*Nil igitur mors est, ad nos neque pertinet hilum
Quandoquidem natura animi mortalis habetur.*

Значит, смерть нам — ничто и ничуть не имеет значения,
Ежели смертной должна непременно быть духа природа¹.

Фернан, лежа в постели и призывая сон, мысленно произносил эти строки — на латинском языке сильные и глубокие, на французском — равномерно-монотонные, баюкающие, усыпляющие. Он чувствовал, как погружается в черные беспредельные волны забвения и сна, как его «я» растворяется, как тело уходит в бездну. На какой-то миг ему удавалось насладиться блаженством погружения в небытие, в сон.

¹ Здесь и далее цитаты Лукреция — в переводе Ф. А. Петровского.

Глава третья

ЧЕЛОВЕК ДОБР

В замке Эрменонвиль поселилась стража, состоявшая из десяти солдат Национальной гвардии во главе с начальником отряда капралом Грапенем. Согласно приказу, солдаты не спускали глаз с неблагонадежного гражданина. Даже когда Жирарден спал, кто-либо из солдат дежурил в комнате, даже в туалет отправиться ему не разрешалось без сопровождающего.

А вообще говоря, солдаты были славными малыми. Они осведомлялись о самочувствии Жирардена, делились с ним мнением о погоде и не обижались, если он отвечал односложно или не отвечал вовсе.

Ему было запрещено с кем-либо встречаться, писать или получать письма. Но по садам гулять разрешалось. Ежедневно посещал он могилу Жан-Жака; один солдат перевозил его на остров, второй — сидел под ивой Жан-Жака.

За эти дни с Жирарденом произошла глубокая, разительная перемена: он превратился в старика. Этот человек, всегда такой прямой, подтянутый, в котором с первого взгляда можно было узнать военного, теперь ходил согбенный, волоча ноги, глядя перед собой в землю, и если кто-либо из стражников окликал его, он вздрагивал.

Почему все это на него обрушилось?

Он знал, что в Жан-Жаке таилось нечто опасное. Снова и снова с жгучей четкостью возникало в нем одно воспоминание, которое он старался подавить в себе, — воспоминание о некой заметке на полях в рукописи «Исповеди». «Thelo, thelo manepai — я хочу, да, хочу безумствовать» — греческими буквами старательно вывел Жап-Жак на полях. Он, Жирарден, обязан был знать об одержимости Жан-Жака, о том опасном и темном, что таилось в нем. Он *знал* об этом, и он это замалчивал, не признавался ни себе, ни другим. И вот теперь одержимость Жан-Жака охватила всю страну.

Жирарден испугался своей мысли. Какое право он имеет приписывать учителю вину за безумие парижских тиранов? Разве такие мысли не измена Жан-Жаку? Что за дело источнику, куда и к кому несутся его воды?

Он стоял перед бюстом Жан-Жака. Он, он, Жирарден, не справился со своей задачей, он не уберег живого Жан-

Жака от врагов, и что еще страшнее — не сумел уберечь его посмертно. Он спасовал и как толкователь его творений. Судьба покарала Жирардена: его преследовали фурии за то, что он не выдержал испытания.

Он боялся, что сойдет с ума. Начал разговаривать сам с собой. «Из утверждения и отрицания рождается истина», — произносил он вслух, назидательно поднимая палец. Или: «Человек добр», — с горькой иронией повторял он знаменитое изречение Жан-Жака. Стражники качали головами, глядя на чудаковатого старика.

Больше собственной участи терзала его тревога за Фернана. Он превозмог себя и спросил у солдат, что сделали с Фернаном. Солдаты пожимали плечами, они не знали.

Через неделю к нему допустили мосье Гербера. Первый вопрос Жирардена был:

— Что с Фернаном?

— Говорят, он пока в следственной тюрьме, — сказал Гербер.

— Жив? — со страхом в голосе переспросил Жирарден, чтобы еще раз услышать подтверждение.

— Да, — решительно ответил Гербер. — Мне это сказал мосье Робинз, а он хорошо осведомлен.

Гербер заговорил с Жирарденом по-немецки. Сначала гвардейцы запротестовали, потом махнули рукой. Но Жирарден, своенравный и ребячливый, едва отвечал этому преданному человеку. Гербер только вздыхал, сопровождая Жирардена на его прогулках.

Однажды на одной из таких прогулок Гербер как бы для себя читал стихи своего любимого Лукреция:

Ибо, как в мрачных потемках дрожат и пугаются дети,
Так же и мы, среди белого дня, опасаемся часто
Тех предметов, каких бояться не более надо,
Чем того, чего ждут и пугаются дети в потемках.

И тут впервые за много дней Жирарден заговорил.

— Они страшнее, — сказал он тихо и озлобленно. — Помолчав, он прибавил: — Было бы хорошо, если бы вы, мосье, помогли мне почитать Лукреция. Боюсь, что моего знания латыни не хватит для этого.

Так стихами Лукреция поддерживали дух свой Фернан в тюрьме Ла-Бурб и Жирарден в Эрменонвиле. В это великое, суровое и горькое время перелома многие во

Франции читали Лукреция, в тот год в Париже вышло четыре новых издания его произведения «О природе вещей».

Мосье Гербер вновь и вновь осторожно пытался вызвать Жиардена на разговор о его собственной участи. Но Жиарден все время обрывал его, заявляя, что болтовня на этот счет не имеет никакого смысла; даже то, что говорил Жан-Жак, никому впрок не пошло, и даже наоборот. Гербер не ответил, лишь печально и укоризненно посмотрел на Жиардена.

— Не так разве? Не прав я? — немного погодя уже мягче спросил тот.

И мосье Гербер негромко, но решительно ответил:

— Нет, господин маркиз, вы не правы. Я не могу позволить вам, даже в вашем положении, хулить благородное вино только потому, что оно кому-то одурманило голову.

В этот день Жиарден впервые за долгое время попытался работать. Он достал рукопись своего очерка «О ратификации законов Всеобщей волей». Работа увлекла его, и несколько дней спустя он спросил верного Гербера:

— Как вы думаете, не превратить ли мне мой очерк в большой принципиальный трактат «Всеобщая воля и ее значение в системе взглядов Жан-Жака»?

Гербер обрадованно взглянул на него.

— Вот видите, господин маркиз, теперь и вы наконец дозрели, простите за вульгарное выражение. Я хотел сказать, что теперь и вы поняли: храмы превращены в конюшни, но боги живы. Я так счастлив!

Некоторое время работа отвлекала Жиардена. А потом опять наступили часы тяжелых раздумий и подавленности. И сообщения газет, которые ему через некоторое время разрешили читать, снова ввергли его в мучительные сомнения. Он читал о кровавых банях, учиняемых мятежниками в провинциях, и о еще более жестоких карательных действиях Конвента, направленных на устрашение. Он читал об истреблении целых городов.

Однажды он прочел, что после краткого карикатурного судебного процесса была казнена королева Мария-Антуанетта. Он прочел об этом с большим запозданием: прошло уже больше недели, как тело королевы сгорело в известковой яме.

Конец Марии-Антуанетты взволновал его сильнее, чем куда более тяжелые и значительные события. До осязаемости ярко вспомнил он, как Мария-Антуанетта украсила полевыми цветами могилу Жан-Жака и тем самым помогла сохранить его память в незапятнанной чистоте. Она была не очень умна, габсбургская принцесса Мария-Антуанетта. Но горе делает умным, страдания делают умным, он это знает по собственному опыту. Поняла ли Мария-Антуанетта в свои последние часы, сколь много способствовали творения Жан-Жака и память о нем тому, чтобы подвести ее под нож гильотины?

В один прекрасный день приставленный к Жирардену капрал Грапен добродушно усмехнулся во все лицо и сказал:

— Радуйся, «бывший», к тебе гость пожаловал.— Не успел он кончить, как в дверях показался старый Робинэ.

Жирардену очень хотелось не принять непрошеного гостя. Но он вдруг болезненно почувствовал, как мало людей осталось вокруг него, всего трое: мертвый Жан-Жак, живой Гербер и любимый сын Фернан, не живой и не мертвый. Значит, Жирардену нельзя отталкивать от себя и такого вот Робинэ.

И мосье Робинэ пережил немало тяжелого за последние несколько недель. Жильберта замкнулась в своем отчаянье. Она обвиняла себя в бедах Жирарденов; твердила, что была обязана убедить Фернана бежать. Никакие слова утешения, разумные доводы на нее не действовали. Робинэ грызло сознание своего бессилия, но он не видел возможности помочь Жирарденам. Приходилось радоваться, что парижские кровопийцы не схватили его самого. Он чувствовал себя глубоким стариком.

Но он взял себя в руки. Нет, так легко он не сдастся. Прежде всего он нашел средства и пути, чтобы проникнуть к неблагонадежному «бывшему». Он не только переоделся старым крестьянином, он стал им, и капрал Грапен, сам крестьянин, и его гвардейцы, такие же крестьяне, пропустили старого Робинэ в замок.

С хитрой улыбкой, умножавшей морщины на его морщинистом лице, стоял он перед Жирарденом.

— Ça у est, вот и мы,— сказал он, оглядывая сеньора Эрменонвиля. Как ни старался тот подтянуться, сохранить военную выправку, ничего не помогало: он был надлом-

ленным дряхлым стариком. Робинэ с гордостью почувствовал: он моложе этого «бывшего».

Жиарден, затаив тревогу, спросил о Фернана. Да, у Робинэ есть сведения. Фернан все еще в Ла-Бурб, а Ла-Бурб из всех подследственных тюрем — лучшая. Робинэ также взял на себя смелость тайно передать господину графу немножко денег, несколько тысяч ливров.

— Я верну вам эту сумму при первой возможности, — величественно сказал Жиарден, но тут же прибавил, искренне тронутый: — Очень вам благодарен, мосье.

Робинэ приходил довольно часто. Жильберта тоже непременно хотела навестить Жиардена. Робинэ чуть не силой удерживал ее. Только этого не хватало! Молодая, красивая женщина бросилась бы в глаза, она лишь подвергла бы опасности и себя и его и ухудшила бы положение Жиардена.

Но зато Робинэ привозил с собой иной раз свою правнучку Марию-Сидонию. Старик и маленькая девочка подружились. Малютка привыкла к простому крестьянскому платью; она в нем отлично себя чувствовала. Единственное, что осталось ей от прежней жизни, была собачонка Понпон, жирная, старая и ленивая. Робинэ и ребенок приезжали на деревенской телеге: Робинэ грузил на нее картофель или что-либо другое в этом роде и делал вид, что по дороге на базар заехал проведать знакомого.

Национальные гвардейцы любили детей, они с удовольствием шутили с Марией-Сидонией. Однажды Робинэ приехал, когда солдаты обедали. Большинство из них были южане, и на обед им обычно готовили кроличье рагу, обильно сдобренное чесноком. Они предложили Робинэ и малышке отведать рагу. Старику оно пришлось по вкусу, а Мария-Сидония, не привыкшая к пряностям, не решалась есть. Соядаты смеялись, уговаривали ее покушать и требовали, чтобы она и яблочного вина прихлебнула. Они пригрозили девочке: если она не будет есть и пить, они не позволят ей больше приезжать сюда, в замок. В конце концов она под смех солдат с отвращением поела рагу и выпила вина. Ее стошнило, что только увеличило веселье.

Это происшествие ввергло Жиардена в еще большее уныние.

Робинэ старался его приободрить.

— Злой сон развеется, господин маркиз, — сказал он. — И скорее, чем вы думаете, поверьте старому человеку, немало повидавшему на своем веку. А когда это случится, — продолжал он с лукавой улыбкой, полусерьезно, — я попрошу вас о большой услуге. Я, знаете ли, намерен восстановить тогда свой замок Латур, и вы мне непременно поможете разбить сады в вашем стиле. Назад к природе, господин маркиз!

Глава четвертая ЗВЕНО В ЦЕПИ

Робеспьер себе самому и своим друзьям цитировал слова Монтескье, которые и Жан-Жак привел однажды: «Быть может, наши потомки сочтут, что мы пролили слишком мало крови и пощадили слишком много врагов свободы». Он, тот самый Робеспьер, который голосовал за отмену смертной казни, должен был все неумолимей применять теперь это орудие устрашения. В результате повышенной бдительности, все больше граждан, считавшихся до той поры безобидными, объявлялись врагами Республики. Врагом оказывался и гражданин слишком умеренных взглядов, и гражданин слишком радикальных взглядов. Кто слишком горячо верил — был врагом, и кто недостаточно верил — был врагом. Весь во власти своих мрачных фантазий, Робеспьер контролировал мысли и самые головы, скрывавшие их.

Прежде всего он рассчитался с лидерами умеренных, заседавшими в Конвенте, — с жирондистами. Все они, двадцать один человек, предстали перед судом, были осуждены и гильотинированы.

Новые узники рассказывали в Ла-Бурб о последних днях жирондистов: о том, как они мужественно и красноречиво защищались перед Трибуналом, думая не о себе, а только о Республике, о том, как в ночь перед казнью все собрались на трапезу, напоминавшую пиршества избранных афинян, а на эшафот шли с пением революционного гимна.

Фернан с жадностью слушал рассказы о жирондистах. Почти всех из этой группы он знал лично, некоторых мог бы назвать своими друзьями. Эти «умеренные» отнюдь не

отличались умеренностью; в том Законодательном собрании, членом которого был Фернан, они составляли радикальное крыло. Именно они выдвинули те смелые, гордые положения, на которых покоилась Конституция; именно они объявили войну монархам Европы: в сердца этих людей никогда не заползала трусость. Это были самые светлые умы Франции, верные последователи Жан-Жака.

Но разве те, кто посылал их на смерть, не были верными учениками Жан-Жака? И которые из них окажутся перед лицом истории его лучшими учениками — убитые или те, кто их убил?

Деятели сегодняшнего дня, Робеспьер и Сен-Жюст, объявили жирондистов умеренными потому, что жирондисты затевали словопрения с противниками вместо того, чтобы уничтожить их. Верно то, что жирондисты не сумели сплотить Республику воедино, — законы, которые они издавали, были слишком справедливы. Верно, конечно, что жирондисты не справились со своей задачей. А Робеспьер и Сен-Жюст объявляли врагами отечества всех, кто не справлялся со своей задачей, и уничтожали их. Они уничтожали всех врагов отечества, даже опасных. Их логикой была гильотина. Быть может, иной логики для революции не существует.

Фернан, — теперь он признался себе в этом, — был, по существу, сам жирондистом.

Правда, он с жаром утверждал, что революцию может совершить только народ. Но в сокровенной глубине души он, подобно всем образованным людям своего времени, надеялся, что революцию можно сделать сверху, без участия народа. Более того, в этой сокровенной глубине души он, как и другие, вопреки всем уверениям и объяснениям в любви, относился к народу с таким благожелательным пренебрежением. У нас, образованных, несомненно, были добрые намерения, думал он, но мы смотрели на народ сверху вниз, мы похлопывали его по плечу, мы не давали себе труда найти общий язык с народом, мы навязывали ему наших античных героев, наших Гракхов, и Спартака, и Цинцинната, и снисходительно улыбались, когда народ не понимал нас. А теперь он выбросил нас на свалку. Вполне справедливо. Ибо наше изощренное умничание оказалось несостоятельным. А революцию осуществила и историю делала неуклюжая прямолинейная мудрость народа.

Нет, он, Фернан, не понимал народа. Он и Жан-Жака не понимал, Жан-Жак, одинокий и обособленный в силу своей гениальности, сохранил общность с народом, он сохранил смирение при всем понимании своего величия. Ему, Фернану, отказано в способности смиряться. Он надменно замкнулся в своем «я». Возможно, что гордость своим происхождением он и укротил, но место ее заняло духовное высокомерие.

Новая волна арестованных граждан, но уже совершенно иного порядка, заполнила Ла-Бурб.

Свалив жирондистов и получив тем самым неограниченную власть, Робеспьер вместе со своими приверженцами твердой поступью продолжал всходить по узкой и крутой стезе добродетели. Издавна его раздражала безнравственность фанатических последователей чистого Разума. Ему пришлось быть пассивным свидетелем того, как эти люди вынудили Конвент санкционировать их кощунственный «Культе Разума». Он, Робеспьер, верный ученик Жан-Жака, искренне верил в Верховное Существо. Кто отрицал Верховное Существо, отрицал и Жан-Жака, отца Республики. Робеспьер провозгласил атеизм аристократическим, контрреволюционным, порочным учением. Он решил расправиться с этими бесноватыми, с этими маньяками, с этими фанатиками, подстрекавшими народ к неверию в Верховное Существо.

Некоторые из таких врагов отечества были до суда над ними также доставлены в Ла-Бурб. Среди них находился, например, депутат Рике. Он мрачно заявлял, что республика, управляемая людьми, которые во всем надеются на Верховное Существо вместо того, чтобы полагаться на собственный, конечно, изрядно ограниченный, разум, — неизбежно погибнет. А гражданин Боссэ громко ругал Робеспьера; пусть, мол, этот несчастный Робеспьер, эта рыбаья кровь, со всей его методичностью, посредственностью и гильотиной, поцелует его, гражданина Боссэ, в то место, откуда ноги растут.

Теперь появились в Ла-Бурб заключенные, состоявшие в особо враждебных отношениях с некоторыми из прежних узников. Новые заключенные, недавно еще пребывавшие у власти, бросили за решетку либо их самих, либо их родственников. А теперь все они вместе были заключены здесь — преследователи и их жертвы. Напряжение в Ла-Бурб росло. В общем зале, на этом тесном простран-

стве столкнулись два мира: старый, благовоспитанный, с присущей ему легкой иронией, и новый, нетерпимый, агрессивный и крайне невоспитанный.

В Ла-Бурб доставили и депутата Шаплена, бывшего капуцина, покровителя вдовы Руссо. Он с давних пор навлекал на себя гнев Робеспьера. Главный зачинщик неоптребного «Культа Разума», Шаплен, по мнению Робеспьера, своим непристойным и кощунственным красноречием подстрекал людей к самым оголтелым оргиям. И не только его воинствующий антипатриотический атеизм был омерзителен Робеспьеру: он с остервенением фанатика преследовал этого неопрятного, неряшливого, необузданного человека и больше, чем идеи, вменял в вину Шаплену самый нрав его и образ жизни. Он обвинял Шаплена в том, что при ликвидации «Ост-Индской компании» и в ряде других служебных операций Шаплен утаивал имущество, подлежащее конфискации, и напоследок, при разгроме королевских склепов, присвоил себе разные драгоценные реликвии.

И вот теперь Шаплен, заключенный в Ла-Бурб, ждал, когда и он предстанет перед Трибуналом.

Возмущенно жаловался он товарищам по заключению на идиотскую ревность Робеспьера, на неблагодарность Республики и непостоянство народа. Бывший проповедник, Шаплен обладал блестящим даром красноречия; когда бы он ни говорил, вокруг него всегда собиралась публика и буквально заслушивалась его. Однажды какой-то разносчик, арестованный по подозрению в приверженности к монархии, перекрестился и сказал:

— Ты укрепил мой дух и ободрил меня, дружище, — и дал ему ломтик копченой колбасы.

Шаплен заметил, что он и его судьба заинтересовали Фернана, и искал случая излить перед ним душу и оправдаться. В противоположность большинству вождей Республики, он не позволил твердокаменным теориям заглушить в себе голос гуманности, говорил он, и перечислял Фернану имена многих людей, которым спас жизнь. Были среди них даже враги Республики, такие, например, как аббат Сикар, — дело в том, что аббат написал превосходный очерк о латинском языке Августина, а он, Шаплен, нитает слабость к интеллектуальным шедеврам. За это-то сумасшедший Робеспьер старается лишить его не только жизни, но еще и посмертной славы. Только потому, что

Робеспьер не сумел последовать за ним, Шаплом, на высоты обезбоженной, но оттого еще более светлой человечности, он бросает ему обвинения в низменных страстях, в гнусном корыстолюбии. Пусть так, он, Шапл, принимал порой подарки, произведения искусства, которые иначе, вероятно, пошли бы прахом, — прекрасные книги, иной раз, быть может, и деньги. Что же из этого следует? Изменил он оттого хотя бы на йоту своим идеалам? Корыстолюбие, что ли, побудило его штурмовать христианские небеса и вышвырнуть вон христианских богов?

— Разве проповедуемая мною истина перестает быть истинной оттого, что я люблю жизнь, люблю некоторое изобилие и пышность? — горячился он. — Я не пуританин; книги, картины радуют мое сердце. Представляю себе, какая судьба постигла чудесные вещи, которыми я наполнил мой дом! — горестно восклицал он. — Ведь эти варвары ничего в них не смыслят. Может, кто-нибудь из них подтирается теперь бумагой, на которой рукой Жака начертаны бессмертные слова.

Шапл не лгал, утверждая, что иной раз в порыве великодушия спасал людей. Но он умалчивал о том, что временами из мелочной мстительности убивал людей. Он с детства отличался обидчивостью, его злопамятность не прощала малейших когда бы то ни было полученных укулов самолюбия, и многие дорого заплатили за нанесенные ему и наполовину забытые ими обиды. Так, мировой судья Ларивьер, подписавший по поручению правительства ордер на арест Шапла, и патер Венакс, в стихах высмеивавший Шапла еще в бытность того капуцином, оба, когда Шапл пришел к власти, поплатились головой.

Шаплу не повезло: среди заключенных в Ла-Бурб оказались кузен мирового судьи Ларивьера и племянник патера Венакса. Они явно злорадствовали, что в этот скорбный дом попал и Шапл; дразнили его, прерывали потоки его речей насмешливыми репликами. Изобретали все новые и новые мучительства.

Обитатели Ла-Бурб охотно разыгрывали зловещую комедию, потешаясь над Трибуналом, гильотиной и собой. Венакс и Ларивьер подговорили нескольких заключенных сделать Шапла главным участником такой комедии. Те схватили его, когда он лежал в постели, поволокли в «революционный трибунал», признали виновным и каз-

нили. А затем он предстал перед судьями преисподней, где должен был оправдаться в убийстве тех, кого послал на гильотину из личной неприязни. Экспансивный, всегда во власти настроений, Шаплен, в противоположность другим обитателям Ла-Бурб, которые сносили такие шутки с невозмутимым видом, дрожал в своей ночной сорочке, что-то невнятно бормоча; искуснейший оратор, он являл собой в эти минуты жалкое зрелище. Приговор осудил его на преследование фуриями, и несколько заключенных, распевая хор фурий, прогнали его по коридорам всего здания.

Грузный, чувствительный Шаплен, в смертельной опасности сохранявший спокойствие и осмотрительность, так и не пришел в себя от переживаний этой ночи. Раньше ему доставляло удовольствие представлять себе, как он произносит в Трибунале свою последнюю речь; мысль о фейерверке, которым он собирался блеснуть в час своей гибели, приятно волновала его. А теперь он не в силах был дожить и те немногие дни, что ему остались. Он принял яд. Но яд подействовал не сразу. Шаплен вопил, корчась от жестоких болей; сбежались люди, добрый доктор Дюпонтэ дал ему противоядие, и даже попытка его уйти из жизни обратилась в фарс.

У Шаплена были кое-какие заслуги в деле создания и укрепления Республики. Он знал толк в искусстве и науках. Один из лучших ораторов страны, он запечатлел многие явления революции в метких, образных выражениях, возвышенных и сатирических, вошедших в разговорную речь всех народов. Он мог с полным правом рассчитывать, что сумеет так умереть, чтобы войти в историю в ореоле героизма. И вот дурацкая потеха нескольких жалких молодчиков превратила его в шута горохового, и память о нем на все времена приобретет душок смешного.

Спустя неделю его судили. Прокурор даже не дал себе труда произнести большую обвинительную речь; в нескольких небрежных фразах сформулировав обвинение, он призвал граждан присяжных вынести «плуту и спекулянту Шаплену» заслуженный им смертный приговор. Шаплен, овладев собой, начал было говорить, собираясь произнести блистательную, пламенную речь, но председатель Трибунала велел ему замолчать и пустой болтовней не отвлекать присяжных от более важной работы. Когда он шел к гильотине, те самые парижане, которые так часто

восторженно приветствовали этого толстяка, осыпали его теперь глупыми и веселыми насмешками. Шаплен положил на плаху свою голову златоуста, так и не произнеся последнего слова.

С гневом, состраданием, содроганием и насмешками выслушали рассказ об его трагикомическом конце обитателя Ла-Бурб. Но не прошло и часа, как они забыли о судьбе Шаплена — так сильно взбудоражило их пустячное происшествие в стенах Ла-Бурб.

У гражданки Прево, девятилетней, украли золотые, усеянные бриллиантами часики. Жизнерадостная старушка развлекалась в зале, принимая участие в играх, а часики оставила в своей камере.

В Ла-Бурб кражи происходили редко; при той солидарности, какая существовала среди заключенных, воровство считалось самым презренным из преступлений. Когда выяснилось вдобавок, что украл часы статный красавец Дювивье, молодой революционер с вытатуированными на спине королевскими лилиями, любимец дам, — возмущению не было границ. Дювивье всегда делал вид, что в деньгах не терпит нужды, он не скупился на галантные подарки своим приятельницам, на цветы и конфеты, и вдруг — украсть часы у гражданки Прево, у старушки! Шквал ненависти и презрения обрушился на его голову. И власти также сочли, что факт воровства свидетельствует против добродетели Дювивье, а тем самым ставит под сомнение и его гражданскую благонадежность. В его революционные убеждения более не верили, отныне верили только улике в виде вытатуированных лилий. Дювивье предали суду и гильотинировали. Обитатели Ла-Бурб согласились на том, что приговор справедлив, а дамы, за которыми он ухаживал, теперь содрогались от стыда. Старушка Прево сказала:

— Ужасно! Бедный молодой человек! Знала бы я, слова не проронила бы насчет часов.

За подобную сентиментальность все порицали ее.

Полный смысла и в то же время бессмысленный, иронический, трагикомический конец Шаплена глубоко взволновал и Фернана. Но с ним произошло то же самое, что и со всеми: сенсация с кражей часов начисто смыла острую и горькую тоску, навеянную судьбой Шаплена. Как все, Фернан досадовал на себя, что за любезностью и обходительными манерами татуированного не сумел

разглядеть его сути, и совершенно так же, как все, испытывал крохотное удовлетворение, что его казнили.

Фернана смутили эти ощущения, когда он отдал себе в них отчет. Шаплен — это была фигура. Честный революционер, несмотря на слабости, на смешное, что было в нем, он сослужил большую службу новой Франции. И что же? Его, Фернана, ученика Жан-Жака, созерцателя, который так гордился своей неповторимой индивидуальностью, глубже взволновала судьба мелкого, заурядного проходимца Дювивье, чем примечательный и значительный конец политика и ученого Шаплена. Фернан поддался общему настроению, и его большая и возвышенная скорбь легко уступила место чувству низкой мстительности и мелочной досады.

Он был подавлен непостоянством своих чувств. Но постепенно подавленность перешла в понимание, а потом и в удовлетворение.

Значит, он все же ничем не отличался от остальных. Он чувствовал, как они; обитатели Ла-Бурб составляли как бы одну семью, однородную массу, и он был частичкой этой массы. Если в минуты раздумий и рассуждений эта масса и распадалась в его глазах на ряд отдельных индивидов, все равно он принадлежит к ней.

Обитатели Ла-Бурб нередко вели себя подло, и он злораждался этой подлостью. Но это хорошо. Они ведь одно целое здесь, в Ла-Бурб, — в хорошем и в дурном. Они единодушны в своем презрении к трусости и в своем уважении к мужеству, независимо от того, кто обнаружил эти качества в свой последний час: «бывший» или революционер. Безмозглыми и жалкими бывали они, когда начинали ссориться, жестоко высмеивать друг друга за взгляды, которых не понимали; кража часов волновала их больше, чем борьба между последователями Разума и поклонниками Верховного Существа. Среди обитателей Ла-Бурб вспыхивала ненависть, если кому-нибудь мерещилось, что при раздаче супа его обделили. Но все — от «бывших» до якобинцев — оказывались пламенными французами, когда горевали по поводу поражений республиканской армии или ликовали по поводу ее побед.

Они составляли одно целое здесь, в Ла-Бурб. Это был народ со всеми свойственными народу противоречиями.

И Фернан был его частичей.

Глава пятая

БОГИНЯ РАЗУМА

Как-то вечером, сидя в зале, Фернан услышал возглас:

— Вы здесь, мой друг!

Он круто повернулся, он знал этот голос. Да, это была Эжени Мейяр, подруга Лепелетье, добрый друг Фернана. Она смеялась и плакала, испуганная, обрадованная.

Он не мог постичь, как это ее, любимую подругу мученика Лепелетье, заключили в Ла-Бурб.

Она принялась рассказывать. Как ни странно, но падение Шаплена потянуло и ее за собой. Накануне знаменитого Праздника Разума он явился к ней и предложил сыграть богиню Разума.

— Мне тошно было глядеть на этого неопрятного человека, — рассказывала она, — а из всех глупых ролей, которые мне приходилось играть, эта роль была самой глупой. Но могла ли я отказаться? Меня, несомненно, тут же обвинили бы в антигосударственном образе мыслей и предали суду Трибунала. Я не гожусь в мученицы. Я убеждена, Мишель бы меня понял.

И Фернан тоже понимал ее. Эта женщина знала жизнь и злосчастную противоречивость человеческого мышления и поступков. Эжени была человеком того же толка, что Лепелетье. Без особого трагизма приняла она злую иронию судьбы, покаравшей ее за деяние, против которого восставало все ее существо.

Смеясь и морщась от отвращения, она очень образно рассказала, как было дело. Шаплен и прочие маршалы атеизма настаивали на устройстве большого Праздника Разума в самый короткий срок. Участникам праздника дали на подготовку всего три дня. Граждане Госсек и Гардель, композитор оперного театра и балетмейстер, получили указание приспособить балет-ораторию «Мы славим Свободу» для спектакля «Мы славим Разум», так, чтобы его можно было поставить в соборе Парижской богоматери. Подмостки, декорации, весь театральный реквизит спешно переправили в собор Парижской богоматери, переименованный отныне в «Храм Разума». На хорах соорудили горную вершину, а на ней и самый «Храм Разума». Было это сделано на живую нитку, и когда Эжени в белом

платье и фригийском колпаке, с пикой в руке вышла из «Храма» и села на трон, она боялась, как бы вся эта штука не рухнула под ней. А когда четверо рыночных грузчиков, облаченных в ризы священнослужителей, потащили ее вместе с тронном с «горной вершины» вниз по грозно трещащим ступенькам, покрытым зеленым ковром, она сидела ни жива ни мертва от страха. Последовавшее затем знаменитое триумфальное шествие по улицам Парижа было сплошным мытарством. Дождь лил ручьями, белое платье Эжени мгновенно промокло, она дрожала на своем троне от холода, и еще больше зябли танцовщицы и хористки, составлявшие ее свиту. Одетые еще легче, чем она, в балетных туфельках, девушки месили уличную грязь и мокли под дождем, восторженно улыбаясь при этом, как полагалось им по роли. А затем, промокшие до костей, смертельно боясь поймать какую-нибудь тяжелую простуду, они несколько часов просидели в Конvente, слушая речи и терпеливо снося поцелуи, пока наконец всех их не доставили назад, в собор.

Хотя Эжени рассказывала в легком тоне, Фернан чувствовал всю брезгливость, стыд и отчаянье, которые эта женщина, несомненно, испытала. От природы жизнерадостная, она позаимствовала у Лепелетье способность находить смешное в самых нелепых событиях. Но в душе терпеть не могла вульгарности, и, вероятно, смех застревал у нее в горле, когда ей приходилось молча смотреть на всю эту дурашливость и нечистоплотность и спосить поцелуи членом Конвента, патриотические и похотливые прикосновения толпы.

Рассказала Эжени и еще об одной жуткой комедии, в которой она волей-неволей участвовала. На этот раз ей пришлось, все в том же костюме богини Разума, восседать все на том же троне в церкви Сен-Дени, когда там громили гробницы французских королей. Подстрекаемая Шапленом, неистово орущая толпа вытаскивала из гробниц останки королей, принцев, министров и князей церкви, именами которых украшена история Франции. Глумилась над костями, катала, точно кегельные шары, черепа Людовиков и Францисков, Филиппов и Генрихов. И набальзамированные трупы, и скелеты, а также скипетры, короны, епископские жезлы и прочие атрибуты власти,— все сваливалось в одну кучу, и на этой куче толпа плясала, топчя все и разрушая. Шаплен отложил для своих

коллекций обручи корон, перстни с печатями и другие сувениры. Сначала хотели было пощадить славного Генриха Четвертого — и потому, что, забальзамированный итальянским способом, он хорошо сохранился, и потому, что вообще пользовался популярностью. Но первосвященники Разума воспрепятствовали этому и приказали бросить Генриха в ту же огромную известковую яму, в которой уже перегорали останки других королей. Пощадил только один труп — труп фельдмаршала Тюрена. Любимого генерала, насколько это было известно Эжени, перенесли в музей естествознания, где, вероятно, он и находится по сю пору среди чучел редких животных. Когда последний труп исчез в известковой яме, Шаплен объявил: «Этим актом на веки веков завершается эра монархии. Отныне мир исчисляет время по календарю Республики».

Обитатели Ла-Бурб восхищались Эжени и жалели ее. По мнению непоколебимых радикалов, ей следовало гордиться ролью богини Разума, которую ей пришлось сыграть, и выпавшие на ее долю неприятности, право же, не такая уж высокая цена за величие тех дней.

Все, включая и политических противников, любили Эжени Мейяр. От ее присутствия тюрьма Ла-Бурб посветлела.

Многие мужчины добивались ее благосклонности — кто неуклюжим, кто изысканным ухаживанием. Но она явно предпочитала Фернана всем остальным. Где и когда только можно было, оставалась с ним вдвоем, заботилась о его больной ноге, вела с ним грустные, шуточные, нежные разговоры. Между ними началась любовь, тихая и сильная, нежная и мудрая перед лицом смерти, витавшей вокруг них и над их собственными головами.

Память о Лепелетье не мешала им, скорее сближала. Они улыбались, глядя на величественные и ничего не выражающие черты каменного Лепелетье, выставленного в тюрьме. Насколько иным было умное, безобразное, дружелюбное лицо живого Лепелетье!

В любви Фернана и Эжени присутствовала память о покойном, присутствовала угроза, таившаяся в их близком будущем. Любовь в лихорадочной атмосфере Ла-Бурб одаряла их ощущением радости жизни, легкости, чувством светлого, ни к чему не обязывающего счастья. Любовь Фернана и Эжени внушала уважение, и никто никогда ни одним намеком не омрачал ее.

Каждый день кого-либо из заключенных уводили в царство тьмы, и Эжени отдавала себе отчет в опасности, нависшей над ней.

— Я, разумеется, сошлюсь на то, что мне грозила бы смерть, откажись я играть эту богиню,— сказала она как-то.— Но какой толк? Эти Бруты из Трибунала все равно мне ответят: «Значит, гражданка, ты должна была умереть».

А в другой раз она сказала:

— Если меня осудят, прекрасная гробница, которую я заказала себе по образцу гробницы Жан-Жака, останется пустой: вряд ли со мной обойдутся милостивей, чем с останками принцесс.

Она вела такие разговоры, но Фернан, слушая ее с легкой завистью и задумчивой улыбкой, видел: в глубине души она все же не верит, что жестокая участь может и ее постигнуть. В сущности, в Ла-Бурб самыми большими оптимистами были двое: юная Эжени и девяностолетняя гражданка Прево.

Как-то, сама того не желая, Эжени вслух выразила свою уверенность, что для нее все кончится хорошо. Однажды ей случилось видеть очень много птиц, пойманных в сеть, рассказывала она Фернану. Она купила эту сеть со всеми птицами и — как пчеловод ни качал головой — выпустила пташек на волю. Щебет и ликование, с каким ласточки, дрозды, зяблики взмыли под синие небеса, было одним из ее самых светлых воспоминаний.

— Так произойдет и в тот час, когда меня выпустят,— сказала она.

И вот однажды утром Эжени исчезла... Исчезла столь же внезапно, как появилась. Фернан испугался так, словно удар обрушился на него самого.

Позднее он узнал, что ее перевели в другую тюрьму, еще позже, — что она освобождена. Он не скоро оправился от первого испуга. Ему не хватало Эжени. Как прежде, он принимал участие в жизни Ла-Бурб, но сильнее, чем прежде, чувствовал ее пустоту и постылость и чаще и острее испытывал потребность в одиночестве.

Он впал в состояние глубокой фаталистической подавленности. Он заблуждался, он не был таким, как все. На свою беду, он отличался от других. С горечью говорил он себе: *«Impares nascimur, pares morimur.»* — Неравными мы рождаемся, равными умираем».

Глава шестая

СУРОВЫЕ ПУТИ ИЗБИРАЕТ МИЛОСЕРДИЕ

Армия якобинцев, презиравшая и высмеиваемая военными специалистами всего мира, армия, собранная всеобщей воинской повинностью, «жалкая, служащая из-под палки армия террора» побеждала. Вести о победах одна за другой приходили с разных фронтов.

Париж ликовал.

Ликовала и Ла-Бурб. В саду, под трехцветным знаменем, собрались заключенные: на них смотрели бюсты Жан-Жака и Лепелетье. Пели гимн, написанный поэтом Виже, одним из обитателей Ла-Бурб. Смотритель тюрьмы Тирион произнес речь, выступили с речами и многие заключенные. Приводилось множество цитат из произведений Жан-Жака. Один из узников, адвокат Броньяр, «бешеный», не сомневавшийся в приговоре, который ждал его, воскликнул:

— *Res publica! Morituri te salutant!* — Республика! Обреченные на смерть приветствуют тебя!

И все присоединились к нему.

Праздновали победы и в Эрменонвиле.

Жиарден понимал: если бы победили армии союзников, и он и Фернан избавились бы от нависшей над ними смертельной опасности. И тем не менее он от чистого сердца радовался победам Республики. Когда его тюремщики собирались на праздничный обед, он послал им лучшее вино из своего погреба и попросил разрешения отпраздновать победу за одним столом с ними.

И вот он сидит среди солдат Национальной гвардии, славных, несколько неотесанных молодцов.

— Хорошим винцом ты нас потчуеть, «бывший», — признал один из них.

— Хоть ты и неблагонадежен, старик, но ты славный малый, — сказал другой и хлопнул его по плечу.

Жиарден слушал их тяжеловесные, простодушные шутки, думал о Всеобщей воле и чувствовал себя верным учеником Жан-Жака. Гражданин Венсан Юрэ, фанатический, мнительный мэр города Санлиса, разгневался, узнав об этом празднике братания.

У Венсана Юрэ и без того были причины для плохого настроения. Он не скрывал своей преданности депутату

Шаплону, а тут вдруг Шаплена обезглавили как врага отечества. Для Юрэ это было чревато недобрыми последствиями.

Тем ретивее ринулся он выполнять свои официально-патриотические обязанности.

Услышав о мягкотелости гвардейцев, он отправился в Эрменонвиль. Обратился к капралу Грапену и его солдатам с громовой речью о республиканской бдительности. Пригрозил, что будет жаловаться на них по начальству. Запретил впредь позволять неблагонадежному Жирардену какое бы то ни было соприкосновение с внешним миром.

Совершив сей подвиг, гражданин Юрэ направился через весь парк к могиле великого Жал-Жака поклониться его праху. Бдительный мэр и впрямь хорошо сделал, что приехал. Давно пора было взглянуть, что здесь творится. Ведь этот Эрменонвиль, этот парк, так же, как замок,— оплот реакции. На каждом шагу натыкаешься на чудищ времен тирании. Кругом торчат статуи каких-то пышно разодетых представителей старого режима, и у многих из них явно подозрительные имена: иностранные, аристократические, указывающие на связь этих людей с тиранами, со всех сторон осаждающими Республику. И в подобном окружении находится святая земля, где похоронен Жал-Жак!

Вернувшись в Санлис, гражданин Юрэ призвал державный народ положить конец такому позору.

Санлиские патриоты на двух повозках отправились в Эрменонвиль, захватив с собой подходящий инструмент: топоры, тесаки, ломы, да и бочку сидра не забыли. Они ворвались в парк, растоптали цветочные клумбы и прежде всего отбили носы нескольким каменным аристократам. Затем, засучив рукава, с азартом приступили к выполнению своей главной задачи. Два строения особенно раздражали их: Пирамида буколических поэтов и Храм философии. И на том и на другом было множество барельефов с изображениями каких-то иностранцев и иностранных же надписей, наверняка антипатриотических. Под молодецкий клич: «Долой тиранию!» и «Да здравствует Свобода!» — удалцы вдребезги расколошматили скульптурные портреты греческих, римских, английских, немецких поэтов и философов. Разрушить массивные, прочные колонны Храма философии было не так просто, но энтузиазм

санлисских молодцов справился и с этой задачей. Закончив дело, они на сваленных колоннах устроили пир в честь своей победы. Сознание выполненного долга, красивый вид и полная бочка сидра много способствовали их веселью.

Папаша Морис с ужасом увидел, что творится. Он бросился в деревню и поднял тревогу. Сады Эрменонвиля были гордостью сельчан, их любил великий Жан-Жак, сюда, только чтобы посмотреть на них, приезжало множество иностранцев. Папаше Морису удалось сколотить отряд в добрый десяток крестьян.

Вместе с ними он двинулся в Эрменонвиль и объявил ретивым санлиссцам, что парк этот вполне республиканский, что здесь провел свои последние дни Жан-Жак и что все эти каменные строения тоже вполне благонадежные. Патриоты из Санлиса не попались на удочку. Эрменонвильцы, видно, как были, так и остались крепостными «бывших», они никак не могут освободиться от рабского образа мыслей. Санлиссцы же верят своему мэру, гражданину Юрэ. А кроме всего прочего, в них играл сидр, и они были в большинстве.

На все новые доводы папаши Мориса, неоднократно приводившего слова Жан-Жака, они сначала смеялись, потом велели ему замолчать. А так как он не подчинился и продолжал свою патетическую речь, они достали из фургона брезент, повалили на него папашу Мориса, раскачали, подбросили его и поймали. И снова и снова подбрасывали кричавшего, дергавшегося трактирщика; забавно было до чертиков.

Изрядно помятый, обессиленный и потрясенный, сидел на земле среди обращенных в руины колонн папаша Морис и с горечью размышлял о том, какое глупое, зловредное толкование претерпевает иной раз учение Жан-Жака со стороны Всеобщей воли.

Тем временем санлиссские молодцы собрались идти в замок, решив лично провести «бывшего».

В вестибюле к ним навстречу вышел мосье Гербер.

Он все время издали наблюдал за тем, что делалось в парке. А теперь варвары ворвались и сюда; как готы и гунны, они превращали храмы в конюшни для своих лошадей. С мучительной ясностью видел он схожесть происходящих событий. Как те, в Париже, разрушали своими бесчинствами учение Жан-Жака о государстве, обращая

это учение в пародию на него, так и здесь варвары опустошали сады, последнюю утеху Жан-Жака, его «природу». Они не пощадили даже это скромное воплощение его мечты. От горя сердце мосье Гербера готово было разорваться. Стараясь обрести равновесие, он произносил про себя строчку из Эсхила: «Суровые пути избирает милосердие, управляющее миром».

Однако теперь, когда варвары вторглись в самый замок, он не мог более молчать. Бледный, высоко держа голову, он вышел к ним навстречу.

— Умерьте ваши страсти, господа,— сказал он.— Вспомните основной закон Республики: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». Именем Жан-Жака, священного и для вас и для меня, я говорю: на пороге этого дома кончается ваша свобода, граждане!

Он стоял перед ними худой, хрупкий, на вид гораздо старше своих лет; но глаза его не мигали, он устремил на гуннов горящий решительный взор, его голос звучал глубоко и заклинаяще. Он как-то смешно походил на Жан-Жака, и санлисам, быть может, смутно вспомнились портреты Жан-Жака, которые они, вероятно, где-то видели. На мгновение они заколебались.

Но потом кто-то из них сказал:

— Без проповедей, шут гороховый!

А другой прибавил:

— Это бывший поп, купленный слуга суеверий: сразу видно по его причитаниям.

Но они были добродушно настроены, они ничего ему не сделали, только нахлобучили на голову красный колпак, знаменующий свободу, налили ему сидра и заставили выпить за погибель аристократов, статуи которых они только что обратили в груды камней.

Капрал Грапен после неприятного объяснения с гражданином Юрэ не считал возможным мешать державному народу, когда тот наводил свой порядок в парке. Но за целостность и невредимость доверенного ему неблагонадежного гражданина он отвечал. Он поставил гвардейцев у дверей во внутренние комнаты и обратился к санлиским удальцам, убеждая их отправиться восвояси. Усталые от патриотических подвигов и от попойки, они дали себя уговорить.

Глава седьмая

ГОЛОС ИЗ КЛОАКИ

Якобинцы были бдительны. Им даже в тюрьмах мерещились заговоры. Заключенным строго-настрого было запрещено всякое общение с внешним миром.

Отныне узники не знали, что происходит в стране и за ее пределами; только старший смотритель каждый вечер читал им «Монитор». Даже изобретательный мосье Робинэ не находил более способов подавать весточки Фернану. Фернан ничего не знал о разорении Эрменонвиля.

В Ла-Бурб был введен новый, чрезвычайно строгий устав. Заключенным запрещалось получать с воли какие-либо съестные припасы. Музыка тоже была запрещена. Собак удалили. Спальные помещения не освещались. Малейшее нарушение нового устава каралось карцером. Веселый грим, маскировавший Ла-Бурб, был стерт.

С посуровевшим режимом прибавилось грязи, Ла-Бурб обернулась мрачной тюрьмой. Фернан мучительно страдал от грязи «болота». Прозвище тюрьмы вполне оправдывало теперь себя. И не только внешне: болотом были и узники в своей массе. Сознание общности с ними не несло с собой более ни утешения, ни ободрения, вечное пребывание на людях царапало и раздражало, погружало в липкую грязь.

Точно для того, чтобы поглумиться над заключенными, их заставляли каждый вечер собираться в зале. Право собраний, заявлял старший смотритель, — основное право Республики. Там, стало быть, они сидели, болтали, играли в карты или в шашки, а со стен пялились на них гордые изречения, прославляющие человечность и права человека. Фернану казалось, что в этом зале, как нигде более, видна была вся бессмысленность жизни в Ла-Бурб. Бессмысленными были бесконечные неистовые споры запертых под одной крышей узников. Бессмысленной была их участь. Бессмысленной была догматическая подозрительность тех, кто держал их взаперти.

Вся страна вертелась в бессмысленном водовороте. Для того чтобы самому не одуреть, Фернан искал смысл в бессмыслице. Величие без безумия невысказуемо. Стихотворные строки одного английского поэта не выходили у него из головы:

Great wits are sure to madness near allied
And thin partitions do their bounds divide.
Гений и безумие — родные братья,
Их разделяют лишь тонкие стены.

Жан-Жак, преследуемый всем миром за мудрость и смелость, бежал порой в безумие. *Thelo, thelo manepai.* А теперь весь мир преследует французский народ за то, что он с неслыханным мужеством совершает попытку построить государство на основе разума; так почему же отказать ему в праве на судороги безумия? В истории Франции так же, как в жизни Жан-Жака, гениальные по своей логичности поступки чередовались с актами безумия. Но здоровый инстинкт вновь и вновь возвращает народ на путь разума.

Несмотря на причиненные ему страдания, Фернан всячески старался оставаться справедливым и старался, чтобы собственная участь не заслонила от него всего, что совершается.

Разумеется, в том, что он сидит здесь, во мраке, виноват чистейший произвол какого-то зловредного глупца. Но Республике в ее борьбе за существование разрешалось все, что могло служить для устрашения и уничтожения врагов. Она вынуждена пользоваться услугами всех безответственных мелких чиновников, она не может разрешить себе останавливаться на частностях. Робеспьер, Сен-Жюст, Мартин Катру правы: в таких случаях жестокость становится добродетелью, и тот, кто из мягкосердечия осуждает суровые меры, предпринимаемые Республикой, тем самым уже становится в ряды ее врагов.

Нужно здесь, на дне пропасти, показать, чего ты стоишь. Если несправедливость, совершенная по отношению к тебе, собьет тебя с толку, если ты теперь не сможешь сказать, что безоговорочно привержен Республике, даже этой Республике ужаса, то ты утратишь право прийти к народу как брат.

В Латуре тем временем росла тревога. Робинэ не мог скрыть от Жильберты, что связь с Фернаном окончательно утеряна. Жильберте невмоготу было больше сидеть сложа руки. Она решила поехать в Париж и так или иначе попытаться вызволить Фернана.

Мосье Робинэ умолял ее не делать безрассудных шагов. Новые указы запрещают всем «бывшим» пребывание в Париже. Если Жильберта двинется из Латуры, она напрасно

подвергнет себя большой опасности: помочь Фернану все равно нельзя. Но никакие соображения и заклинания не могли ее удержать. Она поехала в Париж.

Прежде всего она должна поговорить с Мартином Катру. Немыслимо, чтобы Катру равнодушно прошел мимо участи, грозившей его ближайшему другу. Он, несомненно, попросту не знает об аресте Фернана. Такие аресты были теперь настолько заурядным явлением, что о них и не говорили. Надо поставить Мартина в известность.

Ее предположение, что Мартин не знал об аресте Фернана, подтвердилось. В Конvente ей сказали, что Катру по особому заданию выехал в Вандею. Но как бы там ни было, она должна что-то предпринять: Революционный Трибунал работал с умопомрачительной поспешностью.

Она пошла к жене Мартина, гражданке Жанне Катру. Стояла в тесной комнате, до отказа набитой мебелью. Жанна мерила ее недоверчивыми взглядами. Жильберта заранее тщательно обдумала все, что собиралась сказать. Жанне, конечно, известно, начала она, что Мартин дружен с Фернаном, а представить себе, чтобы гражданин Катру поддерживал дружбу с врагом отечества, разумеется, невозможно. Таким образом, арест Фернана — какая-то непостижимая ошибка, и Жильберта просит гражданку Катру дать знать об этом мужу.

Жанна никогда не любила Фернана, она с самого начала не доверяла ему. А теперь выходит, что и другие ему не доверяли. Ну и правильно, что он арестован. В глубине души Жанна была довольна, что Мартина нет в Париже; единственное, в чем она не одобряла его, была дружба с этим графчиком.

— Депутат Катру, — сказала она, — поехал в Вандею по заданию Конвента. В Вандее ему предстоит примерно наказать мятежников, чтобы отбить у них охоту к новой измене. Такого рода дело с головой поглощает человека. Неужели ты думаешь, гражданка, что я стану отнимать у Катру драгоценное время для столь мелких, личных делишек? Вообще не понимаю тебя, гражданка. Ты что, не веришь в справедливость Республики? Или же ты требуешь чего-нибудь иного, не только справедливости? Сочувствия, например? Сочувствие — не республиканская добродетель.

Жильберта не могла вернуться в Латур, обрекавший ее на бездействие. Она осталась в Париже. Поехала в

Ла-Бурб и принялась искать возможности переслать записку Фернану и получить от него в ответ несколько слов. С такими же намерениями околачивались вокруг Ла-Бурб родные и друзья других заключенных. Жильберта знала, что деньги могут многое сделать, и деньги у нее были. Но меры по изоляции заключенных в Ла-Бурб стали теперь особенно строгими, к часовым и надзирателям нельзя было и подступиться, кругом сновали бесчисленные шпионы, Жильберту предостерегали, что достаточно неосмотрительного шага — и она навлечет опасность и на своего друга, и на себя самое.

День и ночь она взвешивала, что может спасти Фернана и что погубить.

Она отваживалась являться на заседания Революционного Трибунала; она хотела видеть людей, от которых зависела судьба друга.

Там сидели те же судьи и присяжные, работу которых наблюдал еще Фернан. Но с тех пор и сами они, и методы их изменились. Им разъяснили, что их задача — в кратчайший срок и начисто вырезать раковую опухоль, разрастающую нутро Республики. Была отменена большая часть судебной процедуры, которая охраняла права подсудимого, ибо она затягивала вынесение приговора. Присяжные получили указание не копаться в мелочах, не взвешивать с точностью лавочников, что тот или иной подсудимый сделал или не сделал, а следовать голосу своей совести. Их обязывали держаться учения Жан-Жака, а оно говорило: «Совесть — это глас небес, он безошибочно направляет и тех, кто бредет ощупью».

Подсудимых приводили теперь в суд не в одиночку, а группами, по двенадцать, пятнадцать душ; однажды перед судом Трибунала предстала даже группа в двадцать семь человек, произвольно сколоченная каким-то безответственным секретаришкой. Заводилось, к примеру, дело: «Гражданин Дюпон и двенадцать других заговорщиков...». Это были странные заговорщики. В их число входили и бывшие вельможи, и превысившие установленные цены мелкие лавочники, проститутка, помянувшая добрым словом монархию и обругавшая Республику, бывший крупный откупщик и владелец кукольного театра, заподозренный в намерении высмеивать Республику на подмостках своего театра. Всем им скопом предъявлялось обвинение в том, что, сидя в Люксембургской тюрьме в ожидании

суда, они составили заговор с целью предать отечество и оказать поддержку вражеским тиранам.

Жильберта наблюдала судей и подсудимых, зрение ее было обострено страхом. Она видела, как нервничают присяжные, наполовину утратившие уже человеческие чувства. По-видимому, их деятельность, какой бы важной она ни представлялась им, стала для них обыденной. Жильберта не считала себя особенно умной и проницательной, но страх пробудил в ней способность догадываться, что происходит в головах судей и присяжных. Конвент, Коммуна города Парижа, Якобинский клуб наперебой требовали от них: «Выполняйте свой долг! Освободите нас от чумы предательства! Беспощадно истребляйте всех виновных! Лучше откромсать лишний кусок здоровой ткани, чем оставить гангрену на теле Республики!» И все сокращались сроки между следствием и судом, все поверхностней становилось следствие. Переутомленные присяжные уже едва отличали одного подсудимого от другого. Вдобавок публики, сидевшая в зале суда, вмешивалась, осыпала бранью подсудимых, подстегивала присяжных возгласами: «Не мешкайте! Не мешкайте!» Подозрительность росла с каждым днем, все подозревали всех; носились слухи, будто бы сам Трибунал продажен. Жалость рассматривалась как преступление, оправдательный приговор возбуждал недоверие. Жильберта представляла себе, что творится при таких обстоятельствах в душах присяжных. Быть может, эти люди были даже добрыми от природы, но они подчинялись своему «внутреннему голосу» и произносили:

— Виновен. Виновен. Смерть. Смерть.

Многие обвиняемые, пожалуй, большинство, были как будто и в самом деле виновны в том, что наносили вред Республике или, по крайней мере, готовы были это сделать, если бы представился случай. Но нередко перед судом стояли люди, далекие от всякой политики, цеплявшиеся только за свою драгоценную жизнь и крохотную толику благополучия. Иной раз таких обвиняемых оправдывали, но это зависело от случайности, от настроения членов Трибунала, от пресловутого «внутреннего голоса», а голос этот предпочитал обвинительный приговор оправдательному.

Жильберта мысленно видела Фернана среди обвиняемых. Суеверно искала она предзнаменований. Он как будто

похож на этого вот гражданина Юссона или вон на того гражданина Ренара, и как будет с ними, так будет и с Фернаном. Ее бил озноб, когда гражданина Юссона посылали на гильотину; она ликовала, когда гражданина Ренара объявляли невиновным.

Из Трибунала она бежала к воротам тюрьмы, из тюрьмы — в Конвент. В Конвенте осведомлялась, не вернулся ли депутат Катру и когда же он может вернуться. У ворот Ла-Бурб она расспрашивала людей, нет ли все-таки какого-нибудь надзирателя, с которым можно договориться. И снова и снова, притягиваемая страхом, неслась в Трибунал, на его чудовищные заседания.

Тем временем узники Ла-Бурб открыли способ сношения с внешним миром, вопреки всем суровым мерам, принятым против этого. Они установили, что по некоторым канализационным трубам, проложенным под землей, хорошо распространяется звук. В этом подземном мире можно было перекликаться, слышать друг друга.

Трогательно и как-то дико было услышать голос друга, жены, возлюбленной, доносившийся из клоаки; волновало представление, как говоривший спустился в эту грязную, вонючую глубину и там часами стоял и ждал, пока его голос дойдет до ушей того, кому он предназначался.

Каждый день, соблюдая тысячи предосторожностей, товарищи по заключению вызывали кого-либо из узников, чтобы тот из клоаки слышал голос близкого человека.

Однажды и Фернана таинственно и поспешно вызвали в отхожее место. Испуганный и обрадованный, он по дороге играл с собой в прятки, убеждал себя, что, вероятно, Эжени хочет ему что-то сказать, и не признавался себе, чей голос он ожидал услышать.

А потом до него донесся голос, голос Жильберты. Она произнесла только несколько фраз, совсем простых. Она сказала:

— Как ты поживаешь? — И затем: — Пущено в ход все возможное, чтобы вызволить тебя. Подробностей сейчас не буду сообщать. Но непременно все удастся. — И еще она сказала: — Не бойся ничего.

Там где-то стояла Жильберта, его милая подруга, стояла по колени в нечистотах для того, чтобы подать свой голос и услышать его голос. Сердце его разрывалось от муки и счастья. Все это, конечно, было сплошным безрас-

судством. Жильберта лишь подвергала себя опасности, она, разумеется, ничем не могла ему помочь, и все, что она говорила, — это выдумка, ей хотелось лишь поднять его дух. И он воспрянул духом. Ее слова, прорвавшиеся сквозь вонь, гадливость и смехотворность, проникли в его уши и сердце и звучали там чудеснее самой прекрасной музыки.

Заключение в Ла-Бурб не угнетало его больше, всегда тревожный сон стал спокойней. Он отдавал себе отчет в том, что слова ее не больше чем выражение желания и мечты, и все же весточка, поданная ею, возродила надежду и принесла покой.

Лепелетье в разговоре с ним провел однажды такую параллель. «Если мы заглянем в мировую историю, — сказал он, — мы увидим, что на пути человечества, в его движении вперед происходит то же самое, что в природе, которая с невероятной расточительностью разрушает старое, чтобы создать новые, высшие формы». Друг был прав. Фернан верил, знал: в конце концов из всех этих мелких, бессмысленных, диких эпизодов, происходящих вокруг, вырастет нечто великое, новая Франция, Франция Жан-Жака.

Сквозь нелепицу и мрак Ла-Бурб он услышал голос Жильберты. Вонь, через которую прошел этот голос, развеялась, остался только он, звонкий, вселяющий светлые надежды голос.

Глава восьмая МЕСТЬ ЖАН-ЖАКА

Так и случилось, как опасался гражданин Венсан Юрэ, мэр города Санлиса, терзаемый самыми мрачными предчувствиями в связи с падением депутата Шаплена. Против него возбудили следствие, объявили его неблагонадежным, сняли с поста, заключили под домашний арест.

Папаша Морис ликсвал. Пробыл час. Наконец-то можно рассчитаться с варварами, которые сыграли с ним такую подлую шутку. Вместе с другими свидетелями из Эрменонвиля он явился в Комитет безопасности и с множеством изобличающих деталей изложил, как санлиссские молодчики, подстрекаемые их коварным и безбожным мэром, надругались над любимыми садами богобоязненного Жан-Жака. Был составлен обстоятельный протокол. А тем

временем Максимилиан Робеспьер, рассматривавший широкую акцию против безбожников как свое личное дело, распорядился доставлять ему все протоколы, имеющие касательство к борьбе за утверждение Верховного Существа. Так дошли до него сведения о разорении Эрменонвильского парка. Его до зелени бледное лицо еще больше побледнело. Сады, где бродил Жан-Жак, где он, Максимилиан, вел с учителем единственный, незабываемый разговор и произнес клятву, чреватую столь огромными последствиями для истории Франции, колыбель революции — так варварски разорить! Но он, Максимилиан Робеспьер, это злодеяние покарает. Он сторицей воздаст за оскорбление, нанесенное памяти Жан-Жака. Он уже знает, что надо сделать. Робеспьер просиял. Придуманная им искупительная жертва послужит также новым доказательством братской любви его, Робеспьера, к Сен-Жюсту. На этом примере Сен-Жюст убедится, как высоко он его ценит.

Это было как нельзя более кстати.

В ближайшие дни Сен-Жюст должен отправиться на Рейн, чтобы в качестве политического комиссара на месте наблюдать за всем, что делается в воюющих армиях. Это был опасный пост; нередко непокорные генералы с помощью подручных ликвидировали обременительных наблюдателей. Максимилиан посылал своего Сен-Жюста на фронт с гордостью, но не без тревоги. Принятое им сегодня решение явится как бы признанием того, что друг Сен-Жюст в свое время правильное оценил положение, чем он. Максимилиан с радостью сообщит ему о своем решении.

Он рассказал Сен-Жюсту о бесчинствах санлиских атеистов и заключил:

— Эрменонвиль — неподходящее место для останков Жан-Жака. Вы, дорогой Антуан, были правы в тот раз, когда мы с вами ездили на могилу Жан-Жака, а я ошибался. Как вы и предлагали, мы перенесем драгоценные останки в Пантеон.

Нежное лицо Сен-Жюста покраснело. Существовал ли когда-нибудь в мире властитель, который так искренне признался бы в своей ошибке, как его друг Максимилиан? Как великодушно он уступает ему заслугу предполагаемого апофеоза Жан-Жака. А ведь Максимилиан больше чем кто бы то ни было все свои помыслы и деяния посвящает прославлению памяти Жан-Жака.

С новой силой во всей своей грандиозности предстал перед Сен-Жюстом исполинский подвиг Максимилиана. Римской республике понадобилось пять столетий на то, что Максимилиан совершил в пять лет. Со времен римлян мировая сцена пустовала: Максимилиан наполнил ее смыслом и жизнью.

Сен-Жюст с удовольствием принял бы участие в торжествах. Но через четыре дня, и никак не позднее, надо было отправляться на фронт, а живописец Жак-Луи Давид заявил, что для подготовки торжеств, посвященных памяти учителя, которые, по желанию Робеспьера, должны затмить погребение королей Франции, потребуются недели. Зато он, Сен-Жюст, может предложить Максимилиану дельного помощника: своего друга Мартина Катру.

Катру наконец вернулся из Вандеи. Он там славно поработал. Даже скупой на похвалы Робеспьер признал его заслуги и немедленно дал согласие на просьбу Сен-Жюста послать Мартина вторым комиссаром в Рейнскую армию. А до того, как Мартин последует за ним на фронт, хорошо было бы ему включиться в подготовку торжеств; он, уроженец Эрменонвиля, наведет там порядок и подготавливает перенос останков Жан-Жака в Париж.

Мартин был счастлив тем, что в Вандее послужил Республике, но еще счастливее делала его перспектива под руководством Сен-Жюста послужить ей на берегах Рейна. Счастье его завершала возложенная на него обязанность исправить то, что натворили в Эрменонвильском парке преступные руки.

Прежде всего — так как Революционный Трибунал действовал быстро, — он отдал приказ приостановить судебное преследование обоих Жирарденов. Затем поехал в Санлис.

Он сам допросил гражданина Юрэ и распорядился отдать его под суд Парижского Трибунала, а не местного, более мягкого.

Далее Мартин собрал сведения о вдове Жан-Жака и о ее *homme de confiance*, пресловутом конюхе «бывшего».

Судьба Николаса и Терезы сложилась вот как.

Когда началась кампания против безбожников, Николас тотчас же учуял недоброе. Ему-то самому было безразлично, кто выйдет победителем на скачках: богиня Разума или Верховное Существо. Но он предчувствовал,

что другу и покровителю Шаплону придется дорого заплатить за его славные анекдоты насчет бога-отца и святого духа. И действительно: вскоре этот колючий Робеспьер, выступая с большой принципиальной речью против атеистов, несколько раз упомянул имя Шаплена в недопускающем сомнения тоне. Николас прочитал, присвистнул сквозь зубы, сказал: «Спасайся, кто может!» — велел Терезе достойным образом одеться и с превеликой поспешностью заковылял вместе с ней к дому бывшего законодателя и бывшего друга.

Там уж и в самом деле хозяйничали республиканские чиновники, опечатававшие имущество.

— Что вы делаете, граждане, — налетел на них Николас и, указывая на рукопись «Новой Элоизы», заявил: — Эта рукопись — собственность вдовы Жан-Жака. Скажи им это сама, высокочтимая матрона, — обратился он к Терезе. — Скажи им, что они ошибаются, что это недоразумение, что они учиняют насилие над подругой великого учителя.

И Тереза подтвердила, повторив слово в слово то, что он ей вдобавил:

— Я дала эту рукопись преступнику Шаплону только на время. Он меня обманул так же, как Республика.

На чиновников слова ее произвели впечатление. Как же: ведь это вдова Жан-Жака собственной персоной! Впрочем возможно, что всякий, кто ее обидит, рискует навлечь на свою голову гнев Робеспьера. Они отдали рукопись.

Взяв с собой Терезу и рукопись «Новой Элоизы», Николас, не мешкая, покинул неблагодарный Париж и вернулся под соломенный кров гражданина Бесса в городке Плесси в еще более плачевном виде, чем уезжал из него.

Терезу тревожило смутное чувство, что обрушившиеся на Николаса и на нее беды — это месть Жан-Жака. Вернувшись в Плесси, она тотчас же отправилась на его могилу. Здесь ей следовало оставаться, как завещала маменька, не надо было переезжать в Париж никогда. Они чересчур роскошно зажили, она и Николас, и вот теперь Жан-Жак вернул их к своей могиле. Тереза смиренно просила у него прощения.

Опять ютились они среди домашней обстановки Жан-Жака. Этот ловкач Николас сумел даже из такого краха кое-что спасти. Вот и ларь с рукописями. Но это слабое утешение, и Николас ворчит и ругается. С горечью гово-

рит он, что дуракам счастье, и, значит, Тереза обязана, черт возьми, приносить его.

И в самом деле, опять все складывалось так, как будто Тереза и на этот раз выполнит свое назначение. Слухи распространяются быстро; еще до появления Мартина Катру в Эрменонвиле усиленно начали поговаривать, будто бы тело Жан-Жака перенесут в Париж. Горизонт прояснялся. Николас с присущим ему даром быстро все усматривать и сопоставлять рассчитал, что перенесение праха не может не сопровождаться колоссальными траурными торжествами. Тут уже вряд ли забудут о вдове Жан-Жака, ее извлекут из темной дыры, где она теперь пребывает, и водрузят на почетное место. А он, Николас, не преминет просветить господ якобинцев, что на таком параде он, *homme de confiance* вдовы Жан-Жака, никак не может отсутствовать. Ура! Джон Болли снова на коне.

Николас рано торжествовал. Депутат Катру пришел, увидел Терезу и забраковал. Эта потаскуха имеет наглость изображать из себя верную подругу Жан-Жака и вместе со своим любовничком околачиваться вблизи могилы человека, которого они уколошили! А ничего не ведающий Конвент готов был оказать им почести при перенесении останков! Мартин обязан помешать этому. Это его прямая задача.

С другой стороны, именно теперь очень некстати было бы, вскрыв ужасную правду, воскресить воспоминание о жалком конце Жан-Жака. Мартин с жесткой усмешкой подумал о том, как в свое время он презирал сеньора, когда тот и так и этак извивался, но не отважился пальцем тронуть убийц. Он, Мартин, сделан из другого теста. Эти гады не увидят света великого дня, он загонит их назад, во мрак, где им надлежит быть; и при этом никто плохого слова не посмеет сказать о Жан-Жаке.

Не были разве эти люди в дружеских отношениях с осужденным богохульником Шапленом? Не принадлежали они к его клике? Нельзя разве с полной уверенностью сказать, что они знали о его заговоре и о его спекуляциях?

Мартин распорядился прежде всего объявить обоих неблагонадежными. Он дал указание произвести в их доме обыск и держать их под строгим домашним арестом.

Под соломенной кровлей гражданина Бесса появился прокурор Республики. На глазах у изнемогавшего от

бессильного бешенства Николаса унесли рукопись «Новой Элоизы» вместе с ларем, а у дверей поставили часовых.

Запертый в опустошенном, продуваемом сквозняком доме, Николас угрюмо сказал:

— Кругом обобрали нас, писания отняли и даже мертвеца отнимают!

Тереза уныло размышляла вслух:

— Жан-Жак всегда говорил: «Весь мир нас преследует». — Затем, вздохнув, прибавила в утешение: — Ну, ничего, маменькина могила все-таки остается нам.

Чаша терпения Николаса переполнилась. Он со стоном поднялся и, грозный, заковылял к Терезе. Она ждала не шевелясь. Вот он. Наотмашь дважды он ударил ее по лицу, сначала по правой щеке, потом — по левой.

Глава девятая КЛАДБИЩЕНСКИЙ ВОР

Тем временем Мартин Катру осматривал сады Эрменонвиля. Не без умиления узнавал он каждый уголок и каждую тропинку, и разгром, который предстал перед его глазами, поверг его в мрачную задумчивость. Но он не признался себе в своей взволнованности. Нет, его вся эта рухлядь мало трогает. Его лишь возмущает, что «неистовые» превратили в гору руин все, что Жан-Жак так любил.

Парк надо восстановить. Всего правильнее поручить это дело маркизу. Мартин с досадой ухмыльнулся во все свое четырехугольное лицо — почему-то гражданин Жирарден опять вдруг превратился для него в маркиза.

Лишь в Санлисе он узнал, что Фернана перевели в Париж и в Эрменонвиле остался только старик Жирарден. Это огорчило его. Он только по одной причине не распорядился об освобождении Жирарденов, а лишь приостановил судебное следствие — ему хотелось самому сообщить им об этом. Когда Мартин шел в замок, его самолюбие приятно щекотала мысль, что сейчас он предстанет перед своим бывшим сеньором как равный. Больше того, он как представитель Республики великодушно объявит ему о помиловании. К сожалению, ожидание этой минуты, наполнявшее его гордостью, отравляло некоторое замешательство. С полным равнодушием, словно требуя

койку на ночь или тарелку супа, он объявлял генералам и высшим чинам Республики о смертном приговоре, но вот объявить маркизу, что гроб Жан-Жака выкопают и унесут, будет ему далеко не так просто. Маркиз, конечно, убежден, что только ему принадлежит право охранять могилу Жан-Жака.

Когда Мартин явился в замок, Жирарден лежал в постели, измученный и ослабевший. В голове у него прямо-таки не уместилось, как могли эти варвары не пощадить даже садов Эрменонвиля, садов Жан-Жака, самых священных мест Франции. Он собрал все свои силы и вышел в парк, чтобы взглянуть на разрушения. Но не перенес их вида; сделав несколько шагов, он вынужден был вернуться. Сверх всего, по приказу мэра города Санлиса, Жирарден в эту пору глубокого отчаяния пребывал в полном одиночестве; лишь в самые последние дни, после ареста мэра, к нему хотя бы допустили верного Гербера. Были минуты, когда храбрый старый солдат Жирарден не на шутку подумывал о том, чтобы покончить счеты с жизнью, и должен был опять и опять обращаться к «Новой Элоизе» и перечитывать места, где Жан-Жак строго предостерегает от самоубийства.

Услышав, что депутат Катру желает его видеть, он перепугался до безумия. Он решил, что этот малый Катру, который уже мальчишкой был бунтовщиком и ненавидел его, как врага, явился объявить ему о смертном приговоре. И Жирардена обуял вдруг отчаянный страх смерти, которую он так недавно страстно призывал.

Минутой позже он уже снова владел собой; это был с ног до головы солдат, победитель в битве под Гастенбеком. Он призывал великих философов античного мира Сократа, Сенеку поддержать в нем дух стоицизма. Дрожа от слабости, велел подать себе самое роскошное платье, чтобы достойно встретить вестника несчастья.

Холодно, вежливо, взором сеньора Эрменонвиля, смотрел он в лицо представителю Республики.

— Какую недобрую весть вы принесли мне, гражданин законодатель? — спросил он.

У Мартина не хватило духу обратиться на «ты» к старику, как того требовал закон.

— Я рад сообщить вам, — сухо сказал он, — что ваша лояльность оказалась вне подозрений. Я дал указание удалить охрану и снять печати с вашего имущества.

— Благодарю, мосье,— сказал Жиарден.

— До нас дошли сведения, что граждане города Сан-лиса в порыве чрезмерного патриотизма превратно поняли значение некоторых скульптур и разрушили их. Республика сожалеет о случившемся, тем более что все это имело место вблизи могилы Жан-Жака. Республика сделала предупреждение виновным, а вам она возместит убытки.— И не без некоторого великодушия добавил: — Если б вы пожелали, вы могли бы взять на себя наблюдение за восстановительными работами.

— Благодарю, мосье,— снова сказал Жиарден.

Но он не в силах был больше сдерживаться. Сдавленным голосом он спросил:

— А какова судьба моего сына?

Катру ответил почти с досадой и чуть быстрее, чем того хотел бы:

— Разумеется, и Фернан будет освобожден.

Маркиз не думал, чтобы жизнь еще когда-нибудь могла показаться ему такой светлой. Плечи не давили более, на сердце стало легко. Он чуть не обнял этого неприятного доброго вестника.

Мартин не ждал, пока Жиарден найдет слова для выражения своих чувств. Ему не хотелось показаться мягкосердечным. Без всякого перехода сообщил он старику третью, на этот раз горькую весть:

— Вы поймете, что Республика не может впредь подвергать останки Жан-Жака каким-либо опасностям. Она берет эти драгоценные останки под свое попечение.

Маркиз, так внезапно сброшенный с облаков на землю, судорожно проглотил слюну и сел — ноги у него подкосились.

— Что это значит? — с трудом спросил он.

На лбу у Мартина выступили красные пятна. Он не ждал, что это так потрясет маркиза. Он, Мартин Катру, все еще недостаточно дисциплинирован, все еще чрезмерно благодушен; надо было официальным путем известить старика о снятии с него ареста и о предстоящем перенесении праха Жан-Жака. В Вандее, в самых тяжелых условиях, он в своих действиях придерживался только одной линии, подчинялся только одному закону — закону Разума; не успел он возвратиться в этот нелепый Эрменонвиль, как тут же поддался сентиментальным настроениям, под стать разве какому-нибудь «бывшему».

Он стремительно вскинул голову.

Тело Жан-Жака будет перенесено в Пантеон,— объявил он, повысив свой пронзительный голос, и слова его прозвучали как команда.

Жиарден, в глазах которого слились старый и новый Мартин, горестно причитал:

— Вы не нанесете мне этого удара, Мартин. Пошлите меня на эшафот, но Жан-Жака оставьте здесь.— Он встал.— Я запрещаю вам совершать это преступление! — крикнул он и ткнул тростью в сторону Мартина.

Почти с жалостливым презрением Мартин сказал:

— Внезапность перемен за последнее время вывела вас из равновесия. Я извиняю вас. Но не забывайте: вы обращаетесь не к гражданину Катру, с вами говорит Республика.— И с терпеливым нетерпением он объяснил вставшему в детство старику: — Постарайтесь же понять: народ имеет право на Жан-Жака, а Жан-Жак имеет право на благодарность народа. Жан-Жак принадлежит не тебе, старик, Жан-Жак принадлежит Республике.

Жиарден думал, что страдания последней недели — это уж достаточная кара за все его ложные шаги и упущения. Но только теперь надвигалась на него кара из кар, придуманная судьбой, более жестокая и более страшная, чем он мог когда-либо вообразить.

Он приказал себе: «Не терять благоразумия!» Он думал: «Вот он стоит, этот парень, такой молодой и такой колючий, обязался этим дурацким трехцветным шарфом, напялил на голову эту дурацкую шляпу с пером и строит из себя кладбищенского вора, а глуп он как пробка и совершенно не ведает, что творит. Но ведь он читал Жан-Жака. Существуют же, наверное, слова, которыми можно убедить его, что он совершает преступление по отношению к Жан-Жаку».

— Поймите же,— молил он, приказывал он.— Жан-Жак сам выразил желание, чтобы останки его покоились здесь, на лоне природы. Autos épha, он сам сказал это, глядя мне в лицо. Он хотел здесь покоем, под сводом сияющего неба, а не под сводами темного здания. Это последний завет Жан-Жака.

Жиарден говорил быстро, настойчиво, убедительно. С лихорадочной быстротой обдумывал он, что же сделать, как отговорить этого молодого человека, этого кладбищенского вора от его ужасного намерения.

Надо унизиться перед ним, надо унизиться перед этим глупым, тщеславным, вырядившимся, словно попугай, ветрогоном, как древний Приам унизился перед Ахиллесом ради тела Гектора.

— Оставьте Жан-Жака здесь! — заклинал он. — Не поднимайте рук на него! Оставьте его здесь! — Он говорил очень тихо. Хотел опуститься на колени, но не хватило сил.

Мартин устал от пошлого спектакля. Ему некогда утешать старого дурня, у него есть дела поважнее.

— Прощайте, гражданин Жирарден, — сказал он и вышел из комнаты.

Ему хотелось самому сообщить Фернану об освобождении, но не следует ли сделать это официальным путем? Через три дня он отправляется на фронт, у него хлопот полон рот: вправе ли он терять время на удовлетворение своей прихоти?

Но это, пожалуй, больше чем прихоть. Он знал по опыту: когда бы он ни разговаривал с этим удивительным другом своей юности, он в итоге всегда находил точное слово для оправдания того, над чем он бился, и его задача становилась ему ясней.

Он поехал в Ла-Бурб.

Фернан вздрогнул, когда пришли сказать, что в зале его дожидается депутат Катру. Что принес Мартин? Весть об освобождении? Или друг явился доказать ему с республиканской логикой, что благо государства требует его, Фернана, смерти?

При дневном освещении, да еще пустой, зал казался чрезмерно большим и голым. Мартин сидел за одним из столов, широкоплечий, коренастый, с трехцветным шарфом через плечо; шляпа с пером лежала рядом на столе. Он тотчас сказал:

— Я пришел сообщить тебе, что ты свободен.

— Это хорошо, что ты сам потрудился прийти сюда, — ответил Фернан.

Но он знал, что сейчас между ними последует серьезное объяснение. Важны были не только слова, но и тон, каким они сказаны, тончайшие оттенки его, и Фернан решил не лгать и ничего не приукрашивать ни словами, ни молчанием, ни жестами, ни выражением лица. Он предчувствовал, что этот разговор будет вершиной всей его жизни до этой минуты. Он должен оправдаться перед Марином,

своим другом-врагом, представителем народа. Должен доказать, что освобождение — не милость, а его право. Иной раз он бывал слаб, верно, и он готов признаться в своих заблуждениях и слабостях. Но он переборол их, он доказал свою верность; в часы глубочайших испытаний и перед лицом смерти он заявлял, что не ропщет на свою судьбу и что бы ни делала Республика, он всем существом ей предан.

И вот уже Мартин говорит:

— Ты, конечно, считаешь, что с тобой поступили несправедливо?

Фернан отвечает:

— Я понимаю тех, кто мог видеть во мне неблагонадежного. — Он не удержался и добавил: — Впрочем, все равно, что я считаю, это ведь никому не интересно.

— Нет, не все равно, — тотчас же запальчиво поправил его Мартин. — Если ты считаешь, что с тобой поступили несправедливо, значит, ты виновен.

— Со мной не поступили несправедливо, — честно ответил Фернан.

Мартин не успокоился.

— В эти времена величайших трудностей права отдельной личности подчиняются правам общества. Это, я думаю, ты признаешь?

— Признаю, — терпеливо ответил Фернан.

— Очень мило с твоей стороны, — иронически бросил Мартин. — Но скажи-ка, — продолжал он допытываться, — ты голосовал бы за смерть Людовику? Ты голосовал бы за истребление твоих умеренных?

— Не знаю, — ответил Фернан. — Возможно, не голосовал бы, — признался он.

— Видишь, — торжествовал Мартин. Он вскочил, забежал между пустых столов, возглашая менторским тоном: — Кто совершает революцию наполовину, тот роет могилу себе и Республике. О, вы, образованные! — рассвирепел он. — Вы, мягкосердечные! Вы хотели революции, но хотели только наполовину. Когда встал вопрос: жизнь или смерть, когда понадобилось действовать суровостью и устрашением, вы трусили и спрятались за вашу дурацкую «человечность». Если бы вы одержали верх, Республика была бы теперь растоптана и задушена. Вы — предатели! — Его голос гремел на весь зал, он подался головой вперед, всем корпусом устремаясь в сторону Фернана.

Фернан из последних сил сдерживался. Крупица правды была в словах Мартина. Он сам, размышляя о судьбе жироидистов, чувствовал нечто подобное.

— Почему ты освобождаешь меня, если я предатель? — спросил он спокойно. Это не было логическим ответом Мартину, но Фернан знал, что тот его понял.

Мартин и впрямь его понял. В свою очередь, отклоняясь от главной темы спора, он уже спокойнее, несколько ворчливо сказал:

— Шестнадцать лет я стараюсь втолковать тебе, что ты нас не понимаешь. Твое происхождение не позволяет тебе понимать народ, ты не можешь его понять. Оттого что вы, аристократы, не понимали народ, вы все делали наполовину, а значит, неправильно. — И, вспомнив один из их прежних разговоров, Мартин встал перед Фернаном, широко расставив ноги. — Я предложил один законопроект, — без перехода, сухо и в то же время торжествующе сказал он. — Законопроект об отмене рабства в колониях. Конвент принял его. Рабство отменено без всякой волокиты.

Фернану следовало бы обрадоваться. Но он не обрадовался; ничего, кроме бешенства, он не испытывал. Вот стоит перед ним этот Мартин и сует ему под нос:

— Я разрубил узел там, где ты и твои образованные друзья показали свое бессилие. — Да, это было так! Мартин действовал, а они только говорили. Рабство отменено.

Но именно правота Мартина и раздражала Фернана. Все в Мартине злило и раздражало его: и то, как он, нахально растопырив крепкие ноги, стоит перед ним, и то, как трезво и в то же время пронзительно и насмешливо звучит его голос. Каменный Жан-Жак глядел на них большими, глубоко сидящими глазами и был заодно с Мартином, со стен кричали гордые и бессмысленные изречения вроде: «Свободный человек любит свободу даже тогда, когда ее насильно отнимают у него!» — и они приобретали смысл и были все заодно с Мартином. Фернан задыхался от гнева, он опять превратился в мальчика, а тот, другой мальчуган, сын мелкой лавочницы, дразнил его, сына сеньора, и показывал ему язык, и вот уж у него, Фернана, лопается терпение, и он сейчас ударит по этой ухмыляющейся, четырехугольной физиономии.

Огромным усилием воли он взял себя в руки. Мартин прав, и он, Фернан, должен признать его правоту во что бы

то ни стало. Он глубоко перевел дыхание и сказал, и в голосе его даже прозвучала теплота:

— Ты сделал хорошее и нужное дело, Мартин.

Тот почувствовал, чего стоило Фернану произнести эти слова; в эту минуту Фернан был ему очень дорог, и он с удовольствием сказал бы ему что-нибудь дружеское.

Но он республиканец, и сентиментальность ему не к лицу.

— Еще одно,— продолжал он.— Ты здесь, вероятно, ничего не слышал о том, что некоторые переусердствовавшие молодцы набезобразничали в Эрменонвиле. Нет, отца твоего они не тронули,— успокоил он Фернана, на лице которого отразился сильный испуг.— Но эти безобразия заставили Робеспьера принять решение, которое, в сущности, давно уже назрело.— И он деловито сообщил: — Мы перенесем прах Жан-Жака в Пантеон.

Фернану было жаль, что Эрменонвиль так обездолят, да и отец, конечно, будет потрясен. Но он замкнулся и помолчал.

Мартину это было неприятно. Он несколько неуклюже сказал:

— Ты, наверное, захочешь поехать сейчас в Эрменонвиль. Но если ты предпочитаешь остаться в Париже, я распоряжусь о выдаче тебе специального разрешения.— И так как Фернан по-прежнему молчал, он дружески, чуть не упрямивая, добавил: — Скажи наконец что-нибудь! Что ты намерен делать?

Фернан, вдруг решившись, открыл ему то, о чем до этой минуты никому не говорил:

— Я просился в армию, но меня не взяли.

Мартин смутился, но только на мгновение. Он поглядел на изувеченную ногу Фернана и подумал: «Правильно поступили!» И еще он подумал: «Нечего делать «бывшему» в народной армии». Он сказал:

— Есть постановление, по которому «бывшим», если они могут быть полезны, разрешается состоять на службе Республики.

— Значит ли это, что ты готов помочь мне, если я вторично попрошусь в армию? — спросил Фернан и поднял голову.

Помолчав, Мартин как бы вскользь сказал:

— В ближайшие дни я в качестве политического комиссара вместе с Сен-Жюстом отправлюсь в Рейнскую армию.

Худое, на редкость выразительное лицо Фернана ясно отражало его противоречивые чувства: радость по поводу высокого назначения друга, страх за него.

— Это великолепно,— воскликнул он и искренне прибавил: — Но это и опасное дело.

Мартин словно бы не слышал реплики Фернана.

— Не исключается,— продолжал он,— что в Рейнской армии я смогу найти тебе применение. Смогу, ну конечно же! — прибавил он с нарастающей теплотой.— До отъезда на фронт я дам необходимые указания.

Он видел, как взволновали друга его слова, и приглушил их действие:

— При всех условиях тебе придется некоторое время выждать. Мне не хотелось бы, чтобы ты ехал на фронт, пока я не выясню, что ты там будешь делать.

Фернан густо покраснел от счастья. Он не мог говорить. А Мартин, желая скрыть, что и он взволнован, сказал, поддразнивая:

— Уж ты не будь на нас в обиде, если на фронте мы установим за тобой строгую слежку.

— Более строгую, чем здесь, вам вряд ли удастся,— весело сказал Фернан и прибавил: — Спасибо, Мартин.

Глава десятая ЭРМЕНОНВИЛЬ ПУСТЕЕТ

Фернан приехал в Эрменонвиль без всякого предупреждения.

Он прошел по разоренным садам, глядя на разбитые скульптуры, и поднялся к разрушенному Храму философии. Присел, хотя и было неудобно, на сваленную колонну, откуда открывался вид на озеро и парк, и с удивлением установил, как невероятно быстро этот ухоженный парк запустел. Стихийно разрослись кусты и деревья, травой и сорняком заросли дорожки.

Осторожно подкрадывались к Фернану еретические мысли. Теперь, когда за садами никто не ухаживал и «девственный лес» и «пустыня» были более естественными, а все строения пришли в упадок и все заросло сорняками, Эрменонвиль больше говорил его уму и сердцу. Быть может, если бы Жан-Жак видел огромные, широкие равнины Америки, ее бесконечные леса, он другими

глазами смотрел бы на принаряженную, прилизанную «природу» Эрменонвиля. Больше того, быть может, если бы Жан-Жак и не знал Америки, но дожил бы до революции, такая природа его не удовлетворяла бы.

Фернан пошел на свою лужайку. Мелкий кустарник и бурьян почти заполнили ее. У него не было желания вызвать эхо. Он вспомнил, как вместе с учителем они наперебой его вызывали. «Свобода и равенство»,— крикнул тогда Фернан, и эхо вернуло эти слова смятыми, искаженными, грозными.

Он направился в замок. По дороге услышал слабый голос скрипки. Повернул туда, откуда он доносился. И вдруг испуганно вздрогнул. Перед ним стоял Жан-Жак и играл на скрипке.

Да, мосье Гербер, человек средних лет, но преждевременно постаревший, был поразительно похож на Жан-Жака.

— Фернан, милый мой Фернан! — воскликнул он. — О, разрешите мне обнять вас. — Он бережно отложил скрипку и обнял Фернана.

Вместе продолжали они путь по разоренному парку.

— Когда я был вынужден беспомощно взирать на то, что творили эти варвары, я совсем не по-философски негодовал,— признался мосье Гербер. — Позднее, правда, я вспомнил, что Жан-Жак учит нас: «Есть случаи, когда бесчеловечность можно оправдать». И те молодчики из Санлиса, вероятно, ошибочно решили, что это как раз один из таких случаев.

Фернан, неопределенным жестом указывая на сады, спросил:

— Как перенес все это отец?

— Сначала казалось, что рана никогда не заживет,— ответил Гербер. — Теперь он смирился, даже чрезмерно смирился. Он очень ослабел. Вы только не пугайтесь его вида. Ход событий,— возобновил он свои философские рассуждения,— наглядно, так сказать, *ad oculos*, показал всем мыслящим людям: без кровопролития привить человечеству человечность нельзя. Но, хотя и мой Жан-Жак, и мой Лукреций учат умалчивать о своем личном опыте, у меня буквально желчь разливается, когда я читаю о произволе парижских властителей, и мое непокорное сердце кричит «нет» там, где мозг говорит «да». От меня, по крайней мере, не требуют, чтобы я участвовал в этом произволе,—

заклучил он со вздохом облегчения.— Счастлив тот, кто не должен действовать.

Показалось озеро. На острове, среди высоких тополей, слабо белело надгробье Жан-Жака. Мосье Гербер, глядя туда, сказал угрюмо и презрительно:

— Дюжинные бескрылые люди, вольтерьянцы, утверждают, что важны дела человека, а не его дух, а уж об останках и говорить нечего. А я говорю: священно все, что имеет какое-нибудь отношение к великому человеку,— дороги, по которым он ступал, деревья, под которыми он бродил. И трижды священны места, где покоятся его останки. Субъекты, способные разорить могилу Жан-Жака, не заслуживают имени людей. История простит им, быть может, многие бесчинства, но то, что они мертвеца вытаскивают из его могилы,— это на все времена накладывает на них клеймо варваров.

Фернан деловито осведомился:

— Отец знает о предстоящем?

— Господин маркиз решил покинуть Эрменонвиль до того, как выкопают тело, и больше сюда не возвращаться.

Они подошли к озеру. Во взгляде Гербера, устремленном на пока еще не разоренную могилу, было глубокое благоговение.

— Здесь покоится величайший из смертных, когда-либо ступавших по земле после Лукреция,— сказал он и тихо, проникновенно прочитал строки из Лукреция, в которых тот славит своего учителя:

Ты, из потемок таких дерзнувший впервые воздвигнуть
Столь ослепительный свет, озаряющий жизни богатства...
Я по твоим стопам направляю шаги мои твердо...
Жажду тебе подражать...
...Поглощаем слова золотые,
Да, золотые, навек достойные жизни бессмертной!

— Простите, Фернан,— сказал он,— что я витаю в мире грез. Ведь все это время, кроме вашего батюшки, здесь не было ни одного человека, с которым я мог перемолвиться словом.

Фернан пожал ему руку.

Потом попросил подготовить отца к встрече с ним, с Фернаном. Гербер ушел, а он сел в лодку и поплыл на остров.

Он не почувствовал никакого трепета. На редкость равнодушно стоял он у могилы, где так часто, бывало,

опускался на колени, буруемаемый видениями, светлыми и мрачными мечтами и возвышенными порывами. Ему не дано было, подобно Герберу, витать в мире благородных грез.

Когда Фернан пришел в замок, отец был на ногах, он не хотел встретить сына в постели. Он обнял Фернана.

— Сын мой! Мой Фернан! — восклицал он очень слабым голосом. — Я уж не думал, что мне даровано будет судьбой когда-нибудь тебя увидеть. Да еще здесь, в Эрменонвиле. И свободным! Ведь у тебя есть гражданское свидетельство? — встревоженно спросил он.

Хотя Гербер и предупредил Фернана, что отец постарел, Фернан испугался, увидев, как он слаб и худ, весь дрожит. Он умолил отца лечь. Отослал слугу, сам помог ему раздеться. Счастливые волнения утомили Жирардена. Он долго лежал с закрытыми глазами. Наконец сказал:

— Тебе очень трудно было?

— Иной раз было трудно, — ответил Фернан, присев у постели.

— В это ужасное время я пытался работой хоть сколько-нибудь отвлечься, — по-прежнему лежа с закрытыми глазами, рассказывал Жирарден. — Я переработал очерк о Всеобщей воле в принципиальный теоретический труд. — Он открыл глаза и слегка приподнялся. — Ячитаю тебе кое-что из него, — пообещал он. — Только не сегодня. Радость встречи оказалась мне не под силу. — Он улыбнулся и опустился на подушки. — Солдату, правда, не полагается говорить подобные вещи, — произнес он, закрыл глаза, уснул.

Глава одиннадцатая

ЗАВТРА, И ПОСЛЕЗАВТРА, И ВСЮ ЖИЗНЬ

Через два часа Жильберта уже была в Эрменонвиле. Она ждала Фернана, ждала так, как никогда еще никого не ждала.

И вот они стоят друг против друга и смотрят друг на друга, словно встретились впервые.

С тех пор как он услышал ее голос, донесшийся из клоаки преисподней, она представлялась ему другой. Тот голос вызвал в его воображении опоэтизированный образ Жильберты. И вот перед ним живая Жильберта, в которой

соединились и Жильберта их ранней юности, и Жильберта его грез, и все же совсем другая, гораздо более земная, осязательная, надежная и реальная. Одета крестьянкой, она походила на женщину из народа, грубоватую и соблазнительную, как ломоть хлеба.

И он тоже жил иным в ее воображении, а сейчас перед ней Фернан — исхудалый, в потертом костюме, пожалуй, даже слегка подурневший и лицом и фигурой, но он испытан, взвешен и найден праведным.

Они взялись за руки не сразу, очень медленно, но не обнялись. Потом таким же медленным движением он бережно поднес к губам ее руки, сначала одну, потом другую, и поцеловал их, эти огрубелые руки.

Встретившись после стольких перипетий, они обменивались скупыми и очень простыми фразами. Она сказала, что вид у него лучше, чем она ожидала, но все же он изрядно худ, и ей придется хорошенько повозиться с ним, чтобы нагнать ему жирку. Он спросил, не тяжело ли ей жить здесь, в деревне, одной с дедом, характер которого с годами, вероятно, стал еще несноснее. Разговор велся медленно, затрудненно, но им он не казался ни медленным, ни затрудненным.

Через несколько дней было объявлено, что эксгумация тела гражданина Жан-Жака Руссо будет произведена 18 мессидора, а 20-го того же месяца состоятся траурные торжества.

Фернан получил повестку, извещавшую его, что 23 мессидора ему надлежит явиться в штаб Рейнской армии.

Первым, кому он рассказал, что отправляется на фронт, был мосье Гербер. Гербер изменился в лице, но храбро сказал:

— Я понимаю ваше решение сражаться на стороне варваров. Часто, когда я размышляю о бесчинствах господина Робеспьера, все существо мое кричит: «Изыди, сатапа!» Но когда я вспоминаю, сколько мыслей Жан-Жака он может привести в свое оправдание, я молю: «Останься, сатана».

Гербер соображал вслух:

— Маркиз покинет Эрменонвиль семнадцатого мессидора, потом уедете вы, и я останусь один у пустой могилы. Нелегко мне придется.

Он не мог в последний раз не излить душу перед Фернаном.

— Они кладут его рядом с Вольтером, — горевал он. — Рядом с Вольтером! Я никак не могу примириться с мыслью, что они заставят беззащитного мертвеца делить место своего последнего успокоения с этим одержимым последователем логики. Ведь величие Жан-Жака заключается в открытой им истине, что вселенная не подчиняется законам человеческой логики. А теперь его кладут рядом с этим помешавшимся на разуме Вольтером.

Жильберта, когда Фернан сообщил ей о своем отъезде, смертельно побледнела.

— Второй раз, стало быть, ты уезжаешь в Америку, — сказала она.

Он стоял перед ней с грустным, но решительным видом, не зная, куда девать свои длинные руки, переступая с здоровой ноги на больную, с больной на здоровую. Жильберта живо продолжала:

— Нет, нет, я не стану тебя отговаривать. На этот раз ты *должен* ехать, я признаю это. — И она попыталась улыбнуться.

— Я и тогда должен был ехать, — не к месту сказал Фернан.

— Жаль все же. С этим ты, конечно, согласишься, — ответила Жильберта.

И вдруг они испуганно поцеловались.

Через некоторое время Жильберта сказала:

— На этот раз никакой дедушка не спросит тебя: «Что будет, если она останется вдовой с ребенком на руках?»

— Я был бы счастлив, если бы мы поженились, Жильберта, — сказал Фернан. — Теперь не требуется длительного обхода власть имущих, чтобы получить разрешение на брак. Но все-таки недели две-три нам понадобились бы на всякие формальности.

— Что ты, какая там женитьба, — возмутилась Жильберта. — А ты хочешь меня, Фернан? — сказала она.

Гаснущее лицо Жильберты было совсем юным: на нем и следа не осталось от той давней, едва заметной жесткой усмешки.

Потом они лежали, и каждый ощущал тончайшие повороты чувств и мыслей другого. И вдруг оба одновременно рассмеялись тому, что им понадобилось такое бесконечное множество окольных, ненужных путей, чтобы прийти друг к другу.

Немного погодя Жильберта сказала:

— Ты, конечно, поедешь в Париж на траурные торжества? — На утвердительный ответ Фернана она без колебаний заявила: — Я с тобой не поеду. — И мужественно, честно призналась: — Я ревную тебя к народу и к Жан-Жаку.

Фернан несколько вяло ответил:

— Но ведь ты гораздо ближе к народу, чем я.

Он отлично понимал, что она хотела оставить его одного в этот скорбный и торжественный день.

— Я уверена, отныне все будет хорошо. Я уверена, что наше сегодняшнее счастье не было мимолетным дерзким счастьем.

— Оно будет завтра, и послезавтра, и всю жизнь, — подтвердил Фернан.

Отцу он не сказал, что отправляется на фронт.

И об эксгумации Жан-Жака он с ним не говорил. Но вдруг за два дня до эксгумации Жиранден сам заговорил о ней:

— Через день, стало быть, все совершится. Эти господа были милостивы, они хотели поручить мне восстановление моих садов. Но я не могу оставаться здесь, если у меня забирают Жан-Жака. Не могу.

И он угрюмо сказал сыну, что завтра навсегда покидает Эрменонвиль и переселяется в Латур, к Робинэ.

— Он неоднократно предлагал мне свой кров, — продолжал Жиранден. — Нелегко будет ужиться с таким задиристым человеком. Но, знаешь ли, Робинэ на старости лет приобрел вкус к природе и прекрасному. Он мне все упи прожужжал просьбами, чтобы я перепланировал его парк по образцу моего. Я окажу ему эту любезность, хотя это и поглотит остаток моих сил. Я не желаю быть у него в долгу.

Фернан, собравшись с духом, сказал:

— И я, отец, не останусь здесь. Я вступаю в армию.

Маркиз, донельзя потрясенный, попытался приподняться.

— Они берут тебя в армию? — спросил он. — Эти господа? — И у него вырвалось — он не мог более скрывать своей обиды: — А мне они отказали! И кто бы, ты думал? Лафайет и Рошамбо!

Фернан догадывался, что творится в душе отца: он испытывал и удовлетворение, что и в этой войне будет сражаться Жиранден, и страх за сына, и тайную надежду,

что на почве нынешней разоренной, преступной страны все-таки родится Франция Жан-Жака, и много, много других противоречивых чувств.

— Я горжусь, граф Брежи, что вы идете сражаться за Францию, — сказал наконец отец. — Но я сомневаюсь, следует ли Жирардену сражаться под верховным командованием этих господ. — Он помолчал немного и уже другим тоном продолжал: — Я не знал также, следовало ли тебе отправляться в Америку. Позднее я убедился, что был тогда неправ. Я постарел и теперь не уверен, кто из нас двоих ближе Жан-Жаку. А сейчас оставь меня одного. Я устал и хочу отдохнуть.

Фернан понял, что отцу не хочется обнаруживать перед сыном своей подавленности, и ушел.

Он решил завтра же, как только проводит отца, покинуть Эрменонвиль. Здесь ему больше делать нечего. А в Париже у него множество дел: надо экипироваться, надо оформить ряд документов на случай, если он не вернется.

Он сел в лодку и поплыл на маленький остров.

В последний раз постоял у могилы Жан-Жака. Вспоминал блаженные и страшные часы, когда он в Летнем доме сидел за «Исповедью» и буквально впивался в это неистовое, великолепное произведение, а Тереза тут же хлопотала по хозяйству. Теперь он ясно видел, что Жан-Жак, этот величайший из современников, был точно так же замкнут в своем «я», как сам он, незначительный, заурядный Фернан Жирарден. Вопреки беспредельному стремлению к правде, Жан-Жак создал себе свое собственное воображаемое небо, которое могло быть только его небом, и свой собственный ад, от которого никто не мог его избавить, — ад своего мучительного безумия.

Фернан, на долю которого выпало злосчастное счастье близко знать Жан-Жака, мог это сказать с уверенностью. Но все остальные знали Жан-Жака только по его «Исповеди»: для них его небо было *небом*, его ад был *адом*.

Внезапно с мучительной ясностью Фернана озарила мысль, что живой Жан-Жак растворился в своем творении. Жан-Жака больше не было, он безвозвратно мертв — мертв, как те казненные, которые его именем осуждались на смерть, как те, чьи тела сгорели в известковой яме. Мосье Гербер не прав. Жан-Жак — человек, и сады, по которым он бродил, и женщина, с которой он спал, и останки под этим надгробьем — все это ныне не имеет ничего

общего с его творением, и если знаешь жалкую жизнь живого Жан-Жака, то это только мешает понять его произведения. «Новая Элоиза» и «Эмиль», «Общественный договор» и «Исповедь», каждая из этих книг с каждым новым читателем начинает новую жизнь, живет собственной жизнью, отделившись от человека, создавшего ее. Все то, что их творец вдохнул в них, было лишь посевом. Этот посев дал буйные всходы безумия и разума уже независимо от сеятеля, он разросся до гигантских размеров. Заполнил Францию и весь мир, как мечтал Жан-Жак, и совсем по-иному, чем он мечтал.

На следующий день Жирарден попросил Фернана не провожать его в Латур.

В последний раз они были вместе. Жирарден, уже одетый по-дорожному, исхудалый и слабый, сидел в своем широком кресле. Рядом, на позолоченном столике лежала неупакованная рукопись его труда о Всеобщей воле, непрошнурованная стопка страниц.

— Мне хотелось почитать тебе отсюда, но так и не привелось. Вчера еще я рассчитывал, что сегодня сделаю это, но боюсь, устану. Все же на некоторые места я хотел бы обратить твоё внимание.

Трясущейся рукой он протянул Фернану листок, потом второй, третий. Смотрел на сына, ждал, что он скажет.

Тот понял: отцу хотелось, чтобы он почитал вслух. Он стал читать.

Текст состоял из положений Жан-Жака и толкований к ним Жирардена. К примеру, приводились слова Жан-Жака: «Всеобщая воля всегда права; если я с ней несогласен, значит, я не прав». Затем следовал комментарий маркиза. Или сказано было: «Всеобщая воля есть соединение власти и свободы на высочайшем уровне. Воля и закон сливаются воедино, страсти умолкают перед велением разума».

Фернану удавалось читать ясно и деловито, не затуманенным слезою голосом. Отец слушал, удовлетворенно улыбался и кивал.

— Нельзя сказать, чтобы этот труд мой не задался, — сказал он. — Разумеется, кое-где следовало бы еще отшлифовать, но не знаю, придется ли. Ведь мне предстоит привести в порядок сады Латура, а я боюсь, что здоровье мое старше моих лет. Дай-ка сюда перо, — нетерпеливо прервал он себя. И он подписал на последней странице:

«Finis»¹. — Возьми рукопись, — приказал он Фернану, — прочти ее и передай в Париже доктору Лебегу на сохранение. Пусть опубликует, когда придет срок.

Фернан прошнуровал рукопись; Жирарден смотрел, как он это делает, пытался помогать.

Когда все было готово, он сказал как мог бесстрастней:

— Представляю себе, что на фронте ты будешь очень занят. Но изредка, если представится свободная минутка, черкни мне несколько строк. В Америке ты отличался чрезвычайной молчаливостью.

Фернан проводил его до экипажа. Обнял.

Часом позже он сам уехал в Париж.

Глава двенадцатая ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖАН-ЖАКА

На следующий день вырыли гроб с телом Жан-Жака.

Люди, которые раскапывали могилу, были в тяжелых праздничных одеждах и обливались потом. Ни Жирардена, ни Фернана не пригласили на эксгумацию. Зато на этом торжественном акте присутствовали члены Конвента и другие высокопоставленные лица, а на маленькой косе стоял мосье Гербер, с неподвижным, бледным как смерть лицом, и смотрел на совершающееся святотатство.

Маркиз, который был уже в Латуре, знал, что в эти минуты происходит страшное деяние. Жильберта предложила ему спотворное питье, но он отказался. Он отказался от всякой поддержки, от чьего-либо общества. Он заполз в постель, скрючился всем своим высохшим телом и молча страдал.

Могильщики, закончив эксгумацию, засыпали пустую могилу и поставили надгробье на прежнее место, так что внешне ничего не изменилось. Гроб погрузили в лодку, перевезли через маленькое озеро, а там члены Конвента и высшие чины Республики, сменяя друг друга, понесли его на руках через весь Эрменовильский парк. Гербер следовал за гробом, не вытирая катившиеся по лицу светлые слезы и судорожно всхлипывая. В деревне Эрменонвиль собрались ее жители, желавшие проводить гроб до Парижа. Почти все были налицо. Некоторые плакали, рыдания папани Мориса заглушали плач остальных.

¹ Конец (лат.).

Со всех концов Франции спешили делегации, посланные на траурные торжества. И Женева, молодая республика, младшая сестра новой Франции, также направила на торжество многочисленное посольство.

По всему пути следования мертвого Жан-Жака стояли делегаты от Конвента и правительства, жаждавшие нести гроб. Так, переходя с одних плеч на другие, покойник плыл через города и села, убранные в величественном и простом стиле Республики по эскизам Давида — лучшего художника Франции. Всюду, куда бы процессия ни прибывала, к ней примыкали делегации, так что к вечеру 19 мессидора, когда она достигла Парижа, она уже насчитывала многие и многие тысячи народа.

В Тюильрийских садах сделали небольшое искусственное озеро, а в центре его — остров, в точности воспроизводивший Остров высоких тополей. Там среди горящих факелов установили гроб, и всю ночь по берегу маленького озера нескончаемой вереницей шли люди, желавшие отдать последний долг покойному.

По замечательному совпадению именно в эту ночь с северного фронта прибыли депеши с вестями о победе. Впервые в истории войн армия Республики воевала и с воздуха. Под звуки марсельского гимна над городком Флерю поднялся большой желтый шар, монгольфьер, аэростат. Он сослужил хорошую службу при разведке передвижения вражеских армий. Одержанная во Фландрии победа имела огромное значение, так что утром, когда художник Давид доложил собравшемуся в Тюильри Конвенту, что траурная процессия готова, вышедший на балкон Тюильрийского дворца президент мог сообщить слушавшим его необозримым толпам народа о втором благоприятном переломе в этой войне, о том, что опасность, нависшая было над Парижем, окончательно рассеяна.

Члены Конвента покинули дворец и присоединились к процессии. В центре огромного квадрата из сине-белокрасных полотнищ шел, возглавляя шествие, корпус законодателей; впереди несли рукопись «Общественного договора».

Весь народ участвовал в процессии. В искусно продуманном порядке шли группами рабочие и ученые, крестьяне, художники и ремесленники. Развевались стяги с лозунгами, над рядами высились разного рода скульптурные фигуры.

Представители Коммуны города Парижа несли щит с начертанной на нем Декларацией прав человека и гражданина, а знамя Коммуны возглашало: «Он первый потребовал осуществления этих прав». Вокруг высокой платформы со статуей Жан-Жака шли граждане Монморанси, Гроле, Франсиады, и знамя их горделиво оповещало: «Живя среди нас, он создал «Элоизу», «Эмиля», «Общественный договор». На знамени Сельскохозяйственного института было выведено: «В исследовании природы он находил утешение от людской несправедливости». Знамя Женевской республики смело заявляло: «Аристократическая Женева отправила своего величайшего сына в изгнание. Новая Женева построила на его принципах свое государство».

Медленно двигалась бесконечная процессия, овеянная звуками музыки. Гремели залпы мортир, раздавались ликующие клики зрителей. Сквозь море трехцветных знамен Республики едва проглядывали дома; даже каменные фигуры святых на церквях были украшены трехцветными лентами.

Небольшой группой, молча шли друзья Жан-Жака. Их с любопытством разглядывали. Многие надеялись увидеть вдову Жан-Жака, некоторые полагали, что здесь должен быть Жирарден-старший. Но никого из них не было. Возможно, что они скончались. Зато были Дюси и доктор Лебег, женевский пастор Мульту и молодой Жирарден.

Фернан был чрезвычайно просто одет. День стоял чудесный, по очень светлому небу плыло несколько маленьких белых торопливых облачков, свежий ветер умерял жару. И все-таки Фернан маялся. Процессия двигалась медленно, и его больная нога мозжила.

А в голове роились мятежные мысли. Якобинцы, прославлявшие Жан-Жака, знать ничего не желали о его величайшей книге, об «Исповеди»; они заглушали слишком уж человеческий голос этой книги громом труб и барабанов, которым славили «Общественный договор» и педагогический роман Жан-Жака «Эмиль».

На место «Исповеди» они выдвинули свою Республику. С полным правом. Ибо революция — плоть от плоти Жан-Жака — превзошла своим величием его величайшую книгу. Революция была его самым страшным, самым грозным, самым высоким творением. Она была его детищем от начала и до конца, она унаследовала все его черты, она была точным сколком с его существа и жизни. Она грешила тем же

великим благословенным грехом, что и он: топила разум в стихии чувства.

Разве не безрассудством, не фарсом была идея похоронить Жан-Жака рядом с Вольтером? Вольтер ухмыльнется в своем гробу, и Жан-Жак в ответ зло ухмыльнется Вольтеру.

До сих пор еще находились люди, видевшие в Вольтере отца революции. Но острая, злая, блистательная логика Вольтера убеждала только немногих избранных, она никого не увлекала за собой. Учение Вольтера — это холодный огонь, в нем только свет, он лишен тепла. А Жан-Жак излучает тепло, жар. Он был искрой, и вот уже весь мир воспламенился. Его безудержное чувство взорвало разум, привело в движение массы, смело старый порядок и создало четырнадцать армий, которые дерутся за то, чтобы расшатать устои во всем мире и освободить его.

Но именно потому, что это так, можно ли сказать, что якобинцы не правы в своем решении унести Жан-Жака из изысканного парка какого-то аристократа и водворить его в дом, почитаемый народом? Нет, что бы ни говорил мосье Гербер, а они правы.

И как бы Фернан ни восставал сердцем против того, что Жан-Жак кладут рядом с Вольтером, он понимал, что и это оправдано. Если бы едкий разум одного и клокочащее чувство другого не слились в единое пламя, революция не победила бы.

Однако с каждой минутой медленного движения процессии Фернан все меньше и меньше взвешивал и судил. Мысли его смешались, перешли в чувство, в огромное чувство, общее с народом, среди которого он шел.

А народ сегодня преисполнен гордости и веселья. Это был великий человек — тот, которого они вернули себе; он принадлежал им, народу Парижа. Он не генерал и не государственный деятель, он не выигрывал сражений и не заключал великолепных договоров, он был лишь писатель, философ. Они толком даже не знали, что это такое, и едва ли один из ста читал его книги. Но несколько его слов, несколько его лозунгов, которые они слышали на всех перекрестках и которые в минуту колебаний запали им в сердца, были такими словами, что, услышав их, нельзя было не двинуться в поход и не вступить в бой. И они двинулись в поход, и они вступили в бой. И победили. Значит, книги усопшего стояли больше пушек генералов и перьев госу-

дарственных деятелей. И нынче эти сотни тысяч людей чувствовали свою тесную духовную связь с усопшим, они возвысились в собственных глазах: ведь и они теперь приобщились к духовному началу.

Так триумфально шествовал мертвый Жан-Жак по тем самым улицам Парижа, по которым живой Жан-Жак нередко самым жалким образом бежал от своих преследователей, и те же люди, которые поднимали на смех его, чудака и безумца, теперь обнажили головы перед ним, мудрецом и учителем.

Повсюду слышались музыка, пение. Но из всего выделялась, все перекрывала та народная песня Руже, которую принесли с собой марсельские борцы за свободу и которую Конвент объявил недавно гимном Республики: Марсельеза. Музыканты, находившиеся в рядах процессии, и те, кто оставался вне ее, играли эту песню, а десятки тысяч людей, шедших в процессии, и десятки тысяч, глядевших на нее, пели: «Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé! — Вперед, сыны отчизны милой, день вашей славы наступил!» Со всех сторон звенела, гремела зажигательная песнь Республики, и казалось, будто она подгоняет длинную процессию вперед, к Пантеону.

Всякий раз, когда шествие огибало угол, Фернан видел плывущий на большой высоте гигантский саркофаг Жан-Жака. А раньше, в Тюильрийском саду, он видел траурную и триумфальную колесницу, на которой стоял саркофаг. Двенадцать белых лошадей, — их вели двенадцать мужчин в античных тогах, — везли колесницу, катившуюся на четырех огромных бронзовых колесах. Античные светильники окружали гранитный саркофаг, в который был опущен гроб с телом Жан-Жака; в небо поднималось облако от курений ладана и благовоний. На крышке саркофага было ложе, сделанное по образцу римских. Там, слегка приподняв торс и оперев голову на руки, лежал восковой Жан-Жак; фигура Жан-Жака четко вырисовывалась на фоне светлого неба.

Фернан с изумлением отмечал про себя, что эта кукла вытесняет из его памяти образ живого Жан-Жака. Он старался удержать его, но в воспоминание о реальном Жан-Жаке, совершенно затмевая его, неустрашимо вторгалась восковая идолоподобная фигура, которая медленно, окутанная курениями ладана, двигалась впереди. А гром Марсельезы все больше отодвигал живого Жан-Жака в

дальние дали, в Непостижимое. Фернан прямо-таки физически ощущал, как уходит от него реальный Жан-Жак. Все, что было в Жан-Жаке повседневного, отпало, исчезло, неповторимое, вечное обособилось, поднялось ввысь, реяло там, впереди, притягивая к себе все взоры.

Процессия добралась до цели. Здесь, на левой стороне старого города, на его самой высокой точке, в царствование Людовика Пятнадцатого была заложена церковь св. Женеьевы. Но сложное здание и через четверть века еще не было готово; его закончили уже после свержения Людовика Шестнадцатого, и решением Национального собрания эта церковь была превращена в Пантеон — место погребения выдающихся людей страны.

Величественное здание завершалось высоким куполом. Процессия подошла к великолепному portalу, миновала его, влилась внутрь.

Человека, пришедшего из океана света и звуков, обнимала, навевая сосредоточенность, сумеречная прохлада и тишина огромного, благородного зала со строгими колоннами. Группами, одна за другой, люди входили в этот зал, все плотнее заполняя его. Свободным оставался только узкий проход, разделивший толпу. И вот, поднятый на крепкие плечи, чуть покачиваясь на них, по этому узкому коридору в глубь зала поплыл катафалк и там был установлен на постаменте.

От толпы отделилась невысокая фигура человека в голубом фраке; провожаемый взорами всех присутствующих, человек этот прошел по тому же коридору и по ступенькам поднялся на постамент, где был установлен катафалк.

Это был Максимилиан Робеспьер. Почти целую минуту он молча и неподвижно смотрел на затихшую толпу. Он собирался с мыслями. Он думал о клятве, записанной им в дневнике после беседы с Жан-Жаком, — следуя учению Жан-Жака, разрушить старое здание и воздвигнуть новое. Новая Франция, Франция Жан-Жака построена. Правда, у нее еще немало врагов, чье коварство кует, быть может, заговоры против него, Максимилиана, и очень вероятно, что он погибнет раньше, чем борьба закончится. Но жизнь его не такая уж высокая цена за достигнутое.

— Если бы Жан-Жак, — начал он наконец, не повышая голоса, и тишина в зале стала еще более глубокой, — если бы Жан-Жак был лишь величайшим, самым красноречи-

вым писателем нашего столетия, мы предоставили бы потомкам оценить его и чтить его память. Но он больше чем великий писатель: он один из бессмертных пророков человечества. Он сотворил царство Разума и раздвинул сферу добродетели. Он был больше чем человек, он был орудием Верховного Существа. Он увидел народы, поверженные ниц перед скипетрами и коронами, и он дерзнул сказать народам: встаньте! Он дерзнул принести им благую весть: Равенство и Братство. Подобный самому богу, он бросал огненные слова в сердца людей и свершил то, что до него никто не свершал: народы восстали.

У Фернана мороз пробежал по коже. Этот страшный Робеспьер знал о безднах, таившихся в Жан-Жаке, знал то, что, как мнилось Фернану, он один только и знает. «Подобный самому богу». Робеспьер знал, что, дойдя до предела отчаянья, переходившего в безумие, Жан-Жак был недоступен более никаким потрясениям, подобно самому богу.

И все же Робеспьер видел только того Жан-Жака, которого он делал богом. Он не видел Жан-Жака, написавшего «Исповедь», он не желал допустить ничего человеческого в этом человеке, величайшей гордостью которого было быть человеком.

— Он, как Сократ, спустил философию с небес на землю, в каждый город, в каждый дом, — восклицал Робеспьер, и теперь его громкий, стеклянный и пронзительный голос достигал отдаленнейших уголков огромного зала. — Он заставил людей задуматься об их жизни, и о государстве, и об обществе, и о том, что такое право и неправое, что такое добро и зло. Он учил нас не вращаться корнями в прошлое, а смотреть в будущее.

Это были хорошие слова, и что бы ни разделяло Фернана с Робеспьером, у них было одно учение, одна вера, одна цель.

Робеспьер кончил. Гроб сняли с катафалка и понесли к гробнице, находившейся на расстоянии нескольких шагов.

Фернан на короткое мгновение мысленно увидел перед собой тело, лежавшее в гробу, увидел страшный проломленный висок. И он увидел кровать в Летнем доме и на ней мертвого Жан-Жака, его лицо с засохшими сгустками крови. И мертвый ожил. Фернан увидел Жан-Жака, сидящего в немом отчаянии на пне посреди их любимой лес-

ной полянки, и увидел его мирно сидящим с Терезой за столом, и увидел его лицо, светившееся пламенной верой, когда он провозглашал: «Человек добр»; и Фернан увидел также его глаза, глаза безумца, когда он объявлял себя одновременно Первым и Последним из смертных.

И вот гроб с прахом Жан-Жака несут к склепу. В это мгновенье, стихийно, но точно по уговору, весь зал запел Марсельезу: «Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons!» — пели собравшиеся. «О граждане! В ружье! Смыкай со взводом взвод!» И: «Marchons, marchons! — Вперед, вперед!»

И песня заполнила не только все громадное здание, грозя взорвать его стены и крышу, она раздавалась за ними, она раздавалась повсюду, казалось, весь Париж, вся Франция поет эту отважнейшую из песен.

Мощные звуки Марсельезы, вид процессии с гробом впереди рассеяли видения Фернана, заставили его сбросить с себя и забыть все неразумное и чрезмерное. В огромном потоке счастья он почувствовал, как его «я» расплавляется, растворяется в общем едином порыве. Он не был более посторонним, он слился со всеми, кто шел вместе с ним. Все, что его окружало, проникло в него, он был живой частицей единого целого, он был больше чем он сам, он был — народ.

«О граждане! В ружье! Смыкай со взводом взвод! Вперед, вперед!» — пело в нем самом, пело вокруг него, проникало в него отовсюду.

В последний раз, уже над раскрытой гробницей, показался гроб. Песнь оборвалась.

Внезапная тишина разрушила чары, владевшие Фернаном. Мучительно кольнула его мысль обо всем том преступном, что натворили эти новые воинствующие ученики Жан-Жака, эти мрачные, блаженно верующие фанатики. Как далеко они уклонились от его учения! Но и этот болезненный укол брюзжащего рассудка длился одно мгновенье. «Marchons quand même! — Наперекор всему, вперед!» — подумал он. Он чуть не крикнул в наступившую тишину: «Наперекор всему, вперед!»

Долгую и прекрасную минуту его не покидало видение смелого взлета радуги, закономерно и величественно перекинутой от Новой Элоизы к Марсельезе, от скромной, любовно ухоженной, незатейливой могилы на Острове высоких тополей к гробнице в Пантеоне. Он ощущал бьющее

через край богатство духа Жан-Жака, то сверхзнание, которое сохраняет свою правоту вопреки всем доводам рассудка. Фернан увидел смысл собственной судьбы. Он, скромный ученик Жан-Жака, для того прошел через муки стольких разочарований и сомнений, чтобы познать этот уготованный ему миг полного свершения всех чаяний. И если бы во всей его жизни ничего не было, кроме этого мига, то и тогда стоило бы жить.

Гроб медленно опускался. Глубже. Глубже. Тьма поглотила его.

Но заново взмыла к свету песнь. «Вперед! Вперед!» — звала она, между тем как забытый и незабываемый Жан-Жак исчез в гробнице и растворился в своей славе.

РАССКАЗЫ

ОДИССЕЙ И СВИНЬИ, ИЛИ О НЕУДОБСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1

Муза, поведай мне ныне о втором плаванье любознательного Одиссея в страну феакиан — ибо о нем умолчал поэт,

Богоравный Одиссей, в бедах постоянный скиталец, превзошедший всех смертных своим хитроумьем, приближался тогда к порогу старости. Тридцать три года протекло с тех пор, как отплыл он под Трою: десять лет осаждал он Трою, а десять скитался по морю. И еще семь лет прошло с тех пор, как истребил он женихов, многобуйных мужей, что нудили к браку его жену, разумную Пенелопу, и грабили его достояние. Он же их всех истребил, не разбираясь долго, кто из них больше виновен, кто меньше, и низринул в Аид их скорбные души.

Итак, шестьдесят лет было теперь Одиссею. Постепенно ссутулились его могучие плечи, тучной стала его плоть, одевшая кости, и глаза утратили прежний свой блеск. И еще сломалось у него несколько зубов, и лишь их тупые черные корни торчали во рту, так что нередко было ему трудно зубами отрывать от костей сочное мясо баранов и медленноходных быков. И если теперь ему приходилось натягивать свой тугосгибаемый лук, некогда послуживший для избиения наглых женихов, то большая часть работы доставалась на долю Афине, всегда опекавшей героя,

Но лишь редко он думал об этом. И если угнетала ему душу тоска по убывающей силе, он гнал ее прочь от себя, предпочитая радоваться изобилию, богатству, могуществу и прочим дарам, которыми его наградили бессмертные боги.

Ибо был он теперь богатейшим среди царей семи островов. И пусть Итака была мала и гориста и пастбища ее не годились для бодрых коней, пусть жители ее были не столь многоопытны в делах корабельных, как народы соседних островов, — все же вскармливали на ней довольно и коз, и свиней, и говяд. Большими стадами владел Одиссей на Итаке, еще два его стада паслись на острове Заме и четыре — на материке. В нижней кладовой своего пышно-украшенного дома хранил он всевозможные сокровища — пышные ткани тончайшей работы, статуи из бронзы, прекрасные сосуды из меди и даже из золота. Много проворных рабов и немало рабынь было у него в услуженье. А свирепость кровавой расправы над дерзкими женихами до сих пор делала его страшным и грозным в глазах граждан Итаки и других, живших далеко за ее пределами.

Конечно, не все на Итаке было так же, как прежде, да и ни на одном из семи островов не было так же, как прежде. Когда ахейцы отправлялись походом, чтоб разрушить священный Илион, всюду имели еще силу слова, которые любил повторять царь царей, позорно убитый Агамемнон: «Несть в многовластии блага, да будет единый властитель, единый царь». Теперь миновала пора героев, нравы стали мягче, а люди — слабее. Граждане Итаки хотели думать сами и дошли в своей дерзости до того, что обзавелись собственным мнением. Бывало даже, что некоторые начинали роптать: если теперь на острове не хватает мужчин, то виноват в этом многославный Одиссей; сперва он увел в битву под Троию прекраснейших юношей, цвет страны, и ни один не вернулся с ним назад, а когда подросло новое поколение — поколение женихов — он и их низринул в Аид. И тогда приходилось самому благородному скитальцу Одиссею прилагать руку и бить недовольных своим жезлом по спине или по голове.

Даже собственный его сын, рассудительный Телемах, был не совсем таким, как хотелось бы Одиссею; правда, был он и старше, чем казалось отцу. Он делал, что велел ему Одиссей, и ни разу не излетело слово противоречия из ограды его зубов. Но в своих долгих странствиях Одиссей

научился читать в душах людей и замечал, что у сына есть собственные взгляды на некоторые вещи; и это его огорчало. И жена его, разумная Пенелопа, без сомнения, таила от него в душе некие воспоминанья и чувства. Потому что в долгие годы разлуки она, уж конечно, не раз приглядывалась к женихам, размышляя, кого ей избрать, если супруг ее еще долго пробудет в безвестности. А среди женихов были юноши могучие, прекрасные на вид, богатые и разумные. Одиссей подслушал, как некоторые служанки болтали, будто благородная Пенелопа смотрела на жениха Амфинома не так уж неблагосклонно. И если потом Одиссей, не долго думая, повесил служанок под стропилами кровли, так что они, как длиннокрылые дрозды, попавшие в сети, повисли, тихонько раскачиваясь взад-вперед, то сделал он это затем, чтобы положить конец таким толкам, ибо для слуха его они были мерзки. Но про себя он упрекал Пенелопу за то, что никогда не говорила она о временах женихов.

Но облака, омрачавшие порой мирный покой его духа, рассеивались, стоило ему подумать о том, как благополучно окончились все его похождения, странствия и беды. Ныне все злое исчезло в пучине шумящего моря, а ему досталась слава, такая слава, какой теперь, после смерти Ахилла, не был вознесен ни один из людей земнородных.

Часто в сердце своем сравнивал он свою славу со славою Ахилла. Того почитали, как бога, ибо он был величайшим героем средь войска ахейян. Но выше бранной славы казалась многоопытному Одиссею слава мудрого, разумного, изворотливого мужа, в том же, что со времен Прометей и Дедала никто не прослыл более хитрым, изобретательным и прозорливым, чем он, Одиссей, сомнений не было.

Повсюду среди ахейян цели о его подвигах: обо всем, что свершил он под Троей, и о том, как придумал он смелую и хитрую уловку с деревянным конем, и о том, как странствовал по морям вплоть до самых дальних островов и один из числа мужей, бывших на кораблях итакийских, все перенес и спас свою жизнь, и о том, как перебил он женихов, вновь подчинив острова своей власти. Не всегда одно и то же гласили эти рассказы. Тому, что было на самом деле, порой и не верили, а из того, во что верили, не все было на самом деле. Но постепенно множество новостей сплета-

лось в одну повесть, а из разных правд рождалась одна правда.

В эту одну повесть поверили все: и те, кто рассказывал и пел, и те, кто слушал, и даже те, кто участвовал в событиях, о которых рассказывали и пели. И сам благородный Одиссей верил повести и часто даже по долгом размышлении не мог сказать, что в ней истинно и что только поется.

Вот, к примеру, толпа женихов, которую истребил он, и сын его, и оба пастуха. Их самих было четверо, он сам и трое соратников, — тут сомневаться не приходилось; но сколько же было женихов? Часто перебирал он в памяти их имена. Тридцать девять имен мог он вспомнить, и это был тоже немалый подвиг, если они вчетвером перебили тридцать девять человек. Но в стихах об убиении женихов пелось сначала, что триста душ низринул он в Аид.

Такое преувеличение он не мог допустить, пришлось внести поправку. Теперь они пели в своих стихах про сто восемнадцать душ. Сто восемнадцать женихов истребил благородный Одиссей. На том и остановились: сто восемнадцать, ни одним больше, ни одним меньше.

И для тех, кто принял участие в великом мщении — для рассудительного Телемаха, для богоравного свинопаса Евмея и для верного Филойтia, сторожителя круторогих быков, — число убитых женихов было теперь таково. И таково было оно для Пенелопы, разумной дочери Икария. Однажды — уже давно это было — она спросила с кротким удивлением: «Разве их было сто восемнадцать?» Теперь она этого уже не спрашивала. И сам он, многоопытный, многомудрый Одиссей, находил все более обременительными подсчеты, было ли число женихов ближе к тридцати девяти или к ста восемнадцати.

Кто же были те люди, которые заставляли верить в сотворенный ими мир больше, чем в пережитое на самом деле? Это были рассказчики, певцы. По большей части старые и слабые, они и годились только на то, чтобы петь и рассказывать. Хотя они не имели ни сокровищ, ни власти, все же был им почет от людей. Каждый уважавший себя царь держал своего певца, кормил его мясом и поил душистым вином. И недаром: ибо две вещи на свете радуют более прочих сердце людское — богатство и слава. Но слава превыше богатства. Умирая, человек поневоле покидает свои богатства, славой же он может наслаж-

даться и в царстве загробном. Стоит новой душе появиться там, тотчас плотно окружают ее души прежде умерших, и одна из них непременно спросит: «Скажи мне, душа, что случилось с моей славой среди людей земнородных?» И если вновь прибывшая душа отвечает: «Славная тень, ты живешь по-прежнему в песнях», — то ликует славная тень. А без певцов не бывать и славе.

Певец Одиссея звался Фемий. И, как все певцы, звался он также «гомером». «Гомер» — это означало: «сопутник», «тот, кто не может ходить в одиночку». «Гомерами» называли певцов по двум причинам: первая — та, что многие певцы были слабы зрением, а то и просто слепы, что приходилось весьма кстати для их занятия, ибо внутреннее зрение становится острее по мере того, как угасает зрение внешнее. И еще их называли «сопутниками» потому, что они неспособны были ничего рассказать, если прежде другие не совершали дел, о которых певцы могли бы повествовать.

Итак, гомер благородного Одиссея звался Фемий. Он пел также и женихам и от них получал мясо и прочее угощение. Но Одиссей не питал против него злобы и забыл ему это, ибо немногим ниспослали боги дар песнопенья и власть над словом. Да и что еще оставалось старцу делать в годы женихов? По собственному опыту знал Одиссей: нет подлей ничего, чем наш ненавистный желудок и его нужда. Желудок — самовластный властитель и тиран, он требует пищи и заставляет даже строптивых и претерпевших насилие позабыть свой гнев.

Потому Одиссей не покарал певца за то, что он служил женихам, и приказывал ему все снова и снова повествовать себе об убиении женихов. Фемий повиновался охотно: мерно и нараспев рассказывал он о ста восемнадцати убитых. И о других подвигах Одиссея Фемий должен был петь своему господину. Стихи рокотали, как волны моря, обильного рыбой, а Одиссей слушал.

Порой, когда слух его и сердце еще полны были божественным напевом, он сидел один на берегу виннотемного моря. Сладостно было с твердой земли смотреть на соленое море и в безмятежности вспоминать его угрозы. Но часто нападала на него мучительная тоска по прошедшему. Конечно, он знал, каково бывает на душе человека в беде. Сердце обрывается, ты слезно молишь богов и проклинаешь собственную глупость и заносчивое любопытство,

погнавшее тебя навстречу всем опасностям; а стоит выбраться из беды, ты даешь обеты отныне быть мудрым и избегать безрассудства. Но это сильнее тебя: вскоре ты снова тоскуешь и мечтаешь о коварной пучине.

Шестьдесят лет было уже Одиссею и страсти его ослабели. Но порой он чувствовал себя словно бы двадцатилетним, и брови его хмурились, когда он сравнивал то, как прежде отважно и мощно бороздил он пурпурноцветное море, и то, как теперь, забившись в свой угол, он проводит остаток дней. Много дорог вело по широкой земле, повсюду волновалось море, обильное рыбами, кораблями и чудовищами, и за всеми далями жили люди, которых он не знал, и были вещи, о которых он не ведал.

Последние чужестранцы, которых он видел, были феакии. Свыше меры разумные и счастливые, они обитали на далеком острове Схерии, на краю света, и часто любопытный Одиссей раздумывал об их нраве и об их обычаях. Ибо феакийцы непохожи были на прочих людей. Богоравные ахеяне, и те, что жили на материке, и те, что населяли острова, если им казалось мало собственного добра, шли походом на далеких людей востока, о чьих сокровищах довелось им прослышать, чтобы с мечом в руке эти сокровища разграбить. А феакияне не прилежали душой к войне и не дорожили славой сокрушителей крепкозданных городов. Вместо этого они создавали всякие блага своим разумным, исполненным мудрого порядка трудом: они строили дома просторней и богаче, чем у других людей, они делали прекрасную утварь и на своих прочных пятидесятидвухвесельных кораблях отправляли ее за море, в разные места земного круга, обменивая свои изделия на сокровища народов, столь же отдаленных, как они сами, и привозя с собою руды и пряности и всякие диковины.

До боли ясно вставал перед взором старого Одиссея остров Схерия, приветливая земля феакиян. Давно скрылась она у него из глаз. Богоравные ахейцы не отваживались заплывать туда, на край бескрайнего моря, на своих утлых ладьях, а феакияне, хоть и могли на своих надежных судах достичь ахейских земель, не подавали о себе вестей. Иногда благородный Одиссей сокрушался о том, что, когда боги забросили его на их богатый, веселый остров, он не остался там подольше, чтобы перенять разум и нравы феакиян. Они, хоть и были неласковы со всеми чужеземцами, ему бы позволили пожить и дольше. Прекрас-

ная белорукая царевна Навсикая смотрела на него приветливо, да и подобному богам царю Алкиною он пришелся по душе. Но долг погнал его дальше, к благородной Пенелопе, и на прочном, волшебном быстром корабле феакийцы отвезли его на родную Итаку.

Не мог больше сдерживать себя неутомимый Одиссей. Он решил во второй раз отплыть к феакийцам, не боясь опасностей моря и трудов соленой пучины.

Одиссей не сказал о своем решении жене, разумной Пенелопе, ибо опасался, что она станет плакать и заклинять его, чтобы он дерзко не пытал во второй раз негостеприимное море. Однако он поведал свое намерение сыну, рассудительному Телемаху. Тот немедленно ответил, что хочет плыть с отцом. Но это не входило в планы хитроумного Одиссея, и сперва с мягкостью, а потом и сурово он запретил ему думать об этом. Лукаво и лъстиво расписал он сыну, как тот в его отсутствие будет вместо него править островом. Первым будет он на Итаке и вкусит сладость власти. Так утешал он юношу, воскрешая ему сердце словами. И еще отец напомнил ему, что надо быть строгим и, встретив неповиновение, бить строптивца жезлом прямо по рылу.

Потом Одиссей выбрал двадцать два могучих спутника и снарядил кругобокий, синегрудый корабль. Они спустили его на воду, приладили мачту и парус, в крепкоременные петли просунули длинные весла, должным порядком устроив все корабельные снасти. Снесли они на корабль и припасы, сколько мог он вместить, и дары для феакийцев, никак не сравнимые с теми, что дали Одиссею феакияне, доставив его домой. Потом они натянули парус и взялись за весла.

2

Так в шестьдесят лет снова плыл он по морю, любознательный скиталец, богоравный Одиссей. Радостно глядел он на белопенные волны и вдыхал соленый запах. Он вопрошал себя, унялась ли вражда его старого недруга, бога Посейдона, и чуть ли не желал вновь испытать гнев колебателя земли. Но приветливо несла его пучина, небожители послали ему попутный ветер, люди, в чьи гавани он заходил, были дружелюбны и охотно пополняли его припасы, и после бесконечно долгого плавания причалил он, втайне

разочарованный тем, что не испытал никаких приключений, в защищенной гавани острова Схерии.

Феакияне не любили иноземцев. Не без причин отыскали они себе остров на краю населенного мира, желая жить особняком.

Но они были богобоязненны и благозаконны, и раз уж ярибыл к ним чужеземец, они помогли ему и его спутникам вытащить на сушу черный корабль.

Одиссей приказал своим людям нести за ним подарки. Он тотчас направился к царю Алкиною, благороднейшему мужу из мужей феакийских, своему гостеприимцу. Он шел между навесами, под которыми стояли корабли феакиян — высокие, легко обтекающие море, легкокрылые, как птицы, и быстрые, как мысли. Ни один народ не умел строить таких. Одиссей едва не пал духом, подумав о том, каким жалким выглядит среди них его собственный корабль, — а ведь он был лучший из всех, какие могли построить на Итаке. И Одиссей удивился, как удалось ему на своем ничтожном корабле благополучно проплыть столь длинный путь; и еще ему стало не по себе при мысли о пути обратном.

Он увидел верфи, на которых сколачивались эти корабли, и спросил, восхваляя его, о том волшебном судне, на котором семь лет назад он был доставлен на родной остров. Но феакияне, при всей своей вежливости, отвечали уклончиво и, как ему показалось, печально.

Наконец достиг он палат царя Алкиноя. Быть может, в его воспоминаниях стены крепости были мощнее, а сады пышнее, но, с другой стороны, за эти семь лет взгляд его стал наметанней, чтобы оценить прекрасное расположение и соразмерность дома. С восхищением взглянул он на золотых собак, стороживших вход, а внутри — на бронзовый венец карниза и на серебряных отроков, которые по-прежнему стояли на своих красиво изваянных подножьях и держали факелы, озарявшие палату во время многославных миров.

Царь Алкиной, разумением Зевсу подобный, дружелюбно приветствовал Одиссея. Но и у него, казалось, неприятно стеснилось сердце при виде вторично прибывшего гостя. Он рассказал, что колебатель земли Посейдон разгневался на феакиян за то, что они радушно приняли неугодного ему скпталъца и великодушно доставили на родной остров. На обратном пути бог самым ужасным образом

потопил прекрасный корабль в виду берегов отчизны. Он сам, Алкиной, и его судьи и вельможи после того торжественно держали совет и решили впредь остерегаться чужеземцев. Потому и живут они на краю населенного мира, отделенные многими водами от остальных смертных, что хотят оградиться от нападений воинственных народов, которые могут, привлеченные молвой о богатствах острова и будучи сами бедны, напасть на любезных феакиян. Ведь так и погибли критяне, которые владели сокровищами и встречали иноземцев с неосмотрительным великодушием. Никто, конечно, не думает, что благородный гость прибыл как лазутчик, имея в виду злое, хоть и прославлен он до неба своим хитроумьем. Но решение совета — закон и для него, царя.

В смущенье выслушал эту речь благородный Одиссей. Но потом отвечал разумно:

— Часто, наслаждаясь счастьем на родной Итаке, сидя у берега моря или в моем крепкозданном доме с женой и рассудительным сыном, говорил я себе: всем этим ты обязан богоравному царю Алкиною и его проворным гребцам. Лишь затем, чтобы сказать тебе это, многовластный царь, и воздать тебе за гостеприимство благодарность, которую ношу я глубоко в сердце, прибыл я сюда, не убоявшись многотрудного плаванья. На этот раз я не припадаю к твоим коленям с мольбами и плачем, нет, я желаю добраться до дому с собственными гребцами. Правда, не пятьдесят два гребца на моем корабле, — но такие суда умеют строить лишь феакияне, первые в море.

Между тем явились спутники Одиссея и расставили пред лицом царя дары. Скудными казались они в его преизобильном доме. Но благовоспитанный хозяин не подосадовал на это и в искусной речи похвалил дары, которые любезный гость привез далеко из-за моря.

Царь Алкиной знал себе цену и, при всей своей мудрости, был весьма словоохотлив. То, что делал он сейчас, было неразумно, быть может, и уж наверное противоречило решению, которое принял он со своими судьями. Но дары его благонамеренного гостя были столь скудны, что пробудили в нем желание показать иноземцу свои собственные богатства.

В нижнюю кладовую повел его Алкиной; быстро отвявал он ремень от кольца крепкой бронзовой двери, вложил в замок искусно выгнутый ключ. Громко заскрипели на

петлях тяжелые створы,— так при виде коровы дико мычит выгоняемый на луг круторогий бык.

И в раскрытую дверь блеснуло желтое золото, и красная медь, и бледное олово. Заструились тонкие ткани, ковры и одежды, ударил из мешков запах драгоценных благовоний, а из бочек — аромат старого сладкого вина. Тут же стояли прекрасно изваянные статуи, треножники, сосуды, двудонные кубки, кованные столь великолепно, словно изготовил их сам бог Гефест. А царь Алкиной, полный скрытой гордости, объяснял Одиссею, откуда все это великолепие. Вот этот пестроблистающий тканый ковер — с восточного края земли, а этот огромный, с удивительным затейливым узором кратер — с юга; эти камни, желтые и прозрачные, как мед, привезены ему из сумрачных и туманных дальних стран, а этот стол на львиных лапах и эта бронзовая богиня прибыли из страны, лежащей далеко за поверженной Троей. И всюду был волшебный блеск и дурманящий аромат. Одиссей же бродил среди этих сокровищ, и чувства его мутились, словно во хмелю. Он сказал:

— Воистину, царь, я объездил весь населенный мир и даже переступал его пределы. Я был и в святых местах, и на вершинах гор, где обитают боги, а люди и вещи теряют свою тень. Но ничего подобного тому, что ты мне показываешь сейчас, я не видел.

И это была правда.

А потом царь повел гостя в самую дальнюю камору, и там показал он ему нечто невиданное. Оно лежало там — это невиданное — беспорядочной грудой, и оно стояло там, выкованное, превращенное в оружие, и в лари, и в разную утварь. Новый металл был неказист на вид, иссиня-черен.

— Медь? — спросил в сомненье Одиссей. — Особый медный сплав?

С гордой улыбкой покачал головой царь Алкиной, разумеением Зевсу подобный, и отвечал тихо, почти благоговейно и восторженно:

— Нет, благородный мой гость, это не медь и не бронза: это железо.

— Можно мне потрогать его, твое железо? — спросил не без робости благородный Одиссей, и незнакомое слово с трудом ворочалось у него на языке.

— Ты можешь сделать это без опаски, — отвечал царь, — и можешь даже поднять его.

И Одиссей поднял его, и взвесил, и ощупал, и невидан-

ный металл показался ему твердым и тяжелым. А царь Алкиной между тем расхваливал его свойства, его твердость и упругость, не в пример красной бронзе.

— Посмотри сам,— предложил он гостю, подавая ему копье с острым оконечьем из невиданного металла. И сказал: — Брось же копье в одетую бронзой стену.

Одиссей так и сделал. И оконечье осталось таким же острым, как было. Тут он признал, что оружие и утварь из нового металла должны быть действительно лучше всех прочих. Снова и снова ощупывал он неверной рукой и осматривал недоверчивым взглядом этот новый, иссиня-черный металл и в смущенье учился произносить странное слово: «Железо, железо».

Алкиной между тем рассказывал о железе. Оно пришло из самых дальних восточных стран, и никто не мог доставлять его, кроме феакийцев, с их быстрыми, пятидесяти-двухвесельными волшебными кораблями. Пока что одно лишь оружие позволяет ковать из него Алкиной, испуганный судьбой острова Крита; ибо это пышное царство, заботясь только о том, чтобы расширять свои познания и уменья и создавать лишь прекрасные вещи, слишком уж пренебрегало оружием.

— Я думаю иначе,— говорил Алкиной,— и делаю из железа оружие. Я охотно употребил бы его с большей пользой, изготовляя из него утварь для дома и орудия для пашни. Но люди алчны, и разумный народ прав, если остерегается заранее. Боюсь, что придется нам еще многим снести голову иссиня-черным железом, прежде чем удастся обратить его людям на пользу.

Так говорил мудрый и миролюбивый царь Алкиной.

С малых лет научился Одиссей ценить медь и ало мерцающую бронзу, столь дивно полезные в делах войны и мира. А теперь он признал, что есть нечто лучшее — это иссиня-черное, это железо — и был смущен и даже опечален. Всегда думал он, что сердце его обращено к новому и разум открыт для нового; и вот он с тревогой глядел на железо, и дух его отвращался от невиданного металла, и он почти что ненавидел его. И если уж ему самому жутко при виде нового и при мысли о том, какие последствия из него возникнут, то как трудно будет привыкнуть к новому его вельможам, как трудно будет привыкнуть к нему тупой толпе богоравных ахейцев. Не одни иноземцы, но и сами ахейцы будут сотнями и тысячами истреблять друг друга,

прежде чем отступятся от меди и от старой привычки из нее делать оружие и утварь, прежде чем примут они новое — употребление железа.

Не желая показать царю, как глубоко он взволнован, спросил Одиссей с вежливым любопытством:

— Трудно, наверно, выковать из этого иссиня-черного металла то, что хочется, — пригодное в деле оружие или добрую утварь.

— Нелегко, — согласился Алкиной, благороднейший муж из мужей феакийских. — Но царь Федим из Сидона пришлет мне мастеров, искусных в ковке неподатливого железа, чтобы они обучили моих феакян. Мы ведь любезны богам, ниспославшим нам в дар светлый ум и понятливость.

— Неужели, — спросил Одиссей, — властитель пышного Сидона и вправду пошлет тебе опытных мастеров?

— Он обещал мне, — ответил Алкиной, — и дал мне слово.

— Что значит бесплотное слово? — возразил Одиссей. — Разве не может хитроумный муж так составить речь, чтобы мимолетные слова ее были растяжимы и легки и он мог бы уклониться от своих обещаний?

Так разумно говорил он и вспоминал при этом об отце своего отца Автолике, от которого унаследовал свое хитроумие и который славен был умением клясться так, что клятвы его не имели силы.

Но царственный его собеседник, могучий Алкиной, засмеялся и молвил:

— Изобретателен ты, благородный Одиссей, и ведомы тебе все хитрости и уловки. Но ведь и меня нелегко провести. У меня есть нечто большее, чем слова. Взгляни!

И он отворил еще одну дверь. За ней сложены были плашки, и дощечки, и плоские кирпичики, больше из глины, но также из камня, и на всех кирпичиках, плашках и дощечках были выпарапаны знаки — черточки, точки и линии, кое-где и маленькие картинки, — множество запутанных знаков, повсюду разных и по-разному расположенных. Благороднейший муж Алкиной указал на плашки и сказал лукаво:

— Видишь, у меня есть письменные обязательства.

Многоопытный Одиссей, который многих людей, города посетил и обычаи видел, взглянул на дощечки и плашки и ничего не понял.

— Письменные? — спросил он растерянно,

— Ты видишь, благородный царь Одиссей, — объяснил ему хозяин, — на этих плашках — клятва повелителя Сладона, в которой он обязуется прислать мне искусных кузнецов и призывает на свою голову гнев тамошних богов в том случае, если нарушит клятву.

Больше еще испугался страдалец, в бедах постоянный, чем при виде железа. Конечно, и раньше слышал он о таких значках и знал, что они в ходу у пародов далекого востока и юга. Однако он думал, что это обычная волшба, колдовство как колдовство, которое когда действует, а когда и нет. Теперь же, когда Алкиной все растолковал ему, он понял, что эти черты и резы стоят большего. Они были оружием, которое могло закреплять мимолетные, бесплотные слова; они делали невидимое видимым, преходящее непреходящим, они делали людей равными богам. Удручающе ясно стало ему, какую перемену в жизни смертных и в их мыслях вызовет употребление этих нацарапанных знаков. И в тот же миг подумал он, что его богоравные ахейцы, не столь быстрые разумом, как феакияне, должны будут немало потрудиться, прежде чем запомнят все знаки для всех слов. Да и у него самого как пойдет дело в шестьдесят лет? Не слишком ли он стар, чтобы перенять это страшное и полезное новшество — умение писать? И столько тревожных увидел он впереди, столько трудов и смут, что голова его закружилась, словно после кораблекрушения в бурю, когда белопенные волны бросали его вверх и вниз. Едва удалось ему, как того требовал добрый обычай, не показывать вида хозяину и сохранить притворное равнодушие.

3

Потом пришла и царевна Навсикая. Он помнил первую встречу с нею. Она играла в мяч со своими подругами и служанками, а он вышел к ним из чащи кустов, обнаженный, весь в кровавых ссадинах и царапинах, весь грязный от ила и прелых листьев, — и при виде его все разбежались врозь. Лишь она одна не покинула места — прекрасная белорукая Навсикая, и взглянула на него дружелюбно.

Об этом он вспомнил, едва она появилась. Но она уже не походила больше на тот образ, что запечатлелся в его душе. На ней было теперь покрывало, головная повязка и венец — она вышла замуж. Ему, раз уж он не остался,

и не приходилось ждать ничего другого: он мог предвидеть, что она не откажет кому-нибудь из посватавшихся за нее знатных феакийян. Но все же он разгневался, убедившись, что муж ее — тот самый злоумный Евриал, что тогда оскорбил его дерзкой насмешкой, хоть сам был только страствующим купцом, а не героем. Царевне Навсикае пристало бы выше чтить память о нем, Одиссее: она не должна была выбирать именно этого человека, чтобы делить с ним ложе.

Они поговорили дружелюбно, но сердце у него по-прежнему полно было неприязни и неуверенности... «Я Одиссей, — думал он, — сын Лаэрта, хитроумнейший среди смертных, молвой до небес вознесенный. Но я не знаю и при всей моей мудрости не могу решить, не лучше ли мне было тогда остаться на этом благодатном острове и не возвращаться к себе на Итаку, где до сих пор и живут, и трудятся, и воюют так же, как делали это предки. Если бы я остался, до сего дня глядели бы на свет нечестивые женихи, и один из них, вероятно, Амфином, лежал бы в постели разумной Пенелопы, а Телемаха отгеснили бы в сторону. Я сам, Одиссей, был бы зятем властителя Алкиной, его преемником и наследником всех его богатств, и белорукая Навсикая родила бы мне сыновей. А может быть, я поступил тогда умнее, вернувшись домой. Потому что здесь, на острове, мне пришлось бы изо дня в день утверждать себя перед богоравными феакийцами, и я не знаю, удалось бы мне это или нет, когда вокруг столько нового, чуждого и непонятного, чем благословили феакийян боги. Сердце мое робеет при виде многовесельных кораблей, иссиня-черного железа и запутанных знаков, которые они выпарапывают на камнях». Так размышлял благородный Одиссей, и сомнения омрачали его душу, подобно быстролетным облакам появляясь, исчезая и вновь набегая.

После отправились все к столу, ибо изобильный пир задал в его честь Алкиной. Восемь острокрылых свиней, двенадцать жирных овец и двух быков криворогих велел Алкиной зарезать для этого пира. Все — сам Алкиной, его судьи и вельможи — сели на прекрасно-резные, покрытые шкурами кресла и подняли руки свои к приготовленной пище. Одиссей же сидел на почетном месте рядом с Алкиной. Неустанно подносили слуги ломти сочного мяса и наполняли кубки; а в вино они подливали пряного сока корня непенте, вселяющего радость в сердца людей.

После ввели певца, гомера царя Алкиноя; этот гомер — звался он Демодок — был совершенно слеп. Все почтительно обходились с ним. Высокий меднокованный стул поставили для него посреди чертога у стройной колонны; на этой колонне повесили его лиру и дали к ней прикоснуться рукою певцу, чтоб ее мог найти он. Гладкий к нему пододвинули стол, принесли корзину с едою и кубок с вином, чтобы пил он, когда пожелает.

Одиссей ясно помнил, как дивно пел тогда, во время первого его пребывания на острове, этот гомер. Пел он о Трое, как пел потом и собственный певец Одиссея, Фемий. Но, без всякого сомнения, пенье Демодока было намного прекрасней. Он был лучший среди гомеров всех царей, его слово должно было вытеснить слова других, и если ему, Одиссею, суждено было впредь и вовеки громкой молвой до небес возноситься, то лишь в том случае, если возвещать о ней будет этот гомер с его бряцающей лирой и набегающими, словно волны морские, сладостными словами.

Тут благородный Одиссей подзвал кравчего, разделил лежавшее перед ним мясо, свою почетную долю, — полную жира хребтовую часть барана, лакомую и благоуханную, — и повелел кравчему отнести ее Демодок, ибо, как и подобает, всеми на земле обитающими людьми высоко честимы гомеры, а пенье Демодока навеки останется в его сердце. И кравчий проворно отнес от него мясо певцу, и певец благодарно принял даяние и хвалу.

Тут обратился к Одиссею славный Алкиной:

— Много слышали мы, многоумный Одиссей, о том, как ты силой и хитростью, по возвращенье домой, вновь взял в руки власть над островом, усмирив три сотни дерзких женихов. Но рассказывают об этом по-разному, как водится теперь у людей. Потому, благородный Одиссей, сам расскажи нам, как вправду было дело: ты-то должен это знать.

— Нелегко мне поведать об этом, — отвечал Одиссей, в бедях постоянный скиталец. — Снова сердце мое наполняется плачем сильнейшим, когда я вспомню злые часы, выпавшие тогда мне на долю. Если, однако, тебе, могучий властитель, охота услышать про это, я расскажу обо всем, ибо так подобает гостю. Но прежде всего я должен сказать тебе вот что: женихов, истребленных мною, было не три сотни.

Едва окончил он свою речь, как вмешался в беседу певец, божественный Демодок.

— Сладко мне будет узнать,— проговорил он старческим, но все еще благозвучным голосом,— от тебя самого, каково точно было их число. Многих спрашивал я об этом, но разные числа называли они. Однако большинство вопрошаемых толковало мне, что убитых женихов было не три и даже не две сотни, а сто восемнадцать.

И Одиссей, везде прославленный изобретеньем многих хитростей, отвечал ему тотчас:

— Ты сказал это, любезный Гомер. Их было сто восемнадцать.

И Демодок обрадовался и сказал:

— Сто восемнадцать. Так было и не могло быть иначе, и это правдоподобно. Сто восемнадцать! Число это хорошо звучит и отлично укладывается в размер стиха.

Одиссей, ободренный таким началом, рассказал об истреблении женихов со многими подробностями, которыми окружила это событие его память, крепко связав их между собою. Но Демодок слушал со вниманьем и думал, довольный: «Великие подвиги, как раз пригодные для того, чтобы их воспел».

Окончив, Одиссей попросил, чтобы теперь, после его безыскусного рассказа, искусный певец поведал им о Трое. И похвалил Демодока:

— То, что рассказал ты о Трое, когда я был здесь в первый раз, не выходит у меня из памяти и по-прежнему звучит в моем сердце. На диво точно поведал ты об ахейцах,— что совершили они и какие беды претерпели во дни многотрудной войны,— так, будто сам ты был участник всему.

Демодок не заставил долго упрашивать себя. Он запел о гневе Ахилла, Пелеева сына, о поединке Гектора с Аяксом, о смерти Патрокла и о подвигах, совершенных Одиссеем под стенами Трои. И особенно весело и страшно звучала повесть о деревянном коне, придуманном многоумным Одиссеем с тем, чтобы троянцы сами ввели коня в свой город. И они, глупцы, ослепленные богом, так и поступили. Но и герои, вместе с Одиссеем замкнутые в конской утробе, оказались не меньшими глупцами. Когда Елена в сопровождение троянских героев озидала коня, то, повинувшись внезапной сумасбродной прихоти, она стала окликать коня, изменив голос и подражая ахейским женам — также и женам тех ахейцев, что скрыты были в конской утробе. А те — сперва один, потом другой и третий,— едва услышав голоса

любимых, давно разлученных с ними подруг ложа, готовы были ответить; так они и выдали бы себя, если бы сообразительный Одиссей в ярости не принудил бы их могучей рукою к молчанью.

Сокрушенно слушал певца Одиссей. Он сам давно не вспоминал об этой неприятности во чреве коня и никогда никому о ней не рассказывал. Как вышло, что слепец и об этом знает доподлинно? Какой бог поведал ему все? Конечно, все происходило не в точности так, как описывал певец, но в общем это было верно: его товарищи, данайские вожди, вели себя тогда весьма неразумно. Они лежали в конском чреве съезжившись, вплотную друг к другу, и часы казались им нескончаемо долгими. Низменные и нелепые прихоти нападали на мужей; лишь с трудом, зажимая и в самом деле им рот рукою, смог он, Одиссей, помешать им выдать себя голосом или шумом.

И Одиссей размышлял о людском неразумье, — о том, как глупо они вели себя тогда и как глупо всегда ведут себя люди. Он думал о том, как трудно ему самому свыкнуться с мыслью об иссиня-черном железе и о знаках, выдаваемых на камнях. И угрюмая тоска наполнила его сердце оттого, что по воле богов человеку столь трудно избавиться от косности мысли и ясно смотреть на вещи.

Но он не выдал своего гнева и спросил Алкиной:

— Скажи, многославный властитель, как поступаешь ты с песнями твоего гомера? Велишь ли ты и их тоже выдавать на камнях?

Рассмеялся благородный Алкиной и ответил:

— Понадобилась бы целая каменоломня, если бы пришлось выдавать все стихи, что поет мой гомер. Нет, любезный чужестранец, не для этого служат мне камни и редкостное искусство, а для важных и серьезных дел.

Смеялся Алкиной, смеялись остальные феакияне, и гомер смеялся вместе с ними, и обширный чертог оглашался смехом.

А потом седой судья Эхеней потребовал, чтобы гомер спел о странствиях благородного Одиссея по обильному рыбю морю, о великих невзгодах и славных избавлениях, которые ниспосланы были в бедах постоянному скитальцу враждебными или благосклонными богами. С радостью стал слушать Одиссей, ибо теперь о том, что при первом своем посещенье рассказал он сам, поведает певец, и он узнает что ему думать о своих подвигах и какие из них оста-

нутя, стяжав непреходящую и вечно юную славу во все времена.

Демодок пел. С бьющимся сердцем, наново все переживая, слушал Одиссей о своих странствиях, о том, как он прибыл к Эолу, на остров ветров, и как побывал у циклопов, в мерзостной пещере, и как спускался в Аид. Он слушал о сиренах, о Сцилле и Харибде, о том, как его неразумные спутники съели коров Гелиоса. И он слушал о своем хитроумии, о прославленном своем хитроумии, все снова и снова о своем хитроумии и о своей великой и славной изобретательности.

Дивно пел Демодок, и все охотно слушали его и могли бы слушать всю ночь напролет. И Одиссей охотно слушал его. Он закрыл глаза, ему хотелось быть слепцом, как этот гомер, чтобы впитать в себя его песню. Слушая его, он снова совершал свои подвиги и сносил свои невзгоды. Но они уже изменились: больше стало спутников, которых он потерял, выше стали волны, которые разгневанный Посейдон обрушил на его корабль. Слаще пели сирены, крупней и ужаснее был циклоп, и более ласково улещала его нимфа Калипсо. Но как пел сейчас Демодок, так оно и было и так останется навсегда. Сам благородный Одиссей был одновременно и нынешним Одиссеем и прежним. И так ожили в нем воспоминанья, что из-под его опущенных век заструились слезы. Но он не хотел показать свои слезы феакийцам, ибо веселье подобает пиру. И он, взявши свою широкопурпурную мантию, облек ею голову и так скрыл слезы. Потом он выпил вина, разбавленного пряным соком непенте, чтобы радость и доброе расположение вернулись в его сердце.

4

В ночь после пира Одиссей не сомкнул глаз. Новое и невиданное волновало его душу, и ум его стремился поближе узнать неведомое. Его так и подмывало остаться у феакийян до тех пор, пока он не научится ковать иссиня-черное железо и пользоваться им и пока не уразумеет те знаки, которые они выцарапывают на глине и камне. Но ему было уже шестьдесят, и он стыдился стать посмешищем молодежи, если вдруг он, старик, начнет учиться, как малое дитя, да еще делать ошибки. На Итаке, в милой отчизне, не было ничего неведомого, там он мог на все ответить и был, без сомнения, самым разумным.

На другой день обратился к нему Алкиной, многомогущий властитель:

— Скажи мне, что ты предпримешь? Останешься ли ты у нас или вернешься на свой лесистый остров? Не скрою, что коль скоро ты остался бы здесь, твое пребывание было бы желанно для нас: ведь тогда ты не мог бы разгласить среди смертных все, что узнал о нашей веселой земле и наших богатствах. Но если ты и уедешь, мы не посетуем на тебя, ибо не должно насильно удерживать гостя. Правда, на этот раз мы не сможем дать тебе ни одного из своих кораблей, это противоречило бы нашим решениям. Но, быть может, боги даруют счастливый возврат и твоему двадцатидвухвесельному кораблю.

На миг заколебался многоопытный муж Одиссей, а потом ответил:

— Лишь затем, чтобы еще раз увидеть твое лицо, божественный Алкиной, прибыл я к вам,— и еще затем, чтобы увидеть лицо царевны Навсикаи, ибо вы спасли мне жизнь. А теперь, убедившись, что у вас все благополучно, я желал бы вернуться на свой славный остров.

— Как ты хочешь, благородный Одиссей, так ты и поступишь,— промолвил в ответ ему Алкиной,— а мы отправим тебе дары на твой черный корабль и принесем богам жертву, чтобы они послали тебе попутный ветер.

Но прежде чем снова стащили на воду свой корабль Одиссей и его спутники, скиталец посетил певца Демодока. Он сидел вместе с ним в просторных сенях, радуясь вечерней прохладе, и они пили вино и беседовали друг с другом. И прозорливый Одиссей сказал:

— Счастливый жребий выпал тому мужу, кто будет вечно жить в песнях гомеров, и нет лучше участи, ниспосланной нам от богов, нежели моя, ибо о моих подвигах будешь петь и вещать ты, Демодок, по праву прославленный первым среди гомеров. То, что ты повествуешь о моих скитаньях и подвигах, принадлежит и вместе не принадлежит мне. Пока ты цел, мои подвиги отделились от меня, я взирал на них со стороны, они были моими и не моими, они были близки мне и чужды, словно отрезанные волосы¹.

¹ Здесь гомер, который сообщил нам о втором плаванье Одиссея на Схерию, допускает некоторую вольность: богоравные ахеяне никогда не стригли волос, разве что для того, чтобы посвятить их милым усопшим. Достоверно известно, что Одиссей, сын Лаërта, никогда не стриг волос. (*Прим. автора.*)

Славный в народе Демодок отпил душистого вина и сказал рассудительно:

— Мы должны благодарить друг друга, богоравный Одиссей. Я тебя, ибо твои подвиги — опоры моих песнопений и тем подобны костяку в теле. А ты — меня, ибо, не будь песнопений поэтов, развеялись бы подвиги героев без всякого склада и смысла.

— Это так, — согласился Одиссей, в бедях постоянный скиталец. А потом продолжал: — О многих моих похождениях рассказал ты, и все они были точно живые. Лишь одно осталось слабым и бесплотным, подобным тени в Аиде. — Он увидел, что лицо слепца омрачилось, и поспешно сказал: — Наверно, я сам неправильно поведал о нем, рассказывая много лет назад.

И Демодок спросил:

— Какое из своих приключений ты имеешь в виду?

— Это история моего пребывания в доме Цирцеи на острове Эе.

— Ты разумеешь историю о том, — переспросил Демодок, — как богиня превратила твоих спутников в свиней? Но тебе проворный Гермес дал волшебную траву, чтобы ты снова превратил любезных спутников в людей. — Одиссей молчал, и поэтому певец добавил с заметной досадой: — Так рассказывал ты тогда. Двадцать два человека, говорил ты, и трава моли, говорил ты, — так я и пою уже многие годы.

И Одиссей, богатый уловками муж, повернулся к певцу и признался:

— Так я рассказывал, так оно и было, но только отчасти.

— Так поведай же мне об этом заново и все, — попросил его Демодок.

Одиссей повиновался ему и начал:

— Когда я усмирил Цирцею и разделил с ней прекрасное ложе, я приготовился превратить моих спутников в людей. В руке у меня была спасительная трава, данная мне Гермесом, вестником богов, волшебное растение моли; корень его был черен, цветок подобен белизною молоку, а действие его божественно. Подойдя к закуту, я увидел всех своих товарищей вместе, числом двадцать два, и, взглянув на них, я спросил себя: «Кто из них Полит, который был мне всех дороже? И кто из этих белоклычистых свиней — мой друг и двоюродный брат Ноемон? Кто из них

Фроний, а кто Антиф? И радость наполнила мне сердце, когда я подумал, что вот сейчас они предстанут предо мной в прежнем, знакомом обличье. И, помавая могучим корнем, я воззвал к ним: «Воспряньте, друзья и любезные спутники, подойдите, чтобы я коснулся щетинистой вашей оболочки спасительной травой. Едва я прикоснусь к вам, тотчас вы вновь обретете человеческий облик, — долгое, прямо стоящее тело, гладкую кожу и милый нашим устам язык людей».

А они, слушая это, отступили прочь и забились в угол, явно страшась меня с моим корнем. Я думал, что богиня, волшебница Цирцея, эта чародейка, помutila им разум и сердце. И снова воззвал к спутникам и сказал им: «Послушайте, друзья, и поймите меня. Бог Гермес дал мне эту траву моли, чтобы разрушить злые чары. Позвольте мне прикоснуться к вашей щетине и станьте снова людьми. Возвратитесь в прежний свой вид!» Но они еще боязливей отступали, и хрюкали, и повизгивали от страха, словно я хотел причинить им зло, и так как дверь закута была отворена, они выбежали мимо меня наружу, часто семена короткими ножками и унося подальше свои жирные животы. Я же ничего не понимал, и в сердце у меня было смятение.

Наконец, подкравшись, я сумел коснуться корнем одной из свиной. Тотчас спала покрывавшая ее щетина, и предо мною предстал мой спутник Эльпенор, самый младший из нас, заурядный юноша, не отличившийся в битвах и не наделенный разумом. Он стоял передо мною прямо, в своем человеческом обличье. Но он не заключил меня в объятия, как я ожидал, и не ликовал, и не был счастлив. Нет, он стал упрекать меня, говоря: «Ты снова явился, злой разрушитель покоя? Ты снова хочешь нас мучить, подвергать наши тела опасностям и требовать решений от наших душ? Сладко быть тем, чем я был, валяться в грязи на солнышке, радоваться корму и пойлу, хрюкать и не ведать сомнений: так ли мне поступать или этак? Зачем ты пришел, зачем насильно возвращаешь меня к ненавистной прежней жизни?» Так упрекал он меня, плача и проклиная. Потом он пошел, напился допьяна и лег спать на крыше Цирцеина дома. Но остальные спутники — свиньи — вернулись и разбудили его своим хрюканьем и визгом. Ничего не соображая от опьянения и сна, полный смутной тоски, кинулся он к ним навстречу, но угодил мимо лестницы, упал

с крыши и разбился насмерть. А он был единственный, кого мне удалось расколдовать.

Многое пришлось мне перенести, но этот час был самым страшным. Сердце в моей груди стало тяжелым, оно оборвалось и упало, когда я понял: спутники бегут от меня, желая остаться свиньями и не возвращаться в человеческое обличье. Только одного я поймал и снова сделал человеком, — но как ненадолго и к чему это привело!

Черты Одиссея, пока он рассказывал, сделались старее, резче и суше. Его угнетало не только воспоминание об этом часе, но и мысль, что сам он так же упрямо не желал войти в более светлый и строгий мир, который открыли перед ним феакияне.

И он заключил:

— Такова, Демодок, правда, и неправдив был мой прежний рассказ. Не двадцать два спутника расколдовал я, а только одного, да и его душа тотчас отправилась в Аид. А теперь скажи мне, чтимый в народе певец, будешь ли ты и впредь петь о том, что случилось со мной у Цирцеи, так же, как пел прежде? Или ты будешь видеть перед собой то, что я тебе поведал?

Гомер Демодок отпил вина и долго молчал, размышляя. Потом он ответил:

— Благородный Одиссей, в бедах постоянный скиталец! Я думаю, что буду рассказывать эту историю так же, как прежде. То, что ты поведал мне сегодня, не годится для стихов. Для ныне живущих смертных такое несоединимо с песнями. — И он добавил вежливо и кротко: — Быть может, когда-нибудь потом...

И с этими словами слепец Демодок выбросил из своего сердца подлинную историю об Одиссее и свиньях.

Одиссей же вернулся домой, к благородной Пенелопе и к рассудительному Телемаху. Проходили годы, на Итаку заезжали чужестранцы, привозили вести и песни. Все больше песен ходило о странствиях Одиссея, и та, которую сложил Демодок о его похождениях на острове Эе у волшебницы Цирцеи и о превращении в свиней, была из числа самых любимых и пелась часто. И Одиссей, все время слышавший эту историю лишь в том виде, в каком поведал ее Демодок, сам в конце концов позабыл, как было на самом деле.

Еще двадцать лет жил благородный Одиссей на своей Итаке. Он жил спокойно и мирно, и его почти не мучила

больше тоска, гнавшая выйти в пурпурноцветное море. Иногда он спускался в кладовую и озира́л свои сокровища и в их числе — подарки, привезенные от феаки́ян. К своим дарам они прибавили большой кусок иссиня-черного металла, и он лежал теперь в кладовой Одиссея, постепенно теряя свой блеск и покрываясь бурой ржавчиной. Одиссей глядел на это сперва удивленно, потом равнодушно. А там он перестал почти уже глядеть на металлы и понемногу забыть его название.

Но все же сын его и преемник Телемах узнал название железа. А позднее узнали его и все ахейцы. В конце концов они научились и пользоваться этим иссиня-черным, этим неведомым металлом, — но лишь после долгой борьбы и обильного кровопролития.

ДОМ НА ЗЕЛЕННОЙ УЛИЦЕ

Среди множества своеобразных ритуалов у нас, евреев, есть один, которым я, впервые постигнув его смысл, был особенно глубоко взволнован. В первый пасхальный вечер мы пьем вино, празднуя свое избавление от египетского рабства. Но прежде чем осушить кубок, мы отливаем из него десять капель, памятуя о десяти казнях, которые бог наслал на египтян. Мысль о страданиях наших врагов уменьшает радость, наполняющую наш кубок, — на десять капель.

Благодаря этому обычаю я уже с малых лет понял, что враги мои — тоже люди, и никогда слепо не радовался их поражению или гибели.

И все-таки один раз гибель ненавистного человека обрадовала меня безмерно, и я не испытал при этом ни малейшего желания пожертвовать хотя бы одной каплей этой радости. Произошло это, когда я узнал, что государственный советник Франц Диркопф убит бомбой.

Я познакомился с Францем Диркопфом в доме профессора Раппа в прирейнском университетском городе Баттенберге. В то время я работал над одним из романов об Иосифе и занимался изучением истоков христианства. Я поехал к профессору Раппу, потому что он был автором

ряда статей по этому вопросу, представлявших для меня особый интерес.

Профессору Карлу Фридриху Раппу на вид было лет шестьдесят пять. Это был человек очень маленького роста, его большееротое, изборозженное глубокими морщинами лицо обрамляли длинные, ослепительной белизны волосы, а пронизательные, беспощадно насмешливые глаза глядели из-под широкого лба молодо, ясно и пламенно.

Профессор Рапп посвятил свою жизнь решению одной задачи: он стремился вылучить из предания об Иисусе Христе зерно исторической истины. Он накопил несметные сокровища познаний, в Иерусалиме первого века христианской эры он ориентировался лучше, чем в родном Баттенберге, и лучше знал горные деревушки тогдашней Галилеи, чем местечки Шварцвальда или Таунуса. Ему принадлежали новые, поразительные открытия. Но свои взгляды он отстаивал с такой страстной непримиримостью, что нажил себе много врагов; ему пришлось отказаться от кафедры, и в широких кругах его фактически никто не знал.

Он нисколько не скрывал, что моя глубокая заинтересованность его трудами доставляет ему удовольствие. С гордостью и нежностью показывал он мне свои книги и рукописи, — среди них попадались такие сокровища, что любой знаток мог бы ему позавидовать.

Позднее, за столом, я познакомился с его женой и дочерью. Фрау Паулина Рапп, образованная дама с приятными манерами, мало интересовалась событиями внешнего мира. Дочь Гедвига была хороша собой, но красота ее не бросалась в глаза; особенно прекрасны были ее глубокие, умные глаза.

Я пробыл в Баттенберге дольше, чем намеревался. Мне нравилось в доме на Зеленой улице. Дом стоял за городом, среди леса и гор, строгая красота окружающей природы радовала глаз. Дом был старый, прихоти и вкусы многих поколений оставили свой след на его архитектуре; бесчисленные коридоры и лестницы переплетались друг с другом, образуя настоящий лабиринт. Профессор обставил его с любовью и приспособил к своим привычкам. Здесь был огромный письменный стол, украшавший некогда трапезную бенедиктинского монастыря, с горами книг и бумаг, за хаотическим нагромождением которых угадывался строгий порядок; перед сидящим за этим столом открывался пейзаж,

восхищающий спокойным разнообразием красок. Здесь стояли шкафы и полки с книгами и манускриптами. Здесь была античная скульптура — женская голова больше натуральной величины, — сивилла, как пояснил мне профессор. Примиренно и неподвижно глядела она вперед.

— А вам не кажется, — проговорил неожиданно профессор, — что когда к ней снисходит божество, она способна «негодующими устами вещать о невеселом, о неприкрашенном и неприкрытом»?

Вокруг дома на холмах раскинулся сад, обнесенный каменной оградой. И он тоже напоминал лабиринт. Был там альпинарий — большое каменное сооружение, увитое, в итальянском вкусе, ползучими растениями, английские газоны и купы деревьев в немецком стиле. Гордостью профессора были великолепные клены. Дом, подобно его владельцу, был старый, молчаливый, замкнутый и все-таки полный жизни.

Профессор Рапп, познавший горечь ревнивой неприязни со стороны своих ученых коллег, с каждым днем проявлял все большую симпатию ко мне — человеку, который судил о его теориях без всякой зависти, с объективностью доброжелателя. Прошло немного времени, и он поведал мне свою великую тайну.

Вот в чем она состояла: ни у кого из языческих авторов первого века нашей эры нет свидетельств о жизни и деяниях Христа. И вот теперь, сообщил мне профессор Рапп с нескрываемым торжеством, он обнаружил в одном из схолийев цитату из «Stemmata» некоего Симмаха Милетского, недвусмысленно указывающую на то, что в те времена действительно существовал человек, по описанию похожий на евангельского Христа в большей мере, чем любая из исторически засвидетельствованных личностей. Место сначала казалось темным, объяснения профессора — туманными; и все же его интерпретация была смелой и убедительной. Его доказательства и выводы могли бы выдержать самую строгую проверку с точки зрения филологических, конкретно-исторических и любых других научных критериев. Если в сочинениях языческих писателей первого века имеется хоть один отрывок, который возможно было бы признать свидетельством существования Христа, то это цитата, которую нашел профессор Рапп.

Возвестить миру о своем великом открытии профессор намеревался только в труде «Жизнь Иисуса», над которым работал уже много лет и где цитате отводилось центральное место. До опубликования этой книги источник должен был оставаться в тайне.

Мне он тоже не показал его.

— Не думайте, что я не доверяю вам, друг мой,— пояснил он мне любезно, с наивным лукавством,— поймайте сами, такое сокровище оберегаешь даже от жены и детей. Случайный намек — и какая-нибудь старая, завистливая архивная крыса, воспользовавшись этой цитатой, лишит ее для меня всякого обаяния.

Поэтому профессор Рапп спрятал манускрипт со схолиями в надежное место, он лежал вместе с его толкованием в нескороаемом шкафу.

— Вот ключ,— проговорил он с ворчливым лукавством и гордо, с любовью посмотрел на него.— Но в каком банке находится сейф, который отпирается этим ключом,— неизвестно никому, кроме моей жены.

Итак, в доме профессора Раппа я и встретил того самого Франца Диркопфа, о котором упомянул в самом начале этого повествования. Ему было около тридцати, когда я увидел его в первый раз. Это был высокий господин с очень белой кожей, волосами, светлыми, как песок, и с бесцветными бегающими глазами. Он был приват-доцентом Баттенбергского университета, работал в той же области, что и Рапп, и был любимым учеником профессора. Он часто приходил в дом на Зеленой улице и всегда был желанным гостем для его обитателей. Правда, с Гедвигой у него, по-видимому, были сложные отношения. Она зло подтрунивала над ним и старалась уколоть намеками, которые третьему лицу были непонятны. Он отвечал вежливо, но иногда в его вежливости чувствовалась какая-то натянутость, а когда ему казалось, что на него никто не смотрит, в его бесцветных глазах вспыхивала злость. Гедвига же, если он был занят разговором, изредка бросала на него быстрые взгляды, и тогда на лице ее — казалось мне — можно было прочесть выражение печали, даже страдания.

Пожалуй, я не сумел бы назвать причину моей антипатии, но только доктор Диркопф не нравился мне. Никакие славословия господина и госпожи Рапп и их дочери,

превозносивших его до небес, не могли заглушить неясное чувство неприязни, которое внушали мне его бесцветные юркие глазки и подчеркнутая любезность.

Франц Диркопф, как я узнал позже, с самого своего рождения был связан с домом на Зеленой улице. Его родители занимали домик привратника; отец был садовником и служил у профессора, мать убирала комнаты. Обычно она приводила с собой маленького Франца. Профессору нравился смышленный мальчик, которого с первого же дня неотразимо влекло к книгам из его богатой библиотеки. Он рассказал мне, как однажды массивный Филон в переплете из свиной кожи чуть не убил маленького Франца. А позднее Рапп, не жалея средств, помог одаренному юноше получить образование и открыл ему путь к блестящей карьере.

Я встречал молодого приват-доцента неоднократно, и не только в доме на Зеленой улице. Как-то раз я встретил его в кафе. Он сидел недалеко от меня в небольшой компании: мужчина с жирными складками на затылке, женщина и девушка. Очевидно, они хорошо поели и много выпили, за их столиком было шумно. Девушка, молодая, сильно накрашенная, сидела в небрежной, ленивой позе и тупо глядела на Диркопфа, так, словно он был ее собственностью.

Когда его знакомые ушли, Диркопф подошел к моему столу и, очевидно, желая сгладить невыгодное впечатление, которое могло у меня сложиться, заговорил со мной тоном величайшей откровенности, как с давним и надежным другом. Господин Шеффлер, с которым я его только что видел, был хорошим знакомым его отца, начал он, как бы оправдываясь. Франц Диркопф выпил совсем немного, но быстро захмелел и разоткровенничался больше, чем хотел бы. Он пространно, со всеми подробностями, рассказывал мне о доме на Зеленой улице. Полушутя, полусерьезно вспоминал он, что все вещи в этом доме были для него живыми. Он рассказывал образно. Совсем малышом он отправлялся в кругосветное путешествие вокруг гигантского письменного стола — это была эпоха великих открытий; иногда, тайком, он даже взбирался на этот стол и сидел там среди бумаг и книг, подобрав под себя ноги, — он плыл на корабле, о котором знал из рассказов отца, плыл по бурному морю, где отовсюду грозила опасность, но все было необычайно увлекательно. Он стоял с сильно бьющимся сердцем перед сивиллой и ждал, чтобы она открыла глаза. Большой фолиант Филона представлялся ему злым и опасным

зверем, однажды он начал дразнить его, зверь сначала лежал смирно, а потом чуть не убил его. Он бывал в этом доме бесчисленное множество раз, признавался он мне, но каждый раз, входя в него, он словно переступал порог нового мира, полного притягательной силы и опасности. Ребенком он нередко чувствовал себя там как в церкви; порой и сейчас, приходя в этот дом, он робеет, как школьник перед экзаменом. Он умел передавать свои чувства, я великолепно понимал, как неразрывно, живыми нитями, он был связан с этим домом, как весь он был полон почтительного благоговения, неодолимого желания, любви, страха и зависти.

Услышав, что мне известно о великом открытии профессора, он на минуту смутился, но тут же заговорил со мной еще более доверительно. Он с жаром рассуждал о значении этой находки. Как должен гордиться профессор! Ведь уже восемнадцать столетий христианские церкви всех направлений ищут с неутомимым усердием такой источник! Потом, не без некоторой горечи, он добавил, что сделать такое открытие — это не только большая заслуга, но и удача. Для этого необходима совокупность бесчисленного множества благоприятных условий: нужны время и деньги, нужны длительные поездки — даже без определенной цели, нужно быть меценатом, коллекционером, который всегда может заплатить и заставить библиотекарей, архивариусов и антикваров служить себе.

Затем Франц Диркопф с улыбкой заговорил о маленькой безобидной слабости профессора — о той ревливой педоверчивости, с которой он прятал от всех свою находку. Эту цитату из Симмаха он, разумеется, и от него, Диркопфа, тоже держал в тайне. Диркопф очень сожалеет об этом. Дело в том, пояснил он, что, как бы ценен ни был сам текст документа, важно еще и то, как будет он использован именно при первой публикации. И если бы профессор позволил мне или ему или нам обоим принять участие в работе над первым описанием личности Христа на основании достоверных исторических документов, если бы он призвал на помощь творческие силы более молодых людей, это отнюдь не принесло бы вреда.

Но профессор был непоколебим, и даже когда два месяца спустя состоялось обручение Гедвиги с Францем Диркопфом, он упрямо и весело заявил, что доверил Францу свою дочь, но не цитату из Симмаха.

Еще до обручения Франца Диркопфа с Гедвигой к власти пришел Гитлер. Германия погрузилась во мрак, искусство и наука прекратили свое существование, большинство видных ученых, писателей, художников покинули страну.

Профессор Карл Фридрих Рапп остался, несмотря на то, что мог пострадать из-за своей репутации человека свободомыслящего. Он, видимо, не хотел прекращать свою большую работу, уже близившуюся к концу, и нуждался в книгах, которые ему не разрешили бы взять с собой за границу.

Из газет я узнал о его смерти. О том, что произошло в доме на Зеленой улице в первые годы существования Третьей империи, я узнал от фрау Паулины Рапп и Гедвиги, с которыми встретился впоследствии в Лондоне.

Франц Диркопф принимал самое горячее участие в обсуждении вопроса о том, следует ли уезжать из Германии. Он соглашался с профессором, считавшим себя не вправе бросать свой труд, и так как профессор остался, остается, разумеется, и он. Впрочем, Франц Диркопф нисколько не был скомпрометирован в политическом отношении. Однако вскоре стало ясно, что женитьба на дочери либерально настроенного профессора не может не повредить его карьере, и поэтому в доме на Зеленой улице пришли к общему решению отложить свадьбу до краха Гитлера, который, конечно, не за горами.

Но власть Гитлера укрепилась. Профессор Рапп страдал от новых порядков в государстве, и работа его двигалась очень медленно. К тому же становилось все очевиднее, что он пишет в стол: выводы профессора противоречили тенденциям «церкви германских христиан», созданной национал-социалистами, и власти не разрешили бы напечатать его труд.

Тогда Диркопф предложил, чтобы профессор все-таки позволил ему принять участие в работе и открыл доступ к своим материалам. Он достаточно гибок и сможет изложить основные идеи труда так, чтобы власти ни к чему не могли придраться. Но только книга должна выйти в свет под его, Диркопфа, именем, хотя, конечно, он даст в ней правильное освещение заслугам профессора, сделавшего такое замечательное открытие. Старый профессор долго не мог понять, о чем идет речь. А поняв, закричал вне себя:

«Подлец!» — и с этого дня перестал пускать Диркопфа к себе в дом.

Диркопф не сдался. Он обратился к помощи Гедвига. Доказывал ей, что, если профессор будет упорствовать, он вообще вряд ли дождется опубликования своих материалов; мало того, наука рискует утратить их навсегда. Долго убеждал ее Франц, рассказывала Гедвига, и в его настойчивых уговорах звучала такая тревога, что порой она, хотя и знала в глубине души, что он подлец, готова была поверить в бескорыстие его доводов.

Это я хорошо понимал. Я представлял себе, какой вид был у Диркопфа, когда он убеждал девушку. Высокий, стройный, с привлекательным лицом, стоял он перед ней, погрузив свой бесцветный взгляд в самую глубину ее глаз, и льстивым голосом произносил слова, в которых была смесь мнимой рассудительности и нежности.

До этого времени он старался не занимать определенной позиции по отношению к Третьей империи и основанной ею церкви. Но теперь новые хозяева чувствовали себя достаточно сильными, чтобы от каждого потребовать недвусмысленного «да» или «нет». К Диркопфу подступились прямо. Он должен был ясно высказать свои убеждения — иначе ему грозила потеря должности. Перед ним стоял выбор: предать свою науку или покинуть страну. Наверно, это был нелегкий выбор для него.

Он остался. Он заключил мир с Третьей империей. Он не сказал свое «да» громко и во всеуслышание, — этого ему не хотелось, — но все-таки он сказал «да». В своей статье в ежемесячном журнале «Вопросы библейской критики» он по-прежнему выступил как представитель школы профессора Раппа. Но теперь он давал его тезисам новую интерпретацию, угодную «германским христианам». В другой статье он лишь слегка извратил эти тезисы, в третьей поставил перед ними обратный знак. Теперь Христос страждущий сменился «Христом, которого породила фантазия германцев, готским Крестом-меченосцем».

Вскоре после появления этой статьи умер профессор Рапп.

Франц Диркопф явился в дом на Зеленой улице. Он был потрясен. Предложил женщинам всяческую помощь. Принял участие в погребении. Неустанно произносил речи. Писал некрологи, «звучные, пустые некрологи» — добавила Гедвига.

Очень скоро стало ясно, куда он метит. Он вызвался разобрать и опубликовать литературное наследие профессора. Он дал понять его вдове и дочери, что власти могут принудить их выдать рукописи, ссылаясь на принципы Третьей империи, согласно которым наука принадлежит обществу, а общественное благо стоит выше личного.

Не жалея усилий, старался Диркопф уговорить женщин. Ему пришлось убедиться в их непреклонности. Он перестал бывать в доме на Зеленой улице.

Он женился на Тильде Шеффлер, дочери гаулейтера, того самого человека с жирными складками на затылке, которого я видел тогда с ним вместе в кафе. Он получил кафедру профессора Раппа и чин государственного советника.

Систематизацию рукописей профессора довести до конца не удалось. Фрау Рапп и ее дочь вызвали в полицию. Их поставили в известность, что теперь, после смерти профессора, его труды все больше и больше превращаются в источник враждебных государству идей. Для непокорных церковных кругов его сочинения служат агитационным материалом. Можно подозревать, что и наследие его будет использоваться так же.

За женщинами был установлен полицейский надзор. Начались обыски. Друзья и знакомые в страхе отшатнулись от неблагонадежных.

А потом как-то раз Гедвигу вызвали в полицию одну. Она ушла и больше не вернулась в дом на Зеленой улице.

Фрау Паулина бросилась в полицию, она бегала из одного ведомства в другое, часами просиживала в передних государственных и партийных главарей. Никто ничего не знал, никто не мог или не хотел сообщить ей о судьбе дочери.

Наконец, доведенная до отчаяния, она обратилась к Диркопфу.

Тот разыграл невероятный испуг.

— Почему же вы сразу не пришли ко мне? — спросил он с упреком. Он был крайне встревожен и обещал сделать все, что в его силах.

На другой день он позвонил. Ему удалось узнать, где находится Гедвига. Он сам и папаша Шеффлер просили

обращаться с ней помягче, он надеется, что их ходатайство поможет. Однако причин ее ареста он пока не мог установить.

Еще день спустя он пришел в дом на Зеленой улице. Сообщил ффрау Паулине, что власти каким-то образом пронюхали о спрятанных профессором материалах. Может быть, сама ффрау Паулина неосторожно обмолвилась о них, а может быть, сообщил кто-то третий, неизвестный им человек, — ведь вполне вероятно, что профессор еще кому-нибудь открыл свою тайну. Он, Диркопф, конечно, знает, что бумаги, оставшиеся после профессора, имеют чисто научный интерес, их при всем желании не используешь в политике. Но как вобьешь это в полицейские мозги? Пожалуй, единственное средство убедить полицию в том, что рукопись безвредна в политическом отношении, — выдать ей эту рукопись.

Ффрау Паулина пришла в отчаяние. Диркопф просил, мягко, но напористо уговаривал ее передать ему содержимое несгораемого шкафа. Ведь он любил Гедвигу, он и сейчас еще любит ее, он не в силах вынести мысль, что она все еще в лагере, он не понимает, как может колебаться ффрау Паулина. Она отказалась.

— Три дня я отказывалась, — продолжала она, — три ночи я не спала.

Потом, обессиленная, она сообщила Францу Диркопфу, где находится сейф: в Штутгарте, в Немецком банке. Они поехали туда — ффрау Паулина и Диркопф — и открыли ящик.

Ящик был пуст. Диркопф, всегда такой вежливый, не сдержался.

— Вы солгали мне, — набросился он на ффрау Паулину, — вы припрятали рукописи! Но ваши уловки вам не помогут.

Однако для ффрау Паулины это было такой же неожиданностью, как и для него. Она была убита горем. Что же станет с Гедвигой теперь, когда манускрипт исчез?

Диркопф заметил, что ффрау Паулина была расстроена не меньше его. Он взял себя в руки. Попросил прощения. Они поехали обратно в Баттенберг. В дороге они молчали.

— Куда мог он спрятать рукопись? — спрашивал несколько раз Диркопф.

— Я сама не знаю, — отвечала ффрау Паулина.

— Я и теперь не знаю этого, — добавила она, — и не пойму, почему Карл Фридрих так поступил со мной.

Я вспомнил о лукавой усмешке, с которой профессор показывал мне ключ от сейфа, и, кажется, догадался, почему он скрыл свое сокровище даже от ффрау Паулины. Он, очевидно, опасался, что бесхитростная женщина может невольно выдать тайну, и лишил ее этой возможности.

Вероятно, Францу Диркопфу пришли в голову те же соображения. Во всяком случае, под конец путешествия он, по словам ффрау Паулины, стал опять таким, как всегда. Он еще раз попросил прощения, объяснив свою грубость исключительно любовью к Гедвиге, которую, как он подумал в первый момент, теперь будет значительно труднее выволочить из лагеря. Но сейчас, немного поразмыслив, он уже не смотрит на вещи так мрачно и, уж во всяком случае, сделает для ее освобождения все, что только сможет.

Несомненно, уже во время этой поездки он составил план дальнейших действий. Женщины больше не могли ему помочь, они и в самом деле ничего не знали, они были только помехой. Надо было избавиться от них. Надо было завладеть домом. Диркопф предполагал, что рукопись находится где-то в доме. Профессор спрятал ее там в каком-нибудь чуланчике или в одном из бесчисленных закоулков, а может быть, закопал в саду.

Гедвигу действительно вскоре выпустили. Но несколько дней спустя женщин вновь вызвали в полицию. Там им очень вежливо сообщили, что народ настроен к ним враждебно и есть основания опасаться эксцессов. Не хотелось бы ограждать их от народного гнева при помощи ареста. Для них было бы лучше уехать за границу. Если они согласны, им окажут всяческое содействие. Разрешение на выезд уже получено. В доме на Зеленой улице они, разумеется, должны все вещи, включая книги и мебель, оставить, как есть, для тщательного осмотра. Но немного денег и кое-что из ценностей им разрешается взять с собой. Им поставили срок. Десять дней.

— За два дня до нашего отъезда, — рассказывала Гедвига, — Франц пришел к нам в сопровождении полицейского чиновника. Он извинился, объяснив свой приход поручением осмотреть дом и проверить, все ли на месте,

не исчезло ли что-нибудь. Он не считал возможным отклонить это поручение, так как нам, по его мнению, будет все-таки легче, если обыск произведет он, а не какой-нибудь бесчувственный, возможно, даже грубый чиновник. Сам он, конечно, ничуть не сомневается, что ни одна вещь из дому не исчезла, но власти все же дали приказ обыскать дом.

Он искал долго. Четыре часа.

— Он пришел к нам в двенадцать минут одиннадцатого, — продолжала Гедвига свой рассказ, — и ушел без двух минут два. Я смотрела на часы. Нам кажется, что у дьявола рога и когти, — проговорила она в раздумье. — А по-моему, именно таким, каким был в тот день Франц, и должен хороший художник в наши дни изображать дьявола: зло и только зло. Франц был обворожительно вежлив. Но до конца жизни мне не забыть выражения его глаз, этих ищущих, внимательных, недоверчивых, полных чудовищной жадности глаз; какими быстрыми, испытующими взглядами осматривал он окружающие предметы, чтобы удостовериться, все ли на месте: мебель, произведения искусства, рукописи, книги. Не раз он бросал украдкой быстрые взгляды в нашу сторону — а вдруг мы все-таки что-нибудь знаем? — и снова возвращался к вещам, стенам, книгам. И при этом он беспрерывно говорил, и это было самое подлое: он разыгрывал сочувствие, и сквозь его сочувствие прорывалось скрытое торжество. Наконец-то он завладел нашим домом и все-таки отыщет рукопись со знаменитой цитатой. Все это было неуловимо, но не исчезало ни на минуту, — это с трудом подавляемое, гнусное злорадство, отравлявшее воздух во всем доме, как запах плохих духов. А он все продолжал говорить и утешать нас: «Сейчас, сейчас кончится эта неприятная формальность. И будьте уверены — все будет сохранено, передано в верные и надежные руки, все будет использовано, как нужно, сам профессор не мог бы распорядиться лучше. А если рукопись вдруг отыщется — это ведь не исключено, — тогда вы сможете возвратиться и найдете все в полном порядке. Мы забираем ваш дом просто затем, чтобы он оказался в верных руках». Вы ведь знаете его голос, вы знаете его благовоспитанность, он всегда был примерным учеником и имел высший балл по поведению. Впрочем, мама держалась прекрасно, она мужественно сопровождала Диркгофа по всем комнатам, за все четыре

часа она ни на минуту не присела, несмотря на невероятную утомительность этой процедуры, она серьезно и по-деловому отвечала на все вопросы.

Но какую выдержку должна была проявить сама Гедвига, чтобы ни разу за эти четыре часа не потерять самообладания и вытерпеть вкрадчивую низость человека, который еще недавно был ее женихом.

Она закончила свой рассказ.

— И вот теперь он живет в нашем доме, а мы сидим здесь.

Через некоторое время после моей встречи с ффрау и ффрейлейн Рапп ко мне приехал старик Шпенгель, библиотечарь из Швейцарии, очень знающий человек, с которым много и охотно работал профессор Рапп. Теперь его услугами часто пользовался государственный советник Диркопф.

И ко мне тоже библиотечарь Шпенгель приехал по поручению государственного советника. Да, у Диркопфа хватило наглости прислать мне письмо, обратиться с просьбой. Настойчивые поиски позволили ему установить, в каком месте обнаружил профессор Рапп свой схолий. Правда, те, кто тогда имел дело с этой рукописью, не обратили внимания на цитату, оказавшуюся столь важным историческим свидетельством, или просто не поняли ее значения; однако, может быть, этим людям удастся припомнить хоть что-нибудь существенное для дальнейших поисков. Красивыми, убедительными фразами заклинал меня Диркопф не дать погибнуть открытию профессора Раппа, делу всей его жизни. Ради этого — просил он меня — я должен всеми силами оказывать содействие библиотечарю Шпенгелю. На карту поставлена судьба науки, судьба идеи, которой мы, хоть и из различных лагерей, в конце концов оба одинаково служим.

Библиотечарь Шпенгель рассказал мне, что государственный советник Диркопф не жалел ни труда, ни времени на розыски утраченного документа. Во всех банках страны полиция выясняла, не пользовался ли там сейфом профессор Рапп. Безрезультатно. Государственный советник Диркопф по-прежнему считает, что рукопись надо искать в доме на Зеленой улице. Он твердо убежден в этом, он просто одержим этой идеей.

— Разве не удивительно,— сказал библиотекарь Шпенгель,— что человек с такими заслугами, такой крупный ученый зарывает свое дарование в маленьком Баттенберге? Он, конечно, мог бы получить кафедру в Берлине, он вообще мог бы получить все, что захочет. Но сознание своего научного долга удерживает его в Баттенберге, в доме на Зеленой улице. Весь дом обследовали приглашенные им специалисты, они выстукали все стены, осмотрели каждую щелочку, перекопали весь сад. Он, государственный советник,— мне об этом рассказывал садовник,— сам иногда встает среди ночи, вооружается киркой и, весь во власти одной неотступной мысли, копает, копает до утра.

Заметив, как я заинтересовался, господин Шпенгель продолжал свой рассказ. Родные государственного советника — говорил он — смотрят на его упорные старания во что бы то ни стало разыскать рукопись как на манию, навязчивую идею. Гаулейтер Шеффлер очень сердит на зятя за то, что тот отклонил приглашение в Берлин из-за такой «глупости». Жене профессора Диркопфа, дочери гаулейтера, жизнь в доме на Зеленой улице стала невыносима. Она хочет пользоваться всеми радостями жизни, ее возмущает, что муж предпочел переезду в Берлин этот неудобный дом и бессмысленную погоню за своей химерой. Она почти все время живет врозь с мужем; поговаривают, что она собирается окончательно разойтись с ним.

— Вот какие жертвы приносит профессор ради науки,— заключил библиотекарь Шпенгель с видом глубочайшего уважения к своему клиенту.

Этот рассказ я слушал с истинным злорадством. Франц Диркопф силой завладел домом на Зеленой улице, он выжил оттуда профессора и его семью. Но дом не принес ему счастья.

Этого я желал все время, на это надеялся, этого ждал. Профессор Рапп назвал Диркопфа подлецом, но Франц Диркопф не был обыкновенным подлецом, не был только карьеристом. Я долго и внимательно изучал его зоркими глазами недоброжелателя, и я знал, что не простое тщеславие, а нечто большее гнало его на поиски рукописи Симмаха Милетского. Франц Диркопф был ученый, обладал интуицией, фантазией.

Франц Диркопф всю жизнь штудировал наставления первого иудео-христианского катехизиса, притчи Ветхого и Нового завета, поучения Нагорной проповеди; он исследовал образы предателей и лжепророков, сложившиеся в древних легендах, — начиная с Валаама и кончая Иудой. Дух библейских мыслей и представлений не мог не войти в его плоть и кровь. Трудно поверить, чтобы повседневное соприкосновение с миром этих идей не оставило в нем следа. Пусть его изворотливый ум стряпчего сколько угодно противопоставляет им тезис о расе господ, пусть он называет иудео-христианские воззрения смехотворными свидетельствами слабости, жалким атавизмом, нелепыми пережитками века магии — все равно я с математической точностью могу утверждать, что он по-прежнему насквозь пропитан учением Библии. Его натура ученого, его совесть всегда остаются при нем, какие бы названия он для них ни придумывал.

Мне вспомнилась та давнишняя встреча в кафе, когда Диркопф рассказывал мне о доме на Зеленой улице. С первых проблесков сознания он чувствовал, как манит его к себе этот дом и в то же время тяготит. Необычайно пластично умел он передать, до чего живыми были для него все вещи в доме. Я представлял себе, с каким отчаянием он рвется теперь из плена этих детских фантазий, как отбивается от них всей силой своего новообретенного оружия — циничного рационализма. И как он все-таки не может их побороть. Призрачная жизнь, которой наделило все вещи в доме воображение ребенка, продолжалась — еще более мучительная и причудливая. Он сидел за письменным столом, за огромным письменным столом из монастырской трапезной, и работал — и не в силах был побороть свое смятение, и стол подавлял его своей громадой, грозил ему. Пугающие тени подстерегали в темных извилистых коридорах. Бог осенял сивиллу, и она начинала пророчествовать, вещать ему «негодующими устами о невесте, о неприкрашенном и неприкрытом». Книжки, которые он читал, были испещрены пометками профессора; Франц Диркопф неизбежно должен был видеть перед собой руку, написавшую эти буквы — тонкие, изящно-капризные, кружевные узоры греческих и большие, массивные, неуклюжие квадраты древнееврейских. И вряд ли мог Франц Диркопф найти покой и забыться, отдыхая в саду, на каменной скамье с удобными подушками, положенными туда

заботливой рукой еще при жизни профессора, и глядя вверх, на ветви большого клена, любимого дерева профессора.

В доме отовсюду грозит опасность, дом сводит его с ума, он это знает. Но дом держит его в плену. И вот он выходит в ночную пору в сад и роет, и ищет, и ищет, и роет. Он попусту изнуряет себя, жалкий кладоискатель, ему не откопать ничего, кроме дождевых червей. Я спокоен за моего профессора Раппа. Тот действовал наверняка, тот сделал все, что надо. Он так хорошо укрыл своего Симмаха, что никакой Диркопф его не найдет. Он, осторожный человек; коварно, довольный своей предусмотрительностью, приподнял перед Диркопфом завесу ровно настолько, чтобы тот был уверен: да, документ существует, но один он не сумеет им воспользоваться. И пусть он раскопает весь Шварцвальд, пусть не один, а десяток немецких библиотекарей вверх дном перевернут по его поручению все сокровищницы антикваров во всем мире — он не найдет ничего. Профессор не отдаст манускрипт тому, кто в ложь превратил правдивое слово ученого.

На третьем году войны я вновь встретился с библиотекарем Шпенгелем. Он рассказал мне, как окончил свои дни государственный советник Диркопф.

Его навязчивая идея, его мания раскопок все больше и больше овладевала им, и именно эта мания его в конце концов и погубила.

Единственная бомба, сброшенная однажды ночью над территорией Баттенберга, убила его. Предполагают, что это была последняя бомба, оставшаяся у летчика, который возвращался после выполненного задания и, по-видимому, заметил свет в саду Диркопфа.

Узнав об этом, — честно признаюсь, — я осушил чашу моей радости до дна и не выплеснул из нее ни единой капли.

Не так давно я, между прочим, опять встретил Гедвигу.

— У меня не выходит из головы манускрипт, — сказала она. — Отец определенно запечатал его в металлический сосуд, а пергамент покрыл тонким слоем масла.

И мне кажется, не знаю почему, что он зарыл его в поле, засеянном пшеницей.

В этой мысли было что-то волнующее. Моему воображению живо представилось то, о чем говорила Гедвига: ветер колышет пшеницу, а под ней глубоко и надежно хранит мать-земля сосуд с рукописью.

РАССКАЗ О ФИЗИОЛОГЕ ДОКТОРЕ Б.

Доктор физиологии Б. среди своих коллег пользовался большим авторитетом. Особенно ценились тщательность его исследований и объективность, заставлявшая его вновь и вновь проверять результаты эксперимента, прежде чем принять их, как бы соблазнительно это ни было. Любой другой с его способностями сделал бы карьеру, он же занимал весьма скромное место, руководил кафедрой в маленьком университете. Причиной этому был колючий характер доктора Б. Возможно, таким брюзгой стал он из-за своей странной наружности, — на маленьком туловище торчала огромная бородатая голова. К своим коллегам он относился холодно, пожалуй, даже с антипатией. Говорил с ними обычно лишь на профессиональные темы, и если высказывался о чем-нибудь, то был суров в своих суждениях и категоричен в резких отзывах обо всем, что его окружало. Уже немолодым женился он на женщине из простонародья, кельнерше из ресторана, в котором обычно второпях съедал что-нибудь между лекциями. Он не скрывал, что в обществе этой женщины чувствовал себя значительно лучше, чем среди уважаемых людей своего круга.

Так достиг он своего пятидесятилетия, перешагнул через него, не привлекая к себе ничего внимания, и казалось, что, незаметно прожив остаток своих дней, он так же незаметно сойдет в могилу. И вдруг распространился слух, будто профессор Б. сделал открытие, способное повлиять на жизнь всей планеты. Как возник этот слух, установить было трудно. Вероятно, профессор Б. сказал что-либо об аппарате, над которым работал, своему младшему сотруднику, может быть, только намекнул. Но и намек с его стороны, — и это признавали даже его недоброжелатели, — обычно стоил больше, нежели кичливые

утверждения иных ученых мужей в академических вестниках или подобных им изданиях. Если верить слухам, профессор Б. создал аппарат, позволяющий наблюдать за деятельностью мозга у живого человека, и, таким образом, в известном смысле появлялась возможность измерять интеллект подопытного лица. Назывался же этот аппарат интеллектофотометром.

Открытие доктора Б. стали обсуждать сначала специальные медицинские газеты, за ними — все остальные. Многие видные политические деятели, промышленники и ученые не без тревоги читали об интеллектофотометре. Писатели же, художники, артисты относились к этим сообщениям безразлично, ибо мода того времени требовала от них, чтобы они обладали лишь неким таинственным туманным свойством, именуемым «творческое начало»: свойство это не поддавалось точному определению, но, уж во всяком случае, ничего общего не имело с интеллектом. Профессор Б. упорно молчал.

Возможно, как раз из-за этого молчания разговоры об интеллектофотометре становились все более громкими, споры вокруг него — более жаркими. Наконец они дошли до слуха диктатора страны.

Диктатор вызвал к себе физиолога Б. Тот считал диктатора по-своему одаренным, но невежественным малым, способности которого сильно пострадали вследствие длительного пребывания у власти: профессор разделял мнение немецкого философа, считавшего, что власть делает человека глупее. Маленький, подчеркнуто будничный, бородатый, стоял он перед человеком, бронзовая, волевая маска которого стала для страны символом величия.

Диктатор привык в общении с людьми держаться чопорно и величественно. Но сейчас он сразу понял, что по отношению к этому угрюмому карлику такой тон был бы неверен; поэтому он, чуткий к особенностям собеседников, попытался вести себя скромно, просто. Правда, ему это не очень удалось, однако карлик не без удовольствия отметил про себя его старания.

— Утверждают, — без обиняков начал диктатор, — что вы можете с помощью вашего аппарата точно определить и измерить интеллект человека. — Массивный, сидел он за гигантским письменным столом, слова же легко слетали с его красиво очерченных губ. — Так ли это? — спросил он как бы между прочим.

Профессор Б., тоже как бы между прочим, ответил:

— Да, это так.

Диктатор, естественно, сначала был настроен скептически. Лежащее перед ним заключение экспертов, хотя и многословное, было уклончиво, оно ничего не подтверждало и ничего не отрицало. Возможно, как раз небрежный, неприветливый тон профессора Б. рассеял сомнение диктатора.

— Ваше, открытие,— сказал он учтиво,— может иметь огромное значение для процветания государства и нации.

Профессор Б. промолчал, видимо, он счел это утверждение слишком банальным и не придавал ему никакого значения. Диктатор почувствовал, что вести разговор с этим морским ежом не так-то легко. Проще, пожалуй, перейти прямо к делу.

— Сможете ли вы,— сухо спросил он,— в общепонятных формулах дать заключение об интеллекте людей, которых я направляю к вам на анализ?

— Смогу,— ответил профессор Б.

— Мне хотелось бы,— продолжил диктатор,— во избежание недоразумений, сообщить вам, что я понимаю под интеллектом.

— Пожалуйста,— сказал профессор Б.

— Под интеллектом я понимаю,— начал диктатор, промолчал, подыскивая нужные слова, и внезапно стал похож на старательного школяра,— под интеллектом я понимаю способность классифицировать явления по признаку причина — следствие.

— Это вполне приемлемое определение,— похвалил профессор Б.

Диктатор был рад этой похвале. Они расстались довольные друг другом.

Но с этого времени всюду, куда бы профессор Б. ни шел, где бы он ни находился, вблизи него появлялись странные личности в котелках, которые ревностно старались остаться незамеченными и которых тем не менее даже дети приветствовали словами: «Добрый день, господин тайный агент». Профессора Б. эти личности очень забавляли. Кроме его жены, только эти люди могли бы утверждать, что профессор Б. относился к ним с некоторой симпатией.

Вскоре в лаборатории профессора стали появляться господа, которые — в соответствии с желанием дикта-

тора — должны были подвергнуться анализу. Сама процедура была короткой и безболезненной, но удовольствия она им, по-видимому, не доставляла. В течение двух недель диктатор послал в лабораторию профессора семейных. Профессор невозмутимо делал свою работу, писал формулы, составлял краткие, четкие объяснения к ним. Заключение шести анализов были составлены правильно, в седьмом заключении он умышленно все искажил.

Месяц спустя диктатор вторично вызвал к себе профессора Б. На этот раз прием был официальным, пышным. Множество кинооператоров старательно снимали каждый шаг профессора, пока тот, маленький и угрюмый, поднимался по парадной лестнице замка, среди отдающих ему честь величественных гвардейцев диктатора. Затем диктатор и профессор провели некоторое время с глазу на глаз. Никто их не снимал.

Диктатор был радушен. Громко, лукаво, не без удовольствия он спросил:

— Зачем это вам понадобилось обмануть меня с анализом номер семь, профессор? — Довольный, он засмеялся, и профессор Б. засмеялся тоже.

Газеты широко оповестили об аудиенции. В них сообщалось, что диктатор лично весьма живо интересуется исследованиями профессора Б. Диктатор принял решение объявить деятельность великого ученого государственной монополией, поскольку она представляет большую ценность для государства.

Физиологу был предоставлен в столице комфортабельный дом и оборудована прекрасная лаборатория. Министерство просвещения в самых лестных выражениях сообщило: его деятельность настолько важна для государства, что, считаясь с этим, он, разумеется, не должен выезжать из столицы, не уведомив предварительно министра. Количество господ в котелках удвоилось.

Деятельность профессора Б. не была утомительной. Время от времени появлялись лица, интеллект которых по поручению диктатора ему следовало подвергнуть анализу. Как использовались эти анализы, ни профессору, ни кому другому известно не было. Когда диктатор посылал кого-либо к профессору, приближенные диктатора считали это своего рода злой шуткой, остроумной формой наказания. «Послать к профессору Б.» — стало в стране излюбленным

выражением, им пользовались, когда хотели в шутку или всерьез кого-либо предостеречь.

Прошел год и еще год. Диктатор все более привыкал к власти и научился умело пользоваться ее атрибутами; на планете, кроме него, было всего два человека, которые могли бы сравниться с ним в этом. Он имел прекрасно организованную армию, превосходную полицию, все важнейшие административные и хозяйственные посты были заняты его приверженцами, верность которых была испытана годами. И оглядываясь на все сделанное им, он мог сказать себе, что сделал хорошо. Однако спал диктатор скверно, ибо не все сделано было так хорошо, как хотелось бы. Одним лишь его приверженцам жилось хорошо, не стране, а ведь он сначала хотел, чтобы жилось хорошо всем.

Все чаще и чаще стал он навещать физиолога Б., был в общении с ним прост, доступен, и удавалось ему это без труда. В обществе профессора Б. он много смеялся. Никто из тех, кто знал диктатора лишь по его бронзовому профилю, не подозревал, как хорошо может смеяться этот человек. Профессор Б. смеялся вместе с ним. Вероятно, смеялись также и господа в котелках, которые где-то подслушивали их беседы.

Однажды, к концу второго года, когда диктатор ужинал у профессора, тот после небольшого молчания спросил, как обычно, угрюмо и насмешливо:

— Скажите напрямик, чего вам, собственно, от меня нужно? Вот уж два года все ходите вокруг да около.

Диктатор нахмурился: еще немного, он стал бы бронзовым на глазах ученого, но вовремя сдержался и остался простым и доступным.

На третий год, летним вечером, когда жена профессора была на дальнем курорте, диктатор сказал ему:

— Не сделаете ли вы анализ моего интеллекта?

Профессор побелел как полотно.

— Значит, дошло и до этого? — сказал он в ответ.

— А вам не хочется делать этот анализ? — осведомился диктатор.

— Нет, не хочется, — ответил профессор Б.

Диктатор посмотрел на него. Так сердечно, так просто он никогда не говорил с профессором.

— Вы же можете смошенничать, — сказал он, усмехаясь, ободряюще, доверительно.

— Я думаю,— возразил ученый и тоже усмехнулся, обнажив крупные желтые зубы,— я думаю, что мошенничать бесполезно. Вы меня легко поймаете.

И профессор Б. сделал анализ, которого так хотел диктатор. Это не потребовало много времени, да и диктатору процедура не показалась долгой. Но потом, вспоминая ее, он решил, что тянулась она все же долго, ибо ему показалось, что за это время он успел побыть молодым, состариться, вновь стать молодым и опять состариться. Профессор, проводя измерения, говорил лишь самое необходимое. Свои формулы он писал на листке бумаги. Диктатор видел их много раз, эти формулы; он знал, что всего их двадцать три и записывает их ученый мелкими буквами и цифрами.

Профессор записал последнюю формулу и отдал листок диктатору. Диктатор сказал: «Благодарю вас»,— взял листок, сложил его, не читая, попросил конверт, вложил в него листок, заклеил, пожал профессору руку, ушел.

После того как диктатор его покинул, профессор почувствовал себя опустошенным, ноги неприятно отяжелели и дрожали, однако спокойно сидеть он не мог. Стал ходить по лаборатории, поглаживая свою аппаратуру, прошел по всему дому, по саду. Обычно, когда к нему приходили люди, он не чаял, как поскорее от них избавиться. Сейчас же ему казалось, что дом слишком велик и сад тоже слишком велик и, в сущности, чертовски пуст. Он попытался было позвонить жене, ассистентам, но никого не удалось вызвать к телефону. Собственно, этого и следовало ожидать. Он был бы рад поговорить хотя бы с одним из тех господ в котелках, но, как назло, их сегодня не было видно.

Наконец он разыскал своего старого лабораторного служителя. Тот уже двадцать лет работал у профессора Б., и профессор знал о нем все: и состав его крови, и состояние почек и сердца. Но сегодня он впервые заинтересовался мыслями старика. Он спросил, что тот думает о боге и потустороннем мире. Оказалось, лабораторный служитель придает этому большое значение.

— Я человек, созданный для веры,— сказал он о себе.

Профессору Б. понравились эти слова, он нашел их откровенными и разумными. Он сидел на террасе, веду-

щей вниз, в сад, беспокойство прошло. «Наверно, приятно было бы еще разок пройтись по улицам,— подумал он,— но ведь тотчас появятся эти котелки»,— а сейчас ему не хотелось их видеть, и он остался на месте. Он думал о людях, которые в последнее время были возле него — о жене, об ассистентах,— и был доволен ими. Он был согласен с ними во всем. Даже с диктатором он был согласен. Человек поступает так, как вынуждают его обстоятельства. Вот только, пожалуй, лишним было это желание диктатора утвердиться еще и с его, профессора, помощью.

В тот же вечер, прежде чем вернулась жена, прежде чем профессору удалось переговорить со своими ассистентами, он заболел. Утренние газеты сообщили о серьезной болезни, дневные — об очень серьезной, а к следующему утру, так и не дождавшись возвращения жены, профессор Б. скончался. Диктатор посетил больного и ежечасно справлялся о его состоянии.

Погребение великого ученого государство взяло на свой счет и провело эту церемонию с большой пышностью.

Две недели спустя страна праздновала десятую годовщину со дня прихода диктатора к власти. Это был день великой славы, враги диктатора ненавидели его особенно крепкой и обоснованной ненавистью, поскольку у них не оставалось более никаких надежд добиться своей цели. А многие из них ненавидели его лишь за то, что теперь уже окончательно потеряли право стать его приверженцами, ибо он вынужден был прекратить доступ в ряды своих приверженцев: уж очень много их набралось, о большем количестве он не в состоянии был бы заботиться.

Раньше диктатор любил такие высокаторжественные дни, они поддерживали его, утверждали его веру в себя. Теперь же он испытывал лишь легкое нетерпение, торжества стали для него только политическим средством, они ничего не говорили его душе. Самыми приятными для него были недолгие минуты досуга после обеда, когда он мог распоряжаться собой. Часть этого времени он занимался гимнастикой со своим тренером, затем, после массажа, лежал один в маленькой, прохладной комнате, в которой стояли лишь кушетка, письменный стол да кресло и порог которой никто не смел переступить, за исключением секретаря.

Он лежал на кушетке, утомленный, в приятной истоме, расслабившись — живой человек, в котором не было ничего бронзового. До него приглушенно доносились команды офицеров, выстраивавших свои подразделения на большой площади для принесения присяги.

Через двадцать две минуты он будет стоять на балконе и произнесет речь, он не знает точно, о чем именно, но знает, что скажет правильно, и весь мир у громкоговорятелей будет слушать его, затаив дыхание.

Он встал. В купальном халате подошел к столу. Здесь, в ящике, закрытом на ключ, лежали сувениры, маленькие пустячки, лишь для него одного имеющие значение. Несколько писем, смятая пулей пуговица мундира, старая фотография. Он любил эти реликвии, с удовольствием перебирал их, чувствовал себя сильнее, когда физически ощущал связь со своим прошлым.

Он достал ключ, открыл ящик стола, вынул лежащий в нем ключ, открыл второй ящик и затем из последнего выдвижного ящика взял запечатанный конверт, вот уж четырнадцать дней лежавший здесь. Он хорошо знал, что в нем; вероятно, лишь из-за этого конверта он и подошел к столу.

Несколько минут он держал в руке конверт с формулами покойного профессора. Затем взял ножницы. Интересно узнать, что же в конверте. Польза и мудрость, — на этот счет существуют кое-какие теории. Покойный профессор Б. знал кое-что об этом, он сам намекал диктатору. Наверное, покойного профессора можно было бы заставить рассказать об этом побольше. Диктатор был неглупый человек, и профессор не считал его бездарным. Историческая необходимость наложила на него, диктатора, бремя власти, а власть делает глупее. Не будь он человеком власти, возможно, он стал бы великим человеком.

Снизу доносился шум толпы. Ему следует одеться, через четырнадцать минут нужно выступить с речью. Конечно, его речь станет только хуже, если он будет знать результат анализа. Диктатор отложил ножницы, не вскрыв конверта. Разорвал конверт и его содержимое на мелкие куски.

Он прошел через большой зал приемов на балкон. Произнес речь.

Маршал был очень, очень стар. Его ратные подвиги прославлялись во всех хрестоматиях, тысячи улиц и площадей и множество городов носили его имя, — он был личностью исторической. Но вот уже восемь лет он жил в тиши своего поместья, недостижимый для политических дрязг.

И случилось так, что над отечеством нависла грозная опасность, и среди тех, кто был помоложе, среди шестидесяти- и семидесятилетних, не нашлось человека, чья популярность была бы столь велика, чтобы спасти страну от гибели и анархии. Тогда обратились к маршалу, умоляя его взять кормило власти в свои испытанные, негнущиеся стариковские руки. Отечество предстало перед маршалом в образе трех почтенных мужей и уверило, что понимает, как велика жертва, которой от него ждут. Но она необходима, эта жертва: страна пропала, если маршал не защитит ее.

Старец стоял перед ними, как ожившее изваяние. В нем совсем было угасли страсти. Он больше никого не любил, немногих ненавидел и всех презирал. Для него уже не существовало обычных радостей жизни. Но все еще трепетало в нем сладостное ощущение власти, памятное с той поры, когда он в последний раз держал в руках бразды правления (то было восемь лет назад). Становишься крепче, моложе, сильнее, когда сознаешь, что от росчерка твоего пера зависят судьбы сотен тысяч людей.

Итак, в глубине души маршал твердо решил откликнуться на зов отечества. У ворот дома стояли журналисты и ждали; телефонисты заброшенной в глуши маленькой деревушки получили подмогу. Маршал знал, что весь мир затаив дыхание ждет его ответа. Но с тех пор, как пятьдесят три года назад он совершил один необдуманный шаг, для него стало железным законом ни при каких обстоятельствах не торопиться, принимая решение. И вот своим скрипучим голосом маршал объявил отечеству:

— Вы требуете от меня слишком многого. Свое решение я сообщу завтра.

Что бы ни случилось, ровно в десять часов маршал удалялся спать. Так было заведено у него вот уже четверть века. Только во время войны он девять раз нарушил это правило. Ну, а сегодня он пошел спать ровно в десять.

Камердинер Петер раздел его, помог надеть ночную рубаху, сказал:

— Значит, утром, ваше превосходительство, я подам вам к завтраку два яйца всмятку.

— Так ты и впрямь считаешь, Петер, что нам следует снова вернуться во дворец?

— История ждет этого от вашего превосходительства,— ответил Петер, взбивая подушки.— Последний переезд во дворец пошел вам на пользу.

— Но я начинаю уставать от этих бесконечных выстаиваний на приемах,— рассуждал маршал вслух.— Не прошло и трех недель с тех пор, как я принял господ из легиона, и мне уже не под силу стали дальние прогулки.

— Лично я устраивал бы приемы не чаще двух раз в месяц и не больше чем по четверть часа. Выступать по радио не так утомительно, да и во всех отношениях лучше,— заметил Петер.— Ведь как вы говорили в день четырехсотлетия, ваше превосходительство! Все были потрясены, даже в тех странах, где ничего не поняли.

Петер опустил зубы маршала в стакан с дезинфицирующей жидкостью, заткнул ему кусочками ваты уши. Затем пододвинул блокнот, куда маршал, едва пробудившись, имел обыкновение записывать мысли, осенявшие его ночью.

Тем временем маршал улегся на правый бок.

— Ты и в самом деле думаешь, что они не смогут обойтись без меня? — спросил он, пока Петер укутывал его ноги.

— Не обойдутся, ваше превосходительство,— подтвердил тот.

Маршал вздохнул, свернулся калачиком, словно младенец во чреве матери, и сказал:

— Так, значит, завтра ты приготовишь мне на завтрак два яйца всмятку.

Петер был на пятнадцать лет моложе маршала. За время, пока его хозяин прошел путь от капитана до маршала, Петер тоже сделал карьеру — из денщика стал камердинером. В маршале уже давно угасла жизнь, он стал изваянием, изваянием всадника, а лошадью был Петер.

После бога никто не знал маршала лучше, чем Петер. Он помнил, как рождалась в маршале жажда власти,

которая сделала его исторической личностью. Этим он был обязан каменной непроницаемости и спокойной властности своего большого лица и непоколебимому спокойствию, с каким изрекал скупые слова. Слова его были словно отлиты из бронзы. Никому и в голову не приходило, что маршал может в чем-нибудь сомневаться. Никто не рискнул бы возражать ему.

Жизнь сталкивала маршала со множеством людей, но в его сердце царил только он сам. Петер знал жестокое сердце маршала. Он понимал, что возможны такие обстоятельства, при которых даже самый гуманный человек, оказавшись он на месте маршала, вынужден будет послать на смерть сотни тысяч людей. Однако то, что хорошему человеку далось бы ценой огромных усилий, маршалу не стоило ничего. Эти сотни тысяч не интересовали его. Спокойствие, с каким он посылал их на смерть, не было показным. Если дело кончалось плохо, он только пожимал плечами, а в случае удачи именно он принимал благодарность отечества. И неизменно в десять вечера маршал ложился в постель и спокойно спал. Петер был не раз тому свидетелем.

Маршал не был глубоким мыслителем. В военной академии он усвоил правило: в сомнительных случаях лучше действовать неправильно, чем совсем не действовать. Так он и поступал. Маршал был фаталистом. Его дело — принимать решения, что же до последствий, то они его не интересовали.

Вероятно, этот чудовищный высокомерный фатализм и был причиной того, что он советовался с Петером, что предпринять, обсуждал с ним решения, определявшие судьбы страны и всего мира. Оба были родом из одной сельской местности. Предки маршала много столетий были там господами, предки Петера — их батраками. Петер был частицей той земли; когда маршал говорил с ним, он обращался как бы к самому себе. Иногда он и в самом деле говорил с самим собой, с годами это повторялось все чаще.

По характеру и взглядам Петер и маршал были совершенно разными людьми. Петер считал, что в сомнительных случаях лучше уж ничего не делать, чем поступать неправильно. Петер любил свою страну, его глубоко волновала судьба сотен тысяч, посылаемых на смерть. Он не был фаталистом и верил в то, что, действуя с умом,

можно помешать злу и делать добро. Маршал был исторической личностью. Петер был просто человеком, разумным, любящим свою родину. Маршал обладал властью, Петер — силой разума.

Петер не хотел, конечно, чтобы маршал отгадал его дерзкие мысли. Он прикидывался простачком. А то, что он говорил, было полно лукавой народной мудрости человека, безразличного к судьбам своей страны. Он сыпал пословицами, вспоминал истории из хрестоматии, рассказывал анекдоты о своем отце и деде, явно рассчитывая повлиять на решения маршала, который был глубоко безразличен к судьбе страны.

Постепенно отец и дед Петера стали для маршала сказочными образами, хранителями народной мудрости, легендарными героями, патриархами. С их помощью Петер руководил маршалом и страной. И то, что, по обыкновению, маршал вписывал по утрам в свою книжку, было рождено под мудрым воздействием деда и отца Петера, было мыслями Петера.

В те дни, когда маршал снова стал у кормила власти, страна оказалась беззащитной перед лицом грозной опасности. Граждане изнемогали под бременем послевоенной разрухи и репараций. И просто поразительно, с каким искусством маршал в первые недели и месяцы (при помощи предков Петера) управлял государством. Даже его политические противники вынуждены были признать, что человек, которому вверены судьбы отечества, глубоко чувствует нужды народа и отнюдь не выжил из ума.

У маршала были железные нервы, он отлично переносил выпавшие на долю его народа беды и бремя государственных забот; ровно в десять он ложился в постель и спокойно спал. Петеру спалось куда хуже. Тяжелые обязанности отнимали у него все силы, решения, которые предстояло принять во дворце, разрывали ему сердце; хотя он и был на пятнадцать лет моложе маршала, но все же и он был очень стар. И вот однажды утром, вскоре после переезда во дворец, он не смог уже принести маршалу завтрак — отец и дед призвали его к себе.

Маршал испытал даже некоторое удовлетворение. Этот Петер всю свою жизнь только и делал, что исполнял нехитрые обязанности камердинера. Он же, маршал, нес на

своих плечах бремя забот о целом государстве. И все же он пережил своего слугу, хотя был старше на целых пятнадцать лет.

Радость, однако, оказалась недолгой. Франц, новый камердинер, взялся за дело с необычайным рвением. Он обращался со старцем так заботливо и бережно, словно это немощное тело было какой-то реликвией; однако маршалу Франц казался страшно неуклюжим, и он с трудом выносил его услуги. Ему недоставало Петера. Этот бесхитростный малый был хранителем народной мудрости, вдохновлявшей главу государства на важнейшие решения. Маршал не мог привыкнуть даже к имени нового слуги. Он чаще называл его Петером, чем Францем, но, увы, Франц был не Петер, и маршал ревниво следил за тем, чтобы он не прикасался к заветному блокноту, в который записывались мысли, осенявшие маршала ночью.

Маршал привык к вечной, как волны, смене удач и неудач. Они затрагивали его неглубоко, но он ощущал их.

Со смертью Петера удача покинула маршала. Его решения все чаще шли вразрез с желаниями народа. Речи по радио не производили былого впечатления; фирмам уже не окутывал его густой пеленой, как прежде, — повсюду нарастал протест.

Однажды вечером, когда Франц удалился, маршал повернулся на бок, продолжая по привычке шамкать беззубым ртом.

— А что бы сказал ты, Петер? — спросил он, как спрашивал уже сотни раз.

Петер отозвался: «Вот как-то пришел к моему деду...» — и рассказал одну из своих историй. Маршал был удивлен. Ведь Петер умер, а сейчас стоит здесь, как всегда подтянутый и скромный, и что-то рассказывает. И все же это не очень поразило маршала. Ведь он частенько беседовал с теми, кого уже не было в живых, и нередко не мог бы сказать, спит он или бодрствует. В сущности, нет ничего особенного в том, что Петер и теперь продолжает ему служить: после той чести, которую маршал оказал ему, принимая его услуги в течение десятилетий, — это вполне естественно; верность — душа чести, и что это была бы за верность, если бы она не могла устоять против смерти.

Теперь маршал каждый вечер беседовал со своим верным слугой. С тайным нетерпением ждал он, пока уйдет Франц и его место займет Петер. И когда Франц уходил,

появлялся Петер и рассказывал простые, мудрые истории из жизни отца и деда, а на следующее утро маршал заносил угловатым старческим почерком его мысли в записную книжку.

Впрочем, маршалу и теперь везло не более. Его политика не встречала уже единодушного признания, как в те времена, когда его советчиком был живой Петер.

Наступил день, когда злые силы страны сочли маршала уже недостаточно покладистым и гибким. Они потребовали, чтобы он назначил канцлером человека, который был бы слепым орудием в их руках.

Маршал посоветовался с теми немногими, кого еще допускал к себе. Никто из них не осмеливался ясно высказать то, что думал. И хотя маршал не отличался особой проницательностью, он понял — они хотят, чтобы он сложил с себя полномочия. И это, очевидно, было бы разумнее и достойнее, чем оставаться главой государства и прикрывать позорные действия навязанного ему канцлера.

Маршал слушал эти осторожные намеки с неудовольствием. Доживать свои дни в поместье в обществе Франца вовсе не входило в его планы. Не так уж много лет осталось ему, и какими пустыми будут они без упоительного ощущения власти. Он не хотел назначать своим канцлером субъекта, навязываемого ему низкими силами, но еще меньше он хотел возвращаться в свое поместье.

В тот вечер маршал просто не мог дожидаться, пока уйдет Франц. Наконец постылый прикрыл за собою дверь, и Петер тотчас оказался здесь.

— Как ты думаешь, Петер, — должен я назначить такого человека? — спросил маршал. — Ведь это полное ничтожество.

Петер рассказал эпизод из жизни деда. В нем фигурировали какой-то дом и злая собака. Без злой собаки приобрести этот дом было нельзя. Конец был довольно неясен. Получалось так, что дед считал за лучшее отказаться от дома. Но маршал, который и слышать об этом не хотел, нетерпеливо перебил:

— Что он сделал? Только говори яснее. Мямлишь так, что вообще ничего не поймешь. Ты уже здорово составил.

Но Петер продолжал мямлить, и маршал истолковал эту историю в том смысле, что дед приобрел дом, несмотря на злую собаку.

И маршал назначил канцлером этого типа, это ничтожество, и остался главою правительства. Страна была возмущена. Вечером Петер не пришел. Маршал бурчал себе под нос что-то о неблагодарности и вероломстве черни.

Когда на следующее утро он, как обычно, взялся за свой блокнот, оказалось, что все страницы уже исписаны. Он дошел до последнего листа. Но и тот был исписан. На этот раз чужой рукой, рукой Петера. «Какой крест — такой злой, старый дурак», — прочел он.

Маршал испугался.

Он не удивлялся тому, что умерший разговаривал с ним; но то, что покойник может писать, — это не уместилось в его голове. «Теперь-то он и показал себя, — думал маршал, полный обиды. — Теперь, когда он мертв, он показал себя во всей красе, этот трус». Но запись сразила его, впервые со времени вступления во дворец он не встал утром с постели, и неотложные дела пришлось отменить.

Позже он решил, что все объясняется очень просто. Петер еще при жизни дал волю своей наглой холопской натуре, вот и все. Негодяй рассчитывал на то, что вовремя вырвет страницу. Он просчитался. Маршал прожил достаточно долго, чтобы обнаружить вероломство.

Однако это было слабым утешением. Что было не под силу событиям, которые разбили бы сердце любого человека, сделал тяжелый замогильный вздох Петера. Уверенность покинула старика, а с нею жизненные силы.

Он остался на своем месте, но его совершенно подавил тот субъект, которого ему навязали, это ничтожество. Словно призрак, бродил маршал по дворцу, и весь мир понял, что эта историческая личность всего лишь мундир, увешанный орденами.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ГОСПОДИНА ХАНЗИКЕ

Франц Г. Ханзике, довольно тощий молодой человек, в очках, с длинным угреватым лицом и воспаленными глазами, стоял декабрьским вечером посреди своей комнаты на Борзигштрассе. Комната была окрашена в зеленый цвет, в ней находились кровать, стол, два стула — самая дешевая продукция оптовой мебельной фабрики «Давидсон и сыновья», — затем маленькая, чрезвычайно хрупкая книж-

ная полка, радио и клетка; впрочем, обитательница клетки уже умерла.

Франц Г. Ханзике испытывал раздражение и усталость. Сторонник витаминизированного питания, учения об отборе лучших и о сверхчеловеке, член радикальной политической партии, агитирующий за диктатуру, а также Общества друзей рациональной обуви, он по профессии был приказчиком в книжном магазине. Однако его профессия доставляла ему мало радости, ибо люди не желали покупать его излюбленных авторов, и когда он предлагал воспоминания о войне или ницшевского «Заратустру», требовали книгу, где действие происходит в Восточной Пруссии, и непременно в зеленом переплете, и чтобы не дороже трех с половиной марок. Разочарованный в своей работе, ожесточенный отсрочкой прибавки (она дала бы ему возможность купить себе новый костюм и пройти в правление Общества), расстроенный к тому же отказом невесты, которую он из-за отсутствия денег три раза подряд приглашал просто погулять, не заходя в ресторан, наконец, рассерженный тем, что его комната отапливалась слишком скупой, Франц Г. Ханзике, у которого, когда он хотел зажечь газовую лампу, в довершение всего не загоралась спичка, решил больше никаких попыток не делать, а, открыв газ, дать утечь и своей собственной испорченной жизни.

И вот с тихим, певучим шорохом газ стал выходить из открытого крана, отчетливо выступавшего в широкой световой полосе, косой и неприятно резкой, которую клал поперек комнаты уличный фонарь. Прежде всего у Франца Г. Ханзике возникло чувство упрямого и торжествующего превосходства. Это был первый решительный шаг в его жизни, и он совершал его без колебаний, он больше не позволит судьбе издеваться над ним. Он старался представить себе, что скажет его хозяйка, с которой ежедневно пререкался из-за слишком тонкого слоя масла на хлебе, что подумает владелец книжного магазина, отказавший ему в прибавке; втягивал в себя все усиливающийся сладковатый запах; попытался высчитать, долго ли еще это продлится, посмотрел на часы, войдя для этого в полосу света. Затем стал думать о том, как все-таки жалко, что он, такой молодой человек, философически настроенный и одаренный, должен умереть. Виною всему — общественный строй: нет диктатора. Интересно, как будет на его похоро-

нах? Он представил себе заметки в газетах. «Анцейгер», наверное, напечатает извещение о смерти мелким шрифтом, может быть, даже без имени... Он стал испытывать легкое стеснение в груди — или это была игра воображения, — перед ним возникли образы людей в противогазах. Франц Г. Ханзике снял очки, ему казалось более достойным умереть без очков. «Страна, откуда никто не возвращается», — задумчиво изрек он и спросил себя, лечь ли ему на кровать, или приличнее отбыть в эту страну, сидя на стуле.

Вспомнилось заглавие «Глупец и смерть». Это была книга, несколько экземпляров которой он продал. Из-за одного экземпляра — покупатель непременно желал его вернуть, а он ни за что не хотел принимать обратно, — между ним и его принципом произошло резкое столкновение. Затем Ханзике сообразил, что благодаря открытому крану газовый счет за этот месяц будет значительно больше и хозяйка, наверное, покроет убытки, воспользовавшись его вещами. Ему стало очень жалко себя, что вот приходится умирать таким одиноким. Захотелось увидеть человеческое лицо. Он подошел к окну, уже нетвердыми шагами, как ему казалось, — но люди внизу, на улице, двигались по глубокому снегу совершенно беззвучно и призрачно, словно они были уже по ту сторону жизни. Из радиоаппарата раздался невнятный шум, Ханзике подошел. Ему чудилось, что он уже еле волочит ноги, и он надел наушники, прижав ими свои оттопыренные уши. В аппарате добродушный, широкий голос рассказывал, с немного провинциальным акцентом, о черепахах. Не странно ли, что какие-то подробности о жизни черепах оказались для Франца Г. Ханзике последними вестями из этого мира? Но все же отходить под звук какой ни на есть человеческой речи было легче, чем так, в беззвучности. «Очень маленькая черепная коробка, — рассказывал голос, — заполнена мозгом, масса которого не соответствует массе тела. Черепахи весом в сорок килограмм обладают мозгом, весящим меньше четырех грамм. Черепахи принадлежат к самым древним обитателям нашей планеты. Они способны выносить палящий жар и сушь, но не сильный холод. Особенно поражает их мускульная сила. Даже средняя земляная черепаха выдерживает тяжесть мальчика, сидящего па ней верхом, а гигантская черепаха может нести нескольких взрослых мужчин, и притом на далекое расстояние. Кроме того, черепахи могут будто бы жить в те-

чение невероятно долгого времени без пищи и даже не дыша. В течение многих месяцев после самых ужасных повреждений организм их выполняет свои естественные отправления как ни в чем не бывало. Их жизнеспособность, по-видимому, очень велика: в Парижском зоологическом саду одна болотная черепаха прожила шесть лет, не принимая пищи».

Приказчик из книжного магазина, Франц Г. Ханзике, дыша с закрытым ртом и все еще в наушниках на оттопыренных ушах, прошел, увлекая за собой радио, тяжелыми и теперь действительно нетвердыми шагами к окну, порывисто распахнул его, глубоко вдохнул в себя воздух, вернулся и выключил газ. Его слегка тошнило, но он испытывал невероятный подъем и сильный аппетит.

В комнате был еще легкий сладковатый запах, и голос в аппарате еще продолжал рассказывать. Франц Г. Ханзике надел изношенное легкое пальто; теперь он пойдет выпить стакан пива, может быть, даже вина, затем отправится в дансинг и поищет себе там невесту. Когда он уходил, возвратилась хозяйка.

— А знаете ли вы,— возбужденно крикнул он ей,— что черепаха может везти на себе нескольких мужчин?

Хозяйка решила, что он сказал непристойность, и выругалась ему вслед.

Тем временем добродушный, широкий голос в аппарате заканчивал свое сообщение. «Люди,— заявил голос с сильным баварским акцентом,— берут по отношению к черепахам немалый грех на душу, ибо их выносливость принимается за признак особенно крепкого здоровья. Но черепаха чрезвычайно чувствительна к самым, казалось бы, незначительным воздействиям среды. Все дело в том, что она страдает медленно.

И поэтому возникает ложная уверенность, что она может все перенести».

ТЕТЯ ВРУША

Всякий раз, когда предстоял визит тети Мелитты, мы, дети, знали, что нас ждет небольшой веселый сюрприз, правда, с неприятной развязкой.

Тетя Мелитта была дама среднего роста, худощавая, с дерзким лицом, черными, уже изрядно поседевшими воло-

сами,— хотя ей не было еще и сорока лет,— и пристальным взглядом светлых глаз, которые иногда принимали странно отсутствующее выражение. Тетя Мелитта,— впрочем, она была не родной нашей теткой, а кузиной моего отца,— имела обыкновение, приходя в гости, приносить каждому из нас какой-нибудь подарок, но не «практичные» вещи, а так, приятные безделушки. К тому же она умела интересно рассказывать. Она много повидала на своем веку — стран и людей, а уж когда она говорила о деревьях и цветах,— она была ботаником,— то это выходило у нее не скучно, как в школе, а звучало, словно увлекательные истории. Жизнь некоторых «хищных» растений в ее рассказах была полна захватывающими приключениями, а когда она повествовала о том, как быстро разрастаются тропические джунгли, мы слушали ее затаив дыхание. Особенно четко запомнилась мне одна история, которую ей пришлось рассказывать нам четыре или пять раз,— история какой-то испанской экспедиции семнадцатого века, заблудившейся в лесу: этот лес вокруг нее вдруг начинает разрастаться с такой быстротой, что буйно растущие деревья вскоре отделяют людей друг от друга. В конце концов они не могут двинуться с места, лес в буквальном смысле слова засасывает их.

Но гораздо увлекательнее были рассказы тети Мелитты о происшествиях, приключившихся с нею буквально на днях. На свете просто не было человека, с которым бы случалось столько всякой всячины, сколько с нею. Однажды, например, самоубийца, бросившись из окна, сшиб ее с ног. Или при перевозке бродячего цирка сбежала змея, напала на тетю и плотно обвила ее, и лишь в самую последнюю минуту ее спасли. Какой-то сумасшедший принял ее за памятник и угрожал, что застрелит, если она посмеет шевельнуться,— ведь она же памятник. Такого рода события происходили с ней в короткие промежутки между визитами к нам.

Но мы очень скоро дознались, что наша тетушка, которая умела с научной точностью описывать страны, людей и особенно растения, все эти истории просто выдумывала. Как только мы сделали это открытие, мы принялись ловить ее на противоречиях и тем подхлестывать ее буйную фантазию. Она из кожи вон лезла, чтобы доказать достоверность своих приключений; ее светло-серые глаза смотрели все пристальней — смотрели куда-то вдаль,

словно она искала там новые подробности, которые помогли бы ей перебраться через трясины предъявленных ей противоречий. Под конец, загнанная в тупик, она сидела перед нами с потухшим взором, обескураженная, почти в отчаянии, а мы испытывали глубокое удовлетворение, — теперь она была наказана за свою лживость.

Для нас было развлечением подстрекать ее. Стоило ей появиться, как мы немедленно приступали к ней с вопросами: неужели же за последние дни с ней не произошло ничего интересного; с жестокой радостью мы наблюдали, как она увиливала от этих вопросов, как боролась с искушением рассказать нам очередную фантастическую историю. Но мы не оставляли ее в покое до тех пор, пока она, обессиленная в борьбе, не сдавалась, — это мы воспринимали с облегчением и восторгом. Она не могла дольше сдерживаться, ее прорывало, она должна была рассказывать, и она рассказывала. И тогда начиналась вторая часть. Мы выказывали ей свое недоверие, мы дразнили и мучили ее, а она защищала свою ложь, не играючи, а с истовой серьезностью, и мы не скрывали своего злорадства, когда под конец она сидела перед нами пристыженная, расстроенная — разоблаченная лгуны.

Нас просили по-доброму, нам строго приказывали прекратить эту злую игру. Но ни запреты, ни уговоры не действовали. Нас так и подмывало выпрашивать тетю Мелитту о том, что случилось с нею вчера и сегодня. И мы заметили, что и родители наши, против своей воли, тоже увлекались и с интересом наблюдали, как тетя оказывала сначала сильное, потом все более слабое сопротивление и в конце концов поддавалась искушению.

Когда я стал постарше, отец как-то отвел меня в сторону и стал взывать к моей совести. Объяснил мне, каким образом у тети Мелитты, женщины вообще-то вполне рассудительной, возникла такая причуда. Совсем еще молодой, сразу после замужества, она уехала с мужем, ботаником, в Китай, где он получил место агронома на какой-то большой плантации. Но вскоре после их приезда разразилось боксерское восстание, муж ее был зверски убит, ей, в числе немногих белых, удалось спастись, но она была в тяжелом состоянии — совершенно невменяема. Что произошло с ней — этого так и не удалось у нее узнать. На некоторое время она исчезла за стенами

какой-то психиатрической больницы. С тех пор как ее выпустили оттуда, она все время такая. Никогда она не говорила о событиях тех дней, а если заходила речь о Китае или о каких-то происшествиях, сходных с тем, что, по-видимому, пришлось пережить ей, лицо ее каменело, и она вскоре уходила домой. Она явно испытывала потребность поговорить о своих ужасных испытаниях,— и в то же время что-то не пускало ее. Ее выдуманные истории были просто отдушиной, в которой находила себе выход ее тоска.

Однако при всем уважении к умной и приветливой тете Мелитте, при всем сочувствии к ее судьбе мы по-прежнему жаждали острых ощущений от ее вранья, от возможности самим вызвать его и продемонстрировать другим. Лишь повзрослев, я понял, что причуда тети не столько забавна, сколько достойна сострадания. С тех пор я старался помочь ей, как умел. Вскоре я обнаружил, что больше всего она страдала, когда ее вынуждали доказывать достоверность ее историй или уличали в противоречиях. Но зато как благодарна она была, когда слушатели сначала делали вид, что верят ее рассказу, а потом незаметно меняли тему разговора.

Позднее, когда выяснилось, что я не лишен известного писательского дарования, я обрел в тете Мелитте умную, понимающую, благожелательную советницу. Она настаивала, чтобы во всем, что я пишу, я соблюдал; при любых обстоятельствах, строгую внутреннюю правдивость. С безошибочным чутьем обнаруживала она малейшую фальшь. Я многим обязан ей.

Пришел Гитлер. Тетя Мелитта, хотя ее, быть может, никто бы и не тронул, не могла вынести той великой лжи, в которую превратилась жизнь Германии. Она уехала во Францию. Там она продолжала свой обычный образ жизни: занималась ботаникой и рассказывала свои выдуманные истории.

Началась война и вторжение нацистов. Тетя Мелитта слишком задержалась во Франции, и с приходом нацистов ее интернировали французские власти. Для старой женщины попасть во французский лагерь для интернированных было не шуткой. Смертность там была выше, чем на французском фронте.

Потом я встретил тетю Мелитту в Нью-Йорке. Она вышла, но совсем одряхла. С ней были две женщины —

она сидела вместе с ними в лагере во Франции. Женщины рассказывали о своих ужасных испытаниях. Как пришлось голодать в лагере, как там свирепствовала дизентерия, как люди, пробираясь к уборной, увязали в тине, как обитательницы лагеря лишались глотка кофейной бурды, если одна из них лежала в родах, потому что теплая вода нужна была роженице. Тетя Мелитта одергивала своих товарок.

— Перестаньте, все это было совсем не так страшно, — говорила она и переводила разговор на что-нибудь другое.

Позднее эти женщины рассказывали мне, какой деятельной и самоотверженной проявила она себя в лагере.

Многие навещали тетю Мелитту, поздравляли ее со спасением, расспрашивали о ее переживаниях. Она резко, даже грубо отклоняла просьбы что-либо рассказать. Вместо этого она снова рассказывала свои выдуманные истории, с поправкой на американский быт. Так, например, сидя однажды на скамейке в Централ-парке, она подслушала, как два нацистских шпиона обсуждали план взорвать одновременно заводы Дугласа в Санта-Моника и синагогу на Пятой авеню Нью-Йорка, и вот с того дня у ее маленькой машины, на которой она совершает свои ботанические экспедиции, каждый раз таинственным образом оказываются проколоты шины. В другой раз ее похитили два каких-то парня, но когда они увидели, что взять у нее нечего, то заключили пари, на какую высоту она, старуха, может прыгнуть, и заставили ее прыгать до тех пор, пока она не потеряла сознание.

Странно было слушать такие нелепые истории из уст старой дамы. Ее странность вскоре заметили, люди стали этим забавляться и побуждать ее выдумывать все новые и новые приключения. По ту сторону океана ей приходилось не легче, чем по эту.

Недавно она умерла от отравления — поела ядовитых грибов; ей принесли их какие-то случайные знакомые, которых она встретила во время одного из своих ботанических походов. Сначала никто не хотел этому верить: думали, что какой-то репортер попался на удочку. Но потом выяснилось, что она, ботаник, действительно умерла от ядовитых грибов. Смерть тети Мелитты была ее третьим и последним настоящим приключением.

— Все-таки удивительно,— сказала Ленора,— что за семь лет нашего знакомства вы ни разу не сделали какую-нибудь свою героиню похожей на меня.

Она заговорила об этом легко, между прочим, и, улыбаясь, с легким вызовом посмотрела прямо в глаза Людвигу Бригману. Дело было после ужина, в маленьком желтом салоне Леноры. Пили кофе. Собеседников было трое: Ленора, писатель Бригман и инженер Фальк. За столом они много и непринужденно беседовали, и сейчас каждый из троих был расположен к откровенности.

— Да, удивительно,— подтвердил Бригман серьезно, как бы не замечая улыбки Леноры.— Признаться, много раз мне хотелось наделить ту или иную из моих героинь вашим лицом, вашим голосом, вашей походкой, и прежде всего, конечно, Хильдегард из «Упущенных возможностей».

— Почему же вы этого не сделали? — спросила Ленора.

— Сейчас постараюсь объяснить. Вы знаете, я не суеверен, по моим книгам ясно видно, что мир всяких чудес — не мой мир. Но не могу отделаться от одной мысли, которая вам, быть может, покажется суеверной. Я не раз убеждался, что люди, которых я выбрал прототипами, впоследствии повторяли судьбу моих героев. Я хотел уберечь вас, Ленора, от участи, скажем, моей Хильдегард и потому скрепя сердце отказался от намерения сделать вас героиней «Упущенных возможностей».

Ленора на мгновение задумалась. Но прежде чем она успела ответить, в разговор вмешался Герман Фальк:

— Позвольте, позвольте, дорогой Бригман, выходит, вы восседаете среди нас как некий божок и распоряжаетесь судьбами простых смертных.— Он попытался произнести это безразличным тоном, но в его словах слышна была ирония, и едва заметная усмешка показалась на его широком симпатичном лице с плоским львиным носом.

Герман Фальк и писатель Людвиг Бригман встречались часто, больше всего в доме Леноры. Между ними издавна установилась прочная дружба-вражда. Фальк был способный, преуспевающий инженер, и сидящая шевелюра

только подчеркивала его молодую мужественность. Он очень нравился Леноре, хотя порой слишком назойливо давал понять, что знает себе цену.

— Назовите это суеверием,— мягко возразил Людвиг Бригман,— я заранее соглашусь с вами. Но вольно или невольно, я чувствую себя ответственным за судьбы своих героев и тех людей, которые служили мне прототипами. Временами от этого становится жутковато, а иногда это приятно, тут вы совершенно правы, дорогой Фальк.

Бригман сидел почти неподвижно и старался говорить как можно скромнее, но смотрел он прямо на Фалька, и тому почудилось в его взгляде огромное высокомерие. Он заметил также, что этот вздор, вот уже во второй раз преподносимый Бригманом, произвел, по-видимому, впечатление на Ленору. Это его больно уязвило.

— Подобные магические представления,— начал он тоном взрослого, поучающего ребенка,— известны с давних пор. И с давних пор поэты и художники старались распространять такие суеверия. В сущности, милый Бригман, нет никакой разницы между тем, что вы называете своим суеверием, и претензией знахаря, внушающего своим первобытным соплеменникам, что его заклинания способны принести им благоденствие или навлечь беду.

— Пусть так,— миролюбиво согласился Бригман, а Ленора попросила Фалька:

— Расскажите нам о знахарях, вспомните какие-нибудь интересные истории или примеры.

Фальк поднял голову, широкие ноздри его львиного носа слегка раздувались. Он был знаменит необыкновенной памятью — настоящий ходячий лексикон — и очень часто демонстрировал свой талант, любил его демонстрировать. И сейчас он рассказал Леноре и Бригману множество историй, где-то услышанных или вычитанных им и сохраненных его необъятной, цепкой памятью, историй о пророках и заклинателях, об одержимых и шарлатанах, об удачных и неудачных магических опытах.

— Как по-вашему, Фальк, эти истории о чудесах и сбывшихся предсказаниях, все они вымышлены? — спросила Ленора, когда он кончил.

— Может быть,— любезно допустил инженер,— некоторые из этих людей были искренне убеждены в своей способности влиять на судьбу, как убежден в этом наш друг Бригман. Кроме того, дальнейшие события они чисто-

сердечно истолковывали так, словно все совершалось по их предсказаниям. Ведь так мало людей,— пожал плечами Фальк,— способно объективно изложить события, в которых они сами были участниками.

Бригман ничего не ответил, и на лице его нельзя было ничего прочесть. Возражать Фальку стала Ленора:

— Я думаю, в магических способностях нашего друга Бригмана нет ничего сверхъестественного. Все объясняется тем, что всякий писатель, достойный этого имени, обладает интуицией и знанием человека. И заставляет своих героев действовать так, чтобы поступки отвечали их характеру, ставит их в ситуации, соответствующие их внутренней сути. Потому нет ничего удивительного, если иногда судьбы выдуманных персонажей и их реальных прототипов действительно совпадают.

Казалось, Бригману как-то неприятно это естественное объяснение того сокровенного чувства, в котором он столь неосторожно признался.

— Как бы то ни было,— сухо резюмировал он, стремясь закончить разговор,— мне боязно, дорогая Ленора, вывести вас в одной из моих вещей.

Однако, заметив, что спор этот неприятен писателю, Фальк именно поэтому не пожелал менять тему. Ему хотелось в присутствии Лены доказать болтуну Бригману, что все его разглагольствования — чужь, пускание пыли в глаза.

— Может быть,— обратился он к писателю,— вы нам расскажете что-нибудь в подтверждение этого вашего, как вы говорите, суеверия?

— Я мог бы рассказать и не об одном таком случае,— спокойно ответил Бригман,— но только было это все с людьми, которых вы с Ленорой знаете очень мало или совсем не знаете. Хотя вы мне, конечно, поверите, милый Фальк, тем не менее вы, при вашем скепсисе, будете считать все это плодом моего воображения и последующей подтасовкой фактов.

— Нет уж, не увертывайтесь, докажите нам свое магическое влияние,— настаивал инженер.— Я уверен, Ленору это тоже очень интересует. Я понимаю, вы боитесь трогать нашу Ленору, и я уважаю ваши мотивы. Но сделайте опыт с кем-нибудь другим,— он сделал паузу, и едва заметная усмешка снова мелькнула на его лице,— например, со мной.

Ленора быстро, непроизвольно наклонилась вперед и, как бы обороняясь, подняла руку.

— Нет, нет, Фальк! — воскликнула она. Немного смущенный инженер на мгновение заколебался, а Ленора продолжала: — Не будьте так легкомысленны!

Но это предостережение только подзадорило Фалька. Если теперь он отступит, говорил он себе, Ленора подумает, что болтовня этого заносчивого дурака-поэта и на него подействовала. Разве он, приверженец здравого смысла, не обязан показать всю абсурдность атавистического суеверия Бригмана.

— Легкомыслен? — сказал он с явной иронией. — Именно потому, что во мне нет ни капли легкомыслия, я и прошу его проделать этот опыт. Правда, Бригман, ну попробуйте! Ведь подумать только, если вы правы, — с ожесточением продолжал Фальк, — если за вашими словами кроется нечто большее, чем внезапная фантазия, весь мой мир обрушится. Да тогда рухнет весь наш разумный мир, который зиждется на вере в причину и следствие. Ведь если в ваших утверждениях есть хоть тысячная доля правды, тогда ложно все, во что я до сих пор верил. Тогда я не смогу больше доверять своим глазам и мозгу, тогда мне нельзя больше строить свои мосты, тогда мне вообще конец.

— В моем «суеверии» есть немалая доля правды, в этом сомневаться не приходится, — сухо, почти враждебно ответил Бригман. — Я убежден: тот, кто по-настоящему видит и понимает характер человека и его среду, может знать кое-что и о его судьбе. Если бы я в это не верил, я не мог бы писать. Но я ведь не миссионер и не собираюсь обращать вас в свою веру, Фальк, поэтому оставьте мне мои книги и мое «суеверие», а вам я оставляю ваши мосты и веру в причину и следствие.

Но инженер упорно стоял на своем:

— Нет, нет, так легко вы от меня не отвертитесь. Теперь вы просто обязаны доказать нам все на деле. Дайте мне судьбу, — горячился он, — какую хотите! Пусть со мной случится все, что вам заблагорассудится. Я заранее на все согласен, Бригман. Слышите, я согласен, я никогда ни в чем вас не упрекну. Держим пари! Если вы окажетесь правы, если из того, что вы мне насочините, хоть что-нибудь да сбудется в течение, ну, скажем, пяти лет после выхода книги, тогда располагайте мной по своему

усмотрению. Тогда можете сказать: «Кончай строить свои мосты, Фальк!» или «Уходи из этого дома и никогда не встречайся больше с Ленорой!» Я выполню все, что вы мне прикажете. Вот, Ленора — свидетельница. Но если вы окажетесь неправы, если из того, что вы наворожите мне в вашей книжке, ничего не сбудется, тогда вы просто хвастун, Бригман, тогда...— Его львиная физиономия стала откровенно насмешливой.— ...Тогда вы ставите нам бутылку вина.

— Да, вы действительно непоколебимо верите в ваши мосты и в причину и следствие,— заметила Ленора, но Фальк ни за что не желал отступить.

— Ну как, по рукам? Заметано? — настаивал он.

Писатель смотрел на разгоряченное лицо инженера без обиды, скорее с удивлением.

— Так вы действительно думаете, что все, чем мы занимаемся, только мистика и пустая забава? — удивленно спросил Бригман.

— Мечта и пустая забава,— поправил инженер.

— Поразительно,— продолжал Бригман.— Как вы не понимаете, ведь я, даже если бы хотел, не мог бы сделать так, чтобы с вами случилось все, что мне заблагорассудится. Я могу только увидеть и описать, что уже есть в вас, и только это с вами и случится! А после ваших слов, Фальк, поверьте, мне этого почти уже хочется.— Он повернулся к Леноре и деловито подытожил: — Вы слышали, дорогая? Наш друг Фальк согласен, чтобы я описал то, что вижу в нем, и чтобы это с ним случилось. Так ведь? — обратился он к инженеру.

— Да, да, да,— нетерпеливо ответил Фальк.

— Я не знаю еще,— продолжал размышлять Бригман,— воспользуюсь ли вашим согласием, но, быть может, я выведу вас в какой-нибудь из своих вещей. Так вы точно согласны? — еще раз удостоверился он.

— Еще бы! — шутливо отозвался довольный Фальк тоном явного превосходства.— Дерзай, старина! — И он покровительственно похлопал Бригмана по плечу.

Хотя порой писатель Бригман бывал очень откровенен со своими друзьями, потом он снова упорно замыкался в себе и никому не рассказывал о работе и планах. Поэтому вышло так, что инженер Фальк ничего не узнал заранее

о его новой книге и, когда она вышла, перелистал с волнением и, как бы он ни подтрунивал над собой за это, с некоторым трепетом. Однако ни в одном из героев он не нашел ни малейшего сходства с собой. То же было и в следующей книге. Всякий раз, когда Фальк или Ленора заговаривали о пари, Бригман упорно отмалчивался. Постепенно и сам Фальк начал забывать об их уговоре.

И вот года через три после того вечера вышел в свет новый роман Бригмана «Заседание рейхстага». В этом произведении среди второстепенных персонажей был введен некий политический деятель, парламентарий, которого любят и опасаются из-за его безошибочной памяти; Бригман назвал этого человека Краузнек. Благодаря своей необъятной, цепкой памяти Краузнек в любой миг мог найти оружие, чтобы защитить друзей и поразить врагов; никто не был гарантирован, что Краузнек не уличит его в противоречии. Политический деятель Краузнек, каким изобразил его Бригман, знает о людях буквально все и с неумолимой логикой указывает им на их слабости и противоречия; однако в действительности он совершенно не разбирается ни в людях, ни в обстоятельствах. У него все ограничивается памятью, нагромождением мертвого материала, который он умеет приспособить для нужд момента с адвокатской ловкостью; его логика — мнимая, он не имеет ни малейшего представления о пестрой и полной смысла путанице этого мира, о тысячах разнообразных нитей, из которых сплетена душа. Писатель Бригман не шаржировал своего Краузнека; он описал его без насмешки, с едва приметной мягкой улыбкой. Краузнек — симпатичный господин, седая шевелюра только подчеркивает молодую мужественность его широкой львиной физиономии. Быть может, он чуточку слишком хорошо знает, какое впечатление может произвести, но его живое обаяние от этого не терпит ни малейшего урона. Все друзья инженера с первого взгляда безошибочно узнали его в политическом деятеле Краузнেকে, и все сошлись на том, что портрет написан без неприязни, скорее с симпатией.

Судьба Краузнека-Фалька в романе Бригмана «Заседание рейхстага» складывалась следующим образом. В результате несчастного случая он лишился памяти. Сначала врачи полагают, что это временное расстройство, но память не возвращается. Попытки Краузнека вновь

овладеть своей разрушенной памятью, мучительные поиски нужного слова, имени, даты, факта были описаны Бригманом с потрясающей достоверностью. Невозмутимо, захватываяще и убедительно рассказывал он о жалости, которую вызывает несчастье Краузнека-Фалька в кругу знакомых и друзей, о сострадании, с которым они скрывают свое нетерпение, об их неловких попытках его утешить.

Герман Фальк читал. Читал, например, как Краузек встречается с женщиной, которая ему нравится. Он заранее придумал, что ей сказать, сочинил изящную фразу, намекающую на известный эпизод из их отношений, фразу, которая рассчитана на нее и непременно должна ей понравиться. И вот он сидит рядом с ней, а фразу бесследно улетучилась. Он пытается ее припомнить, ясно видит, что женщине скучно, лихорадочно роется в самых дальних уголках своей расстроенной памяти, ища приятные, убедительные слова, но тщетно; он ищет их со все возрастающим страхом, и разговор их становится все более вялым. Женщина по-прежнему любезна и вежлива, но нет и в помине того впечатления, которое он производил раньше и в котором был так уверен. Наконец она уходит, а Краузек все еще тщится вспомнить ту придуманную им фразу. Ночью он просыпается, во сне он ее нашел снова, а теперь она опять ускользнула.

Герман Фальк читал. Он был один. И все же на его широком мужественном лице показалась усмешка, чуть заметная, нервная и ироническая, как будто он и в одиночестве старался уверить самого себя, что все это не имеет ни малейшего смысла, между ним и Краузником нет никакого сходства. Ну хорошо, пусть этот Краузек немного тщеславен, но что за абсурдная идея пришла в голову Бригману — так «качать» его за это! Право, удивительно, как много магических, детских, религиозных представлений живет еще в голове взрослых людей. Человек теряет память, потому что гордится ею. Он вызвал зависть богов. Ниобея, Поликратов перстень, вина и искупление... И при всем том Бригман, несомненно, отличный писатель. Как он дает почувствовать, каково приходится этому Краузнеку. Быть может, ему, Герману Фальку, и вправду суждено потерять когда-нибудь память, все возможно. Но ведь такие вещи случаются ближе к старости, лет в шестьдесят — шестьдесят пять, а ему-то всего сорок

шесть. И когда истечет срок пари, ему будет только пятьдесят один.

Через несколько дней после того инженер Фальк встретился с женщиной, которая ему нравилась. Дама слыла своею нравной, высокомерной и недоступной. Инженер Фальк чувствовал себя в тот день в форме. Он блистал, он приказал себе быть неотразимым, он в совершенстве владел своей памятью, все было при нем. Он ясно видел, как сияют ему навстречу глаза женщины, как она понемногу уступает. «Бригману непременно придется поставить мне бутылку», — смеялся он про себя.

Еще через два года в Германии пришла к власти некая партия силы. Герман Фальк мало интересовался политикой, но ему не нравилось, когда на него надевали узду и намордник, а его хорошая память позволяла ему на каждом шагу видеть противоречия в словах и делах новой правящей касты. К тому же он не умел держать язык за зубами. Правители позволили ему некоторое время побегать на свободе: у них были более важные дела, да и работа его ценилась и была им необходима. Но постепенно вызывающее поведение Фалька приобрело слишком большую огласку, и правители не могли больше делать вид, что ничего об этом не знают. Они предостерегли его раз, другой, стали чинить ему разные препятствия в работе и наконец упрятали в концентрационный лагерь.

Там он повстречал своего друга Бригмана, арестованного новыми господами уже в первые месяцы их власти.

Бригман держался спокойно, не терял терпения и внутренней уверенности. Это приводило в ярость неотесанных, грубых парней, которые его охраняли, и они обращались с ним особенно скверно. Он смирялся с этим, принимал как должное. Товарищи по лагерю уважали его, но не очень любили, так как он был молчалив, разумен, не жаловался и не обращал внимания на лихорадочные слухи.

Тем большей любовью стал пользоваться Герман Фальк. Он беседовал с каждым, говорил охотно и много, был шумным, любезным, и даже некоторые из его грубых стражей поддавались его обаянию. Фальк горячо обсуждал малейший слух, впадал в отчаяние вместе с товарищами и готов был вместе со всеми в надежде хвататься за любую соломинку.

Однако демонстрировать всем свою обычную разговорчивость и шумную любезность стоило ему величайшего труда. Оставшись один, он особенно безудержно предавался отчаянию. Путанно и бессмысленно сетовал он по ночам на свою судьбу. Он никак не мог примириться с тем, что все это случилось именно с ним, с Германом Фальком. Политические события казались ему несправедливостью, направленной лично против него. Он возмущался, беспрестанно грыз себя, и хотя внешне казался сильным, его неукротимая душа подтачивала его изнутри.

Для всех Фальк был хорошим товарищем, милым и услужливым, но, оставаясь наедине с Людвигом Бригманом, сразу становился ворчливым, придиричвым и нетерпимым. Бригман вызывал у Фалька раздражение, и тот задирает его без причины, высмеивал. Можно было подумать, что Фальк считает его виновным во всех случившихся бедах. И при этом он совершенно явно искал его общества. Ведь с ним одним он мог дать себе волю: выговориться до конца, жаловаться, негодовать, возмущаться.

Оба были уже немолоды: Бригману за пятьдесят, Фальку — под пятьдесят. Но мощный, мускулистый силач Фальк, вопреки своей внешности, гораздо хуже переносил мытарства лагеря, чем слабосильный, но выносливый Бригман. В конце концов Фальк сдал и физически, на его широком лице с небольшим плоским львиным носом появилось много морщин, и седая шевелюра не составляла более контраста с лицом.

Имя писателя Бригмана пользовалось известностью за рубежом, и многие старались добиться его освобождения из лагеря. Наконец эти старания увенчались успехом, немецкие власти отпустили Бригмана, и он смог уехать в Англию.

В свою очередь, Бригман приложил все усилия, чтобы выхлопотать освобождение и для Фалька. Это было нелегко, но после первых неудачных шагов ему все же посчастливилось. Фальк был отпущен и через некоторое время тоже прибыл в Англию.

Бригман жил в Кемберленде, в озерном крае, а Фальк сначала обосновался в Лондоне. По слухам, дошедшим до Бригмана, Фальк сделался совсем прежним — сильным, элегантным, шумным и самоуверенным, может быть, еще более безапелляционным, чем раньше.

Месяца через два-три, приехав на короткое время в Лондон, Бригман встретил инженера. Тот действительно был таков, каким его описывали: широкое лицо с львиным носом спова казалось моложе, а седые волосы только подчеркивали его мужественную юность. И он действительно был шумлив и самоуверен, как о нем говорили Бригману. Он похлопал писателя по плечу. Он держался покровительственно и даже не подумал благодарить его.

Заговорили о лагере. И скоро Бригман заметил, что Фальк, обычно столь точный в хронологии, путает последовательность событий. А когда писатель случайно поправил Фалька — тот неверно назвал имя одного из надзирателей, и Бригман подумал, что Фальк просто оговорился, — инженер стал запальчиво настаивать на своем. Позднее, когда стали вспоминать о товарищах по заключению, Фальк явно избегал имен, говоря только «этот тип» или «как бишь его звали», или же начинал мучительно искать в памяти какое-нибудь имя и нетерпеливо, тоном властного упрека требовал от Бригмана: «Помогите же мне!»

Уже совсем к концу разговора, когда писатель собирался прощаться, Фальк вдруг сказал язвительно и победоносно:

— Ну, не вы ли предсказали мне скверный конец? Кто из нас оказался прав? Кто проиграл пари? — А увидев изумленное лицо Бригмана, продолжал: — Конечно, теперь вы ничего не помните и знать не хотите. А ведь мы заключили когда-то пари, вы и я. Помните, это было еще вечером, у той женщины, как бишь ее звали? Никак не могу припомнить ее имя! Нет, вспомню, обязательно вспомню! Черт побери, как же ее все-таки звали?

КЕЛЬНЕР АНТОНИО

Мое лекционное турне по Америке было утомительным; я чувствовал себя крайне усталым и мечтал о деревенской тишине своего домика на юге Франции. Покончив с делами в Штатах, я сел на первый же пароход, отплывавший в Европу.

Пароход был небольшой, но оказался гораздо удобнее, чем я ожидал. Как славно было прогуливаться по палубе, как славно было лежать, растянувшись, на шезлонге и

смотреть на волны, как было славно съедать свой обед, не будучи обязанным вести разговоры с множеством людей!

Мешала лишь одна глупая мелочь: меня раздражал мой кельнер. Это был человек лет сорока, приземистый и большоголовый; черные волосы росли у него с середины лба, низкого, испещренного морщинами, лицо его было четырехугольное и немного плоское; маленький приплюснутый нос под карими глазами, придававшими лицу всегда угрюмое выражение. Его можно было принять за испанца или португальца; во всяком случае, английским он владел неважно, и хотя я старался, заказывая, говорить внятно, он все же понимал меня плохо и приносил не то, что я заказывал. Движения его были неловки; этому грузному человеку трудно было лавировать с полным подносом по ресторану во время качки. Если за обедом или за ужином он не выливал мне на костюм суп, соус или вино, я мог считать, что мне повезло.

Пассажиры бранились или с насмешливой покорностью пожимали плечами при виде этого нескладного человека. Я же помалкивал, хотя на моем лице иногда можно было прочесть недовольство. Препираться с кельнером не имело смысла. Несомненно, он замечал каждое свое упущение. После очередного промаха на его мясистом, всегда напряженном и потном лице появлялось озлобленное выражение всеобвиняющей горечи. И вообще была в нем какая-то задумчивость, печальная сосредоточенность, которая, разумеется, мешала ему исполнять его обязанности. Иногда он вдруг впивался испытующим взглядом в кого-либо из пассажиров и смотрел с таким упорством, как будто хотел поближе познакомиться с объектом своего наблюдения, — манера для кельнера, мягко говоря, совсем неподходящая.

Старший стюард, человек энергичный, естественно, замечал нерасторопность своего подчиненного. Он извинился передо мной и объяснил, что взял этого человека в самую последнюю минуту, не успев узнать его как следует, и что, как только мы придем в порт, тут же его уволит. При других обстоятельствах я, пожалуй, возразил бы ему, сказав снисходительно: «Ну, не так уж все это плохо, потерпите еще немножко», — или что-нибудь в этом роде. Но оттого, что усталость и раздражение от поездки по Америке еще давали себя знать, неловкость кельнера свыше меры выводила меня из терпения, и я сухо ответил:

— И правильно сделаете.

Рассказал ли старший стюард о нашем разговоре кельнеру Антонио,— он назвал мне его имя,— я так и не узнал. Но мне казалось, что после этого разговора Антонио смотрел на меня с тоской, горечью и укоризной, словно моя мелочность оказалась для него неожиданной. У меня и раньше появлялось иногда неприятное ощущение, будто Антонио относится ко мне так, словно мы с ним каким-то странным образом связаны. Теперь это впечатление усилилось.

Я убеждал себя, что все это плод моего воображения. Антонио угрюм от природы, и не только мной лично он недоволен, а всем на свете. Я убеждал себя, что только по своей склонности к романтике объясняю его поведение сложными и таинственными психологическими причинами. Но эти трезвые раздумья мне не помогали. Столь необычное выражение дружбы-вражды, которое я, как мне казалось, читал на мясистом, печальном лице кельнера Антонио, все больше удручало меня. Проще всего было бы откровенно и прямо поговорить с ним; но это казалось мне слишком смешным. Вместо этого я упрекал себя в душе, что плохо отзывался тогда об Антонио. Если его уволят, он непременно припишет вину мне. И незаслуженно: неспособность Антонио так бросаться в глаза, что если бы я даже и вступился за него, то все равно не смог бы изменить решения старшего стюарда. Но хотя рассудок и оправдывал меня, в глубине души я чувствовал себя виноватым. Вид этого нескладного, всегда угрюмого человека отравлял мне жизнь, совесть моя была нечиста, и все удовольствие от приятной поездки пропало.

Но по прибытии домой, в тишине моего кабинета, вновь погружившись в работу, я очень скоро позабыл кельнера Антонио.

Спустя несколько месяцев дела привели меня на короткое время в Париж. Стоя перед светофором в ожидании, когда красный сигнал сменится зеленым, я увидел на задней площадке медленно проезжавшего мимо меня автобуса знакомого человека с крупным, печально-сосредоточенным лицом. Несколько секунд я напрягал свою память и наконец вспомнил, что это Антонио.

И сразу же с прежней силой меня охватили чувства, волновавшие меня на пароходе, страхи и мелкое тайное влорадство, которое вызвала во мне та злополучная исто-

рия, восстановившая против меня Антонио. И снова я почувствовал угрызения совести.

Я убеждал себя, что Антонио, вероятно, давно уже забыл о случившемся, если вообще придавал ему какое-либо значение. Я убеждал себя, что он, наверное, нашел себе лучшее, более подходящее для него место. Я убеждал себя, что я глупец. Но никакие доводы рассудка не могли заглушить неприятного чувства, жившего где-то в самой глубине моей души.

С трудом мне удалось разузнать его адрес, и я написал ему, чтобы он зашел. Он ответил по-французски, как видно с трудом подбирая слова, что предложенное мной время ему не подходит и он придет в другое время, назначенное им самим. На этот час у меня было намечено важное деловое свидание. Я отменил его и стал ждать Антонио.

И вот он появился у меня, все такой же нескладный и угрюмый, а я никак не мог понять, чего ради навязал себе эту неприятную встречу. Антонио же, казалось, ничуть не был удивлен и даже как будто ждал, что я его позову. Ничего подобного он, конечно, не высказал, но этот неповоротливый человек в большей степени, чем иной великий актер, обладал способностью выражать свои мысли и чувства с помощью жестов и мимики.

Он стоял передо мной и молчал; его четырехугольное лицо, на котором выделялись маленький нос, карие глаза и глубокие морщины на лбу, казалось непроницаемым. Каждое слово мне приходилось буквально вытягивать из него, и его удивительная внутренняя неподатливость тормозила беседу еще сильнее, чем слабое знание языка.

В конце концов я спросил его напрямик, считает ли он меня в какой-то степени повинным в его увольнении. Он хмуро посмотрел на меня, как бы удивившись ненужному вопросу, и с обычной немногословностью процедил: «Конечно». Я спросил его, не думает ли он, что его непременно уволили бы и без моего вмешательства. Возможно, отозвался он, однако решающую роль в его злой судьбе сыграл именно я. Хотя этот упрек был совершенно безоснователен, я сразу понял, что переубедить мне его не удастся. Я не стал с ним спорить.

Много ли потерял он из-за этого, спросил я, ведь профессия кельнера не совсем подходящее для него занятие. Он не согласился, более того, возразил мне, что любит

свою профессию, а когда я удивленно и недоверчиво посмотрел на него, снисходительно произнес:

— Вы, как писатель, должны бы это понять.— И мрачно добавил, так, словно ничего более естественного на свете и быть не могло: — Я интересуюсь людьми. Нужно найти способ с ними сближаться,— сказал он.

Я подумал, что не понял Антонио из-за его дурного французского языка, и переспросил:

— Что вы сказали?

— Нужно найти способ сближаться с ними,— уже совершенно отчетливо повторил он. И я понял, что не ошибся тогда на пароходе и что он действительно верил в существование между нами странной и таинственной связи.

Вид у Антонио был потрепанный, как видно, жилось ему неважно. Выяснилось, что он служит швейцаром в каком-то сомнительном ночном кабачке на Монмартре. Виновиком его падения — этого он не сказал, но на его лице это можно было ясно прочесть — был, разумеется, я.

Совость моя не слишком огрубела, но и не была чрезмерно изнеженной. Нельзя, конечно, толкать падающего, и то, что я сказал тогда старшему стюарду, было, возможно, не очень гуманно. И все же слова мои не причинили Антонио особого зла, его и без того бы уволили. Почему меня задело вздорное обвинение этого человека? Зачем мне мучиться из-за него, нужно просто кончить разговор и попрощаться.

Размышляя таким образом, я услышал вдруг свой голос:

— Послушайте, Антонио, я мог бы предложить вам работу, у меня. Вы были бы вроде дворецкого, да и вообще в доме, где бывает много гостей, работа найдется.

Что за вздор я нес? Это предложение — чудовищная нелепость. Что я буду делать с этим неприятным и неловким малым? И почему я упомянул о «множестве гостей»? Приманить я его хотел, что ли? Ведь он мне совершенно не нужен. Будет только путаться под ногами, раздражать меня. Внутренняя связь между нами, на которую он намекал, существовала на самом деле.

И все же я почувствовал тайное облегчение оттого, что предложил ему работу, что все уже решено и отныне он будет находиться при мне.

Произошло, впрочем, все так, как и следовало ожидать. Работы для Антонио в моем доме почти не нашлось. Большую часть дня он слонялся без дела. Но все же он

старался быть хоть чем-нибудь полезен и при всей своей неразговорчивости и угрюмости проявлял ко мне явную симпатию. Конечно, он позволял себе много лишнего. Относился ко мне не как слуга к своему хозяину, а скорее как пожилой ворчливый дядюшка к юному строптивому племяннику. Хотя он никогда и словом об этом не обмолвился, но, очевидно, был убежден, что играет в моей жизни важную роль и никто его заменить не может.

Летом на южный берег Франции толпами начали стекаться друзья и знакомые, и мне волей-неволей пришлось проявлять широкое гостеприимство. Летняя праздность нашего маленького городка порождала множество сплетен и мелких обид, и не всегда было легко допустить лишь тех, кого нужно, и указать на дверь тем, кому следует. Антонио, обычно такой неловкий, проявлял при этом разумный такт. Докучливых он отваживал, слишком застенчивых приветал, и вообще обнаружилось, что он способен выполнять самые деликатные поручения.

В конце лета в нашем маленьком городке появилась женщина, с которой мне приходилось иногда встречаться в Берлине, Париже и Лондоне; в прежние времена я никогда не уделял ей большого внимания. Но теперь, на юге, да еще летом, я уже не понимал, как я мог быть к ней равнодушным. Кларисса вдруг показалась мне самой желанной из всех женщин на свете.

Я увидел ее в первый раз в маленьком людном кафе возле красивого и шумного порта. Ее окружали поклонники, и у меня почти не было возможности поговорить с ней. Потом я встретил ее на одном по-снобистски примитивном пикнике. Говоря откровенно, я пошел туда в надежде ее увидеть. На этот раз я смог побеседовать с ней подольше. Она была немного обижена тем, что раньше я не обращал на нее внимания; она кокетничала со мной и делала вид, что хочет ускользнуть. Насмешливо сожалела, что теперь, когда я наконец-то обратил на нее свое благосклонное внимание, у нее уже нет для меня времени; на той неделе ей придется уехать.

Причины ее поведения я понимал очень хорошо. Но я не испугался и настоятельно попросил о свидании в один из ближайших дней до ее отъезда. Она не отказала, хотя не могла или не хотела обещать мне ничего определенного: у нее якобы нет под рукой записной книжки, где расписаны все ее дни. Кларисса жила в часе ходьбы

от порта, в горах, в доме, предоставленном ей ее другом; телефона там не было. Зайти же к ней ненароком, без предупреждения, она мне не разрешила. В конце концов мы условились, что я пошлю к ней кого-нибудь и она передаст посыльному, когда мне можно к ней зайти.

Это дело было как раз для Антонио. Однако я не мог не заметить, что, когда я назвал имя Клариссы, он слегка вздрогнул.

— Вы знаете эту даму, Антонио? — спросил я.

— Я встречал ее в городе, — ответил Антонио.

Он старался придать своему лицу безразличное выражение, как подобает в таких случаях хорошему слуге, и все же я заметил, что Кларисса ему не нравится. Я строго внушил ему, что заинтересован в этой встрече, и сказал, что согласен на любой час, который назначит мне Кларисса.

Когда вечером я вернулся домой и стал нетерпеливо расспрашивать Антонио, на какое время назначена встреча, он, по своему обыкновению, угрюмо ответил, что Кларисса еще ничего не могла решить и приказала ему прийти завтра. Это меня расстроило, но я подумал, что после того, как я столь долго обижал ее своим равнодушием, она хочет непременно дать мне почувствовать свою власть.

На следующий день Антонио снова отправился к Клариссе. Вернувшись, он сказал мне, что не застал ее. Дом был заперт, а на соседней ферме ему сказали, что эта дама с самого утра уехала с подругой к морю купаться. Он разузнал, где она обычно купается, но там ее не нашел. Я ничего не ответил, но в душе огорчился. Это был опять прежний Антонио, неловкий и неуклюжий.

— Завтра я сам поеду туда, — заявил я.

Но на другой день обнаружилось, что с автомашиной что-то не в порядке, и я не мог на ней ехать, а оба городских такси были заняты, и вызвать их не было возможности. Кларисса запретила мне навещать ее без предупреждения, поэтому было рискованно просто так к ней поехать. Пойти же пешком было совсем непозволительно: так я мог лишь настойчиво и тактически неумно подчеркнуть свое желание ее увидеть. Мне не оставалось ничего иного, как снова послать Антонио. Я не очень удивился, когда и на этот раз он вернулся ни с чем.

Наконец Кларисса уехала из нашего городка, и я так и не смог с нею повидаться. Не кто иной, как Антонио, сооб-

пил мне о ее отъезде, и не без злорадства. Я не смог удержаться, чтобы не сказать ему:

— На сей раз вы особенно отличились, Антонио.

Я редко бранил Антонио: это было бесполезно. Но если меня иногда и прорывало, то Антонио придавал своему лицу то озабоченное выражение, которое было мне знакомо еще со времени поездки на пароходе. Однако теперь такого выражения на лице Антонио я не увидел, он даже заявил мне:

— Если бы я действительно захотел, то ваша встреча с мадам Клариссой состоялась бы. Но, по-моему, так-то оно лучше.

Он пробурчал это себе под нос, не глядя на меня.

— Что вы сказали? — спросил я, подумав, что ослышался или не понял его ломаного французского языка.

— По-моему, оно и лучше, что так получилось, — повторил он, теперь уже глядя мне в глаза.

Ни в его взгляде, ни в тоне голоса не было ни капли паглости: слова его звучали, как негромкое предостережение, как объективная и серьезная констатация факта. Я почувствовал желание выгнать его из дому; в то же время у меня было такое ощущение, словно я должен перед ним оправдаться. Мне хотелось узнать, почему он считает, что так лучше. Но вместо этого я осторожно спросил:

— Вы знали мадам Клариссу раньше?

— Нет, — не колеблясь ответил Антонио.

— Известно ли вам о ней что-нибудь? — продолжал я расспрашивать Антонио.

— Нет, — повторил он.

Я помолчал немного, потом насмешливо и довольно глупо сказал:

— Вот вы и проявили свое умение сближаться с людьми.

— Напротив, — спокойно и без тени обиды ответил Антонио. — Но я ее видел.

Я не сказал более ни слова. Казалось нелепым, что Антонио считает себя способным по лицу прочесть всю подноготную человека, все его прошлое. И однако его спокойный тон меня почему-то тронул.

Месяца два спустя пришло письмо от Клариссы. Она упрекала меня в том, что я не даю о себе знать. Она писала, что живет теперь в Париже, и спрашивала, когда я снова туда приеду. Но мое влечение к ней уже угасло, я

весь ушел в работу, да и странные слова Антонио никак не выходили у меня из головы. Я ответил ей любезным, но ни к чему не обязывающим письмом.

Зимою я услышал о Клариссе от моего друга профессора Роберта. Роберт был милейший человек, энтузиаст, немножко фантазер, и он с восторгом писал мне о Клариссе.

Те годы были насыщены острыми политическими событиями. Роберт, как и я, был подданным государства, в котором власть захватили враги свободы и приверженцы насилия. Эти люди ни перед чем не останавливались и питали лютую ненависть к своим противникам. Роберт был человек тихий и безобидный, но не отличался осторожностью и никогда не скрывал своих свободолобивых взглядов. Поэтому эти люди его ненавидели. И все же меня глубоко потрясло, когда я прочитал, что Роберт арестован за антигосударственную деятельность. Он был кем угодно, только не радикалом, и трудно было поверить, что он, как писали газеты, занимался активной революционной деятельностью. Его враги с торжеством объявили, что у него найдены документы, неоспоримо доказывавшие его виновность.

Я стал разузнавать, что же, собственно, произошло. Наш общий друг, человек, заслуживавший абсолютного доверия, сообщил мне, что документы, погубившие Роберта, были подброшены ему Клариссой.

Как выяснилось потом, Кларисса проделывала это уже в третий раз.

МАРИАННА В ИНДИИ

1

На третью неделю после отплытия из Портсмута все пассажиры корабля «Герцог Графтон» успели перезнакомиться друг с другом, одни — подружиться, другие — перессориться, и каждый за это время отлично изучил всех остальных. Путешествие из Англии в Индию занимало много времени: ведь нужно было обогнуть мыс Доброй Надежды. От Портсмута до Мадраса при благоприятных обстоятельствах считалось девятнадцать недель пути, но бывали случаи, когда приходилось пребывать на борту в течение шести месяцев. Теперь корабль плыл вдоль запад-

ного берега Африки. Жара стояла адская. Суда Ост-Индской торговой компании вообще не отличались благоустройством, а «Герцог Грэфтон» отнюдь не был самым благоустроенным из них. Неприятно было отсутствие комфорта, еще неприятнее жара; но всего тягостнее была скука.

На борту пассажиров было сорок один человек, не считая экипажа. Преобладали военные, по большей части впервые отправлявшиеся в Индию, было несколько чиновников Ост-Индской компании, священник. Всего пять дам: генеральша Клэверинг, некая мисс Пирс, жена и дочь муршедабадского резидента компании и немка, миссис Имхоф, путешествовавшая в сопровождении мужа и четырехлетнего ребенка.

Индия слыла страной изнурительной — и все же манила людей. Уезжали туда либо те, кому уж очень круто приходилось на родине, либо те, что твердо уповали на свою удачу. Многие возвращались с туго набитым кошельком и вконец расстроенным здоровьем, многие — с расстроенным здоровьем, но без денег, многие безвременно погибали под воздействием зловредного климата. Негостеприимная страна — уже ранней весной сто градусов по Фаренгейту — и беспокойное население. Семнадцать тысяч белых среди семидесяти миллионов туземцев. Все ненадежно, неустойчиво; в этой стране англичане никогда не чувствовали твердой почвы под ногами. Правда, военная служба в Индии сулила быстрый, блестящий успех, там имелось больше шансов сделать карьеру чем где бы то ни было. Разве тридцатилетний Джон Чарльз Маклин, брат Хьюга Маклина, ехавшего на «Грэфтоне», за четыре года не нажил сорок тысяч фунтов? Ради этого многие согласны были примириться с больной печенью.

Итак, надежды и намерения тридцати восьми из сорока одного пассажира «Герцога Грэфтона» ни для кого не являлись загадкой. Но в каких целях, чего ради сел на корабль этот немец — подвижной, седоватый, полный господин, везший с собой жену и ребенка? Он именовал себя бароном Кристофом Карлом Адамом Имхофом. Но путешественники не очень-то верили в его родовитость, да и в списке пассажиров он значился как мистер Имхоф — без всякого титула. Кое-кому из спутников барон сообщил, что он художник, едет в Индию в поисках новых сюжетов, а главным образом рассчитывает писать там портреты-миниатюры туземных властителей в модной манере — на

фторфоре и слоновой кости. Фантастический план, вдвойне рискованный, если человек тащит с собой жену и ребенка. Пассажиры равнодушно слушали его рассказы, — он говорил по-английски с ошибками, но бегло и образно, — с холодной учтивостью отклоняли его настойчивые попытки завязать беседу и не общались с супругами Имхоф.

Однако все они весьма интересовались странной четой. Миссис Имхоф была значительно моложе своего мужа; ей могло быть года двадцать два, цвет лица у нее был свежий и в то же время нежный, белокурые волосы и прозрачная кожа, невысокий лоб, серые глаза. Она охотно смеялась, обнажая мелкие, красивые зубы. Вся она, несмотря на то, что была рослая, статная, а черты ее лица вблизи могли показаться несколько резкими, производила впечатление хрупкости и грациозности. Стоило сомнительной баронессе выйти на палубу, как мужчины сразу меняли свою манеру держать себя и говорить. Речь их звучала громче, оживленнее, движения приобретали четкость, изящество. Зато дамы, во главе с генеральшей Клевринг, при появлении миссис Имхоф умолкали, их лица становились деревянными.

Корабль все еще плыл под небом тропиков, пассажиры потели и скучали. Три недели пути на море — долгий срок, а если вдобавок видишь рядом с собой пестрое, многообразное, но сплоченное общество, упорно отвергающее чужаков, то он кажется длинным вдвойне. Быть может, супруги Имхоф от этого страдали больше, чем от всего остального; быть может, никому из тех, кто находился на корабле, не предстояло такое тяжелое, мрачное будущее; но барон все так же весело, непринужденно пытался завязать знакомство с остальными пассажирами, баронесса улыбалась все той же ясной, красивой, бисерной улыбкой. Даже постоянная возня с ребенком, по-видимому, не отражалась на расположении ее духа. Четырехлетний мальчуган был самым подвижным из всех существ на борту, если не считать крыс. Толстый шалун, которого мать то и дело ласково останавливала, упрасивала, успокаивала, без усталости носился с одного конца корабля в другой, играл с собакой и птицами, задавал капитану кучу вопросов на немецком языке, которого тот не понимал, визжал, хныкал, мешал матросам работать, раза три-четыре в неделю бесследно исчезал под сложенными парусами или в трюме, неустанно подвергал свою жизнь опасности, путался под ногами у пассажиров и падал.

— Карл! Карл! Перестань! — твердил изо дня в день звонкий голос миссис Имхоф, а пассажиры объясняли друг другу, что Карл — то же, что Чарльз.

Однажды маленький Карл, упорно и неумело гоняя волчок, подбежал совсем близко к генеральше Клевверинг, которая шествовала по палубе, одетая, несмотря на жару, с великой пышностью. Волчок запутался в ее шлейфе. Карпуз метнулся к генеральше, упал, ухватился за ее юбку, разорвал ее. Генеральша подхватила разодранную юбку рукой и, кисло сморщив большое лицо, не проронив ни слова, хотела было двинуться дальше. Миссис Имхоф, зарумянившись от смущения, подошла к ней и заговорила быстро, сбивчиво, путая немецкую речь с английской, обращаясь то к генеральше, то к ребенку, которого, очевидно, убеждала извиниться. А малыш стоял, надув пухлые щеки, уставив круглые глаза в одну точку, и упорно молчал. Генеральша холодно ответила: «Не понимаю», — приподняла плечи, выразительно опустила их и отошла, гордо вскинув голову, глядя прямо перед собой. Миссис Имхоф уже не имела вида веселого и беззаботного. Она спорбилась, ее лицо побагровело, страдальчески сморщилось, в нем обрисовались резкие линии. Она мгновенно превратилась в усталую, удрученную заботами женщину.

Когда она, держа за руку надутого, упиравшегося мальчика, хотела удалиться, к ней подошел низенький господин в скюртуке кофейного цвета; у него было продолговатое лицо, длинный нос, удлинённые глаза, высокий лоб, массивный подбородок, его платье, несмотря на жару, было аккуратнейшим образом застегнуто, перетянuto, заутюжено; он учтиво сказал ей:

— Вероятно, миледи, нелегко совершать такое длительное путешествие с ребенком, даже если ребенок очень мил, а мать очень терпелива.

Миссис Имхоф взглянула на кофейного цвета господина. Она смутно припоминала, барон как-то говорил ей, что этот низенький, чопорный человек — весьма важная персона, но что он ни с кем не желает общаться. Она тотчас вновь улыбнулась своей приветливой улыбкой, снова обрела вид юной, хрупкой девушки.

— О сударь, — ответила она на ломаном английском языке, — это наоборот, это прекрасно. — Она поправилась: — Это чудесно, быть вместе с ребенком, и так уныло без него.

Кофейного цвета господин внимательно выслушал ее и снова, очень медленно, подбирая, чтобы она могла понять его, самые простые слова, сказал ей, как мил ее мальчик. Вероятно, он один на всем корабле держался этого мнения, если не считать матери ребенка. Миссис Имхоф оживленно отвечала, прося извинить ее ужасный английский язык. На это она услышала, что ее английский говор восхитителен. Собеседник был довольно невзрачен, но лицо его выражало ум. Баронесса была выше его ростом, ее веселая, непринужденная манера держать себя резко отличалась от его серьезной, чопорной. Дамы следили за их разговором с затаенной злобой, мужчины — с напряженным вниманием. В духоте, в мертвой скуке палубы единственно эти трое казались веселыми и довольными. За ленчем они сидели вместе, мальчик Карл облил супом сюртук кофейного цвета, обладатель сюртука нашел это восхитительным.

После ленча, когда пассажиры отдыхали в своих каютах, барон объяснил жене, какое положение занимает кофейного цвета господин. То был некий мистер Уоррен Гастингс. Баронесса никогда не слыхала такого имени — Уоррен и тщетно пыталась отчетливо выговорить непривычные для ее звонкого пвабского произношения звуки. Барон растолковал ей, что этот мистер Гастингс отправляется в Мадрас, куда назначен старшим советником. На самом деле он будет управлять всей провинцией, ибо мадрасский губернатор, господин Дюпре, стар и правит лишь номинально. Тут баронесса, зевнув, — ибо она начинала ощущать легкую истому, не лишенную приятности, — спросила:

— А что собою представляет провинция Мадрас? Неужели она так же обширна, как герцогство Вюртембергское?

Баронесса была родом из Штутгарта и до сих пор, до этого дальнего путешествия, кроме Штутгарта, знала лишь Нюрнберг, где прожила вместе с мужем последние годы.

— Даже больше, — ответил барон, — там около двадцати миллионов жителей, а в Вюртемберге их всего восемьсот тысяч.

— Значит, низенький кофейного цвета господин, пожалуй, могущественнее герцога Карла Евгения? — сказала баронесса и не могла удержаться от смеха.

— Конечно, — подтвердил барон и принялся в сотый раз яркими красками описывать Марианне Индию. Необъ-

ятную, кишашую людьми страну, с ее своеобразным, проникнутым древней культурой и вместе с тем младенчески незащитным населением, которое любой умный, решительный человек может с легкостью подчинить себе. Лорд Клайв показал, что девятьсот англичан в состоянии справиться с пятьюдесятью тысячами туземцев. Удивительный народ — эти туземцы. При всей своей трусости они иногда становятся весьма опасными. В особенности когда дело касается их богов и священных животных. Они ускользают из рук, их не уличить, не словить. Они способны из-за всяких пустяков дать ложную присягу, изумляются, когда европейцы изумлены этим. Умирают стойко, безмолвно — тоже из-за пустяков. Барон фон Имхоф увлекательно повествовал о сказочных сокровищах, джунглях, пагодах, о раджах, восседающих на золоте и слонах, о святых, одаренных магнетической силой, о танцовщицах в храмах, о бесчисленном множестве рабов, находящихся в распоряжении всякого белого. Он рассказывал о тех огромных возможностях, которые, в силу запутанного положения дел в Европе, войн, сложных противоречий между интересами Голландии, Англии, Франции, открываются в этой стране любому умному человеку. Нужно только занять надлежащее положение, хотя бы стать советником какого-нибудь туземного властителя, а затем умело использовать соперничество европейских держав при его дворе. Барон фон Имхоф мечтал о том, как он своим искусством миниатюриста приобретет благоволение какого-нибудь могущественного раджи, станет его любимцем, отхватит солидный ломоть исполинского пирога, именуемого Индией, вернется в Европу миллионером.

Марианна молча слушала его. Она смежила нежные, синеватые веки, опущенные длинными темными ресницами. Она любила своего мужа и охотно слушала его речи, ибо он говорил занимательно, красочно. Так скучно было в Штутгарте, так бедно жила семья, где выросла Анна Мария Аполлония Шапюзе, третья дочь захудалого француза-эмигранта, которого при блестящем дворе герцога Вюртембергского только терпели, к которому относились с плохо скрываемым презрением. Не удивительно, что вновь появившийся в Штутгарте франконский барон, светский, много путешествовавший на своем веку, быстро вскружил голову юной, неопытной, статной Марианне, — в его почтительной влюбленности ей чудилось осуществление за-

встных ее мечтаний. Легко и быстро обольщенная, она сама была изумлена тем, как хорошо и гладко все сошло. После долгой беседы, в которой обе стороны проявили немало пафоса, отец и брат Марианны заставили барона, уж немолодого, слегка потрепанного, жениться на Марианне. Карл Адам фон Имхоф на своем веку видал виды, а из Турции, где прожил довольно долго, вывез некоторую дозу фатализма. «А почему бы нет?» — сказал он себе и женился. Беспокойство выражала только мать девушки, Сусанна Шапюзе. Ей барон Имхоф совсем не нравился: ветрогон, авантюрист, бедняк.

— Да, видно, не придется тебе лакомиться нашим любимым вареньем, — озабоченно сказала она, когда Марианна сажалась вместе с мужем в карету. Она подразумевала густое малиновое варенье, какое в тех краях приготавливают особенно вкусно.

Однако, вопреки опасениям матери, брак оказался не таким уж неудачным. Молодые супруги поселились в Нюрнберге, первый ребенок умер, — это, быть может, было кстати. Затем представилась возможность занимать деньги, — правда, не совсем безупречным способом. Марианна ничего не смыслила в делах и не тяготилась долгами. Когда дальнейшее пребывание в Нюрнберге стало небезопасным и барон предложил рискованную поездку в Индию, она, не задумываясь, пустила в ход последний козырь, — в свою очередь, выудила у доверчивого и без того сильно пострадавшего кредитора крупную ссуду, последнюю. А сейчас они плыли на «Герцоге Грэфтоне», везя с собой резвого ребенка, много надежд и очень мало денег.

Кофейного цвета господин, чье имя так трудно было выговорить, тоже отдыхал на узкой койке, в душевой своей каюте. Он прожил в Индии шестнадцать лет и привык к зловредному климату, сложным взаимоотношениям, изнурительным переездам. Привык быстро принимать решения в трудных военных вопросах, искусно вести дипломатические переговоры с непроницаемыми туземцами. Привык упорно отстаивать ради интересов Лондонской компании, против лондонских заправил, меры, в Мадрасе или Калькутте представлявшиеся столь же необходимыми, сколь они казались нелепыми в главной конторе компании, на Лиденхоль-стрит, в Лондоне. Привык вновь и вновь выпутываться из дилеммы: деньги *или* гуманность, когда в Лондоне требовали денег *и* гуманности. Привык оценивать то-

вары, организовывать огромные караваны, сооружать фактории, в то же время являвшиеся крепостями, ловко лавировать среди превратностей морской войны, сильно смахивавшей на пиратство, заключать коммерческие сделки, затрагивавшие сферу высокой политики. Ему доставляло развлечение спутывать, в этом непереносимом климате, политику, стратегию, туземную психологию, английскую цивилизацию, индусскую культуру таким образом, что из этой мешанины для Лиденхоль-стрит получались высокие дивиденды. Между делом он читал латинских классиков, писал стихи, занимался спортом, изучал туземные языки. Он не выносил лишь одного — бездельности. Он знал — чем труднее будет положение, тем больший прилив сил он ощутит. Здесь, на корабле, он мог только читать классиков да играть в шахматы с майором Арчибальдом Колендером. Это изводило его.

Ему не спалось. Лежа в душной каюте, он размышлял о том, что при самых благоприятных обстоятельствах до прибытия в Мадрас пройдет еще шестнадцать недель. О том, что ему пришлось наделать долгов, чтобы продолжать выплату пособий, которые он во время пребывания в Англии так щедро назначал своим многочисленным бедным родственникам. Думал о поместье Дэйльсфорд, которое вновь посетил теперь, — древнее родовое владение его семьи, за три поколения до него проданное с молотка. Не будут ли десять лет трудов в Мадрасе и Бенгалии слишком дорогой платой за то, чтобы вернуть себе Дэйльсфорд? Нет, не будут. Он растянул губы в улыбку.

Под вечер, когда стало прохладнее, он встретил на палубе немецкую даму. Он искренне находил, что ребенок мил и забавен, однако же не досадовал, что леди Имхоф уже уложила его спать. На мистере Гастингсе опять был сюртук кофейного цвета, но не тот, что днем. Баронесса переделалась, она была в чем-то воздушном, светлом — шали, кисея, кружева, на белокурых волосах красовалось какое-то сложное сооружение. Гастингс рассказывал о Мадрасе и Бенгалии. Совсем не так, как барон Имхоф. Он говорил о цифрах, пошлинах, налогах, административных мероприятиях. Баронесса слушала, приветливо улыбаясь. Он отвлекся от фактов, стал сентиментален, как это предписывала мода. Но оказалось, что им трудно сговориться в этой области, ибо каждый из них плохо понимал язык другого. Кофейного цвета господин не спускал глаз с удли-

ненных, розовых губ белокурой женщины, многое понимал неверно, многого совсем не понимал, и оба они, рассуждая о том, как под воздействием климата меняются движения души, не раз весело смеялись над взаимным своим непониманием.

Остальные тридцать девять пассажиров, как и капитан, экипаж, челядь белая и челядь цветная, с живейшим интересом следили за этим разговором. Генеральша Клевэринг подумала про себя, а затем сообщила другим, что подозрительной личностью, по-видимому, является не мистер Имхоф, а его жена. Если раньше генеральша обрывала попытки барона завязать беседу, то теперь, когда жена открыто пренебрегала им, она стала оказывать ему сочувственное внимание.

Мистер Гастингс привык направлять разговор так, как это ему было угодно. Когда он вел длительные, требовавшие необычайного искусства беседы с туземцами, ничто не могло отвлечь его от конечной цели, идти к которой надо было самыми окольными, цветистыми путями. Но его разговор с баронессой Имхоф направляла она. Мистер Гастингс терпеливо исправлял многочисленные ее ошибки. Она смеялась, повторяла за ним, старалась запомнить его поправки, через минуту снова делала ту же ошибку. Гастингс все, что она говорила, находил умным и очаровательным.

За обедом барон ознакомил старшего советника провинции Мадрас со своими воззрениями на Индию. У барона была богатая фантазия, забавные выдумки, причудливые ассоциации мыслей, живое чутье красок, поэзии. Мистеру Гастингсу барон пришелся по вкусу. Он сам любил поэзию. Работал над переводом небольшой индусской поэмы. Даже в самые занятые дни уделял музам не менее двадцати минут. Но он проводил строгое различие между поэзией и делами, и преклонение перед индусскими и персидскими стихами не мешало ему ревностно защищать интересы Ост-Индской компании против индусов и магометан. Марианна плохо понимала беседу мужчин, говоривших по-английски; время от времени она вставляла какую-нибудь банально-шутливую фразу.

Позже, в постели, барон стал объяснять жене, что мистер Гастингс преуспевает потому, что он не философ. Тот, кто предварительно долго вопрошает себя: почему? для чего? — никогда не сумеет успешно выполнить задуман-

ное. Мистер Гастингс, вероятно, довершит покорение Индии именно потому, что не спрашивает себя, для чего это нужно. Он, Карл Адам, несомненно, гораздо более даровит, чем этот англичанин. Но он, к сожалению, философ, поэт в своем роде. Поэтому его удел — смотреть, как кофейного цвета англичанин уплетает пирог, истинную сущность которого только он, Карл Адам, в состоянии постичь и объяснить.

Марианна заснула, спокойно и радостно, пока Карл Адам втолковывал ей все это. Она питала огромное уважение к мужу и его философии; но она и без него отлично знала, как обстоит дело с низеньким, чопорным, кофейного цвета господином. Он нравился ей, потому что она признавала свое превосходство над ним. Романтик-барон давал ей чувствовать свое превосходство над ней, поэтому она любила его.

Утром следующего дня произошла маловажная, но неприятная сценка. Маленький Карл загрязнил каюту. Баронесса, строго следившая за чистотой, велела горничной убрать. Та едва успела выполнить приказание, как мальчик снова загрязнил пол. На этот раз горничная принялась брюзжать. Баронесса попросила мужа дать сварливой особе на чай. Карл Адам заявил, что лишен этой возможности. Сказал, что не дорожит деньгами, но те пятнадцать лундиров, которыми он еще располагает, отложены на первое время жизни в Индии. Этой суммы хватит самое большее на неделю, он твердо решил не прикасаться к ней до прибытия. Во время этого разговора горничная продолжала стоять на месте, не приступала к уборке. Не понимая немецких слов, она, вероятно, все же улавливала их смысл. Видя, что подачки не последует, она ушла, не выполнив приказания баронессы. Марианна сначала хотела жаловаться на девушку, но, поразмыслив, предпочла ласково попросить ее, задобрить, подарив ей недорогую брошку.

Теперь барон к обеду стал одеваться особенно пышно. Гораздо пышнее, чем господин старший советник провинции Мадрас, по-прежнему сменявший один из двух своих сюртуков кофейного цвета на другой. Но атласный камзол Имхофа был слегка потерт, парик — тоже не первой свежести; чопорный мистер Гастингс резко отличался от барона, к невыгоде последнего. Марианна оживленно болтала по-немецки; говоря по-английски, она делала те же

ошибки, что и в первый день. Она видела, что корректный мистер Гастингс так же восхищается ее болтовней на швабском наречии, как и ее неправильной английской речью. Она любила своего мужа и твердо решила стать миссис Гастингс.

Генеральша Клэверинг теперь уделяла много времени барону Имхофу. Но стоило только Марианне приблизиться к ним, как генеральша застывала в принужденной позе, замолкала и вскоре удалялась. Марианна твердо решила, что станет миссис Гастингс и будет первенствовать в пику генеральше.

Спустя три дня Уоррен Гастингс захворал. Преподаватель Артур Сальмон, изучивший медицинские науки, не мог определить, где именно угнездилась болезнь. На всякий случай он прописал жаропонижающие средства; однако истинная причина заболевания чопорного господина заключалась в его бездеятельности; хорошо он чувствовал себя только в неустанной работе, среди треволнений.

Сидя в душной, плохо проветриваемой каюте, Марианна Имхоф ухаживала за больным. Подолгу глядела на его длинный нос, как бы продолжавший лоб — переносица была незаметна — и казавшийся еще много длиннее на исхудалом лице. Вглядывалась в массивный подбородок, в огромный лоб, блестящий, непомерно высокий, — ибо в тридцать девять лет Гастингс уже начинал лысеть. Напряженно внимала словам, срывавшимся с тонких, пересохших губ. Она понимала почти все, понимала, что он говорит об управлении страной, о войске, иногда цитирует кого-нибудь из латинских классиков. В Штутгарте ей часто приходилось слышать латинскую речь, она невольно смеялась над тем, как звучат латинские слова в устах англичанина, и — о чудо! — больной, бесспорно не подозревавший, что она возле него, вторил ее смеху.

Тогда Марианна Имхоф, любившая своего мужа Карла Адама, убедилась, что будет счастлива с человеком, чья фамилия — Гастингс, а имя так трудно произнести, и решила во что бы то ни стало выходить его. С этого дня она стала проводить в его каюте круглые сутки, вызывая этим общее негодование.

Когда Гастингсу стало лучше и его сознание впервые совершенно прояснилось, он попросил зеркало. Он часто бывал в смертельной опасности, благодаря своей невозмутимости выходил победителем из самых тяжелых положе-

ний, его девизом был совет Горация — хранить спокойствие в трудных обстоятельствах. Но сейчас, увидя в зеркале изможденное, обросшее бородой лицо, он заметно испугался и с необычным для него крайним возбуждением стал требовать цирюльника. Марианна не поняла его слов, но угадала их смысл. Руководимая чутьем, она проворно разыскала бритву, взбила мыльную пену и приготовилась побрить его. Он растерянно замахал руками: ведь это было как нельзя более неприлично. Но Марианна упорствовала и в течение сорока пяти минут, причинив Гастингсу всего лишь пять глубоких порезов, вернула ему его прежнее лицо.

Что касается Уоррена Гастингса, то он в продолжение этой процедуры ощущал некую глубокую, непристойную, необычайно приятную ему близость между этой женщиной и им самим. И так же непоколебимо, как он задумал довершить и упрочить завоевание Индии, он решил добиться того, чтобы брак этой женщины с бароном Имхофом, отнюдь не ненавистным ему, был расторгнут, а она стала бы миссис Гастингс.

Когда Гастингсу разрешили выйти на палубу, он попросил барона написать его портрет-миниатюру. Остальные пассажиры нашли несколько странным, что мадрасский старший советник заказывает подозрительному немцу свой портрет, притом еще в двух видах: в скюртке кофейного цвета и в парадном фраке цвета бордо. Впрочем, нельзя было не признать, что маленький человек, с огромным лбом, длинным носом, как бы продолжавшим лоб, — переносица была незаметна, — кустистыми бровями и массивным подбородком, в этом фраке и в пышном парике являл внушительный вид. Даже мальчик Карл возымел некоторое почтение к нему.

Во время сеансов мистер Гастингс беседовал с мистром Имхофом о вопросах немецкого, английского, индусского законодательства, — преимущественно о тех из них, которые касались семейного права. Мистеру Гастингсу нередко приходилось одерживать победы в области политики, стратегии, коммерции; ни одна из них не доставила хмуromу англичанину такой радости, как сообщение, что франконские суды расторгают брак в случаях взаимного нерасположения супругов или различия их темпераментов.

Уоррен Гастингс стал быстро поправляться, — ведь перед ним стояла сложная задача. Многоопытный в длитель-

ных переговорах с людьми Востока, он исподволь стал подбираться к рыхлому фантазеру Имхофу. Барон видел, как англичанин подкрадывается к нему все ближе, и, еще не вступив в борьбу, сознавал, что будет побежден. Марианну он любил, а Гастингс внушал ему почтение. Оба — и Марианна и Гастингс — были энергичнее его. Богатое воображение мешало ему быть энергичным; он видел слишком много возможностей, а потому не мог неуклонно держаться одного и того же пути. При всей приятности брака с Марианной он, будучи фаталистом, готов был, пожав плечами, расторгнуть его с той же легкостью, с какой в свое время заключил. К тому же вся эта история, — будучи фаталистом, он не отказывался это признать, — имела и хорошие стороны. Щедрая рука молодого завоевателя Индия могла даровать умному человеку немало благ. Господин фон Имхоф тщательно раскрашивал и ретушировал свои миниатюры. Гастингсу нелегко было нащупать почву для переговоров. Понадобился целый ряд предварительных инскаптивных собеседований, прежде чем каждый из них с полной ясностью изложил другому свою точку зрения. Оказалось, что они отнюдь не являются непримиримыми. Мистер Гастингс был столь же покладист в денежных делах, как мистер Имхоф — в вопросах чувства.

Когда они пришли к соглашению, барон ночью переговорил с Марианной. Вначале он старался вести разговор в светском, скептически-циничном тоне, но это ему плохо удавалось. Его рыхлое лицо приняло удрученное, старческое выражение, в ту минуту Марианна очень любила его. Она пыталась обратить дело в шутку, звонко смеялась, обнажая мелкие зубы. Но и ей это не удалось. В конце концов она расплакалась. За всю их долгую совместную жизнь Карл Адам лишь второй раз видел ее плачущей; ибо она — редкое исключение в то чувствительное время — не любила слез. На этот раз она плакала так сильно, что подушка промокла насквозь. Она пыталась заглушить рыдания, уткнувшись в подушку, но мальчик Карл проснулся, стал хныкать, требовать лимонаду, шуметь, соседи выражали неудовольствие.

В итоге было решено, что супруги Имхоф из первой же гавани, в которую зайдет судно, отправят в нюрнбергский суд прошение о разводе, а затем останутся в Мадрасе или ином месте, где будет иметь пребывание мистер Гастингс, пока не получат постановление суда о расторжении брака.

Мистер Гастингс брал на себя заботу о том, чтобы супруги могли жить сообразно их положению в обществе, ибо вследствие коренного изменения всех планов мистер Имхоф лишился возможности выполнить свое первоначальное, сулившее столько выгод намерение — писать миниатюры с раджей. Предполагалось, что по получении развода барон вернется в Германию, а маленький Карл останется у матери.

Заклучив это соглашение, супруги Имхоф, маленький Карл и мистер Уоррен Гастингс зажили на корабле дружной семейной жизнью. Барон фон Имхоф примирился со своей судьбой. Гораздо менее примирились с нею остальные тридцать девять пассажиров, меньше всех — генеральша Клэверинг. Теперь она держала себя с бароном Имхофом и мистером Гастингсом так же холодно, как прежде с миссис Имхоф.

2

Прошло, однако, целых шесть лет, пока дело о разводе получило благоприятное разрешение. За эти годы Уоррен Гастингс стал губернатором Бенгалии и первым генерал-губернатором Британской Индии. Довершил завоевание Индии. Наполнил золотом кассы компании. Сломил злостное, упорное сопротивление советников, навязанных ему Лондоном. Для достижения этих целей предал казни через повешение знатнейшего из туземцев. В тех же целях продал истреблению храброе племя, к которому был расположен, ради племени трусливого, которое презирал. Строил дороги. Распределял припасы, когда в стране свирепствовал голод. Был справедлив и несправедлив, подобно великому Гангу.

Марианна Имхоф, живя бок о бок с ним, не задумывалась над всеми этими событиями. В Калькутте она окружила себя княжеской роскошью, блистала нарядами, тратила рупии мешками, получала от туземных властителей и вельмож вынужденные подарки, подносимые с внешним подобострастием и скрытой ненавистью, смеялась, обнажая мелкие зубы, чувствовала свое превосходство над Гастингсом и по-своему любила его, говорила на таком же дурном английском языке, как и вначале, а Гастингс все в ней находил восхитительным. Ее длинная шея с годами стала тощей, черты лица заострились, а маленький Карл превратился в неуклюжего, шумного, назойливого балбеса.

В ту самую пору, когда мистер Гастингс дерзко, гениально и незаконно сломил сопротивление трех своих противников, заседавших в Совете по делам Индии, прибыло постановление нюрнбергского суда о разводе, и Гастингс мог наконец сочетаться браком с миссис Имхоф. Но одним из трех советников, которых он наконец поборол, был генерал Клэверинг. Теперь, когда между ними установилось некое подобие мирных отношений, генералу неловко было бы не присутствовать на бракосочетании губернатора. За два дня до торжества Клэверинг довольно сильно занемог. Генеральша просила извинить ее, ибо она должна ухаживать за мужем. Однако Гастингс, по желанию Марианны, в день свадьбы сам приехал к генералу и с учтивой настойчивостью принудил его и леди Клэверинг принять участие в празднестве.

Марианна Имхоф в течение своей жизни по большей части была счастлива. Она была счастлива в Штутгарте, когда светский, элегантный барон обольстил ее, была счастлива, когда он женился на ней, была счастлива, когда в первый раз приложила к груди малютку Карла. Была счастлива, когда кофейного цвета господин на корабле воспыл любовью к ней; счастлива, когда он в своей карьере поднялся на все большие высоты. Но самым счастливым за всю ее жизнь был тот день, когда деревяннелица генеральша принесла ей свои поздравления.

Впрочем, генерал Клэверинг скончался через три дня после свадьбы губернатора, — потому ли, что празднество чрезмерно утомило его, или потому, что досада вконец истерзала его сердце.

3

Марианна уведомила свою матушку, Сусанну Шапюзе, о том, что вступила в новый брак, и приложила к письму перевод на крупную сумму. Письмо пошло из Калькутты в Плимут и через восемнадцать недель после того, как было отправлено, уже очутилось в руках почтенной Сусанны Шапюзе. Пожилая, надменная дама до некоторой степени разделяла взгляд штуттартского двора, который смотрел на губернатора Индии свысока. Индию там считали чем-то вроде цирка или зверинца, а ее губернатора — некой помесью укротителя зверей и торгаша. В Штутгарте это не могло внушать почтения. В ответном послании, по-

лученном Марианной через десять месяцев после отправки письма из Индии, мать в сердечных выражениях поздравляла дочь, но наряду с этим высказывала опасение, что Марианне, по-видимому, и на сей раз не придется лакомиться вареньем. Она подразумевала густое малиновое варенье, какое в Вюртемберге готовят особенно вкусно.

4

Сэр Уоррен Гастингс, старец семидесяти трех лет, вопреки моде одетый в скромный сюртук кофейного цвета, один шел по прекрасному парку своего поместья Дэйльсфорд. Было раннее июньское утро. Замок Дэйльсфорд, белый, обширный, безмолвный, высился среди огромного парка, над тихим озером. Слуги только что проснулись. Старый джентльмен радовался тому, как хорошо принялись некоторые растения, привезенные им из Бенгалии, досадовал, что другие, с большими хлопотами доставленные из Мадраса, по-видимому, не принесут плодов. Он нагнулся, чтобы прочесть ученое название дерева, старательно выведенное на дощечке: *Nephelium Litchi* — гласило оно.

Солнце медленно поднималось над деревьями. Гастингс направился в маленькую столовую, где подавался завтрак. Стол был накрыт на три прибора. Ему бросился в глаза неказистый глиняный горшочек, каких в Англии не изготовляли. Он улыбнулся. Горшочек, наверно, предназначен для гостя, прибывшей накануне.

Гостя была легка на помине. В столовую, заботливо поддерживаемая Марианной, вошла дряхлая старушка, и Гастингс необычайно почтительно приветствовал ее. То была мать Марианны.

Да, престарелая баронесса Сусанна Шапюзе наконец совершила путешествие из Штутгарта в Дэйльсфорд. Она не видела дочери с того дня, как та в сопровождении Карла Адама фон Имхофа уехала в Нюрнберг. Правда, о ее судьбе она слыхала многое, самые удивительные вещи. Время от времени Марианна и сама давала знать о себе весьма реальным образом: посылкой денег, переводом или наличными. Но мать по-прежнему скептически относилась к чужой, дикой стране, в которой жила Марианна, и не была склонна позволить такой сомнительной личности, как

губернатор Индии, морочить себя. Лишь с того времени, как ее дочь воцарилась в замке Дэйльсфорд, она начала допускать мысль, что брак с этим мистером Гастингсом, пожалуй, и не был мезальянсом. А теперь, по прошествии тридцати пяти лет, семидесятисемилетняя старуха отправилась в дальнюю дорогу — поглядеть наконец, что за особа ее зятя.

Марианна все эти годы прожила в Индии на положении королевы. Доставляла генерал-губернатору, своему супругу, множество неприятностей, улаживать которые ему стоило больших трудов, — неприятностей, проистекавших от ее поступков и речей, которые он находил очаровательными, а когда дело принимало очень уж серьезный оборот — оправдывал недостаточным знанием английского языка. Затем она, по причине расстроенного здоровья, уехала в Англию, а Гастингс еще остался в Индии. В Лондоне ей пришлось столкнуться со многими генеральшами Клевверинг, косо поглядывавшими на сомнительной репутации «разводку», и она приложила величайшие усилия к тому, чтобы эти косые взгляды превратились в благожелательные. Марианна так увлеклась этой задачей, что грандиозный процесс, явившийся следствием обвинений, которые парламент возбудил против генерал-губернатора за его деяния в Индии, прошел почти что незамеченным ею. Она тратила огромные суммы, оказывая щедрую поддержку многочисленным своим дядям, теткам, племянникам, племянницам, кузенам, кузинам, разумеется, и бывшему своему мужу, барону Имхофу, который, вторично женившись, ныне скитался по Германии и Австрии. Она сумела устроить блестящую карьеру своему сыну Чарльзу — толстому, краснолицему увальню. При всем том она и сейчас, в замке Дэйльсфорд, говорила тем же ломаным английским языком, что и на «Герцоге Грэфтоне», речь ее изобиловала все теми же ошибками, ласково поправляемыми сэром Уорреном.

Марианна подвела мать к столу. Старушка благосклонно взглянула на озеро и парк, уселась, окинула накрытый стол довольным взором, с удивлением остановила его на неказистом горшочке, задумалась на минуту, а затем весело расхохоталась. То был настоящий вюртембергский горшочек подлинного густого малинового варенья.

Так они сидели втроем. Гастингс пил чай, Марианна и старая баронесса — кофе. Дамы, улыбаясь, передавали

друг другу горшочек с вареньем, улыбаясь, накладывали варенье на тарелочки. Марианне стоило немалых хлопот получить его из Штутгарта; но она считала излишним говорить об этих трудностях. Зато обе дамы, перебивая друг друга, болтали о великом множестве других вещей — скороговоркой, на бойком швабском диалекте.

Сэр Уоррен находил милую, почтеннейшую матушку своей жены очаровательной. К сожалению, он не понимал ни одного слова из того, что она рассказывала, ибо она говорила только по-немецки, то есть на одном из тех немногих языков, которыми он не владел. Тем не менее он внимательно прислушивался, с ласковой, счастливой улыбкой.

Старушка Шапюзе прогостила всего лишь четыре дня. Затем сэр Уоррен проводил ее на корабль и позаботился о том, чтобы ей предоставили всевозможные удобства. Был к ней почтителен, внимателен, не мог только, к сожалению, обменяться с ней хотя бы единым словом. Он долго глядел вслед кораблю. На обратном пути он в Лондоне посетил главную контору Ост-Индской компании, чтобы дать свое заключение по одному весьма важному вопросу. Он всячески старался сократить эту беседу; ибо ему хотелось поскорее вернуться в Дэйлсфорд, услышать голос своей жены.

ВОЛЬШТЕЙН

Господин Вольштейн был известный торговец картинами. Галерея его, хоть и маленькая, славилась тем, что в ней никогда не выставлялись второсортные произведения.

Господину Вольштейну, коренастому, тучноватому, было уже за пятьдесят. На его мясистом лице, под нависшими веками, виднелись карие грустные глаза, которые, впрочем, иногда глядели весело, с хитрецей. Господин Вольштейн отличался неуклюжестью, в разговоре с трудом подбирал слова и, по собственному его утверждению, был начисто лишен писательского дарования. Обычно он предпочитал выступать в роли делового человека, а не ценителя искусства. И только изредка, когда ему случалось расшевелиться, всем делалось ясно, что хотя он и презирует жаргон критиков-профессионалов, но до тонкости разбирается в живописи и любит ее фанатически.

Мне довелось ближе узнать господина Вольштейна во время одной долгой поездки, когда мы с ним очутились

вдвоем в купе. Кажется, я понравился ему, да и он мне тоже. Господин Вольштейн разговорился и, прощаясь со мной, пригласил меня навестить его как-нибудь вечером. Я принял приглашение. Придя к господину Вольштейну, я увидел его падчерицу, умную, невзрачную девушку лет двадцати пяти. Хозяйева ждали еще одного гостя, и поэтому мы не селись ужинать. Но когда прошло около получаса сверх назначенного времени, падчерица решила, что пора приниматься за еду, господин Фрей, разумеется, не может не опоздать, и мы сели за стол.

Господин Фрей появился, когда мы уже кончали ужинать. Это был человек лет тридцати, художник. Господин Вольштейн заметно оживился, как только он вошел. Господин Фрей не стал извиняться. Держался он резко, надменно и показался мне неприятным. Господин Вольштейн принялся расхваливать работы молодого человека. Он, правда, и критиковал их, но был явно в восторге.

Господин Фрей пробыл с нами недолго. Вскоре он ушел, и молодая девушка стала жаловаться на то, что он доставляет господину Вольштейну много неприятностей. Господин Вольштейн возразил ей, что с этим приходится мириться. Надежды господин Фрей подает огромные, хотя ему надо еще много учиться.

От других я узнал, что, в сущности, непонятно, что именно находит господин Вольштейн в картинах Герберта Фрея. Парень этот удивительно противный. Позднее я прочел о Герберте Фрее в связи с одной скандальной историей.

Вторично я встретился с господином Вольштейном уже в Париже, после того как под властью фашистов немецкое искусство прекратило свое существование. Господин Вольштейн открыл и здесь маленькую галерею, которая быстро завоевала известность. Всякий раз, когда я приезжал в Париж, господин Вольштейн приглашал меня к себе в гости. И всегда я заставал у него некоего Михаила К., молодого поляка, неряшливого, робкого и в то же время надменного. Господин Вольштейн сказал мне, что Михаилу К. надо еще много учиться, но надежды он подает огромные. На меня картины Михаила К., которые с гордостью и восторгом показал мне господин Вольштейн, не произвели сильного впечатления. Как и мои друзья, я нашел их весьма посредственными. Но господин Вольштейн пояснил, что потребуется еще немало времени, покуда

столь своеобразный талант, как Михаил К., достигнет зрелости.

— Конечно,— сказал господин Вольштейн,— «Зеленый старик» написан еще под сильным влиянием раннего Пикассо, но, вы увидите, Михаил К. далеко пойдет, из него вырабатается очень большой художник.

Пока же Михаил К. доставлял господину Вольштейну, и особенно его падчерице, одни огорчения. Он сорил деньгами, и господину Вольштейну приходилось расплачиваться за него. Он сошелся с падчерицей господина Вольштейна, но руками и ногами отбивался от женитьбы. Господину Вольштейну, буржуа до мозга костей, все это было чрезвычайно тягостно. Однако поведение Михаила К. не влияло на мнение господина Вольштейна о даровании художника, и он продолжал оказывать ему материальную поддержку.

Наконец, в августе 1939 года господин Вольштейн позвонил из Парижа в тот маленький городок, где я жил, и сообщил мне, гордый и счастливый, что талант Михаила К. достиг наконец зрелости. Он написал три картины, и в них проявил себя тем большим художником, которого с первого взгляда угадал в нем господин Вольштейн. В конце сентября он, господин Вольштейн, организует выставку Михаила К. И я во что бы то ни стало должен устроить так, чтобы приехать в Париж и присутствовать на вернисаже.

Однако, прежде чем состоялось открытие выставки, Гитлер вторгся в Польшу. Как-то однажды, в дни непонятной «странной войны», господин Вольштейн рассказал мне, что Михаил К. вступил в Польский легион. Сам господин Вольштейн надеется в мае уехать в Америку. Работать в нынешней Франции бессмысленно. Но в Нью-Йорке он, Вольштейн, устроит выставку Михаила К. и, если Михаил К. вернется с войны, весь мир уже будет знать, какой это художник.

Следующее мое свидание с господином Вольштейном состоялось в концентрационном лагере Ле-Милль под Эксом. Фашисты заняли Голландию, и французы посадили в лагерь всех нас — немцев, чехов, поляков, голландцев и тех, у кого вообще не было гражданства. Условия в лагере Ле-Милль были достаточно скверные, так что все мы получили полную возможность показать, чего мы стоим.

Господин Вольштейн стоил многого. И он с честью выдержал испытание. Он был само спокойствие и терпение,

он помогал всюду, где только мог. Кроме того, он был чрезвычайно изобретателен и умел извлечь все, что возможно, даже из самых скверных обстоятельств. Никогда не забуду, как он ухаживал за мной, когда я заболел дизентерией.

Несмотря на внешнее спокойствие господина Вольштейна, я заметил, что его гнетет какая-то забота. После долгих вступлений он поведал мне наконец свое тайное горе. Он хранит при себе, сказал господин Вольштейн, весь свой основной капитал, свои самые ценные картины. «Вот они», — сказал он, видя, что я смотрю на него с недоумением, и показал мне пачку багажных квитанций. Я по-прежнему ничего не понимал. Тогда он рассказал мне, что, решив бежать из Парижа, он вынул из рам свои наиболее ценные картины и тщательно спрятал их в стенках чемоданов, то есть поместил между подкладкой и стенками. Чемоданы он отправил до востребования в самые разные пункты центральной и, главным образом, южной Франции. Всего он отправил восемнадцать чемоданов с двадцатью девятью картинами, среди них Матис и Пикассо, которых я знаю, и еще оба маленьких Дега, и Тьеполо, и спорный Франц Гальс. Но самое главное — среди них находятся три картины Михаила К. Что бы ни случилось впоследствии, сейчас картины недосытаемы для фашистов. Состояние господина Вольштейна и творчество Михаила К. покамест спасены.

Теперь я понял, почему господин Вольштейн так озабочен. Его великолепные полотна рассеяны по всей Франции, отданной во власть врагу, и ключ от этого сокровища хранится у него одного, ключ в виде багажных квитанций. Художник К. находится в Польском легионе, сражается бог знает где, быть может, даже убит. О своей падчерице господин Вольштейн не имел никаких сведений, вероятно, ее засадили в лагерь. Среди всеобщего крушения и гибели мы, заключенные Ле-Милль, не могли рассчитывать на связь с волей. И поэтому у господина Вольштейна не было никакой надежды получить по квитанциям свой багаж. Кроме того, торопясь осуществить этот маневр, он не успел составить опись картин, хранящихся в каждом из чемоданов. Так что, появившись у него возможность взять какой-нибудь чемодан, хотя бы тот, что отправлен в Монпелье, он все равно бы не знал, что в нем находится. Господин Вольштейн сказал мне, и я согласился с ним, что «спасти Матиса или Пикассо важно, но еще важнее спасти три

картины Михаила К. Ибо кто такой Пикассо или Матис, известно всем; а вот кто такой Михаил К., знаем только мы, да я, да он сам».

Ситуация становилась все более напряженной. Париж пал, фашисты продвигались в глубь страны, они стояли уже под Лионом. И нам, заключенным, грозила смертельная опасность. Наконец, в последнюю минуту, французы решили перевезти нас в самую крайнюю юго-западную точку страны и оттуда отправить морем. Но они опоздали. Перемирие было объявлено, и фашисты потребовали выдачи многих из нас. Очень может быть, что господин Вольштейн и я тоже стояли в их списках. Во время всего нашего жуткого переезда господин Вольштейн не расставался со своими квитанциями. Он по-прежнему ничего не знал ни о своей падчерице, ни о судьбе Польского легиона, ни о художнике К.

Дни тянулись за днями. Ночи, как бы коротки они ни были, казались нам бесконечными. Опасность быть выданными фашистам все надвигалась. Наконец американским друзьям удалось самым фантастическим образом вырвать меня из лагеря. Спрятанный друзьями, я скрывался в Марселе, дожидаясь возможности перейти границу.

И вот такая возможность представилась. Друзья мои поработали на славу. В указанную ночь по указанной тропинке я должен был последовать за проводником, хорошо знавшим здешние места, и попытаться перейти границу. Я спросил, можно ли мне захватить с собой еще кого-нибудь. Друзья колебались и — разрешили.

По моей просьбе они связались с господином Вольштейном и добились для него увольнительной из лагеря на десять часов, якобы для визита к врачу в Марселе. И покуда конвойный караулил у дверей врача, друзья привели господина Вольштейна ко мне.

Я изложил ему суть дела. Господин Вольштейн покачал своей тяжелой, массивной, хитрой, многодумной головой...

— Благодарю вас сердечно, — сказал он, — но я не могу уехать. — Нет, не трудности и опасности, ждавшие нас, испугали этого уже немолодого и неповоротливого человека. — Вы понимаете, багажные квитанции...

Нет, я не понимал, я не мог понять, как такой человек может настолько любить собственность, чтобы рисковать жизнью, лишь бы спасти свое достояние. Я принялся

толковать господину Вольштейну, что вряд ли ему представится вторая возможность бежать, что, если он останется, его ждет гибель. Он ответил:

— Дело не в Матисе, и не в Тьеполо, и не в Пикассо. Дело в картинах Михаила К.

— Да ведь вы даже не знаете, жив ли он,— сказал я.

— А если он погиб,— упрямо возразил господин Вольштейн,— значит, тем более важно спасти его произведения. Вашим друзьям,— продолжал он,— удалось получить четыре моих чемодана. Окажись в них хоть одна картина Михаила К., я, может быть, из трусости дал бы себя уговорить. А так я должен остаться.

— Но не можете ли вы передать квитанции моим друзьям? — предложил я. — У них больше возможностей, чем у вас.

— Ваши друзья,— ответил он,— несомненно, сделают все для спасения жизни человека. Но кто захочет понять, что спасти жизнь картины, может быть, еще важнее.

После путешествия, полного самых неожиданных приключений, я приехал в Лиссабон. Здесь мне пришлось на несколько дней задержаться. В последний день я зашел в американское посольство, и там меня ждала весть от господина Вольштейна. Он обиняками давал мне понять, что ему удалось спасти одну из картин Михаила К. Сам господин Вольштейн все еще находился в лагере Ле-Милль.

Я благополучно добрался до Америки и принялся доносить друзей просьбами помочь господину Вольштейну. Обращался я и в Красный Крест, и в самые разные комитеты. До нас доходили слухи то об одном, то о другом заключенном или беженце, которые были выданы фашистам, и количество этих жертв непрерывно росло. Получать достоверные сведения из французских концентрационных лагерей становилось все труднее, и несколько месяцев я ничего не слышал о господине Вольштейне. Я потерял всякую надежду.

В октябре прошлого года, в Сан-Франциско, мистер Дональд В.-Б., большой любитель искусства, показал мне свою коллекцию. Внимание мое привлекла одна картина, простая и сильная. Этот цвет, этот рисунок — я ведь знал их. Но кто же автор картины? Как оказалось, ее написал некий Герберт Фрей.

Я поднял глаза, стараясь припомнить. Герберт Фрей? Уж не тот ли это художник, которого я видел у господина

Вольштейна?.. Да, подтвердил мистер Б., Герберта Фрел открыл немец, торговец картинами, некий господин Вольштейн. Господин Вольштейн уже трижды чрезвычайно горячо рекомендовал мистеру Б. молодых художников, и из них действительно вышел толк.

Я рассказал Б. о судьбе господина Вольштейна. Мистер Б. был богат и чрезвычайно влиятелен.

— Да ведь это же просто скандал, — сказал он, — если мы не вытащим господина Вольштейна из проклятого дерьма. Я лично займусь этим делом.

Незадолго до того, как Америка вступила в войну, я получил подробное письмо от господина Вольштейна. Он был в Лиссабоне, в безопасности. Из его картин ему удалось спасти пять, в том числе и одну картину Михаила К. Художник К. жив, но был ранен перед самым перемирием, так что ему пришлось ампутировать правую руку. Но художник К., — писал господин Вольштейн, — будет писать левой рукой.

ПОСЛЕ СЕЗОНА

Пожилой господин невысокого роста, с суровым лицом и развевающимися седыми волосами, похожий на актера или на художника, гулял по берегу озера Фертшау. Он был одет в добротный старомодный, чуть-чуть слишком длинный пиджак, галстук был небрежно повязан, широкополая шляпа помята; в том, как он шел, заложив руку за спину, сказывался человек значительный и привыкший внушать почтение. К тому же он отнюдь не был прижимист и не дрожал над каждой десятишиллинговой бумажкой. И, однако, местные жители за спиной приезжего отпускали на его счет грубоватые, мало лестные для него остроты. Сезон выдался неудачный, а на одном старике не очень-то можно было разжиться. В противоположность Германии, маленькая Австрия стабилизировала свою валюту; это значительно удорожило для приезжих из Германии жизнь в Фертшау, облюбованном ими уголке Каринтии, и курорт, посещавшийся по преимуществу немцами, в этом году не мог похвалиться обилием гостей. Вдобавок лето было дождливое. Сезон кончился раньше времени. В гостинице «Манхарт» большая часть служащих уже была уволена, главное здание закрыто. Ресторан был переведен в пристройку. Кафе и кондитерская бездействовали.

Купальной еще можно было пользоваться; но никто уже не обслуживал посетителей, им предоставлялось устраиваться по своему усмотрению. Филиалы венских магазинов уже закрылись; парикмахеры, музыканты, кельнеры — все те, чьи профессии носят сезонный характер, вернулись в столицу, брюзжа и досадуя.

Пожилой господин шел по красивой береговой аллее, усталой опавшими листьями, мимо вилл с наглухо закрытыми ставнями. Он изо дня в день совершал эту прогулку. Купальные кабинки были заперты, лодки вытаснены на берег. Один лишь моторный катер паровой компании лениво тащился по залитому солнцем озеру. Местные жители слонялись без дела и злились. В том, что теперь, когда лето кончилось, установилась такая теплая, на редкость прекрасная погода, они видели жестокую насмешку. Некому было платить за красоты природы! Во всем курорте едва ли наберется сотня приезжих.

Невысокого роста пожилой господин шел медленно и важно, наслаждаясь приятным теплом. Озеро, подернутое рябью, было окрашено в блеклые тона. Лесистые горы, а за ними — вершины, покрытые свежим снегом, четко обрисовывались на нежно-голубом небе. Садовник укутывал молодые деревца в рогожу, какой-то другой человек, в одном жилете, заколачивал большими гвоздями кабинку. Они поздоровались с приезжим. Поглядеть ему вслед было для них желанным предлогом на минуту-другую прервать неторопливую свою работу. Они позубоскалили на его счет, им показался смешным низенький человек с важной осанкой и лягушечьим ртом. Они уже успели разузнать о нем то, что могло представить интерес; этого было не так уж много, при всем желании не о чем было долго судачить. Его звали Роберт Викерсберг, столовался он в гостинице «Манхарт», жил на вилле Кайнценхубер. Там он один занимал две комнаты и, не торгуясь, платил ту непомерно высокую цену, которую с него запросила советница Кайнценхубер. Если бы он не согласился платить такие деньги, местные жители ругали бы его на чем свет стоит; то, что он согласился их платить, представлялось им нелепым чудачеством.

Пожилой господин тем временем, держа шляпу в руках, подставив седую голову ветру, обнажив зубы, выступавшие вперед косо, словно кровельные черепицы, дошел до конца аллеи. Там находилась небольшая площадка со

скамейками и бюстом местного уроженца, композитора Матиаса Лайшахера, автора песен, стяжавших славу далеко за пределами его родины. Пожилой господин остановился перед бюстом и долго вглядывался в него. У Лайшахера, по-видимому, было полное, мясистое лицо и густые усы; бронзовому бюсту не удалось изгладить безнадежную пошлость, выраженную в чертах лица популярного композитора. Лайшахер в свое время был главой квартета, составленного им из своих земляков, сам пел в нем, квартет прославился, выступал в Европе и за океаном, загребая деньги и пожиная славу. Пожилой господин смотрел на бюст сосредоточенно, без улыбки, мысленно представляя себе, как этот человек сообща с тремя другими, облаченными во фраки мужчинами распевал в переполненном концертном зале свои чувствительные мелодии. Он представил себе это не улыбнувшись и так же, без улыбки, прочел выпретенную надпись, в напыщенных выражениях прославлявшую пошло-сентиментальную музыку знаменитого уроженца Фертшау.

От площадки с бюстом крутая тропинка, заросшая, уединенная, вела прямо в лес. Пожилой господин стал взбираться по ней. Он давно уже тосковал по уединению и сознательно искал его теперь. Да, его звали Роберт Викерсберг, и это имя было очень известно, хотя местные жители никогда его не слыхали. Роберт Викерсберг слыл одним из немногих подлинных поэтов своей страны, а многие считали его первым из них. Он жил замкнутой, тихой жизнью в небольшом городке, в кругу преданных своих приверженцев. Очень утомительно жить так в течение долгих лет, высказывать взгляды, неизменно ко многому обязывающие, быть вынужденным всегда помнить о своем главенстве, постоянно сознавать, какую ответственность налагает каждое слово, хотя бы невольно вырвавшееся, каждый поступок. Как ни презирал Викерсберг мнение толпы, оно все же доходило до него, и хотя газеты и не имели доступа в его дом, но почитатели сообщали ему, что в них написано. Можно замкнуться в своей башне из слоновой кости, но ведь за ней расстилается весь мир; он виден с ее высоты, и это зрелище терзает душу. Нужно когда-нибудь отдохнуть от всего этого, от незримого владычества над своими приверженцами, от созерцания, хотя бы издалека, Страшного суда, на земле свершающегося. Вот почему он внезапно, никому не сообщив, куда держит путь, отправился

в Фертшау, рассчитывая, что это один из немногих уголков страны, где его имя никому не известно.

Он поднялся до самого верха, сел на скамью, с которой открывался вид на окрестности, обвел взором красивый, но не вызывающий волнения пейзаж. Уже шестой день, как он здесь. Он проходил среди людей — медлительных, грубых, корыстных и простосердечных, подобный властелину, о могуществе которого никто не подозревает; то тут, то там садился на скамейку, любовался видом, лежал в лесу, плавал, катался на лодке. Все в меру, как и у себя дома. Именно так он и предполагал; а вместе с тем — все это было и несколько иначе, чем он предполагал. Дома ни одна газета не должна была попадаться ему на глаза. Здесь ему стоило больших усилий не заглядывать в провинциальные листки, получаемые в отеле. Дома к нему не допускались посторонние, а друзья вели счет каждому своему слову, чтобы не докучать ему. Здесь он по утрам беседовал со своей хозяйкой, советницей Кайнценхубер, а за обедом — с директором гостиницы «Манхарт». Он имел обыкновение пить чай, поэтому советница Кайнценхубер обстоятельно изъясняла ему вкусовые преимущества и полезные свойства кофе, сваренного по-австрийски. Директор гостиницы разглагольствовал об австрийских винах, особенно расхваливая дешевые сорта, о плохом сезоне и его последствиях и, наконец, о композиторе Матиасе Лайпахере, одна из рукописей которого находилась во владении директора. То была рукопись сентиментальной песни, повествовавшей о том, как двое влюбленных тихим летним вечером плыли в челне по озеру и остались верны друг другу до гробовой доски. Директор уже два раза показывал ему рукопись, вставленную в дорожную рамку.

Поэт Роберт Викерсберг взглянул на часы, встал и отправился обедать в гостиницу «Манхарт». Установленный для трапезы час еще не наступил. Однако немногочисленные завсегдатаи все уже были налицо. Ибо здесь, да еще в такое тихое время, ожидание очередной трапезы было единственным занятием, помогавшим скоротать день. Господин Викерсберг оглядел собравшихся. Среди них были мелкие буржуа, служащие, стенографистки высшего разряда, затем еврейская супружеская чета из Вены, адвокат, производивший впечатление человека неглупого и изнеженного, в сопровождении полной, подвижной дамы, далее — говорившее с сильным саксонским акцентом семей-

ство: муж, хорошо одетый, жена, державшаяся несколько надменно, и молоденькая, шумливая, миловидная дочь. Посетители, наверно, уже осведомлялись о том, кто этот пожилой господин с такой оригинальной наружностью. Вероятно, узнали его фамилию, но то, что незнакомца зовут Роберт Викерсберг, — вряд ли что-нибудь говорило им. Он всегда насмеялся над мнением света, надменно отказывался разговаривать с интервьюерами, позировать фотографам и все же был слегка задет тем, что посетителям гостиницы его имя ничего не говорило.

После обеда он пошел в купальню. Там было совершенно пусто. Он разделся. Его холеная кожа еще не утратила гладкости. За последние дни она от солнечных ванн покраснела, завтра она покроется загаром. Роберт Викерсберг поднялся на открытую галерею, натерся мазью и лег на дощатый настил. Закрыв глаза, вытянулся, подставил тело жаркому солнцу. Озеро тихо плескалось, слышно было, как где-то вдали стучал молоток человека, заколачивавшего кабинку. Высоко в небе парил самолет, его гудение едва доносилось вниз, то был пассажирский самолет, курсирующий между Веной и Венецией. Собственно говоря, можно было бы опять съездить в Венецию. Нет, там, без сомнения, найдутся люди, которые узнают его. Перелет над горами, из Вены сюда, был очень приятен. В сущности, он ведь здесь нашел именно то, чего искал. Для его здоровья эта местность тоже оказалась вполне подходящей; давно уже он не ощущал такой бодрости. И, наверно, здесь, в отвечающей его желаниям атмосфере скуки, ему удастся осуществить свои замыслы. Драма «Асмодей», два действия которой уже закончены, по-видимому, выльется в нечто значительное. Он еще не исписался, он еще не стар. В прошлом столетии человек в пятьдесят — шестьдесят лет уже сходил со сцены. В наши дни дело обстоит иначе. Статистические данные показывают, что средняя продолжительность жизни неуклонно повышается. Он вел воздержный образ жизни, разве что немного пил. Но он и не думает уходить на покой, до этого еще далеко. То красочное, изысканное, строгое искусство, которое он возглавляет, не раз уже объявляли отжившим. А затем волна, стремительно нахлынувшая, спадала, и оказывалось, что это искусство непреходяще, что оно вечно. Его приверженцы немногочисленны, но ряды их не поредели, и все это — избранные люди. Даже газеты это признают. Молодому по-

колению, дерзко высмеивающему его, придется еще испытать немало разочарований. Было — он этого не отрицает — несколько лет, когда его творчество, казалось, шло на ущерб. Но сейчас он вновь ощущает прилив сил. Ведь стало бы скучно, если бы все уже было достигнуто. Хорошо, что еще встречаются кое-какие трудности, которые надо преодолеть. «Асмодей» убедит многих, в том числе и кельнера Франца.

Когда поэт Викерсберг вспомнил о кельнере Франце, его лицо страдальчески сморщилось. Кельнер Франц — его больное место. Он служит старшим кельнером в городе, где живет Викерсберг, в кафе, завсегдатаем которого он был в течение сорока лет, куда и теперь, в годы мировой своей славы, все еще заходит каждые два месяца. Кельнер Франц почти все это время прослужил там и, казалось, должен был быть признателен поэту за многое — за наплыв посетителей, за чаевые, ими расточаемые, за домогательства интервьюеров. Но кельнер Франц — это сознание словно червь гложет сердце Викерсберга — не верит в него. Кельнеру Францу приходилось слышать резкие о нем отзывы. Не одна битва разыгралась, не одна рана была нанесена поэту, прежде чем он был возвеличен, стал божеством тех, кто его окружал; некоторые лица, — одни из них и поныне принадлежали к тем немногим, кого божество удостоивало общения, другие давно были им отринуты, — в те времена выражали свое мнение в самой грубой форме. Кельнер Франц не раз слышал, как стихи поэта Викерсберга, словно из мрамора изваянные, именовались кропательством, презренными виршами. Если бы Викерсберг мог предположить, что только эта непристойная брань заставляет кельнера Франца сомневаться в нем, эти сомнения не уязвляли бы его. Но он отлично знал, что кельнер Франц всегда составляет себе собственное мнение, не опрометчивое, не поверхностное, а такое, какое приличествует человеку опытному и большому знатоку людей. Он никогда не высказывал этого мнения поэту Викерсбергу. Он был прекрасно вышколенный кельнер и знал, как ему надлежит себя вести. Но поэт Викерсберг в чертах лица кельнера Франца, в том, как тот подавал ему кофе, умел читать его мысли. И хотя временами драмы Викерсберга выдерживали по многу тысяч представлений, хотя они переводились на все языки белой расы, шли даже на японской сцене, кельнер Франц не изменялся. Был все так же учив,

все так же услужлив и держался все того же мнения. Оба они знали, как обстоит дело, хотя никогда ни одного слова не проронили об этом. Один-единственный раз,— вскоре после празднования пятидесятилетия со дня его рождения, у ног поэта еще клубился фимиам, во славу его воскуренный всем гуманистически мыслящим миром,— он спросил кельнера, когда тот подавал ему пальто:

— Ну что, Франц, все то же?

Но кельнер только печально взглянул на него и с сожалением пожал плечами.

Вот о чем думал поэт Викерсберг в безлюдной купальне курорта Фертшау, и эти мысли докучали ему. Но досада таяла на солнце. Ему вспоминались стихи о пустыне в действе о Соломоне и Асмодее,— стихи, в которых желтые дали пустыни запечатлены были навек. Он лежал на горячих досках, его немолодое холеное тело лоснилось от мази и испарины, им овладевала сладкая истома.

Кто-то вошел в купальню. Роберт Викерсберг приподнялся на горячих досках, сощурившись, перегнулся через перила. Это пришла молоденькая саксонка из ресторана. Она прибежала в купальном костюме и накинутом поверх него купальном халате. Взглянула наверх, улыбнулась, ожидая, что он заговорит с нею. Так как он молчал, она осталась внизу и улеглась на самом солнцепеке.

Саксонка миловидна, изящна, очень стройна. Глаза у нее узкие, удлинённые, их синева чуть глуповата, она премило смеется. Но какое ему дело до нее? Сейчас он предается сладкой истоме, а в остальном — его занимают творческие замыслы. Он в ударе, тем, кто пытается умирить его, предстоит нелегкая задача. Его замыслы прекрасны.

Его замыслы бессильны. «Асмодей» мог, пожалуй, вылиться в нечто значительное. Вначале новое творение представлялось ему отчетливо, в ярких, сочных красках. Он мог без рисовки сказать, что сцена, где царь взамен себя сажает на престол демона, а сам, обуреваемый желанием до конца изведать все человеческое, удаляется к самым ничтожным людям, живущим на краю пустыни, достойна его дарования. Первое действие он написал в один присест. Оно прекрасно удалось ему; вдохновение било ключом, ничего не приходилось выжимать из себя. То, что он создал, вполне совпадало с образом, витавшим перед ним, дышало жизнью, цвело пышным цветом. Но продол-

жение не спорилось. Оно началось вяло — и осталось вялым. Три, четыре раза он снова брался за работу. Еще один-единственный раз он испытал подъем — и создал ту желтую песню о пустыне. Но все остальное не обрело мелодии, было все так же вымучено, сухо, безжизненно. Никто, по всей вероятности, этого не заметит, кроме него самого. Он в совершенстве владеет формой, под его рукой даже полый, тусклый щебень приобретает обличье мрамора, благородный его блеск. Но щебень остается щебнем, и Викерсберг это знает.

Что бы ни было: стихи о пустыне хороши, на них — печать его мастерства, мастерства его лучших лет. Пусть нынешние молодые крикуны попробуют с ним соперничать! Он потянулся, вытер не слишком обильный, приятный пот, вторично натерся мазью, повернулся на другой бок, скрестил руки на затылке, запрокинул голову. Те несколько дней, что он здесь, пошли ему на пользу. Здесь им были созданы стихи о пустыне. Да, его выбор оказался удачным. Тихое Фертшау — на эти недели самое подходящее для него местопребывание. Правда, здесь обитают какие-то нелепые люди — полные корысти, бездушные и тупые. Но место все-таки хорошее, и, быть может, когда-нибудь скажут: «Здесь Роберт Викерсберг создал свою драму «Соломон и Асмодей».

В сущности, он здесь мог бы слегка отступить от суровых своих привычек; мог бы иной раз позволить себе заглянуть в газету, уделить немного внимания молоденькой саксонке. Его так мало соблазняет жизнь, наполненная низменными интересами, что мимолетное к ней приобщение способно лишь оттенить благотворную суровость привычного ему образа жизни. Он встал, подошел к перилам. Да, саксонка все еще лежит на солнце, стройная и миловидная в купальном своем костюме. Он спустился с галереи. Она повернула голову и посмотрела на него, сощуря глаза. Он прошел мимо нее, она проводила его рассеянным взглядом. Он обрызгал себя водой, чтобы поостыть, затем осторожно сошел с лесенки, погрузился в озеро, поплавал несколько минут. Снова вскарабкался по лесенке вверх, долго, старательно отряхивался. Поднялся на галерею, взял свой халат, закутался в него, перегнулся через перила, сверху оглядел саксонку, лежавшую все там же, на солнцепеке.

Вдруг она, лениво сощурившись, снизу обратилась к нему:

— А почему вы не прыгнули с разбегу?

Несколько озадаченный, он стал искать объяснения и в конце концов ответил — не слишком убедительно:

— Мне кажется, это более благоразумно.

Она продолжала:

— Мне было бы скучно вползать в воду таким манером — рассчитывать каждый миллиметр.

Они обменялись еще несколькими банальными фразами. У нее был сильный саксонский акцент, то, что она говорила, сводилось к пустой болтовне. Но поэт Викерсберг нашел, что в ее облике чувствуется интеллигентность, да и приятно было смотреть, как она умеет нежиться на солнце. Неожиданно она перешла в наступление:

— Чего ради вы приехали в Фертпау? Ведь взрослому мужчине тут должно быть смертельно скучно.

— А может быть, я хочу скучать? — сказал Викерсберг.

— И поэтому беседуете со мной? Какой вы невежа, — бойко ответила девушка.

Поэта Викерсберга ничуть не смущало ее саксонское произношение. Он спросил:

— Если вам здесь скучно, почему вы не уезжаете?

Она совсем просто ответила ему, что никак не могла убедить родителей поехать в какое-нибудь другое, более оживленное место. Ее отец, дрезденский фабрикант, желает во время летней своей поездки наслаждаться покоем и природой. Однако она добилась того, что через две недели они поедут в Венецию. Вдруг она ловким движением вскочила на ноги, заявила, что ей слишком жарко, кинулась в воду, головой вперед. Оставалась там недолго, вскоре вернулась к нему, визжа, обдавая его брызгами.

Роберт Викерсберг знал, что обычно притягательной силой для женщин является в нем его творчество, его имя, его успех, иной раз, быть может, и его влияние. Его радовала мысль, что для этой девушки он всего лишь некий господин Викерсберг, что он нравится ей, и не будучи возвеличен своим творчеством.

Она доверчиво подсела к нему, прехорошенькая в мокром костюме, стала рассказывать о себе. Ее родители — состоятельные люди, но ведь очень уж скучно вести жизнь благонаправленной девушки из хорошей семьи, с перспективой, в будущем, буржуазного замужества. Она учится пению. Хочет поступить в оперетку или — еще лучше — в варьете.

Она мечтает уехать в Берлин. Там она наверно устроится. Она ведь красива. Родители, несомненно, сдадутся, когда она поставит их перед совершившимся фактом. Все это она рассказывала скороговоркой, со своим смешным саксонским акцентом. Викерсберг слушал. Она рассуждала здраво; она не думает, что у нее большой талант; но с рядовыми «герлс» из оперетки она вполне может померяться.

— Или вы находите, что я недостаточно красива для берлинского «обозрения»?

Она действительно была красива. Звали ее Ильза.

Они условились, что после ужина еще погуляют вместе. Родители, вероятно, будут слишком утомлены, чтобы их сопровождать; если же нет — придется скрепя сердце дать им трусить за собой, на некотором расстоянии. У них уже появился общий секрет.

Викерсберг поехал в Фертшау в дурном настроении. Его не тешили собственные успехи, не радовали даже неудачи молодых. Ему не хотелось писать, не хотелось и читать. Ни тихое озеро, ни четкая линия гор, ни даже ощущение собственной, тщательно им лелеемой бодрости — ничто его не радовало. Теперь он прошел по аллее ускоренным шагом. Разговорился с продавщицей фруктов. Купил в лавочке венские газеты. С интересом пробежал многословную болтовню, остался весьма доволен язвительным анекдотом об одном коллеге и благоговейным упоминанием своего собственного имени. Посидел на скамейке, отбивая изящной, слегка увядшей рукой такт мелодии, вдруг ему вспомнившейся. Местные жители, проходя мимо, покачивали головами, думали, что он не в своем уме.

Он пошел домой, вторично побрился, переменял пиджак и воротничок, обратился с несколькими приветливыми словами к старой советнице Кайнценхубер, которая нашла, что сегодня он премил, чрезвычайно любезен. Во время ужина вступил в обстоятельный разговор с директором гостиницы, попросил его, весьма этим польщенного, еще раз показать ему рукопись композитора Матиаса Лайшахера. Выпил приятного на вкус австрийского вина. Сказал бойкой, полной кельнерше что-то старомодное, отдаленно напоминавшее цветистый комплимент; она, смеясь, ответила ему, задорно и многозначительно.

Наконец настал час прогулки, о которой они днем сговорились. Родители, как и предполагалось, после нескольких искусных маневров затрусили где-то впереди, он и

саксонка оставались в темноте. Но она была совсем не та, что днем, — капризничала, говорила резко, нелюбезно. Он с досадой вспомнил, что у него седая голова и чопорный вид. Она спросила его, чем он занимается. Он уклончиво ответил, что пишет о разных вещах. Она сказала:

— Если вы пишете в газетах, вы ведь могли бы мне помочь.

Он ничего на это не ответил, а она, очевидно решив, что он прихвастнул, стала говорить ему колкости.

Он увидел, что без упоминания о своих книгах ему никак не обойтись, ощутил соблазн объяснить ей, кто он, но тотчас устыдился. Неужели он для того приехал в этот тихий уголок, чтобы завести глупейший флирт с девчонкой, каких на свете тысячи? Папаша-саксонец будет прав, если станет потешаться над ним, седовласым ослом. Поэт Викерсберг приумолк.

— Вы устали, с вами скучно, — неодобрительно заявила саксонка.

На следующий день он снова был угрюмым, одиноким пожилым господином. Совершил обычную свою прогулку, долго и мрачно вглядывался в бюст композитора Лайшахера, катался на лодке. В купальне ему, разумеется, повстречалась саксонка. Но она была не одна. Рядом с ней лежал молодой человек в купальном халате, вызывающе шумливый, как показалось господину Викерсбергу. Она смеялась, была оживленна, по-видимому, разговор очень забавлял их обоих. По всей вероятности, она потешалась над ним с этим противным юнцом. Это ее право. Впрочем, это ведь совершенно безразлично. Он закрыл глаза, было приятно лежать на солнце. Еще приятнее было бы, если бы оно грело только его одного. Болтовня и хохот молодых людей мешали ему.

Немного погодя он спустился вниз поплавать. Саксонка окликнула его. Завязался малозначительный разговор, в котором принял участие и юнец — с добродушием и учтивостью, свойственными австрийцам. Говорили о купанье, о живописном островке, расположенном как раз напротив. Во время сезона на островке открывался маленький ресторан. Многие ездили туда на лодке, часть пути некоторые проделывали вплавь. Очень ли утомительно проплыть все расстояние? Юнец сказал, что для него это был бы суший пустяк. Господин Викерсберг заявил, что недурно плавать, но давно уже не тренировался. Саксонка взглянула на него

своими удлинёнными, небольшими темно-синими глазами, потом взглянула на юнца:

— Отговорку ведь нетрудно найти, — сказала она.

— Вы думаете, я не смогу доплыть? — спросил Викерсберг.

Она снова взглянула — сначала на него, затем на юнца, пожала плечами. Она была очень мила в купальном костюме — стройная, свежая.

Роберт Викерсберг стал спускаться в воду по деревянным ступенькам. Одна из них была сломана, он довольно неизящно бултыхнулся в воду. Саксонка рассмеялась. Поэт Викерсберг проплыл небольшое расстояние ровными взмахами, пробуя свои силы, затем лег на спину. Час был предвечерний. Воду нельзя было назвать теплой, чувствовалось, что осень близка. Саксонка и юнец свесились через перила, они что-то кричали ему. Он взял курс на островок.

Он плыл спокойными, равномерными взмахами, время от времени ложась на спину, чтобы передохнуть. Он в самом деле был опытный пловец, в южных морях он в свое время преодолевал гораздо большие расстояния. Конечно, в этом альпийском озере вода не так хорошо держит пловца, а к тому же становилось чертовски холодно. Он поплыл быстрее, чтобы согреться; испытывал животную радость от воды, от быстрого движения, давным-давно забыл о саксонке. До островка уже совсем близко. Он снова повернулся на спину, лежал, закрыв глаза, слегка покачиваясь на волнах, с глуповатым, сосредоточенным, детским выражением лица. Над ним расстилалось по-вечернему белое небо. Он проплыл последний небольшой кусок, вступил на остров с таким гордым чувством, словно окончательно совладал с «Асмодеем». Вскоре ему стало очень холодно, его пробрала дрожь. Какая гнусность, что этот дурацкий ресторан закрыт! Он бегал взад и вперед, размахивая руками, камни и галька на берегу ранили его босые ноги. Ему никак не удавалось согреться.

Он нехотя снова вошел в воду. Сумерки сгущались, стало очень холодно. Он плыл быстро, сильными взмахами, глубоко погружив в воду подбородок. Немного погодя он сказал себе, что ему нужно расчетливо тратить свои силы. Дать размах! Вперед! Замедлить движение! Сначала он отсчитывает триста взмахов, потом проплывет некоторое расстояние кролем. А сейчас, несмотря на холод, он должен

передохнуть, иначе ему не справиться. До чего омерзительен этот встречный ветер! Проклятые барашки то и дело заливают рот и уши. Из-за ветра ему придется потратить лишних четверть часа, если не больше. Берег все время как будто удаляется, вместо того чтобы приближаться. Наверное, тут какое-то течение, которое его относит. Уже совсем стемнело, черт его знает сколько времени он плывет. Скверно! Теперь одно — не торопиться. Действовать благоразумно! Не расточать ни силы, ни время. Держать курс на огонек — там, вдали! Не уклоняться от этого направления ни на один сантиметр, не делать ни одного лишнего движения! Равномерно, спокойно, глубоко дыша, с сильно бьющимся сердцем, приподняв затылок, он пробивался сквозь холод и мрак.

Посиневший, заоченелый, он ухватился за ступеньку лесенки, ведущей в купальню; с невероятными усилиями, весь дрожа, крепко держась за перила, взобрался наверх. Постоял, тяжело, прерывисто дыша. Потом стал изо всех сил растирать себе тело, лицо его оставалось застывшим. Уже наступила ночь, в купальне никого не было, саксонка и юнец давно ушли. Озеро мрачно, неприветно чернело перед ним. Дул ветер, луны не было.

Роберт Викерсберг кое-как, второпях оделся. Пошел домой, заказал советнице Кайнценхубер, потихоньку ворчавшей, стакан глинтвейну, лег в постель. Ночью он плохо спал, ощущал разбитость и озноб, утром предпочел не вставать. К полудню жар настолько усилился, что советница встревожилась и вызвала кого-то из соседей. Решили отвезти пожилого господина в больницу, в соседний городок Кальтенфурт.

В этой больнице среди более молодых врачей нашелся такой, который почитывал книги. Имя Викерсберга ему было знакомо. Он внимательно оглядел незаурядную голову с лягушечьим ртом и убедился, что пациент и поэт — одно и то же лицо.

На другой день местная газетка сообщила, что известный поэт и драматург Роберт Викерсберг, приехавший в Фертшау отдыхать, серьезно заболел воспалением легких и лежит в кальтенфуртской больнице; однако есть надежда, что испытанному искусству кальтенфуртских врачей удастся спасти знаменитого больного.

Вечером это сообщение появилось в венских газетах, на следующее утро — в заграничных.

Жители Фертшау мгновенно забыли, что недавно еще находили смешным странного пожилого господина с лягушечьим ртом и зубами, косо, словно кровельные черепицы, выступавшими вперед. В гостиницах и пансионах городка Кальтенфурт и местечка Фертшау вдруг появились какие-то суетливые люди, венские журналисты, повсюду шнырявшие и разведывавшие, что больной делал в последние дни, с кем встречался, почему он приехал именно сюда, в Фертшау.

Они толпились в самой больнице, собирались возле нее, набрасываясь на слухи так же жадно, как рыбы у берега озера — на хлебные крошки, бросаемые приезжими; каждый из них думал лишь об одном — как бы ему, чего бы это ни стоило, успеть ни на секунду не позже другого сообщить своей газете о катастрофе. Врачам, которые лечили больного, быстро угасавшего, приходилось каждые полчаса выпускать бюллетени, местное почтовое отделение ходатайствовало в Вене о присылке подсобного персонала. Среди журналистов были скептики, были циники. Попадались такие, которые испытывали некоторое смущение, составляя телеграммы, гласившие, что уж нет почти никакой надежды сохранить больному жизнь, а были и другие, которые полагали, что старику пора наконец откланяться.

Стояла чудесная ранняя осень. Местечко Фертшау, ныне чаще всех других курортов упоминавшееся в газетах, привлекало множество приезжих. Маленькое кафе снова заняло столиками часть пляжа, пароходная компания пустила еще один большой катер, озеро пестрело лодками. Кто бы мог думать, что беседка, откуда открывался прекрасный вид на окрестности, в этом году еще увидит такой наплыв посетителей? Человек, работавший в одном жилище, вытащил гвозди, которыми заколотил свою кабинку, в купальне снова царило оживление. Певческие общества Кальтенфурта и Фертшау объединились, чтобы совместно прорепетировать несколько торжественных кантат композитора Лайшахера. Особенно усердствовал директор гостиницы «Манхарт». Он спешно велел вынуть запасную пару полосатых брюк и без устали, с многословной австрийской учтивостью рассказывал, как обстоятельно и охотно беседовал с ним великий человек, как он был доволен озером, горами, прекрасным воздухом, безукоризненной австрийской кухней гостиницы. Сокрушался на своем гортанном каринтийском наречии, что роковая случайность

погубила поэта именно тогда, когда он так чудесно поправлялся. Растроганно говорил о том, с каким благоговением поэт вновь и вновь рассматривал рукопись песни знаменитого Лайшахера; о том, как он нередко подолгу, нахмутив брови, погруженный в свои думы, стоял перед бронзовым бюстом великого композитора. Также и садовник каждый день, уснащая свой рассказ все новыми подробностями, повествовал о том, какой живой интерес пожилой господин проявлял к его цветам; он, садовник, сразу почуял, что этот господин — не заурядный приезжий, а какое-нибудь значительное лицо. Более того — памятуя слова одной из песен Лайшахера, садовник не преминул послать больному букет астр и последние свои розы. Но самым обильным материалом для разговоров располагала советница Кайнценхубер. Угощая интервьюеров своим превосходным кофе, сваренным по-австрийски, она повествовала, как сразу догадалась о том, что в ее скромном, но уютном и недорогом пансоне поселился великий человек. Она старалась доставить ему все удобства, какие только могла, и хотя сама она считает, что кофе гораздо полезнее, особенно заботливо следила за приготовлением чая, который он упорно требовал. Все эти сведения сообщались в газетах по несколько раз; их приходилось излагать очень обстоятельно, ибо больной самым непозволительным образом медлил умирать; это было просто возмутительно с его стороны — так задерживать всех.

А Роберт Викерсберг лежал в лучшей комнате кальтенфуртской больницы. Он почти все время сознавал, что дело идет к концу, но не спешил, не давал себя торопить. Он много бредил, перед ним мелькали причудливые образы. Однажды ему даже привиделась ненаписанная часть «Асмодея», — такую, какою она ему представлялась, когда этот замысел впервые возник у него. Он не жалел о том, что его драма именно теперь, когда ему стало ясно, как должно воплотиться задуманное, останется, вероятно, незавершенной. Нет, он даже не без лукавства улыбнулся при мысли, что режиссерам, актерам, дельцам уже не придется драться из-за его творения, что оно, никому не став известным, исчезнет вместе с ним. Жаль только, что и кельпер Франц не будет знать о нем — и, таким образом, останется при своем ошибочном мнении о его способностях.

Приехала разведенная жена Викерсберга. Она возлагала кое-какие надежды на это свидание у смертного одра;

но ее расчеты не оправдались. Поэт Викерсберг холодно встретил ее и потребовал, чтобы она больше не была допущена к нему. Журналисты тоже не уделили ей никакого внимания. Госпожа Викерсберг давно уже написала не очень чистоплотную книгу, в которой многословно изложила все, что она вменяла поэту в вину. Это было старо, неактуально, неинтересно. Газеты придавали гораздо больше значения рассказам советницы Кайнценхубер и директора гостиницы «Манхарт».

Викерсберг лежал и чувствовал себя расслабленным, недовольным, а иногда — даже обманутым богом и людьми. Флиртовать с женщинами, появляться среди толпы, ему поклоняющейся, и взирать на нее с иронией, но не без удовлетворения, пить хорошее вино на берегу прекрасного озера — он мало ценил эти возможности в ту пору, когда они ему представлялись. Теперь он охотно много дней заполнил бы без остатка такими радостями, хоть они и пошловаты. Не говоря уже об «Асмодее». Как хорошо было бы закончить его! Но ведь жизнь наша длится шестьдесят лет, а если дольше ей продлиться суждено — восемьдесят, и сколько бы ни длились наши дни, в заботах и труде они проходят.

Вдруг он понял, почему теперь, на исходе, ему почти что удалось в совершенстве воплотить свой замысел. Он внезапно постиг, кто была та девушка в пустыне, от которой исходило сияние, озарявшее всю драму. Десятки лет прошли с тех пор, как он видел эту девушку, быть может, она давно уже умерла, но он отлично помнил, как она — худощавая, стройная, чуть угловатая — тогда повернула голову. Видел ее в длинном старомодном голубом платье, в котором она была, когда он познакомился с ней на большом народном гулянье, где-то в предместье. Ибо тогда он был очень молод; правда, он лишь потехи ради, настроившись на иронический лад, пошел со своими приятелями поглядеть на это грубоватое народное увеселение, но все же он в те времена был еще весьма далек от той суровости, которая впоследствии заглушила в нем жизнь, — и обратил на девушку в голубом гораздо больше внимания, чем хотя бы на саксонку Ильзу. Он не часто встречался с ней, и все же теперь, в калтенфуртской больнице, отчетливо видел ее крупную руку, поношенные коричневые туфли, весь облик стройной девушки, тогда казавшейся ему такой лучезарной и разумной. Вероятно, она такой и

была, но она родилась лет на десять раньше, чем следовало, в безвременье. Десятилетием позже она, вероятно, поступила бы в университет, нашла бы себе поприще. Тогда она служила в какой-то конторе, там она, по всей вероятности, и закисла. Если он недавно пошел погулять с саксонкой Ильзой, то лишь потому, что посадка головы этой стройной худощавой девушки чем-то напоминала ему ту, в голубом. Жаль все-таки, что он никогда не попытался узнать, как сложилась ее жизнь. Нет, не жаль. Это, наверно, принесло бы ему разочарование. А так — пред ним теперь девушка пустыни из драмы «Асмодей» излучает нежный свет.

Было бы омерзительно, если б взоры посторонних наделили девушку пустыни собственной своей пошлостью. Он беззлобно представлял себе, как глупо, с каким тупым непониманием взидала бы на нее та же саксонка Ильза. Потребовал, чтобы ему принесли его бумаги. Заставил сиделку в своем присутствии отобрать все, что имело отношение к «Асмодею». Затем велел ей написать письмо в маленький прирейнский городок, кельнеру Францу Ключгенсу, в котором просил его немедленно по получении письма телеграфно дать обещание, что он ни единой душой не сообщит о пакете, который Роберт Викерсберг намерен ему послать. Потом велел ей уничтожить это письмо, сложить отобранные листы «Асмодея» в пакет, перевязать его, запечатать, написать на листке бумаги: «После моей смерти вручить господину Францу Ключгенсу, кельнеру, в Б. на Рейне». Роберт Викерсберг подписал записку и взял с сиделки слово, что она сохранит его тайну. Брать слово с кельнера Франца было излишне. Он вглядывался в широкое, простодушно-спокойное, внушающее доверие лицо сиделки и испытывал лукавую радость при мысли, что «Асмодей», все же ему удавшийся, попадет не в руки дельцов, гоняющихся за посмертными произведениями, а в руки кельнера Франца. Он наслаждался этой радостью. Это было чудесное переживание, быть может, лучшее в его жизни, если не считать времени, некогда проведенного им с девушкой в голубом, и длилось оно долго, едва ли не четверть часа. А затем началась тяжелая, бесконечная агония.

Саксонка Ильза была ошеломлена, когда узнала, кто, во славу ей, переплыл озеро. Старик оказался великим человеком: то был не кто иной, как поэт Роберт Викерсберг,

не столь знаменитый, конечно, как иной боксер или чемпионка по теннису, но все же в достаточной мере известный. В сущности, он ведь умер из-за нее. В течение целого вечера она пребывала в великом смятении, не пила, не ела, не обращала внимания на юнца. Она была не столько раздосадована, сколько удручена тем, что не знала, кто такой Роберт Викерсберг. Если бы она проявила ловкость и настойчивость, ей, вероятно, удалось бы стать его любовницей или хотя бы женой.

Но на другой день она пришла к иному выводу: то, что он умер ради нее,—гораздо более эффектно. Она наметнула на это журналистам. Вскоре ее провозгласили последней любовью Роберта Викерсберга. Разведенная жена поэта совершенно ступсевалась перед нею. В одном из литературных журналов саксонку сравнили с Ульрикой фон Левецов, последним увлечением поэта И.-В. фон Гете. Родители убедились, что они бессильны побороть художественное призвание дочери, и саксонка Ильза, молвою объявленная поздней подругой Роберта Викерсберга, обрела в нем великолепный трамплин для своей карьеры.

Похороны поэта Викерсберга явились зрелищем, по своей пышности не уступавшим похоронам композитора Лайшахера. Съехались представители правительства, крупнейших организаций, театров. Объединенные певческие общества Кальтенфурта и Фертшау почтили память великого усопшего исполнением нескольких прочувствованных кантат. Все газеты поместили подробные отчеты, с многочисленными иллюстрациями.

Многие заинтересовались озером Фертшау и курортом, на берегу его расположенным. В неурочное время, после сезона, наступило небывалое оживление. Совет общины Фертшау вынес решение установить бюст поэта Викерсберга на небольшой площадке в конце береговой аллеи, против бюста местного уроженца, композитора Лайшахера.

ВЕНЕЦИЯ (ТЕХАС)

Перри Паладин вошел в туристическое агентство «Синдбад»,—конторское помещение порядочных размеров с окошечками и столами. Он огляделся по сторонам, ища, кого бы спросить, где директор. Увидел на одном из столов табличку с надписью: «Мисс Глория Десмонд, справ-

ки». Увидел девушку за этим столом, а позади девушки — большой, очень пестрый плакат: «Венеция ждет вас».

За эту минуту от девяти сорока пяти до девяти сорока шести Перри Паладин подпал под власть колдовских чар, и началась история поселения Венеция (Техас).

Перри был тогда молодой человек лет двадцати семи — двадцати восьми. Носил он длинный серый скюртук, серый котелок, ботинки на шнуровке, перчатки и золотые запонки. Время действия — начало века, президент — Теодор Рузвельт, на каждые тридцать тысяч жителей в Соединенных Штатах приходится триста телефонов и один автомобиль.

Перри направился к девушке, к Глории Десмонд, а сердце опережало его шаги. Глория сидела перед ним в наглухо закрытом синем платье и, удобно расположив на столе руки в длинных, до запястья, тюлевых рукавах, с ленивым любопытством смотрела ему навстречу. Он был полон ею, видел перед собой только ее белоснежное лицо сердечком, ее огромные синие глаза, черные как смоль волосы и пестрый плакат позади нее с повелительным призывом: «Венеция ждет вас». Вся его предшествующая жизнь испарилась как дым, молодой положительный, честолюбивый делец Перри Паладин перестал существовать, его вытеснил трубадур Перри.

С трудом овладел он собой и осведомился о мистере Фергюсоне.

— Подождите, пожалуйста, — ответила Глория, и он не уловил, что у нее резкий и тусклый голос.

Она скрылась, и мир опустел.

Она вернулась и сказала:

— Присядьте, пожалуйста. Мистер Фергюсон сейчас будет к вашим услугам.

Он сидел и смотрел на нее. Он понимал, что неприлично глазеть на чужую девушку, и все-таки глазел на нее. Она делала вид, будто что-то записывает и разбирает бумаги.

Движения ее были медлительны, а временами она с вялым любопытством поднимала свои синие глаза на Перри.

«И этот попался», — думала она.

Прозвучал звонок.

— Пожалуйста, — сказала она и пошла вперед. Как автомат, последовал он за юбкой, которая, покачиваясь,

плыла перед ним. Плотно облегая округлые бедра, юбка расширялась от колен и, как колокол, воланами падала до земли; Глория не приподымала ее с дамским жеманством двумя пальчиками, а держала крепко всей детской пятерней, да так высоко, что виден был весь подол шелковой нижней юбки. Так всплыла она впереди околдованного Перри в кабинет мистера Фергюсона.

Перри Паладин был совладельцем фирмы «Сидней Браун» и занимался перепродажей земельных участков. За время депрессии последних лет их компания скупила много участков, пригодных для постройки дач. Ныне же экономика снова находилась на подъеме, пора было приступить к реализации приобретенных земель, и Перри пришел договориться с мистером Фергюсоном об усовершенствовании сообщения с одним из намеченных дачных поселков. Перри работал в деле с самой юности, он привык к такого рода переговорам, спрашивал и отвечал чисто автоматически, и мистер Фергюсон не заметил, что с ним говорит вовсе не Перри Паладин, а лишь оболочка, личина Перри. Духовным взором Перри видел не дачные места, не железные дороги и омнибусы, он видел только синие глаза, крепкую ручку, которая приподнимала падавший до земли подол, и плавные движения туго обтянутых сукном округлых бедер. После того, как все было договорено и согласовано, мистер Фергюсон проводил посетителя до порога. Перри вышел в общий зал. За своим столом перед плакатом сидела Глория. Перри потянуло к ней.

— Мне хотелось бы получить кое-какие сведения,— начал он,— насчет путешествия в Венецию.— И он улыбнулся с натужной веселостью.

— Морские путешествия — четвертое окошко,— объяснила Глория.

Перед четвертым окошком толпились люди.

— Я тороплюсь,— сказал Перри,— могли бы вы устроить, чтобы мне прислали справку на дом?

Глория посмотрела на него с ленивым любопытством.

«Прочно попался»,— подумала она и ответила:

— Справку вам пришлют, сударь.

— Сегодня же? — переспросил он, и в тоне его звучала мольба. Он задумал: «Если она отпустит меня ни с чем, тогда жизнь моя загублена вконец, если она пойдет мне навстречу, тогда я женюсь на ней».

— Сегодня же,— подтвердила Глория и записала его адрес.— В крайнем случае я принесу ее сама,— пообещала она.— Мы закрываемся в шесть, значит, я могу быть у вас в конторе около половины седьмого.

С четверти седьмого у Перри сердце замирало от нетерпения. К тридцати пяти седьмого он дошел до отчаяния.

Она явилась без десяти семь.

У него захватило дух от радости. Она вручила ему обещанную письменную справку и с тем ее миссия была закончена. Он придумывал фразу за фразой, лишь бы не отпустить ее. Она не торопилась уйти, но и не очень поддерживала разговор. Мать внушила ей на смертном одре: «Взамен денег завещаю тебе совет. Родители оставили тебе в наследство два качества: я — красоту, она у тебя есть, отец — ум, которого у тебя нет. Научись пользоваться тем и другим, сиди смирно, много улыбайся и мало говори».

Глория чтит память матери и следовала ее совету.

Тем не менее Перри кое-что узнал, а именно, что на свете она, можно сказать, одна как перст и что у мистера Фергюсона ей служитя неплохо. Когда же Перри вернулся, что плакат позади ее стола очень ей к лицу, у нее в ответ прозвучала даже лирическая нотка. Ее и самое иногда тянет повидать Венецию, жаль только, что это так далеко и так дорого стоит. При этом она улыбнулась глубокомысленно и загадочно.

За ночь Перри обдумал то, что с ним стряслось. Он, трезвый делец, живший в ладу, с собой и с миром, не веривший в пышные фразы и в пылкие страсти, на собственном опыте вдруг увидел, что идеал не досужая выдумка длинноволосых эстетов. Нет — идеальное начало существует.

В нем самом оно прорвалось наружу. Оно оказалось явью. Оно воплотилось в Глории и Венеции.

Ибо Глория и Венеция были слиты воедино. С первой же минуты плакат «Венеция ждет вас» стал атрибутом красавицы Глории, как шлем считается атрибутом бога войны Марса, а остроконечная борода — атрибутом дяди Сэма. Целый день, начиная с девяти сорока пяти, идеал, явившийся Перри в образе Глории и Венеции, настаивался в нем, а сейчас, среди ночи, вылился в созидательную мысль. В деловую мысль, так как Перри был делец до мозга костей. «Венеция ждет вас». Волшебный зов

возымел действие, и должен был возыметь на всякого; не был же он, Перри, исключением, он был такой же, как все, — американец начала века. Глория не лгала; вся Америка не устремлялась в Венецию лишь потому, что это отнимало много времени и денег. Так вот, он, Перри, послушается Глории и сделает Венецию доступной каждому. Венеция перестанет быть бесконечно далекой и дорогой, где-то за океаном, он, Перри, устроит Венецию у себя, чтобы в нее удобно и дешево было попадать по железной дороге. Ему уже виделись плакаты вдоль всего побережья; на переднем плане Глория; кивая головкой, она взывает ко всей нации: «Техасская Венеция ждет вас».

Ибо с первой же минуты ему стало ясно и другое — новая Венеция вырастет на техасской земле, на тех угодиях, которые фирма «Сидней Браун, перепродажа земельных участков» успела скупить немногим больше чем за восемьдесят тысяч долларов.

Новая Венеция, техасские земельные участки, крупное предприятие — все это витало перед ним в образе Глории, в образе синего соблазнительно и туго прилегающего платья, которое проплыло впереди него по туристическому агентству «Синдбад».

И так, полный сладких грез и веры в себя, Перри Паладин уснул.

Когда он изложил новый замысел своему компаньону Сиднею Брауну, тот обозвал его сумасшедшим.

Действие происходило в квартире Сиднея, после ужина, они сидели втроем, третьей была дочка Брауна Кэтлин.

Сидней, положительный пятидесятилетний мужчина, весьма благоволил к Перри. Обычно за ним таких сумасбродных выдумок не водилось.

— Надеюсь, ты сболтнул это в шутку, — заметил он.

— Значит, ты отказываешься участвовать в моей Венеции? — спросил Перри, его толстошее лицо вытянулось, приняло выражение непреклонности, какую он напускал на себя при серьезных деловых переговорах.

Удивленный и даже раздосадованный Сидней обратился к дочери:

— Что это на него накатило? Подумать только, сын почтенного лесопромышленника!

— Мне кажется, от замысла Перри нельзя попросту отмахнуться, — обычным своим ровным голосом возразила,

однако же, Кэтлин; это была рослая, крепкая девушка с приветливым, решительным лицом, волевым подбородком и крупными зубами.

Сидней Браун считался с мнением дочери.

— И ты туда же, Кэтлин? — спросил он. — Видно, я отстал от жизни.

— Слово «Венеция» ласкает слух, в нем есть притягательная сила, — обосновала свою точку зрения Кэтлин.

— Акционерная компания «Венеция (Техас)», — мечтательно протянул Перри, — это же прямо тает во рту. Кэтлин права: слюнки текут, да и только. — И подумал о Глории.

— Как ты себе это представляешь? — ворчливо спросил Сидней. — Где ты денег возьмешь? Не успеешь ты толком приступить к делу, как железнодорожные и банковские воротилы припрут тебя к стенке.

Тут выяснилось, что в отношении финансирования Перри рассчитывал вовсе не на банки и железнодорожные компании, а на Оливера Брента.

Оливер Brent был помещен на Европе. Большую часть времени он проводил там в цивилизованной праздности. Человек он был весьма состоятельный и не раз, забавы ради, вкладывал суммы в фирму «Сидней Браун, перепродажа земельных участков». Не исключено, что такое начинание, как акционерное общество «Венеция (Техас)» заинтересует его.

— Если послать ему толково составленную смету, возможно, он и раскошелится, — заметила Кэтлин.

— Со сметой надо быть поосмотрительнее, чтобы кто не пронюхал про такую мысль и не перехватил ее, — вставил Перри.

— Ты неведь что воображаешь о своей мысли, — поддразнил его Сидней.

Минуту в Перри происходила внутренняя борьба. Ведь мысль-то не его, а Глории, как же он смеет утаить существование Глории, он должен открыто поведать о ней. Он должен сообщить друзьям, что намерен на ней жениться. Конечно, их это неприятно поразит и расхолодит, но с его стороны было бы подлостью струсить и не объявить себя приверженцем идеала и Глории.

— Мысль вовсе не моя, а одной моей приятельницы, — храбро начал он. И так как оба удивленно воззрились на

него, заключил: — Ее зовут Глория Десмонд. Кстати, я на ней женюсь.

— За одну минуту такой ворох новостей,— сказал Сидней.

Кэтлин сидела пришибленная, на ее широком простодушном лице было написано разочарование.

Ей очень нравился Перри, она надеялась, что он сделает ей предложение, с его словами многое рухнуло для нее. Но держалась она молодцом.

— Когда ты нам покажешь свою невесту, Перри? — спросила она.

— Как только вы пожелаете,— ответил Перри.

Затем разговор вернулся к техасской Венеции, к уточнению деловых подробностей.

Когда Перри предложил Глории жениться на ней, она не слишком удивилась, только улыбнулась приветливо и чуть-чуть загадочно и сказала «да». Когда же он сообщил ей, что намерен осуществить ее мысль и устроить Венецию, которая будет поближе и подешевле, она не удивилась совсем.

— Это очень мило с твоей стороны, Перри,— обычным своим резким голосом и с обычной чарующей улыбкой сказала она.

Сидней Браун и Кэтлин ничуть не пленились Глорией. Она попросту не понравилась им. Но люди они были воспитанные, очень расположенные к Перри и похвалили приятную наружность Глории. К свадьбе Кэтлин подарила картину масляными красками и бронзовую статуэтку, а Сидней Браун тандем и вазу с искусственными цветами.

Тем временем Оливер Брент прислал ответ. Он писал, что мысль превосходна именно потому, что она до предела невежественна и нелепа, Сидней и Перри как нельзя лучше справятся с ней, а потому он согласен дать деньги.

Письмо было прочитано с двойственным чувством. Но так или иначе, а денежки обеспечены.

За устройство техасской Венеции все принялись с необычайным жаром. Перри взял на себя верховное руководство и рекламу, переговоры с железнодорожными и пароходными компаниями, налаживание дешевых средств сообщения. На Сиднее лежало строительство и техника, на Кэтлин — искусство и культура.

Из Венеции в штате Техас предполагалось сделать культурный центр Юга. Было вырыто пятнадцать миль каналов, сооружена площадь Святого Марка с колоннадами, возведены дворцы эпохи Ренессанса, дугообразные мосты и мостики.

Правда, у дворцов были всего лишь дощатые оштукатуренные фасады, зато построили театр, где можно было по-настоящему сидеть, так же как концертный зал и лекторий, а затем учредили академию с постоянной художественной выставкой.

Сидней Браун вздыхал, что культура пожирает львиную долю бюджета. Перри тоже сомневался в рентабельности культуры. Но ведь и возникла-то вся затея из его стремления к идеалу, значит, ему и надлежало решительно отстаивать это свое стремление...

— Чему я должен отдать пальму первенства — комфорту или идеалу? — спрашивал он у Глории.

— Отдавай тому, что ты считаешь главным, — отвечала Глория.

В отличие от Рима, Венеция (Техас) отстроилась за один год. Даже года не прошло, как вода уже текла по каналам, над ними возносились дуги мостов и мостиков, стояли дворцы, ручные голуби летали над площадью Святого Марка. Множество флагов и флажков придавали зрелищу веселую пестроту, в точности, как представлял себе Перри, и очень похоже на пресловутый плакат. Сидней разбросал повсюду уютные особнячки. Позади дворцов и сквозь них были проложены улицы, чтобы посетители имели возможность кататься по Венеции и по площади Святого Марка не только в гондолах, но и на велосипедах, и в местных линейках с парусиновым верхом.

Правда, «длинноволосые», как называли художников, противились такому кощунству и что-то лопотали о единстве стиля и прочем тому подобном. Но предприниматели были единодушны в том, что создание их рук и есть добротная, убедительная, подходящая к месту и времени Венеция.

Бесспорно, подлинны и убедительны были венецианцы, одушевлявшие эту Венецию.

Впоследствии не удалось установить, кому пришло на ум доставить их сюда; оттого, что Глория как-то упомянула, что не мешало бы пригласить настоящую парижскую модистку, Перри впоследствии утверждал, будто этот план

исходил от нее. Так или иначе, были выписаны настоящие итальянцы, гондольеры, уличные музыканты, продавцы жареных каштанов, мороженщики, стеклодувы; их раздобыл Оливер Brent, он отправил целое судно, груженное отборными итальянцами из Венеции (Италия).

Их было около сотни, но оживления эти Бенпо, Джироламо и Педро, Олимпии и Терезы привезли на добрую тысячу. Они отнюдь не ограничивались тем, что длинными шестами направляли гондолы по искусственным каналам, играли баркаролы и плясали тарантеллы, изготавливали салями и мороженое и выдували стекло. Нет, более красочные, чем краски дворцов, они одновременно мелькали на всех концах и перекрестках поселения, они копошились, галдели, жестикулировали, пели, верещали, спорили, ребятишки и ослики их ревели, словом, душа радовалась и брала жуть.

Двое выделялись из толпы. Во-первых, художник Энрико Калла, молодой, коренастый рыжий силач. Он поносил все завезенное ими искусство, он был модернист, натуралист, истинное искусство начиналось с него; впрочем, многие в Париже, в Риме и Венеции верили в него. Калла принял предложение Оливера Brenta отправиться в американскую Венецию, полагая, что ему выгоднее будет развернуться в молодой стране, нежели в старой Европе, зараженной всяческими предрассудками по части искусства. Теперь он с особым смаком изощрялся в окарикатуривании старой Венеции; в этой новой пестрота была совсем уж кричащей, а из лепнины откровенно выпирала гипсовая подделка. Пусть получают такую Венецию, какая им нужна.

Однако вожакom всего отряда итальянцев был маркиз Паоло Орсоли. Это был подлинный маркиз, долговязый, сухощавый господин, перешагнувший далеко за сорок, брюнет, с узким черепом, с большим хрящеватым носом и блестящими серыми глазами, зорко глядевшими из-под косматых бровей.

Его род дал Венецианской республике двух дождей, да и сам он был окутан ореолом истории, слегка хлипок и весьма аристократичен. Он умело пускал в ход свой шарм, мужчин взбадривал пряными анекдотами, а женщин восхищал завуалированной порочностью и взглядами усталого, дерзкого, самозабвенного обожания. Двумя-тремя словами и жестами он умел пробудить ощущение Венеции

в тех, кто ее не знал, а порою даже в тех, кто знал ее. Он рад был, что Оливер Брент переправил его сюда. Предки его были кондотьерами, они завоевали Крит и Кипр, теперь же в Европе уже нечего было завоевывать, и такой, как он, типичный человек Ренессанса, не мог найти себе применение в старом мире, а потому маркиз не прочь был поупражнять свои таланты на просторах Америки.

Итак, прибывший из Италии фрахт, точно подтаявшее малиновое мороженое, растекся по всему поселению и окончательно превратил его в хрестоматийную Венецию.

Перри Паладин умело поставил рекламу. И привлёк публику. Война и кризис сменились экономическим подъемом, люди зарабатывали и тратили, и тому, кто не мог позволить себе путешествие в Европу, хотелось, по крайней мере, рассказать друзьям: «Я побывал в Венеции (штат Техас)».

Посетители знакомились с новым культурным центром. Но испытывали не восторг, а холодное почтение. Они осматривали художественную выставку, прослушивали концерт или участвовали в экскурсии. Все было хорошее: концерты, лекции, картины. Но посетителей они не воодушевляли.

Перри, Сидней и Кэтлин с возрастающим беспокойством констатировали, что рыбка не клюет. В культуру всадили немало денег. Цены приходилось брать высокие. А публика не желала столько тратить. Значит, предприниматели просчитались.

Чувствуя себя ответственной за провал культуры, Кэтлин, при всей своей невозмутимости, потеряла сон. Без конца обсуждала она с художником Калла, в чем же причина неудачи.

Они с Калла подружились. Художник вел себя в Америке так же, как в Старом Свете. В распахнутой на волосатой груди рубашке, он шлялся по барам, выпивал, пел, орал, — со всеми был запанибрата, играл, буянил. И, между прочим, рисовал. Публику не слишком увлекала его живопись, и он ругательски ругал тех, кто недостаточно его хвалил. Но Кэтлин понимала, что за его хулиганскими повадками таилась подлинная тяга к искусству.

С ней он держал себя куда скромнее. Ей поверял свои горести. Погрязшее в снобизме европейское искусство,

конечно, пересахаренное дерьмо, но если самому все начинать сначала, так тоже далеко не уедешь. Желчно издевался он над ее попытками приобщить людей к искусству.

— Не нужно им никакое искусство, — доказывал он, — оно им противно, их от него воротит. Они удирают во все лопатки, едва только учуют искусство.

Но Кэтлин стояла на своем. Она твердо решила приохотить людей к искусству. И пока что не отступала от этого намерения.

Еще крепче стоял на своем Перри. Кому, как не ему, опытному коммерсанту, было ясно, что его мечты о доходном культурном центре оказались просчетом. Но раз он вступил в ряды приверженцев идеала, он не поколеблется, он не изменит идеалу.

Он держался уверенно и громогласно высмеивал тревогу остальных. Но в бессонные ночи с тоской задавался вопросом, долго ли удастся продержаться эту злополучную Венецию.

И брак его был отнюдь не безоблачным. Не то чтобы между ним и Глорией когда-нибудь возникали разногласия. Она по-прежнему была небрежно и безупречно приветлива. В суконом платье, облежавшем округлые бедра шла она рядом с ним, белое личико сердечком выступало из тесного высокого воротника на косточках, соломенная шляпка с вуалеткой лихо сидела на черных волосах, и Перри было отраднo сознaвать, что она его собственнoсть. Он гордился ею, когда она сидела позади него на тандеме, зажав под мышкой теннисную ракетку, или когда она переступала порог концертного зала в парадном вечернем туалете с длинным шлейфом. И сердце билось у него учащенно, когда он знал, что она ждет его в постели.

Ни на миг не забывал он о том, что именно она пробудила у него тягу к идеалу. Он по-прежнему благоговейно смотрел на нее снизу вверх, когда она улыбалась безмолвно и загадочно.

Что, собственно, она думает, временами спрашивал он себя. А думала она: cheese¹. Однажды, когда ее фотографировали, ей порекомендовали: говорите cheese. Это очень выигрышно для улыбки. С тех пор она всегда думала: cheese — чтобы усовершенствовать свою улыбку. А Перри в ее улыбке видна была только красота и зага-

¹ Сыр (англ.).

дочность, и когда у него бывали удачи, он приписывал их ее совету, неудачи же объяснял тем, что неверно понял ее или допустил оплошность.

Одно лишь мешало ему: дружба Глории с маркизом Орсои. Она и не скрывала, что ей приятно общество потомка дождей и завоевателей. Они вдвоем скользили в гондоле по каналам, пересекали лагуну и под сладкогласное пение гондольера маркиз что-то внушал ей своим глухим аристократическим голосом, а она улыбалась глубокомысленно и приветливо. Перри ни на миг не сомневался в том, что между ними нет ничего, заслуживающего малейшей укоризны. Но когда он видел Глорию вместе с итальянцем, на лице его появлялось то жесткое выражение, какое он напускал на себя во время заковыристых сделок.

Дела приняли неожиданный оборот. Как культурный центр Венеция потерпела крах, зато как увеселительный — расцвела вовсю. Больше всего удовольствия посетители получали на ее тщательно ухоженном, полном всевозможных аттракционов пляже, на Лидо.

Все плескались в море — мужчины в полосатых трико, доходивших от шеи до колен, женщины в матерчатых шляпах и в длинных сборчатых купальных костюмах, которые, намкнув, предательски облепляли тело, на желтовато-белом песке многочисленные Беппо и Джироламо выхваляли свой товар, а также играли на мандолине, детишки катались верхом на осликах, шум и сумбур царили невероятные. Были тут и комнаты смеха, и антикварные лавочки, и карусели, и движущиеся лестницы, на которых местами длинные платья и нижние юбки визжащих дам вздувались вверх, открывая ноги до самых подвязок. Имелись здесь и менее невинные развлечения — азартные игры, всякого рода девицы, ищущие мужских знакомств.

Фоном всему этому служила дощатая, оштукатуренная Венеция. Взмывались и замирали полные сладострастной истомы баркаролы, кривлялись, разъезжая и расхаживая на ходулях, чудовищные чучела карнавала, который здесь справляли круглый год, стоял крепкий и острый дух садами и горгонзолы. Приятно переплетались отечественные песенки «На Юге, где меня качали в колыбели» и «Десять долларов я должен О'Грэди» с итальянскими напевами: «Oh sole mio» и «Santa Lucia». Горячие сосиски вкусно

было запивать *asti spumante* при лунном свете, серебряном — настоящим и ярко-голубом свете искусственной луны, которым заменяли или восполняли настоящий.

Именно этого и алкали сердца пилигримов, предпринявших паломничество в здешнюю Венецию. Об этом они мечтали, за это платили, не скупясь.

За это, а вовсе не за искусство и культуру.

Сидней Браун, с самого начала недоверчиво относившийся ко всей затее, теперь вмешался решительно. Так дело не пойдет. Культура — бросовый товар. Культура — сплошной убыток. С культурой надо кончать.

Понятно, он был прав. В сущности, сам Перри чувствовал себя на Лидо вольнее, чем в культурных учреждениях. И все-таки он запротестовал. Он не хотел ставить крест на Венеции своих грез, не хотел, чтобы ее вытеснила площадная Венеция и пресловутый Лидо. Ему казалось, что тем самым он отречется от своего лучшего «я», от Глории, от идеала. Еще яростнее протестовала Кэтлин, ей, в свою очередь, не хотелось признать, что желчный циник Калла оказался пророком.

Договорились рискнуть и сделать еще одну попытку, в последний раз произвести крупную затрату на культурное начинание. Если и эта попытка потерпит неудачу, тогда Венеция будет окончательно ликвидирована как культурный центр.

В тот год в Нью-Йорке гастролировала Сара Бернар; «божественная Сара», сказал маркиз и поцеловал кончики своих пальцев. Ее пригласили выступить и в Венеции. Она дорожилась, она набивала себе цену, но в конце концов все-таки приехала. Перри был огорошен, когда прибыла тощая пожилая дама, которая говорила исключительно по-французски и очень гневалась, если ее не понимали. Затем она выступила. Она выступила в «Даме с камелиями» на французском языке. Публика слушала почти-тельно и недоуменно, многие ушли, не дожидаясь конца, но большинство осталось — уж очень дорого было уплачено за билеты. Перри считал неприличным, что эта пожилая дама выдает себя за молодую красавицу, в которую влюбляются все подряд; он не мог понять, почему это называется искусством. Маркиз пытался его просветить. Но Перри стоял на своем — все это сплошная чушь. Зато Глория понимала и маркиза и искусство и взирала на своего супруга отчужденно и немилостиво. Нечто подобное

произошло у них в первый раз, и Перри устыдился своего невежества.

Так или иначе, но и эта попытка по линии искусства оказалась неудачной. Решено было круто повернуть руль, оттолкнуться от культуры и в дальнейшем направить Венецию по дачно-увеселительному руслу.

Тут дело вторично приняло неожиданный оборот.

Владельцы лавочек и аттракционов за смехотворно низкую плату приобрели себе права на годы вперед, твердо оговорив всякую возможность конкуренции. Таким образом, они снимали все сливки с доходов от Лидо и от увеселительной Венеции, а на долю Сиднея и Перри не оставалось почти что ничего.

Маркиз Орсони выговорил себе самые каверзные условия. Его возвели в ранг своего рода пляжного коменданта, полномочного организовать увеселительную жизнь Венеции. А он, разумеется, в первую голову обеспечил своих соотечественников.

У него потребовали объяснений по поводу низкой арендной платы. Он отвечал холодно и высокомерно. Когда ему препоручили Лидо, там, кроме воды и песка, ровно ничего не было. Кто мог предвидеть, что именно та отрасль предприятия, которая находилась в его ведении, достигнет такого пышного процветания, меж тем как все остальные окажутся несостоятельными?

Перри и Сидней произвели тщательное обследование. Выяснилось, что с каждого, кто был занят в разветвленной сети венецианского увеселительного промысла, маркиз получал своего рода подать, в том числе и с девиц, ищущих мужских знакомств. Организовано это было так ловко, что под маркиза никак не удавалось подкопаться, да и те, кто орудовал на Лидо, стояли за него горой.

Все эти Бешпо, Джироламо и Терезы отвечали просто-душно, учтиво и многословно, но из них пользы было выудить ни малейшей улики против маркиза.

Этой разномастной ораве жилось здесь превосходно. Одни намеревались вернуться на родину, другие подумывали обосноваться здесь. Но все без различия крепко держались друг друга. Они ни слова не сказали против маркиза. За ними учредили слежку через детективов, пустили в ход посулы и угрозы. Все без толку. При создавшихся

условиях любые труды по превращению Венеции в перво-классный увеселительный комплекс шли на пользу маркизу, а не предпринимателям.

Но вот к Кэтлин явился художник Калла. Он терпеть не мог заносчивого Орсони и рассказал Кэтлин, что именно кроется за учтивым упорством итальянцев. Это была круговая порука, своего рода мафия, особенно опасная тем, что корнями она уходила на родину. Люди попросту боялись; стоило им здесь разоблачить маркиза, как по ту сторону океана за это поплатятся их близкие.

Акционерная компания «Венеция (Техас)» обсудила положение. Итак, господство маркиза над Лидо опирается на заокеанскую организацию. Значит, чтобы приструнить его здесь, надо начинать оттуда.

Об этом написали Оливеру Бренту.

Оливеру Бренту нечего было делать. Оливеру Бренту хотелось позабавиться видом тexasской Венеции. Оливеру Бренту не терпелось повидать своего старого друга маркиза, против которого у него были на руках крупные козыри. Оливер Брент приехал навести порядок.

Оливер был благовоспитанный господин лет за тридцать, огромного роста и приятной наружности. По примеру многих состоятельных молодых людей своего времени, он видел смысл жизни в том, чтобы извлечь из нее как можно больше наслаждений. «Люди из сил выбиваются, — имел он обыкновение говорить, — один валит деревья, другой выводит скот, сдирает с него шкуру, дубит ее, и вот соединенными усилиями столяров, дубильщиков, обойщиков и многих других в конце концов получается кожаное кресло. Кто-то же должен сидеть в нем и наслаждаться его удобством. Я и есть этот «кто-то».

Итак, Оливер Брент прибыл, увидел, повеселился. Именно такой он и представлял себе свою Венецию в Техасе.

Затем он обсудил деловое положение с Перри и Сиднеем. Даже отказавшись от культурных притязаний, продолжать деятельность акционерной компании «Венеция» довольно затруднительно. Основное условие — всадить в предприятие еще порядочные деньги, а также изъять Лидо из-под контроля Орсони.

Оливера Венеция уже перестала забавлять, в сущности, ему совсем не улыбалось вкладывать в нее дополни-

тельные средства. Но он не желал высказывать это напрямик и потому заявил компаньонам, что продумает все как следует. Что касается маркиза, то Оливер всю дорогу предвкушал удовольствие задать ему перцу и с готовностью обещал компаньонам избавить акционерную компанию «Венеция» от опасного итальянца.

Оливер искренне благоволил к маркизу. Тот был его наставником во многих областях цивилизованного наслаждения жизнью. Но он оказался дорогим наставником. Поэтому-то Оливер, в последний раз уплатив его долги, охотно сплавил его из Европы. А теперь, видите ли, у маркиза хватило наглости облапошить его и здесь. Однако Оливер Брент не любил ходить в дураках. Уж кто-кто, а он умеет взять человека в оборот. И не замедлит доказать это его сиятельству.

Так как оба питали взаимное расположение и насквозь видели друг друга, разговор состоялся в самом дружелюбном тоне. Оба сидели и курили, положили ногу на ногу.

— Вы самый обворожительный и беспардонный плут, какого мне доводилось встречать, — добродушно начал Оливер. — Прямо диву даешься, как ловко вы обштопали нашу акционерную компанию. Ни единой лазейки нам не оставили.

— Да, я как будто недурно справился, — со скромной гордостью признал маркиз.

— Вы сейчас, очевидно, при деньгах, неплохо было бы вам откупить у меня палаццо Орсоли, — предложил Оливер.

— А на что оно мне нужно? — возразил маркиз.

— Как же, голубчик! Вы так жалостно скулили, что с кровью сердца отрываете от себя жилище предков. За кровь своего сердца вы заломили сто тысяч лир, — напомнил Оливер.

— Рана успела зарубцеваться, — заметил маркиз.

— Палаццо ваше оказалось настоящей рухлядью, — пояснил Оливер.

— Зато оно насквозь пропитано историей, — отпарировал маркиз.

— Кстати, вы сплывили того Тициана, которого хотели навязать мне? — осведомился Оливер.

— Нет, здесь не верят слову дворянина, — вздохнул маркиз. — Я представлял веские свидетельства, доказывал, что, по нашему устному семейному преданию, мой прадед

Джакомо Орсони самолично заказал картину великому мастеру и уплатил за нее шесть тысяч скуди. Свое свидетельство я заверил нотариально. И что же? У меня хотели купить не картину, а свидетельство.

Оливер задумался.

— А почему вы при въезде не нашли нужным полностью оплатить пошлину, исходя из предположительной стоимости картины? — спросил он. — Здесь это было бы лучшим доказательством ее подлинности.

— Не такой я дурак, — возмутился маркиз.

— Но и не такой ловкач, каким я вас считал, — приветливо и даже с оттенком сожаления сказал Оливер. — Потому что теперь у меня на руках все козыри против вас.

Маркиз не понял.

Оливер пояснил:

— После того как вы официально поручились за подлинность своего Тициана, вам следовало уплатить за него пошлину. У нас на это смотрят очень строго.

— Какой вздор! — вспылил маркиз. — Это же грошовая мазня.

— Если по клятвенному заверению маркиза Орсони картина была заказана его предком Тициану, значит, она не может быть грошовой мазней, — наставительно заявил Оливер. — Таможенные власти даже слушать об этом не станут.

— А кто докажет, что я искренне верил в подлинность картины? — не сдавался маркиз.

— Я, — приветливо сказал Оливер. — В свое время, пытаясь всучить мне эту мазню, вы меня тоже снабдили нотариальным свидетельством. Вот оно.

У маркиза потухла сигарета. Но он очень скоро овладел собой.

— Я вас недооценивал, Оливер, — с уважением отозвался он. Затем закурил новую сигарету и спросил: — Чего вы от меня требуете?

— Только одного: чтобы вы оставили в покое здешних моих дружков и бросили делать делишки со своими земляками, — заявил Оливер. — Я не прочь захватить вас с собой в Европу, мне там веселее с вами, маркиз, а узнал я вас достаточно хорошо, чтобы впредь наслаждаться вашим обществом без чрезмерных затрат.

Они дружили не со вчерашнего дня и потому столковались очень быстро.

Оливер пробыл в Венеции порядочный срок и уже собирался уезжать послезавтра, а все еще ни разу не видел Глории. Она хворала, у нее был насморк, а когда она была не в форме, то никому, кроме Перри, не желала показываться.

Но вот настал вождеденный миг. Глория поправилась и устроила вечер в честь мистера Брента.

Оливер причалил в гондоле к лестнице из поддельного мрамора у поддельного палаццо Перри Паладина. Ухмыляясь, вышел Оливер из гондолы, ухмыляясь, поднялся по лестнице.

Увидел Глорию. Она восседала в роскошном зеленом вечернем туалете, тяжелыми, пышными складками ниспадавшем до земли, ее синие глаза с ленивым любопытством смотрели ему навстречу из-под черных как смоль волос, красивый крупный рот улыбался глубокомысленно и загадочно. Cheese, думала она. А с губ Оливера сошла ухмылка, складочки вокруг серых глаз расправились, вся его долговязая фигура распрямилась. «И этот попался», — подумала Глория.

Зато маркиз был несколько озадачен, почему Глория в этот вечер уделяет ему так мало внимания. Но все переменилось, когда он сообщил ей, что его миссия здесь окончена, появление Оливера воскресило в нем тоску по родительскому палаццо и по Старому Свету, а посему он намерен послезавтра вместе с Оливером уехать отсюда навсегда. Она призадумалась, да так глубоко, что перестала улыбаться. Она даже заговорила.

— Как жалко, — сказала она.

Но в течение вечера она вновь стала дарить половину, даже больше половины внимания Оливеру Бренту. Перри это отметил, Перри вспомнил, что маркиз послезавтра покидает Америку, Перри мысленно потер руки, и лицо его озарилось сиянием, как после особо успешной сделки.

Но перед уходом Оливер заявил, что намерен продлить свое пребывание примерно на недельку. Он выпишет свою яхту и отправится в Нью-Йорк морским путем.

Эту последнюю неделю Глория дарила треть своего времени маркизу, а две трети — Оливеру Бренту.

Известие о том, что маркиз слагает с себя заведование Лидо и покидает страну, произвело в венецианской колонии настоящий переворот. Еще раньше, несмотря на деспотиче-

ский гнет маркиза, многие поселенцы окончательно забрали техасскую Венецию своей родиной, между венецианцами и аборигенами заключались браки, а детишки, привезенные из-за океана, лучше говорили по-английски, чем по-итальянски. Теперь же, узнав, что управлять Лидо впредь будут Перри и Сидней Браун без посредничества маркиза, почти все разом решили прочно обосноваться здесь.

Художник Калла также воспользовался пребыванием Оливера, чтобы посоветоваться с ним. Оливер осмотрел картины художника, приветливо выслушал его злобную ругань, похлопал его по плечу и высказал свое мнение:

— Все, что вы настряпали, — дикий бред. Продолжайте в том же духе.

Но Энрико Калла не был расположен продолжать в том же духе. Напротив, он хотел назад, в Европу. В его соглашении с Оливером было оговорено, что весь срок проживания в Америке он получает от Оливера ежемесячное пособие, а за это все им здесь написанное становится собственностью Оливера. Но нет, не желает он, чтобы этот молодчик похлопывал его по плечу. До каких пор его будут обжуливать эдакий вот сноб, который норовит извлечь из других не только удовольствие и наслаждение, а добавок еще и выгоду.

Впрочем, это было лишь внешним поводом к его решению. Перед Кэтлин он открыто высказал свои истинные чувства. По сути, ему здесь больше нечего делать. «Новое» оказалось совсем иным, чем он ожидал. Даже внутренне этот материк слишком еще разбросан и необжит, слишком еще незрел, чтобы творить искусство. Но кое-что Калла все-таки вынес из своего путешествия. Во всем здесь куда больше свежей силы, чем по ту сторо-ну океана; кажется, он и сам позаимствовал частицу этой силы, так что может строить дальше на старой основе без боязни впасть в шаблон. И еще вот что вынес он отсюда, — в общем, не поедет ли она с ним в Европу. В общем, вот оно какое дело...

На широком простодушном лице Кэтлин выразилась радость, сожаление, борьба. Да, Энрико полон жизни, и к тому же он настоящий художник. Когда он что-нибудь объяснял ей, то, при всей его распушенности в языке и манерах, она сразу улавливала, что восчувствовать «идеал» куда труднее, чем представлялось им с Перри. Зато, должно быть, этот идеал сулит неслыханное счастье. У нее

был большой соблазн сказать: «Хорошо, Энрико, я поеду с тобой».

Но тут она вспомнила Перри. Нелегко будет Перри переориентироваться на Лидо. И с ее стороны было не по-дружески именно сейчас оставить его одного или все равно что одного,— Глория плохой товарищ в беде.

— Мне очень лестно, Энрико, что вы хотите увезти меня с собой,— отвечала она.— Но мое место здесь, как ваше там, за океаном.

Калла разразился проклятиями и ругательствами, обозвал ее дурой, а всю ее страну — дурацкой, но она осталась при своем решении.

Тут прибыла яхта. Оливер Брент отплыл на ней, так и не сказав окончательно, думает ли он вкладывать дополнительные средства в акционерную компанию «Венеция (Техас)». С ним вместе отплывали маркиз Орсоли и Калла.

Перри и Сидней проводили отъезжающих до причала. Когда Перри возвратился домой, он обнаружил, что Глория тем временем тоже успела уехать. В оставленной записке она была немногословной, как всегда: «Прощай навеки».

Перри тупо смотрел на эти два слова. Ему представлялась Глория в тот миг, когда она явилась ему в туристическом агентстве «Синдбад», синяя юбка плотно облегла ее бедра, крепкая детская пятерня высоко подымала пышный волап. Так плыла она перед ним, уплывала все дальше, становилась все меньше, а он стоял на месте и не мог бежать за ней следом. Долго, как прикованный, стоял он перед осколками своей мечты.

Вскоре пришло письмо от одного из нью-йоркских адвокатов, относительно формальностей развода. Миссис Глория Паладин, говорилось в бумаге, собирается отплыть в Европу на «Мэнхеттене». С той же почтой пришло письмо от Оливера Брента. Он сообщал, что отправляется в Европу на «Мэнхеттене» и готов выделить дополнительные средства в акционерную компанию «Венеция (Техас)».

— Благодарю покорно,— проворчал Перри. Он отнюдь не собирается брать деньги как выкуп за Глорию.

Однако, не возьми он денег от Оливера, погибнут и вложения Сиднея.

Три дня бродил он мрачный и молчаливый, о предложении Оливера он ни словом не обмолвился с компаньонами. Наконец он заговорил с Кэтлин. Она тоже нашла, что брать деньги нельзя.

— Но твой отец потребует, чтобы мы взяли деньги,— угрюмо вымолвил Перри.

Кэтлин задумалась. И вдруг решила:

— Мы попросту ничего ему не скажем.

Перри возмутился.

— Разве ты не понимаешь, что это просто нечестно?

— Понимаю,— подтвердила Кэтлин.

— Понимаешь ты,— продолжал Перри почти что с угрозой,— что это даже преступно?

— Понимаю,— подтвердила Кэтлин.

Он смотрел на нее долго, испытующе, и она выдержала его взгляд.

— Да ты прямо молодчага,— выпалил он и хлопнул ее по плечу.

— Пожалуйста, без телячьих нежностей,— оборвала она.— Надо действовать. Надо складывать пожитки и ликвидировать Венецию.

— Что? — вознегодовал Перри.— Ликвидировать Венецию? Даже не подумаю. Венеция будет существовать,— упрямо заявил он.

— Ты совсем спятил,— не менее запальчиво возразила она,— а средства где ты возьмешь?

— Уж как-нибудь раздобуду,— сурово заявил Перри,— в лепешку расшибусь, а Венецию не брошу.

— Подумаешь, что такое твоя Венеция? — фыркнула Кэтлин.— Сосиски да баркаролы, и больше ничего.

— Не смей охаивать мою Венецию! — гневно оборвал Перри.— Она есть, она моя, и я ее не брошу.

— Твоя Венеция? — тоже сердито и агрессивно фыркнула Кэтлин.— Твоя? Нет, Глории! Сам же долбил об этом без конца.

— Не брошу,— упорствовал Перри,— сохраню мою Венецию. Теперь тем более — без Глории. Я им покажу, этим проходимцам,— расходился он.

Кэтлин вглядывалась в его лицо — оно осунулось и ожесточилось.

— Ты упрям, как бес, Перри,— заметила она.— Твое упорство граничит с глупостью,— но в лице ее уже не было гнева, а голос явно дрожал.

Перри не мог понять, выражают ли ее слова одобрение или насмешку. Все равно ему это было приятно.

— Ну, значит, я глуп,— ответил он, но куда уж менее агрессивно.— Мой дед говаривал, бывало: «Кто в двадцать лет не красив, в тридцать не силен, в сорок не умен, а в пятьдесят не богат — тому не бывать им вовек!» У меня еще есть время, чтобы поумнеть, а чтобы разбогатеть, и подавно.— Так как она рассмеялась, он добавил: — Конечно, это дается нелегко. Вдвоем было бы куда проще, как по-твоему, Кэтлин? — И он взял ее руку.

Кэтлин не отняла руки.

— Ты думаешь, из этого будет толк? — спросила она.— Так сразу? Без увлечения? — И опять в ее голосе послышалась дрожь и неуверенность.

— Чушь! — решительно заявил Перри.— Если женщина своим видом окрыляет человека, а потом, когда в ней нуждаешься, так ее нет,— это совсем не дело. Женщина должна быть помощницей.

— Только помощницей? — осведомилась Кэтлин.

— Ах, брось ты это,— отмахнулся Перри.— Я не Эмерсон. Только мне без всякой философии ясно, что мы созданы друг для друга. Хочешь ты мне помочь? — спросил он снова почти что повелительно, и лицо его осунулось и стало напряженным, как во время сложных деловых переговоров.

— Конечно, хочу, дуралей. Это ты мог получить раньше и дешевле.

Они решили пожениться, как только будет оформлен развод с Глорией, и отныне Перри стал ездить на тандеме с Кэтлин.

Предложение Оливера утаили от Сиднея, деньги добыли на зверских условиях. Откупили права у итальянцев. Умножили число увеселительных заведений. Построили уютные дачки на одну семью.

Трудиться пришлось всюду, зато в назначенный годичный срок первый этап был завершен. Место культурного центра Венеция (Техас) заняла другая Венеция (Техас) — город красот и развлечений.

На второй год была намечена постройка казино. В соглашении с подрядчиком имелась на предмет выбора объектов очень выгодная оговорка. Однако же город красот и развлечений еле-еле держался на воде и затевать новые предприятия было небезопасно.

Когда срок заключения договора на постройку подходил к концу, Перри обратился за советом к Кэтлин:

— Решиться или нет? Строить или не строить казино?

— Это дело счастья.

Перри подписал наряд.

Начали рыть фундамент для казино. Наступил срок первого крупного платежа, затем второго. Перри плохо спалось в эти ночи.

Но, вынимая грунт, рабочие докопались до воды с радужными переливами и непонятным запахом.

Перри взволновался, ни слова не сказал компаньонам и привлёк специалистов. Сам он окончательно потерял сон. Начали пробное бурение. Нашли нефть. На обширном пространстве нашли нефть.

Сияя от радости, Перри с благодарностью смотрел на Кэтлин.

— Ты подала мне эту мысль,— промолвил он.— Ты посоветовала мне положиться на мое счастье.

Нефть смыла Венецию (Техас), город красот и развлечений.

Но и разбогатев, Перри не перестал вспоминать прощеловатый плакат: «Венеция ждёт вас».

Они с Кэтлин поехали в Венецию (Италия).

В гостинице «Даниелли» портье спросил их, не хотели бы они нанять хоть и дорогого, но в высшей степени занимательного гида, некоего маркиза Орсони. Это подлинный маркиз, его предки дали Венецианской республике двух дождей. Затем он настоятельно рекомендует им пообедать в траттории на Лидо,— её владелец тот же маркиз, кстати, маркиза Глория отлично говорит по-английски.

Но мистер и миссис Перри Паладин предпочли осматривать город Венецию без гида. Перри был в клетчатых штанах до колен, в клетчатом дорожном картузе и в пледе, подзорная труба висела у него через плечо, из кармана торчал путеводитель. Кэтлин тоже была в широченном пледе и в соломенной шляпе с вуалью, которая развевалась на ветру.

Они проезжали мимо дворцов в стиле Ренессанс, на самом деле построенных в эпоху Ренессанса из всамделишного мрамора. Все это было великолепно, но гораздо

мрачнее, чем им представлялось, и не так оживленно. На всем была печать обветшалого и даже обшарпанного величия.

Кэтлин до глубины души волновало все виденное.

А Перри чувствовал себя здесь очень неуютно. В угрюмой задумчивости бродил он по городу. И на четвертый день сказал Кэтлин:

— Если не возражаешь, мы завтра уедем. Конечно, все это очень величественно и грандиозно, но что-то мне здесь действует на нервы. — Видя ее удивление, он пояснил: — Какой-то здесь застой и мертвечина. Это город для лентяев. На меня он нагоняет хандру. Я хочу домой. Знаешь, что я надумал, — признался он. — Я брошу нефть и вернусь к земельным участкам. Но больше не буду строить ни Венеций, ни Севилий. Буду строить обыкновенные загородные поселки для нынешних и будущих дачников. И знаешь, кого я возьму себе в помощники? Калла — живописца. Он форменный психопат, но у него бывают разумные мысли. В нем есть то, что нам не мешает позаимствовать у Европы. Его стоит взять с собой в Америку.

— За одну минуту целый ворох новостей, — сказала Кэтлин, как в свое время сказал ее отец.

Ей хотелось побыть еще в Венеции, но она увидела, что чары окончательно спали с ее мужа, порадовалась на своего деятельного Перри и покорилась его воле.

На пути домой, прогуливаясь по палубе и созерцая серо-зеленые воды океана, Перри подвел итог своим впечатлениям:

— В Венеции (Техас) чувствовалась жизнь, в Венеции (Италия) есть величие, но лучше всего была Венеция на плакате в туристическом агентстве «Синдбад».

Кэтлин остановилась, посмотрела на него, и лицо ее вновь выразило мягкую, женственную, материнскую насмешку.

— Уразумел наконец? — спросила она. — Впрочем, тебе скоро стукнет сорок, пора поумнеть.

Он рассмеялся.

— А я еще в тридцать уразумел, что мы созданы друг для друга, — ответил он.

И они снова отправились гулять по палубе, и Перри радовался, что пароход каждый час на пятнадцать миль приближает его к родине и к делам.

По дворцу Д'Эсте в Ферраре проносился буйный карнавальный хоровод, точно огненный жеребец, что, сбросив наездника, без узды мчится на простор.

В парадном покое дворца сидел на возвышении брат герцога, кардинал Ипполито, в кругу ученых острословов и блистающих умом красавиц. Пресытаясь праздничной суетой, избранное общество с изысканной томностью раскинулось в мягких креслах, поставленных на возвышении. Вдыхая утонченными чувствами аромат веселья, незримо, но ощутимо пропитавший зал, гости услаждались легкой беседой, которая грациозно порхала от высокого к низменному, от глубокого к пустому.

Мессир Лудовико Ариосто, придворный поэт кардинала, только что рассказал, как напротив, в нише за померанцевым деревом, он подслушал нежное воркование переодетого капуцином бакалавра Тимотео Шелладини с Бьянкой Джованной, юной придворной дамой герцогини Лукреции.

— Вашему высокопреосвященству известно,— обратился он к кардиналу,— известно и вам, господа, как косноязычен обычно добрейший наш Тимотео. Но послушали бы вы, каким он стал вдруг красноречивым. Слова столь резво слетали с его губ, что *triumviri amoris* порадовались бы, глядячи на него. Так любовь внушает нужные слова немوتствующему.

— Разве не такова же, друг Лудовико, любая страсть? — спросил кардинал. — Мне кажется, любая подлинная страсть на какой-то миг превращает в Демосфена всякого, даже отдаленно не причастного гуманизму.

— Прошу прощения у вашего высокопреосвященства,— возразил Ариост; нагнувшись, он только что поднес к губам розовый бутон, брошенный ему белой женской рукой,— прошу прощения за то, что я дерзаю возразить вашему высокопреосвященству. Подлинная страсть даже невежду учит мыслить и чувствовать по-иному; но говорить по-иному она учит лишь нас, тех, кто насквозь пропитан духом гуманизма. Страсть плебея может самым наличием своим оказать художественное воздействие на других; однако выражение ее, способы, какими он пытается ее выразить, зачастую смешны и всегда некрасивы.

Но кардинал доказывал противное и собирался было

привести новые доводы, как вдруг у портала, ведущего сюда, в пиршественный покой, поднялся громкий шум.

Уродливая, грязная, сморщенная старуха пыталась там проникнуть через порог. Герцогские швейцарцы алебардщики не пускали ее, а она, поводя безумными глазами и издавая бессвязные вопли, рвалась в зал. Эту сцену наблюдали кавалеры из свиты герцога; приняв ее за маскарадную шутку, они вмешались в спор и впустили старуху.

Она остановилась посреди зала в кольце смеющихся масок, в круговороте буйного карнавала, который проносился по дворцу, точно огненный жеребец, что, избавясь от наездника, мчится на простор. Хилая, дряхлая, уродливая, в убогих пестрых лохмотьях, остановилась она посреди зала, ослепленная светом, сиявшим вокруг нее, оглушенная шумом, не умолкавшим вокруг нее, и растерянно, беспомощно озиралась по сторонам алчущими глазами, в которых ярким пламенем полыхала ненависть.

Кардинал зорким взглядом сразу же узнал старуху. Узнал в ней мать соблазненной им и бросившейся в По Лауры Патанеи. Его приятели тоже узнали ее, и один из них, нагнувшись к уху кардинала, шепотом спросил, не удалить ли старую каргу.

Ни одна черточка не дрогнула в лице Ипполито, когда он заметил старуху. С легкой сытой усмешкой, все в той же изысканно томной и надменной позе, раскинулся он в мягких креслах; стройные пальцы скульптурно спокойной правой руки сжимали ножку бокала.

— Чего ради мне удалять эту старуху, друзья? — спокойно и громко ответил он на заданный шепотом вопрос. — Наоборот, прошу вас, приведите ее ко мне. Видите, как она оробела и растерялась. — И улыбнулся, обратясь к Ариосту: — Я хочу послушать, что она скажет. Сдается мне, это будет великолепным подтверждением моего тезиса.

Старуху подвели к кардиналу. Толпа гостей обступила их, и на старуху обрушился водопад глумливого смеха.

— Ты явилась, — начал Ипполито своим до вкрадчивости кротким голосом, не громким и не тихим, но от которого тотчас же умолкал всякий, — ты явилась сказать мне, что я соблазнил твою дочь и толкнул ее в волны По. Не правда ли, ты для этого стоишь передо мной? Так говори же, Мария Патанеи, я желаю тебя послушать.

Едва старая женщина услышала голос кардинала и встретила взгляд его усталых, холодных глаз, как смущение перед непривычной роскошью и все другие чувства исчезли, обратились в пепел, спаленные огнем ненависти.

И она заговорила: сперва голос ее дрожал и срывался, но мало-помалу становился все тверже и уверенней. Всю свою беспредельную, бездонную, как морская пучина, боль собрала она в ком и швырнула в бледное, усталое чело кардинала, чье невозмутимое спокойствие распаляло ее сильнее, чем самая язвительная издевка. И меткие сравнения, смелые, гордые слова нашлись вдруг у нее; речь ее бурлила кровью и жизнью, сверкала яркими образами, живыми, огненными красками.

Дамы и кавалеры вокруг них, сперва поднявшие было старуху на смех, онемели, подавленные силой ее слов. На лицах проступило выражение тягостной неловкости, перешедшее в непритворное сострадание. Немногие способны были слушать внимательно и придирчиво, подобно кардиналу и кружку его приближенных.

Но вдруг Ипполито кивнул двум гвардейцам.

— Она мне надоеда, — промолвил он и отвернулся.

Швейцарцы вывели старуху. Толпа рассеялась, веселье и танцы вновь заволокли зал.

Сидевшие на возвышении молчали. Первым подал голос Ариост:

— Она говорила превосходно. Мы должны быть признательны его высокопреосвященству за доставленное удовольствие.

Кардинал тем временем поднялся с кресла. У входа в зал он увидел Джулию Фарнезе, юную любовницу папы, от ее сияющей красоты у него так же радостно билось сердце, как от бокала ароматного вина или от совершенного творения античности.

Тщательно застегивая перчатку на правой руке, он небрежно бросил в ответ:

— Н-да, она говорила превосходно. Только зубы у нее чересчур гнилые!

Простившись легким дружелюбным кивком, он спустился с возвышения и направился навстречу юной улыбающейся Джулии, чтобы поцеловать ей руку.

А по залу проносился буйный карнавальный хоровод, точно огненный жеребец, что, избавясь от наездника, мчится на простор.



КНИГА АМЕРИКАНСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
ДЖ.Л. УЕТЧИКА

П Е П

Пеп» от английского — перрег-перец... В Америке это примерно значит: «Начхать! Обойдется! Держись! Выше голову, брат!»
Особенно, если нервы сдают, или супруга — в истерике, или с делами запислся, тогда говорят:
Пен!

700 слов употребляет средний американец, американка — 800,
шофер (с учетом ругательств) 900, ни одного — президент Кулидж.
Словарь В. Шекспира состоит из 14 000 слов, Г.-Б. Шоу — из 3700,
но в действительности все можно свести к одному лишь —
Пен!

Тут все понятно и просто. Во всяком случае, янки много трепаться не любят. Не болтливый народ. В метро, на улице, дома, даже в нью-йоркском банке тебя поймут моментально, только откроешь рот:
Пен!

Годится в любой ситуации. Все объясняет поступки. Удобно в общенье с людьми, с животными, с вышестоящим лицом.
Заменяет жвачку, спиртные напитки, курение трубки. Ко всем, кроме господ-бога, можешь сунуться с этим словом:
Пен!

Запор — неприятная вещь. Неприятней запора
 балланс, в котором прибыль составляет всего
 5,25 процента.

Но самое худшее это, конечно, бессонница...
 Главный медик Фицборо
 доктор Г.-Г. Геймер проделал в этой связи ряд
 любопытнейших экспериментов.

С помощью микроскопа и специального фотоустройства
 он установил, что бессонница (особенно, если нервы
 издерганы)
 вызывает пониженную работоспособность, мозговые
 расстройства
 и в отрицательном смысле влияет на прочие органы.

Конечно, Соединенные Штаты находятся сейчас
 на подъеме,
 и город Фицборо-Саус переживает безусловный
 подъем.

И я — Б.-В. Смит, пока что хозяин в собственном доме,
 а лучший дом во всем Фицборо это пока что *мой* дом.

Однако едва лишь бессонница ко мне по ночам
 привяжется,
 я тотчас впадаю в апатию — сам не пойму отчего.
 Мой город, мой дом, мои родственники — мне все
 отвратительным кажется.
 И я, и моя Америка — что-то мы все не того.

Стало быть, с целью успокоения расстроенной нервной
 системы —
 необходимо принять соответствующие меры. И неотложно
 притом.

Допустим, отвлечься от дел, поразмыслить на
 философские и религиозные темы
 или хотя бы поменьше черного кофе употреблять
 перед сном.

Господин Б.-В. Смит (Черепида, кирпич и т. д.) во время деловой поездки, закончившейся крупной удачей, посетил в провинции знаменитое варьете и задумался, сидя в зале, над сущностью единобрачия.

«С точки зрения природы,— рассуждал господин Б.-В. Смит,— моногамия — нонсенс. Потому что, допустим, собака, или, допустим, петух, или комар, или кит никогда не бывают связаны узами брака. Но благодаря религии, гражданскому долгу и чувству семьи я, будучи моногамным, достиг в этнологическом смысле наивысшей ступени, что соответствует отношениям, принятым между людьми, и, безусловно, способствует половой гигиене».

Так господин Б.-В. Смит укрепил в себе привязанность к супруге и детям, придя к бесспорному выводу, что он моногамен и нравствен в своей сути... Однако в скобках заметим, что выступавшие *девочки*, обозначенные в программе

как «очаровательные *куколки*», «парижский супер-класс», отнюдь не справлялись с поставленными *задачами* и, к глубокому огорчению господина Б.-В. Смита, который не сводил с них глаз, оказались просто-напросто раздетыми старыми клячами.

ИСКУССТВО

Пять тысяч американцев из армии и флота изображали эмблему каких-то индийских племен: звезду и голову с трубкой изображала пехота, а матросы, одетые в синее, обозначали фон.

Господин Х.-Л. Памффри — оптовик, продававший свинину, который всегда утверждал, что В. Шекспир, Рафаэль и Эдгар Аллан По — «зеленая муть», увидев своими глазами эту живую картину, впервые постиг Искусства священную суть.

МУЗЫКА

Энергия, расходуемая на исполнение джазовой музыки, огромна. По крайней мере, если на *целую* песню Брамса требуется от 32 килограммометров в минуту до 35-ти, то на *один* только такт при исполнении шлягера в современной манере расходуется 293 килограммометра в минуту, то есть — 300 почти!

С другой стороны, орнитолог Яап Тен Клот установил, что на звуки аккордеона куры реагируют усиленной кладкой яиц. Следовательно, и джазовая музыка не лишена соответствующего резона и благотворно влияет на жизнедеятельность людей и домашних птиц.

РЕВЮ

Семнадцатого января, устав от оборудования потустороннего света, бог решил сходить в «Хрустальный дворец» на Большое ревью, где роскошные женщины, шикарные туалеты — «крик сезона», как сказано в каком-то из интервью.

Купив билет за семь долларов, бог вошел в помещение, занял место в партере, сидел, благодушен, весел и отменно здоров.

И так как он был намерен в тот вечер являть чудеса всепрощения, он тут же простил устроителям первые пять номеров.

Шествие лилипутов простил, парад шансонеток и всадниц, даже поаплодировал «Пляске с бананами» и «Негритянской борьбе», но постепенно от вида бесчисленных голых задниц богу становилось все больше не по себе.

Во втором отделении бог поднялся со стула и, никому не мешая, тихонько покинул зал.
«Глянь-ка на старую перечницу!» — дама соседу шепнула.
«Лысая образина!» — сосед вдогонку сказал.

Но бог на них не обиделся. Ведь он был все-таки бог.
И ревю ему, в общем, понравилось, особенно — «Пляска с бананами».

Он простил этих грешных.
Себе лишь простить не мог
того, что людей сотворил он такими баранами.

ПРИ ЧТЕНИИ КНИГИ О СИАМЕ

Сиамская рыба *плакка* на редкость кажется сонной, бесцветной, беззубой, бездарной, безвольной до невероятия. Отделенная от соседей перегородкой картонной, она за стеклом аквариума пребывает в полнейшей апатии.

Но стоит убрать картонку и показать этой «скромнице» соседей, живущих с ней в одном и том же аквариуме, она сатанеет от злости, не дает соседям опомниться, спешит расправиться с ними, как с самыми гнусными тварями.

И, начиная светиться, как радуга, всеми оттенками, плакка лезет на плакку, бесясь в лихорадочной тряске.
Но, очутившись опять за своею картонною стенкою, плакка становится вновь исключительно миролюбивой, инертной и лишенной всякой окраски.

Однажды мистер Г. Исторн подсунул мне старую канистру.
Но, хотя вы поступили со мной достаточно скверно, я вас ни в чем не вию, уважаемый мистер!
Я сам виноват: в моем возрасте нельзя быть таким
легковерным.

Встречая мистера Исторна, киваю ему неизменно:
«Хелло, старина!» — здороваюсь с ним, как с другом...
Но можете возвести между нами любые перегородки и стены,
я все отчетливо *помню*, и однажды мистер Исторн ответит
мне за все по заслугам.

Путешествуя по Европе, господин Б.-В. Смит с целью лечения нервов остановился в Ницце (по правде сказать, он был совершенно здоров и вполне еще молод на вид, и ему совершенно не от чего было лечиться).

Одним словом, попав в пансион, чтобы начать соответствующее лечение, некую русскую даму увидел он и тотчас же почувствовал к ней нечто вроде влечения.

С помощью кельнера и портье дама приглашена была в зал, где Б.-В. Смит представился очаровавшей его иностранке, однако первый час переговоров никаких результатов не дал, несмотря на упоминание о дочернем предприятии, оборотных средствах и о счете в швейцарском банке.

Были упомянуты марки автомобилей, названия отелей, кругосветное путешествие, спорт, годовые доходы, тем не менее вышеупомянутая русская дама перевела разговор на искусство и на красоты природы.

Господин Б.-В. Смит, не страдавший до этого отсутствием оптимизма, был опечален до крайности... и оскорблен вместе с тем. Так он окончательно убедился в бездушии большевизма, представляющего собой одну из опаснейших социальных систем.

Посвящается Татьяне Шильской.

КОГДА ОН СШИБ ВЕЛОСИПЕДИСТА

Куры благовоспитанны, коровы и пешеходы — не очень-то, зато велосипедисты — это какие-то бестии!..

Случилось, что господин Б.-В. Смит на своем «Крейслере-6» сшиб велогонщика.

Машина не пострадала. Велогонщик скончался на месте.

Стоя над искореженным трупом, господин Б.-В. Смит
(кстати, и велосипед был расплюсчен — не осталось и
обода)

убедился, что сшибленный им человек убит.
И вот что подумал по этому грустному поводу:

«С развитием транспорта растет количество жертв.
В этой связи страховые компании, учитывая особенности
обстановки,
при которой пешеходов и велосипедистов на каждом шагу
подстерегает смерть,
безусловно, должны увеличить сумму страховки.

Может быть, у этого бедняги имеется беби
и — даже весьма вероятно — не один, а двое.
Бессмертие души человек обретает в небе,
а на земле вдова остается вдовою.

Стало быть, по этой самой причине
жена будет жить без мужа, дети расти без отца...
Media in vita...» Но из-за слабого знания латыни
господин Б.-В. Смит свою мысль не смог довести до конца.

Попыхивая сигарой, он оценивал тяжесть потери,
видом своим возмущая толпящихся рядом зевак.
Кто-то уже кричал что-то про деготь и перья.
Но тут подросла полиция и составила акт.

Господин Б.-В. Смит не нарушил правил уличного
движения.

Ему ничто не грозило. Он был совершенно чист
с точки зрения закона. И тем не менее
весь вечер торчал в его мыслях этот велосипедист.

Сидя в своем кабинете над сложной калькуляцией,
связанной с черепицей, олифой и кирпичом,
он не мог отвязаться от некой галлюцинации,
попыхивал сигарой и рассуждал вот о чем:

«Гонщик нарушил правила. И это — другим наука.
Хоть жаль его, разумеется. Быть может — муж и отец.
Но бессмертье души — великолепная штука.
Кто первым его придумал, тот большой молодец!

Однако, с учетом сложившейся обстановки,
когда развитие транспорта принимает такой оборот,
безусловно, должна быть повышена сумма соответствующей страховки...
А вообще человек никогда не знает, когда он умрет».

ЗВЕЗДА ДОРАДУС

Свет идет от земли до звезды Дорадус сто тысяч лет.
О, бананы!
Европе понадобится в сто тысяч раз больше, чтобы догнать
Новый Свет.
О, моя Мэри!

Из Европы просачивается целый ряд нежелательных
элементов.

Спи, моя крошка!
Население Фицборо ежегодно увеличивается на семна-
дцать процентов.

Хелло, дорогая!

С помощью электричества повышается удой молока.
Тру-ля-ля!

Эльдорадо!
А в Германии, в Англии и во Франции экспорт упал
до нуля!

Джерри, гуд монинг!

Бог всесторонне поддерживает наш социальный строй,
строительство автострад и прогресс.

Ол-райт!
А к зараженной большевизмом Европе он давно потерял
интерес.

Аллилуйя!

Наседка втрое больше дыплят производит под джаз.
Это доказано!
Но и без всякого джаза годовой оборот на автомобильном
заводе Уэллса увеличился в несколько раз.
Гуд бай, моя китаяночка!

На четырех континентах — застой, распад, разруха,
полнейший хаос во всем.

Ого-го-го!

А в Соединенных Штатах даже филин умеет петь соловьем!
Пеп!

БАЛЛАДА ГОСПОДИНА Б.-В. СМИТА

Когда он сделал такое количество долларов,
что вполне мог бы выстелить ими полы своей виллы,
неожиданно странная мысль пришла ему в голову:
что бы такое купить, чтобы грело, как солнце, и одновременно светило?

В свои пятьдесят семь лет он был абсолютно здоров,
хотя порой ощущал неприятную тяжесть в желудке.
У него было двадцать шесть естественных, совершенно
целых зубов.
И в случае необходимости он мог работать круглые сутки.

И тогда он сказал: «Покупаю — и весь разговор! —
море, горы и небо, и господа бога вдобавок!..»
Но никто не спешил завернуть ему хотя бы парочку гор,
да и землю, и море, и бога не вынес никто на прилавок.

Он совал свои доллары небу и горным отрогам,
но горы и небо молчали. А к этому он не привык.
«Может, мало плачú?! Что ж! Тогда поторгуюсь с богом!»
Но и господу богу деловой не понятен язык.

Так под небом немым он стоял, обладатель текущего счета,
первокласснейший малый, крепыш, деловой человек
хоть куда,
ничего не достав, что достать ему было охота...
Для чего же, скажите, он доллары делал тогда?!

Я — Луэтта Фринк, законная супруга Вильяма Вашинг-
тона Фринка,
обладательница трех автомобилей, двух теннисных кортов
и на обеих Ривьерах двух вилл.
Особняк, в котором мы с Фринком живем, не особняк —
а картинка.
Вильям В. тратит сто двадцать тысяч. Я нахожу, что он
мил.

Я ему родила двух очаровательных крошек, не испортив
при этом фигуры.
С Вильямом В. мы регулярно посещаем Вашингтон и Нью-
Йорк.
Моей внешности могут вполне позавидовать голливудские
кинодуры.
Президент Кулидж и королева Румынии пришли от меня
в восторг.

Первая дама нашего города,
делами я занята по горло:
езжу к портнихам, целую детей,
по вечерам принимаю гостей,
так что под тяжестью светского бремени
для чувства и мыслей почти нет времени.
Все хорошо. А нет-нет да почувствую,
что чрезвычайно тоскую по чувству я.

В разгар сплошного лета
пускай войдет весна!
Ах, Этта, Этта, Этта,
без чувства жизнь пресна!
Улыбкою печальной
смени привычный смех.
Чуть-чуть сентиментальной,
ей-богу, быть не грех.
Супруга В.-В. Фринка,
ты знала ли хоть раз,
что горькая слезинка
сладка для женских глаз?!
Любовной «мукой ада»
себя разбери,
чтоб вызвать, если надо,
стеснение в груди.

С полночи до рассвета
о ком-нибудь скажи.
А ну-ка, слышишь, Этта,
сентиментальничай!

Путешествуя недавно по какой-то балканской стране
полудикой,
во время поломки автомобиля я встретила адвоката два-
дцати шести лет.

Он был бородат, непричесан, притом оказался заикой.
Сложенья отнюдь не спортивного, он был ужасно одет.
Вы думаете, он делал доллары? Как бы не так! Этот малый
строчил большевистские книжки и сочинял стихи!..
Но вокруг, понимаете, все прямо благоухало
розами, из которых в этой балканской стране изготавливают
духи.

И этот мой оборванец был так чертовски потешен,
что, говоря откровенно, я бы в ту ночь предпочла
задержаться в отеле... Поздней я в газетах прочла,
что за свою агитацию этот мой адвокат осужден и повешен.
Возвращаясь домой
на пароходе,
я думала: «Боже мой!
А жизнь-то проходит!

Ах, Этта, Этта, Этта!
По правде говоря,
сентиментальность эта
придумана не зря.
Любви себя лишая,
теряешь аппетит!
Интрижка небольшая
тебе не повредит!
Без чувства жить убого!
Чтоб силу обрести,
нам надо хоть немного
сентиментальности!»

И опять начинается зимний сезон.
Предстоят два больших и три малых приема.
С Вильямом В. я обязательно поеду в Вашингтон,
где мы будем гостями Белого дома.
Итальянскую оперу мы намерены посетить в Нью-Йорке,
а также послушать известного немецкого скрипача.
Кроме того, я имею в виду побывать у врача
и заказать себе (десятую по счету) шубу из норки.

Что касается нашего сына, то он подросток, между прочим,
а наша младшая дочь — уже почти что невеста.

Сын прекрасно играет в теннис. Мы его в дипломаты
прочим.

Дочь мы выдадим замуж за короля нефтяного треста.

А у Вильяма В. будут расти и расти доходы.

И каждый может только мечтать о такой счастливой
судьбе.

И так за годами будут тянуться годы,
пока не настанет час, когда бог меня позовет к себе.

Вокруг моей постели столбятся дети и многочисленные
внуки

и будут смотреть, как я, остывая, лежу.

Но перед самой смертью я в последний раз возьму себя
в руки

и так, чтоб никто не услышал, себе тихонько скажу:

«Ах, Этта, в час прощальный,
когда пришел конец,
стать чуть сентиментальной
ты можешь наконец.

Последняя дорога!

Прощай, земная твердь.

Нет чувств. И как убога

Бесчувственная смерть».

Так, тихо умирая,

я буду напевать.

И на пороге рая

не стану унывать!

За горло смерть хватает:

последнее «прости»!

Но мне теперь хватает

сентиментальности!

СТАТЬИ

ПЕРЕЖИВАНИЕ И ДРАМА

1. О СВЯЗЯХ МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И ДРАМАТИЧЕСКИМ ИСКУССТВОМ

Мы знаем, что не может быть лирики, не основанной на переживании. Несмотря на то что существует крайне изысканная, безжизненная поэзия Райнера Марии Рильке и Стефана Георге. Гете, его личность, его произведения и его теории вдолбили в нас эту догму на все времена. И мы знаем также, что не может быть эпоса, не основанного на чувстве. Несмотря на то что существует холодное совершенство новелл Пауля Эрнста, несмотря на Оскара Уайльда и даже благодаря ему. А как обстоит дело с драмой, этим наиболее искусственным из всех искусств, требующим от своих жрецов самого ледяного спокойствия, самого безошибочного чувства меры и самой безупречной техники? Разве не должен драматический писатель, не в пример лирику или новелисту, смотреть на свой материал со стороны, холодно, отчужденно и даже враждебно, чтобы справиться с ним, организовать, заострить его, придать ему завершенность? Не объясняется ли сценическая неполноценность «Фауста» или «Манфреда» именно тем, что их творцы стояли слишком близко к своему материалу и что избыток пережитого, перечувствованного, не вмещаясь в рамки пьесы, потребовал такого объема и полноты, которые чужды драматическому искусству? А разве пьесы зрелого Ибсена не превосходят творений Ибсена-старца потому только, что

последние слишком отягощены мудрым и недраматическим по своей сути грузом переживаний?

Связь между жизнью и драмой гораздо глубже, чем связь между жизнью и двумя другими родами литературы. Гете, отчаявшийся завершить «Димитрия», справедливо объясняет свою «театральную несостоятельность» «недраматическим спокойствием своей жизни». Драмы Шекспира могли возникнуть только в эпоху, чреватую большими событиями и только под пером человека, знавшего превратности судьбы. Драматургия Генриха Клейста невысказана без его бурной жизни, без внезапных поворотов эпохи наполеоновских войн. Только суровая, упорная и беспощадная борьба за существование может объяснить нам стальную последовательность драматургии Геббеля; только спокойная гармония, царящая в жизни поэтов-неоромантиков — жизни бедной деяниями и богатой чувствами и оттенками, могла породить упивающуюся образами мира, расплывчатую задумчивость нашего неоромантического театра. Конрад Фердинанд Мейер, дни которого мирно протекали за письменным столом, не способен был сочинять драмы, как бы драматичен ни был его взгляд на мир, а потрепанный жизнью Ведекинд не может даже вещи, требующие спокойного, обстоятельного изложения, высказывать иначе чем в форме драмы.

Если у всякого драматурга сценичность его творений определяется его собственной бурной жизнью и бурной эпохой, то, с другой стороны, живая действительность людей и предметов столь же упорно противится воплощению в драме, сколь послушна она руке эпика или лирика. «Не важно, что я живописую: Прекрасную Елену или заплевываемую корку сыра; лишь бы только мое изображение было искусством». Эти слова Оскара Уайльда, безусловно, справедливы для лирики и эпического рассказа; но драматург, в какую бы область человеческой жизни он ни вторгся, всегда найдет эту жизнь интересной, но лишь очень редко — пригодной для его цели.

Ибо сам процесс переживания прежде всего эпичен, в лучшем случае лиричен и никогда не бывает драматичным. Драма требует кульминации, односторонности, четкого направления, неукоснительной последовательности, а любое переживание всегда стремится вширь, оно захватывает множество посторонних предметов, оно то нарастает, то слабеет, словно качаясь на волнах. Переживание есть лишь

dynamis¹ драмы, подобно тому как каменная глыба есть лишь dynamis природы. Всякий, кто наблюдает жизнь, будь это даже писатель, не причастный к драме, увидит просто старого еврея, одетого так-то и так-то, имеющего те или иные склонности, занятого своим ремеслом. Еврей этот порой ласково или ворчливо болтает со своей дочерью, у него та или иная манера говорить; он выгодно обделывает свои делишки на Риальто, ест и пьет, мучается из-за конкуренции христианских купцов, ссорится со своим слугой и страдает, очевидно, всякими старческими недомоганиями. Но драматург имеет право увидеть в Шейлоке только одно — его мстительность. И драматург должен будет связать отношение еврея к дочери, к слугам, все его разговоры на Риальто с этой мстительностью. Или просто опустить все эти подробности. Ему нет дела до того, что Шейлок ест и пьет, и до того, как он это делает. Он отметит только, что Шейлок не ест вместе с Антонио и идет на ужин к Бассанио — по причине своей мстительности.

Природа не создает человека таким односторонним, типичным и ясным, как требуется драматургу. Порой в жизни и Ярл Скуле бывает цельным, а Хокон Хоконсен — слабым и противоречивым; но построение «Борьбы за престол» требует, чтобы Хокон всегда был исполнен королевского величия, а Скуле — раздираем противоречиями и сомнениями. Вся сила воздействия в драме основывается на *systasis tōn pragmatōn*², то есть на четкой согласованности всех ее моментов. Этот непреложный закон познал еще Аристотель. Таким образом, не только характеры, но и действия людей драматург должен тщательно отобрать. Никакая глубина идеи, никакое проникновение в самые сокровенные бездны души, никакое совершенство языка и богатство красок не смогут компенсировать недостаточную последовательность действия. Император Карл у Гаупмана обнаруживает перед нами всю свою многогранную человечность. И, однако, драма проваливается. О Ромео нам известно только одно — он любит. Он, конечно, делает еще и многое другое; но его драматическая миссия состоит только в том, чтобы быть любящим, чтобы любить — любить неистово, верно и постоянно.

¹ Здесь — возможность что-либо сделать или чем-либо стать (греч.).

² Взаимосвязь вещей (греч.).

Следовательно, отбор жизненных явлений в драме производится гораздо более ремесленно и грубо, чем в лирике или эпосе. И пока переживание не остыло в душе драматурга, его рука не способна воплотить пережитое в драме.

2. О РОДСТВЕ ДРАМАТУРГА С ЕГО ПЕРСОНАЖАМИ

Тем не менее и Грильпарцер и Гервинус, совершенно независимо друг от друга, пришли к одному выводу: Шекспир наверняка был убийцей, если сумел создать столь правдивые образы убийц. Или, если выразить то же самое в более общей форме: драматург должен быть *dynamis* своих персонажей.

Драматург должен заключать в себе *dynamis* всего человеческого, лишь тогда он сможет сделать свою драму энтелехией всего человеческого. «*La lutte de deux forces opposées*», «борение двух сил в одной груди», — именно в этом, по прославленному определению Виктора Гюго, сделанному им в сороковых — пятидесятых годах прошлого века, и заключается истинная сущность всякого драматического поэта. Корни драматического искусства — те же, что корни искусства мимического. Драматург должен быть актером в самом подлинном смысле этого слова. Должен заключать в себе тысячи жизней. Заключать в себе жизнь каждого и всякого, быть способным в любой миг дать ей беспрепятственно излиться обильным потоком. Он должен быть королем от головы до пят или от головы до пят нищим, негодяем или святым. Хладнокровным и необузданным, проматывающим земли и дрожащим над каждым геллером, искушенным в тысяче сладострастных грехов и монашески суровым, вдыхающим с одинаковой непринужденностью ледяной эфир горных вершин и зловоние сточной канавы. И при этом забывать о том, что сам он случайно является тем-то и тем-то и имеет собственные потребности. Кто всего на свете не испытал, через все не прошел — тот не может быть настоящим драматургом.

Поэтому ни один художник не испытывает такой сильной ненависти к своему искусству, как драматург, ибо ему вновь и вновь, в каждый миг творчества, приходится все в жизни испытывать, все вбирать в себя и все от себя отбрасывать. Поэтому достигший зрелости Шекспир не берет больше в руки перо, — он, который, быть может, был

не только величайшим в мире драматургом, но и величайшим и мудрейшим из всех людей на земле. Поэтому Клейст и написал свою «Пентезилею», самое отчаянное и самое любовное проклятие искусству, которое когда-либо было создано. Поэтому Ибсен сочинил свой леденящий душу эпилог, полный безысходного отчаяния. Поэтому Геббель умер с горестным возгласом: «Бесчеловечно: то нет вина, то нет кубка».

Поэтому переживания драматурга — более сильные, более бурные чем у кого бы то ни было. Он живет в самом подлинном смысле слова, он все переживает и, согласно холодному, враждебному закону искусства, вынужден убивать эту жизнь, чтобы творить ее, и снова творить жизнь, чтобы убивать ее.

3. БРАТЯ МАНН, БИЛЬЗЕ И ВЕДЕКИНД

Наполеон, представлявший собой, быть может, тип «человека факта» в наиболее чистом виде, который когда-либо существовал, в своей достопамятной эрфуртской беседе с Гете до небес расхваливал Вертера. И только одно место ему не понравилось: место, в котором реальность и вымысел переплетаются всего сильнее. Ученик Тальма не мог допустить, чтобы искусство лишили его жреческой мины, торжественно-праздничного подчеркивания его «нереальности»; реальный человек настаивал на четком разграничении поэзии и действительности. И это полностью соответствовало эстетическим воззрениям того времени. Ввести живого, реально существующего человека с его окружением, с его атмосферой в серьезное произведение искусства, — по церемонным воззрениям той эпохи это считалось просто «неприличным». Так, по крайней мере, считает Баумгартен, наиболее уважаемый авторитет в области эстетики среди современников Гете.

Но уже Гете беззаботно смешивал в своем художественном жизнеописании поэзию и правду. И чем далее развивалось понимание искусства, тем сильнее возрастало неуважение к материалу, тем бесцеремоннее обращался художник с реальной действительностью. Гейне, который тысячи раз жертвовал фактической правдой ради меткой остроты, эффектной концовки или изящно закругленного периода, ответил как-то на упрек друзей с рассеянной

улыбкой: «Но разве это не красиво звучит?» И все ошеломляющие теории Уайльда «играют с фактами, как кошка с мышью». Из близких нам писателей, пожалуй, братья Манн всего решительнее вплетают «физическую» действительность в свое искусство. В «Будденброках», в «Погоне за любовью», в «Земле обетованной» люди и обстоятельства недавнего прошлого представлены так, что каждый может безошибочно их узнать.

Встает вопрос: как далеко может заходить писатель, включая в свое произведение «неподретушированную» действительность, чтобы ощущение реальности содержания не убило художественной формы?

Один любекский прокурор заявил в 1906 году: «Я не премину заявить громко и открыто, что и Томас Манн написал свою книгу а-ля Бильзе, что «Будденброки» — типичный роман в духе Бильзе, и я буду защищать это свое утверждение». В конце концов каждый добропорядочный бюргер придерживается мнения, что искусство кончается там, где оно начинает раздражать его, и не думает о том, что отрицает в простоте душевной также и Аристофана, и Данте, и Гете.

Томас Манн ответил любекскому господину очаровательным возражением — эссе «Бильзе и я», которое, если отвлечься от несколько нечеткого построения, формально принадлежит к самым прелестным вещам такого рода, написанным за последние годы. Поэт с неожиданным для него жаром защищает в этом этюде безусловную свободу художника во всем, что касается выбора материала. В качестве художественного критерия он выдвигает термин «одушевление», «субъективное углубление». (Вспомним Гете: «Только там, где субъект и объект глубоко проникают друг в друга, есть жизнь».) «Действительность, — полагает Томас Манн, — которую поэт заставляет служить своим целям, может представлять собой окружающую поэта повседневность, действительное лицо может быть самым близким и дорогим ему; поэт может оказаться в полной зависимости от реальных деталей, жадно и послушно переносить в свое произведение мельчайшие приметы реальности; тем не менее для него — и так же, должно быть, для всех — всегда остается непреодолимая грань между действительностью и его творением, коренное различие, которое навеки разделяет мир реальности и мир искусства». И это коренное различие как раз и заклю-

чается в «одушевлении», в «том поэтическом процессе, который можно назвать субъективным углублением слепка с действительности». Так как далее Томас Манн прямым путем приходит к самым крайним выводам теории искусства для искусства и слишком односторонне видит суть литературного творчества исключительно в умелом сочетании слов, его рассуждение можно упрекнуть в известном налете схоластического номинализма; однако выдвигаемый им критерий нельзя не признать верным для романа и для лирики.

Но для драмы его теория абсолютно неприменима. По крайней мере, границы между произведением искусства и ощущением реальности сдвигаются здесь весьма существенно.

У драматурга прежде всего отсутствует самое важное средство художественного одушевления: он может воплощать своих героев только в их действиях, но не описывать. Прозаик работает прилагательным и глаголом: драматический поэт пользуется только глаголом. Вместо прилагательного ему приходится удовлетворяться чуждым ему, готовым, застывшим материалом — актером. С помощью слов и действий, которые может воплотить в жизнь только посторонний ему медиум, драматург должен достигнуть того, чего прозаик добивается с помощью описания.

Но отвлечемся от этого препятствия, преодолимого для сильного дарования и счастливого случая. Подумаем об особенностях воздействия книги и театра. Книга действует медленно. Ее влияние растет. Распространяется в будущее. Сама фабула, персонаж книги менее важны, чем общий смысл, одушевление, форма. Драма, напротив, должна быть рассчитана на данное мгновение: воздействие сцены менее прочно, чем воздействие отпечатанных и неистребимых страниц, но зато в момент представления оно гораздо интенсивнее. Следовательно, символ на сцене эффективен только в том случае, если его можно понять и осмыслить моментально. На сцене действует только непосредственно осязаемое. Это означает: в конечном счете оказывает действие само событие, сам человек как таковой. Не значение этого человека и не символика этого события. Все в драме действует грубее, смелее, непосредственнее, безыскуснее, проще. Совершенно исчезает чувство дистанции по отношению к личности художника, который полностью растворяется в своем произведении. Сцена представляет нам

будни еще будничнее, реальность еще реальнее: искусство бесследно пропадает, остается ощущение подлинности происходящего.

И затем драматург совсем иначе зависит от публики, чем прозаик. Книга оказывает действие на отдельную душу, драматическое произведение — на массу. А масса — под ее гипнотическим влиянием оказываются в театре даже отдельные знатоки искусства — масса ощущает реальность, «сенсационность», гораздо сильнее, чем индивидуум, и, напротив, смысл, прелесть формы воспринимает гораздо слабее. Театральная публика очень неодобрительно относится к нарушению фактической правды и таким образом нередко принуждает поэта жертвовать внутренней поэтической правдой образов ради внешней правдивости. Даже Шекспир в своих исторических хрониках и римских трагедиях шел на подобные компромиссы, и почти все художественные просчеты драмы «Клавиго» — впрочем, и ее театральные эффекты — объясняются тем, что Гете слишком послушно следовал фактам. Значит, искусство субъективного углубления должно быть в драме гораздо сильнее, чем в новеллистике, требуется просто невероятная сила, чтобы у публики, которая тысячами живых глаз следит за живыми людьми на сцене, за тем, как они стоят и сидят, двигаются и говорят, вместо ощущения присутствия при реальных событиях возникло чувство восприятия искусства.

Один пример. Я читаю у Генриха Манна в «Погоне за любовью»: «Арчибальд пришел в элегантных башмаках с пряжками, ни на кого не глядел, думал только о производимом им впечатлении; он прислонился к письменному столу, скрестил ноги в шелковых чулках, скрестил руки на груди, где на фоне вышитых пальм сияли, подобно солнцам, звезды орденов, втянул шею. Голова, макушку которой украшал редкий хохолок крашенных черных волос, плотно сидела на его полном туловище с выдающимся брюшком. Арчибальд расположился так, что влажный блеск мрамора коснулся его надутых щек, заиграл на носу благородной формы, заставил сверкать глаза. Его губы, набухшие и синие после бритья, дрожали, прежде чем он начинал говорить, как дрожит скаковая лошадь перед тем, как сорваться с места. Говорил он очень высоким, металлическим голосом, таким же легким и победным, как его походка». Я сразу замечая, что прототипом для этого Арчибальда послужил Эрнст Поссарт, но чувство сенсацион-

ности и все подчиненные ему более мелкие чувства (локальный интерес, личный и исторический интерес, сладострастное злорадство) — все это отступает перед чувством огромного наслаждения искусством писателя, восхищения своеобразным совершенством формы, великолепным слогом. Напротив, когда я вспоминаю героев драмы Ведекинда «Оаха» — мое удовольствие от яркой и грубоватой символики некоторых сцен не может подавить ощущения реальности, сенсационности содержания. Ведекинду не хватило мастерства характеристики для того, чтобы прогнать это ощущение, хотя, возможно, вообще это мастерство у него ничуть не ниже, чем у Генриха Манна.

4. «ОАХА» ВЕДЕКИНДА

Человек, наделенный подлинной силой моральных убеждений, далеких от реальности и абсолютно искренних, обладающий к тому же редким пластическим даром, — такой человек увидит нашу искусственную, крайне худосочную, неприятно умную, фразерскую и всю насквозь пронизанную эстетством культуру во всей ее возвышенной комичности. И счастливо сумеет воплотить в драме свое удивление, свое возмущение и испуг перед лицом нашего общества и перед формами нашего мировоззрения, поднять эти чувства почти до уровня трагедий; ибо у него, как у Гриммельсгаузена — творца «Симплиция Симплициссима» — будет дерзкая и наивная, ни перед чем не отступающая сила.

Долгие годы этого странного чужака самым нелепым образом не будут понимать, его недоуменные мины будут воспринимать и высмеивать как глупые и скверные гримасы, а его наивный и резкий стиль, напоминающий гравюры по дереву, считать неотесанностью мужлана и позой — маскировкой под «деревенщину». Но внезапно все меняется. Взгляды всего общества приковываются к этому писателю, все вдруг преисполняется любопытства к нему самому и к его творениям, любопытства скептического, но вполне уважительного. Его принимают всерьез, может быть, даже слишком всерьез. Так разве удивительно, если наивный, привыкший к насмешке и непониманию Ведекинд вдруг показался себе необыкновенно значительным? Если он отвращает взгляд от предметов внешнего мира

и направляет его исключительно на свою собственную персону? Если он не способен более увидеть разницу между своими личными мелкими и мельчайшими интересами и большими этическими принципами, за которые борлся прежде?

В своей новой драме «Оаха» Ведекинд с прежней силой и с прежними величественными жестами верховного жреца вещает всему свету о мелких личных обстоятельствах, до которых есть дело только ему самому. И в результате возникла жалкая, бесстильная мешанина, трогательно-гротескная и нищенски-величественная. В ней есть вульгарная неуклюжесть и благородный, аристократически изящный артистизм, развязность уличного мальчишки и осанистость жреца. В ней есть все, что способно навсегда жестоко исказить образ Ведекинда в глазах всех тех, кто без любви и понимания наблюдает его бескрылые попытки поднять свои личные переживания до уровня драмы.

АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО И РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Датчанка Анна Ларсен отказалась от сценической карьеры, чтобы посвятить свою жизнь служению Христу. Незадолго до того актриса Бургтеатра фрейлейн Корнелия Кегль стала сестрой милосердия, с тем чтобы вступить в конгрегацию духовных сестер Спасителя. (Об этом сообщал Петер Альтенберг в «Шаубюне».) Несколько лет тому назад господин Викторьен Гельме из Комеди Франсез покинул подмостки, сделался монахом и даже получил некоторую известность во времена «монастырской войны» Эмиля Комба. Старого Миттервурцера нередко приходилось доставлять на репетицию из церкви св. Михаила. Стареющая Рашель, одолеваемая сомнениями и беспокоясь о спасении своей души, крестилась. Мистер Маклин, тот, который в роли Шейлока превзошел знаменитого Гаррика, принял во время своей поездки в Рим католичество и решил окончить свои дни в монастыре под Сиеной.

Все они ощущали свое ремесло как испепеляющий грех и томились жаждой искупления. Как это возможно? Как могут актеры бранить искусство, для которого они рождены, и, пусть не без боли, но навеки от него отречься? Когда обыватель болтает о безнравственности актеров, это

в конечном счете понятно, но как сами художники могут говорить о позорности искусства, возвышающее действие которого они, несомненно, испытали на себе?

Источник творчества настоящего актера — в нем самом. Его искусство заключается не в том, что он наблюдает и кого-то копирует, а в том, что он заново, наивно, непредвзято переживает все те чувства, которые диктует ему драматург, что он становится тем самым человеком, которым повелел ему быть автор пьесы. Только тот может быть великим актером, кто вечно молод, близок к природе, всегда открыт новым впечатлениям. Актер творит не критично, от полноты душевной. На того же, кто не критичен, религия действует с не меньшей силой, чем самое могучее искусство. Ведь религию питают те же корни, что и искусство; подобно искусству, она отвечает потребности человека бесцельно и беззаветно раствориться в огромном, бесцельном и бесконечном. Актер привык растворяться в чем-то чужом: отдаваться целиком — его профессия, его искусство. Как же ему противиться религии, легчайшим и крепчайшим из всех уз — уже значение слова говорит об этом — самому убаюкивающему, самому ласковому принуждению в мире? Среди актеров, среди этого легко возбудимого народа, мы находим поэтому гораздо больше религиозных людей, чем обычно предполагают.

Религия же чурается актера, клеймит его ремесло. Уже Ветхий завет запрещал исповедовавшим его: мужчине — носить женское платье, а женщине — ходить в мужской одежде. Когда при Ироде в Иерусалиме были введены греческие игры, раввины пророчили окончательную гибель религии. Среди отцов церкви Татиан более всего ополчается на мимов. Приблизительно в ту же эпоху авторы вавилонского Талмуда объявляют посещение театра смертным грехом и к верующему, который избегает театра, применяют следующие начальные строки первого псалма: «Блажен муж, который не ходит в совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Древнегерманские апостолы иступленно нападали на актеров, и когда их учение начало завоевывать влияние в германских странах, добились того, что все «*scurrae, histiones, mimi, diu varnden, gernden liut*»¹ были объявлены

¹ Скоморохи, комедианты (лат.), странствующие актеры и музыканты (средневерхненем.).

нечестивыми и лишены права свидетельствовать и приносить присягу. Еще во времена Готшеда протестантская церковь отказывала комедианту в причастии и христианском погребении, а из шекспировских сонетов нам хорошо известно, как, несмотря на все благоволение двора, даже и в золотой век Елизаветы английский актер страдал от ненависти пуритан.

Почему все это? Почему церковь так клеймит театр? Этого не объяснишь внешними причинами. Ведь сена, вплоть до эпохи просветителей, повсюду горячо защищала интересы церкви. Самые влиятельные эстетика, такие как Скалигер, Корнель, Джонсон, Лопе и Иоганн Элиас Шлегель, вплоть до Гарве, строили свою теорию драмы исключительно на основе морали. Вспомним далее о великих услугах, которые оказала церкви драма испанцев. В конце концов даже в «Гамлете» все основывается на убеждении в том, что искупительный огонь чистилища реален. Почему же церковь так клеймит актера?

Эдикт папы Александра Шестого намекает нам на причину этого явления. Будучи кардиналом, Александр Борджа любил сцену со всей страстью испанца; уже вступив на папский престол, он с величайшим удовольствием смотрел постановку «Мандрагоры» Никколо Макиавелли. И вдруг именно он изгоняет комедиантов из Рима. В его эдикте говорится: «...так как они способствуют появлению чрезмерной роскоши и отвлекают мысли народа от серьезных предметов, соблазняя их своими суетными действиями (*vanitates*)». Этот разумный папа, один из умнейших, которые когда-либо восседали на престоле св. Петра, распознал, что комедия подкапывается под авторитет власти. Ведь быть властителем — это значит: выступать с помпой; это значит: делать патетические жесты; это значит: актерствовать. Август умер с восклицанием актера на устах — *punc plaudite!*¹. Нерон воображал себя величайшим актером и страдал, что в нем погибает не *imperator*², а *artifex*³. Александр, желая создать себе эффектные декорации, поджег Персеполис. Наполеон брал уроки у Тальма, чтобы научиться у него искусству драпировки и жестам Цезаря.

¹ Теперь аплодируйте! (*лат.*)

² Император (*лат.*).

³ Артист (*лат.*).

Быть властителем — это значит: актерствовать; это значит: постоянно разыгрывать перед толпой самые патетические роли. Это значит: окрыленная походка, напыщенные жесты, важные мины, звонкие слова — и все ради того, чтобы придать ничтожеству видимость значительности. Ордена и ленты, поражающие пышностью одежды и эффектные декорации, бесчисленные статисты, блески и мишура — все это необходимые атрибуты любого властителя, любой власти. Толпа легко отождествляет внешние атрибуты власти с самой властью; для толпы король — тот, кто носит корону, и если настоящий король явится в исподнем, она ни за что его не признает. Еврейское народное предание с едкой издевкой рассказывает о злом фараоне, державшем в египетском плену детей Израиля. Фараон этот ежедневно без всякой свиты ходил к Нилу, якобы чтобы дать аудиенцию солнцу; на самом же деле он ходил, чтобы помочиться, так как он, считавшийся богом, желал скрыть эту человеческую слабость от своего народа. И вот толпа видит на сцене комедианта, наделенного всеми атрибутами власти, свободного от всех человеческих ограничений, более царственного, чем сам царь, который тоже смотрит на комедианта. Не приведет ли это ее в смущение? Не скажет ли она себе: за этой блестящей маской скрывается бедный и безобразный комедиант, — быть может, столь же ничтожно и то, что скрывается за внешним блеском повелителя? Поэтому властитель инстинктивно чувствует в актере своего тайного врага. Недаром Элагабал — цезарь и бог — приказал обезглавить одного гистриона лишь за то, что тот слишком божественно играл Зевса.

Из всех властей церковь, религия — самая целеустремленная, самая властолюбивая, самая нетерпимая. Она особенно ревнива ко всякому сопернику. А актерское искусство — сильнейший ее соперник: оно вырастает из тех же корней, удовлетворяет те же потребности, действует теми же могучими средствами и имеет тот же могучий успех. На *extasis*¹ и *enstasis*², на способности надолго выходить за пределы своего «я» и полностью погружаться в иное, чуждое бытие — на этой способности одинаково основано как искусство актера, так и дар пророка. Пророки Ветхого

¹ Исступление, экстаз (*греч.*).

² Погружение в себя (*греч.*).

завета очень много общего имеют с актерами. Один из них подкапывает стену Иерусалима, проползает под ней и возвещает толпе: «Так вавилоняне завоюют город»; другой вдребезги разбивает горшок на базаре и предрекает: «Так и господь вас уничтожит», — но ведь это не что иное, как актерские приемы, которыми не гнушаются пророки. Пышность и декорации, громкие фразы и величавые жесты — все это неотделимо от сцены, начиная со времен Роспия Америкского и кончая Рейнхардтом. Теми же средствами действовали иерусалимские первосвященники, и римские папы, и исполненный дионисийского экстаза цезарь Юлиан, и Магомет, и Иоанн Лейденский.

Как сходны приемы, так сходно и их действие. Ничто в мире не родит такого отклика в душе, как церковь и театр. «Как видимое изображение, несомненно, воздействует сильнее, чем мертвая буква или холодный рассказ, так и сцена воздействует глубже и продолжительнее, чем мораль и законы». Участники восстания в Эссексе черпали воодушевление в спектакле «Ричард II» Шекспира; аналогичную политическую роль сыграли «Немая из Портичи» Обера и прежде всего «Свадьба Фигаро» Бомарше. Постановка «Венецианского купца» воспрепятствовала принятию билля, который должен был разрешить евреям возвращение в Англию; с другой стороны, лессинговский «Натан» сделал больше для эмансипации евреев, чем сотни самых благожелательных сочинений на эту тему. Актеру Кэтлею некто, пожелавший остаться неизвестным, переслал после представления «Лиры» двести фунтов, потому якобы, что актер остерег его от греха сыновней неблагодарности; на другого зрителя — сластолюбца, давшего жизнь двум больным детям — так сильно подействовали «Привидения» (в генуэзском «Circolo filodrammatico»¹), что из театра его пришлось везти прямо в сумасшедший дом. Сильнее всего эту религиозную силу актерского искусства прославил Шекспир в «Гамлете», где «зрелище — петля, чтоб заарканить совесть короля»².

Сцена хорошо уловила элемент театральности в религии и смогла извлечь из своего знания весьма сильные эффекты. С самой необузданной религиозностью смыкается творчество наиболее театрального из художников

¹ Кружок актеров-любителей (итал.).

² Перевод М. Лозинского.

девятнадцатого столетия — Рихарда Вагнера. Именно этот налет комедианства и отпугнул от него Ницше. Фауст тоже утверждает, что священник порой может быть комедиантом, — и сам кончает при этом католическими небесами.

В свою очередь, церковь ни на один миг не забывала о глубоком внутреннем родстве между религией и актерским искусством, а также о том, что из-за этого родства ее стремлению единолично властвовать над душами людей угрожает опасность. Поначалу представлялось, что комедия является всего лишь невинной и покорной дочерью церкви; а затем в один прекрасный миг комедия сразу явилась ее равноправной сестрицей. Церковь взревновала, забила тревогу. Не случайно именно тот из отцов церкви, который, может быть, глубже всех постиг психологию религиозности, и понял, в чем радость веры, — Тертуллиан, создавший афоризм: *credo quia absurdum*¹, принадлежал к злейшим врагам актеров. Ибо Мельпомена, подобно религии, требует от своих почитателей слепой веры, использует страстное желание людей слепо и беззаветно отдаваться чему-то далекому и неопределенному, чему-то непостижимому умом, «прекрасной нелепости».

Преследовать самую комедию церкви удавалось только временами: поэтому она преследовала, по крайней мере, комедианта. Впрочем, это и было самым существенным. Ведь если комедиант в опале, его не будут отождествлять со священником, и таким образом у актерского искусства была отобрана реальная сила, которая соответственно перешла к искусству проповедника. Религия, представляемая достойными, святыми мужами, все больше вторгалась в будничную жизнь и вещала: театр есть забава, к сожалению, неизбежная, но вместе с тем, так как для нее нужны сомнительные и лишенные чести люди — забава двусмысленная и греховная, без которой можно и обойтись, ибо все в ней кратковременно и преходяще.

Каким образом церковь начала преследовать актера? Она стала внушать толпе некоторые, на первый взгляд весьма очевидные, истины, которые тем не менее были глубоко неверны, ибо, желая придраться, она грубо приблизилась к этому миру иллюзий, на который следует смотреть издали, приблизилась так, что перспектива совер-

¹ Верую, ибо нелепо (лат.).

шенно исказилась. Первой посылкой было: жизнь должна проходить в труде и страхе божием; удовольствие — лишь неизбежное зло; кто же, подобно актеру, избирает своей профессией удовольствие и служение удовольствию, тот не может быть полноценным человеком. Далее: ремесло актера состоит в том, чтобы притворяться; разве такой человек не будет лгать и в обычной жизни? И наконец: за деньги актер выставляет себя напоказ и даже больше того — он распахивает свою душу, показывает, как он чувствует горе и радость. Над ним тяготеет, следовательно, позор проституции.

Эмиль Гейер убедительно показал, до какой степени несправедливости были доведены эти схоластические упреки. Но несомненно также, что более и менее сознательное убеждение в «бесхарактерности» актера и в настоящее время в крови у людей. Еще бы! Ведь эти лживые аргументы имели такую силу, что ранили даже сердце самих художников, что даже самих актеров — выше я приводил примеры — они вводили в заблуждение относительно их искусства.

Что можно возразить против этого? Можно с чистой душой уклониться от ответа, процитировать Грильпарцера: «Религия есть поэзия душ, чуждых поэзии», или Гете:

Тот, кто не чужд наук и муз,—
Тот в них обрел религию.
Кому неведом сей союз —
Пускай берет религию!

Но разумнее всего опереться на прекрасные слова из «Этики» Спинозы: «Поистине, только мрачное и невежественное суеверие способно запретить человеку развлекаться. Ибо почему подобает прогонять голод и жажду, но неприлично прогонять уныние? Я, со своей стороны, полагаю и убежден в следующем: никакой бог и вообще никто, исключая существ сугубо завистливых, не будет радоваться моей слабости и недомоганию и не посчитает за добродетель слезы, рыдания, страх и прочие чувства такого рода, а напротив — чем большей радостью мы исполнены, тем мы совершеннее, и это означает, что мы по необходимости становимся ближе к божественной природе... Мудрому человеку свойственно, говорю я, с умеренностью наслаждаться и укреплять свое здоровье приятными блюдами и напитками, услаждать себя великолепными

ароматами, красотой цветущих растений, нарядными одеждами, музыкой, телесными упражнениями, театром и всем прочим, от чего каждый может получать огромное удовольствие, не причиняя другому никакого вреда».

СОФОКЛ И ГОФМАНСТАЛЬ

I

В чем видим мы смысл древнего фиванского сказания об Эдипе?

За то, что Лай похитил сына Пелопа, ни о чем не ведающий Эдип должен убить своего отца, жениться на своей матери и жесточайшим образом покарать самого себя. На первый взгляд это просто страшная сказка, которая во все и не претендует на изображение живых людей или на некий тайный смысл. Правда, филологический нюх исследователя учуял в этой басне не то миф о солнце, не то сказание о зиме; но уже александрийская критика не нашла в первоначальном сюжете ничего, кроме нелепой выдумки черни. Сами мы, — если судить беспристрастно и без ложного пиетета, — видим в Эдипе (герое мифа, а не художественного произведения), только великого неудачника, только гигантского Шлемиля. Да и на вкус эллинов злосчастный фиванский царь нередко был просто смешон. Евбул написал об убийстве Сфинкса комедию. Варрон сделал его персонажем одной из своих Менипповых сатир; Эсхил — и тот сочинил сатирическую драму «Сфинкс».

Изобразительное искусство античного мира тоже отдавало дань пародийному воплощению злосчастного отпрыска Кадма, высмеиванию его судьбы. Мне сразу вспоминается кувшин из раскопок (коллекция Бургиньона в Неаполе), на котором Эдип, стоящий перед нагим сфинксом, был изображен в маске сатира и с огромным фаллосом.

Однако, невзирая на несколько иронический отсвет, который неотделим от этого персонажа, сюжет «Эдипа», как никакой другой, привлекал к себе трагиков. Кроме Эсхила, Софокла и Еврипида, до нас дошли свидетельства еще о восьми известных эллинских писателях и одном анониме, которые пытались обработать миф об Эдипе. Римские драматурги и латинская школьная драма, классическая трагедия французов и итальянцев, Силезская школа — все

они обращались к истории Эдипа, и, наконец, даже Шиллер носился с мыслью написать своего Эдипа. Что же, спрашивается, так влекло к себе в этом произведении драматургов всех времен? Мне думается, здесь играют роль два фактора. Первый связан с формой, а второй — с содержанием. Что касается формы, то «Эдип» являет собой классический образец аналитической драмы. Правда, если говорить об этом жанре, то мы, современные читатели, достаточно избалованы Ибсеном. А о том, как предшествующие поколения оценивали такую драму, свидетельствуют хотя бы письма Шиллера. Перейдем же к тому, что касается содержания. Ни один из героев греческих сказаний не падает столь внезапно с озаренных солнцем вершин в такую глубокую пропасть, никто не страдает так безвинно, как Эдип. Судьба его, говорится в «Поэтике» Аристотеля, наилучшим образом способна пробуждать сострадание и страх. Ибо античности, гармоничной и наивной, вовсе незачем было проникать в глубины души человека, чтобы обнаружить трагическое. Ее вполне удовлетворяло господство великой, гигантской судьбы. Для античности счастье означало добродетель, а несчастье приравнивалось к греху. Для античности изменчивость судьбы и души человека совпадали. Для античности не было противоречия между бытием и деянием, и если с человеком или вокруг него происходило что-то интересное, значит, и сам человек интересен, каким бы заурядным он ни был. Человек страдал, и страдания его представлялись античному писателю трагическими. Поколение людей, которое даже физическую боль Филоклетета считало достойной трагедии, — каким ужасом должно было повеять на него при вести о проклятии, тяготеющем над Эдипом! Именно то, что судьба Эдипа несколько не связана с этической стороной, именно это и привлекало эллинских драматургов и нравилось публике. Для истории греческих вкусов чрезвычайно характерно, что более позднее сказание соединило величественно чуждые морали страсти Эдипа из Фив со страстями Иисуса из Назарета, имеющими столь глубокие этические корни, а образы несчастного царя кадмея и обреченного на вечное проклятие Иуды Искарота сливаются воедино.

Итак, все, что влекло жителей Аттики к Эдипу, — это наивная радость, которую вызывали в них страдания, «страсти» трагического героя. Детски счастливое поколение, жизнь которого текла так легко и гармонично, которое

не ведало нашей разорванности, тосковало по горестям, и, по примеру Поликрата, который принес в жертву богам свой перстень, Афины принесли героев своей трагедии в жертву капризам мрачной Мойры. Ибо примерно так следует понимать «катарсис» Аристотеля: человек обречен страдать и испытывать страх, но он может самым чистым и благородным образом освободиться от этой обреченности, если испытает чувства сострадания и страха, которые пробуждает в нем судьба трагического героя. В этом смысле драма всегда остается жертвоприношением, культовым обрядом, и именно в этом смысле Аристотель и охарактеризовал «Эдипа» как классический образец драмы. Подобно детям, которые испытывают болезненную радость, мучая любимых животных, афиняне чувствовали священную дрожь сладострастия, когда, охваченные страхом, дивились мучениям Эдипа.

Но нам, сегодняшним людям, нам какое дело до этих воззрений, коренящихся в самой природе древних? Ведь у нас начисто отсутствуют их религиозные предпосылки, отсутствует легкая некритическая целостность эллинского восприятия. Аполлон мертв, прорицатели его кажутся нам не то сомнамбулами, не то мошенниками, а Мойра превратилась просто в пугало. Зато *hybris*¹ — воля к самосохранению всем силам назло, стремление к господству, к утверждению своей личности, эта гордыня, проклятая всеми высоконравственными драматургами Афин, — в ней-то мы и видим величайшее наше счастье, пашу конечную нравственную цель. Так какое же все-таки значение имеет для нас судьба Эдипа? Ведь, по чести говоря, это просто кровавая сказка, рассчитанная на детей, которая только потому не кажется нам смешной, что некогда заставила содрогаться от страха и сострадания целый благородный народ.

2

Но почему же все-таки мы замираем перед «Эдипом» Софокла, и глядим, и поражаемся, и чувствуем свою ничтожность, и не можем уйти из-под власти этого произведения? Ведь Софокл — тут и вопроса быть не может — не

¹ Дерзновение, высокомерие (*греч.*).

поступился и самой малостью своего эллинства. Он часто отказывается от всякой психологии. Даже Шиллер, один из пламеннейших его поклонников, и тот признается, что интерес к трагедии Софокла вызывают не столько действующие лица, сколько само действие, «порождающее известного рода холод», и что «характеры, выведенные в трагедии — только более или менее идеальные маски, по отнюдь не настоящие личности, как, например, у Шекспира и Гете». Более того, Софокл беспощадно уничтожает все, что еще оставалось от понятия вины героя. Он отбрасывает мотив, согласно которому Лай похитил сына Пелопа и тем самым навлек на себя гнев Аполлона. Свободен Эдип Софокла и от греховного высокомерия. Все филолого-драматургические потуги обнаружить вину Софоклова Эдипа потерпели неудачу, — нет, не характер Эдипа, а только тяготеющий над ним рок приводит его к крушению. Ни сюжет, ни люди, действующие в этой трагедии, не способны нас взволновать, и, кроме того, в ней отсутствует важнейшая основа драматического воздействия — отсутствует единство этико-эстетической оценки.

Так, значит, нас увлекает одна только форма, изумительная форма «Эдипа». Эта форма — плод последнего цветения великой культуры, выраставшей столь прямо и стройно. В этом удивительно гармоничном произведении, глубочайшим образом связанном с самой сущностью поэта, все проникнуто единым ритмом, все стремится к единственной цели. Софокл не терпит побочных мотивов. С невиданной прямоотой, недоступной ни для каких соблазнов, которые могли бы отвлечь его в сторону, он подчиняет все имеющиеся в его распоряжении изобразительные средства развитию фабулы. Уже сама экспозиция трагедии вводит нас в действие, действие это все нарастает, оно разматывается плавно, подобно тугому канату и, мастерски расчлененное, стройное, как пальма, оно устремляется ввысь. По совершенству драматургической техники «Эдип» превосходит все аттические трагедии. Нигде больше трагическая ирония не обладает такой счастливой естественностью, и очень редко столь несложное действие поднимается до такой напряженности.

Тем не менее при всем совершенстве драматургической техники «Эдип» оставил бы нас в глубине души холодными, а травля, которой подвергается царь Фив по прихоти судьбы, вызвала бы у нас в лучшем случае интерес,

подобный тому, который вызывает партия в шахматы, когда один игрок в сто раз сильнее другого, не будь это произведение насквозь пропитано искренней, глубокой, просто-душной верой поэта в Мойру. Ведь в конечном счете самое важное в драме вовсе не Эдип, а судьба, капризная и ужасная Мойра, перед которой склоняется исполненный самого смиренного отречения грек, но против которой восстают все наши чувства. Участие в трагедии оракула казалось бы смешным, если бы нас не увлекла глубокая вера Софокла, если бы он не сделал и нас верующими в Аполлона, подобно тому как «Divina Commedia»¹ заставляет читателя уверовать в рай и в ад. «Эдипа» создало благоговение перед страданием, уверенность в том, что удел человека — страдать и сострадать ему — наслаждение. Не Эдип трогает нас до глубины души, а Софокл, так страстно поющий о его мучениях. Нас увлекает мощная лирика, звучащая в «Эдипе», потрясающая исповедь Софокла, познавшего, что жизнь — это только страдание. И поэтому для него и для нас Эдип вырастает в венчанную лаврами жертву, которая страдает не только за себя, но и за всех людей, и, страдая, очищает и возвышает нас, и, наконец, через наш страх и сострадание дарует нам искупление. Так возникает Эдип-Христос.

3

Вероятно, именно эта основная лирическая настроенность, которую я попытался анализировать, и привлекла Гофманстала к Софоклу и его «Эдипу». Да и кто, как не он, испивший из всех источников, мог, наслаждаясь, почувствовать страх и сострадание? Ведь изумление перед страданием и полное страха стремление к неведомому, к судьбе, и составляет тему всего творчества Гофманстала. И если тем не менее попытка «модернизировать» для нас «Эдипа» была заранее обречена на неудачу, то это объясняется только греческим характером произведения, его аттической религиозной основой. Лишите трагедию ее подводного лирического течения, и вы обескровите и умертвите ее. Именно это и сделал Гофмансталь. В своем «Эдипе и сфинксе» он отважился на нечто чудовищное, он превратил Эдипа из трагической маски в жалкого человека,

¹ «Божественная Комедия» (итал.).

подобного нам, который противопоставил свою волю «псам судьбы». Одного этого достаточно, чтобы извратить идею Софокла. Софокл заставляет нас воспринять Эдипа как тип, как обычного человека, слепо подчиняющегося Мойре, и мы, разумеется, сострадаем ему всей душой, но Эдип выступает и как искупительная жертва, зовущая нас не к возмущению, а к покорству судьбе. В трагедии Софокла действуют гармоничные люди, гармоничные даже в предсмертной муке. Гофмансталь, напротив, попытался вложить дар провидения в грудь своих персонажей. Он уничтожил самый действенный мотив Софокла — неведение Эдипа и Иокасты, уверенность в своей невиновности и, взамен того, превратил их в людей, терзаемых бесконечными противоречиями, восстающих против Мойры и поднимающих на восстание нас.

Гофмансталь очень тонко и обстоятельно анализирует психологию своего героя, но чем сложнее психология Эдипа, тем сильнее ставит писатель под угрозу самый смысл трагедии. Ибо чем человечнее Эдип, тем бессмысленнее его судьба. Из грандиозного поэтического символа веры всего народа Гофмансталь превратил «Эдипа» в драму отдельного человека, в драму одиночки, — он изгнал из трагедии божество.

И тем самым особенно резко выпятил именно ту сторону, которая чужда нам в Эдипе. Еще четыре года назад по этому поводу автор настоящей статьи написал: «После того как Гофмансталь в своем «Эдипе и сфинксе» «очеловечил», так сказать, именно те предпосылки к «Царю Эдипу», которые для нас, по-видимому, уже мертвы, после того как он отбросил или отодвинул на задний план все, что могло заставить нас уверовать в богов Греции и в их оракулов, ему волей-неволей придется в своем переводе «Царя Эдипа» заменить психологическое развитие застывшим понятием судьбы и сверхчеловеческим вмешательством различных богов. Так и случилось, и обе трагедии оказались совершенно чуждыми друг другу. «Эдип и сфинкс» не только не создает никаких внутренних предпосылок для действия «Царя Эдипа», но и просто уничтожает их, чем в значительной мере лишает трагедию ее драматической силы.

Впрочем, обратимся сейчас только к гофмансталевскому «Эдипу». Он, во всяком случае на первый взгляд, кажется довольно верным переложением Софокла. Но в

том-то и дело, что только довольно верным. У Софокла каждое слово накрепко сцеплено с предыдущим, песни хора сокращены до минимума. Заменить или вычеркнуть из этой трагедии хотя бы одно слово — значит ранить самую душу произведения. Четыре года назад автор настоящей статьи опасался, что «Царь Эдип», в котором нет ни единого лишнего слова, покажется Гофмансталью чересчур скупым на слова. К сожалению, случилось обратное. Может быть, лирику Гофмансталью, которого так часто упрекали в многословии, захотелось показать, на какую краткость он способен, чтобы еще усилить драматизм грека. К сожалению, он повредил при этом драматический нерв произведения.

И, наконец, язык. Стиль Гофмансталя убивает дух Софокла. Искривляет ясную прямогу грека. Подменяет рисунок цветом, религию — вялым психологическим толкованием, эллинизм — назарейством. У меня нет сейчас возможности показать на примерах, как на каждом шагу язык венского писателя превращает спокойное смирение гражданина Аттики в трепетную нервозность. Этому способствует все — ритм, интонации, даже опущенное или вставленное междометие. Человек, который всей душой ищет путь в страну греков, должен больше уважать их священные законы, чем это сделал Гофмансталь.

«ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА»

С драматургической точки зрения безразлично, что считать основной линией комедии Шоу: героическое ли преодоление Цезарем его последнего чувственного порыва или превращение Клеопатры из безобидной кошечки в опасную змейку. Рим и Цезарь — первое большое приключение в жизни египтянки, Египет и Клеопатра — последнее в жизни римлянина; и я полагаю, что именно этот параллелизм между первыми шагами царицы и заключительными аккордами диктатора определяет ритм произведения и колею, по которой движется действие. Пестрый, погруженный в грезы Египет с его древней священно-загадочной культурой, застывшей и превратившейся в сумасшедший фарс, с его одуряюще пышным искусством, с его пленительно опасной сказочной царицей, праправнучкой священной

черной кошки и Нила, царицей, делящей свои забавы со Сфинксом и при этом в высшей степени реальной маленькой женщиной, пробуждающей желания и страсти,— эта яркая, фантастическая, чувственная, невозможная страна-фантазмагория должна была пробудить в стареющем покорителе мира все его художественные и чувственные наклонности, стремление погрузиться без остатка в красоту мгновения. Ибо Цезарь Шоу по натуре своей художник, в котором, однако, действительность подавила искусство: он, так сказать, Рубек наоборот. Удивительно, как он умеет держаться посредине между своими чуждыми муз варварскими спутниками Руфием и Британом и ничего не признающим, кроме своего искусства, сицилийцем Аполлодором. А Клеопатра, поздний росток, органически связанный с почвой, с этим фантастически переливающимся воздухом, напоминает маленькую герцогиню д'Асси: безвредная ящерка, но из рода тех вымерших гигантских чудовищ, которые когда-то попирали нашу землю,— Клеопатра впервые пробует на Цезаре свою силу и осознает свою прекрасную и губительную сущность. Цезарь поднимается на корабль, чтобы отплыть в Рим, он уже вполне овладел собой и с улыбкой подавил порыв, угрожавший смутить чувства этого бесстрастного, железного и непоколебимого (согласно Плутарху) человека; Клеопатра в это же время впервые сознательно ищет жертву, на которую сможет направить свое разрушительное сладострастие.

Вся эта проблематика яснее воспринимается при чтении пьесы, чем на сцене. Режиссеру поневоле нужно ограничиться тем, чтобы не затемнить эти линии. Мне кажется, что его внимание должно быть прежде всего направлено на три пункта. Во-первых, длинная, не очень сценичная пьеса требует значительных сокращений. В связи с тем что ей так недостает внешнего действия, открывается большой простор для произвола режиссера, и необходим величайший такт, чтобы правильно взвесить, с одной стороны, все заложенные в ней зрелищные возможности, а с другой — особенности наличных актеров. Во-вторых, режиссура должна всячески подчеркнуть таинственную, сказочную атмосферу Египта и при всех условиях избежать впечатления бурлеска, на что соблазняют обстановка и ремарки автора. Если творение Шоу совершенно лишено патетики — это не дает еще основания рассматривать его как оперетту. И, наконец, в-третьих, поскольку в этой

пьесе психология — все, а действие — ничто, требуется даже для самых мелких ролей подобрать актеров высокой культуры, которые достаточно закалены, чтобы не схватить простуды в холодной атмосфере умственной игры Шоу.

В Мюнхене пьесу ставил Альберт Штейнрюк. Он смог использовать то, что пять лет назад было показано Рейнхардтом. Но если мюнхенская постановка кажется более ясной, светлой и убедительной, чем казалась в свое время постановка Рейнхардта, если она явилась настоящим триумфом, в то время как берлинское представление было в лучшем случае пирровой победой, то дело не только в том, что сегодня нам ближе и понятнее стал автор пьесы: нет, этой выигранной битвой, которая на многие годы обеспечила проблематичной пьесе Шоу место в наших репертуарных планах, автор обязан прежде всего великолепно-му и умному искусству Штейнрюка.

Штейнрюк с величайшим тактом и с учетом всех исполнительских возможностей нашего Придворного театра ограничился тем, что купировал первую сцену третьего и первую сцену четвертого действия. Удачным оказалось и то, что была сохранена вторая половина третьего действия (сцена у маяка, когда Цезарь прыгает в море), и то, что отпало начало длинной и запутанной интриги Потина, ставившей под угрозу весь четвертый акт. К тому же все декорации и костюмы изумительно передавали суть произведения, — и залитый голубым лунным светом древний сфинкс, фантастически и неподвижно покоящийся среди загадочной и роскошной ночи в пустыне; и ночная колоннада во дворце фараонов, поражающая пышностью и вычурным великолепием своеобразной архитектуры; и чистый, светлый, веселый зал советников царской сокровищницы — с видом на залитое утренним солнцем море; и, наконец, сверкающая полуденная эспланада александрийской гавани с разукрашенной пестрыми вымпелами галерой Цезаря. Ничего удивительного, если эти светлые краски так ослепили и рассердили иных критиканствующих кротов, не способных переносить чистый воздух, что за декорациями и костюмами они не увидели ни автора, ни режиссера.

А между тем режиссура спектакля заслуживает всяческой благодарности и похвалы, для которой можно было бы не скупиться на пышные эпитеты, если бы речь не шла

о совершенно непатетическом Шоу. Конечно, Луцию Септимию и Потину несколько недостает характерности, Фататите следовало бы быть менее гротескной и более жуткой. Но какое это имеет значение по сравнению с умным и одухотворенным распределением актеров, с тщательной и тонкой отделкой многочисленных мелких ролей; по сравнению с глупой красотой Ахилла, простодушной грубостью Руфия, бессильной и робкой дерзостью Птолемея; по сравнению с засушенным и погруженным в свою филологическую ученость язвительным Теодотом — Шваннеке; по сравнению с великолепно трезвым и по-британски уморительно добропорядочным Британом — Грауманном; по сравнению с элегантным, гибким и обворожительным Аполлодором, которого играет Бернгард фон Якоби, — и прежде всего с Тервин в роли Клеопатры и Штейнрюком в роли Цезаря.

По-видимому, не имеет никакого смысла проводить параллель между Клеопатрой — Эйзольдт и Клеопатрой — Тервин. Образ, созданный Эйзольдт, остался у меня в памяти как нечто непререкаемо совершенное; поэтому не так мало значит, — вернее, значит много — то, что роль Клеопатры, совершенно иначе истолкованная Тервин, ни разу не вызывала у меня желания, чтобы хоть что-то в ней было изменено. Эта египтянка поистине является самым живым символом своей глубоко противоречивой страны, при первом же своем появлении она волнует кровь не только Аполлодору, но и Цезарю, как Елена — троянским старцам. Однако истинным центром комедии стал все-таки Штейнрюк, что доказывает, как бесконечно он вырос за последние пять лет. Ибо еще пятилетие тому назад автор этой статьи вынужден был констатировать: «В Германии есть всего три актера, способных воплотить этот образ и спасти комедию для сцены», и Штейнрюку он отказывал в необходимой силе и грации. А теперь этот актер создал такое великолепное смешение Цицерона и Плутарха, милой дядюшкиной плутоватости и великой всеобъемлющей человечности, что благодаря этому осветилась вся комедия с ее глубочайшим двойным смыслом, и, по-видимому, сценичность ее доказана теперь раз и навсегда. После многих жалких попыток это представление наконец на деле показало, что театр в Мюнхене уже нельзя назвать провинциальным театром.

РОДОНАЧАЛЬНИЦА СОВРЕМЕННОГО ФЕЛЬЕТОНА

Когда на премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани» Дельфина Гэ вошла в свою ложу и перегнулась через перила, чтобы рассмотреть публику, стоявший в зале шум мгновенно стих и зрители вознаградили ослепительную красоту совсем еще юной дамы троекратными аплодисментами. «Это бурное выражение чувств,— замечает Теофиль Готье,— возможно, и не свидетельствовало о такте публики, но не забывайте, что в партере сидели поэты, скульпторы, художники, захваченные ее красотой и захмелевшие от восторга, и им не было никакого дела до правил хорошего тона».

С этого момента Дельфина Гэ, или, как ее звали после замужества, мадам Эмиль де Жирарден, стала музой Парижа.

Уже в 1822 году восемнадцатилетняя девушка удостоилась академической премии, а в 1827-м, двадцати трех лет, она была увенчана лаврами на римском Капитолии. Ее салон был самым блестящим в Париже, ее фельетоны — последним и решающим словом обо всех событиях общественной и художественной жизни Франции: Ламартин, Виктор Гюго, Бальзак, Готье и Мюссе превозносили в прозе и стихах эту прекрасную, гордую, царственную женщину.

Но уже в сорок четыре года мадам де Жирарден добровольно отказалась от своего могущества, недовольная французской политикой. Умная женщина, она скоро поняла, что ее стихи умрут вместе с ней, но была уверена, что написанные ею фельетоны переживут ее. Через тринадцать лет после смерти Дельфины Жирарден был переиздан сборник ее фельетонов с превосходным предисловием Теофиля Готье. А теперь, спустя шестьдесят лет после ее смерти, парижское издательство «Пейо и компания» выпустило общедоступное, несколько сокращенное издание ее «Парижских писем», дав им название «Виконт де Лонэ». Под этим псевдонимом выступала с фельетонами мадам де Жирарден. Книга прекрасно оформлена, в ней много изящных виньеток работы Вилли Хеера; к сожалению, предисловие Роже-Корна довольно поверхностное, а подбор фельетонов не самый удачный и, откровенно говоря, подходит больше для дам и светских людей, чем для литераторов и исследователей. Все же мне кажется, что

для всех интересующихся литературой, и особенно для немецкого литературоведения, важно, что сборник «Виконт де Лонэ», который нелегко было раздобыть в издании Готье, теперь снова появился в массовой продаже.

Мадам де Жирарден родилась в 1804 году в Аахене в семье генерального откупщика Гэ, и ее над гробницей Карла Великого окрестили Дельфиной — по имени героини романа мадам де Сталь. Ее бабушкой была Франческа Перетти, а матерью — Мария-Франсуаза Нишо де ла Валетт; обе эти женщины отличались умом и красотой. Под началом своей матери юная Дельфина, вращаясь в высшем обществе и воспитанная в честолюбивых литературных помыслах, блистательно вступила в салоны столицы. Ее красота была бесподобной и столь покоряющей, что даже в легкомысленном обществе эпохи Реставрации не нашлось никого, кто отваживался бы подтрунивать над ее ликующими стихами о «счастье быть прекрасной». Она получила безукоризненное воспитание, ее манеры и туалеты задавали тон, она славилась своим умением вести беседу. Она была увенчана лаврами не только на Капитолии и в Академии: весь Париж, Париж романтиков, поклонялся ей.

Внешне ее биография не представляет большого интереса. Она рано начала писать, в двадцать три года совершила «обязательное» путешествие в Италию, в двадцать семь лет вышла замуж за довольно ординарного господина, Эмиля де Жирардена. Она писала стихи, поэмы, романы, драмы, но прежде всего, под прозрачным псевдонимом Виконт де Лонэ, — парижские письма для основанной ее мужем газеты «Ла Пресс». Несмотря на то что она была окружена поклонниками, нам ничего не известно о какой-либо ее любовной интриге. Впрочем, у нее не было для этого времени: ей приходилось представлять и писать. В 1848 году она добровольно оставила журналистскую деятельность, с тем большей страстностью отдавшись сочинению романов и драм. В 1855 году, полная планов и замыслов, она скончалась в возрасте пятидесяти одного года. Похоронена она на кладбище Монмартр.

Мадам де Жирарден — наиболее совершенный тип утонченной дамы первой половины девятнадцатого столетия. Даже ее завистники называли ее «*femme comme il faut*». Теофилю Готье не хватает восторженных эпитетов, чтобы описать изящество ее особняка, ее умение одеваться с тончайшим вкусом. Несмотря на ее триумфы и на воспи-

тание, главной целью которого было умение блеснуть, ничто безвкусное не прельщало ее; ум и вкус уберегали ее от того, чтобы разыгрывать из себя богиню, и от того, чтобы казаться смешной. Тип *femme littéraire* внушал ей отвращение, в ней не было ничего от «синего чулка», и насколько она уважала мадам де Сталь, настолько избегала подражать ее бесцеремонным манерам. При этом она была добродушна и честна, «подобно ангелу, чужда всякой низости» (Готье); а для своих друзей оставалась верным товарищем, «добрым, малым» (Ламартин). Она, как никто другой, умела вести беседу, и ее мудрая сердечность прогоняла с чела друзей тень озабоченности, и они снова воодушевлялись и обретали веру в себя. Но больше всего восхищали всех вокруг ее врожденный такт и по-детски бесхитростный юмор, который часто так живописно контрастировал с ее величавой, поистине античной красотой. Она была женщиной до мозга костей, зеркалом всего мирского; для общества того времени она была тем же, чем спустя поколение пытался стать для своей эпохи Оскар Уайльд.

Ранние поэтические опыты мадам де Жиарден — элегии, новеллы в стихах и другие произведения, стоят где-то на полпути между классицизмом и романтизмом. Ее изящные стихи написаны уверенной рукой, порой в них чувствуется робкое дерзание. Ее «Последний день Помпеи» небезынтересен хотя бы потому, что написан раньше романа Бульвер-Литтена. Наиболее значителен среди всех этих в целом довольно неоригинальных поэтических произведений роман в стихах «Наполина», порой напоминающий Байрона; в начале романа Дельфина де Жиарден рисует свой автопортрет. Я постарался как можно более точно перевести отрывок, написанный александрийским стихом:

Мы были с ней дружны; меня пленяла в ней
Насмешливость ума и острота речей;
В ней гордость нежная с лукавством уживалась,
Внимала мудрость ей и глупость восхищалась.
К любым сердцам она особый знала путь,
Любую суетность умно могла кольнуть.
По-детски весела, всегда к добру готова,
В страданиях кротка, а в гневе так сурова,
Надменна, но умна, талантлива, смела
И женщина во всем — такой она была¹.

¹ Перевод С. Ошерова.

Из семи сочиненных ею драм ценность имеют лишь «Школа журналистов», которую так хвалил Бальзак и которую запретила цензура, и «Юдифь», небезынтересная для истории немецкой литературы. Эта драма увидела свет примерно в то же время, что и одноименная драма Геббеля, где-то между 1838 и 1843 годами (к сожалению, я не могу привести точную дату), и была поставлена в Комеди Франсез с Рапелью в заглавной роли. Готье так отзывается о пьесе: «Кроме своих прозрачных стихов, трагедия поражает оригинальностью замысла. Дельфина де Жирарден выделяет в библейской героине мотив неосознанной любви к ассирийскому полководцу, убить которого ей выпало на долю». Мы находим здесь, таким образом, ту же основную идею, благодаря которой «Юдифь» Геббеля приобрела столь выдающееся значение. Дело исследователей Геббеля — установить, послужило ли произведение мадам де Жирарден непосредственным источником для пьесы Геббеля. Или же наоборот.

В 1844 году мадам де Жирарден писала: «Мы с грустью открываем обидную истину, что из всех произведений, которые мы с таким усердием и надеждой писали, лишь одно имеет шанс пережить нас: как раз то, на которое мы возлагали меньше всего надежд». Ее острый, критический ум не ошибся: единственное из ее произведений, и по сей день вызывающее интерес, — это фельетоны, те самые парижские письма, которые под названием «Виконт де Лонэ» недавно вышли третьим изданием.

Впервые «Парижские письма» печатались в «Ла Пресс» между 1836 и 1848 годами, снискав огромное число поклонников и многих подражателей. В них Дельфина де Жирарден писала обо всем, что волновало Париж в те годы: о политике и о театре, о светских новостях и о модах, о достоинствах премьер-министра и о последних приобретениях зоологического сада, о социальном вопросе и о самой новейшей манере завязывать галстук. «Парижские письма», — говорится в предисловии Готье, — воссоздают историю Парижа с 1836 по 1848 год в той мере, в какой она обычно ускользает от историков. Историки запечатлевают битвы, победы и поражения, властителей, партии и режимы; но они не занимаются изображением нравов и обычаев, незначительных мимолетностей, частой смены настроений в ту или иную эпоху. «Парижские письма» стремятся передать как раз эти оттенки картины».

И они передают эти оттенки. Я снова предоставляю слово Готье: «Сколько женственности в этой тонкой наблюдательности, сколько в ней совершенно мужского здравого смысла! Как много восхитительных страниц, которые навсегда останутся в числе лучших образцов прозы, как много подробностей, на первый взгляд легкомысленных и тем не менее почти исторических! Что за неисчерпаемая сокровищница для романистов будущего, которые захотят изобразить эту эпоху!

В «Парижских письмах» поистине во всей цельности и достоверности предстает эта эпоха, неделя за неделей, с ее нравами, модами, пустяками, с ее причудами, неповторимыми оборотами речи, сумасбродством, праздниками, балами, интимными вечерами, со всеми сплетнями и пересудами!»

Но что навсегда завоевало мадам де Жиарден место в истории литературы, так это стиль, или, если хотите, отсутствие стиля в ее «Парижских письмах». Они — образец *style parlé*, элегантной и небрежной салонной беседы, образец стиля современного фельетона, создательницей которого следовало бы считать мадам де Жиарден.

Она не пишет, а ведет беседу. О самых серьезных вещах и о пустяках она умеет рассказывать в непринужденном тоне, что позволяет ей легко делать самые резкие переходы. Часто она остроумна, нередко рискованно остроумничает. Она охотно болтает с читателем в весьма легкомысленном тоне о самых серьезных вещах и столь же охотно рассуждает с абсолютной серьезностью о сущих пустяках. Она почти никогда не высказывает прямо своих чувств, однако нередко впадает в чувствительность; но охотнее всего она прибегает к иронии и парадоксам. Часто она бывает утомительно болтлива, затем вновь удивительно лаконична. Она, очевидно, рассматривает все на свете с одной-единственной точки зрения: можно ли об этом интересно поболтать. Самое жаркое для нее — ничто, главное для нее — приправа.

Как видите, это стиль современного фельетона. Сама манера непринужденно болтать, манера то смотреть на важные события словно бы из укромного уголка, то, начав с полнейшей безделицы, неожиданно открыть перед читателем перспективу глубоких обобщений, манера перемежать разговор о важных событиях салонными сплетнями, сочетать социальные, философские и эстетические течения

эпохи и самые нелепые сумасбродства моды в единой хронике, которая подчас бывает поразительно глубока, подчас возмутительно поверхностна, но неизменно интересна,— эта манера письма создана мадам де Жирарден. В Германии тех лет можно назвать лишь одного человека, в известной мере заслуживающего сравнения с автором «Парижских писем». Это Рахель Левин. Но Рахели и в голову не приходило записать и издать книгой все то, о чем она вела беседы. Итак, нам остается лишь констатировать, что мадам де Жирарден была первой писательницей, которая писала фельетоны в современном смысле этого слова; она является родоначальницей современного фельетона.

Ее влияние на современную ей литературу было исключительно велико, и весьма сложно определить, сколь далеко оно распространяется. Не счесть ее учеников и подражателей: имя им — легион. Но прежде всего интересно проследить, какое влияние она оказала на Генриха Гейне. Очень много говорилось о сильном и разностороннем воздействии на Гейне Рахели. О влиянии мадам де Жирарден, насколько мне известно, никто еще не писал. И все же воздействие Жирарден на Гейне во столько же раз сильнее воздействия Рахели, во сколько влияния на него Парижа было сильнее влияния Берлина. Парижские письма Гейне и письма мадам де Жирарден свидетельствуют о постоянном взаимовлиянии, которое иногда доходит до прямых заимствований.

Во всяком случае, историк литературы сделает в «Виконте де Лонэ» удивительные открытия, а непосвященный читатель также найдет, что книга интересна, на какой бы странице он ее ни открыл.

«ПЕРСЫ» ЭСХИЛА

1

У истоков европейской драматической литературы стоит исполинская, неповторимая, как египетские пирамиды, драма Эсхила, единственная дошедшая до нас историческая драма древних: «Персы». Влияние, которое эта драма оказала и, вероятно, будет оказывать и впредь на наши представления о характере и истории древних греков, безмерно. Мы привыкли рассматривать персидские войны как одну из важнейших вех в истории человечества,

как чудесную победу ничтожного меньшинства над огромной, жестокой ордой варваров. Можно, однако, предположить, что в действительности эти войны отнюдь не были столь важным событием в персидской истории и что карательная экспедиция против Афин, хотя бы отчасти, но достигла своей цели; ибо в конечном счете Афины были разрушены, а значительная часть греческого войска — уничтожена. Так или иначе, но совершенно очевидно, что, даже если эта экспедиция и не удалась, мощь персидской державы не была подорвана.

Сверхчеловеческое и героическое в битвах греков чаще всего кажется литературным вымыслом. Мы видим эти битвы так, как наши потомки, вероятно, увидят нашу войну две тысячи лет спустя, при условии, конечно, что уцелеет лишь патриотическая поэзия французов и сообщения «Тан». Правда, с той лишь разницей, что «Персы» Эсхила и заимствовавшие у них свой колорит рассказы Геродота написаны несравненно более убедительно и сильно, чем это доступно кому-либо из наших современников.

«Поэзия греков, — говорит Фридрих Шлегель, — настолько недостижимо возвышается над всем, что написано после них, насколько она совершенна сама по себе. Она объективно прекрасна; ее красота — это красота цветка или какого-либо другого живого существа, которое, развиваясь согласно внутренним законам, не может не стать безупречным. Но пробудившееся в человеке сознание стало препятствовать органическому порыву его роста. Современной поэзии, которая руководствуется разумом, не хватает законченности, единства, столь естественного для органической жизни; склонный к анализу разум беспрестанно расчленяет все то, что стремится быть цельным».

Если Шлегель прав, тогда становится ясно, почему нашей патриотической драматургии никак не удастся добиться того, что у Эсхила получалось так естественно, словно само собой. Ведь наш патриотизм абстрактен; по крайней мере, постольку, поскольку он может найти литературное выражение. Ненавидим ли мы остров Уайт? Или Британский музей? Бернарда Шоу? Господина Смита или господина Джонсона? Нет, мы ненавидим Англию. Как понятие, как государство. Но может ли подобного рода ненависть порождать в литературе что-либо иное, кроме фраз, может ли ненависть к вполне постижимому умом, но неосвязаемому понятию, рождать истинную поэзию?

Характерно, что именно в «Персах», самом могучем патриотическом произведении всех времен, слово *персия* вообще не встречается. Эсхил говорит о персидской земле, о персидских воинах, женщинах, войске, богах, о персидском языке и персидских обычаях; но он не говорит о Персии. Его патриотизм отнюдь не понятийный, он наивный, предметный. Слово *отечество*, которое древнегреческие ораторы и историки столь охотно пускали в ход, также встречается в «Персах» всего один-единственный раз. Патриотизм Эсхила, как бы ни был он полнозвучен,— не риторический, а творческий, образный. И как удивительно осязаемы его боги, его религия, которую он решительно возвращает в область реального, едва она пытается воспарить в заоблачные выси, так и его патриотизм, пронизанный религиозным чувством, есть не плод философствующего ума, а плод живых чувств. Отсюда его сдержанная, суровая сила, его творческая мощь, его убеждающая нас убежденность.

2

«Персы» в смысле технического мастерства довольно несовершенны, и само произведение не вполне соответствует строгим и прекрасным канонам греческой трагедии. Пьеса еще не совсем перешла из эпико-лирической стихии в драматическую. «Персов» справедливо сравнивали с теми архаическими статуями, у которых ноги сомкнуты, а руки прижаты к туловищу. Да и вообще пьеса на редкость бесхитростна. Многие ужасающие события того времени, которые поэт и сами зрители в полной мере испытали на себе, он опускает или трактует их так, как это больше подходит для его пьесы. Эсхил сам принимал участие в битве при Марафоне, он пожелал, чтобы лишь об этом было сказано в его эпитафии, где ни словом не упомянуто о его победах в состязаниях трагических поэтов. И все же Эсхил изображает дело так, будто Дарий никогда не предпринимал неудачного похода против Эллады. Дарий построил мост через Боспор Фракийский и лично командовал войском во время злосчастного похода против скифов: поэт делает вид, будто этих важнейших событий вообще не было. Царица Атосса, по свидетельству греков, была опасной интриганкой, нечто вроде античной императрицы Евгении, непосредственной зачинщицей войн с Элладой:

Эсхил же превращает ее в почтенную, чуть ли не божественную женщину; ибо лишь в такой трактовке она подходит для его замысла. Он вообще полон беспечной искренней наивности. Его персы непрерывно сами себя называют варварами, что, правда, по-гречески звучит мягче, а свой язык — неблагозвучным.

Замечательной противоположностью этой, в сущности, простодушной субъективности служит его объективность в восприятии крупных событий. Тут повсюду соблюдена мера, нет и следа чванства. Чтобы усилить восточный колорит, поэт приводит огромное число своеобразно звучащих персидских имен — и ни единого греческого. Не упомянуто даже имя любимца Эсхила Арстида, которым поэт всегда восхищался. Победу одержали не хитрость, не мужество, не лучшая стратегия, а боги. Поэт не хулит персов; никто в его трагедии не называет их вероломными. Напротив, они храбры; ведь даже высокомерие Ксеркса, бросающего вызов богам, как бы извиняется молодостью царя, а старый Дарий, вопреки всему, что знал о нем поэт, предстает в пьесе снисходительным, благородным, богоравным властителем. В «Персах» нет опьяняющих криков «ура», но везде ощущается непоколебимое, гордое и естественное доверие к богам и подчинение их воле. «Ни один грек, — писал Генрих Фосс, — не постиг идеи Немезиды, карающей людское высокомерие, так возвышенно и так глубоко, как Эсхил; Наполеон, которого обуревала мечта стать коронованным императором Востока и который теперь находится в заточении на острове Эльба, мог бы явиться отличной моделью для его кисти. Когда «Персы» были впервые поставлены в Афинах, это произвело, по-видимому, огромное, совершенно невероятное впечатление. На сцене появлялся вестник и начинал рассказывать матери Ксеркса об ужасном поражении многотысячного войска, переходя от жалобного пиано до громового фортиссимо. Каждое слово Эсхила становится хвалебной, величальной песней ничтожной горстке греков, которые, доверившись богам и преисполнившись священного мужества, одержали победу над дикой ордой. По этому случаю была изваяна статуя Немезиды — из той самой глыбы мрамора, которую персидский царь вез с собой, чтобы воздвигнуть памятник в честь победы над греками».

«Персов» легко упрекнуть в недостатке действия. Можно сказать, что пьеса эта — не что иное, как бесконечный

ряд вариаций на тему: «Ах! Мы, бедные персы, побеждены!» Прекрасно, но каковы эти вариации! Тут и грандиозный рассказ о битве при Саламине, и странная, скорбная, западающая в душу песня, вызывающая к мертвому Дарию в Аиде; тут и мрачное, покорное судьбе пророчество старого царя, тут и архаически-безыскусное, задушевное прославление прежних времен, тут, наконец, по-восточному дикий, натуралистическая траурная оргия в конце; тут вся эта бурлящая, стонущая, визжащая, кричащая, ревущая, бросающаяся наземь, рвущая на себе волосы, в кровь раздирающая себе грудь толпа, опьяненная вакханалией экзотически неистовой скорби.

И выражено это на языке Эсхила, у которого все становится движением, образом, приобретает наглядность, жизнь, душу. И выражено это в протяжных, громоподобных сенариях, в необычайно впечатляющем чередовании хоровых строф, которые, при всей их необузданной мощи, способны отлично передать любую смену настроений. Смелость его аллитераций, его звуковая живопись не поддаются переводу. Его на редкость органичные восточные восклицания обогащают яркую гамму стенований персов, доводя их до гротеска, за что, кстати, Аристофан зло высмеивал поэта. Но Эсхилу дозволено доходить до самой высшей грани, а нам, людям сегодняшнего дня, остается лишь восхищаться безошибочностью его вкуса. Где тот режиссер, который смог бы найти столь точную меру сценического воплощения этой траурной восточной оргии, укрощенной в эллинских ритмах?

3

«Персы» можно назвать величайшим поэтическим творением всех времен о войне и победных битвах. Это самая наивная, цельная и самая достоверная поэзия, вполне уверенная в своем человеческом и художественном праве на существование.

И самая убедительная. Поэт творит чудеса. От начала и до самого конца трагедии господствует страдание, страдание побежденных. В «Персах» на сцене не появляется ни один эллин. Не слышно ни одного победного возгласа. И все же творение Эсхила пронизано светлым пафосом, звучащим во всех стихах подобно фанфарам,

Эта пьеса называется в оригинале «Мриччхакатика», в переводе «Глиняная повозка». Заглавие ее заимствовано из сцены с маленьким Рохасеной. Глиняная игрушечная повозка мальчика, которую Васантасена наполняет своими драгоценностями, чтобы он смог обменять ее на золотую, служит центром, вокруг которого развивается пьеса, ибо именно эти драгоценности служат доказательством вины Чарудаты. Нетрудно также истолковать заглавие и как символическое, особенно если вспомнить слова, которыми заканчивается пьеса:

Бедра у колодца
Так наполняет и порожит рок,
Подымет, сбросит, ненавистью свяжет
Двух спорящих, как малое дитя
В игре. Игрушка — целый мир ¹.

Пролог приписывает пьесу легендарному царю Шудраке, примерно с тем же основанием, с которым сочинители библейских текстов назвали автором их царя Соломона. Настоящего имени поэта мы так и не знаем. Предполагают, что пьесу в ее первоначальном виде сочинил поэт Бхаса. Но веских доказательств этого у нас нет. Мы не можем также с точностью установить, когда была написана пьеса. Ясно только, что редакция, в которой она дошла до нас, возникла между 450 и 650 годами нашей эры.

Итак, эта драма ровно на тысячелетие моложе великих трагедий греков и ровно на тысячелетие старше Шекспира.

На тысячелетие старше Шекспира. И все же ни на йоту не уступает в жизненности его драмам. «Васантасена» соединяет в себе нежную, мудрую меланхолию и прелестное светлое лукавство. Брахманистско-буддийская вера поэта в то, что наш мир только видимость и мишура, делает основным тоном произведения очаровательно-шутливую меланхолию, лишает пафос суровости и вносит в лукавство «Васантасены» дуновение задумчивой печали. Только абсолютно гармоничное мировоззрение, приведшее в полное согласие сердце и мозг, мысль, взгляд и чувство,

¹ Перевод М. Фромана.

могло породить это абсолютное гармоническое произведение. В нем нас не тяготит ничто. Эта поэзия танцует, парит в воздухе, растворяет все земные противоречия в неземной гармонии. Это пьеса-игра в самом прямом значении слова. Она играет со всем на свете. Даже с буддийскими верованиями поэта. Ибо, хотя он глубоко убежден в истинности своей философии, он не в силах отказать себе в удовольствии поиронизировать над внешними сторонами своей системы, улыбаясь, показать как эта самая глубокая мудрость по-разному отражается в разных головах: у человека мелкого она мелка, у хитреца она служит прикрытием его эгоистических поступков, нищий духом находит в ней наивное утешение. Шаловливая грация индийца так же недоступна нам, современным людям, как и безмерная его доброта, спокойная его мудрость и близость к природе. Люди, им созданные, поистине подобны цветам, и понять их можно только в окружающей природе. Не случайно у них период любви совпадает с периодом дождей, и все явления собственного бытия они постигают только в сравнении с явлениями природы. Гармоничную красоту «Васантасены» невозможно понять, а тем более выразить словами, как нельзя описать красоту озаренного солнцем моря; богатство этой пьесы столь же непостижимо для нас, как богатство тропического девственного леса.

Нет ни одной европейской драмы, в которой бы жизнь отразилась столь многокрасочно, как в этой индийской пьесе, нет ни одной драмы, автор которой со столь же искренней радостью и удивлением высмеивал, оплакивал и, как в зеркале, отражал бессмысленную пестроту мироздания. Каждый раз по-новому здесь показано, как смысл оборачивается бессмыслицей, счастье несчастьем, беда благоденствием. И еще здесь показано, сколь тщетны все людские расчеты и к каким тяжелым последствиям приводят суетные капризы. Намерения ничто, случай — все.

Судьба, играешь ты судьбой людей
Подобно ветру, что играет каплями воды
На лотоса цветке.

Посев, который с таким трудом выращивался в течение многих лет, погибает, а из зерна, давно забытого, пропавшего, брошенного по мимолетной прихоти бог весть куда, восходит обильный урожай.

Но и над случаем властвует высокое искусство фавулы, которое небрежною рукою мастера извлекает из явлений, на первый взгляд не важных, последствия, полные глубочайшего смысла. В этом произведении, где случай играет как будто такую большую роль, нет, с точки зрения художественности, ничего случайного. Из богатейшей сокровищницы древнего эпоса поэт взял пестрые строительные камни, а высокоразвитая техника драматургической условности позволила ему с легкостью возвести свою искусную постройку...

Все самые далекие явления здесь связаны между собой, все мудро и целесообразно сведено воедино и образует целое — звук сливается со звуком и цвет с цветом. Каждый нюанс мудро продуман и единственно возможен. Люди и события кажутся цветными пятнами на большом полотне. Бессмысленная пестрота — вот содержание жизни; так превратим же ее в театре на несколько быстролетающих часов в пестроту осмысленную. Такой она и видится поэту. Но самое очаровательное в том, что в оригинале пьеса еще не окончательно выделилась из эпоса, она напоминает статую, не вполне вырубленную из камня. Драматургическая техника индийцев (у них отсутствуют декорации) дает драматургу такую же свободу, какой у нас пользуется киносценарист: он может заменять последовательность во времени сосуществованием во времени, — например, одна сцена происходит в доме, а следующая уже на улице, — или даже заставить время идти вспять, то есть вернуть действие назад и показать, что было в другом месте и в более раннее время. Бхаса или другой поэт, написавший это произведение, пользуется своей свободой весьма умеренно, стараясь не причинить ущерба драматическому началу. Более того, драматическое нарастание, особенно во второй части пьесы, проведено с таким мастерством, что оно особенно эффектно выделяется на эпически-наивной основе драмы.

Первый европейский переводчик «Васантасны» Горацио Геймен Уилсон назвал поэта индийским Шекспиром. Некоторые индогерманские шовинисты решили извлечь из поразительного сходства этого произведения с драмами Шекспира новое доказательство превосходства единоспасающего индогерманского духа и индогерманской культуры. Некий клерикальный историк литературы нашел, что для шекспировского совершенства языческому автору не

хватает только христианства. Но и объективный наблюдатель, не делая никаких преувеличенных выводов, вынужден, дивясь и восхищаясь, признать, как все здесь — рассудительно-шаловливое и в то же время такое доброе, окрашенное юмором мировоззрение индийца, и четкие, умеренные, но в то же время столь легкие контуры произведения, и, прежде всего, смелые психологические переипитии, — как близко все здесь и родственно Шекспиру! Даже и профану, несомненно, бросятся в глаза не только бесчисленные характерные детали, но и общее сходство «Васантасены» с «Цимбелином» (Клотен и Самстханак) и особенно с «Венецианским купцом» (Антонио и Грациано, Порция и Нериса, эпизод с кольцом, сцена в суде). Целые страницы диалогов из «Васантасены», особенно бурлескные сцены (сцена с Кумбхилакой, с начальниками царской стражи, с двумя палачами), можно было бы перенести прямо в произведения Шекспира. Но особенно роднит индийца с Шекспиром манера строить образы. Мы вынуждены перескочить через целое тысячелетие, отделяющее Бхасу от Шекспира, и только тогда мы найдем драматурга, который с той же наивной непосредственностью, с той же уверенностью вывел на сцену пеструю толпу живых людей. Вот купец Чарудатта, этот брат Тимона Афинского и старший брат царственного купца Антонио, такой же княжески щедрый, полный такого же меланхолического фатализма, с тем же благородно-печальным презрением вззирающий на капризы счастья, на глупую злобу людей. Вот друг его Майтрея, браминское звание которого находится в кричащем противоречии с его нищетой, великолепный в своей грубости и простоте, весь от мира сего, вечно тоскующий об ушедших наслаждениях, о легкой жизни, практический ум, прекрасно приспособленный для мещанских будней, добрый малый, преданный, как пес. Вот элегантный, ловкий паставник принца, который с великим отвращением влачит паразитическое существование при дворе и всей душой презирает своего царственного питомца. Вот опустившийся брамин Шарвилака, политический авантюрист, странным образом сочетавший в себе корыстолюбие и идеализм, враг царя — частью из политических убеждений, частью из жажды наживы, — мошенник, использующий свое глубокое знание буддийской мудрости, чтобы с помощью обрывков мрачной, извортливой философии изящно-метафизически оправдать обычный грабеж.

Но где же во всей мировой литературе сыщется второй такой образ, весь сотканный из светлой прелести, из нежных лунных лучей, как героиня этой пьесы, благородная баядера Васантасена, «столь чуждая нравам баядер»? Где во всей мировой драматургии найдется девушка, в которой, как в чистейшем соцветии, соединились бы тончайшая изысканность и прелестнейшее лукавство, благороднейшая гармоничная культура и веселый, естественный такт? Гете, приветствовавший Сакунталу стихами:

Если ты хочешь иметь цвет и плод в единую пору —
То, что чарует твой взор, то, что питает тебя,
Если ты небо и твердь желаешь обнять одним словом,
Вспомню Сакунталу я, этим все сказано вмг,—

как восславил бы он «Васантасену», если бы по несчастной случайности это произведение не попало ему в руки напечатанным столь небрежно, что это явилось «непреодолимым препятствием для чтения». Жизнь баядеры не отвечает нраву Васантасены, она стала ею только потому, что над ней тяготеет рождение, принадлежность к касте. Она гетера в аттическом понимании, владеющая всеми искусствами, одухотворенная всеми утонченностями культуры, достигшей пышного расцвета, и при этом она очаровательно естественна. Васантасена окружена поклонниками, как ни одна женщина в городе, она владычица сказочно роскошного дворца, но губительное влияние вожделенного и презренного блеска не в силах испортить очаровательную простоту ее души.

Однако самая дерзкая фигура в пьесе — Самстханака, шут, забавная обезьяна в зверинце Васантасены, обезьяна, чье опасное коварство и причудливые гримасы уравновешивают друг друга. Самстханака — брат наложницы царя и его любимец. Он страдает манией величия, но совсем особого рода. Счастье и положение при дворе помutilи разум Самстханаки, он вообразил себя богом, принявшим образ человека. Когда Васантасена дает отпор его похотливым притязаниям, он воспринимает это как покушение на свои права, оскорбление, которое он может смыть только кровью! С хитростью сумасшедшего разрабатывает он план убийства Васантасены. Характер Самстханаки — гениальная смесь мании величия Клотена, мстительности Шейлока и животного идиотического коварства Калибана.

Демонизм и гротеск, коварство и фатовство — все перепуталось, все сбилось в нем в крепчайший клубок восхитительных и опасных противоречий. Самстханака — второй Нерон, жаждущий быть не только властелином, но и артистом. Он наряжается и причесывается «замечательно и странно», говорит чрезвычайно аффектированно, сыплет перевернутыми цитатами из мифологии и, возомнив себя поэтом, громоздит бессмысленные синонимы, придумывает невероятные словосочетания, странным образом путает глаголы. В Самстханаке с тропической пышностью расцвели все причудливые побеги самого разнузданного эгоизма. Но именно в его изображении удивительно проявляется улыбчивая сократовская доброта поэта, который считает, что злоба — это просто глупость, тупость, невежество, некий род безумия. Мудрый для поэта непременно добр. Злой — глупец, достойный насмешки и сожаления, и его смешное коварство — только необходимое темное пятно в причудливой пестроте мироздания. Обезвредив Самстханаку, поэт его тут же с улыбкой прощает. Вообразим себе в самых общих чертах Олоферна Геббеля, в котором все трагическое было бы отодвинуто на задний план, а все комическое выдвинуто на передний. А теперь представим себе некий образ, синтезированный из Олоферна Геббеля и Олоферна Нестроя, смягченный и сглаженный осторожным, кротким мастером, и перед нами встанет образ Самстханаки. Вокруг этих главных персонажей движется пестрая толпа второстепенных фигур. Все они — игроки, кающиеся, судьи, нищенствующие монахи, рабы и множество прочего люда, очерчены скупыми уверенными линиями и по-шекспировски полны жизни. Всех их спасло искусство поэта, позволившее им перейти из индийского прошлого в европейскую современность.

Богатство языка пьесы неисчерпаемо. Язык этот обладает особой живостью хотя бы потому, что поэт заставляет своих героев разговаривать не только на санскрите, но еще на семи диалектах пракрита, начиная с чандали, на котором говорят оба палача, и кончая магадхи, на котором говорит маленький Рохасена. Уже в языке пьесы отчетливо проступает ее связь с эпосом. Прежде всего в развернутых описаниях. Конечно, не следует забывать, что отсутствие декораций на индийской сцене не только позволяло, но просто заставляло поэта прибегать к пространнейшим

подробным описаниям. У него не было никаких средств для создания иллюзии, кроме слова. В этих описаниях поток красноречия сочинителя неиссякаем, образы мчатся, обгоняют друг друга и порой слишком густо оплетают основную идею, подобно буйным тропическим лианам, которые, оплетая дерево, способны высосать из него все жизненные соки. Как только поэту приходит в голову новое сравнение, он тотчас же наивным «а затем» присоединяет его к предыдущим. Кажется, что порою он лишь для того нагромождает свои метафоры и сравнения, чтобы предоставить актеру возможно больший выбор. Великолепны описания природы, бури, парка Пушпакарандака, тропического полдня. Подлинный шедевр — описание двора Васантасены. Но и дидактическая часть поэмы — размышления о людях, судьбе, нищете, о религии, музыке, страсти, добродетели, о загробном мире исполнены глубокой, мудрой красоты, а порой и теплого юмора, как, например, излияние по поводу страсти к игре или жадности блудниц. Но совершенно неповторимо мастерство, с которым поэт использует речевые особенности отдельных персонажей для их психологической характеристики. Восхитительно характеризует он своих героев, показывая, как по-разному они выражают одну и ту же мысль. Гениально вскрыт снобизм Самстханаки при помощи его языка: его педантически-папыщевой манеры выражаться, его перевранных цитат из мифологии, его нескладных эвфуизмов, неуклюжих ассоциаций.

Сладостная зрелость отмечает язык индийца, нежный и спокойный, как лунный свет, как прелесть цветка, язык, которым можно произносить самые рискованные вещи, и они вовсе не покажутся нам грубыми или хотя бы неделикатными. К тому же поэт наделен особым чутьем, с помощью которого он улавливает и запечатлевает малейшие нюансы, тончайшие оттенки. Особой силы воздействия достигает он, и когда искусно вводит в свою пьесу длинные церемонии вежливости, и когда строит параллельные сцены, и когда повторяет как лейтмотив наиболее примечательные места, — и это придает языку пьесы, при всей его мудрой сжатости, мощь и выразительность, так что он звучит и величаво и нежно.

Немецкому поэту Фердинанду Фрейлиграту однажды пришло в голову, что Германия — это Гамлет, он написал об этом стихи. Русский писатель Антон Чехов чувствовал, что Россия была, есть и останется Гамлетом, и выразил свою убежденность в трогательной, проникновенной и грустной драматической поэме, которая называется «Вишневый сад».

Немецкие шовинисты возрадуются, когда пьеса будет поставлена в Германии. Они примутся цитировать полные горечи слова революционно настроенного студента: «У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина...» Захлебываясь от восторга, они будут писать: «Вот как русский оценивает Россию. Упадок одной семьи символизирует у него упадок его народа».

Но проблема гораздо сложнее. Конечно, Чехов первоначально хотел изобразить упадок одной семьи, нечто вроде русских Будденброков. Но «Вишневый сад» получался все глубже, шире и значительнее, и в конце концов в нем отразились не только беды одного народа, нет, — он стал грустным зеркалом человеческого духа, пределы которого беспредельны, человеческого духа, способного все понять и с улыбкой со всем смириться.

Во всех четырех действиях пьесы почти ничего не происходит. Продается вишневый сад семьи Гаевых, вишневый сад старого дворянского рода, разорившегося и обремененного долгами, продается энергичному, напористому простолюдину, бывшему крепостному этой семьи. Вот и всё.

Но эта пьеса, почти лишенная действия — самое насыщенное и зрелое, самое трогательное и горькое, самое мудрое творение Чехова. Эта трагикомедия, освещенная мягкой, грустной и в то же время насмешливой улыбкой автора, стоит особняком. «У этой пьесы улыбка Джоконды», — писал крупнейший критик России после того, как она была поставлена Станиславским.

Как уже говорилось, речь идет всего лишь о вишневом саде, который пошел с молотка. Этот вишневый сад, если посмотреть на него глазами делового человека, представляет собой участок земли, стоимость которого тысяч на девяносто превышает сумму долгов, сделанных под залог сада. Так на него и смотрит деловой человек Лопахин, пошедший в гору плебей. О, этот Ермолай Лопахин умен и энергичен; он обеими ногами прочно стоит на земле и точно знает, чего хочет. Он считает, что землю надо разбить на участки, старый, обветшалый господский дом снести, а вишневый сад вырубить.

Но как ни разумна и практична эта точка зрения, все же Лопахин не прав, и помещица Раневская имеет все основания возмущенно возразить ему: «Милый мой, простите, вы ничего не понимаете». Потому что этот сад — нечто совершенно необычайное — и впрямь слишком хорош, чтобы пойти на строительные участки для дачников-арендаторов. Не потому, что он, осыпанный белой кипенью цветов, так прекрасен, так мил, нежен и светел под голубым куполом неба и не потому, что он упоминается в «Энциклопедическом словаре» как самая значительная достопримечательность всей губернии. Старый-престарый слуга Фирс, глухой и трясущийся, переживший не одно поколение господ, смутно улавливает подлинную суть вишневого сада. Перебивая беседу господ, он по-старчески бессвязно бормочет о том, что было лет сорок — пятьдесят назад: «В прежнее время вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили и, бывало...» Его обрывают, но старик продолжает бормотать: «И, бывало, сушеную вишню возами

отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сусе-
ная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая...
Способ тогда знали...» Его спрашивают, где же теперь этот
способ. Забыли. Никто не помнит.

Не просто земельный участок, а символ, яркий символ
этого «тогда», той патриархальной эпохи, когда еще свято
блюли разницу между господами и холопами, а сомнитель-
ная роскошь общественной совести была неведома, символ
старой России — вот что такое вишневый сад. Владельцы
усадыбы это чувствуют. Раневская срослась с вишневым са-
дом. «Ангелы небесные не покинули тебя». Под его деревья
бежит она от сумбура и сумятицы своей парижской жизни.
Он — ее юность, ее чистота. В его аллеях видится ей покой-
ная матушка в белом платье. С вишневым садом у нее и ее
брата отрывают корни не только внешнего, но и внутренне-
го существования, их внутреннего аристократизма; с поте-
рей усадьбы, поместья, они перестают быть помещиками.

И домашний учитель Петя Трофимов, недоучившийся
студент, мечтатель, утопист, тоже чувствует, что именно
в этом сущность вишневого сада. Когда Аня, семнадцати-
летняя дочь хозяйки имения, жалуется ему: «Что вы со
мною сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого
сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне казалось,
на земле нет лучше места, как наш сад», — он возражает:
«Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки
были крепостники, владевшие живыми душами, и неуже-
ли с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого
ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели
вы не слышите голосов...»

Но глубже их всех понимает вишневый сад сам Чехов.
У него прав и Лопахин, видящий в саде лишь земельный
участок, права и Раневская, для которой сад — символ ее
юности и чистоты, блестящего и бездумного прошлого,
прав и мечтатель-студент, считающий сад символом крова-
вой деспотии. Под взглядом писателя рамки сада раздви-
гаются и вбирают в себя не только образ всего народа, чи-
стого душой, великого и прекрасного, внезапно вырванно-
го из непонятного прошлого и растерянно бредущего к
смутному и столь же непонятному будущему: нет, с тихой
и грустной улыбкой он превращает повесть о гибнущем
вишневом саде в притчу о мимолетности, относительности
и бренности всего земного, одинаково ускользающего от
мудрого и от глупца.

У всех персонажей «Вишневого сада» есть нечто общее: смутная, затаенная, бессильная мечта, которая их гнетет, но от которой они и не пытаются отказаться. Характерное и типично русское у них то, что они любят, хотя и нежат эту свою мечту и ровно ничего не делают для того, чтобы она осуществилась. Создается впечатление, что они вовсе и не хотят, чтобы она осуществилась. Вечно недовольные, они копаются в собственной душе, вновь и вновь ощущая положенные им пределы, и, жалуясь на это, сотрясают преграды, но больше во имя самого сотрясения, чем для того, чтобы эти преграды сокрушить.

Конторщик Епиходов — великолепная карикатура на это кокетливое самооплакивание. Стоит ему споткнуться о стул, как он начинает изливать мировую скорбь, а если в квас ему попадает таракан, принимается цитировать Канта и намекать на возможный уход из жизни. Даже Лопухин, единственный человек действия в пьесе, заражен этой вялой нерешительностью, этой меланхолической пассивностью; и не случайно с его губ вдруг срывается фраза из «Гамлета».

Общество представлено в «Вишневом саду» двенадцатью персонажами; это удивительно русские люди, увиденные, однако, глазами писателя уже не русского, а европейского масштаба, писателя, погружающего их в атмосферу горестно-сладостного пессимизма и легкой иронии, заставляя нас в то же время сострадать им.

Вот, например, купец Лопухин, бывший крепостной Гаева, который в конце концов прибирает к рукам вишневый сад, энергичный человек, жаждущий действия. Но даже его подтачивает сентиментальная склонность к самокопанию, мечтательности, сомнениям и колебаниям, присущая всем героям «Вишневого сада». Великолепна сцена, когда он, наконец-то решившись предложить руку и сердце Варе, облегченно вздыхает, услышав, что его кто-то зовет, и поспешно уходит. Как искренне он огорчен тем, что Раневская теряет вишневый сад, который он сам же и приказывает вырубить. Как чует он враждебное начало в идеалисте Трофимове, насмехается и издевается над ним, но в то же время и восхищается им, и дает ему денег. Как врожденный инстинкт раба заставляет его низко склоняться перед непрактичным Гаевым, его бывшим господином,

к которому он не испытывает ничего, кроме презрительной жалости. Сцена его возвращения с аукциона, где он приобрел вишневый сад, относится к числу самых сильных во всей русской литературе. Ощутив себя собственником поместья, он в упоении хохочет, говорит без умолку, громко топает сапогами. И тут же неуклюже утешает хозяйку имения и жалуется на нескладницу и несправедливость жизни. А потом громко велит музыкантам играть. Затем вновь следует приступ сентиментальности, пока, наконец, его плебейская натура вдруг не прорывается наружу. Нечаянно толкнув столик, с которого чуть не сваливаются канделябры, он хватает падающий светильник, швыряет его об пол и орет: «За все могу заплатить!»

А вот Варя, воспитанница Раневской, двадцатичетырехлетняя простая крестьянская девушка. Всегда чем-то озабоченная, считающая каждую копейку, она неумоимо пытается предотвратить разорение имения — но какими малыми и до смешного мелочными средствами! Есть в ней что-то материнское, добропорядочно-мещанское, и мечта ее — созерцательная жизнь в монастыре. А вот их сосед по имени Симеонов-Пищик, здоровяк и оптимист, с бородой патриарха, головой, полной выдумок, и поместьем, полным долгов, вечно всему удивляющийся и гордящийся шуткой своего отца, сказавшего как-то, будто древний род Симеоновых-Пищиков происходит от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате.

Затем следует квартет молодых слуг: мадемуазель Шарлотта, бонна, не имеющая паспорта и не знающая, стара она или молода, пустая, вздорная стареющая девица, которая старается проказами и карточными фокусами скрыть от себя и других горечь своего существования. Конторщик Епиходов, у которого от непереваренной мудрости множества прочитанных книг началось какое-то завихрение в мозгу, который полагает, что его преследует злой рок, и по ничтожнейшему поводу принимается в ходульных и явно непонятных ему самому выражениях яростно обличать злокозненность своей судьбы. Его антипод, красавчик Яша, вывезший из своего путешествия в Париж глубокое презрение ко всему русскому («азиатчина»), лакающий шампанское и утверждающий свою принадлежность к западноевропейской культуре пристрастием к пестрым жилетам. Горничная Дуняша, жеманная девица, подражающая «хорошим манерам» господ и в своем

стремлении кого-нибудь боготворить нашедшая в Яше подходящий объект.

Студент Петя Трофимов — типичный представитель революционной русской молодежи. Один из тех пророков, которых не избудет земля со времен схимников, питавшихся акридами. Худой, некрасивый, оборванный и грязный, вещает он свои напыщенные пророчества; худосочный болтун, кичащийся своей невинностью, несчастный слепец, в думах о человечестве не замечающий отдельного человека, — бестактный и грубый даже с теми, кого любит. Его ученица Аня — инфантильное, простодушное, милое существо, именно из-за своего простодушия восприимчивое к его идеям.

С самой нежной любовью, не вредящей, однако, ни точности, ни легкой иронии в обрисовке образов, изображены представители рушащегося старого мира: помещица Раневская, ее брат Гаев и слуга Фирс. Помещица — красивая, обаятельная, добрая, легкомысленная, сентиментальная, поддающаяся любому мимолетному впечатлению дама лет тридцати пяти. Она многое пережила, видела много горя, но все это горе не убило ее природного легкомыслия, слегка приправленного сентиментальностью. В то время как ее осаждают кредиторы, а слугам нечего есть, она нанимает музыкантов для танцев и подает пиццу золотой. Ни нежная любовь к дочери, ни душевные муки из-за смерти маленького сына не помешали ей сбегать в Париж с элегантным прохвостом, который ее обирает. Беспомощная, непрактичная, она позволяет себя обкрадывать, не пытаясь хоть как-то воспротивиться этому. По малейшему забавному поводу глубочайшее уныние у нее сменяется безудержным весельем. Слабая, беспомощная и при всем своем богатстве вечно ощущающая нужду в деньгах, она отнюдь не теряет врожденной самоуверенности привлекательной женщины. Нежная привязанность к вишневому саду, благоухающему приюту чистой и безмятежной юности, радужным светом освещает всю ее жизнь.

Ее брату Гаеву куда труднее сохранить свой аристократизм, когда гибнет вишневый сад. Уже хотя бы потому, что его натура сложнее. Он вырос в атмосфере либеральных взглядов того поколения шестидесятых годов, которое подготовило общественное мнение к социальным реформам Александра II, к отмене крепостного права. Либеральное воспитание внушило ему склонность к утопическому,

оторванному от реальности прожектерству, риторическому оптимизму, а также безудержную страсть по любому поводу произносить длинные велевечивые монологи самого отвлеченного характера. При этом в свои пятьдесят два года он не только внешне в высшей степени изыскан и по-старомодному элегантен, он и по натуре феодал и аристократ до мозга костей. Жалко смотреть, как под натиском презираемого плебея внутренне передергивается и ежится его утонченный аристократизм. Как он, превыше всего ценящий светскость, чувство собственного достоинства и вельможную небрежность, совершает одну бестактность за другой. Как он, оказавшись в руках Лопухина, не может заставить себя относиться к бывшему своему крепостному иначе, как к неотесанной деревенщине. Как, теряясь перед грубой практичностью этого крестьянина и наглой бесцеремонностью лакея, он ищет спасения в глупом и фатоватом шутстве, либо пропуская все неприятное мимо ушей с выскомерным судорожным «кого?», либо отвечая невпопад и бессвязно пересыпая свою речь биллиардными терминами.

Но самый трогательный образ пьесы — старый Фирс, дряхлый старик восьмидесяти семи лет, слуга трех поколений семьи Гаевых. Слабый, полуглухой, трясущийся, ковыляет он через все действия. Старый лакей уже заговаривается и несет вздор; но все умолкают, когда он открывает рот, к нему прислушиваются. Ибо его устами глаголет доброе старое время, его устами вещает тот расцвет вишневого сада, когда еще не был забыт «способ», когда еще свято блюли разницу между господами и холопами, когда господину, только чтобы доказать царице преданность своих крепостных, стоило лишь повелеть: «Прыгай с башни!» — и холоп разбивался насмерть. Фирс — это песня песней вишневому саду, старому, патриархальному укладу жизни, данным от бога отношениям между людьми, сладости рабства; он — образец собачьей преданности, меланхолический русский аналог Юсту Телльхейма. На новый мир, где нет ни крепостных, ни порки, он взирает с тоской, недоуменно и презрительно ворча. Ему нет места в изменившемся мире без рабов. Поэтому то, что первые удары топора знаменуют не только гибель вишневого сада, но и смерть Фирса, с грустью воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся и восхищаешься автором, сумевшим слить воедино угасание старого слуги и вишневого сада в сцене, оваянной невыразимой нежностью и тоской.

Вся пьеса выдержана в нежных, приглушенных полутонах. В ней нет ни ярких красок, ни кричащих контрастов. Непередаваемое — оно здесь передано. Легкими, нежными, лишенными всякого драматизма мазками кисти Германа Банга или Кайзерлинга написана драма, которая с вполне реальной, вещественной сцены сотни раз завораживала самого взыскательного зрителя Европы, зрителя Станиславского. Вновь и вновь поражаешься точному чутью этого писателя, избегающего всякого нажима, всякого громкого слова, у которого полутона и сдержанные жесты несравненно выразительнее громкоголосых воплей и напыщенной жестикуляции чересчур энергичных драматургов. Как и у Ибсена или Стриндберга, взгляд его проникает в самые сокровенные глубины сознания; но его техника прямо противоположна. Там четкие, ясные, резкие контуры, и замысел автора выпячен как можно более выпукло; у Чехова же все окутано мягким, мерцающим светом, человек всегда изображается вместе с окружающей атмосферой. Скупыми словами создается и впущается настроение с такой силой, которая по плечу Бангу или Кайзерлингу. И это на сцене!

Его персонажи — какое ужасное нарушение всех канонов благопристойной драматургической техники! — совершенно не развиваются. Ни на йоту. Они все под конец точно такие же, какими были вначале. Автор ограничивается тем, что как бы поворачивает их, демонстрирует с разных сторон и тем самым делает их пронцаемыми для взгляда. Он словно мимоходом показывает, как его тонкокожие и чувствительные герои реагируют на разные обстоятельства или как трогательно и трагикомически по-разному отражаются одни и те же обстоятельства в мозгу у разных людей. При этом он старательно избегает всякой декларативности. Кажется, что его герои просто болтают всякий вздор, и только на расстоянии, только по мере продвижения действия начинаешь понимать, насколько остро необходимо каждое слово, каждый нюанс, и что все в этой пьесе, лишенной назойливой символики, складывается в картину пластично и значимо, как в притче. Техника импрессионистов. Вблизи она представляется бессмысленным хаосом мазков, но стоит взглянуть издали, и все неудобно и впечатляюще сливается в единый образ. «Все это

так, — сказал кто-то Монё, — но зато у Дефреггера можно подойти поближе». То же самое могут сказать и «критики» Чехова: у Шёнхерра можно подойти поближе. Чехов обнажает всю низменность, всю безысходную скудость человеческого существования с такой же горечью, как Стриндберг. Но он не кричит и не вопит патетически о своей горечи, а выражает свое отчаяние вполголоса, с мудрой и иронической улыбкой, обаятельно и непринужденно беседуя со зрителем.

УОРРЕН ГАСТИНГС

Речь идет не об историческом Гастингсе и не о Гастингсе Маколея. Первый был, как можно прочесть у Лоусона и Маллесона, гениальным педантом, который тщательно вел учет всем своим поступкам и побуждениям, в котором сочетались гипертрофированное чувство долга с железной выдержкой, — человек сугубо рациональный, почти гениальный ханжа, тщательно разграничивавший свои действия простого смертного и чиновника, неукоснительно заботившийся о том, чтобы выглядеть перед самим собой и перед господом богом в высшей степени корректным, настоящим джентльменом. Итак, отнюдь не драматический герой — оставим его для Бернарда Шоу. Другой Гастингс, Гастингс Маколея — типичная сильная личность, на худой конец, годится, пожалуй, в герои добротной пьесы. Но не больше. Человек драматической судьбы, возможно, но никак не трагический герой. Я, во всяком случае, никогда бы не рискнул поставить ни первого, ни второго Гастингса в центре хаоса мировых исторических событий, привлечь весь огромный аппарат восточной и европейской государственной политики, если бы речь шла только об одном этом человеке и его личной трагедии, не надеясь я обнаружить позади Уоррена Гастингса великую тень: тень великой идеи.

Ведь именно Уоррен Гастингс был первым европейцем, который энергично и успешно взялся за изучение санскрита и литературы на этом языке. Если не вдаваться глубоко, то факт этот имеет лишь филологическое значение. Но именно этот факт и, как мне кажется, только он делает первого генерал-губернатора Индии всемирно-исторической и трагической фигурой. Ибо не случайно, и это не могло

быть случайностью, что человек, который подчинил Индию английскому господству, а Азию — европейцам, что именно этот человек проложил побежденному Востоку дорогу для духовного порабощения победоносной Европы. Начиная с него и благодаря ему, человеку, поработившему страну, Индия начала постепенно побеждать Европу, подобно тому как покоренная Греция победила Рим, а арабская культура и искусство — крестоносцев. Ему, триумфатору, первому пришлось испытать на себе таинственную власть покоренной страны. Он, типичный европеец, смыслом жизни которого было упрочение могущества Англии, увеличение доходов Ост-Индской компании и собственное аристократическое достоинство, человек дела, трезвый политик, воспитанный на Цицероне и Горации в духе здравого смысла, благочестивый христианин, в восемьдесят два года сетовавший на то, что сильный снегопад помешал ему отправиться в церковь, — этот человек не мог освободиться от мудрой, загадочной власти страны, в которой он был безраздельным хозяином. Он старался разводить в Европе животных и растения Индии, собирал — будучи не страстным коллекционером, а лишь пламенным адептом, полным желания проникнуть в тайное тайных — обломки полуискрошенных камней со следами стершихся индийских надписей, манускрипты и хрупкие пальмовые листья, таившие в себе мудрость Востока: учение о самовоздержании и о непротивлении злу. Учение, которое его, делового человека, наделенного огромной властью, сладко и мучительно влекло к себе до последних дней.

В этом и только в этом я вижу трагическую идею моей пьесы. Когда Гастингс в конце концов вынужден отказаться от любимой женщины, когда его покидает друг, то все это само по себе можно назвать печальной и достойной сожаления участью одного человека, но в этом нет ничего трагического. Его судьба не становится трагической оттого, что он страдает за идею, идею господства Англии, за (субъективную) веру в то, что он якобы единственный, кто способен примирить Европу с Индией. Трагическим его леденящее одиночество становится лишь потому, что от этого одиночества веет духом Будды, что в тот самый момент, когда он, Гастингс, заплатив за власть над Индией своим человеческим счастьем, достигает ее, статуя Будды, словно обретает дар речи и нашептывает ему слова своей

тихой, древней, невозмутимой мудрости: «Отринь страсти и желания, отринь стремления и вожделения». Трагической личностью он становится, когда, на минуту смирившись перед этой мудростью, в следующее мгновение поднимает прометеевский бунт: «Пусть тот ограничивает себя, кого взрастило солнце этой страны. Я не принадлежу к их племени. Мои предки сражались с морем и бурями. Не для них созревали плоды манго, не для них лилось молоко кокосового ореха. Солнце не иссушило мою волю и силу желаний. Я желаю и стремлюсь. И должен от всего отказаться».

Для меня важна не судьба отдельного человека, а смысл пережитого им: Индия и Европа, человек дела и человек духа, кающийся грешник и солдат, Будда и Ницше. Не Купер и не Френсис — противники Гастингса: они, как и он, — типичные выразители той же идеи, идеи действия, идеи Европы. Гастингс — человек несокрушимой воли, двое других — люди нервные, надломленные рефлексией и эмоциями. Истинный противник Гастингса — Индия: пицций монах, прежде всего Ненкомар. Когда магараджа, глубоко постигший мудрость индийского смирения, убежденно возвещает: «Мир не таков, каким его представляют себе белые. Его нельзя завоевать. Его нельзя удержать. Побеждает тот, кто не стремится удержать завоеванное. Побеждает тот, кто не борется. Победителем остается тот, кого мир не прельщает». Люди Запада преисполнены жажды бытия, становления, власти. Они стремятся к все новым и новым воплощениям духа. Они изматывают себя, стремясь завоевать эту страну. А она слишком глубока, чтобы можно было понять ее сокровенную суть, слишком податлива, чтобы ее можно было подавить; и когда тот же Ненкомар, мучительно цепляясь за пагубное блаженство, в своей жажде власти, борьбы и деятельности, бия себя в грудь, восклицает: «О, если бы мне не надо было бороться! Если бы я мог сложить руки и не осквернять себя деянием!» — то это больше, чем вычурные словеса. Здесь он выступает как прямой антипод Гастингса. И когда Гастингсу, торжествующему свою победу и почти недоступному для чужого горя, попадает в руки послание мертвого врага: «Помни, брат мой, покой лучше движения, сон лучше бодрствования и быть мертвым лучше, чем живым», — тогда, думается мне, даже не очень наблюдательный человек не может не почувствовать, что

речь идёт о чем-то большем, чем простая уловка ради местного колорита, что здесь обнажается нерв пьесы.

Возможно, мне возражат, что я преувеличил значение проблемы. Что духовной проблемы Европа — Индия не существует. Что два-три санскритолога, Шопенгауер да несколько теософов еще не есть Европа. Но мне кажется, что такие возражения слишком примитивны. По-моему, не случайно, что именно сейчас романы и пьесы Рабиндраната Тагора читают и ставят на всех европейских языках, что «Ван-Лунь», прекрасный роман Альфреда Дёблина о непротivлении, получил премию Фонтане, что «Васанта-сена» Шудраки звучит теперь в Германии и в Англии сильнее чем когда-либо. Возможно, нынешняя война — это не что иное, как новый шаг на пути Европы к Будде. И если вы с этим согласны, тогда моя пьеса наверняка имеет определенную актуальность.

О Р.-Л. СТИВЕНСОНЕ

Когда теперь, через тридцать лет после его смерти, произведения этого великого мастера-повествователя впервые опубликованы в собрании сочинений на немецком языке, то прежде всего испытываешь страх — вдруг его рассказы, которые при своем появлении были новаторскими и революционными, покажутся сегодня избитыми и устаревшими. Стивенсону бесчисленное множество раз подражали, техника приключенческого и детективного романа стала намного более смелой и тонкой, нас приучили к куда более острым приправам. Кроме того, часто те произведения, которые при своем появлении быстро завоевывали популярность, оказывались недолговечными. И все же чем больше читаешь книги Стивенсона, тем радостнее сознавать, что первое впечатление не было ошибочным. Влияние Стивенсона вполне закономерно, и он выдержал испытание временем. У наших молодых, которые отвернулись от французских прозаиков, чтобы пылко и беззастенчиво копировать технику и манеру англосаксонских авторов, был неплохой вкус.

Круг его тем богат и разнообразен, как сама его жизнь. Этот художник, родившийся в Шотландии в семье инженера, заболев туберкулезом, был вынужден скитаться по разным морям и странам и в возрасте всего сорока четы-

рех лет, горько оплакиваемый всеми, скончался на маленьком тихоокеанском острове. За свою недолгую жизнь он написал мрачный шотландский роман-балладу, детективные рассказы из жизни современного Парижа, фантастическую повесть о человеке, который нашел средство расщепить свое «я», весьма реалистические сказки южных морей, большой исторический роман, ряд рассказов о путешествиях, критические статьи и многое другое.

Стивенсон не написал ни одной скучной страницы, но совершенно очевидно, что он никогда не отбирал материал для своих произведений лишь ради занимательности. Он обладал той зоркостью взгляда, той мудростью рук и той прямоотой сердца, которые поднимают любой материал над сферой только интересного, сенсационного. (При этом любопытно, что все эротическое у него всегда остается на втором плане.) Он, естественно, избегает давать оценку ситуациям и героям своих произведений; но в приключенческих повестях он обнаруживает острое чутье к скромному непоказному мужеству и порядочности без ханжества. Это книги настоящего человека. Стивенсон обладал чувством меры, он был наделен юмором и верным пониманием того, что поучительно и жизненно. Если вы хотите до конца уяснить себе, что такое светский человек, сравните владельца Баллантра с Дорианом Греем. И если вы хотите в предстоящем путешествии все увидеть особенно зорко, то читайте его описания южных морей и сравните их с путевыми заметками какого-нибудь философа. От книг Стивенсона веет необычайно свежим, крепким ароматом, в его духовном климате легко дышится.

Он смотрит на людей ясными, добрыми глазами и видит их в истинных пропорциях. Не сразу начинаешь понимать, почему в этих книгах тебе вдруг придется по душе явный негодяй, а вот хорошего парня, у которого налицо все достоинства, ты посылаешь ко всем чертям. Лишь потом становится ясной точка зрения автора. Дело не в поступках человека и лишь в малой мере — в масштабах его личности. Все дело в том, чтобы масштаб личности и поступки не противоречили друг другу. С такой справедливой мерой незаметно, но упорно, подходит автор к своим персонажам, причем делает это не без юмора, и от этой нравственной оценки его героям никуда не деться. Это не литературный, а житейский взгляд на вещи, который очень быстро усваиваешь.

Когда взглядишься получше, то поражаешься, с какой последовательностью Стивенсон ставит на службу этой идее свое необыкновенное мастерство в создании человеческих образов. Бережным движением руки справедливый и лукавый поэт чуть наклоняет пьедестал, и мгновенно скатывается вниз, в дерьмо, вознесенный слишком высоко, напыщенный тип. В других случаях значительная личность показана такой, какой воспринимает ее другая, гораздо менее значительная личность: и сразу же некоторые достоинства значительной личности уमाляются и становятся смехотворными, а другие, маловажные качества приобретают неожиданное значение. Тут действует теория относительности, для которой непостоянны такие вещи, как порядочность, человечность, мужество, соответствие между поступками человека и масштабом его личности. Вот один пример, наглядно показывающий, каким образом Стивенсон заставляет своих читателей оценивать масштабность своих героев. В романе «Владелец Баллантрэ» рассказывается о борьбе двух братьев, одного добропорядочного, другого — на редкость талантливого, но злого. Описание обоих героев, их поступков, их борьбы с самого начала искажено тем, что рассказ ведется от лица секретаря — обывателя и добросовестного чиновника, который любит добропорядочного и посредственного брата и ненавидит блистательно талантливого злодея. Это — мастерский образец подлинной эпики, того, как с помощью простого художественного приема распределяются свет и тени, симпатии и антипатии. Борьба между дерзким обаянием одного и неловким простодушием другого увидена глазами добросовестного филистера, который ненавидит обаятельного злодея и беспрдельно любит своего господина, эту добросовестную посредственность. Педант-чиновник старается быть справедливым, это ему не совсем удастся, тогда он начинает казнить, и снова пытается быть справедливым; постепенно в его ненависть вкрадывается доля восхищения перед обаянием ненавистного, достойного презрения человека. Следует еще один поворот событий, ситуация и действующие лица взяты совсем в ином ракурсе, они как бы снова освещены снизу, но теперь они увиденны человеком иной среды, самодовольным, глупым солдатом. Нельзя не восхищаться тем, как осторожно и без нажима Стивенсон дает понять читателю, что перо и уста беспристрастного хроникера не были вполне объективными, как бла-

годаря почти незаметному подсвечиванию «первоисточников» создается впечатление полной беспристрастности автора и как он, любезно предоставив читателю возможность самому судить о борьбе двух братьев, тем самым непрерывно поддерживает в романе высшую степень напряжения. У читателя нигде не отнимается право иметь свое суждение, ему показывают, как ведет себя в определенных ситуациях человек непорядочный и незаурядный, затем славный, но посредственный и, наконец, просто очень милый, но весьма заурядный человек; при этом право судить о них автор полностью предоставляет читателю.

И вообще, какая блестящая, достойная подражания эника этот роман о владельце Баллантра! Роковой и одновременно лишенной всякого пафоса выглядит в романе борьба обоих братьев и гибель их рода. Роман написан чрезвычайно занимательно, он полон приключений, и тем не менее в нем нет никакого ложного блеска и стремления ошеломить. В рассказе играет свою роль все: пейзаж, небо и море Шотландии, крохотная, неокрепшая колония — только что основанный Нью-Йорк. Люди и вещи очень естественно меняют свое лицо в зависимости от того, где они находятся. История двух братьев широко простирается во времени и пространстве, эпически бесконечен горизонт, прочны нити, связывающие главное с второстепенным, скрытым от глаз читателя. Глубокое знание людей позволяет Стивенсону опускать все несущественное, но все, что представляет мало-мальский интерес, в романе налицо. Это великая, достойная подражания, классическая книга, притом отнюдь не скучная.

Материал, из которого лепит художник Р.-Л. Стивенсон, — это живая плоть. В его произведениях все раз и навсегда воплотилось в образы. В книгах Стивенсона мы не только видим вот это море и вот это небо: мы пробуем на вкус, ощущаем запах людей и вещей, они реально существуют, они рядом. Каждому из его героев присущ свой язык, неповторимый, как неповторим облик человека. Но в чем, собственно, секрет его прозы, обаянию которой не могут не поддаться даже люди, весьма неохотно отдающие должное Стивенсону, из своей, как видно, романской неприязни к англосаксу. Достойное всяческих похвал немецкое издание произведений Стивенсона, осуществленное Куртом и Маргаритой Тэзинг, несмотря на некоторую небрежность, в целом очень хорошо воспроизводит ритм англичанина; по

в конечном счете даже самый совершенный перевод лишь в малой степени способен передать «букет» автора. Несмотря на это, даже в переводе бесшабашная, полнокровная картинность его письма действует столь сильно, что уже сейчас, спустя всего несколько месяцев после опубликования издательством Бухенау и Райхерт в Мюнхене полного собрания сочинений Стивенсона на немецком языке, можно обнаружить влияние манеры Стивенсона на целый ряд его молодых последователей в нашей стране. Эта лишенная всякой патетичности картинность, эта классичность в изображении романтического, эта естественная, умная достоверность, это словно само собой разумеющееся отсутствие всякой напыщенности и чопорности — лучшее доказательство прямоты и внутренней разумности содержания, идеи, вещи, человека. В этой атмосфере не могут произрасти уродство, глупость, непристойность. Дышите же воздухом его произведений, читайте Стивенсона!

«УНТЕР ГРИША»

Имя этого унтера Гриши, рожденного писателем Арнольдом Цвейгом и только что явившегося на свет божий в романе «Спор об унтере Грише» (издательство Кипенхойер, Потсдам), — имя его нам хорошо запомнится, ибо он герой первого значительного немецкого романа о войне. Более того, первого военного романа вообще. Ибо, не будем себя обманывать, все другие эпические произведения о войне, порой увлекавшие нас, не выдержали испытания временем. Начни мы сегодня читать «Огонь» Барбюса, нас захватил бы, конечно, искренний, всеиспеляющий гнев писателя. Но книга сама беспредметна, в ней нет образа живого человека, в ней присутствует только чувство, — у этого огня нет горючего. Среди всех произведений военного эпоса настоящий живой образ создан только в чешской народной книге о бравом солдате Швейке.

Но вот появился немецкий писатель Арнольд Цвейг, известный нам прежде как сочинитель превосходных новелл, как блистательный эссеист и автор шедшей на многих сценах трагедии «Ритуальное убийство в Венгрии», и первый воплотил то, что увидел и переживал на войне, в доступном всем образе Человека. Этот писатель первым создал значительный военный роман. Разумеется, писа-

тель не столь пассивен, чтобы пытаться нарисовать всю войну, написать исторический роман с битвами, штабами, со всем реквизитом героизма и пацифизма. Нет, он просто описывает гибель одного-единственного, совсем незначительного человека, крошечного атома, одного из сорока миллионов людей в солдатских шинелях. Писатель пишет историю унтера Григория Папроткина, который, не в силах терпеть дольше, бежит из германского плена, и с паспортом убитого солдата Бьюшева, раздобытым для него влюбленной женщиной, попадает в руки германской военной полиции. А тем временем командование Обер-Оста издает приказ, согласно которому любой перебежчик, не заявивший о себе в ближайшей комендатуре в течение трех суток после перехода на территорию, оккупированную германской армией, будет привлечен к суду военного трибунала и расстрелян в течение двадцати четырех часов. И так как ничего не подозревающий перебежчик Бьюшев подпадает как раз под этот приказ, его и приговаривают к смерти. Но тут осужденный кричит, что он вовсе не перебежчик Бьюшев, а беглый военнопленный Григорий Папроткин, и слова его тотчас и полностью подтверждаются. Вдобавок на сцене появляется гуманный военный судья и гуманный командующий дивизией, и возникает спор об унтере Грише, и много собак грызутся из-за этой кости. Ибо верховное командование, отчасти подчиняясь капризу командующего Обер-Остом, но прежде всего в интересах дисциплины, настаивает на том, что приговор имеет законную силу и должен быть приведен в исполнение. «Ибо,— поясняют законники,— юридическая сторона дела должна безоговорочно отступить перед военно-политической».

Но командующий дивизией, верховный судья на подвластной ему территории, этаким старым «отец солдат», начинает яростную борьбу за спасение явно невиновного Гриши. Спор разрастается и затрагивает все более широкие круги. Мы видим, как из-за пленного русского, жизнь которого в те годы значила не больше, чем жизнь вши, происходит столкновение множество сил — свет и тьма, власть и совесть. Из-за Гриши происходит встреча повелителя Обер-Оста, повелителя миллиона с лишним солдат, повелителя территории, превосходящей размерами всю Германскую империю, с гуманным командующим дивизией. Первоначально встреча кончается победой власти,

но потом, по очень личным причинам, приводит к тайному поражению всемогущего владыки, так что приказ о приведении приговора в исполнение отменяется. Нет, все-таки не отменяется. Ибо буран рвет телеграфные провода, по которым должны передать приказ об отмене приговора. Впрочем, этот же буран помогает друзьям Гриши, пытающимся организовать его побег и предпринимающим все новые и новые попытки для его спасения. Однако поздно — приговор приведен в исполнение.

Вот это-то незначительное событие из эпохи великой войны и изображает писатель Арнольд Цвейг. Он не раздувает его, он только очень осторожно прикасается словами к философской его подоплеке. Но Арнольд Цвейг — большой эпический писатель, и поэтому даже самый незначительный случай он рассматривает в больших взаимосвязях. Непрестанно подчеркивая всю малость, всю незначительность одного атома, писатель не рвет ни одной нити, связующей его с великими событиями, свершающимися вокруг. Исследуя жизнь одной клетки, он показывает организм в целом, космос — в атоме.

Замечательно, как сотни людей в этой книге живут каждый не только сам по себе, нет, они составляют собственный мир, да и вообще мир в целом. Незаурядный художественный такт не позволяет писателю увлечься только одной личностью, нет, он творчески мудро изливает свой теплый свет на всех и каждому воздает по заслугам. Все эти живые существа — самодержцы, промышленные магнаты, жители оккупированной территории, русские, евреи, господа иностранцы из Красного Креста, генералы, тыловая шушера, сестры милосердия, ординарцы, самый пестрый сброд, весь гигантский механизм войны, большие и малые лесные звери — все живут своей жизнью, и все же все они неразрывно связаны с обреченным на смерть Гришей. Какое-то почти немислимо чуткое искусство одним-единственным поворотом перемещает события из души одного в душу другого, так что дело Гриши освещается лучами, которые падают со всех сторон, а потом собираются в фокус, освещающий унтера Гришу.

Композиция романа сделана мастерски, писатель ведет свой рассказ с предельной наглядностью, порою с легким и мудрым юмором, без которого эту грустную историю трудно было бы читать. Во всех узловых моментах повествования писатель создает грандиозные, незабываемые

картины... Гриша, который, не подозревая об опасности, прогоняет своим смехом голодную рысь. Гриша, который перед тем, как ему выносят смертный приговор, шутя соревнуется в штыковом бое с немецкими караульными. Гриша, пьяный, в нелепом шутовском наряде, блюя, выворачивает перед немецкими офицерами, которые со смехом и отвращением глядят на него, глубины русской души. Гриша, вдумчиво раздающий свое добро, копающий себе могилу, шагающий на казнь, — все это никого не оставит равнодушным.

Большая по объему книга написана изысканным языком, который, не станем скрывать, порой кажется нам излишне красноречивым. У Арнольда Цвейга, одного из лучших немецких писателей, слова текут искусно, легко, иногда слишком изобильно. Его не удовлетворяет одна какая-либо картина, он присоединяет к ней вторую, а то иногда и третью, чтобы порой, отчасти на адвокатский манер, обрисовать ситуацию еще нагляднее, еще убедительнее. Если бы в некоторых местах немного подсократить, немного уплотнить книгу, контуры ее выступили бы, вероятно, еще отчетливее, она стала бы еще стройнее и крепче. Но во всех решающих эпизодах писатель достиг стройности, мощи и непосредственной образности.

Унтер Гриша, случайно втянутый в машину германской военной юстиции и германской военной политики, превращается в грандиозный символ, сохраняющий значение и за пределами его эпохи. И как каждый художественный образ, созданный подлинным творцом, он представляет собой нечто большее, чем реалистически нарисованный индивидуум, которым кажется сперва. Да, на первых порах он только русский унтер, Григорий Ильич Папроткин, награжденный Георгиевским крестом за взятие Перемышля, здоровенный парень с маленькими серыми глазами, добродушный, вспыльчивый, раб своих страстей и инстинктов, а в прочем — прирощенный солдат, счастливый супруг, которого ждет жена где-то там, далеко в Вологде, любимец женщин...

Но, возвышаясь над этим образом, Гриша воплощает собой Человека на войне, одного из тех сорока миллионов людей в солдатских шинелях, которые страдают и смиряются — бессильные игрушки в руках власть имущих. И опять-таки, возвышаясь и над этим образом, он, без всяких авторских комментариев, только в силу своей сущно-

сти и судьбы, выступает как олицетворение Бедняка, добродушного, невежественного, но исполненного инстинктивной мудрости угнетенного человека. Ибо он порожден той самой силой, которая создала народные песни и народный эпос, но еще приумноженной художественным разумом мастера и простой всепроникающей яростью потрясенного человека.

Американцы создали фильм о войне. Чех Гашек написал о войне народную книгу. Первый великий эпос о нашей войне создал немецкий эпический писатель Арпольд Цвейг.

О ВЛИЯНИИ И ОСОБЕННОСТЯХ АНГЛОСАКСОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

1

До войны среди народов белой расы безраздельно господствовала французская литература. Французские пьесы оккупировали сцену; повсюду, где только читали произведения белых людей, на первом месте были французские книги. Но со времени войны англосаксы начали понемногу теснить французов на этом поприще. Сегодня театральные репертуар уже немислим без произведений англосаксов, а их книги определяют вкус всех читающих и всех пишущих.

Французская книга в наши дни — предмет роскоши, она — для витрины, для праздника, ее место под стеклом. А послевоенное поколение не очень-то умеет обращаться с подобными предметами роскоши. Прежде чем вложить во что-нибудь свои деньги, свое участие, свою душу, оно должно тщательно проверить, как это окупится. Англосаксонская литература — предмет ежедневного потребления, и потому она пользуется любовью и спросом. В ней мало «глубины» и романтики, поэзия отпускается только в виде довеска. Главный ее элемент — факты, воплощенные и упорядоченные здравым смыслом.

Англосакс требует от своих писателей, чтобы они разбегались в реальной жизни. Его больше привлекает, когда они обращаются к экспериментам, к документальным и статистическим данным, чем к душе. Факты, информация привлекают его к книге больше, чем взгляды писателя; наглядность для него всегда важнее взгляда на вещи. Ему

пужно не безумное и вдохновенное око, а ясно судящий обо всем мозг. С недоверием относится он к поэту, который познает мир интуитивно, сидя за столиком своего кафе или глядя из окошка провинциального домика, увитого виноградом. Различие между поэтом и писателем, для нас совершенно очевидное, англосаксу чуждо. Для него writer — тот, кто пишет в прозе, а poet — тот, кто пишет в стихах. При этом он убежден, что писатель, если его ведет к тому материал, автоматически становится поэтом там, где это требуется. Распространенный у нас тип «певца лесов и лугов», который, ссылаясь на вдохновение, презирает внешнее, «физическое» правдоподобие, который лепечет нечто многозначительное, хаотическое и многообещающее, не найдет слушателей среди англосаксонской публики. Солидный фундамент, легко поддающийся проверке, — вот что завоевало книгам англосаксов мировую значимость. Поколение, сложившееся после войны, совершенно не интересуется информацией о тонких чувствах писателя Х., — такое самолюбование оно считает праздным кокетством. Оно интересуется реальными, объективно существующими взаимосвязями, жизнью и стремлениями различных классов, народов, слоев общества. Мировое значение литературы вообще зависит от того, насколько данная литература удовлетворяет сто раз осмеянным требованиям в деловитости, вещности. Полнее всего удовлетворяют этим требованиям книги англосаксов, за ними русские, затем — гораздо меньше — немецкие, и уж никак не романские.

2

Достоинства Золя и Флобера часто оспаривались, но их влияние, их мировое значение не оспариваются никем. Пока французский роман отражал реальную действительность, он господствовал над миром. Если же вы начнете читать один из хороших и признанных современных французских романов, ваше знание о мире несколько не увеличится. Вы получите подробнейшую информацию обо всех оттенках настроения, в котором находился герой в определенный час определенного дня. Например, из первого абзаца одного очень восхваляемого французского романа наших дней вы узнаете, что герой, сидя в кафе, наблюдал, как ночь расцветает подобно лилии.

В противоположность этому, в любой из получивших популярность англосаксонских книг вы получите не «цветочные», а абсолютно точные образы. Автор даст вам описание какого-нибудь широкого общественного слоя — его характера, влияния, образа жизни. И вы получите материал, который можно легко проверить. Шоу, Беннет, Голсуорси лучше расскажут вам о современных англичанах, чем целые библиотеки трудов ученых и эссеистов. Если вы прочтете романы Синклера Льюиса, вы узнаете об американском враче, американском священнике, американском среднем гражданине больше, чем если изучите огромное количество социологических и специальных журналов. Англосаксонский писатель часто платит за свою объективность крайне неприятной для нас трезвостью. Но зато он достигает ясности, которая ценится сегодня во всем мире. Он вас не надувает, его добросовестность можно проверить в любую минуту.

Возьмем в качестве примера книгу, вызвавшую много споров, «Жизнь Вильяма Клиссольда» Герберта Уэллса. Уэллс дает здесь объективную картину мира, каким он представляется трезвому, разумному англосаксу. Когда вы прочтете все восемьсот пятьдесят страниц, у вас появится чувство, будто вы, обучаясь вождению автомобиля, только что прошли курс под руководством опытного, в совершенстве владеющего материалом, техникой и механикой шофера, вы ощущаете доверие, обретаете чувство абсолютной безопасности. Уэллс не упускает ни одной детали. Вам придется прочесть немало поверхностного, придется преодолеть сложные, извилистые пути, иногда ведущие к очень жалкой цели, но никогда субъективное представление о мире автора, Герберта Уэллса, не будет выдаваться за нечто общеобязательное. Напротив, вы получите представление о внутренней сущности и судьбе человека по имени Клиссольд (именно его картина мира и дается в романе) таким образом, что сможете сами проверить, насколько воззрения этого человека обусловлены его индивидуальным характером и судьбой. Обычно вам предлагают более или менее красивые идеи, но не показывают их реального фундамента; здесь же самым трезвым и деловым образом на ваших глазах возводится все здание. Социальная и биологическая почва, затем самое здание — жизненный путь, судьба человека, и наверху, над всем — идеологическая надстройка. На ваших глазах

все это по-ремесленному грубовато сбивается, подгоняется и скрепляется цементом.

В современной англосаксонской литературе немало подобных произведений. Именно это свойство, которое я попытался вам здесь образно представить, — то, что англосаксонская литература пасквозь пронизана реальной действительностью, — это свойство и обеспечивает ей то же растущее вширь влияние, какого достигли и англосаксонская политика, и англосаксонская экономика.

3

Английский писатель играет в обществе и в жизни своей страны совершенно иную роль, нежели немецкий писатель. Немецкое общество постоянно призывает своего писателя к порядку, непрерывно кричит ему: «Писатель, знай свое место!» Причем под его местом оно понимает его душу. Если же немецкий писатель выберет материал из действительности, из современности, критика сразу же отступает в область эстетики, кричит о нездоровой сенсационности, о погоне за эффектами, объявляет обращение поэта к актуальным проблемам «журналистским», лишенным поэзии и примитивным.

Но именно примитивный здравый смысл обеспечивает англосаксонскому писателю его значимость. Когда англичане спрашивают меня, кого из ныне живущих английских писателей я считаю самым великим, я всегда называю имя одного воинственного империалистического поэта, которого, как я полагаю, назвали бы большинство немецких писателей. Но из десяти спрашивающих англичан девять изумленно восклицают: «Как вы можете считать этого человека нашим величайшим писателем! Он же ни о чем не способен судить здраво, он же глуп!» Никому не приходит в голову усомниться в творческой силе этого человека; но они не признают его из-за неумения разобратся в фактах, относятся к нему с той же неприязнью, с какой, например, Гете относился когда-то к поэту Генриху фон Клейсту, не признавая его за неумение воссоздать физическую действительность.

С другой стороны, именно эта обязательная предпосылка — владение незаурядным интеллектом — делает крупного английского писателя в глазах своего народа

не только большим художником, но и большим человеком. В одном лондонском кабинете восковых фигур рядом с летчиком Ч. Линдбергом стоит писатель Г.-Дж. Уэллс. Я смутно подозреваю, что в мюнхенском кабинете восковых фигур едва ли потерпели бы изображение Томаса Манна рядом с восковой куклой Гитлера.

В послевоенной Германии необыкновенно много говорят о деловитости. Берлин похвастается, что он самый американский город во всей Европе. В литературе «деловитость» быстро сделалась бранным словом, при помощи которого дешевое эстетство вчерашнего дня обороняется от живых веяний сегодняшнего дня. Было бы гораздо полезнее изучить, почему англосаксонская литература имеет сейчас такое сильное влияние в мире, вместо того чтобы бессмысленно нападать на это влияние. Ведь, по словам одного не лишнего деловитости немецкого поэта, воодушевление никак нельзя засаливать вином, факты же поддаются длительному хранению.

КАК Я НАПИСАЛ СВОЕ ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Рано освоившись с иностранными языками, овладев всеми ухищрениями литературных игр, я еще в очень юном возрасте приобрел формальное мастерство, удивлявшее моих наставников и моих сверстников. Мне было лет двенадцать, когда один старший мальчик, слышавший скупым на слова, туповатым и замкнутым, с завистью заявил мне, что все, чем я занимаюсь, — дерьмо. Какая-нибудь корявая фраза о самом маленьком, но подлинном событии, любая насмешка над учителем, хороший или плохой результат при заплыве — во всем этом в сто раз больше смысла, чем в любых моих распрекрасных немецких и латинских виршах. Мы сидели тогда в купальне, дело было ранней весной, я посинел от холода и еще прежде, чем он кончил, знал, что он прав.

Я противился искушению считать событием все, что случалось вокруг. Подлинное событие, когда оно вскоре произошло, оказалось совсем иным, чем я ожидал. В нем не было ничего патетического, оно не вызвало никаких больших чувств. Скорее оно оказалось неприятным, тягостным, даже каким-то жалким. Дело было так. Принц-регенту Баварии исполнилось, кажется, семьдесят или

восемьдесят лет, и в гимназии, в которую я ходил, решили устроить торжество по поводу тезоименитства. Мне поручили написать текст праздничного представления. Я написал. Мне было тогда тринадцать лет. У меня была легкая рука, получилась отличная аллегорическая пьеса. Бюст регента должен был стоять в центре; ученики гимназии обступали его и декламировали по очереди, выдавая себя за архитектуру, поэзию и так далее и споря между собой, какое искусство предпочитает регент, а потом обращались к бюсту со всяческими стансами. Пьеса чрезвычайно всем понравилась, газеты сообщали о ней серьезно и с величайшим одобрением, а ректор гимназии передал мне от лица регента награду — булавку для галстука или что-то в этом роде. Пьесу даже напечатали в журнале, и я получил настоящий гонорар. Я хорошо помню, как стоял в комнате ректора. Это был приземистый человек с головой аптека, блестящий знаток древнегреческого, пользовавшийся всеобщим уважением и получивший за особые заслуги дворянский титул; у него был небольшой горб, но держался он весьма чинно, необыкновенно подтянуто. Он всегда ассоциировался у меня с Фридрихом, наш ректор. Когда этот старик передал мне награду регента, прокаркав при этом несколько — безусловно, вполне искренних — слов одобрения, мне стало смешно и стыдно, — стыдно за него и за себя. А школьник, который сказал мне те слова о подлинном событии, к этому времени застрелился, потому что его оставили на второй год.

Противоположность между воздвигнутым мною гипсовым бюстом регента, в который все притворно поверили, и действительным, хорошо знакомым всем образом монарха, мелочного, эгоистичного, расчетливого, хотя и добродушного по-своему старика, — эта противоположность между официальной правдой и действительностью сделалась предметом моего первого, основанного на подлинном переживании произведения. Я написал маленькую пьесу, в которой изобразил крайне неприятные переживания молодого человека, одержимого навязчивой идеей говорить правду. Так как он непрерывно говорит ее богу, семье, коллегам, любовнице, начальству, он, естественно, в конце концов погибает, как жалкий пес. Пьеса была в стихах. Я каждое утро вставал спозаранку и писал ее до того, как идти в школу. Закончить ее было чертовски трудно, и, когда она была готова, она мне не очень понравилась.

В то время как праздничное действо с гипсовым бюстом еще долго пользовалось славой, эту пьесу я не показал ни единой душе. Те мои красивые стихи были аккуратно переписаны в толстые общие тетради в блестящих черных переплетах; а эта пьеса была нацарапана в маленькой записной книжке с жалкой голубой бумажной обложкой.

О БЕРТОЛЬТЕ БРЕХТЕ

Для англичан

1

На рубеже 1918—1919 годов, вскоре после начала так называемой германской революции, в мою мюнхенскую квартиру явился очень молодой человек, худощавый, плохо выбритый, бедно одетый. Он жался к стенке, разговаривал на швабском диалекте, написал пьесу, звали его Бертольтом Брехтом. Пьеса называлась «Спартак». В противоположность большинству юных авторов, которые вручают свою рукопись, бия себя в грудь, из коей они только что вырвали свое произведение, этот молодой человек подчеркивал, что он сочинил пьесу «Спартак» исключительно из финансовых соображений. В те времена в немецкой драматургии был чрезвычайно моден экспрессионизм, и наши юные драматурги извлекали из своей истерзанной груди длиннейшие патетические монологи, громогласно заверяя, что социальные установления несовершенны, человек же как таковой, по сути дела, добр. В рукописи девятнадцатилетнего Бертольта Брехта ничего подобного не было. Скорее всего это была набросанная резкими мазками драматическая баллада о некоем солдате, возвращающемся после войны домой, находящем свою девушку забеременевшей от другого, изгоняемом ее зажиточными родителями, призывающем рабочих к революции в пивных и в голодных предместьях, возглавляющем их и штурмующем вместе с ними редакции газет. С этого момента рукопись как бы расщеплялась: имелось несколько вариантов. В одном из них, наиболее характерном, все оборачивалось таким образом, что девушка в разгаре борьбы приходит к своему солдату и что он, заполучив девушку, предоставляет революции идти своим ходом, забирает свою невесту, хотя и не лишнюю изъяна, и испаряется.

Он сыт теперь, а революция — это штука для голодных, и он возвращается теперь домой, где уже приготовлено широкое белоснежное ложе. Все это было в рукописи «Спартака», изложенное весьма нелитературно. Язык персонажей не подчинялся нынешней моде — дикий, крепкий, красочный, он не был вычитан из книг, а был подслушан непосредственно из уст народа. Я прочел тогда эту пьесу-балладу и позвонил небрежно одетому юноше: зачем он мне солгал, — конечно же, эта пьеса написана не только из-за денег! В ответ на это юный автор чрезвычайно рассердился, — речь его стала почти невразумительной из-за диалекта, — и объявил: конечно же, он накатал эту пьесу только из-за денег; но у него есть еще одна, вот она действительно хороша, и он мне ее принесет. Он привес мне и вторую пьесу, она называлась «Ваал», но в ней не было ни слова об одноименном божестве, — это оказалась еще более дикая, неотделанная и прелестная вещь.

Что же касается той рукописи «Спартака», то она доставила мне пренеприятнейшее переживание. Весной того года в Мюнхене была провозглашена Советская республика. Она просуществовала очень недолго, затем город был снова занят белыми. У подозрительных интеллигентов начались обыски. Солдаты с револьверами и гранатами вломились в мою квартиру, велели мне отпереть ящики письменного стола, и первое, что попало им на глаза, была рукопись, озаглавленная «Спартак». В ту эпоху в Мюнхене не всегда деликатно обходились с отдельными лицами: пули в стволах не задерживались, число убитых превышало несколько сотен. История с рукописью «Спартака» легко могла окончиться для меня весьма печально, если бы среди солдат не оказалось нескольких дюссельдорфских студентов, знавших мои пьесы и книги, так что я смог растолковать им, что сей «Спартак» не имеет никакого отношения к агитационной литературе.

Кстати, позднее, добившись постановки «Спартака», я убедил Брехта назвать пьесу «Барабанный бой в ночи».

2

Поэт Бертольт Брехт, появившийся на свет в 1898 году в небольшом городе Аугсбурге, совершенно не похож на немца. У него длинный, узкий череп с сильно выдающимися скулами, глубоко посаженные глаза, черные волосы,

закрывающие лоб. И манеры у него подчеркнута интернациональные, и по внешности его можно принять за испанца, или за еврея, или за то и другое вместе. Тем не менее этот потомок немецких крестьян лютеранского вероисповедания, отчаянно ненавидимый германскими националистами, настолько немец в своем творчестве, что его невероятно трудно сделать понятным вне пределов Германии. Для него важнее процесс работы, чем завершленное произведение, важнее проблема, чем ее разрешение, важнее путь, чем цель. Он бесконечно перерабатывает свои создания, двадцать, тридцать раз, для каждой незначительной провинциальной постановки — сызнава. Ему нет никакого дела до того, что вещь готова: вновь и вновь, хотя бы пьеса была уже десять раз напечатана, он объявляет последний вариант — предпоследним и тем повергает в отчаяние издателей и театральных директоров. Стоит только обратить его внимание на какую-либо внутреннюю неточность, как он, не колеблясь, отвергает плоды целого года работы; но он ни минуты не тратит на то, чтобы устранить из корректуры грубую ошибку по части внешнего правдоподобия. Это он предоставляет сделать режиссеру, или своей секретарше, или господину Х. Ибо внутренняя кривая поведения его персонажей для него важнее, нежели внешняя кривая сценического действия. Таким образом, во внешнем действии его пьес часто обнаруживается грубейшее неправдоподобие. Все внешние элементы скомпонованы настолько небрежно, что недостаток взаимосвязи и логики в них отталкивает многих слушателей. Бертольт Брехт стремится к классичности, то есть к строжайшей объективности. Однако из-за недостатка внешней достоверности он действует как типичный романтик, и во всех его творениях есть нечто фрагментарное.

Он не страшится никакой резкости, ни даже самого что ни на есть откровенного реализма. Он — это поразительная смесь нежности и бесшабашности, неуклюжести и элегантности, взбалмошности и логичности, безудержной крикотни и тончайшей музыкальности. Он действует на многих отталкивающе, однако тот, кто однажды уловил его топальность, с трудом ускользает из его пут. Он неприятен и привлекателен, весьма неважный писатель и великий поэт, и среди немцев младшего поколения он, несомненно, тот, в ком более всего признаков гениальности.

Бертольт Брехт совершил открытие, он называет его эпической драмой. Он очень сердится, когда это открытие объясняют отсутствием у него конструктивного чутья. Открытие состоит в том, что он избегает всякой напряженности драматического действия и любую антитезу, введенную лишь для того, чтобы это напряжение создать, любое нарочитое, целесообразное построение считает нехудожественным. Более того, брехтовская эпическая драма, в отличие от французского театра, не дает никакой пищи для любопытства, излагая с места в карьер в наивной и четкой форме ход последующих событий. По Брехту, вся суть заключается в том, чтобы зритель больше не обращал внимания на «что», а только на «как». Далее, по Брехту, необходимо следить за тем, чтобы зритель, боже упаси, не расчувствовался. Паразитический интерес к судьбе и жизни ближнего должен быть, по Брехту, изгнан из помыслов зрителей. Согласно Брехту, все дело в том, чтобы человек в зрительном зале лишь созерцал события на сцене, стремясь как можно больше узнать и услышать. Зритель должен наблюдать за течением жизни, извлечь из наблюдения соответствующие выводы, отклонить их или согласиться, — он должен заинтересоваться, но, боже упаси, только не расчувствоваться. Он должен рассматривать механизм событий точно так же, как механизм автомашины. Совершенно необязательно также, чтобы зритель смотрел всю пьесу до конца. Поскольку он с самого начала поставлен в известность об отдельных фазах спектакля, он может определить, желает ли он увидеть, как ведет себя герой в той или иной трудной или любопытной ситуации, как он борется, как он преобразается или преобразает других, как он относится к массе, растворяясь в ней или же противопоставляя себя ей, как он плывет по течению или против течения, как он гибнет.

По всей вероятности, исходной точкой Брехта является баллада. Он опубликовал собрание баллад, озаглавленное «Домашние проповеди»; это истории малых, а порой и

великих жизней, изложенные в первозданной, народной форме,— дикие, грубые, набожные, циничные. Многие люди впервые показаны в этих стихотворениях, многие чувства впервые высказаны. По-видимому, нелегко передать музыку этих стихов на чужом языке, но я полагаю, что сущность этих поэм доступна не одним только немцам, и я не скрываю своей убежденности в том, что, наряду с Кипплингом, Брехт является первым создателем баллад среди наших современников.

Из пьес Брехта наиболее понятной широкому кругу зрителей является, видимо, комедия «Что тот солдат, что этот». Она повествует о превращении грузчика Гэли Гэя в солдата индийской армии. Пулеметный расчет индийского полка потерял четвертого солдата, четвертый номер расчета, при совершении кражи со взломом; солдаты должны, чтобы их участие в краже не было обнаружено, при любых обстоятельствах раздобыть недостающий четвертый номер расчета. Для этой цели три солдата превращают безобидного Гэли Гэя, человека, который не в силах сказать «нет», в Джерайу Джипа, солдата индийской армии. Они разбирают и уничтожают внутреннюю индивидуальность Гэли Гэя и делают его настолько стандартизованным, что он в конце концов перестает быть грузчиком Гэли Гэем, а всецело превращается в солдата Джерайу Джипа и посылает ко всем чертям неожиданно и запоздало вынырнувшего подлинного Джерайу Джипа. Внешние предпосылки этой басни совершенно фантастичны: город Килькоа, в котором происходит действие, явно вымышлен уроженцем Аугсбурга, солдаты самым ребяческим образом украдены у Кипплинга, а в середине действия вставлен крайне нелепый фарс об искусственном слоне. Нигде нет ни следа внешнего правдоподобия, любая иллюзия разрушается грубейшим образом. Но внутренняя логика преобразования этого человека, Гэли Гэя, действует захватывающе, и когда живой Гэли Гэй держит речь над гробом мертвого Гэли Гэя, то этой сцене не найдется равных в пьесах современных авторов, во всяком случае, я не знаю ни одной, которая могла бы сравниться с ней по искусству воплощения основной идеи и по тому, как великолепно — настоящее открытие — сочетаются в ней гротеск и трагизм.

Поэт Бертольт Брехт до сих пор еще не оценен в Германии по заслугам. Только народные театры и некоторые большие, склонные к экспериментам, провинциальные труппы играют его пьесы, и он — любимая тема для разговоров в литературных кругах. Не так легко вчитаться в него; и перевести его, без сомнения, чрезвычайно трудно. Но, я полагаю, труды окупятся сторицей.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ МОИХ АНГЛОСАКСОНСКИХ ПЬЕС

1

Не ждите, пожалуйста, от этих пьес исторических либо политико-экономических поучений. Многие люди, возможно, надеявшиеся по «Нефтяным островам» составить ясную картину развития отношений между «Стандарт ойл компани» и Советами, а в «Гастингсе» найти четкое изображение английской политики в Индии в восемнадцатом веке, были глубоко разочарованы спектаклями и самими пьесами. Благожелательно настроенные читатели присылали мне брошюры и статьи об отношении России к нефтяным компаниям или, к примеру, эссе Маколея об Уоррене Гастингсе, дабы я в следующих изданиях и постановках избежал анахронизмов. Как видно по этому изданию, я не воспользовался их советами, и рекомендую вам, если вы хотите узнать что-либо конкретное о нефтяном рынке или об Уоррене Гастингсе, обратиться к другим источникам.

2

Забудьте, пожалуйста, впечатление от чтения пьесы, если вам довелось увидеть ее на сцене. Многие прекрасные режиссеры поставили обе пьесы, в которых играл целый ряд прекрасных исполнителей. К сожалению, большинство режиссеров имело свою трактовку пьесы, причем некоторые из них еще до того, как прочитали ее. В результате таких трактовок часто получались довольно любопытные вещи: пьесы оказывались символическим изображе-

нием определенного мировоззрения, определенных мнений об Америке, империализме, а также о некоторых социальных вопросах. И только от самих пьес, которые преследовали скромную цель передать мысль автора, уже ничего не оставалось из-за этой предвзятой трактовки.

3

Я мог бы сначала познакомить вас, англосаксонский читатель, с моими пьесами, которые легче сыграть средствами нашего рассудочного, построженного на странных условностях театра. К примеру, мои «Три немецкие пьесы». Но я откладываю это на более поздний срок, ибо для меня крайне важно бескомпромиссно показать вам пьесы, относящиеся к вашему последнему пятилетию.

К сожалению, пьеса обычно бывает окончательно готова, лишь когда она уже поставлена. А в наше время, когда нелегко договориться и с одним-единственным человеком о самых элементарных вещах, очень трудно проникнуть к зрителю, да еще окольными путями, когда тебе приходится прибегать к помощи тридцати или сорока человек. Пьеса «Уоррен Гастингс» двенадцать лет тому назад при постановке в Германии не была понята и провалилась. Недавно она имела успех и не была понята. Пьеса «Нефтяные острова» недавно в Германии не была понята и имела успех. Тот, кто сегодня смотрит эти пьесы, как мне кажется, получает для их понимания не больше, чем тот, кто, желая лучше понять полотно Поттера, изображающее быка, съедает хорошо приготовленный рамптекс в первом классе ресторана.

Поставьте, пожалуйста, для одного себя обе пьесы на домашней сцене. Тогда у меня появится возможность объясняться лишь с одним человеком вместо пятидесяти.

ФРЭНСИС БЭКОН

Опыт краткой биографии

Фрэнсис Бэкон был современником королевы Елизаветы Английской, Филиппа II Испанского, астронома Галилея, а также писателя Вильяма Шекспира. Двадцатипятилетний помощник адвоката, в меморандуме на имя

королевы он потребовал казни Марии Стюарт и суровых мер против католиков; на шестьдесят первом году своей жизни, будучи лордом-канцлером Великобритании, он потерял должности и титулы и умер, простудившись во время опыта, когда пытался законсервировать только что убитую курицу, охлаждая ее. Он был величайшим писателем своей эпохи. Его биография и его произведения чрезвычайно интересовали его современников и многих людей последующих поколений. О нем писали, в частности, Бен Джонсон, Маколей, философ Куно Фишер и изобретатель весьма популярного мясного экстракта, Юстус фон Либих. Многие превозносили его до небес, некоторые утверждали, что он и Шекспир — одно лицо, иные — втапывали в грязь. Поняли его немногие.

Он родился в Лондоне, в семье важного британского судейского чиновника, за три года до смерти Микеланджело и рождения Вильяма Шекспира, через год после того, как впервые ввезены были курительный табак и трубка. Слабосильный, избегающий физических упражнений, не по годам развитой восьмилетний ребенок, беззащитно практичный в своих отношениях с близкими ему людьми, он на вопрос королевы о его возрасте ответил: «Я, ваше величество, на два года младше, чем ваше благословенное царствование». Убежденный в бесполезности того, чему его учили, не веря своим наставникам, он оказывал им глубокое почтение и был примерным учеником. Его мать, плаксивый синий чулок, издала «Апологию церкви»; молодой Бэкон больше интересовался реалистичными политическими наставлениями итальянского писателя Макиавелли, трудно постижимыми причинами возникновения эха и научным анализом искусства фокусников.

Материальное положение молодого человека после смерти отца оказывается очень стесненным. Юноша хочет, подобно своему отцу, избрать карьеру политического деятеля. В его выдающихся политических дарованиях убеждены все вокруг, за исключением, к сожалению, того, от кого все зависит, — его дяди, лорда Берли, первого человека в государстве. Лорд полагает, что его племянник — «теоретик», неспособный к политической деятельности. Молодому Фрэнсису ничего иного не остается, как, вздохнув, согласиться на скучную и долгую карьеру частного адвоката.

Между делом он разрабатывает литературные планы. У него возникает большая, очень смелая идея, счастливая мысль, способная совершить переворот в науке его времени. Он хочет доказать, что науками разумнее заниматься не ради них самих, а ради практических целей. Если до сих пор под аплодисменты двух тысячелетий профессора высмеивали тех, кто старался использовать свою ученость для практических целей, то теперь этот юный вольнодумец требует от науки практических методов, прогресса, «пользы и света», изобретений. Профессора его эпохи видели смысл всякого учения в том, чтобы открыть человеку абстрактную, вечную истину; этот молодой писатель осмеливается объявить пустой болтовней все науки, не приносящие людям практической пользы или удобств. С неумолимой логикой он высмеивает и разрушает подоплеку учений всех известных в его век философов. Школьная премудрость его времени, с презрением глядя сверху вниз на всякую механику, занимается хитроумнейшими исследованиями, дабы установить границы между добром и злом; этот вольнодумный малый возвеличивает естественные науки и первым в мире прославляет машину. Учение о государстве, разработанное современными ему научными авторитетами, видело цель и задачи законов в добродетели, счастье государства — в господстве философии; молодой нахал Фрэнсис Бэкон видит цель законопослушательства прежде всего в благосостоянии граждан, «самое главное» для него — не философия и не добродетель, он трезво провозглашает: «В наши дни и прежде всего в Европе самое главное — это владычество над морями, каким обладаем мы, британцы. Ибо, во-первых, большинство государств Европы имеют морские границы и, во-вторых, богатства обеих Индий достанутся той державе, которая будет господствовать над морями».

Совокупность всех идей складывается у молодого человека в большую цельную систему. Он уверен в гениальности «нового метода»; однако свой титанический труд, свою систему, это «великое обновление науки» и «величайшее создание своего времени», он не желает создавать в нищенской чердачной каморке. Он не из числа философов с мансарды, это — тоже один из элементов его метода. Ему нужны деньги, власть. До тех пор, пока их у него нет, большая научная работа должна подождать.

Ей приходится очень долго ждать. Ибо, несмотря на дарование и упорный труд молодого адвоката, дела у него ни в юриспруденции, ни в политике пока не клеятся. Правда, он член парламента и слывет отличным оратором. Однако это не дает больших доходов, а молодой человек любит комфорт, изысканную кухню и жизнь на широкую ногу. Ливреи его многочисленной челяди шиты из очень хорошей ткани: он не выносит запаха скверной одежды. Сам некрасивый, невзрачный, он окружает себя привлекательными, миловидными пажами. Долги растут. К тому же он позволяет себе в палате непростительную глупость: произносит мужественную демократическую речь. Требуется отказаться от особого налога, на введении которого настаивает королева, хотя понимает, что неминуемым следствием этого выступления будет ее немилость. Королева демонстративно отворачивается от него, дела Бэкона идут все хуже. Доходит до того, что по настоянию одного нетерпеливого кредитора его арестовывают прямо на улице.

В это время при дворе Елизаветы восходит новая звезда, появляется блестящий военный, завоевавший расположение королевы: граф Эссекс. Бэкон тотчас же тесно сходит с юным фаворитом. Оба они, Эссекс и Бэкон, совершенно разные люди: Эссекс — человек порыва, блестящий офицер, рожденный быть героем, личность необыкновенная и ослепительная; Бэкон — певидный, весьма некрасивый, штатский до мозга костей — в высшей степени негероичен. Бэкон обдумывает планы до мельчайших подробностей, затем упорно и достаточно гибко им следует; Эссекс же действует по мгновенной прихоти, он стремителен в решениях, склонен к колебаниям и истеричен, когда нужно решения выполнить. Бэкон — страстный книжник, избегающий малейшего физического напряжения. Эссекс — настоящий спортсмен, совершенно лишенный духовного начала, военный с головы до ног.

Удивительно, что, несмотря на свою духовную бедность, этот офицер, по существу, оказался первым, кто понял все величие Фрэнсиса Бэкона. Он поддерживает Бэкона материально, со всей горячностью своего сангвинического темперамента он вступает за одаренного адвоката, помогает ему наконец получить желанное место. Пренебрегая гневом королевы, вновь и вновь отстаивает своего друга, неизменно вызывающего в нем восхищение. Тот же, в свою очередь, поддерживает своим острым, жи-

вым умом этого баловня судьбы, одаренного всеми жизненными благами и обделенного разумом.

Сначала все идет хорошо. Молодой генерал, на тридцать четыре года моложе Елизаветы, на шесть лет моложе Бэкона, все более и более покоряет сердце старой умной королевы. Его звезда сияет высоко. Он становится командующим кавалерии, членом государственного совета, фельдцейхмейстером в войне против Испании. Ему удается взять город Кадикс. Правда, строго говоря, победителем на этот раз был не он, а адмирал Уолтер Рэлей, но поскольку Эссекс в этой операции показал все свое благородство, в особенности потому, что он уберег три тысячи монахинь от бесчинств и насилия своих солдат, толпа с безудержным восхищением признала его победителем.

Ослепленный этим безграничным обожанием, безрассудный герой хоть и продолжает внимательно слушать советы своего умного друга Бэкона, однако не следует им, а иногда и поступает им вопреки. Дело доходит до того, что, по своей неспособности провалив экспедицию против мятежной Ирландии, он наконец впадает в немилость. Негодуя на себя, разбитый генерал пишет королеве одно за другим галантные, в высшей степени преданные письма, и одновременно другие, в которых домогается продления своей вишней монополии. Монополию ему не дают, он всячески поносит королеву, называет ее «старым взбалмошным скелетом». Предпринимает безрассудный путч, по существу лишь демонстрацию, с самого начала обреченную на провал. Его арестовывают, предают суду по обвинению в государственной измене.

Бэкон, как королевский поверенный в делах, должен выступить против него. Это неприятно. До сих пор Эссекс был единственным, кто бескорыстно и беззаветно поддерживал Фрэнсиса. Однако, если Бэкон откажется выступить с обвинением, это сделает другой, и Эссекс все равно погибнет. Бэкон принимает поручение; больше того, учтивый, холодный как лед, он становится самым опасным противником неразумного генерала. Его отточенная логика помогает ему доказать, что тот путч, который обвиняемый хочет представить безобидной демонстрацией, на самом деле был обдуманным, точно рассчитанным актом государственной измены. 19 февраля Эссекса приговаривают к смертной казни, и уже 25-го «старый взбалмошный скелет» утверждает приговор.

Мы не знаем, присутствовал ли Бэкон на казни, которую Эссекс, впрочем, встретил весьма мужественно. Известно, однако, что в соответствии с пожеланием правительства, которое хотело успокоить недовольное общественное мнение, он пишет и публикует блистающее логикой «Описание интриг и предательств, свершенных Робертом, бывшим графом Эссекс». В этой брошюре автор трактата «Дружба» на основании документов доказывает, что его друг Эссекс совершил великое, заслуживающее смертной казни преступление, что он был коварным предателем. За эту брошюру автор получает из личных сумм королевы тысячу двести фунтов.

Он не понимал, почему некоторые сочли его поведение не вполне «*fair*»¹, и чувствовал, что следует оправдаться. Аргументы этого «Оправдания» разительны. Он всегда давал этому неумному офицеру советы, безупречные с точки зрения политики и права. Разве его вина в том, что неразумный человек сам себя губит? Должен ли он, Бэкон, наживать себе неприятности с королевой, плохо выполняя свои обязанности королевского поверенного? И если ему, как лучше всех осведомленному в этом деле, предлагается описать случившееся, должен ли он, живой Бэкон, писатель Бэкон, плохо выполнить эту работу ради мертвого Эссекса?

Впрочем, после дела Эссекса, в котором Бэкон вел себя отнюдь не сентиментально, его положение улучшается. Елизавета умирает. Он тотчас же старается приноровиться к новому королю Иакову Стюарту, льстит ему в обычной раболепной манере. Приспособиться к веяниям времени, опираться лишь на факты — это стало его философским принципом. Истина — дочь времени, учит он. Никто лучше него не смог разглядеть пустую лжеученость и духовную нищету нового короля. Однако в письмах — даже к доверенным лицам — он самым серьезным образом прославляет невероятные способности короля, да, он цинически портит свое основное произведение, выставляя в нем этого слабовольного, неспособного монарха как пример государя, глубокие и систематические знания которого способствуют процветанию страны и народа.

Теперь следуют годы удачи, внешнего и внутреннего успеха. Его несентиментальность, его позитивный скепти-

¹ Порядочным (англ.).

цизм, его циническое презрение к чести, человеческому достоинству, к посмертной славе, его возведенный в принцип безграничный сервизм — все это приносит свои плоды. При короле Иакове Бэкон начинает делать карьеру. Сорока шесть лет от роду он добивается наконец, благодаря посредничеству духовно убогого фаворита Букингэма, своей первой государственной должности. Он пишет, несомненно, в силу внешних обстоятельств, для этого фаворита Букингэма памятку, в которой обсуждает с научной точки зрения природу, сущность, смысл, обязанности фаворита. Правда, он пишет также, движимый, несомненно, внутренними побуждениями, хвалебное рассуждение о «счастливом правлении королевы Елизаветы», которая все время держала его в тени и о которой при дворе короля Иакова не принято было говорить хорошо. Больше того, в своем завещании он настойчиво требует, чтобы издано было именно это сочинение. Философ Бэкон, по-видимому, иногда чувствовал настоятельную потребность высказать правду.

Непрерывно лстя фавориту, он взбирается все выше и выше по служебной лестнице, становится лордом-хранителем печати, канцлером империи. В эти годы, тяжелые для страны, управляя делами государства, не без основания претендующего на мировое господство, он заканчивает шестидесяти лет от роду «*Novum organon*», «Новый органон», свое великое произведение, в котором принципы, открытые им сорок лет назад, развиты в гениальную систему. Он разрушает старые методы науки. Совершает переворот в философии. Пускает в ход против поблекшей, высокомерной метафизики — цивилизацию, против пустой, формалистической логики — здравый смысл. Закладывает научный фундамент тех качеств, которые принесут англосаксам мировое господство. Он провозглашает: знание — это могущество. Впервые объединяет прогресс, медицину и объективность в некую единую картину мира.

Недолго балует судьба канцлера империи Фрэнсиса. Против него возбуждается политически тенденциозный государственный процесс, процесс чудовищного масштаба. Бэкон, как гласит обвинение, принимал, будучи судьей, денежные подарки, взятки. Он, действительно, их брал. Но в те времена это было обычным явлением, и как раз он в этом вопросе действовал безупречно, брал лишь после вынесения приговора. Он мог себя без труда защитить.

Но он был политиком-реалистом, он понимал, что палата лордов, нападая на него, хотела поразить короля и всю систему управления, и поэтому сразу же уступил просьбе трясущегося от страха монарха, молившего его ради всего святого не защищаться, дабы дело ограничилось только им, Бэконом. Тот повел себя в соответствии с советом своего великого современника Монтеня, который обвиняемому по одному политическому процессу порекомендовал, в случае, если тому скажут, что он сунул себе в карман Лувр, немедленно удирать. И вот Фрэнсис Бэкон, барон Веруламский, виконт Сент-Албан, лорд-канцлер Англии, признанный первый писатель своего времени, с великодушным презрением к общественному мнению, к своей чести, к славе среди потомков устно и письменно признает, что он виновен, он признает это от чистого сердца и просит высокочтимых лордов быть милосердными к человеку, сломленному судьбой. Затем он сказывается больным. Его приговорили к огромному денежному штрафу, к отрешению от всех должностей, к лишению всех титулов и к тюремному заключению в Тауэр на срок, который пожелает определить король Иаков.

Король Иаков пожелал определить срок в два дня. И приложил все усилия к тому, чтобы, в соответствии с обещанием, возможно быстрее реабилитировать Бэкона. Вновь призвал его в палату лордов, назначил пенсию в тысячу двести фунтов. Неутомимый Бэкон, парализованный политически, заполнил вынужденный досуг страстной, многогранной, блистательной литературной деятельностью. Большинство произведений созданы им в эти немногие годы после падения. Эти творения и сделали его первым из англосаксонских писателей, книги которых преобразовали мир.

До конца своих дней он оставался верным своему позитивному скепсису, глухим к высокопарным словам — хотя и употреблял их без зазрения совести, когда они сулили ему выгоду, — абсолютно несентиментальным, немстительным, лишенным чувства собственного достоинства, зато наделенным любовью к роскоши и комфорту и редкой жизненной энергией, склонным к сервилизму, величественно равнодушным к своей славе и к своему месту в истории. К своему счастью, он, отбросив все предрассудки, до конца свел нравственность к социологии, воспитанию и медицине. Он обладал прекрасными манерами, был неизмеримо

щедр, далек от мелочности, очень остро чувствовал искусство, мыслил реалистично и не чтит авторитетов.

Он умер от гриппа, который подхватил, когда, исследуя действие холода, пытался набить курицу снегом. В своем последнем письме он сравнил себя с Плинием Старшим, который также сократил себе жизнь естественно-научными исследованиями. Он сравнивал себя с ученым древних времен, ибо в 1626 году еще не мог знать, при всех своих познаниях, что именно он первый стал формировать картину мира двадцатого столетия.

МОИ РОМАН «УСПЕХ»

Я — современный немецкий романист и не стремлюсь создать образ какого-нибудь одного героя или одной героини. Я выбрал для этого романа группы характеров, а не отдельные индивидуальности. Восемь персонажей, образующих первую группу, если хотите, немного существеннее остальных, затем идут тридцать образов, почти не уступающих первым по важности, а за ними следуют еще сто, хоть и незначительных, но придающих всему произведению ту полноту жизни, которую я и хотел передать. За ними — восемью, тридцатью и стами — стоит огромная масса: народ Баварии.

Бавария и есть подлинный герой моего романа. Здесь — центр конфликта: Бавария — аграрная провинция большого индустриального государства, противоречия возникают здесь в основном между городом и деревней. В результате действия непреложных экономических законов, благодаря развитию современных транспортных средств и мирового рынка баварские крестьяне оказываются втянутыми в конкурентную борьбу с поставщиками из Южной Африки или Америки. Теперь они уже больше не нужны государству так, как прежде. В этом причина их недовольства, особенно усиливающегося из-за того, что город как будто не утрачивает прежнего благосостояния. Они сражаются в борьбе против города, как австрийские крестьяне — против Вены. Добродушным, неповоротливым крестьянам приходится поворачиваться. Они становятся всё консервативнее, превращаются в сторонников таможенных барьеров, в националистов — как только осознают, что пошлины могут избавить их от конкурентов.

За их реакционностью кроются экономические соображения — так же как и за революционностью города.

Исходя из этого нового положения вещей, я строю сюжетную линию моего романа: женщина любит мужчину. Она борется за любимого. По политическим мотивам его приговаривают к тюремному заключению, — дело происходит в Мюнхене в 1922 году, — хотя он и невиновен.

Свобода! Больше всего на свете я дорожу свободой. В тюрьмах, которые я посетил, собирая материал для своей книги, в тунисской тюрьме, где я сидел, будучи интернирован как германский подданный, стены тесных камер буквально давили меня. Я вполне разделяю ужас каждого нормального человека перед тюрьмами и судебными ошибками. Я люблю свободу и боюсь оторванности от мира. Этот страх выражается в моем романе, в истории человека, безвинно приговоренного к длительному заключению. Написав его, я как будто облегчил душу. У нас, в Германии, есть такие же Робины Гуды, какой был в Англии четыреста лет тому назад. Кому известно имя Гёльца? А ведь он своего рода немецкий политический Робин Гуд. Его бросили в Зонненбург¹, — сколько иронии в этом названии тюрьмы! Им и другими политическими заключенными я особенно интересовался, потому что мой герой должен был походить на них.

Но сюжет развивается дальше. Безвинного признают виновным. Женщина борется за него. Главный смысл всей истории — не считая ее значимости как чисто объективной картины Баварии 1922 года — заключается в том, что все усилия, предпринимаемые женщиной в стремлении спасти этого человека, совершенно бесплодны. Делает она что-либо или нет, все это равно ничего не значит. Посторонние силы, не имеющие никакого отношения к этому человеку, решают за него его судьбу.

Некий американец, вложивший миллионы в русские предприятия, отправляется в путешествие, чтобы ознакомиться с положением дел в Баварии, летит через всю Европу в Мюнхен, присматривается, проводит там целую неделю. Однажды вечером он идет в театр на эстрадное представление. Программа весьма заурядная, но одна песенка приходится миллионеру по душе, а это приводит его к знакомству с композитором, другом жены заключен-

¹ Зонненбург — солнечный замок (нем.).

ного. Перед отъездом из Баварии миллионер предоставляет правительству заем, однако с условием, что этого человека освободят из тюрьмы.

Когда день освобождения уже близок, его находят в камере мертвым. Все произошло помимо его воли и совершенно вне связи с тем, что могли сделать люди для или против него.

Я не фаталист и не марксист, полагающий, что миром правят одни лишь экономические и материальные закономерности. Но я и не индивидуалист, убежденный, что каждый человек может быть господином своего будущего. Однако эти три теории объективно охватывают то, что называется судьбой. Случай играет такую же большую роль, как и социальные, аграрные и промышленные потребности человечества. И, наконец, физические, моральные и интеллектуальные качества человека помогают ему овладевать событиями и использовать экономические закономерности, вместо того чтобы противоборствовать им. Жизнь? Человек, борющийся со своими потребностями, игрушка случая, который ему помогает или ставит на его пути непреодолимые преграды: вот что такое жизнь.

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН

1

Вновь и вновь раздаются голоса, что теперь с повествовательной книгой покончено раз и навсегда. Виповны в этом якобы прежде всего кино, затем радио, затем все усиливающийся промышленный спад, затем растущее влияние варварских, враждебных духовной жизни клик, которые повсеместно, и в особенности у нас, все больше и больше прибирают власть к рукам. Однако пессимисты каркают понапрасну. Повествовательная проза все еще жива, ее здоровье крепче, чем когда-либо раньше. Статистика книготорговли и библиотек утверждает, что художественные произведения читаются сейчас значительно больше, чем до войны. Потребность современного мира в повествовательной прозе совершенно очевидна; чтение становится жизненно важным делом.

Эта потребность обусловлена не опустошенностью сердца и мозга, которая толкает массы к различным мили-

таристским зрелищам или к фарсам, разыгрываемым политическими фокусниками. И вот подтверждение этому: не приключенческая книга, не развлекательные или детективные романы занимают сейчас основное место в списке литературы среднего читателя. Напротив, как это ни парадоксально, но за миллионным тиражом какого-нибудь Уоллеса выходят миллионные тиражи Эптона Синклера, Ремарка, Синклера Льюиса, Голсуорси, Томаса Манна. Очевидно, послевоенный читатель ищет в романе не только развлечения.

Возможно, дело в следующем. Если научные книги и отвечают на многие вопросы, встающие перед нашим современником, то все же с помощью этих книг он не может составить себе цельную картину мира. Именно этой картины он и ищет в повествовательной прозе. От нее он требует, чтобы она воссоединила, организовала разрозненные достижения науки в единое целое. Очень многие восприимчивые к культуре люди ищут в романе то, что могло бы им заменить философию и религию. Они надеются, что повествовательная проза приведет их дорогой чувств к точке зрения, которая позволит им разобраться в сложном, запутанном мире.

2

Если современный роман хочет удовлетворить эти чаяния, он должен выбрать другое содержание и другие формы, нежели те, которые характерны для предвоенного романа. Само собой разумеется, конечно, основное содержание нашего прозаического эпоса остается тем же, что и во всех повествовательных произведениях прежних лет: это миропонимание автора, его ощущение жизни. Но это миропонимание передается современному читателю лишь тогда, когда оно пронизано элементами современного мышления. Ведь не случайно сегодня читателя уже не привлекает так, как прежде, сложная судьба отдельной личности, судьба с тысячей неожиданных поворотов. Современный роман пробивает себе путь к сердцу читателя совсем другими средствами. Современный роман пытается проникнуть в те глубины, где возникают чувства, он восстанавливает взаимосвязи между поступками человека и непонятными до конца инстинктами, унаследованными челове-

ком от своих далеких предков (Джойс, Деблин, Т. Манн, Хемингуэй, Лоуренс). Или же он ищет пути в другом направлении: он показывает не индивидуума, а целый слой, всю эпоху, он показывает связь индивидуума со своим временем и с массой (Драйзер, Синклер Льюис, Голсуорси, Арнольд Цвейг, Генрих Манн, Регер, Фаллада, Тынянов, Эренбург, Третьяков).

Почти во всех романах, определяющих лицо современной литературы, трактуются две основные темы. Первая: насколько первобытные инстинкты человека сильнее его разума и сознательной воли? Вторая: насколько индивидуум (сознательно или бессознательно) подчинен влиянию массы?

Современный роман психологичен и социологичен. Он реализует идеи Чарльза Дарвина (Иенсен, Уэллс), Карла Маркса, Зигмунда Фрейда, Альберта Эйнштейна. Он пытается, и не без успеха, сделать эти идеи основой мироощущения.

3

Само собой разумеется, современный роман — интернационален. С тех пор как экономические границы перестали совпадать с языковыми, с тех пор как родиной человека стала не страна, определяемая политическими границами, а вся планета, областная литература, литература только национальная, оказалась в весьма затруднительном положении. Рядом с великими произведениями эпохи ее произведения выглядят, как горка в стиле бидермейер, в которой выставлены кустарные крестьянские поделки, рядом с небоскребами, оборудованными современной техникой. Не отвечающее больше жизненным потребностям, такое произведение превратилось в курьез, в музейный экспонат. С изобретением огнестрельного оружия рыцарь, а с ним и рыцарские романы, потеряли свой смысл; место Парсифаля и Ланселота занял Дон-Кихот. С изобретением паровоза и самолета политико-экономический национализм стал бессмысленным, а вместе с ним потеряла смысл и только национальная литература. Последние большие писатели, у которых воспевание лишь своей родины было внутренне оправдано, — это Томас Гарди, Готфрид Келлер и Кнут Гамсун; последний, кто по праву мог воспевать национальный империализм, был Редьярд Кип-

линг. Но уже некоторым произведениям д'Аннунцио и Мориса Барреса присущи карикатурные черты, а что касается наших националистических авторов, то лишь немногие критики видят в них нечто большее, чем местное явление.

Конечно, и современный талантливый романист предпочитает выбирать темой своего произведения родину, однако смотрит он на нее не только глазами патриота своей страны, но и глазами гражданина мира. Так смотрели на Любек Томас и Генрих Манн, на Лондон — Голсуорси, на Берлин — Дёблин, на Средний Запад США — Синклер Льюис.

4

Для того чтобы представить мир, расширивший свои границы, современный роман требует форм, отличных от прежних. Современный человек, под влиянием кино, стал быстрее воспринимать непрерывно меняющиеся картины и ситуации. Современный прозаический эпос учитывает это. Он учится у кино. Ему с успехом удастся вместить на немногих листах книги такое огромное количество лиц и характеров, какого никогда в прежних романах не было. Современный роман пытается представить все бесконечное многообразие мира в его одновременности. Подчас в романе дается не одна линия повествования, не две, не три, а двадцать или пятьдесят, и при этом не нарушается единство его восприятия. Как в свое время елизаветинская драма взорвала единство места и времени, так современный прозаический эпос очень часто с успехом ломает закон единства действия.

Вторым формальным средством, к которому новый роман неизбежно вынужден прибегать для того, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу, является деловитость изложения. Современный автор должен считаться с тем, что его читатели по собственному опыту или благодаря кино и радио достаточно хорошо знают внешнюю структуру мира. Он должен, если не желает разрушить иллюзию, внушить читателю мысль, что он, писатель, знает предмет, о котором пишет. Если читатель не верит жизненности внешних примет описываемого автором мира, то наверняка не поверит в правдивость внутреннего содержания этого мира. Читателю нашего времени уже

мало, если автор будет говорить ему о своих чувствах, даже если это весьма возвышенные чувства. Нет, автор должен показать обстоятельства, вызвавшие в нем эти чувства. Только таким образом он может вызвать у читателя подобные же чувства.

Если вы внимательно перечтете эти последние фразы, то заметите, что в них речь идет о так называемой «новой деловитости». Но вы заметите также, что в этой пресловутой «новой вещности» я усматриваю не цель современного прозаического эпоса, а лишь изобразительное средство. Очень важно каждый раз, когда к этому появляется возможность, предостерегать от шулерских попыток представить «новую вещность» как самоцель, тогда как она является не чем иным, как законным средством искусства. Обманщик тот, кто провозглашает, что современный роман стремится сообщить читателю о внешних, фактических обстоятельствах, ввести его в курс социальных и философских вопросов. Современный роман, как и роман прежних лет, равнодушно уступает эту роль науке и статьям хороших репортеров. Он хочет воздействовать не на любознательность читателя, а на его чувства, разумеется, не вступая при этом в конфликт с его логикой и с его знаниями. Целью романа остается то, что и до сих пор было целью искусства, — передать читателю и зрителю мироощущение автора. Но современный автор знает, что ему это будет не по силам, если достижения современной науки не стали органической частью его «я».

5

Начиная с войны возрастающее с каждым годом варварство нанесло огромный вред во всех областях цивилизации. Не удалось уберечься и литературе. Театр, например, подпал под влияние диктатуры правительств, враждебных искусству, враждебных духу; кино и радио оказались в таком же положении: очень часто этим институтам угрожают оскорбительные нападки идиотических, искусственно подогреваемых масс. Поэтому кино и радио совершенно отказались от литературы и превратились в чисто развлекательные предприятия. Роман, напротив, при этом всеобщем упадке цивилизации совершенно неожиданно расцвел. Вероятно, причина кроется в том, что на него не

распространяется растлевающее влияние национализма. Хотя националисты начали уже поносить роман, однако люди, мало-мальски образованные, обычно не читают националистских газет, а тот, кто их читает, как правило, не читает книг.

Именно немецкий роман при быстро прогрессирующем упадке немецкой культуры неожиданно оказался чрезвычайно жизнеспособным. Правда, в свое время Густав Фрейтаг утверждал, что каждый образованный немец в состоянии написать роман, который можно было бы прочесть. Однако сегодня мы, пожалуй, не смогли бы согласиться с ним, ибо представители и нынешнего рейха, и национально-однородных масс избирателей лишь с большим трудом могут построить грамотную немецкую фразу даже для своих важнейших заявлений. Тем с большим удовлетворением мы можем отметить, что лучшие из современных немецких романов оказывают положительное влияние на весь мир.

Правда, представителям немецкой литературы недостает громкости голоса, которой отличаются наши политические шарлатаны и воепщина; но тем не менее слово немецких писателей, даже если ему и закрыт путь к радио, действует сильнее, нежели слова военных и политиков, оно проникает в сердца, оно остается. Наши милитаристы и националисты нанесли огромный урон авторитету немцев; наша повествовательная проза вернула Германии большую часть утраченного влияния.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ТРЕМ ПЬЕСАМ»

Три пьесы, которые вы найдете в этом томе, написаны в Германии между 1917—1919 годами, то есть в последнюю треть войны и в дни, когда решалась судьба германской революции. Пьесы эти связаны со своим временем, они порождены самими событиями. С тех пор об этих событиях стало известно многое, чего автор пьес, разумеется, не знал, многие скрытые взаимосвязи стали теперь яснее. И все-таки картина времени, встающая в этих пьесах, вероятно, более правдива, чем та, которую мог бы сейчас нарисовать историк. Ибо почти невозможно, чтобы более поздняя и правильная оценка не наложила своего отпечатка на изображение событий. Автор писал свои пьесы,

находясь в самой гуще событий, писал, опираясь на неполные, отрывочные знания своих современников, на их чувства, на то душевное состояние, которое влияло и на ход событий.

Как бы там ни было, но мне кажется, что все последующее подтвердило правоту автора. Примечательный факт,— позднейшая действительность часто глубже подтверждает то, что написал о своем времени потрясенный до глубины души писатель, чем свидетельства политических деятелей, стоящих в центре происходящего и лучше информированных о частностях. Может быть, это объясняется тем, что основные психологические факторы,— а ведь исследование их и составляет, в сущности, профессию писателя,— оказываются в конечном счете не менее существенными для развития событий, чем факты экономические и политические.

Пьеса «Военнопленные» написана в 1917 году, когда писатель почувствовал непреодолимую потребность облечь в слова свое отвращение к самой сути войны. (Идиотизм, или, если угодно, подлость некоторых деятелей Третьей империи засвидетельствованы, в частности, тем фактом, что первый чиновник от литературы в этой империи, некий Хинкель, характеризуя пьесу «Военнопленные», заявил в немецкой печати, что автор ее написал во время войны конъюнктурно-политическую и ура-патриотическую пьесу).

Драматический роман «Тысяча девятьсот восемнадцатый год» был начат в первые месяцы 1918 года и закончен в апреле 1919 года. Первоначально роман назывался «Томас Вендт». Однако автор полагает, что имел право озаглавить его «Тысяча девятьсот восемнадцатый год», ибо, кроме личности героя, в романе с фотографической точностью воспроизведены взгляды и чувства, переполнявшие немецкую интеллигенцию на исходе войны и в первые месяцы существования Германской республики, те чуждые действительности идеалистические воззрения, которые, к сожалению, оказали решающее влияние на германскую революцию и в большой мере виновны в ее крушении. Стихотворение «Мы ждем» — в третьей сцене второй книги — опубликовано еще в 1914 году в журнале «Шаубюне». Тогда оно было ложно понято и поэтому обошло всю немецкую печать, его много раз перслагали на музыку, оно вошло в бесчисленные антологии немецкой

военной лирики. Читая это стихотворение сегодня, невозможно понять, как же могли истолковать его столь ложно. Но, очевидно, в те годы смысл стихотворения был доступен только людям, сердца которых бились в унисон с сердцем автора.

Третья пьеса, «Голландский купец», написана в 1919—1920 годах.

В становлении писателя, после его неудачной попытки раствориться в чувствах масс, пьеса эта знаменует возврат к индивидуализму, с которого он начал и к утверждению которого вновь пришел.

Внешне судьба всех трех пьес оказалась удивительно сходной. Постановку «Военнопленных» цензура запретила, но разрешила ее к печати, и пьеса подверглась жестоким нападкам. Впрочем, насколько я знаю, «Военнопленные» были первой немецкой пьесой, появившейся во Франции после войны.

Пьесу «Тысяча девятьсот восемнадцатый год» еще в рукописи взял один из мюнхенских театров и немедленно начал ее репетировать. Репетиции шли уже полным ходом, когда из-за путча националиста Каппа постановка пьесы сорвалась. Новая попытка, предпринятая тем же мюнхенским театром, снова сорвалась из-за развития политических событий. Когда же наконец, вопреки всем препятствиям, отважная дирекция одного провинциального театра в Рейнской области все же поставила пьесу, в зале началась потасовка. В дело вмешалась полиция, несколько человек было ранено, повторить спектакль не удалось.

Премьера драмы «Голландский купец» состоялась в те дни, когда национал-социалистическое движение, особенно в Баварии, приняло угрожающие размеры. Баварский государственный театр уступил угрозам национал-социалистов и после нескольких спектаклей, прошедших с успехом, пьеса была снята. Позднее «Голландского купца» еще много раз пытались играть разные театры. Эту пьесу автору хотелось написать, используя светотень, в манере величайшего художника той эпохи, в которую перенесено действие, и отважных режиссеров увлекла эта попытка. Но писатель сам снял свою пьесу с постановки. Республика совсем обессилела, и он боялся, как бы индивидуалистическая тенденция пьесы не была использована в качестве политической, как бы ее не направили против

республики, на пользу диктаторам, — а уж это он считал решительно невозможным.

Итак, вот вам три пьесы. Вы видите, это действительно пьесы, связанные со своим временем. Писателю они очень дороги. Заслуженно ли — выяснится сейчас.

О СМЫСЛЕ И БЕССМЫСЛИЦЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Я решил, дамы и господа, выступить сегодня перед вами с докладом на весьма неактуальную в наши дни тему. Само название «исторический роман» вызывает у нас тягостные ассоциации. Мы вспоминаем о Бен Гуре, о графе Монте Кристо, о некоторых исторических фильмах. Мы тотчас же представляем себе приключения, интриги, костюмы, аляповатые, кричащие краски, патетическую болтовню, этакую смесь из политики и любви, безответственное низведение грандиозных событий до мелких личных страстей.

Соображения социального и политического характера еще больше способствуют дурной славе этого жанра. Любой писатель, желающий показать нам прошлое, упешнее, легко навлекает на себя подозрение в том, что он хочет уйти от проблем современности, что он попросту реакционер. От *изображения* старого времени — говорят недоверчивые — недалеко и до *восхваления* старого времени. И действительно, многие исторические романы, появляющиеся в наши дни, это только более или менее ловко соединенные безвкусные картины, призванные позабавить читателя, отвлечь его от злобы дня и пропеть хвалу куда более богатому, яркому, доброму старому времени.

Что касается меня, признаюсь, я страстно люблю исторические романы. Я понимаю природу предубеждения против этого литературного жанра, но думаю, что это все-таки только предубеждение. Еще в юности я задумывался над таким обстоятельством: почему среди произведений, которые пережили свою эпоху, так много книг посвящено изображению не современной автору действительности, а прошлому. Вот, к примеру, Гомер мечтает о диктатуре, о сильном централизованном правительстве для греков. Но, воплощая свою мечту, свои стремления, он не показывает жизнь своих современников, а описывает бедствие, разра-

жившееся за много веков до него из-за раздоров между сепаратистски настроенными царями Греции, и вкладывает свои требования в уста царя, умершего в незапамятные времена. Трагический поэт Эсхил мечтает о реформе афинского судопроизводства. С этой целью он изображает легендарные деяния некоего мужа, по имени Орест, жившего во времена седой древности, и тяжбу, которую ведут из-за него боги и люди. Все трагедии греков, дошедшие до нас, за исключением одной-единственной, переносят читателя в далекую мифическую древность. Авторы Ветхого завета, если им нужно добиться от своих современников новых, революционных мер, побуждают их к этому, углубляясь в историю, то есть создавая исторические романы, и извлекают нужные им аргументы из тщательно препарированного прошлого. Авторы четырех Евангелий безусловно считали себя провозвестниками новой сокрушительной правды. Для обоснования этой своей истины они обращались к событиям, происходившим, как они утверждали, лет за шестьдесят или за девяносто до их дней. Наконец, если и была эпоха, ощущавшая себя революционной, так это эпоха Возрождения: и, однако, многие рассказы ведущих итальянских новеллистов и почти все драмы Шекспира посвящены изображению прошлого.

Рассматривая значительные исторические произведения, я часто задавался вопросом: неужели их смысл только в том, чтобы воскресить историю или мифологию ради них самих, неужели создатели этих произведений попросту увлечены были костюмами и ярким фоном? И какое содержание хотели они вложить в свои творения — историческое или современное? В каждом отдельном случае я приходил все к тому же выводу: нет, единственно, к чему стремился художник, это выразить собственное (современное) мироощущение и создать такую субъективную (а вовсе не ретроспективную) картину мира, которая сможет непосредственно воздействовать на читателя. Если при этом он предпочел исторические одежды, то лишь потому, что ему хотелось поднять изображаемую картину над сферой личного, частного, возвысить над окружающим, поставить на подмости, показать в перспективе. Толстой, который написал «Войну и мир», несомненно, хотел написать не историю наполеоновских походов, а выразить собственные (вполне современные) идеи о войне и мире. И Август Стриндберг в исторических драмах и миниатюрах хотел

выразить только себя самого и нарисовать только свое время, высказать только собственные идеи, точно так же, как он делал это в автобиографических романах. Если оба эти писателя в своих исторических произведениях отодвигали своих героев и свои идеи в прошлое, то они делали это, только стремясь создать необходимую перспективу, только зная, что очертания гор легче воспринять на расстоянии, а не тогда, когда мы находимся в горах.

Теперь мы можем дать ответ на первый из двух вопросов, которые без конца задают автору исторических романов. Вопрос этот гласит: если вы намереваетесь вложить в свои романы современное содержание, почему вы обращаетесь не к современным сюжетам, а к историческим?

Позвольте ответить на этот вопрос, опираясь на собственный писательский опыт. Я писал и современные романы и исторические. И могу по совести заявить, что всегда стремился вложить в мои исторические романы точно такое же содержание, как и в современные. Я и думать не думал писать историю ради истории, костюмы, историческое одеяние всегда были для меня только средством стилизации, средством создать простейшим способом иллюзию действительности. Другие писатели, пытаясь подчеркнуть объективность своей картины мира, отодвигали ее от себя в пространстве, переносили в какую-нибудь экзотическую страну. С той же целью я *отодвигал мою* (конечно же, современную) картину мира во времени — только и всего.

Я решительно не в силах поверить, что серьезный романист, работающий над историческим сюжетом, видит в исторических фактах что-либо, кроме средства создать перспективу, кроме аллегии, которая помогает нам как можно правдивее передать собственное мироощущение, собственную эпоху, собственную картину мира.

Когда я, — пожалуйста, разрешите мне опять сослаться на личный опыт, — когда я чувствую необходимость облечь современное содержание в исторические одежды, то к этому меня толкают разные причины — и положительного и отрицательного характера. Например, иногда мне просто не удастся найти стиль для некоторых частей моего повествования. Оставь я их в современном обличье, они оказались бы сырым материалом, сообщением, догадкой, мыслью, только не образом.

А бывает и так, — я рисую современную обстановку и чувствую, что мне чего-то не хватает. Ведь события,

о которых я рассказываю, находятся еще в развитии. Наше суждение о том, закончено ли это развитие или нет, и о том, насколько оно продвинулось вперед, всегда произвольно; любая точка, которую мы поставим, случайна. Изображая современные события, я всегда испытываю чувство неловкости оттого, что границы их еще не очерчены. Вино выдыхается, теряет аромат, потому что мы не в силах закупорить бутылку. К тому же наша крайне бурная эпоха очень быстро превращает современность в историю. Но если сегодняшняя обстановка через пять лет станет историей, почему же, стремясь вложить в мое произведение содержание, которое, как я надеюсь, сохранит актуальность и через пять лет, я не могу выбрать для его воплощения любую ушедшую эпоху? Кроме того, временами я боюсь, что, изображая современных людей и обстоятельства, не смогу уберечь свое произведение от влияния мелких и мелочных личных интересов и впечатлений, что я утрачу равновесие, всегда являющееся основой произведения искусства.

Много лет назад мне было чрезвычайно важно показать путь человека, который переходит от действия к бездействию, от активности к созерцанию, от европейского мировоззрения к индусскому. Проще всего было бы воплотить эту идею развития личности, обратившись к современности: к истории Вальтера Ратенау. Именно это я и попытался сделать, но потерпел неудачу. Тогда я отодвинул мой сюжет на двести лет назад, попытался изобразить путь еврея Зюсса Оппенгеймера — и приблизился к цели.

Меня издавна глубочайшим образом волнует одна тема — конфликт между национализмом и интернационализмом в душе человека. Если я попытаюсь воплотить этот конфликт в романе на современную тему, боюсь, что мои личные переживания затемнят и затуманят картину. Поэтому я предпочел перенести этот конфликт в душу человека, который, как мне кажется, пережил его в той же форме, в которой в наши дни переживают его очень многие, — правда, человек этот жил 1860 лет тому назад, — в душу еврейского историка Иосифа Флавия.

Надеюсь, я сумел сохранить относительную объективность суждения; но думаю, что мне все же легче изобразить людей, которые жили 1870 лет тому назад и подожгли при Нероне несколько общественных зданий в Риме, и я могу изобразить эти жалкие, тупые орудия реакционеров

и милитаристов того времени с меньшим отвращением и большей убедительностью, чем тех, которые два года назад подожгли рейхстаг в Берлине,— жалкие, тупые орудия в руках реакционеров и милитаристов нашего времени.

Вот что я могу ответить на первый из двух вопросов. Второй вопрос, который без конца задают нашему брату, звучит так: если читатель интересуется прошлым, историей, разве не лучше обратиться к книгам, в которых дано точное и научное описание событий, вместо того чтобы обращаться к вымышленным картинам, созданным романистами?

Что ж, читатель, который собирается почерпнуть знания из исторического романа, совершает такую же ошибку, как писатель, решающий вступить в соревнование с историком. Кто такой историк? Человек, который, опираясь на факты, пытается открыть и описать законы развития человечества. Но автор исторических романов, как мы видели, нисколько не пытается открывать эти законы, он хочет запечатлеть только себя, только собственное представление о мире. Так что между серьезным автором исторических романов и серьезным историком существует примерно такое же различие, как между композитором и ученым-исследователем, занимающимся вопросами акустики. Требовать от автора исторического романа, чтобы он учил нас истории,— это все равно, что требовать от композитора, сочинившего мелодию, чтобы он объяснил нам технику радиопередач.

Я всегда старался дать верную картину изображаемой мною действительности, верную до мельчайших деталей, но меня никогда не заботило, находится ли мое изображение в точном соответствии с историческими фактами. Более того, я часто изменял действительность,— хотя она была известна мне с документальной точностью,— если, как мне казалось, она разрушает действительность иллюзорную. Думаю, что в противоположность ученому, автор исторических романов вправе предпочесть ложь, способствующую иллюзии, правде, которая разрушает иллюзию. Гинденбург резко порицал своего портретиста за то, что тот недостаточно точно нарисовал пуговицы его мундира. Но Либерман был другого мнения о задачах портретной живописи.

Нетрудно доказать, что Гомер и авторы Библии, Шекспир и бесчисленные сочинители художественных произ-

ведений на исторические темы, все, вплоть до писателей нашего времени, весьма смело обращались с действительностью, хотя она и была им известна с документальной точностью.

Победителей не судят. Их книги, выдуманные ими легенды, эпосы, драмы, романы, выдуманные ими люди и дела, их «ложь» оказались жизненнее, чем факты, тщательно установленные учеными на основе критически изученного материала. Современник Маккавеев, сочинивший историю царицы Эсфири, оказал большее влияние на будущие поколения, чем все летописцы, запечатлевшие исторические факты, относящиеся к эпохе восстановления иудейского национального государства. Для бесчисленного количества людей вымышленный Аман и сейчас еще гораздо более реальный враг этого национального государства, чем существовавший в действительности царь Антиох, послуживший его историческим прототипом. Кроме меня, может быть, человек пятьсот, не больше, знают, что историческим протообразом наместника Геслера был некий чиновник феодальных времен по имени Петер фон Хагенбах, но, не считая меня, получившего за публикацию моего открытия десять фунтов гонорара, сведения эти решительно никому не принесли пользы. А вот вымышленный Вильгельм Телль знаком всем и каждому, и знакомство это повлекло за собой самые разнообразные и чрезвычайно ощутимые результаты. Хорошая легенда, хороший исторический роман в большинстве случаев достовернее, нагляднее, богаче результатами, действеннее, жизненнее, чем тщательное и точное воспроизведение исторических фактов.

И вот тут-то мы и подошли к самому важному. Очень немногие отрицают необходимость писать романы на современные темы. Очень немногие отрицают необходимость заниматься исторической наукой. Но зато очень многие никак не возьмут в толк, что писать исторические романы — тоже имеет смысл.

А ведь научность предмета, который сегодня величают историографией, весьма сомнительна. Мы несколько не возражаем, если историк, исходя из гегелевской философии и опираясь на факты, пытается определить основные линии развития человечества, сформулировать законы этого развития, его диалектику. Но имеет ли право человек, сопоставляющий исторические факты совсем с дру-

гих точек зрения, может ли он претендовать на звание ученого? Разве историк, как бы он ни располагал факты, — уже хотя бы потому, что он их располагает, — не создает субъективной картины, разве его труды в лучшем случае не являются произведениями искусства? Старый скептик Талейран подытожил свой опыт на этом поприще в следующем изречении: «Ничто нельзя так легко подтасовать, как факты». Литтон Стрэйчи тоже нашел весьма удачную формулировку: «Очевидно, история — это только приведение в порядок бессмысленно нагроможденных фактов». Но, если факты приведены в порядок неискусно, то они вовсе не составляют истории, точно так же, как масло, яйца и петрушка сами по себе еще не составляют яичницу.

Однако, поскольку история есть искусство, значит, писать ее мыслимо лишь в соответствии с принципами, выдвинутыми Фридрихом Ницше. В своих «Несвоевременных мыслях о пользе и вреде истории для жизни» Ницше требует, чтобы историей занимались только в интересах самой жизни. Если бы смысл истории был автономен и универсален, он бы уничтожил самую жизнь; поэтому творческая сила жизни должна держать его в повиновении. Пусть здоровая жизнь сама вылепит правдивый образ истории согласно требованиям своей современности и своего будущего.

Вероятно, эти слова вызвали бы серьезное возражение ученого, но автор исторических романов подпишется под ними обеими руками. Как и философы, он считает своей задачей изобразить органическую ясную взаимосвязь между жизнью и историей, сделать минувшее — историю — плодотворной для современности и для будущих времен.

Бенедетто Кроче, продолжавший возводить строение, заложенное Ницше, так сформулировал свой основной тезис: «Злободневность составляет истинный характер вечно живой истории, в отличие от голой хроники». Кроче сослался: националисты, как известно, не считают, что смысл прошлого в том, чтобы стать настоящим; как раз наоборот, они жаждут вернуть настоящее к прошлому. Теодор Лессинг так использовал выводы Ницше: «История — это попытка придать смысл бессмысленному». Национал-социалисты убили его. Правда, они тоже ссылаются на Ницше, их фюрер даже сфотографировался под

его бюстом, но цель их — оставить бессмысленное бессмысленным.

Историк, точно так же, как романист, видит в истории борьбу, которую ведет крошечное меньшинство, желающее и способное мыслить, — против чудовищного, накрепко спаянного между собой большинства, состоящего из слепцов, которыми руководит только голый инстинкт, — слепцов, которые вообще не способны мыслить.

Мне кажется, чрезвычайно важным изображать эпизоды, относящиеся к ранним фазам этой борьбы. Воспоминания о былых победах и поражениях, легенда, исторический роман — я считаю все это оружием, которое мы можем использовать на нынешней стадии извечной борьбы. (Впрочем, нашим противникам тоже известны все преимущества этого оружия. По примеру своих идеологов, они превращают историю человечества в грязные, кровавые сентиментальные мифы и стряпают собственный исторический роман, следуя старым, затасканным рецептам.)

Но с тех пор, как я начал писать, я пишу мои исторические романы в защиту разума, направляю их против глупости и насилия, против того явления, которое Маркс называет погружением в безысторичность. Может быть, в области литературы существует оружие, быющее более прямо, но мне, по причинам, которые я попытался сейчас изложить, мне ближе именно это оружие — исторический роман, и я намерен пользоваться им и в дальнейшем.

МЫСЛИ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ГОРЬКОГО

Перед войной, когда я был еще совсем молод и вел жизнь бродяги, пути-дороги привели меня в Южную Италию, я оказался на Капри. От местных жителей я узнал, что там живет великий русский писатель Максим Горький. В Германии я несколько раз видел «На дне» в постановке Рейнхардта. Благодаря Горькому мне впервые открылась душа русского человека, принадлежащего не к тем нескольким тысячам, что живут на виду, а к тем миллионам, что живут «на дне», людям, совершенно мне до того неведомым, представляющим новый для меня мир. И вот я стоял перед домом человека, создавшего образы этих людей, сгорая от желания посмотреть на писателя, встретить его взгляд, узревший их, услышать его голос,

давший им право голоса. Так я и стоял, задыхаясь от волнения, и слышал чей-то голос, вероятно, его голос, стук пишущей машинки, вероятно, его машинки, но так и не собрался с духом, повернулся и ушел. Позже я поставил в мюнхенском Народном театре «На дне». Это было первой попыткой Народного театра, игравшего обычно лишь водевили, оперетты и фарсы, познакомить своего массового зрителя с настоящим искусством. И требовалось немало мужества, чтобы решиться показать баварской публике этих русских людей, — театральный мир был настроен более чем скептически. Я старался сделать все, что мог. Прочел все произведения Горького, которые в то время были переведены. Спектакль удался; оказалось, что простые баварцы, составлявшие публику того театра, прекрасно понимали этих русских людей, они хорошо слушали и пристально вглядывались в них. Народ, даже такой непохожий на русских, как жители Баварии, без труда понимал писателя народа русского. Пьеса много лет подряд не сходила со сцены.

В этом году мои русские друзья несколько раз передавали мне слова приветов от Горького. Все они говорили, что великий писатель будет рад увидаться со мной. Это известие укрепило мое решение поехать в Россию. Я был так счастлив, что теперь мне удастся осуществить то, на что двадцать три года назад не хватило решимости.

Смерть Горького — тяжелый удар для меня. Она будет ударом для всех, кто питает симпатии к новой России. Устами этого писателя Россия заявляла нам о себе куда яснее, понятнее и выразительнее, чем устами самого красноречивого оратора. Когда читаешь книги Горького, все, что нас разделяет, рушится, расстояния исчезают, чувствуешь себя в гуще этих русских людей. Забываешь, что все это написал один человек, со своим субъективным взглядом на вещи, кажется, что сам народ вдруг обрел голос и заговорил. Не случайно, что у Горького почти нет героев, созданных ради них самих, что его персонажи обретают подлинную значимость лишь благодаря их отнесенности к какому-то множеству, благодаря их народности. Если называют имя любого другого великого писателя, в памяти сразу возникает целая галерея отдельных созданных им образов. А когда думаешь о Горьком, возникает сразу вся Россия, не отдельные люди, а огромные массы русских людей, и хотя у каждого из них свой

облик, всех их объединяет одно общее лицо, лицо народа. Я не знаю второго такого писателя, который бы так, как Горький, умел изображать народ, народные массы, не впадая в абстракцию. Другим приходится прибегать к всевозможным более или менее риторическим средствам, заставляя своих персонажей говорить хором, стилизовать их под типичное, выпячивать типичное. У Горького ничего подобного нет и в помине. Каждый из его героев говорит своим голосом, и все же эти голоса сливаются друг с другом в единую гармоническую симфонию и обретают свое окончательное, подлинное звучание только благодаря голосам других.

Кто привык художественные произведения разбирать на составные части, кто старается раскрыть механизм их воздействия, тому книги Горького зададут нелегкую задачу. Ибо в них нет ни схемы, ни преднамеренности. Автор не использует особых художественных приемов, не гонится за эффектом. Наоборот, не надо быть большим знатоком, чтобы увидеть, что у него не было ни подробного плана, ни тщательно продуманной схемы развития действия. И тем не менее все живет, все движется, и художественное воздействие неоспоримо. Вот Горький начинает говорить, и тотчас перед глазами — необычайно вещественно! — встает русский народ, он сам рассказывает о себе; у рассказа нет ни настоящего начала, ни настоящего конца, но он не становится расплывчатым и не утрачивает главного.

Именно благодаря равнодушию к эффектам, благодаря естественной, не нарочитой художественной полноте и щедрости произведения Горького завоевывают симпатию к новой России успешнее, чем любая самая умелая пропаганда, лишенная средств эмоционального воздействия и взывающая лишь к голосу разума.

НА СМЕРТЬ ЭРНСТА ТОЛЛЕРА

(Умер 22 мая 1939 года)

В Эрнсте Толлере жизнь была ключом. Стоило побыть в его обществе в течение часа, чтобы совершенно захлебнуться в потоке планов, проектов пьес, рассказов, эссе. Сколько кампаний помощи отдельным людям, группам лиц, целым народам зарождалось в его голове. С каким

жаром окунался он в эти дела и с какой страстью доводил их до конца.

Толлер обладал редким даром увлекать людей. Он любил их, и люди чувствовали это, они чувствовали, что слова, слетавшие с его губ, шли из сердца. Я помню то утро, когда мы с ним посетили одну из женских школ Лондона. Его английский язык был в то время еще далек от совершенства, но с каким мастерством и чувством рассказывал он английским детям выдуманнные им истории, как он сам превращался в ребенка и как они, несмотря на непривычное произношение, жадно ловили каждое его слово, смеясь и плача, потому что он сам смеялся и плакал. Помню я и вечер, проведенный с ним и с леди Оксфорд. После спектакля мы пошли к ней, до поздней ночи говорили о политике, спорили, старая энергичная леди находила все новые аргументы, мы много раз порывались уйти, но она нас все удерживала: кому однажды доводилось услышать благородную, взволнованную речь Толлера, тот никак не мог наслушаться досыта.

Я помню также, как Толлер однажды за завтраком старался склонить одного влиятельного английского журналиста к поддержке Осецкого. Незадолго до этого Толлер женился и поселился в маленьком, столь же романтичном, сколь и убогом домике в одном из окраинных закоулков Лондона. Кампания в защиту Осецкого не ладилась, но с каким подкупающим юмором Толлер превращал свои бесчисленные неудачи в забавные происшествия, как искренне мог он хохотать и тут же, без всякого перехода, вновь загораться энтузиазмом, возвращаясь к серьезному предмету разговора. Человек, которого он должен был склонить к поддержке Осецкого, был уже давно со всем согласен, но все не уходил, и бедняге Толлеру пришлось еще побегать по городу в поисках кофе, которого дома не оказалось.

И еще я помню вечер, когда Толлер долго рассказывал мне о задуманном им большом романе; героем его был тот знаменитый грек Демосфен, который вовремя увидел опасность, грозившую греческой культуре со стороны готовившейся к войне варварской Македонии, и который, несмотря на все свое вдохновенное красноречие и всю свою страстную силу убеждения, не смог расшевелить и объединить цивилизованные народы для борьбы с нависшей угрозой нападения варваров. Толлер рассказывал о книге,

которую он только еще собирался написать, рассказывал два часа подряд, и роман со всеми его героями уже жил, облеченный в плоть и кровь.

О Толлере — человеке и художнике — написано много. Но об одной, главной беде этого писателя, столь щедрого на выдумку, у которого слова так легко и изящно слетали с уст и из-под клавиш пишущей машинки, — не сказал никто. Его беда была в том, что он был слишком чуток, слишком альтруистичен, в своем активном человеколюбии слишком щедро расходовал себя, и из-за этого не успел написать тех значительных произведений, которые уже жили в его мозгу. Какая досада, что этот «Демосфен» так и остался ненаписанным.

Мой друг Эрнст Толлер тратил слишком много душевных сил на других, чтобы думать о собственном творчестве. Он более чем кто-либо походил на свечу, горевшую с обоих концов.

ГЕНРИХ МАНН

к семидесятипятилетию

Среди всех немецких писателей, поставивших себе целью не только изображать наше столетие, но с помощью своих книг изменять его, он — самый значительный.

В начале века, когда повсюду господствовал чистый высокомерный эстетизм, он не побоялся превратить свои книги в политическое оружие, несколько не снижая при этом требовательности к своему искусству. «Флейты и кинжалы» — так называется сборник его новелл; все его произведения — флейты и кинжалы.

В его ранних книгах — в «Богинях», в «Погоне за любовью» — преобладает еще любование прекрасным, в более поздних уже царит равновесие, «Учитель Унрат», «Верно-подданный» пропитаны ядовитой насмешкой над своим временем, но, независимо от этого, люди и события в обоих романах обрисованы с такой полнотой, так интересны сами по себе, что совершенно обезвреженный «Учитель Унрат» послужил основой фильма «Голубой ангел». Кроме того, всех, кто не глух к голосу поэзии, увлечет гармоничность композиции «Маленького города», музыка, пронизывающая каждую фразу этого романа. Однако за этой гармонией звучит вызов на бой, брошенный писателем своей эпохе, тупой и мертвой, оживающей только на короткий

миг, когда чрезвычайное событие заставляет ее всколыхнуться.

Генрих Манн провидел Германию последнего десятилетия раньше и острее, чем мы все. Он показал ее, начиная с самых истоков, задолго до того, как она стала действительностью. И когда грянул великий ужас и всё оказалось совсем иным, чем мы это себе представляли, когда во всем мире начались удивительные и страшные перемены и перевороты, многие из нас растерялись и поддались панике. Но Генриха Манна ничто не могло сбить с его позиций. Непоколебимо отстаивал он свои убеждения — убеждения великого сердца и острого ума.

История движется зигзагами, история идет кружными путями, у истории есть время. У человека времени меньше. И если он хочет прожить большую жизнь и оставить после себя большие произведения, он не может позволить себе делать много зигзагов. Генрих Манн всегда шел только прямым путем, единственным непрерывным путем воинствующего гуманизма.

Мы все слышали и читали его великолепные, пылающие ненавистью речи, в которых он высмеивал варварство, обвинял его и клеймил в назидание будущим поколениям. Мы часто издаваемся над тем, как ничтожно влияние литературы; с особым удовольствием этим занимаются сами писатели. Я полагаю, что «литература» Генриха Манна оказала влияние, которое будет оценено и ценимо историей. Не случайно в решающие годы именно он подвергался самым ожесточенным нападкам и в фашистской прессе, и в печати Виши. Я и сейчас еще с горькой усмешкой вспоминаю об одной статье в вишійской печати, в которой на нас, эмигрантов, возлагалась главная вина за поражение Франции, и первое место в этой статье отводилось Генриху Манну, этому *vieux coquin*¹. Так что, по крайней мере, нацисты и французские фашисты чрезвычайно высоко оценили деятельность Генриха Манна и ее влияние.

Не надо, однако, думать, что Генрих Манн использовал годы изгнания только затем, чтобы показать все скверное и пагубное, чем было чревато его время. Наоборот, всем звериным мордам «фюреров», обступивших нас со всех сторон, он противопоставил образ подлинного вождя. Генрих

¹ Старому мошеннику (*франц.*).

Манн проявил себя как писатель, чья душа полна не только великой ненависти, но и великим благоговением и любовью. В своем мощном и широком романе-гобелене он, со всей искренностью большого сердца и со всей силой выдающегося ума, воссоздал жизнь и деяния настоящего вождя, создал для нас и для наших потомков образ мужа, Генриха Четвертого, короля Франции. И еще в том же большом романе он изобразил и историю любви, самую сильную и самую прекрасную из всех, написанных немецкими писателями нашего столетия. Это история романтической и реалистической любви Генриха Четвертого к Габриэли Д'Эстре.

Если бы в годы изгнания Генрих Манн создал только произведения, которые я сейчас перечислил, если бы в своем грандиозном романе, в превосходных речах и статьях, в своей автобиографии он ограничился только тем, что показал бы разум эпохи, то и этого, думаю, мне, было бы достаточно, ибо необходимо обладать величием и силой духа, чтобы среди изнуряющих нелепых превратностей изгнания создать подобные произведения. Так вот, если бы Генрих Манн в те годы проявил себя только в этих произведениях — то и тогда никакая эпоха не могла бы отказать ему в звании великого писателя. Однако он сделал нечто большее, он в личной жизни оставался большим человеком.

Когда положение дел во Франции приняло опасный оборот, когда преследователи окружили нас со всех сторон, когда мы стали досягаемы для злейших наших врагов, наконец, когда мы вынуждены были за несколько минут принять решение, Генрих Манн проявил такое мужество, как никто другой. Все мы жили тогда какой-то фантастической авантюристской жизнью. Генриха Манна удалось переправить в Марсель. Там мы встретились с ним в доме, где я скрывался, при обстоятельствах, которые должны были показаться ему странными, но для объяснений у меня уже не было времени. Наспех, в самых общих чертах, я изложил ему наш авантурный план бегства, требовавший очень крепких нервов и сил от всех его участников. Я вынужден был спросить Генриха Манна, которому уже минуло шестьдесят девять лет: «Готовы ли вы бросить все, что у вас есть, взвалить на себя рюкзак с самым необходимым, прошагать ночью тридцать километров по запретным дорогам и, наконец, погрузиться на чрезы-

чайню ненадежную моторную лодку? Как рассчитывает ее капитан, лодка, с риском быть в любой миг захваченной немецкими или итальянскими судами, сможет за семь — девять дней обогнуть побережье Испании и доставить нас в Лиссабон. Готовы ли вы, Генрих Манн, отправиться с нами?» Многие, которым я задавал тот же вопрос, отказывались, терялись, не решались. Шестидесятидевятилетний Генрих Манн, не колеблясь ни секунды, ответил — да. Впрочем, впоследствии ему пришлось принять еще много подобных решений. Пришлось пережить много приключений, выйти из многих нелепых ситуаций, к которым мы нисколько не были подготовлены нашим воспитанием. Никогда не забуду, как естественно и с каким безукоризненным достоинством, в противоположность очень многим, держался во всех этих ситуациях Генрих Манн.

Позднее, в стране, где он сейчас живет, ему пришлось претерпеть много невзгод, справиться со многими неприятностями, иногда трагическими, иногда трагикомическими. Я имею счастье близко знать Генриха Манна, и я видел, как он проходил сквозь все эти неприятности, — сдержанно, с достоинством, не соглашаясь ни на малейший компромисс, — и как все мелкое, что делалось вокруг, нисколько не задевало его.

В годы изгнания Генрих Манн стал еще выше. Большую литературу и большую жизнь творит этот семидесятипятилетний человек.

ФРИДРИХ ВОЛЬФ

К шестидесятилетию

1

Когда я познакомился с Фридрихом Вольфом, — это случилось в годы гитлеризма, в изгнании, — мне сразу бросилось в глаза единство человека и его творчества. Той же незамутненной свежестью, которая очаровывает зрителя в пьесах Вольфа, отмечено все, что он делает и говорит. Ему было под пятьдесят, когда мы впервые встретились, но он горел по-юношески революционным огнем, чуть ли не поребачески неумным желанием переделать мир из такого, какой он есть, в такой, каким он должен быть.

Настоящий шваб, хотя и не по рождению, Фридрих Вольф является литературным наследником Фридриха Шиллера, точнее, молодого Шиллера периода «Разбойников» и «Луизы Миллер». Смелая, бросающая вызов всем и вся работа Шиллера «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение» стала для Фридриха Вольфа заповедью, навсегда определившей его творчество.

Немногие умеют так, как он, перечеканить революционное мировоззрение в увлекательное театральное зрелище. У него врожденный талант драматурга, он выжимает из сюжета своих пьес самое существенное и, уверенно перемахивая через промежуточные ступеньки, смело рвется вперед от одной кульминации к другой, еще более напряженной. Фридрих Вольф так умеет вселить в сердца своих персонажей собственную искреннюю и пламенную веру в возможность лучшего устройства общества, что они и без слишком тщательной отделки обретают живую плоть и кровь.

Фридриха Вольфа отличает от большинства других немецких писателей нашего поколения то, что у него есть тонкое чувство сцены, умение вдохнуть стремительный ритм жизни в сценическое действие, талант избегать длинот. Он прирожденный драматург; уверенной рукой он лепит и мнет своих героев до тех пор, пока они не сливаются воедино со своей драматургической функцией. Это мастерство осталось бы на уровне ремесленного, будь оно самоцелью. Но оно не самоцель. Оно лишь средство, служащее тому, чтобы передать читателю и зрителю горячую любовь автора к справедливости, его страстное желание участвовать в созидании лучшего мира.

Иными словами, секрет воздействия пьес этого автора не в необычайной напряженности их сюжета и не в их отчетливой идейной направленности, а скорее в созвучии обоих этих свойств. Само действие становится носителем идеи; а идея, почти никогда не провозглашаемая декларативно, одухотворяет действующих лиц и их взаимоотношения. Так священный огонь души борца за справедливость прямо передается зрителю и заставляет его разделять четкие симпатии и антипатии автора.

Беликой любовью пронизано все, что создал Фридрих Вольф, его пьесы и его романы, которые, в сущности, не что иное, как пьесы, транспонированные в повествовательный жанр. Одной из своих пьес он предпослал в качестве эпиграфа статью I Конституции революционной Французской республики: «Целью человеческого общества является всеобщее счастье». Эта фраза вполне могла бы стать эпиграфом ко всем его произведениям. Идет ли речь о «Профессоре Мамлоке», выдающемся медике, изгоняемом с позором реакционерами, или о мятежных «Матросах из Катарро», или о жителях чешской деревни в романе «Двое на границе», или о преступных нацистах-чиновниках в больнице «Доктора Ваннера», или полуреволюционере Бомарше из одноименной пьесы, или о французских героях Сопротивления периода последней войны в драме «Патриоты», в сущности, во всех произведениях Ф. Вольфа существует лишь один герой — обездоленный, борющийся против своего угнетателя.

Фридрих Вольф однажды опубликовал теоретическую работу «Искусство — оружие!». Все его творчество — живое доказательство этого тезиса. Сегодня он так же молод, как после первой войны, когда на его долю выпал первый успех; и сегодня он еще нужнее, чем тогда.

Он — писатель, созвучный духу нашего времени.

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

К шестидесятилетию

Проследившая творческий путь Иоганнеса Р. Бехера, испытываешь удовлетворение.

Этот поэт и писатель всю жизнь писал об одном, он пел и поет о своей горячей любви к социализму, к государству бесклассового общества.

У меня перед глазами стоит, прислонившись к дверному косяку, очень юный и тоненький Иоганнес Р. Бехер — это было примерно в 1918 году. Он горячо спорит, отстаивая свое, наше дело. Я помню Бехера более позднего времени, когда он вдумчиво и неутомимо занимался подготовкой съезда писателей в Париже. Я помню и другого Бехера, поэта и деятеля культуры, в его московский период.

И всегда это был все тот же Бехер, и предмет его творчества был тот же.

Тем удивительнее, что форма его многочисленных произведений заметно менялась. Стихи молодого Бехера ломают привычные формы и обычную грамматику; долгий, последовательный путь ведет от этих стихов к строгим сонетам последних лет.

Проследивая этот путь, отмечая, как органично Иоганнес Р. Бехер сплавливал то, что было заложено в нем природой, с тем, что было ему созвучно в наследии великих, нельзя не ощутить глубокого уважения к этому человеку и уверенности в правоте его дела.

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ

К шестидесятипятилетию

Если мой друг Арнольд Цвейг бросит сейчас взгляд на свою прошлую жизнь, он, конечно, найдет, что ему посчастливилось больше, чем многим и многим его современникам. С ним случилось почти то же самое, что и со мной: многое, что в первый момент казалось нам бедствием, в конечном итоге принесло нам счастье.

Арнольд Цвейг был воспитан согласно тем тщательно продуманным принципам александрийцев, которые перед первой мировой войной называли «классическими». В огромном количестве вдаблывали в нас систематизированные знания, — некоторые из них были полезны, большинство бесполезно, и все призваны скрыть от нашего взора реальную жизнь. Нам втолковывали латинское изречение, что мы учимся не для школы, а для жизни; на деле же мы учились для школы, а вовсе не для жизни. Кроме того, нам умышленно прививали высокомерие, это древнее наследие гуманизма. Сверху вниз взирали мы на невежду и вполне понимали того учителя, который — первым из немцев — занялся критическим изучением Шекспира и осудил его, заявив, что он «скверно знал латынь и совсем не знал греческого».

Во всем, что касалось грамматики — немецкой, латинской, французской и греческой, — учителя наши шутить не любили. Мы обязаны были вы зубрить правила от альфы до омеги. Кроме того, нас учили непревзойденным способом анализировать художественные произведения: например,

изложить смысл гетевского стихотворения или сцены из Шиллера, подвергнув при этом деликатной критике погрешности поэта. Нас учили еще доказывать, в духе основных принципов «Лаокоона», почему прекрасна песнь «Одиссеи», и, наконец, составлять план к заданному сочинению по правилам, восходящим к античной традиции. Мы заучили много ненужного и бесполезного хлама, но зато научились и кое-чему весьма полезному для писателя: основательности и методичности.

А затем,— и это было наше счастье, мое и Арнольда Цвейга, вступивших в жизнь такими неподготовленными,— эта самая жизнь взялась за наше обучение, и мы прошли школу более суровую, чем гимназия. Жесточайшая действительность швыряла и трясла нас, покуда не вытрясла все наше гуманитарное высокомерие, она выбила всю чепуху, которой нам забили головы. Она отверзла нам глаза. «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения?» Мы знали это теоретически. Но нам, тем, кому пошел уже седьмой десяток, жизнь преподавала такой урок истории, который выпал на долю очень немногих поколений. И тогда-то мы сумели с наибольшей пользой применить те самые художественные приемы, которыми нас научили в школе. Арнольду Цвейгу было с самой ранней юности ясно, что он рожден писателем. Но самыми лучшими «годами учения» для писателя оказались все те перевороты, которые пришлось пережить немцу нашего поколения, да к тому же еще еврею по крови. В период иллюзорного мира и иллюзорного порядка, царивших перед первой мировой войной, Арнольд Цвейг усвоил много дисциплин, полезных каждому писателю. Сейчас их уже вряд ли кто-нибудь изучает. Но потом пришла первая мировая война, и вторая мировая война, и революция, и контрреволюция, и осуществленный на практике фашизм, и империализм, и осуществленный на практике социализм, и это заставило писателя отбросить все бесполезные знания и разумно использовать полезные.

Творчество Арнольда Цвейга служит образцовым примером того, какие преимущества дает писателю жизнь на великом рубеже двух эпох.

Начальной школой Арнольда Цвейга была вильгельмовская Германия с ее гимназиями и университетами. Он

научился там изысканно писать и, набив себе руку, написал много приятных вещей: новеллы и статьи, изящно-глубокомысленные безделушки, принесшие ему заслуженный успех, ибо они принадлежали к лучшему из того, что тогда писалось.

Но настоящим университетом Арнольда Цвейга оказалась мировая война. Она открыла ему глаза, она показала ему унтера Гришу, того самого Гришу, которого втянула в себя машина германской военной юстиции и германской военной политики. Война послала писателю Арнольду Цвейгу эту встречу. Она дала ему силы претворить судьбу унтера Гриши в один из символов, которые сохраняют значение и за пределами своей эпохи. Вначале этот Гриша предстает только как некий индивид, правда, очень реальный, — русский унтер, здоровый парень, с маленькими светло-серыми глазами, добродушный, вспыльчивый, раб своих страстей и инстинктов, впрочем, прирожденный солдат, любимец женщин. Но, возвышаясь над этим реальным образом, Гриша — тип Человека на войне, одного из сокока миллионов в солдатских шинелях, которые страдают, возмущаются и смиряются, — бессильной игрушки в руках власти имущих. И опять-таки, возвышаясь и над этим образом, Гриша, безо всяких авторских комментариев, только благодаря своей сущности и судьбе, становится олицетворением бедного, угнетенного, добродушного, невежественного и все же исполненного инстинктивной мудрости Человека, ибо словам этого романа присуща та сила, которая создала народные песни и народный эпос, сила, приумноженная художественным разумом мастера и реальной всепроникающей яростью потрясенного человека.

Появление этого первого большого немецкого эпоса о войне опередило его время, он толкал к выводам, к которым тогда пришли очень немногие, в нем изображалась война такой, какой в Германии ее видели еще только единицы. Сейчас «Гриша» читается как повествование о давным-давно ушедших временах, как роман исторический, но исторический в лучшем смысле этого слова. Ибо роман о солдате Грише — это действительно зеркало, и, отражая ушедшее десятилетие, оно отражает и наше, и каждый, кто прочтет сейчас эту книгу, скажет себе: да, именно так оно и было. И потому, что это было так, наступило все, что творится сегодня. Но если все, что казалось тогда крайней степенью варварства, кажется очень умеренным по сравне-

нию с варварством наших дней, то общая картина все же верна, и писатель, очевидец этого прошлого, сумел правильно воспринять и правильно изобразить и нашу современность.

Арнольд Цвейг — прирожденный эпический писатель, и когда смелый опыт с этим романом удался, он, разумеется, пошел дальше и принялся за осуществление своего смелого замысла, за создание «Человеческой комедии» эпохи первой мировой войны. За создание чего-то вроде поэтической энциклопедии этой войны. Большая часть его энциклопедии уже написана, написана в самое подходящее время и в правильной перспективе, когда пережитое еще живо стояло перед глазами писателя, но когда он глядел на него уже с определенной дистанции.

Сегодня мы можем сказать — да, большое, смелое произведение удалось.

Если бы Цвейг создал только свой грандиозный цикл романов, и этого, право же, было бы достаточно, чтобы творчество писателя предстало перед нами во всем своем богатстве. Но ведь он написал еще и другие значительные романы, например, прозаический эпос «Топор Вандсбека», где опять-таки мелкий, незначительный случай становится фокусом и исходящие из него лучи освещают всю структуру гитлеровского режима. Знаем мы и множество новелл Арнольда Цвейга, пьесы, короткие рассказы, большие и маленькие эссе, множество критических заметок о политических и литературных событиях, огромное количество речей, произнесенных по самым разным поводам.

Быть может, те или другие из этих «второстепенных произведений» остались незавершенными. Но в этом повинна не скудость писателя, а скорее чрезмерное обилие материала, перегрузившее некоторые его вещи.

Могу засвидетельствовать все сказанное на основании самых точных данных. Я с радостью и гордостью смею называть себя одним из близких друзей Арнольда Цвейга, и в качестве такового я часто имел возможность наблюдать, каким обилием материала он располагает. Просто наслаждение слушать, как он говорит о своих планах, как развивает сюжет нового романа. Мы видим тогда, как работает фантазия писателя, как возникает и растет живая жизнь. Этому счастливому писателю не приходится долго делать

наброски и планы, ему не приходится, задыхаясь от напряжения, накачивать свои произведения материалом, материал течет к нему сам. Сюжет его растет точно сам собой, ветви его сплетаются, он бурно устремляется вверх, дает новые ветви, но все объединено умом, упорядочивающим рассудком, знанием.

Неисчерпаемое обилие впечатлений позволило Арнольду Цвейгу понять, как многообразны люди; он с одинаковой уверенностью рисует и типическое, и особенное, и всегда у него в романе действует живой человек, и всегда его герой подчиняется логике напряженного и полного глубокого смысла действия. Творческая сила языка и широкая, глубокая образованность писателя находятся в постоянном взаимодействии и подсказывают ему в нужную минуту нужные слова.

Последний грандиозный переворот, крушение гитлеровской Германии, Арнольд Цвейг пережил, уже будучи зрелым человеком. Теперь, на пороге старости, он стал свидетелем последнего большого исторического явления нашего времени — возникновения новой угрозы миру и героических усилий этот мир сохранить. Пусть же Арнольду Цвейгу дано будет в расцвете его зрелой мудрости и сил изобразить эти новые явления и их смысл. Это больше, чем пожелание ко дню рождения, — это вера, основанная на глубочайшем сочувствии всему его творчеству.

КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

К немногим юношеским переживаниям, которые я помню и поныне в мельчайших подробностях, относятся глубокие чувства, испытанные мною при первом чтении великих произведений Льва Толстого. Реализм этих книг, ничего общего не имеющий с натурализмом, открыл мне тогда новую действительность. Поэтому с большим нетерпением взялся я за философские произведения писателя. И тем глубже разочаровал меня мистицизм этих книг, их туманные пророчества, столь чуждые осязаемой ясности художественных произведений писателя.

Позже я обнаружил, как часто теории великих писателей оказываются запутанными, насколько они отстают от

мыслей, заключенных в поэтических творениях этих писателей. Иной большой писатель старается внушить своим читателям, будто в произведении речь идет совсем не о том, что их в нем увлекло. Гете учил: «Твори, художник, не говори», — однако сам он очень много говорил, великого и значительного, но также и неясного, противоречивого, и не раз провозглашал эстетические принципы, полностью опровергаемые его произведениями. Фридрих Геббель в течение всей своей жизни мучительно старался показать своим почитателям, что они восхищаются не теми сторонами его таланта, которые достойны восхищения, и жаловался Эмилю Ку, своему последнему апостолу, что следует все время ходить вокруг читателей и слушателей с указкой, чтобы показать им, что, собственно, в его произведении является наиболее важным. Однако самыми живыми, самыми лучшими постановками его драм были те, которые осуществлялись режиссерами, вычеркивавшими как раз те места, которым сам автор придавал особое значение.

Классическим примером большого писателя, художественные произведения которого стоят много выше его философии и совершенно ей не соответствуют, является Лев Толстой. Стареющий Толстой, который надеялся увидеть свет во тьме, отрекся от своих ранних великих творений: «Войны и мира» и «Анны Карениной» — ибо они не соответствовали его более поздним эстетическим представлениям и казались ему плохим искусством. Но даже и после своего «прозрения» он написал вещи, не имеющие ничего общего с его философской теорией, скорее противоречащие ей. Читатель, свободный от предрассудков, очевидно, извлечет из «Хаджи-Мурата» идеи, которые явно выходят за пределы моральных норм Толстого.

Сущностью учения позднего Толстого является самый опасный тезис Евангелия: «Не противься злему». Но почти все плодотворное, живое наследие Толстого — это один горячий, увлеченный призыв: «Противьтесь злу!»

Величие Толстого в том, что его врожденный дар художника беспрестанно исправлял то, что искажало его «сознание». Его неподкупный глаз, его способность схватывать сущность чувствами и выражать ее словами позволили ему воссоздать действительность, законы которой не был в состоянии понять его разум.

Во время работы над этим моим двенадцатым романом я часто терял терпение и проклинал себя за то, что взялся за столь нелегкое дело. Но теперь, когда передо мной лежат английское и немецкое издания, я почти сожалею, что работа окончена; ибо среди тех часов, которые я провел за рабочим столом, было больше счастливых, чем досадных, мучительных.

Первый набросок был создан давным-давно, а точнее — двадцать лет назад. Прежде всего меня привлекла фигура и судьба писателя Бомарше. Этот человек поставил американцам оружие, что позволило им одержать победу в битве при Саратоге; он же написал «Фигаро», комедию, которая явилась прологом к французской революции.

Я чувствовал, что здесь многое взаимосвязано и что, если поставить Бомарше в центре событий, то можно, очевидно, показать всемирное значение американской революции и то, какую огромную роль она сыграла для судеб не только Западного континента, но и всего мира.

Сам по себе Бомарше был чрезвычайно притягательной фигурой; блистательно остроумный, вечно одержимый множеством, порой плодотворных, а порой никчемных, идей, на редкость талантливый, исполненный высоких идеалов, светский человек, тщеславный, падкий до денег, избалованный неслыханным везением и постоянно обманываемый, мечтающий о дворянском титуле, с пламенным вдохновением отстаивающий интересы буржуазии и угнетенных, постоянно превозносимый и высмеиваемый, сегодня — заключенный в тюрьму, завтра — окруженный лестью в своем дворце, чествуемый в театре, образцовый супруг и отец семейства, запутавшийся в сотне любовных связей, политик и делец, писатель мирового масштаба, при всем этом неизменно ветреный, легкомысленный, ослабленный, готовый на величайшие жертвы ради человечества и друзей и на любые плутни и обман ради личных интересов. Но прежде всего — это великий человек, чьи деяния невозможно вычеркнуть из летописи американской и французской революций.

Однако вскоре я понял, что если поставить в центре всех событий одного Бомарше, то мне удастся изобразить лишь малую долю того, что хотелось бы. Я хотел показать

взаимосвязь прогрессивного движения во Франции с борьбой за независимость Америки, изобразить американскую революцию в новом аспекте, такой, какой ее представляли себе прогрессивные европейцы той эпохи, дать американскую историю в рамках мировой истории. А для этого недостаточно было проследить в романе, каких трудов стоило Бомарше закупить оружие для восставших американцев и добиться союза Франции с Америкой. Мало было показать, какую выдающуюся роль в войне американцев за независимость сыграло поставленное Бомарше оружие; следовало ввести в роман бесчисленное множество других персонажей — французов и англичан, беспрестанно менять место действия, то и дело переносясь из Парижа в Версаль, а оттуда в Бостон и Филадельфию. К тому же, хотя между людьми, которых я собирался вывести в романе, и существовала глубокая внутренняя связь, встречались они между собой мало. Одним словом, мне не удалось создать стройный и увлекательный сюжет, который охватил бы все, что мне хотелось. Это потребовало бы не одного, а целой серии романов. Я отказался от своего первоначального замысла.

Уже позже, когда, изгнанный из Германии, я поселился во Франции, мне представилась возможность ближе взглянуть на французскую историю и на французов, особенно на тех, кого я изучал в пору работы над первым наброском романа о Бомарше. Все это были интересные люди, и облик их менялся, едва я связывал их деятельность с американской революцией. Они оказались совсем не такими, какими их рисуют популярные книги по истории. Так, Людовик Шестнадцатый представляется мне человеком тупым, но доброжелательным, каким-то чутьем угадывающим истину; его жизнь сложилась бы счастливо, родился он мелкопоместным дворянином, но волей божьей и предначертаньем злого рока ему суждено было стать абсолютным монархом Франции. Великое несчастье этого тучного молодого человека заключалось в том, что, восседая на троне, он занимал место, для которого совершенно не подходил. В остальном же он обладал хоть и ленивым, но довольно здравым умом. Единственный зрячий среди слепцов, он знает, что, снабжая Америку оружием, роет себе могилу, он — абсолютный монарх, постоянно вынужден делать то, чего не хочет, и не делать того, что хотелось бы. Я испытывал к этому Людовику особую симпатию, так как знаком с его антиподом,

несчастливым наследником одного очень крупного дела, который здравствует по сей день. Впрочем, у меня был друг — настоящий Бомарше; несколько лет тому назад он умер, ему посчастливилось больше, чем Бомарше, дожившему до печальной старости.

Самые разнообразные персонажи пестрой толпой обступали меня со всех сторон и очень скоро из ничего не говорящих имен превращались в живых людей. Достоянная любви, в сущности, с неплохими задатками, но испорченная Мария-Антуанетта; величественная и угловатая, словно подросток, она верила, что ей предначертано решать чужие судьбы и управлять всеми вокруг, а на самом деле была марионеткой то в руках своих фаворитов, то Вениамина Франклина или Бомарше; министры Людовика, на редкость умные и непроходимо глупые, элегантные и падкие до сенсаций, эрудиты, острословы, вольнодумцы, полные предрассудков; актеры Французского театра, в большинстве страстные приверженцы Америки, и прежде всего возлюбленная Бомарше, очаровательная Дезире Менар, эмансипированная, трезвая и одновременно романтическая, дитя парижских улиц, попавшая в аристократическую среду и всем сердцем рвущаяся к таким же, как она, простолюдинам. Тут и придворные дамы и господа, живописные, легкомысленные, глубоко испорченные, в высшей степени элегантные, настолько пресыщенные, что им отныне доступна одна лишь радость: подпиливать сук, на котором они сидят. Тут и юный, восторженный, тщеславный Лафайет, под влиянием генерала Вашингтона и американской действительности из честолюбивого авантюриста ставший храбрым мужем. И, конечно же, старец Вольтер, поражающий своим искрометным умом, страстно ненавидящий суеверие и несправедливость, но при этом напичканный предрассудками, настолько тщеславный, что он сократил себе жизнь ради того, чтобы еще раз упиться славой, — человек, больше чем кто бы то ни было другой способствовавший распространению идей разума, на которых зиждилась затем американская революция, великий муж, чей образ уже не оставит писателя в покое, если тому показалось, что он постиг его сокровенную суть.

Все эти люди стали для меня теперь, во Франции, куда более живыми и близкими, чем прежде, и постепенно я преодолел также сложность сюжета. Я обнаружил, что едва я сконцентрировал все внимание на основных, самых

важных событиях, — а именно, на отношении Франции к Америке, — между персонажами возникли отношения, представлявшие даже внешний интерес, что позволило построить хотя и непростой, но все же четкий, обозримый и увлекательный сюжет. Правда, мне пришлось себя ограничить и со вздохом сожаления пройти мимо бесчисленных эпизодов, которые меня соблазняли, и еще до того, как я приступил к написанию романа, я вынужден был отказаться от изображения десятков любопытнейших людей, образы которых я хотел создать и уже частично создал. Но потом все пошло легче. Мои французы постепенно становились для меня живыми людьми, какими я и хотел их видеть, а неподатливый, на первый взгляд запутанный сюжет мало-помалу приобрел стройность и динамичность.

Но была еще одна, главная трудность. В огромной фреске, как раз посередине, оставалось большое белое пятно, тягостная пустота, которую нельзя было не заметить. Трудность эта имела свое лицо и имя, она называлась: Вениамин Франклин.

Имеется огромное количество биографий Франклина, о каждом периоде его жизни существует обширная литература. Среди этих книг встречаются превосходные биографии, в которых отчетливо видны все черты его характера — все порознь. Но в них остается неясным, что именно делает фигуру Вениамина Франклина столь привлекательной. События его жизни не особенно красочны. У большинства выдающихся личностей восемнадцатого столетия были куда более яркие судьбы. От Франклина, при всей его человечности, веет некоторым холодком. Каким бы привлекательным он себя ни выказывал, его святая святых остается сокрытой и недоступна даже для самого пронзительного глаза. С Франклином так или иначе общалось огромное число людей, однако создается впечатление, что он хотя и пользовался глубоким уважением, но не был любим. Хотя он стоял в центре крайне драматических событий, писатели очень редко выводили его в своих романах и пьесах, и никогда образ его не был достаточно убедительным. Для своих сограждан в Филадельфии он всегда оставался тревожно-загадочным, он был для них слишком чужим, космополитичным. И в Париже, как ни велика была его популярность, он, представитель нового, страстно желанного, но все же совершенно иного мира,

оставался самым чужим из чужеземцев. При всем своем космополитизме, Франклин оставался американцем, человеком, овеванным воздухом новой, огромной, первобытной части света. Что-то от этой отчужденности сохранилось и в отношении потомков к великому американцу.

Я понял: не постигнув Франклина, нельзя постигнуть Америку, которая в те времена подобно сильному, свежему ветру ворвалась в затхлую атмосферу Европы. Я пытался проникнуть в суть этого великого человека многими путями. Мне это не удалось. Однако я, по крайней мере, вскоре уяснил причину своей неудачи. Если американцы не смогли достоверно изобразить его ни в прозе, ни в драматургии, то это объяснялось тем, что Франклину было присуще многое, что в состоянии понять лишь европеец; если же смотреть на доктора Франклина глазами европейца, то в этом человеке и для последующих поколений, как в свое время для парижан, оставалось много загадочного — чисто американского. В то время я мог смотреть на Франклина лишь глазами европейца, я не видел его всего целиком, а для моего романа мне нужен был цельный образ человека. И я вторично отказался от идеи написать роман.

И вот теперь, в результате всех моих трагических перипетий, я вновь вспомнил о своем прежнем замысле. Я жил во Франции, когда туда вторглись нацисты. Оставалась одна надежда на освобождение: Америка. Меня самого американские друзья вызволили из концентрационного лагеря правительства Виши и переправили в Америку. Здесь мне открылась та истина, которую признали все руководящие деятели: западное полушарие может быть избавлено от угрозы фашизма лишь Европой, которая сначала сама избавится от Гитлера. Историческая связь обоих континентов, и в особенности Франции и Америки, благодаря моим собственным переживаниям стала для меня особенно зримой.

Поэтому меня вдвойне удивило, как мало на западном побережье океана знают об участии Франции в американской революции. Конечно, иногда можно было прочесть, что американская революция не смогла бы победить без материальной и идейной помощи со стороны Франции, при случае президент Рузвельт также не забывал упомянуть о французском «ленд-лизе» того времени, но сведения об истинных размерах оказанной французами помощи отсут-

ствовали, и сама мысль о ее решающем значении не проникла в сознание американской нации. Столь же мало было известно в Европе о том огромном влиянии, которое оказал на вдохновителей французской революции практический пример американской революции. Пожалуй, лишь историки знали, что обе великие революции восемнадцатого столетия, американскую и французскую, можно понять, лишь постигнув тесную связь между ними. Но этот вывод, который мог бы быть столь полезным именно сегодня, в период борьбы за единый мир, является достоянием немногих, и уж никак не всеобщим.

Все пережитое и вот эти соображения буквально вынудили меня снова взяться за начатый было роман, который занимал меня целых пятнадцать лет. Теперь я воспринимал это как свой долг, как долг по отношению к Европе, где я чувствовал себя своим, и по отношению к Америке, где я нашел убежище.

Но мне по-прежнему недоставало главного героя: Вениамина Франклина. Все же я чувствовал, что здесь, в Америке, мне будет намного легче постичь этот все время ускользающий образ. Я снова углубился в изучение его трудов, стал перечитывать его биографии. Работа моя двигалась медленно; самым большим подспорьем для меня была отличная книга ван Дорена с ее богатой библиографией. Я шел по следам Франклина, искал немые свидетельства его деятельности, его портреты, воспоминания современников, первые издания его произведений на различных языках. Мне нужно было обрести свое видение Франклина, ясно представить его себе. И постепенно, шаг за шагом, дыша воздухом Америки, окунувшись в гущу американской действительности, сопереживая современную американскую историю, спор между партиями, конгрессом и правительством, между имущими и неимущими, я начал смотреть на Франклина и глазами американца. Я впервые осознал неслыханные трудности, с которыми приходилось сталкиваться этому великому человеку не только в Европе, но и в Америке. Я научился глядеть на него не только почтительными глазами парижан восемнадцатого столетия, но и критическими, завистливыми взорами ближних и самых близких к нему людей, а также полными ненависти глазами его коллег, тех самых коллег, без которых он не хотел обходиться, ибо они заставляли его замечать собственные ошибки и слабости.

Мне вспоминается день, когда я впервые совершенно отчетливо увидел перед собой старого Франклина. Это произошло, когда я получил первое французское издание его трудов, где фронтисписом служила гравюра Мартине, изображающая Франклина; на этой гравюре Франклин выглядел удивительно уродливым стариком; а внизу начертан возвышенный стих, принадлежащий перу друга и переводчика Франклина Дюбура,— стих, в котором он приравнивает доктора к богам Древней Греции. С книги мягко и слегка иронично взглянул на меня своими огромными старческими глазами навывкате живой Франклин.

Во всяком случае, отныне он был со мной, тот Франклин, который был так нужен мне. Теперь я мог смотреть на него глазами европейца и достаточно долго прожил в Америке, чтобы воспринимать его с точки зрения американца. Я считал, что у меня есть все внутренние предпосылки для смелой, или, если угодно, дерзкой попытки описать предопределенную судьбой связь между Америкой и Европой, которая столь символически проявилась в годы революции.

Я знал, что работа над романом потребует огромного труда. Дело было не в глубоком изучении истории,— не оно затягивало и затрудняло работу, а стремление изобразить сложные события так, чтобы они превратились в увлекательное, наглядное повествование и чтобы вместе с тем стали ясны смысл и значение отдельных на первый взгляд бессмысленных эпизодов.

Я думаю, что читатель, которого в историческом романе привлекает смена ярких и занимательных событий и превращение ничего не говорящих ему имен в живых, полнокровных людей, останется доволен. Он увидит Людовика Шестнадцатого, трогательного в своей беспомощности и добродушии, и Франклина — отнюдь не идеального героя, который и делает и говорит такое, что никак не вяжется с обычным представлением о великом человеке, Франклина, у которого много человеческих слабостей, но который, возможно, именно благодаря этим слабостям в конце концов покажется читателю более великим, чем он ему казался до чтения моей книги. Возможно, он, читатель, к концу романа признает эффектного и тщеславного Бомарше достойным любви и даже великим человеком.

Я надеюсь, что и самый взыскательный читатель не будет разочарован. Ему потребуется немного терпения, прежде чем он во многих историях, из которых соткан

роман, распознает единую Историю и проникнет в суть книги. Вероятно, сначала его смутит перенасыщенность романа разными персонажами. Возможно, он сначала решит, что главный герой романа — Бомарше, затем — что это Франклин, позднее — что это королевская чета или, наконец, Вольтер или Лафайет. Но если он прочтет книгу без предвзятости и с некоторым доверием к автору, то в самом конце узнает, что ни один из этих персонажей не является главным героем. Героем книги является прежде всего *прогресс*. В романе речь идет не о Франклине или о Бомарше, а о смысле исторических событий.

Я хотел передать, насколько тесно переплелись между собой американские и европейские события, случайное с тщательно запланированным и необходимое с, казалось бы, случайным. Мне хотелось также показать, что история стремится к определенным целям, даже если идет запутанными путями. И я надеялся заразить читателя моей собственной верой, моей научной убежденностью, что есть свой смысл и в безудержном потоке исторических событий, даже если этот смысл нельзя постигнуть немедленно. Я мечтал показать, что прогресс — это больше чем пустая фраза, что разум присутствует и в кажущихся неразумными событиях, если только их правильно истолковать и расставить в должном порядке.

Моя книга исполнена любви и ненависти к Франции и к Америке, в ней много большой любви и много небольшой ненависти, но в ней есть честное стремление автора к объективному пониманию происходящего. Я думаю, что работа над этой книгой помогла мне лучше понять целый ряд современных событий. Для тех, кто прочтет эту книгу так, как мне хотелось бы, многое из того, что герои моего романа говорят и делают, приобретет волнующую актуальность.

Я уже, кажется, упоминал, что работа над этой книгой принесла мне много огорчений, но также и огромнейшую, почти религиозную радость. Она укрепила во мне веру в то, что естествоиспытатель именуется «развитием», священник — «провидением», а та историческая школа, убежденным приверженцем которой я всегда был, называет «прогрессом» или «живой историей». Я надеюсь, что это радостное познание хоть в какой-то мере передастся и читателю.

В связи с русским изданием собрания моих сочинений я хотел бы сказать моим советским читателям, как много я им обязан.

Отношение между книгой и автором становится иным в тот момент, когда писатель признает свое произведение законченным и готовым к печати. Хотя подлинный художник творит сообразно внутреннему закону, который он никак не должен нарушать, он все же может в процессе работы производить всякого рода эксперименты с героями и событиями, вносить в них различные изменения. Он — творец, а они — его будущие создания, они глина, которую он может месить как угодно, в зависимости от своих настроений, от чувств ненависти и любви. Но как только его произведение закончено и выпущено в свет — все эти люди и события выходят из-под его власти. Они начинают жить самостоятельно, они действуют, их образ связывается в сознании сотен тысяч людей с другими образами, изменяется, порождает новую жизнь, новые создания и события. Когда автор позже сталкивается со своими героями и вещами, они зачастую смотрят на него отчужденно, они изменились точно так же, как и он сам изменился с годами.

Эту самостоятельность созданного писателем мира, эту независимость творения от своего творца я с наибольшей ясностью и волнением осознал при встрече с советскими читателями. Я увидел, что герои моих произведений совершенно изменились в сознании моих советских читателей. Это заставило меня взглянуть на мои собственные создания иными глазами, подобно тому как смотрят новыми глазами на ребенка, которого давно не видели. Так при этой встрече я по-новому осознал свои прежние творения, по-новому осознал и самого себя.

В жизни буржуазии литература является не более как высокоразрядным времяпрепровождением, она — предмет роскоши, она не несет жизненно важной функции. Литературу любят, от нее не хотели бы отказаться, но буржуа любит и покупает книги, подобно тому как он обзаводится собакой или кошкой. До войны буржуа, как только он дорывался до денег, обставлял в своей квартире одну комнату получше и называл ее гостиной. В этой хорошей комнате не жили. Она служила для шика, в ней принимали гостей. Такую же роль играет литература в обиходе капи-

талистического общества. Искусство и наука — это гостиная в доме буржуазии.

В жизни советского гражданина литература — предмет повседневного потребления. Советский читатель видит в писателе знатока души, и он в нем нуждается, как во враче или как в инструкторе физкультуры. Для читателя капиталистического мира герои книг являются куклами, шахматными фигурами, которыми он забавляется в часы досуга. Для советского читателя они — реальные существа. Они оцениваются не по одной только своей «красоте» или приятному нраву, но и по своему соответствию действительности. Когда люди, изображенные в книге, сталкиваются с советским читателем, они должны себя оправдать, они должны показать, насколько они действительно реальны.

Это была одна из важнейших истин, которую я обрел при своей встрече с советскими читателями. Когда мне приходилось отвечать на их иной раз довольно безжалостные вопросы о моих книгах и героях, я понял, как хрупки некоторые из моих собственных образов, как капризны и произвольны некоторые судьбы, описанные мною в книгах. Но я также понял и причины этой хрупкости и нашел источник ошибок. Мне удалось яснее осмыслить путь, который я прошел, и я осознал закономерность в развитии моей писательской работы.

Теперь я твердо знаю, что мое литературное развитие определили два крупных события: переживания империалистической войны и впечатления от социалистического общества в Советском Союзе. Оба эти переживания помогли мне освободиться от известных предубеждений того класса, в среде которого я родился и прожил большую часть жизни.

Когда я сегодня обзираю свое творчество, то с благодарностью признаю, что моя судьба вовремя предостерегла меня от опасного эстетизма, научила приводить в правильное соотношение форму и содержание. Я с благодарностью сознаю, что линия моего драматического и эпического творчества нарастает в своей идейной значительности и что в этом развитии сыграло роль существование социалистического общества.

С этой точки зрения, в соответствии с развитием основных идей автора, можно без труда разбить на группы написанные мною романы. Три книги пытаются изобразить

конфликт индивидуума с современным ему обществом, бунт высокоразвитой личности против общественного строя, становящегося все более и более бессмысленным. Это романы «Еврей Зюсс», «Безобразная герцогиня», «Лже-Нерон». Далее следует трилогия «Иосиф», из которой написаны две книги: «Иудейская война» и «Сыновья». Эта трилогия старается изобразить конфликт между национализмом и космополитизмом. Вопрос идет о том, чтобы показать, что человек может быть одновременно и национально настроенным, и космополитом. В понимании и этой проблемы мне много помогло разрешение национального вопроса в Советском Союзе. Наконец, тетралогия «Мы — немцы двадцатого века», из которой пока написаны два романа — «Успех» и «Семья Оппенгейм». Над третьим романом, «Изгнание», я сейчас работаю. Уверенность в том, что я смогу написать и заключительный, четвертый роман — «Возвращение», я черпаю в факте существования мощного Советского Союза.

Остается еще сказать несколько слов о моей писательской технике. Выработанная мною техника исторического романа вызвала много споров, ей часто подражали, но ее редко понимали. Здесь не место распространяться о том, почему я, в соответствии со своей манерой воспринимать людей и события, временами бываю вынужден изображать современную действительность в форме исторического романа. Я это делаю именно потому, что стремлюсь воспроизвести картину возможно точнее. Скажу, что это индивидуальный метод, присущий только данному автору. Стало быть, механическое подражание ему должно привести к ошибочным результатам, и нельзя отсюда вывести общие, пригодные для всех, законы писательской техники. Однако я признаю, что, особенно в первых моих двух исторических романах, мне вполне удалось избежать той игры фантазии, в которую вовлекает этот метод, что я, таким образом, иной раз поддавался соблазну эстетизма, вкусовщины. В первых двух книгах можно найти следы того, что в Советском Союзе называют формализмом. (Разрешите мне при этом заметить, что, по моему мнению, в Советском Союзе иной раз злоупотребляют этим понятием формализма и что это преувеличение влечет за собой опасность вторжения в сокровенную область художника.)

Я думаю, что сейчас я в состоянии оказать гораздо более сильное противодействие соблазнам формализма, чем

раньше. Мне кажется, что я нашел способ определять, насколько данное произведение (или часть его) является художественным. Во все времена «чистые» эстеты считались только с мнением знатоков. Реакцией на этот односторонний взгляд, естественно, явилась мысль, что право на жизнь имеет только такая книга, которая способна захватить народ, массы. А я полагаю, что произведение, которое притязает быть подлинным творением искусства, должно получить признание и знатоков и массы. То, что удовлетворяет массы, но не удовлетворяет знатоков, создано из слишком дешевого материала и поэтому недолговечно. Произведение, волнующее только знатоков, а не массы, действует исключительно благодаря своей форме, а не содержанию и поэтому также недолговечно. На долговечность может претендовать лишь произведение, волнующее и массы и знатоков. Встреча с советскими читателями утвердила меня и в этой мысли.

Среди всех собраний моих сочинений в настоящем, русском, издании материал расположен наиболее разумным образом. Я надеюсь, что встреча советских читателей с этим изданием принесет им столько же пользы и радости, сколько принесла мне моя встреча с ними, и что это издание, таким образом, будет содействовать укреплению и улучшению того прекрасного нового мира, который помогли создать советские читатели.

Лион Фейхтвангер

ПРИМЕЧАНИЯ

МУДРОСТЬ ЧУДАКА

Роман «Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо» завершает цикл романов, посвященных эпохе Великой французской революции, своеобразную трилогию, в которую входят «Лисы в винограднике» и «Гойя». Впервые именно здесь — в романе о великом просветителе Руссо (1712—1778) — изображены непосредственно события революции, восставший народ, творящий историю.

Публикация романа в 1952 г. сразу же возбудила большой интерес и одновременно вызвала споры. Сомнения и возражения читателей и критиков прежде всего относились к тем главам романа, где изображена жена Руссо, Тереза Левассер, и особенно та роковая роль, которую она якобы сыграла в гибели Руссо. При этом произошло любопытное совпадение: почти одновременно с романом Фейхтвангера в Берлине был издан роман Ганса Вилле «Спутница жизни», посвященный именно Терезе Левассер и изображавший ее как преданную подругу великого писателя.

На страницах известного библиографического журнала ГДР «Биржевой листок немецкой книжной торговли» развернулся оживленный обмен мнений о романе Фейхтвангера (декабрь 1953 г.— март 1954 г.). В ответ на письмо одного из читателей, опубликованное в журнале, Фейхтвангер дал свои разъяснения. Возникшие споры он связывает прежде всего с общим вопросом о соотношении исторического романа и документальной истории. Романист, по мнению Фейхтвангера, имеет свои задачи, отличные от задач историка, и сталкивается с особыми трудностями, когда воссоздает ту или иную эпоху. В связи с этим Фейхтвангер напоминает о том, что он написал в послесловии к роману «Лисы в винограднике» (см. т. 11 настоящего собрания сочинений).

Что касается образа Терезы Левассер, то писатель действительно изобразил ее моложе своих лет (на самом деле Тереза родилась в 1721 г.), а молодого Жирардена представил одним из ее любовников, что не находит подтверждения в исторических материалах. Но писатель решительно возражает, когда его упрекают в искажении облика Терезы. Сама по себе характеристика подруги Руссо, по словам Фейхтвангера, полностью соответствует воспоминаниям тех, кто знал ее близко, и свидетельствам таких выдающихся современников, как Дидро, Вольтер, М. Гримм. «Я не знаю книги Г.-Ю. Вилле,— писал Фейхтвангер,— но я не могу себе представить, чтобы ему удалось убедительно обосновать какими-либо историческими документами свою попытку спасти честь Терезы».

Фейхтвангер опирался, главным образом, на большой фактический материал, приведенный в исследовании французского ученого Густава Ленотра «Конец Терезы Левассер» (Париж, 1926). Насильственную смерть Руссо, как ее изображает писатель, нельзя считать установленным фактом. Однако версия эта не является плодом только художественного вымысла.

В названной работе Г. Ленотра, в частности, отмечено, что общепринятый взгляд на причины смерти Руссо базируется на показаниях единственного свидетеля — Терезы. Другие свидетельства разноречивы (слышали крик, даже выстрел, распространялись слухи о самоубийстве и т. п.). Когда владелец поместья Жирарден появился в домике Руссо, он уже не застал его в живых и опять-таки полностью доверился рассказу Терезы.

Можно согласиться с Фейхтвангером в том, что маркиз Рене-Луи Жирарден, предоставивший великому писателю последнее убежище, меньше всего был склонен к объективному расследованию всех этих слухов.

В связи с этим заслуживает упоминания брошюра, изданная его сыном, Станиславом Жирарденом, уже в конце жизни под таким заглавием — «Послание Станислава Жирардена, адресованное М. Мюссе-Патэ по поводу смерти Ж.-Ж. Руссо» (Эрменонвиль, 8 июня 1824 г.).

Знаменателен уже самый факт, что Жирарден вынужден был вернуться к событиям полувековой давности и вновь доказывать, что Руссо умер естественной смертью при обстоятельствах, которые были сообщены Терезой. Биографы XIX в. продолжали не доверять этому свидетельству.

В «Мемуарах Станислава Жирардена» (Париж, 1828), изданных посмертно, вновь подробно изложена история смерти Ж.-Ж. Руссо в опровержение доводов его биографа М. Мюссе-Патэ и предпо-

жений мадам де Сталь, известной французской писательницы начала XIX в., считавшей, что Руссо покончил жизнь самоубийством. Кстати, в этих «Мемуарах» дана весьма нелестная оценка поведения Терезы Левассер после смерти Руссо. Жирарден сообщает здесь кратко о связи ее с одним из слуг отца, англичанином Джоном, которого пришлось удалить из Эрменонвиля (у Фейхтвангера он носит имя Николас).

О том, насколько распространены были разные легенды о смерти Руссо, можно судить и по книге А. И. Герцена «С того берега». В первой главе ее А. И. Герцен передает разговор, услышанный около дома Руссо в Монморанси: «Говорят, что он даже ускорил минуту покоя... на этот раз Сократ сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности».

Там же весьма неодобрительно говорится о Терезе, которая «стигивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила его с последними друзьями» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. VI, М. 1955, стр. 87—88).

Разумеется, значение исторического романа не определяется абсолютной точностью отдельных фактов, в нем изображенных. Один из участников дискуссии на страницах «Биржевого листка», Хельмут Рудольф, справедливо отметил, что создание образа Терезы отнюдь не является главной проблемой романа. Правдивость романа — в изображении социального прогресса, в мастерской передаче того, как переплетались идеи Руссо и ход революционных событий (см. вступительную статью Б. Сучкова к тому 1 настоящего собрания сочинений).

Описание пребывания Руссо в Эрменонвиле составляет как бы развернутую экспозицию романа, завершающуюся гибелью Руссо. Эти бытовые картины, нарочито подчеркнутая непривлекательность будничной прозы, окружавшей великого мыслителя (вот почему так подробно выписан образ Терезы), нужны мастеру исторического романа для того, чтобы тем контрастнее и ярче подчеркнуть величие славы Руссо, «преображение» его идей в потоке революционных событий.

Существенно важен для всей концепции романа образ Фернана Жирардена. Здесь еще менее обоснованы попытки критиковать Фейхтвангера за отступление от исторических фактов, например, высчитывать, сколько лет было младшему Жирардену в год смерти Руссо и в начале революции, и т. д. Перед нами художественный образ, весьма актуальный прежде всего для XX в., — образ человека, порывающего со старым миром и проходящего нелегкий путь приобщения к новому.

Естественно, что писатель обратился к историческому Жирандену, но важнее, чем отдельные детали, были для него приметы эпохи, отразившиеся в истории этого семейства.

Характерно, например, что старший из Жиранденов — маркиз Рене-Луи (1735—1808) опубликовал во время революции «Рассуждение о необходимости волеизъявления народного для ратификации законов». Его сын, Луи-Станислав (1762—1827), был депутатом и председателем Законодательного собрания (1792), выезжал с дипломатическим поручением в Англию, вернулся в Париж в январе 1793 г., был арестован, освобожден уже после 9 термидора, занимал ряд постов при Консульстве и Империи. Его младший брат, Александр-Луи (1776—1855), находился на военно-морской службе, в том числе в заморских владениях Франции в Сан-Доминго, позднее принимал участие в наполеоновских походах в Германию, Италию, Россию.

Так по-разному члены семейства Жиранденов были вовлечены в ход современных событий, и образы, нарисованные Фейхтвангером, понятны в свете именно этого главного факта. Биографические детали писатель группирует в соответствии со своим основным замыслом — ярче и полнее передать приметы времени и отражение в жизни героев величия переживаемой ими эпохи. Образ Фернана Жирандена поэтому — собирательный образ, не совпадающий полностью ни с одним из реальных Жиранденов.

Общим замыслом романа определяются и те отступления от хронологии и перегруппировка событий, которые имеют место в финале романа.

В романе Фейхтвангера изображена церемония перенесения праха Руссо, во время которой Робеспьер произносит речь. Эта речь очень важна для понимания замысла Фейхтвангера, в ней выразительно раскрывается главная для него тема: Руссо и революция.

Но дело в том, что торжественное перенесение праха Руссо в Пантеон состоялось спустя два с половиной месяца после термидора — 11 октября 1794 г. На празднике в полном составе присутствовал Конвент, но Робеспьера уже не было в живых — он был казнен 27 июля 1794 г. Более того, в речи председателя Конвента Камбасареса некоторые цитаты из Руссо звучали полемически, были направлены против Робеспьера.

Вымышленная Фейхтвангером речь Робеспьера составлена на основе многочисленных высказываний последнего о Руссо и в этом смысле отражает позицию якобинцев.

Нетрудно объяснить, почему Фейхтвангеру понадобилось такое отступление от фактов. В романе о посмертной славе Руссо невоз-

можно было умолчать о таком событии, как перенесение праха Руссо. Но Фейхтвангер прекрасно понимал, что подлинным революционным руссоистом был Робеспьер и его соратники, а не термидорианцы. Перенесение праха при якобинцах не состоялось по тому, что кто-либо сомневался в великих заслугах Руссо, но в Конвенте сначала возникли разногласия о том, что более достойно памяти Руссо: перенести его в Пантеон или превратить в национальную святыню Остров тополей в Эрменонвиле, где Руссо был похоронен. Решение о перенесении праха было вынесено Конвентом 14 апреля 1794 г. (то есть при Робеспьере), и разработка плана была поручена Комитету по народному образованию. 24 мая 1794 г. этот вопрос снова обсуждался в Конвенте. 8 июня состоялся по инициативе Робеспьера Праздник Верховного Существа, который также был связан с культом Руссо. Подготовка этого праздника на какое-то время замедлила организацию перенесения праха. Таким образом, фактические неточности в романе по-своему очень обоснованны, продиктованы идейным и художественным замыслом.

Роман публикуется по тексту издательства «Ауфбау».

Стр. 7. *Последние дни Жан-Жака.*— Действие романа начинается весной 1778 г. Жан-Жак Руссо прибыл в Эрменонвиль в середине мая и умер здесь 2 июля 1778 г.

Из слепых слепые...— Эпиграф взят из стихотворения немецкого поэта Гёльдерлина «Рейн» (1808).

Лебег де Прель Ашиль-Гильом (1735—1807) — французский врач, друг Руссо. Вскоре после смерти писателя Лебег опубликовал «Сообщение о последних днях Жан-Жака Руссо» (1778).

...служил в Люневиле при дворе польского короля...— В Люневиле находилась резиденция Станислава Лещинского (1677—1766), занимавшего польский престол с 1704 по 1709 г. После 1735 г. он окончательно отказался от своих претензий на польский престол, но сохранил королевский титул и, будучи тестем Людовика XV, поселился во Франции, где получил в пожизненное владение герцогства Лотарингское и Варское.

Стр. 8. *Сам Жан-Жак вот уже много лет снова жил в Париже...*— Руссо приехал в Париж в июне 1770 г. и жил на улице Плятриер под негласным надзором полиции, которая запретила ему публичные выступления.

Стр. 10. *Кларанский рай.*— Кларан — селение в Швейцарии, на берегу Женевского озера — место действия сентиментального романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Стр. 11. *...небольшой оперы Жан-Жака «Деревенский колдун»*...— Руссо был известен и как композитор. Кроме песен, ему принадлежит несколько опер, среди которых «Деревенский колдун» (поставленный в 1752 г.) пользовался наибольшим успехом.

Стр. 13. *В английских колониях Америки*...— Речь идет об освободительной войне английских колоний в Северной Америке за независимость (1775—1783), приведшей к образованию США. См. примечания к роману «Лисы в винограднике» (т. 11 настоящего собрания сочинений).

Стр. 22. *«Диалоги. Руссо — судья Жан-Жака»* — дополнение к «Исповеди», написанное Руссо в 1775—1776 гг.

Стр. 23. *Франсуа Дюси (1733—1816)* — писатель, пропагандист Шекспира. Умеренный сторонник революции, к концу жизни приветствовал реставрацию.

Стр. 27. *Тридцать шесть лет назад*...— Руссо впервые приехал в Париж в 1714 г.

Стр. 31. *«Лес Монморанси»*.— В лесу Монморанси в Эрми-таже — на вилле своей почитательницы г-жи д'Эпина Руссо жил в 1756—1757 гг. Здесь был написан его роман «Новая Элоиза».

Стр. 37. *Геснер Соломон (1730—1788)* — швейцарский поэт, писавший по-немецки. Его чувствительные «Идиллии» (1756) пользовались тогда в Европе большой популярностью.

Стр. 42. *Польская конституция*.— Руссо принадлежал проект реформы государственного устройства Польши («Соображения по поводу правления в Польше», 1771). Проект был написан по предложению графа М. Вьельгорского, представлявшего интересы польской шляхты. Руссо при этом получил неточные односторонние сведения о положении в Польше, в частности, он не учел, что антимонархические настроения шляхты носили консервативный характер.

Да и создание Корсиканской конституции...— По просьбе двух корсиканских политических деятелей Руссо дал согласие написать проект Конституции для свободного государства Корсики и начал работу над ним в 1765 г. Руссо даже лелеял планы переселиться на Корсику (см. «Исповедь», ч. II, кн. 12). В 1768 г. остров Корсика, находившийся до того под властью Генуи, был включен в состав Франции; независимость Корсики отстоять не удалось. В силу этого, а также из-за новых преследований и многочисленных переездов Руссо не осуществил своего проекта. Незавершенный проект Корсиканской конституции был опубликован только в 1861 г.

Стр. 43. *Ликург* — полулегендарный законодатель древней Спарты (IX в. до н. э.).

Стр. 58. *...с тех пор, как король заключил этот союз*...— Во время войны за независимость США удалось использовать проти-

воречия и соперничество между Англией и Францией. 6 февраля 1778 г. в Париже был подписан американо-французский договор, по условиям которого Франция обязалась защищать свободу, суверенитет и независимость США до признания их Англией.

Война за польское наследство (1733—1735) — см. т. 11, стр. 924.

...пруссский король Фридрих одержал победу под Росбахом и Крефельдом...— Речь идет о победах пруссаков над французами во время Семилетней войны (1756—1763).

Стр. 59. *...сражался на стороне бостонцев за чай и свободу...*— Бостонцы первыми начали борьбу против английского господства (см. прим. к стр. 13). В декабре 1773 г. они выбросили в море большую партию чая, привезенную на английских судах (так называемое «Бостонское чаепитие»).

Стр. 80. *Среди них были величайшие мужи своего времени...*— После приезда в Париж в 1741 г. Руссо сблизился с передовыми литературными и философскими кругами, с создателями знаменитой «Энциклопедии» (1751—1772) — прежде всего с Дидро, Д'Аламбером, Мельхиором Гриммом (см. т. 11, стр. 916). Руссо написал ряд статей для первых томов «Энциклопедии» (главным образом о музыке). В 1758 г., после своего известного «Письма к Д'Аламберу о театральных представлениях», Руссо окончательно порвал с энциклопедистами, а также с Вольтером.

Стр. 94. *...подобно епископу из Туля, попали пальцем в небо...*— Епископы из Туля в течение 300 лет (XIII—XVI вв.) вели ожесточенную борьбу со своими горожанами, неоднократно терпели позорные поражения и постоянно подвергались их насмешкам.

Стр. 103. *Мартин Катру* — вымышленный герой. Это имя в справочниках по истории Французской революции не упоминается.

Стр. 112. *...услышал он о смерти Вольтера...*— Вольтер умер 30 мая 1778 г., вскоре после своего триумфального возвращения в Париж и чествования во время представления его трагедии «Ирина».

Стр. 113. *...застарелая вражда вытеснила все остальные чувства.*— В основе конфликта между Вольтером и Руссо лежало много причин. Главная из них — коренные расхождения в их философских, социальных и политических воззрениях. Для Вольтера были неприемлемы радикальные взгляды, выраженные в сочинениях Руссо, в частности, в его трактате «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства среди людей».

Стр. 114. *Я пишу о своих прогулках...*— «Прогулки одинокого мечтателя» (1776—1778) — последнее произведение Руссо. Оно осталось незаконченным.

Стр. 118. *Рейналь Гильом-Томас-Франсуа* (1713—1796) — фран-

цузский историк, энциклопедист, автор известной «Философской и политической истории учреждений и торговли в обеих Индиях».

Стр. 119. *«Человек рожден свободным...»* — С этих слов начинается «Общественный договор». Далее Робеспьер цитирует слова Руссо из того же произведения.

Стр. 121. *«Жизнь посвятить истине»*. — Это изречение древнеримского поэта Ювенала (сатира IV) было взято Руссо в качестве основного девиза «Исповеди».

Стр. 136. *Дамьена тоже четверговали*. — Дамьен Робер, по профессии лакей, совершил в январе 1757 г. покушение на жизнь Людовика XV, легко ранив его ножом.

Стр. 149. *Среди приезжих, прибывших на погребенье, находился и тот молодой студент-юрист из Арраса...* — Присутствие Робеспьера на похоронах Руссо историческими источниками не подтверждается.

Стр. 151. *...Дидро подал ему знаменитую идею...* — Летом 1749 г. Руссо навещал Дидро во время его заключения в Венсенской тюрьме. По дороге туда он прочел объявление о конкурсе Дижонской Академии на тему: «Способствовало ли развитие наук и искусств порче или очищению нравов?», и Дидро посоветовал ему принять участие в конкурсе. Трактат Руссо «Рассуждение о науках и искусствах» получил премию Дижонской Академии и сразу принес автору широкую известность.

Стр. 161. *Пастор Мульту Поль-Клод* — священник, друг Руссо. У него на хранении находилась рукопись «Исповеди», которую Руссо, опасаясь происков своих врагов, передал ему в апреле 1778 г.

Стр. 162. *Милорд маршал*. — Речь идет о Джордже Кейте (1693—1778), губернаторе Невшателя и друге Руссо, шотландском офицере на службе Пруссии, под властью которой находился тогда Невшатель. Руссо пишет о нем в «Исповеди» (ч. II, кн. 12). После возвращения на родину в 1759 г. Кейт назначил Руссо пенсию.

Стр. 179. *Сиреневая лига* — кружок друзей и приближенных королевы Марии-Антуанетты.

Стр. 181. *Спустя несколько дней к главным воротам Эрменонвиля действительно подъехала королева...* — Поездка королевы в Эрменонвиль действительно имела место.

Стр. 202. *Жан-Мишель Моро (1741—1814)* — известный французский художник-график и гравер, член Французской Академии.

Стр. 204. *«Опыт жизнеописания Сенеки»*. — Свой «Опыт жизнеописания философа Сенеки, о его сочинениях и о царствованиях Клавдия и Нерона» Дидро опубликовал в 1778 г.

...римский император Иосиф Второй... — Иосиф II (1741—1790). в 1765—1780 гг. — соправитель своей матери, императрицы Марии-

Терезии, в 1780—1790 гг.— император так называемой «Священной Римской империи германской нации». Своими реформами, частично направленными против церкви и феодального дворянства, создавал в XVIII в. иллюзии «просвещенного абсолютизма».

Стр. 205. *Филемон и Бавкида* — герои античной легенды, символ супружеской верности и любви.

Стр. 211. *Менений Агриппа* — римский патриций. В 494 г. до н. э., когда восставшие римские плебеи удалились на Палатин, он успокоил их, рассказав известную басню о заспоривших между собой членах человеческого организма, сравнив последний с государством.

Стр. 220. *Сан-Доминго* — колония Франции. Франция владела тогда западной частью острова Сан-Доминго в Карибском море. Восточная его часть принадлежала Испании. Центром французской колонии был главный город северной провинции Кап-Франсэ.

Стр. 235. «*Утешения*». — Сборник «Утешения в невзгодах моей жизни», состоящий из девяноста пяти романсов, музыку к которым написал Руссо, вышел после смерти писателя, в 1781 г.

Стр. 246. *Джефферсон*. — См. том 11, стр. 917.

Стр. 271. *Общество друзей чернокожих* — возникло в 1788 г. по образцу английского Общества уничтожения рабства. Наряду с представителями буржуазной интеллигенции в него входил ряд промышленников и финансистов, заинтересованных в свободной торговле и рабочей силе. В отличие от Колониального комитета, куда входили влиятельные аристократы — богатейшие землевладельцы и рабовладельцы колоний, Общество друзей чернокожих пропагандировало идеи освобождения рабов и уравнивания цветных в правах с белыми.

Стр. 272. *Луи-Мишель Лепелеттье* (1760—1793) — видный деятель революции, депутат Конвента, был близок якобинцам. Убит 20 января 1793 г.

Стр. 275. *Венсан Оже* — историческая личность. После своего возвращения из Парижа 21 октября 1790 г. встал во главе восстания нескольких сотен мулатов. Был казнен после разгрома восставших и выдачи его испанским губернатором французам.

Стр. 297. *Шаплен* Венсан (1757—1818) — депутат Конвента, а позднее — Совета Пятисот от Вандеи.

Стр. 300. *Буйи Жан-Николас* (1763—1842) — французский лирик и драматург.

Стр. 301. *Евриклея* — персонаж «Одиссеи» Гомера, няня, выкормившая Одиссея.

Марфа — персонаж из Евангелия, сестра воскресшего Лазаря. Имя ее стало нарицательным для женщины, целиком занятой домашними хлопотами.

Стр. 302. *Законодательное собрание* — пришло на смену Учредительному собранию. Начало свои заседания 1 октября 1791 г.

Стр. 316. *Они поехали в Эрменонвиль на могилу учителя...* — Этот факт документами не подтверждается.

Стр. 317. *«Савойский викарий»*. — «Исповедь савойского викария» составляет часть романа «Эмиль». В этом отрывке Руссо выступил в защиту свободы совести.

Стр. 325. *Король большинством в один голос был приговорен к смерти*. — На самом деле большинство составляло не один, а пятьдесят три голоса (триста восемьдесят семь против трехсот тридцати четырех). Кроме того, из трехсот тридцати четырех депутатов часть высказалась за смертную казнь короля условно.

Стр. 345. *«Наполеон во время своего посещения Эрменонвиля...»* — Эпиграф взят из «Мемуаров» Станислава Жирардена (ч. 5).

«...победа буржуазии означала тогда...» — слова К. Маркса из работы «Буржуазия и контрреволюция». К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 6, стр. 115.

Стр. 347. *Флориан Жан-Пьер-Кларис* — автор пасторальных романов, поэт и баснописец. Наиболее известен поэмой в прозе «Нума Помпилий» (1786). При якобинцах был арестован как роялист, но его спас от казни термидорианский переворот.

Робер Виже. — По-видимому, имеется в виду французский поэт Виже Луи-Жан-Батист (1768—1820).

Стр. 348. *«Монитор»* — «Монитор универсель», газета, основанная в Париже в 1789 г. и ставшая полуофициальным органом нового революционного правительства.

Стр. 349. *«Митридат»* — трагедия Расина (1673).

Стр. 354. *«Значит, смерть нам — ничто...»* — Лукреций, «О природе вещей», кн. III, ст. 830—831.

Стр. 356. *«Ибо, как в мрачных потемках...»* — Лукреций, кн. III, ст. 87—90.

Стр. 361. *Цинциннат* — римский полководец времен Республики, имя его стало символом республиканской доблести.

Стр. 365. *...распевая хор фурий...* — хор из оперы Глюка «Орфей».

Стр. 377. *«Гений и безумие...»* — строки из поэмы английского поэта Джона Драйдена (1631—1700) «Авессалом и Ахитофель» (ч. I).

Стр. 397. *«Ты, из потемок таких дерзнувший...»* — Лукреций, кн. III, ст. 1 и далее.

Стр. 399. *Через несколько дней было объявлено...* — На самом деле перенесение праха Руссо в Пантеон состоялось 11 октября 1794 г. (см. преамбулу).

С. Тураев

РАССКАЗЫ

Первый рассказ Фейхтвангера, «Карнавал в Ферраре», был напечатан в 1908 г., затем, занятый театром, драматургией, а позднее — работой над романами, Фейхтвангер лишь после двадцатипятилетнего перерыва возвращается к жанру новеллы; все три сборника его рассказов («Марианна в Индии и семь других рассказов», Париж, «Europäischer Merkur», 1934; «Венеция (Техас) и четырнадцать других рассказов», Нью-Йорк, «Auroga-Verlag», 1946; «Одиссей и свиньи», Берлин, «Aufbau», 1950) изданы уже в годы эмиграции. Рассказы в настоящем томе расположены в порядке, установленном автором.

Новелла Фейхтвангера обладает подлинным своеобразием: автор отказывается от замедляющих действие разговоров, от подробного описания «состояний души» (которое занимает большое место в новеллах Томаса Манна или Бруно Франка), он создает жанр точного, краткого и действенного рассказа.

ОДИССЕЙ И СВИНЬИ, ИЛИ О НЕУДОБСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Рассказ напечатан в 1948 г. в журнале «Ost und West», № 5. По-русски печатается впервые. Образ спутника Одиссея, превращенного в свинью и не желающего возвращаться в человеческий облик, заимствован из поэмы Никколо Макиавелли «Золотой осел».

Стр. 415. *Муза, поведай...*— Здесь, как и во многих других местах рассказа, Фейхтвангер использует цитаты и перифразы из «Одиссеи» Гомера.

Стр. 419. *Гомер — это означало: «спутник»...*— произвольное позднеантичное толкование, связывающее имя Гомера со словом «тёгос» — часть.

Стр. 423. *Кратёр* — сосуд для смешивания вина с водой.

ДОМ НА ЗЕЛЕНОЙ УЛИЦЕ

Рассказ напечатан в сборнике 1946 г. По-русски печатается впервые.

Стр. 441. *Филон* из Александрии (30 г. до н. э.— 45 г. н. э.) — выдающийся античный мыслитель, по происхождению иудей.

Стр. 443. *Церковь германских христиан* — была создана в 1932 г. пронацистскими элементами, чтобы сломить сопротивление протестантов, объединившихся вокруг движения так называемой «исповедальной церкви». «Исповедальная церковь», руководимая выдающимся немецким пацифистом Мартином Нимеллером (род. в 1892 г., ныне Лауреат международной Ленинской премии мира), отказывалась признавать национал-социализм «божьим откровением», открыто боролась против нацистских расовых законов. В 1937 г. М. Нимеллер был заключен в концлагерь Заксенгаузен, позднее переведен в Дахау, где находился до 1945 г. Движение «немецких христиан», не имевшее серьезной опоры в народе, вынуждены были распустить сами нацисты (в 1936 г.).

РАССКАЗ О ФИЗИОЛОГЕ ДОКТОРЕ Б.

Рассказ напечатан в сборнике 1934 г. По-русски печатается впервые.

ВЕРНЫЙ ПЕТЕР

Впервые — в сборнике 1946 г. По-русски рассказ публиковался в сборнике «Немецкая новелла XX века», Гослитиздат, 1962.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ГОСПОДИНА ХАНЗИКЕ

Впервые — в сборнике 1934 г. По-русски рассказ напечатан в журнале «Интернациональная литература», 1935, № 1.

ТЕТЯ ВРУША

Впервые — в сборнике 1946 г. По-русски ранее не печаталось.

Стр. 472. *Боксерское восстание* — антиимпериалистическое народное движение в Китае (1900—1901), направленное против иностранного господства.

ПАРИ

Впервые — в сборнике 1946 г. На русском языке рассказ ранее не публиковался.

Стр. 481. *Ниобея* — царица Фив; она объявила себя — мать четырнадцати детей — счастливей Латоны — матери двух детей, Аполлона и Артемиды; разгневанные боги истребили детей Ниобеи.

Поликратов перстень.— Геродот рассказывает о правителе острова Самос Поликрате, счастье которого было столь баснословно, что возбудило зависть богов. Чтобы умиловить олимпийцев, Поликрат бросил в море свой драгоценный перстень.

К Е Л Ь Н Е Р А Н Т О Н И О

Впервые — в сборнике 1946 г. По-русски рассказ напечатался в сокращенном виде в журнале «Огонек», 1956, № 16.

М А Р И А Н Н А В И Н Д И И

Впервые — в сборнике 1934 г. По-русски впервые напечатано в книге «Два рассказа» («Библиотека «Огонек», 1936, № 30 (945)).

Стр. 496. *Уоррен Гастингс* (1732—1818) — первый английский генерал-губернатор Индии. Вел успешную политику колониальных захватов и положил начало полному подчинению Индии британской короне. Однако его политика вызвала недовольство парламента, и в 1784 г. Гастингс был отозван из Индии и предан суду. Процесс длился семь лет и, несмотря на оправдательный приговор, разорил Гастингса.

В О Л Ъ Ш Т Е Й Н

Впервые — в сборнике 1946 г. По-русски ранее не печаталось.

П О С Л Е С Е З О Н А

Впервые — в сборнике 1934 г. На русском языке печаталось в книге «Два рассказа», 1936 г.

Стр. 532. *Ульрика фон Левецов* (1804—1899) — девушка редкой красоты, в которую влюбился семидесятилетний Гёте. Родители девушки отвергли предложение поэта; однако Ульрика ни тогда, ни позже так и не вышла замуж. Вдохновленные этой поздней любовью стихотворения Гёте (в том числе знаменитая «Марнебургская элегия», 1823) принадлежат к шедеврам немецкой и мировой лирики.

«В Е Н Е Ц И Я (Т Е Х А С)»

Впервые — в сборнике 1946 г. На русском языке ранее не печаталось.

Стр. 553. *Эмерсон* Ральф Уолдо (1803—1882) — выдающийся американский философ; его гуманистические идеи оказали и продолжают оказывать большое воздействие на американскую литературу.

Впервые печаталось в издававшемся Фейхтвангером журнале «Der Spiegel» в 1908 г. На русский язык ранее не переводилось.

Стр. 556. ...*брат герцога кардинал Ипполито*.— Ипполито I д'Эсте (1479—1520), кардинал, младший брат феррарского герцога Альфонсо I, принадлежал к знатному роду, получившему в XV в. герцогский титул; Эсте владели Феррарой, Моденой и Реджио; при их дворе жили поэты Боярдо, Ариосто и Тассо. По словам современников, Ипполито отличался образованностью и утонченной жестокостью.

Герцогиня Лукреция Борджа (1480—1519) — была дочерью папы Александра VI и сестрой Цезаря Борджа, с которыми она вступила в кровосмесительную связь, опозорившую семью Борджа. В 1501 г. была выдана замуж (в третий раз) за герцога Феррары Альфонсо II. Ее красоту воспел Ариосто в поэме «Неистовый Роланд».

Стр. 558. *Джулия Фарнезе* — сестра кардинала Александра Фарнезе, любовница папы Александра VI.

П Е П

Книга американских стихотворений Дж.-Л. Уетчика

Работая над пьесой «Нефтяные острова» (1924), Фейхтвангер одно время хотел выдать ее за произведение американского автора. Тогда же в газете «Берлинер тагеблатт» стали появляться стихи американца Дж.-Л. Уетчика. «Л. Уетчик» следует читать как «Л. Фейхтвангер» (английское «wet cheek», как и немецкое «feuchte Wange», означает «мокрая щека»). Стихи имели успех, Фейхтвангер отказался от мысли ввести их в пьесу в виде вставных «номеров», и в 1928 г. стихотворения Дж.-Л. Уетчика выходят отдельным изданием.

«Моя Америка была страной Уолта Уитмена, Готорна, Драйзера и Марка Твена», — писал позднее Фейхтвангер. У.-Б. Смит, герой этих стихотворений, — «близнец Бэббита».

Много лет спустя с фальшивыми бумагами на имя Дж.-Л. Уетчика Фейхтвангеру удалось получить свободный транзит через Испанию Франко и спасти свою жизнь от нацистов.

С Т А Т Ь И

Фейхтвангер впервые получил признание как литературный и театральный критик. Еще в студенческие годы он пишет работу о прозе Гейне, до сих пор сохранившую научное значение. Окон-

чив университет, Фейхтвангер становится постоянным сотрудником передового еженедельника «Die Schaubühne». Здесь с 1909 по 1916 г. регулярно появляются его статьи; необычайная широта кругозора молодого критика (об античной и древнеиндийской драме Фейхтвангер пишет с таким же знанием дела, как о последней премьере Мюнхенского театра), его борьба против официальной помпезности и модного эстетизма, блеск и точность его стиля сразу привлекли к нему внимание. Фейхтвангер одним из первых оценил новаторство Деблина и позднее — Брехта. В годы эмиграции на страницах антифашистских журналов «Die Sammlung» (Амстердам), «Das Wort» (Москва), «Die neue Weltbühne» (Прага) Фейхтвангер отстаивает концепцию активного гуманизма, который, в его понимании, все более и более сближается с социалистической мыслью. Наконец, особую ценность имеют автокомментарии писателя к своим произведениям (от ранней пьесы «Уоррен Гастингс», 1916, до романа «Лисы в виноградунике», 1948), раскрывающие их замысел и творческую историю.

Почти все статьи Л. Фейхтвангера (кроме статей «Бертольт Брехт», «Смысл и бессмыслица исторического романа» и обращения «К моим советским читателям») печатаются по-русски впервые.

ПЕРЕЖИВАНИЕ И ДРАМА

Впервые — в еженедельнике «Die Schaubühne», 1909, 18 февраля, № 7.

Стр. 575. *Стефан Георге* (1868—1933) — немецкий поэт, в сборниках «Год души» (1897) и «Ковер жизни» (1900) проявилось его большое лирическое дарование. Как символист Георге вызывал иронию и недоверие у писателей нового поколения (Фейхтвангер, Брехт).

Пауль Эрнст (1866—1933) — немецкий писатель, автор новелл и трагедий на исторические темы («Брунгильда», 1909; «Ариадна на Наксосе», 1912).

Стр. 576. «*Димитрий*» («Дмитрий Самозванец») — последняя незаконченная драма Шиллера. Впоследствии ее пытались завершить Гёте, Фридрих Геббель, Отто Людвиг (1813—1865).

...поэтов-неоромантиков... — Термин «неоромантизм» применялся для обозначения тех направлений в литературе и искусстве конца XIX в., которые порывали с бытовым правдоподобием, придавали особое значение лиризму выражения; подчас эстетизировали прошлое. Выдающимся и наиболее характерным представителем неоромантизма был австрийский поэт Гуго фон Гофмансталь (1874—1929).

Конрад Фердинанд Мейер (1825—1898) — немецко-швейцарский новеллист и поэт. Мейера как мастера чеканной прозы часто сравнивают с Флобером; ранняя проза Фейхтвангера создавалась под несомненным влиянием Мейера.

Ведекинд Франк (1864—1918) — немецкий драматург, стихи и драмы которого впоследствии высоко ценил Брехт, смело обращался к самым «запретным» темам, бросая вызов буржуазной морали.

Стр. 577. *Ярл Скуле, Хокон Хоконсон* — герои драмы Ибсена «Борьба за престол» (1864).

Император Карл у Гауптмана... — Речь идет о драме «Заложник императора Карла» (1908), повествующей о любви престарелого императора Карла Великого к шестнадцатилетней девушке.

Стр. 578. *Грильпарцер Франц* (1791—1872) — классик австрийской литературы, автор трагедий «Сафо», «Медая», «Праматерь» (переведена в 1908 г. Александром Блоком).

Гервинус Готфрид Георг (1805—1871) — известный литературовед, автор пятитомной «Истории поэтической национальной литературы немецкого народа» (1835—1842) и монографии о Шекспире (1849—1850, четыре тома).

Драматург должен заключать в себе «dynamis» всего человеческого, лишь тогда он сможет сделать свою драму энтелехией всего человеческого. — Здесь Фейхтвангер использует идеи и термины философского учения Аристотеля, согласно которому любая возможность, потенция (греч. «dynamis») сама по себе пассивна. Для того чтобы стать действительностью, она нуждается в активном и целобразующем начале, «энтелехии» (греч.). В тексте Фейхтвангера «энтелехия» означает — «активная сила».

Он должен быть королем от головы до пят... — крылатое выражение, принадлежащее Шекспиру («Король Лир», акт IV, сцена 6).

Стр. 579. *...Ибсен сочинил свой эпилог...* — Речь идет о последней пьесе Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899), имеющей подзаголовок «Драматический эпилог».

Наполеон... в эрфуртской беседе с Гёте... расхваливал «Вертера». — Аудиенция Гёте у Наполеона состоялась в Эрфурте в 1807 г. Император рассказал Гёте, что «Вертер» его любимый роман; эту книгу он брал с собой в Египетский поход. Однако Наполеон не одобрял самоубийство Вертера.

Ученик Тальма не мог допустить... — Любимым актером Наполеона I был трагик Франсуа-Жозеф Тальма (1763—1826), у которого он брал уроки декламации. В день упомянутой Фейхтвангером эрфуртской встречи Наполеона и Гёте Тальма выступил в роли

Цезаря в драме Вольтера; на этом спектакле, по желанию Наполеона, присутствовали коронованные властители всех германских государств.

Баумгартен Александр Готлиб (1714—1762) — немецкий философ, видный представитель немецкого Просвещения. Для обозначения науки о прекрасном Баумгартен создал новый термин: «эстетика». Автор большой работы под этим заглавием (два тома, 1750—1758).

Стр. 580. *«Погоня за любовью»* (1903) и *«Земля обетованная»* (1900) — ранние романы Генриха Манна.

Бильзе Франц-Освальд (точные даты жизни неизвестны) — прусский офицер, служивший в заштатном городке. Обладая мелким и мстительным самолюбием, Бильзе вывел своих сослуживцев и начальников в карикатурном виде в романе *«Маленький гарнизон»* (1903), изданном под псевдонимом. Книга имела шумный, но непрочный успех. После появления *«Будденброков»* недоброжелатели Томаса Манна сравнивали его с Бильзе, распространяли по Любеку списки, где указывалось, кто и под каким именем изображен в романе. Томас Манн ответил статьей *«Бильзе и я»* (1906).

Стр. 582. *«Клавиго»* (1774) — трагедия Гёте, которую сам автор считал неудачей.

Эрнст Поссарт (1841—1921) — известный немецкий актер, исполнитель ролей Яго, Мефистофеля, тайный советник и генеральный интендант Мюнхенского придворного театра. Фейхтвангер считал искусство Поссарта нескреним и помпезным.

Стр. 583. *Гримельсгаузен* Ганс Якоб Кристофель фон (1622—1676) — великий немецкий писатель. Из его сочинений наиболее известны романы *«Приключения Симплициссимуса»* (1668) и *«Побродяга Кураж»* (1669); этот роман позднее послужил основой знаменитой драмы Брехта.

А К Т Е Р С К О Е И С К У С С Т В О И Р Е Л И Г И О З Н О С Т Ь

Впервые — в еженедельнике *«Die Schaubühne»*, 1909, 25 ноября, № 48.

Стр. 584. *Петер Альтенберг* (настоящее имя — Рихард Энглендер, 1859—1919) — австрийский писатель, автор изящных и легкомысленных прозаических миниатюр, беглых зарисовок с натуры, афоризмов (*«Как я вижу»*, 1896; *«Сказки жизни»*, 1908).

...во времена *«монастырской войны»* Эмиля Комба. — Французский премьер Эмиль Комб (1835—1921) (возглавлял правительство в 1902—1905 гг.) был воинствующим противником церкви, закрывал монастыри, добился разрыва отношений с Ватиканом.

Стр. 585. ...*религии, легчайшим и крепчайшим из всех уз*...— По-латыни слово «*religio*» значит «узы», «связывающие пути».

Когда при Ироде... были введены греческие игры...— В царствование Ирода I (40—4 гг. до н. э.), который подражал римским правителям, в Иудее воздвигались театры, устраивались игры и состязания.

Татиан — христианский богослов и писатель (II в.).

Стр. 586. *Готшед* Иоганн Кристоф (1700—1766) — писатель и ученый, автор одной из первых немецких трагедий; опубликовал репертуарный сборник для немецкого театра.

Скалигер Юлий-Цезарь (1484—1558) — французский гуманист, автор «Поэтики» (издана в 1561 г.), где впервые изложена теория «трех единств».

Стр. 586. *Сэмюэль Джонсон* (1709—1784) — английский писатель, автор трагедий, стихов, сатир и классического «Словаря английского языка» (1755), не утратившего значения до наших дней. Убедительный защитник классицизма, пропагандист назидательной поэзии. Был самым авторитетным литературным критиком своего времени.

Иоганн Элиас Шлегель (1719—1749) — поэт и литературный критик.

Гарве Христиан (1742—1798) — немецкий философ эпохи Просвещения.

Александр... сжег Персеполис.— В 330 г. до н. э. Александр Македонский сжег резиденцию персидских царей в Персеполисе, так как там находились рельефы, прославляющие победы персов над греками.

Стр. 587. *Элагабал* (Гелиогабал) — имя, которое принял четырнадцатилетний Варий Авит Бассиан, когда солдаты провозгласили его римским цезарем. За четыре года правления (218—222) Гелиогабал показал себя таким кровавым деспотом, что легионеры взбунтовались и убили его.

Росций Америкский.— Фейхтвангер путает двух подзащитных молодого Цицерона: Квинта Росция Галла (ок. 130—62 гг. до н. э.), выдающегося актера древности, и ложно обвиненного в убийстве Росция из провинциального городка Америки.

Рейнхардт Макс (настоящая фамилия Гольдман, 1873—1943) — выдающийся немецкий режиссер, директор Немецкого театра в Берлине и создатель Камерного театра. После прихода Гитлера к власти эмигрировал сначала в Австрию, потом в США, где и умер.

Иоанн Лейденский.— Под этим именем вошел в историю Иоганн Бокельсон (1509—1536), отважный последователь Мюнцера,

вождь революционных анабаптистов. Проповедуя идеи равенства, анабаптисты считали себя осуществителями библейских заветов: сам Иоанн Лейденский именовался «царем Нового Сиона», его помощники — «старейшинами колен Израилевых». Именно эту «театральную» черту движения имеет в виду Фейхтвангер.

«Немая из Портичи»...— опера французского композитора Даниеля-Франсуа-Эспри Обера (1782—1871), написанная в 1828 г. (тема оперы — народное восстание неаполитанских рыбаков против испанского владычества в XVI в.). Премьера оперы в Брюсселе (1830) вылилась в политическую манифестацию и послужила прологом к восстанию, провозгласившему независимость Бельгии.

Постановка «Венецианского купца» воспрепятствовала принятию билля о возвращении евреев.— Евреи были изгнаны из Англии указом короля Эдуарда I, изданным 18 июля 1290 г. Шестнадцать тысяч евреев вынуждены были покинуть Англию и бежать во Фландрию и Францию; немногим оставшимся было запрещено открыто исповедовать свою веру. В эпоху Шекспира уже раздавались голоса, требовавшие отмены этого указа (памфлет Леонарда Бушера, 1614, и др.). Однако вопрос был решен лишь в последние годы протектората Кромвеля, когда Англия в годы войны с Испанией сочла выгодным предоставить убежище испанским евреям (1656—1659).

Стр. 588. *«Привидения»* — одна из лучших драм Ибсена (1881), имела большой успех и на русской сцене.

Стр. 589. *Налет комедианства отпугнул от него Ницше.*— Фридрих Ницше в молодости был восторженным поклонником и близким другом Рихарда Вагнера, который высоко оценил книги Ницше «Рождение трагедии» (1872) и «Несвоевременные размышления» (1873—1876), где Вагнеру посвящены восторженные страницы. Однако в последующие годы произошел полный разрыв: Ницше не мог одобрить примирение бывшего вольнодумца Вагнера с христианской церковью, его превращение в придворного композитора баварских королей и знаменитые Байрейтские фестивали с их непомерной пышностью (начались с 1876 г.). Резкий отзыв Ницше о последней опере Вагнера «Парцифаль» (1882) привел к полному разрыву отношений. С этого времени Ницше выступает против помпезного искусства Вагнера, противопоставляя ему музыку Бизе (памфлет «Дело Вагнера», 1888; издан уже после смерти композитора).

Тертуллиан (160—220) — богослов и писатель. Фанатический проповедник христианской веры. Доказывал вред искусства в своих сочинениях «О зрелищах» и «О поклонении идолам».

Впервые — в еженедельнике «Die Schaubühne», 1910, 17 ноября, № 46.

Гуго фон Гофмансталь (1874—1929) — австрийский поэт и драматург, обладавший большим лирическим дарованием; его воздействие испытали Томас Манн и Рильке. Фейхтвангер не сочувствовал его эстетизму.

Стр. 591. *Александрийская критика*. — Александрийская школа критиков и филологов, сложившаяся в эпоху эллинизма (III—II вв. до н. э.), внимательно изучала Гомера и трагиков.

Шлемиль — имя героя известной повести Адальберта Шамиссо (1781—1838), ставшее нарицательным для обозначения неудачника.

Евбул (IV в. до н. э.) — комедиограф, один из авторов «средней аттической комедии», пародировавший миф и трагедию. Его сочинения до нас не дошли.

Марк Теренций Варрон (116—27 гг. до н. э.) — римский писатель и ученый; от его «Менипповых сатир» (жанр шутильной философской беседы, названный по имени философа III в. до н. э. Мениппа) до нас дошли фрагменты.

Сатировская драма замыкала трилогию трагедий; сам этот жанр называли «шутливой трагедией»: трагический хор здесь заменялся хором сатиров во главе с Силеном. «Сфинкс» Эсхила до нас не дошел.

Кадм (греч. миф) — герой, считавшийся основателем Фив. *Отпрыски Кадма, кадмеяне* — фиванцы.

Латинская школьная драма. — Фейхтвангер имеет в виду так называемые «школьные драмы», писавшиеся учениками или преподавателями школ в XVI—XVII вв. (первоначально на латинском, а позднее на национальных языках).

Силезская школа. — История немецкой литературы знает две поэтические группы, известные под названием «силезских школ» (кружок Мартина Опица, 1597—1639, или так называемая «первая силезская школа»; и кружок Христиана Гофмана фон Гофмансвальдау, 1617—1679, или «вторая силезская школа»). Как к первой, так и ко второй «силезской школе» принадлежали многие драматургии, в том числе Андреас Грифиус, Даниель Каспер фон Лозништейн и другие; но ни один из них к истории Эдипа в своем творчестве не обращался. Возможно, Фейхтвангер имеет в виду кого-либо из второстепенных поэтов «силезской школы». Не исключено также, что это ошибка памяти, так как Мартин Опиц, глава

«первой силезской школы», написал трагедию «Антигона» (1636, перевод из Софокла) на сюжет, заимствованный (как и история Эдипа) из фиванского цикла мифов.

Стр. 592. ...*пример аналитической драмы*.— В западной критике так именуется драма, в которой действие подчинено раскрытию какой-либо давней тайны (например, «Привидения» Ибсена).

Мойра — богиня судьбы (греч. миф.).

Hybris — «сверхчеловеческая гордость», которая в античных трагедиях обычно была причиной гибели героя.

Стр. 595. «*Эдип и Сфинкс*» (1906) и упоминаемый далее «*Царь Эдип*» (1909) — драмы Гофмансталя.

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА

Впервые — в еженедельнике «Die Schaubühne», 1911, 9 марта, № 10.

Стр. 598. *Рубек* — герой поздней драмы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1898), скульптор; он считает, что «на первом плане — произведение искусства, человек — на втором».

Герцогиня д'Асси — героиня трилогии Генриха Манна «Богини» (1902—1904).

Стр. 599. *Штейнрюк* Альберт (1872—1929) — прославился как актер в ролях Макбета, Яго, возчика Геншеля (в пьесе Г. Гауптмана), а также как талантливый режиссер. Штейнрюк принадлежал к числу актеров, создавших высокую репутацию мюнхенским театрам.

РОДОНАЧАЛЬНИЦА СОВРЕМЕННОГО ФЕЛЬЕТОНА

Впервые — в газете «Vossische Zeitung», 1913, 23 сентября.

Стр. 602. *Эмиль де Жирарден* (1806—1881) — французский публицист, издатель ряда газет и журналов.

Стр. 603. ...*раньше романа Бульвер-Литтона*...— Речь идет о романе английского писателя Э. Бульвер-Литтона (1803—1873) «Последний день Помпеи», который написан на ту же тему, что и стихи Дельфины Гэй.

Стр. 606. *Рахель Левин* (в замужестве Фарнгаген, 1774—1833) — жена литературного критика Фарнгагена фон Энзе (1785—1858), одна из самых образованных и обаятельных женщин своего времени. Дом Фарнгагенов был центром притяжения для писателей «Молодой Германии»; другом семьи был Гейне.

Впервые — в еженедельнике «Die Schaubühne», 1914, 15 октября, № 41. Фейхтвангеру принадлежит вольный перевод трагедии Эсхила (1917).

Стр. 606. *Персидские войны* (500—449 гг. до н. э.) — войны союза греческих городов-государств с персидской монархией, в которых греки отстаивали свою независимость; войны были прологом к расцвету греческой демократии и искусства.

Стр. 607. *...мы ненавидим Англию.* — Статья написана через три с лишним месяца после начала первой мировой войны.

Стр. 608. *Состязания трагических поэтов* — устраивались ежегодно в дни праздника Великих Дионисий (март — апрель по современному календарю).

Дарий Первый (годы правления 521—485 гг. до н. э.) и упоминаемый далее *Ксеркс* (585—465 гг. до н. э.) — персидские цари. *Атосса* — супруга Дария. Фейхтвангер сравнивает ее с императрицей *Евгенией* Монтихо (1826—1920), имевшей большое влияние на своего слабовольного мужа, Наполеона III.

Стр. 609. *Аристид* (540—468 гг. до н. э.) — греческий стратег и государственный деятель; еще в древности его имя стало олицетворением справедливости и неподкупной чести.

Йоганн Генрих Фосс (1751—1825) — немецкий поэт, которому принадлежат лучшие переводы «Илиады» (1793) и «Одиссеи» (1781).

Стр. 610. *Сенарий*, или ямбический триметр — шестистопный ямб, размер, которым написаны диалоги античных трагедий.

ВАСАНТАСЕНА

Впервые — в еженедельнике «Die Schaubühne», 1915, 22 июля, № 29.

Стр. 613. *Горацио Гейман Уилсон* (1786—1860) — английский врач, служивший в Ост-Индской компании, в 1819 г. напечатал первый в Европе словарь санскрита. Позднее выпустил «Избранные образцы индийского театра» (1826—1827) в своих переводах.

Стр. 615. *...гетера в аттическом понимании...* — Гетерами в Греции назывались женщины, ведущие свободный образ жизни. Многие гетеры пользовались уважением в обществе (например, Фрина или Аспазия, ставшая супругой Перикла), были знамениты своими музыкальными или литературными дарованиями.

Стр. 616. ...*Олоферна Геббеля и Олоферна Нестроя*...— Библейская легенда рассказывает об ассирийском полководце Олоферне, который должен был уничтожить Израиль, но был убит еврейкой Юдифью. Эта легенда, неоднократно увлекавшая художников и поэтов (Джулио Романо, Пушкина, Геббеля, написавшего трагедию «Юдифь»), стала поводом для веселой пародии австрийского драматурга Нестроя (1801—1852) «Юдифь и Олоферн».

«В И Ш Н Е В Ы Й С А Д»

Впервые в еженедельнике «Die Schaubühne», 1916, 23 августа, № 34.

Стр. 617. *Германия — это Гамлет*...— начальные слова стихотворения «Гамлет» немецкого поэта Ф. Фрейлиграта (1810—1867).

Стр. 624. *Юст* — персонаж драмы Лессинга «Минна фон Барнхельм», верный слуга майора Телльхейма.

Стр. 625. *Герман Банг* (1858—1912) — датский писатель, мастер лирической прозы.

Кайзерлинг Эдуард фон, граф (1855—1918) — немецкий писатель. Фейхтвангер ценил «пастельные, серебристо-матовые» тона его прозы, его умение «уловить аромат, атмосферу людей и вещей» (статья «Эдуард фон Кайзерлинг», 1911).

Стр. 626. *Дефреггер* Франц фон (1835—1921) — немецкий художник; его холсты (обычно жанровые или исторические) отличаются педантической верностью изображения.

Шёнхерр Карл (1867—1943) — австрийский писатель и врач, автор натуралистических драм из крестьянской жизни.

У О Р Р Е Н Г А С Т И Н Г С

Впервые — в газете «Vossische Zeitung», 1916, 22 октября. Пьеса Фейхтвангера «Уоррен Гастингс» была написана в 1916 г. Позднее Фейхтвангер совместно с Брехтом переработал ее и дал ей название: «Калькутта, 4 мая».

Стр. 626. *Маколей* Томас Бэбингтон (1800—1859) — знаменитый английский историк, автор «Истории Англии». Его эссе о Гастингсе было написано в 1841 г. Маколей заинтересовался деятельностью Гастингса в годы своей службы в Индии, когда он занимал видный административный пост в Ост-Индском совете (с 1834 по 1838 г.).

...как можно прочитать у Лоусона и Маллесона...— Фейхтвангер имеет в виду сочинения сэра К. Лоусона «Частная жизнь Уоррена Гастингса» (1895) и полковника Бенгальского штабного корпуса,

видного историка Индии Дж.-Б. Маллесона «Очерк истории туземных княжеств Индии и их присоединения к Великобритании с замечаниями относительно подопечных и малых княжеств» (Лондон, 1875).

Стр. 628. *Люди Запада... стремятся к все новым и новым воплощениям духа.*— Согласно учению буддизма, жизнь человечества является неизменным потоком, и отдельная душа, умирая в одном человеке, продолжает свое существование в других людях, если при жизни человек не достиг нирваны.

Стр. 629. *Шопенгауэр да несколько теософов еще не есть Европа.*— Артур Шопенгауэр, известный немецкий философ, испытал большое воздействие буддийской морали, которое он сам всегда неизменно признавал. В своем основном труде «Мир как воля и представление» (1818) он утверждал, что высшей целью человеческого бытия является состояние полного безволия и отсутствие желаний, которое он сам обозначал индийским словом «нирвана». Не меньшее воздействие индийских религиозных учений испытали и «теософы». Согласно учению теософов, всякое истинное познание может быть только «богопознанием». Вожди теософского движения, русская писательница Елена Блаватская (1831—1891) и американский полковник Г.-С. Олкотт, в 1882 г. приехали в Индию, где развернули активную деятельность; в год смерти Блаватской у них насчитывалось более ста тысяч последователей. Учение Блаватской до сих пор находит себе приверженцев в Индии, и ее почитатели отмечают день ее смерти как День Белого лотоса. Следует отметить, что, наряду с мистическими идеями, Блаватская проповедовала равенство людей и помощь бедным.

Альфред Дёблин (1878—1957) — выдающийся немецкий писатель. Роман «Три прыжка Ван-Луны» был отмечен «премией имени Фонтане» в 1916 г. Фейхтвангер тогда же в особой рецензии отметил высокие художественные достоинства этой книги.

Р. - Л. СТИВЕНСОН

Впервые — «Die Weltbühne», 1926, № 38.

«УНТЕР ГРИША»

Впервые напечатано в газете «Berliner Tageblatt», 1927, 9 ноября.

Стр. 633. *«Ритуальное убийство в Венгрии»* — трагедия Арнольда Цвейга. Написана в 1914 г., до 1918 г. была под запретом; позднее шла с большим успехом на сценах немецких театров. Была отмечена премией имени Клейста.

Стр. 636. *Перемышль* — город в Галиции на реке Сак. В 1914—1915 гг. за Перемышль, который австрийцы сделали военной крепостью, велись тяжелые бои.

О ВЛИЯНИИ И ОСОБЕННОСТЯХ АНГЛОСАКСОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые — в газете «*Berliner Tageblatt*», 1928, 29 марта.

Стр. 639. *Беннет* Арнольд (1867—1931) — английский романист и новеллист.

Стр. 640. *...воинственного, империалистического писателя...* — Имеется в виду Редьярд Киплинг (1865—1936).

...Гёте относился к поэту Генриху фон Клейсту... — Гёте осуждал драмы Клейста за их «постыдную непристойность», рукопись одной из трагедий, присланных ему Клейстом, он сжег в камине. Но он ценил комедию «Разбитый кувшин» и поставил ее в Веймарском театре.

Стр. 641. *Линдберг* Чарльз — американский летчик, первым в мире совершивший в 1927 г. перелет через Атлантический океан.

...говорят о деловитости. — «Новая деловитость» (или «новая вещность») в немецкой литературе и в искусстве пришла на смену экспрессионизму; предъявляла к искусству требования точности и почти протокольной верности фактам. К этому направлению относятся художников Александра Канольдта (1881—1939), Георга Шримпфа (1889—1938), некоторые произведения Отто Дикса; писателей — Эриха Кестнера, Г. Кестена, А. Дёблина, а также ранние повести Анны Зегерс.

КАК Я НАПИСАЛ СВОЕ ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Впервые — в еженедельнике «*Die literarische Welt*», 1928, 20 апреля, № 16.

Стр. 642. *Я написал... пьесу...* — Речь идет о пьесе гимназиста Фейхтвангера «Филалет» (греческое имя, означающее «правдолюбец»). Как сообщил автор в письме к немецкому литературоведу Вольфгангу Берндту, эта пьеса, «к счастью, не сохранилась».

О БЕРТОЛЬТЕ БРЕХТЕ

Впервые — в еженедельнике «*Die Weltbühne*», 1928, 4 сентября, № 36. Познакомившись с Брехтом в 1918 г., Фейхтвангер в течение почти сорока лет, до самой смерти Брехта, оставался его другом. Брехт и Фейхтвангер совместно написали три драмы: «Жизнь

Эдуарда II» (1924), «Калькутта, 4 мая» (1925) и «Сны Симоны Машар» (1943); в двадцатых годах они работали над стихотворным переложением Коммунистического манифеста Маркса и Энгельса (поэма осталась незаконченной). Брехт, по признанию самого Фейхтвангера, оказал воздействие на его драмы; в свою очередь, искания Фейхтвангера в области новых форм прозы («драматический роман» «Тысяча девятьсот восемнадцатый год») были учтены молодым писателем, уже тогда выдвигавшим идею создания «эпической драмы».

Стр. 643. «Спартак» — первая пьеса Брехта; сейчас печатается под названием «Барабанный бой в ночи».

Стр. 644. ...была провозглашена Советская республика.— Баварская Советская республика была провозглашена 13 апреля, подавлена правительством Шейдемана и Носке 1 мая 1919 г.

Стр. 646. «Домашние проповеди» — первый сборник стихов Брехта, напечатан в 1927 г. «Из современников ему в те годы больше всего нравились Киплинг и Ведекинд; он распевал свои ранние баллады пронзительно и дерзко, подражая Ведекинду», — вспоминал Фейхтвангер позднее («Бертольт Брехт», 1956).

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ МОИХ АНГЛОСАКСОНСКИХ ПЬЕС

Впервые — в еженедельнике «Die literarische Welt, 1929, 28 марта, № 13/14. Речь идет о двух пьесах Фейхтвангера «Уоррен Гастингс» и «Нефтяные острова», которые в 1929 г. вышли отдельным изданием одновременно в Англии и в США. Статья была написана как предисловие и появилась одновременно в том и в другом издании.

Стр. 649. «Три немецких пьесы». — Автор имеет в виду пьесы «Военнопленные», «Тысяча девятьсот восемнадцатый год» и «Голландский купец», написанные им в 1917—1920 гг. Английский перевод этих пьес был издан через пять лет (1934).

Поттер Пауль (1625—1659) — голландский художник, один из первых анималистов.

ФРЕНСИС БЭКОН

Впервые напечатано в журнале «Berliner Illustrierte», 1930.

Стр. 650. О нем писали... Маколей, философ Куно Фишер и изобретатель... мясного экстракта Юстус фон Либих. — Фейхтвангер имеет в виду этюд о Бэконе Томаса Бэбингтона Маколей (1837), труд видного немецкого историка философии Куно Фишера

(1824—1907) «Фрэнсис Бэкон и его школа» (издан в 1857 г. в английском переводе) и работу выдающегося немецкого химика Юстуса фон Либиха (1803—1873) «О Бэcone и методе изучения природы» (1863).

Лорд Берли (1520—1598) — дядя Фрэнсиса Бэкона, был «главным секретарем» королевы Елизаветы и фактическим главой правительства.

Стр. 652. *Граф Эссекс* Роберт Деверё (род. в 1566 г., казнен 25 февраля 1601 г.) — талантливый полководец, фаворит королевы Елизаветы. Одержав ряд блестящих побед в Испании, Эссекс впоследствии попал в немилость у королевы.

Стр. 653. *Уолтер Рэлей* (1552—1618) — английский мореплаватель. Искатель приключений, поэт и историк, автор географического труда «Открытие Гвианы» (1597). Им была основана первая английская колония в Новом Свете — Виргиния. При Якове I был заключен в Тауэр и казнен по обвинению в государственной измене; одним из обвинителей Рэрея был Ф. Бэкон.

Стр. 654. *...почувствовал, что обязан оправдаться.* — Речь идет об «Апологии» Бэкона, изданной им в 1604 г. с целью оправдаться от обвинений в вероломстве по отношению к графу Эссексу.

Стр. 656. *Большинство произведений создано им... после падения.* — Фейхтвангер здесь не вполне точен. Главные философские труды Бэкона — «Новая Атлантида» (1604), «О мудрости древних», «Новый Органон» (1620) — были написаны им еще до монаршей опалы. Оказавшись на покое, Бэкон создает ряд исторических сочинений и готовит третье, дополненное, издание своих философских «Опытов» (1625).

Стр. 657. *Плиний Старший* Гай Секунд (24—79 гг. н. э.) — римский писатель, автор многотомной «Естественной истории», погиб при извержении Везувия. Желая наблюдать вблизи редкое явление природы, Плиний приказал гребцам направить корабль, на котором он находился, к вулкану.

МОЙ РОМАН «УСПЕХ»

Печатается по последней редакции в сборнике «Centum opuscula», 1956. Ранее печаталось под названием «Что означает мировая война для немецкого писателя?» в газете «Neue freie Presse» (Вена), 1934, 10 мая. Последняя редакция существенно изменена.

Стр. 658. *Гельц* Макс (1889—1933) — выдающийся руководитель немецкого пролетарского движения, коммунист. Гельц провел многие годы в тюрьмах Веймарской республики; после освобождения

в 1928 г. эмигрировал в СССР, где продолжал партийную работу. Как один из руководителей Саксонского восстания 1921 г. и рабочих отрядов, подавивших путч Каппа, Гельц пользовался в Германии большой популярностью.

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН

Впервые напечатано в газете «*Berliner Tageblatt*», 1932, 25 августа.

Стр. 660. *Уоллес* Генри (1875—1932) — английский писатель, автор детективных романов.

Стр. 661. *Дэвид Герберт Лоуренс* (1885—1930) — английский романист, много места уделявший вопросам пола.

Регер Эрих (настоящее имя: Герман Данненбергер, 1893—1954) — немецкий романист; его лучшие романы («Союз твердой руки», 1931; «Петух кричит ночью», 1932), правдиво рассказавшие о безработице и угнетении пролетариата, были запрещены при Гитлере.

Иенсен Юханнес Вильгельм (1873—1950) — датский поэт, романист и новеллист. Лауреат Нобелевской премии (1944). Обладая выдающимся литературным талантом и мастерством, Иенсен отличался крайней реакционностью взглядов; теория Дарвина была истолкована им как оправдание господства сильных над слабыми; проповедовал идею об особой избранности «ютландско-англо-американской расы» («Готический Ренессанс», 1901; цикл романов «Долгий путь», 1908—1922).

Стр. 662. *Д'Аннунцио* Габриэле (1862—1923) — итальянский поэт, романист и драматург, как и французский писатель Морис Баррес (1863—1938), придерживался крайних шовинистических взглядов. В годы первой мировой войны Аннунцио добровольно сражался в частях итальянской авиации, затем приветствовал приход к власти фашизма.

Стр. 664. *Густав Фрейтаг* (1816—1895) — немецкий писатель. В своих романах «Дебет и кредит», «Потерянная рукопись» и других Фрейтаг прославлял деловую энергию и семейные добродетели буржуазии.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕМ ПЬЕСАМ

Впервые напечатано в июле 1934 г. в антифашистском журнале «*Die Sammlung*», издававшемся в Амстердаме под редакцией Генриха и Клауса Манна. Речь идет о трех пьесах, объединенных в английском издании 1934 г. (см. примечание к стр. 649).

Речь на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в Париже. Впервые напечатана в московском журнале «Internationale Literatur, 1935, № 9.

Стр. 667. *«Бен-Гур»* — псевдоисторический «роман из времен Иисуса Христа» американского писателя Льюиса Уоллеса (1827—1905); в 1907 г. экранизирован режиссером Джоном Сиднеем Олкотом (род. в 1873 г. или, по другим данным, в 1874 г., ум. в 1949 г.). Этот фильм представлял собой попытку обработать библейские сказания в духе коммерческой пышности и дешевой погони за эффектами.

Стр. 668. *Все трагедии греков... за исключением одной-единственной...* — Все дошедшие до нас греческие трагедии написаны на темы древних мифов; исключением являются только «Персы» Эсхила (472 г. до н. э.). Эсхил лично участвовал в войне против персов и в морском сражении при Саламине, о котором рассказывает вестник в этой трагедии.

Стр. 670. *Вальтер Ратенау* (1867—1922) — министр иностранных дел Веймарской республики; заключил в Рапалло договор с Советской Россией о восстановлении дипломатических отношений. Убит националистами.

Стр. 671. *Либерман Макс* (1867—1935) — выдающийся немецкий художник, мастер портрета.

Стр. 672. *История царицы Эсфири* — «Книга Эсфирь», одна из поздних библейских книг; по мнению видного исследователя Библии Ю. Велльгаузена (1844—1918), она создана не ранее восстания Маккавеев (167—141 гг. до н. э.), освободившего Иудею от сирийского владычества.

Аман, согласно «Книге Эсфирь», был приближенным могущественного царя Ассур и убеждал его уничтожить евреев.

Наместник Геслер — персонаж драмы Шиллера «Вильгельм Телль».

Стр. 678. *Литтон Стрэйчи* (1880—1932) — английский писатель и эссеист, прославился своими жизнеописаниями знаменитых людей («Выдающиеся викторианцы», 1918; «Елизавета и Эссекс», 1928).

«Несвоевременные мысли» (1873) — одно из ранних произведений Фридриха Ницше. Эта книга, написанная задолго до того, как Ницше стал проповедовать культ силы, содержит верную и острую критику многих явлений буржуазной культуры. Фейхтваггер не отмечает, однако, сказавшуюся и в этой книге враждебность Ницше идеям свободы, отрицание разума.

Бенедетто Кроче (1866—1952) — итальянский философ; его работы по вопросам литературы и эстетики оказали большое воздействие на развитие эстетической мысли на Западе.

Стр. 673. *Теодор Лессинг так использовал выводы Ницше...* — Фейхтвангер цитирует известную работу немецкого философа и писателя Теодора Лессинга «История как придание смысла бессмыслице» (1919). Теодор Лессинг (1873—1933), автор ряда стихотворных сборников, драм и философских произведений («Шопенгауэр, Вагнер, Ницше», 1906; «Философия действия», 1914; «Европа и Азия», 1916), был последовательным противником германского милитаризма. Еще в 1925 г. появилась его статья «Zero — Nero?» («Нерон или нуль?»), резко разоблачавшая Гинденбурга и предсказывавшая скорое установление в Германии открытой военной диктатуры. За эту статью Лессинг был лишен кафедры профессора философии в Ганновере, которую он занимал в течение восемнадцати лет. После прихода Гитлера к власти Теодор Лессинг, эмигрировавший в Чехословакию, был убит среди бела дня нацистами 30 августа 1933 г. в Мариенбаде (Марианских Лазнях).

МЫСЛИ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ГОРЬКОГО

Впервые напечатано в журнале антифашистской эмиграции «Das Wort», издававшемся в Москве, под редакцией Брехта, Фейхтвангера и Бределя (1936, № 3).

НА СМЕРТЬ ЭРНСТА ТОЛЛЕРА

Впервые — в еженедельнике «Die neue Weltbühne» (Прага), 1939, 8 июня. *Эрнст Толлер* (1893—1939) — выдающийся немецкий писатель; в 1919 г. — один из руководителей Баварской Советской республики. Его драмы «Человек — масса» (1921) и «Гоппа, мы живем» (1927) обошли все театры Европы. Позднее — активный антифашист. Утратив веру в возможность свержения Гитлера, Толлер покончил самоубийством в Нью-Йорке 22 мая 1939 г.

Стр. 677. *...леди Оксфорд* — Эмма Алиса Маргарет, графиня Оксфорд-и-Асквит (1864—1945), английская писательница и активная общественная деятельница; в первом браке была замужем за премьер-министром Англии Гербертом Асквитом. Из ее книг наиболее известны «Автобиография Марго Асквит», 1922; «Города и люди», 1925; «Оглашению не подлежит», 1944. Была сторонницей либеральных идей.

Осецкий Карл фон (1889—1938) — талантливый немецкий публицист; с 1926 г. возглавлял журнал «Die Weltbühne», где вел мужественную борьбу против милитаризма. В феврале 1933 г.

был арестован и заключен в концлагерь Папенбург-Эстервегеп. В 1936 г. ему была присуждена (по ходатайству Томаса Манна) Нобелевская премия мира. Нацисты обещали ему свободу в случае отказа от премии, но Осецкий отверг их домогательства. Два года спустя Осецкий, освобожденный из лагеря, умер.

ГЕНРИХ МАНН

К семидесятипятилетию

Впервые напечатано в журнале «Aufbau», 1946, № 4.

ФРИДРИХ ВОЛЬФ

К шестидесятилетию

Статья написана для сборника «Поэт нашего времени» (Рудольштадт, 1948), который был издан в демократической Германии к шестидесятилетию Фридриха Вольфа.

Стр. 682. *«Луиза Миллер»* — первоначальное название драмы Шиллера «Коварство и любовь».

ИОГАННЕС БЕХЕР

К шестидесятилетию

Впервые напечатано в журнале «Aufbau» (ГДР), 1951, № 5.

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ

К шестидесятипятилетию

Статья написана для специального номера журнала «Sinn und Form», который вышел в ноябре 1952 г. (к шестидесятипятилетию Арнольда Цвейга).

Стр. 685. *«Лаокоон»* — эстетический трактат Лессинга (1766—1768).

Стр. 686. *...мировая война... открыла ему глаза...*— В «Очерке моей жизни» (1955) Арнольд Цвейг пишет: «Когда меня в 1915 году призвали на первую мировую войну, я был ...идеалистом и индивидуалистом. На войне я узнал на своем собственном опыте, чего стоит товарищество, которое связывает людей нашего круга с самыми разными представителями трудового народа в ежедневной опасности и в беде». В этих людях Арнольд Цвейг оценил их «человеческие достоинства» и ту силу, «которая может привести к уничтожению войн и борьбы классов».

КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

Впервые — в журнале «Sinn und Form» (ГДР), 1953, № 5.

Стр. 689. *Эмиль Ку* — друг и биограф Фридриха Геббеля.

...*Толстой, который надеялся увидеть свет во тьме...* — Фейхт-вангер имеет в виду позднюю пьесу Толстого «И во тьме свет светит» (1898), проникнутую евангельскими идеями.

К МОЕМУ РОМАНУ «ОРУЖИЕ ДЛЯ АМЕРИКИ»

Впервые — журнал «Neue deutsche Literatur» (ГДР), 1954, № 7. Роман «Оружие для Америки» был закончен в 1948 г.; печатается в ГДР и в Советском Союзе под названием «Лисы в винограднике».

Стр. 696. *Мартине* Ашиль-Луи (1806—1877) — французский гравёр; известен своими гравюрами с картин Рафаэля, Перуджино, Рембрандта.

К МОИМ СОВЕТСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ!

Впервые — в московском журнале «Das Wort», 1938, № 7. В статье идет речь о Собрании сочинений, начатом выпуском в 1939 г. и прерванном войной. По тексту первого тома этого Собрания сочинений и печатается статья.

Г. Раггауз

**КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА**

1884

7 июля.

В Мюнхене в семье состоятельного фабриканта-еврея родился сын Лион Фейхтвангер.

1884—1894

Отец Лиона Фейхтвангера — потомок многих поколений, проживавших в Баварии, — человек просвещенный, знаток театра и изобразительных искусств, поощрял в сыне рано проснувшуюся склонность к литературе. Мальчик с детства изучал языки, в том числе и античные, древнееврейский и арамейский. Однако наряду с любовью к просвещению в семье Фейхтвангеров господствовал ортодоксально религиозный дух, и мальчик рано проникся отвращением к нему и чувством протеста.

1894

Фейхтвангер поступает в «Вильгельм-гимназиум», где главными предметами были история и языки. Мальчик с увлечением изучает древнегреческий и латынь.

1903

Фейхтвангер поступает в Мюнхенский университет, затем переводится в Берлинский.

Фейхтвангер занимается филологией, историей, философией, антропологией и источниковедением. Кроме живых языков, он изучает санскрит.

Будущий писатель решительно отказывается от помощи семьи, дает уроки и живет на собственные скудные заработки.

В эти годы Фейхтвангер создает литературное объединение «Феб», увлекается театром и начинает писать.

Выходят первые произведения Фейхтвангера: рассказы «Одинокие», «Два наброска» (1903), «Маленькие драмы», два тома (1905—1906), «Фетиш», пьеса в пяти актах (1907), в которой изображаются театральные нравы Мюнхена.

Писатель терпит нужду и лишения. Фейхтвангер часто недоедает и не имеет крыши над головой. Он с интересом знакомится с произведениями писателей самых различных направлений — стихами Рильке, романами Золя, драмами Ибсена — и начинает увлекаться произведениями Тургенева и Толстого.

1907

Фейхтвангер оканчивает университет, защитив диссертацию, посвященную историко-литературному анализу неоконченной повести Генриха Гейне «Бахарахский раввин». Фейхтвангеру предлагают должность приват-доцента при условии крещения. Фейхтвангер отказывается.

1908

Апрель — октябрь.

Фейхтвангер начинает издавать собственный журнал «Шпигель», посвященный вопросам литературы, музыки и театра. В журнале принимают участие видные прогрессивные немецкие писатели. После выхода пятнадцатого номера журнал прекращает самостоятельное существование и сливается с выходящим в Берлине еженедельником «Шаубюне».

Ноябрь.

Фейхтвангер становится постоянным сотрудником «Шаубюне». Он пишет множество театральных рецензий и несколько одноактных пьес, которые не имеют успеха — справедливо, как считает сам автор.

1909—1911

Продолжение журналистской работы. Деятельность Фейхтвангера в основном по-прежнему посвящена театру.

1910

Появляется роман «Глиняный бог», в котором Фейхтвангер изобразил мюнхенскую богему.

Писатель близко сходитя с критиком Куртом Эйснером, впоследствии одним из руководителей баварской революции. Эйснер пишет остроумные рецензии на пьесы Фейхтвангера.

Знакомство с Мартой Лефлер.

1912

Фейхтвангер пишет полемическую статью под заглавием «Мюнхенский придворный театр, или Сцена как учреждение безнравственное», направленную против реакционных явлений в немецком искусстве.

Женитьба на Марте Лефлер.

1912—1914

Чета Фейхтвангеров отправляется в путешествие, рассчитанное на два года. Они едут в Швейцарию, Францию, Италию, останавливаются на Ривьере и за отсутствием средств пешком путешествуют по Калабрии и Сицилии. Здесь Фейхтвангер присутствует на представлениях классических пьес в античном театре в Сиракузах и пишет статью об этих постановках.

Август.

Первая мировая война застает Фейхтвангера в Африке, в маленьком тунисском местечке. Французские власти арестовывают его, как немецкого подданного, и отправляют в лагерь для интернированных. При этом аресте пропадают все рукописи и заметки писателя, накопленные им за два года.

Марта Фейхтвангер организует побег мужа из лагеря, в котором он пробыл восемнадцать дней. Ей удалось раздобыть паспорт кельнера, уроженца Мальты. На итальянском пароходе, предоставившем ему убежище, Фейхтвангер добирается до Италии, отсюда с величайшим трудом ему удастся пробраться в Германию.

В недели, предшествовавшие его мобилизации, писатель перевел на немецкий язык трагедию Эсхила «Персы».

Фейхтвангера призывают в армию. Через полгода, проведенных им в казармах, накануне отправления его части на фронт, Фейхтвангера демобилизуют по причине плохого здоровья.

1915—1918

Фейхтвангер решительно отходит от позиций «искусства для искусства». Война резко изменила его мировоззрение. «Она отучила меня от вкусовщины,— писал Фейхтвангер,— она заставила меня отказаться от переоценки эстетически-формальных моментов и нюансов и заставила перейти к существенному».

1915

Февраль.

Фейхтвангер публикует стихотворение «Песнь павших», которую он считал первым революционным стихотворением, опубликованным в те годы в Германии.

Фейхтвангер увлекается древнеиндийской литературой. Он обрабатывает и переводит в стихах классическую индийскую пьесу «Васантасена», приписываемую царю Шудраке.

В этом же году Фейхтвангер пишет пьесу «Еврей Зюсс», которую цензура запрещает к постановке. После долгой борьбы ее все же удается поставить, и она имеет успех. Однако Фейхтвангер сам снимает ее с постановки.

1916

Фейхтвангер публикует статью «Вишневый сад», в которой доказывает мировое значение чеховской драматургии.

Премьера «Васантасены». Из печати выходит пьеса «Уоррен Гастингс» — первая политическая пьеса Фейхтвангера.

Фейхтвангер отказывается от деятельности рецензента и отдает все свои силы художественному творчеству.

1917

Фейхтвангер начинает заниматься режиссерской деятельностью. Он ставит в мюнхенском Народном театре несколько пьес, среди них «На дне» М. Горького в своем переводе. В этом же году, на основе комедии Аристофана, Фейхтвангер пишет резко антивоенную пьесу «Мир».

Великая Октябрьская революция. По словам Фейхтвангера, два события — первая мировая война и впечатления от социалистического общества в Советском Союзе определили весь его дальнейший творческий путь.

1918—1919

Поражение Германии в войне. Революция в Германии. Возникновение и поражение Баварской республики. Фейхтвангер увлечен мировыми событиями. Он близок с руководителями Баварской Советской республики и остро переживает ее крушение.

Фейхтвангер знакомится с Брехтом. Дружба и соавторство обоих писателей.

Нарастание реакции в Германии.

Опубликование пьес «Еврей Зюсс» и «Военнопленные». В этом последнем произведении Фейхтвангер ратует за искоренение национальной ненависти и сближение между народами.

1920

Фейхтвангер публикует драматический роман «Томас Вендт» («Тысяча девятьсот восемнадцатый год») — о германской революции 1918 года.

1923

Выходит из печати исторический роман Фейхтвангера «Безобразная герцогиня» и пьеса «Голландский купец».

1924

В сотрудничестве с Брехтом Фейхтвангер переводит и перерабатывает пьесу английского драматурга Марло «Жизнь английского короля Эдуарда II».

1925

Напечатан исторический роман «Еврей Зюсс», принесший его автору мировую славу. Роман сразу же переводят на множество языков.

Февраль.

Фейхтвангер переезжает из Мюнхена в Берлин. Здесь он с особой ясностью видит опасность победы в стране фашизма. По его словам, Берлин кажется ему городом, населенным будущими эмигрантами.

Фейхтвангер, совместно с Брехтом, переделывает свою пьесу «Уоррен Гастингс», в новом варианте она называется «Калькутта, 4 мая».

1927

В Берлине в издательстве «ПроPILE» выходит сборник «Англо-саксонские пьесы» Фейхтвангера — «Керосиновые острова», «Калькутта, 4 мая», «Будет ли амнистирован Гиль?» со статьей автора, комментирующей эти пьесы.

Выходит статья «Опыт автобиографии».

1928

Выходит сборник «Пеп. Книга американских стихотворений» под псевдонимом «Уетчик»: так звучит в переводе на английский язык фамилия Фейхтвангер.

Статья «Автор о самом себе».

744

1930

Появляется роман «Успех. Три года из истории одной провинции», — первая книга трилогии «Зал ожидания».

Напечатано эссе «Франсис Бэкон — опыт краткой биографии».

Возникает замысел романа о Бомарше, осуществленный двадцать лет спустя в романе «Лисы в винограднике».

1931

Фейхтвангер завершает первый роман из цикла «Иосиф» — «Иудейская война».

1932

Фейхтвангер совершает турне по США с чтением своих произведений перед многолюдными аудиториями.

1933

Фейхтвангер получает известие о фашистском перевороте на родине. Вернуться в Германию он уже не может. Фашисты рассматривают его как врага номер один, они лишают его немецкого гражданства, докторского звания, конфискуют его имущество и подвергают разграблению его дом. Все рукописи Фейхтвангера пропадают, в том числе уже готовая рукопись романа «Сыновья» — второй части трилогии «Иосиф».

Выходит из печати роман «Иудейская война», изданный в Голландии в издательстве «Керидо».

Март.

Фейхтвангер приезжает из Нью-Йорка в Швейцарию.

Апрель.

Имя Фейхтвангера стоит на пятом месте в опубликованном фашистской печатью списке запрещенных авторов, чьи книги обречены на сожжение.

Сентябрь.

Завершен роман «Семья Оппенгейм» (впоследствии из-за протеста человека, носящего эту фамилию, роман переиздается под названием «Семья Опперман»). Книгу эту, в которой ярко показан пришедший к власти фашизм, сразу же переводят на множество языков.

Май.

Фейхтвангер поселяется на Французской Ривьере, в приморской деревушке Санари, которая становится одним из центров немецкой антифашистской литературы. В последующие годы туда приезжают выдающиеся немецкие писатели — Генрих Манн, Арнольд Цвейг, Томас Манн, Фридрих Вольф и другие.

Выходит статья «Автор о самом себе».

1934

Фейхтвангер продолжает вести активную антифашистскую деятельность. Он посылает приветствие Первому съезду советских писателей. В советской печати опубликована его статья «Хранители великой традиции». Он пишет статью о книге немецкого революционного писателя Эрнста Толлера «Юность в Германии».

Издательство «Керидо» в Амстердаме продолжает печатать сочинения Фейхтвангера. Выходит переиздание «Семьи Оппенгейм» и сборник новелл «Марианна в Индии». Большинство рассказов этого сборника возникло в процессе работы писателя над романом «Успех».

10 мая.

В годовщину сожжения фашистами книг прогрессивных писателей в Париже открывается «Библиотека сожженной книги». Фейхтвангер вместе с другими крупнейшими писателями — Ролланом, Уэллсом, Генрихом Манном — входит в инициативный комитет.

1935

Появление статьи «Открытое письмо обитателям моего дома на Майерштрассе, 8, в Берлине», в которой Фейхтвангер предрекает неизбежное падение фашистского режима.

В Париже на Международном конгрессе писателей в защиту культуры Фейхтвангер произносит речь «О смысле и бессмыслице исторического романа».

Напечатано эссе «Писатель Лион Фейхтвангер, его мир и его время».

1936

Фейхтвангер, Бредель и Брехт входят в редколлегию основанного в Москве литературного антифашистского журнала «Дас ворт» и принимают активное участие в его издании.

Фейхтвангер потрясен известием о смерти Горького.

Выходит роман-памфлет «Лже-Нерон», в котором под масками древних римлян высмеиваются Гитлер и его приспешники. В этом романе, используя материал из античной истории, Фейхтвангер обрисовал преступления фашистов в Германии, поджог рейхстага, процесс против Димитрова.

В журнале «Дас ворт» напечатан рассказ «Смерть Нерона», первоначально задуманный как первая глава «Лже-Нерона».

Переписка Фейхтвангера с советской переводчицей Вальдман. В письме от 20 февраля Фейхтвангер пишет: «Передайте от меня, пожалуйста, привет Толстому, которого я знаю, и Тынянову, которого чрезвычайно высоко ценю».

1 декабря.

Фейхтвангер приезжает в СССР. Он посещает Москву, Ленинград, Киев, выступает на вечере в Политехническом музее, на множестве читательских конференций.

1937

6 февраля.

Фейхтвангер уезжает из Советского Союза. Впечатления от этой поездки зафиксированы им в книге «Москва, 1937 год».

Во второй половине мая, после недолгого пребывания в Москве, корреспондент «Правды» Михаил Кольцов возвращается обратно в Испанию. По пути он навещает Фейхтвангера и проводит у него два дня. Фейхтвангер был чрезвычайно рад своему гостю. Встреча эта описана в «Испанском дневнике» Кольцова.

25 июня.

Фейхтвангер выступает с речью на открытии в Париже выставки «Немецкая книга во Франции, 1837—1937», организованной Союзом защиты прав немецких писателей. Вслед за ним произносят речи Бальдер Ольден и Анна Зегерс. «Эта выставка,— говорит Фейхтвангер,— показывает с потрясающей силой, какая значительная и к тому же важная часть немецкой литературы возникла за последние сто лет в изгнании. Нельзя представить себе немецкую литературу без книг этих эмигрантов, запрещенных фашистской Германией».

«Паризер тагесцейтунг» публикует отрывок из речи Фейхтвангера на Пятнадцатом конгрессе пенклубов в Париже под заглавием «Преследование писателей в Третьей империи».

Июль.

Война в Испании глубоко волнует Фейхтвангера. Он едет в Валенсию и участвует в Международном конгрессе писателей.

1938

Фейхтвангер пишет своей переводчице Вальдман о предполагаемых инсценировках его произведений в Советском Союзе. Он хочет сделать либретто по «Иудейской войне» и «Лже-Нерону», но особенно ему хочется, чтобы Сергей Эйзенштейн поставил в кино его «Безобразную герцогиню».

Роман «Изгнание» печатается в отрывках в журналах «Интернационале литератур» и «Дас ворт».

Демонстрация в Советском Союзе фильма «Семья Оппенгейм».

1939

Апрель.

Выходит в Москве первый том Собрания сочинений Фейхтвангера на русском языке.

В «Правде» опубликована статья Фейхтвангера «К моим советским читателям», предпосланная Собранию сочинений. Выходит его статья «На смерть Эрнста Толлера».

Май.

После вторжения Германии в Голландию петэновские власти заключают всех германских, голландских, австрийских подданных и всех лиц, вообще не имеющих подданства, в лагерь Ле-Милль в Провансе. Здесь, подвергаясь смертельной опасности, тяжело больной Фейхтвангер проявляет чрезвычайное мужество. Заключенные избирают его своим представителем для переговоров с лагерным начальством. Фашисты продолжают оккупацию Франции и требуют выдачи немецких антифашистов. Французские власти решают эвакуировать заключенных в Ним. Но поздно. Фашисты вновь требуют выдачи заключенных. В последнюю минуту друзьям Фейхтвангера удается организовать его побег.

Укрываемый французскими гражданами, Фейхтвангер некоторое время живет в Марселе. Здесь ему удается организовать спасение Генриха Манна, затем их обоих переправляют в Лиссабон. После долгих мытарств, опасностей и злоключений Фейхтвангер переправляется в Америку.

«Я ни минуты не сомневался,— пишет впоследствии Фейхтвангер,— что победу одержит наше дело... Я знал с самого начала, я был уверен всей силой разума и сердца, что эта война кончится поражением национал-социализма, фашизма».

5 октября.

Фейхтвангер прибывает в Нью-Йорк и остается здесь. Он пишет повесть «Дьявол во Франции», в других изданиях — «Несчастная Франция», в которой описывает страдания французского народа и свои злоключения.

1940—1950

Фейхтвангер живет в США и ведет большую антифашистскую работу. В отчете комиссии штата Калифорния по расследованию антиамериканской деятельности имя Фейхтвангера упоминается около сорока раз.

Роман «Изгнание» полностью напечатан издательством «Керидо».

1941

Фейхтвангер переезжает в Пасифик-Палисэйдс, пригород Лос-Анжелоса в Калифорнии. Здесь он остается вплоть до своей смерти.

В переводе с рукописи выходит на английском языке «Несчастная Франция». В том же году в Мексике эта книга появляется уже на немецком языке.

1942

В переводе на английский язык, а потом и на немецком, выходит последняя часть трилогии «Йосиф» — роман «Настанет день», который впоследствии переиздается под названием «Земля обетованная».

Фейхтвангер и Брехт пишут пьесу «Сны Симоны Машар», о юной французской патриотке, сражающейся с врагом. Ту же тему Фейхтвангер положил в основу своего романа «Симона» — о французском Сопротивлении.

1943

Фейхтвангер участвует в конгрессе писателей в Лос-Анжелосе. Он выступает здесь с речью, посвященной задачам, стоящим перед писателями-антифашистами, и о тех трудностях, с которыми они встречаются.

На английском языке в переводе с рукописи выходит сатирический роман-памфлет «Братья Лаутензак».

1944

Написана пьеса «Вдова Капет» о французской революции и Марии-Антуанетте. В переводе с рукописи на английский язык выходит роман «Симона».

1945

Фейхтвангер начинает работать над историческими романами, посвященными французской буржуазно-демократической революции XVIII века и общественно-историческим явлениям, предшествовавшим этой революции и последовавшим за ней. Фейхтвангер

говорит, что его привлекает к этой теме не только интерес к прошлому, но прежде всего горячее стремление постичь исторические закономерности, управляющие и нашей современностью. «Я хочу извлечь из истории не пепел, а пламя».

Б. Брехт, Г. Манн, В. Херцфельде и Лион Фейхтвангер организуют в США издательство «Аврора» для издания немецкой антифашистской литературы.

1946

Фейхтвангер работает над романом «Лисы в винограднике». Выходит сборник «Венеция (Техас) и четырнадцать других рассказов».

1947

Издательство «Ауфбау» в Берлине публикует роман «Лже-Нерон» — первое произведение Фейхтвангера, изданное в Германии после разгрома фашизма.

Выходит первый из цикла романов, посвященных кануну и развитию французской революции, — «Лисы в винограднике».

1948

Написана пьеса «Безумие, или Дьявол в Бостоне». В основу ее легли материалы процесса против ведьм в 1692 году. Пьеса была поставлена во многих театрах США.

1949

В связи с образованием ГДР Л. Фейхтвангер и Г. Манн посылают приветствие Вильгельму Пику.

В Рудольштадте в издательстве «Грейфенферлаг» выходит том избранных произведений Фейхтвангера, в который вошли отрывки из его романов.

1950

Выходит сборник «Одиссей и свиньи и двенадцать других рассказов».

Фейхтвангер подписывает Стокгольмское воззвание Всемирного Совета Мира.

751

1951

В Стокгольме опубликован роман «Гойя, или Тяжелый путь познания». Роман остался неоконченным.

1952

Выходит новое издание романа «Лисы в винограднике», с предисловием автора, и второй роман из цикла французской революции «Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо». В том же году во Франкфурте впервые появляется вся трилогия «Иосиф», изданная в одном томе.

1953

Появляется сборник «Броненосец Потемкин» и другие рассказы.

Октябрь.

Мюнхенский университет возвращает Фейхтвангеру звание доктора наук. Присуждение Фейхтвангеру в ГДР Государственной премии 1-й степени в области искусства и литературы.

1954

11 мая.

Университет им. Гумбольдта в Берлине присваивает Фейхтвангеру звание почетного доктора права.

Июль.

В ГДР широко отмечают 70-летний юбилей Фейхтвангера. Издательство «Ауфбау» и «Грейфенферлаг» выпускают специальные юбилейные сборники, в которых, кроме произведений самого писателя, опубликованы статьи о нем, написанные Томасом Манном, Арнольдом Цвейгом, Генрихом Манном и другими. Иоганнес Бехер публикует сонет, посвященный Фейхтвангеру.

В связи с 70-летием Фейхтвангера Вильгельм Пик и Отто Гротеволь послали приветствие юбиляру от имени СЕПГ. «Мы приветствуем Вас, большого прогрессивного поэта и писателя, который мужественно и бесстрашно сигнализировал немецкому народу о том, что несет с собой развитие фашизма... Ваши романы и пьесы завоевали тысячи людей для борьбы в антифашистских, демократических кругах. Партийное руководство Социалистической единой партии Германии благодарит Вас за это от имени немецкого рабочего класса».

1955

В издательстве «Ауфбау» опубликован роман «Еврейка из Толедо» с послесловием Фейхтвангера. В том же году роман этот выходит в ФРГ под заглавием «Испанская баллада».

Фейхтвангер избран членом-корреспондентом Немецкой Академии искусств в ГДР.

В связи с исполнившимся в 1955 году 2400-летием со дня рождения Аристофана театр имени Ганса Отто в Потсдаме поставил пьесу Фейхтвангера «Мир», написанную им в 1917 г. на основе комедий Аристофана.

Советские писатели в гостях у Лиона Фейхтвангера.

«Иностранная литература» публикует статью Фейхтвангера «Литература — сила, сближающая народы». «Большая литература преодолевает границы пространства и времени... Я прочел много теоретических трудов о царской России, но впервые она открылась мне лишь в книгах Толстого и Горького. Я проштудировал сотни две книг о походе Наполеона в Россию, но сущность этого похода я понял, только когда прочитал «Войну и мир». Мне известно множество объективных изложений хода Октябрьской революции и описаний Советского Союза, но подлинные предпосылки революции я постиг лишь после прочтения рассказов и романов Горького, а Советский Союз я узнал из произведений советских писателей, в особенности Маяковского и Шолохова».

1953

В Дрезденском театре идет премьера драмы «Вдова Качет».

Издательство «Грейфенферлаг» выпускает сборник публицистических и критических статей Фейхтвангера «Centum opuscula» («Сто маленьких произведений»), который освещает эту еще недостаточно известную сторону творчества писателя и в то же время дает связную историю его жизни и творчества

Фейхтвангер приветствует Советский Союз в связи с 40-летней годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Выходит в свет роман «Иевфай и его дочь» с послесловием автора. Это последний роман Фейхтвангера.

Октябрь.

Мюнхенский городской совет присуждает Фейхтвангеру литературную премию 1957 года. Денежную премию писатель передает «Союзу защиты прав немецких писателей» и студенческой газете «Профиль».

По настоянию представителей партии ХДС городской совет Мюнхена созывает специальное совещание, на котором обсуждается поведение Фейхтвангера. Совет посылает ему официальный запрос с требованием объяснить его «недостойное поведение» — приветствие, посланное им в СССР.

В ответ на этот запрос Фейхтвангер посылает мюнхенским властям телеграмму: «Взаимопонимание с Советским Союзом — единственный путь к воссоединению Германии. Радуюсь любой возможности способствовать этому. Приветствие послано мною. Лион Фейхтвангер». Городской совет «отмежевывается» от политической позиции Фейхтвангера и заявляет, что премия присуждена ему только за литературные заслуги.

Июль.

Фейхтвангер напряженно работает над большим эссе об историческом романе. Некоторые главы он только набросал, другие уже успел отделать. Он много и напряженно читает по этому вопросу.

Приезд к Фейхтвангеру итальянского продюсера Дино де Лаурентиса с предложением написать сценарий для фильма «Боливар».

В августе здоровье Фейхтвангера резко ухудшается. Его кладут в клинику и делают ему операцию.

Сентябрь.

Фейхтвангер возвращается из клиники домой. Он принимается за разработку сценария о Боливаре, вожде национально-освободительного движения народов Южной Америки против испанского

владычества. Он пишет статью о «Женитьбе Фигаро» Бомарше. Начинает работать, как он сам говорит, над «последней редакцией» собрания своих сочинений.

Фейхтвангер делится с окружающими своими планами. Он намеревается закончить свой большой этюд «Дом Дездемоны», посвященный историческому роману. Затем он хочет написать новеллу о стареющем Ксенофоне, о Макиавелли, Гойе, о Викторе Гюго — о всех, кто был в изгнании. Собирается написать он и роман «Семеро мудрецов» — о жизни немецких эмигрантов в Америке. Фейхтвангер загодя пишет приветствие Советскому Союзу — поздравление с новым, 1959 годом. «Дорога разума крута,— пишет Фейхтвангер,— и путь по ней долог. Но те, у кого есть глаза, чтобы глядеть, понимают, что наперекор всем препятствиям мы в 1958 году намного продвинулись вперед, и этим мы в большой мере обязаны терпеливым усилиям советского народа».

Двадцать первого декабря Фейхтвангер скончался в больнице в Лос-Анжелесе.

1959

Четвертого января в газете «Советская Россия» напечатано приветствие Фейхтвангера к Новому году.

В ГДР начинает выходить Собрание сочинений Фейхтвангера в двадцати томах.

1961

В издательстве «Грейфенферлаг» выходит несовершенный теоретический труд Фейхтвангера «Дом Дездемоны, или Величие и границы исторического романа».

1963

Марта Фейхтвангер предоставляет альманаху «Нойе текст» фрагменты из биографии Фейхтвангера, озаглавленные «Из моей жизни».

Е. З а к с

СОДЕРЖАНИЕ

МУДРОСТЬ ЧУДАКА

Перевод И. Горкиной и И. Горкина

Часть первая. Последние дни Жан-Жака

<i>Глава первая.</i> Желанный гость	7
<i>Глава вторая.</i> Жена Жан-Жака	15
<i>Глава третья.</i> Жан-Жак покидает Париж	22
<i>Глава четвертая.</i> Назад, к природе	28
<i>Глава пятая.</i> Фернан — ученик Жан-Жака	34
<i>Глава шестая.</i> Рассудок и чувство	41
<i>Глава седьмая.</i> Николас и Тереза	45
<i>Глава восьмая.</i> Фернан в смятении	50
<i>Глава девятая.</i> На сцену выступает некий сержант	58
<i>Глава десятая.</i> Вершины и бездны	64
<i>Глава одиннадцатая.</i> Воздыхатели Терезы	71
<i>Глава двенадцатая.</i> «Исповедь»	76
<i>Глава тринадцатая.</i> Продолжение «Исповеди»	82
<i>Глава четырнадцатая.</i> Что есть истина?	88
<i>Глава пятнадцатая.</i> Cave sapem!	93
<i>Глава шестнадцатая.</i> Друг и враг	101
<i>Глава семнадцатая.</i> Opus ultimum	111

Часть вторая. Смерть Жан-Жака

<i>Глава первая.</i> Роковой вечер	121
<i>Глава вторая.</i> Обманутый обманщик	130
<i>Глава третья.</i> Позднее раскаянье	136

<i>Глава четвертая.</i> Вскрытие	142
<i>Глава пятая.</i> Погребение	147
<i>Глава шестая.</i> Тревоги о судьбах наследства	153
<i>Глава седьмая.</i> Опасная правда	160
<i>Глава восьмая.</i> Изгнание злого духа	166
<i>Глава девятая.</i> Королевская комедия	176
<i>Глава десятая.</i> Фернан видит свет	184
<i>Глава одиннадцатая.</i> Фернан действует	191

Часть третья. Жан-Жак и наследники

<i>Глава первая.</i> Паломничество к могиле	199
<i>Глава вторая.</i> Село Эрменонвиль и «Общественный договор»	205
<i>Глава третья.</i> Мадам Левассер выходит из игры	213
<i>Глава четвертая.</i> Жильберта в Версале	217
<i>Глава пятая.</i> Возвращение суженого	225
<i>Глава шестая.</i> Отец и сын	236
<i>Глава седьмая.</i> Новая Жильберта	243
<i>Глава восьмая.</i> Кому принадлежит Жан-Жак	250
<i>Глава девятая.</i> Нужды города Санлиса	260
<i>Глава десятая.</i> Жаны и Жаки	265
<i>Глава одиннадцатая.</i> Взвейся над миром, трехцветное знамя!	270
<i>Глава двенадцатая.</i> Хранить верность — по кому?	280

Часть четвертая. Жан-Жак и народ

<i>Глава первая.</i> Долой равнодушных!	286
<i>Глава вторая.</i> Вдова Руссо	292
<i>Глава третья.</i> Николас снова на коне	296
<i>Глава четвертая.</i> Заговор королей	302
<i>Глава пятая.</i> Горькое счастье	308
<i>Глава шестая.</i> Зловещие гости	313
<i>Глава седьмая.</i> Дебют	318
<i>Глава восьмая.</i> Прочь ложную гуманность!	321
<i>Глава девятая.</i> Террор! Террор!	330
<i>Глава десятая.</i> Неблагонадежные	338

Часть пятая. Преображение Жан-Жака

<i>Глава первая.</i> Ла-Бурб	345
<i>Глава вторая.</i> Смерть не страшит нас	351
<i>Глава третья.</i> Человек добр	355
<i>Глава четвертая.</i> Звено в цепи	360

<i>Глава пятая. Богиня Разума</i>	368
<i>Глава шестая. Суровые пути избирает милосердие</i>	372
<i>Глава седьмая. Голос из клоаки</i>	376
<i>Глава восьмая. Месть Жан-Жака</i>	382
<i>Глава девятая. Кладбищенский вор</i>	387
<i>Глава десятая. Эрменонвиль пустеет</i>	395
<i>Глава одиннадцатая. Завтра, и послезавтра, и всю жизнь</i>	398
<i>Глава двенадцатая. Преображение Жан-Жака</i>	404

РА С С К А З Ы

<i>Одиссей и свиньи, или О неудобстве цивилизации. Перевод С. Ошерова</i>	415
<i>Дом на Зеленой улице. Перевод Л. Горбовицкой</i>	437
<i>Рассказ о физиологе докторе Б. Перевод Л. Миримова</i>	453
<i>Верный Петер. Перевод М. Тютюник</i>	461
<i>Второе рождение господина Ханзике. Перевод В. Станевич</i>	467
<i>Тетя Вруша. Перевод С. Шлапоберской</i>	470
<i>Пари. Перевод Е. Маркович</i>	475
<i>Кельнер Антонио. Перевод В. Стеженского</i>	484
<i>Марианна в Индии. Перевод А. Кулишер</i>	492
<i>Вольштейн. Перевод Е. Закс</i>	509
<i>После сезона. Перевод А. Кулишер</i>	515
<i>Венеция (Техас). Перевод Н. Касаткиной</i>	532
<i>Феррарский карнавал. Перевод Н. Касаткиной</i>	556

П Е П

<i>Перевод Л. Гинзбурга</i>	561
-----------------------------	-----

С Т А Т Ь И

<i>Переживание и драма. Перевод Е. Маркович</i>	575
<i>Актерское искусство и религиозность. Перевод Е. Маркович</i>	584
<i>Софокл и Гофмансталь. Перевод Е. Закс</i>	591
<i>«Цезарь и Клеопатра». Перевод Е. Маркович</i>	597
<i>Родоначалница современного фельетона. Перевод М. Вершининой</i>	601
<i>«Персы» Эсхила. Перевод М. Вершининой</i>	606
<i>«Васантасена». Перевод Е. Закс</i>	611
<i>«Вишневый сад». Перевод Е. Михелевич</i>	618
<i>Уоррен Гастингс. Перевод М. Вершининой</i>	626

О Р.-Л. Стивенсоне. <i>Перевод М. Вершининой</i>	629
«Унтер Гриша». <i>Перевод Е. Закс</i>	633
О влиянии и особенностях англосаксонских писателей. <i>Перевод Е. Маркович</i>	637
Как я написал свое первое произведение. <i>Перевод Е. Маркович</i>	641
О Бертольте Брехте. Для англичан. <i>Перевод А. Голембы</i>	643
Советы читателям моих англосаксонских пьес. <i>Перевод М. Вершининой</i>	648
Фрэнсис Бэкон. Опыт краткой биографии. <i>Перевод Л. Миримова</i>	649
Мой роман «Успех». <i>Перевод Е. Михелевич</i>	657
Современный роман интернационален. <i>Перевод Л. Миримова</i>	659
Предисловие к «Трем пьесам». <i>Перевод Е. Закс</i>	664
О смысле и бессмыслице исторического романа. <i>Перевод Е. Закс</i>	667
Мысли в связи с кончиной Горького. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	674
На смерть Эрнста Толлера. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	676
Генрих Манн. К семидесятипятилетию. <i>Перевод Е. Закс</i>	678
Фридрих Вольф. К шестидесятилетию. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	681
Иоганнес Р. Бехер. К шестидесятилетию. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	683
Арнольд Цвейг. К шестидесятипятилетию. <i>Перевод Е. Закс</i>	684
Крамольные мысли о Льве Толстом. <i>Перевод Л. Миримова</i>	688
К моему роману «Оружие для Америки». <i>Перевод М. Вершининой</i>	690
К моим советским читателям!	698
Примечания <i>С. Тураева и Г. Ратгауза</i>	705
<i>Е. Закс</i> . Краткая летопись жизни и творчества Леопа Фейхтвангера	739

СОДЕРЖАНИЕ

Собрания сочинений в двенадцати томах Лиона Фейхтвангера

Том 1

<i>Б. Сучков. Лион Фейхтвангер</i>	5
Автобиографические заметки	
Опыт автобиографии. <i>Перевод С. Анга</i>	53
Автопортрет. <i>Перевод С. Анга</i>	55
Автор о самом себе. <i>Перевод В. Вальдман</i>	61
Мир. <i>Перевод Е. Эткинда</i>	67
Тысяча девятьсот восемнадцатый год. <i>Перевод И. Горкиной и Р. Розенталь</i>	125
Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ. <i>Перевод В. Станевич</i>	249
Примечания <i>Е. Маркович</i>	493

Том 2

Еврей Зюсс. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	5
Примечания <i>Е. Маркович</i>	513

Том 3

Успех. Книги 1—3. <i>Перевод В. Вальдман</i>	5
Примечания <i>В. Микушевича</i>	531

Том 4

Успех. Книги 4—5. <i>Перевод В. Вальдман</i>	5
Семья Опперман. <i>Перевод И. Горкиной</i>	345
Примечания <i>В. Микушевича</i>	701

Том 5

Изгнание. Книги 1—2. <i>Перевод И. Горкиной и Р. Розенталя</i>	5
Примечания <i>Р. Миллер-Будницкой</i>	521

Том 6

Изгнание. Книга 3. <i>Перевод И. Горкиной и Р. Розенталя</i>	5
Симона. <i>Перевод И. Горкиной</i>	283
Примечания <i>Р. Миллер-Будницкой</i>	528

Том 7

Иудейская война. <i>Перевод В. Станевич</i>	5
Послесловие <i>А. Каждана</i>	435
Примечания <i>С. Маркиша</i>	459

Том 8

Сыновья. <i>Перевод В. Станевич</i>	5
Примечания <i>С. Маркиша</i>	485

Том 9

Настанет день. <i>Перевод В. Станевич и С. Маркиша</i>	5
Братья Лаутензак. <i>Перевод В. Станевич и Р. Розенталя</i>	411
Примечания <i>С. Маркиша и Р. Миллер-Будницкой</i>	743

Том 10

Гойя, или Тяжкий путь познания. <i>Перевод Н. Касаткиной и И. Татариновой</i>	5
Примечания <i>Д. Прицкера</i>	621

Том 11

Лисы в винограднике. <i>Перевод С. Алта и Б. Арон</i>	5
Примечания <i>П. Гурова</i>	909

Том 12

Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо. <i>Перевод И. Горкиной и И. Горкина</i>	5
Рассказы	
Одиссей и свиньи, или О неудобстве цивилизации. <i>Перевод С. Ошерова</i>	415
Дом на Зеленой улице. <i>Перевод Л. Горбовицкой</i>	437
Рассказ о физиологе докторе Б. <i>Перевод Л. Миримова</i>	453
Верный Петер. <i>Перевод М. Тютюник</i>	461
Второе рождение господина Ханзике. <i>Перевод В. Станевич</i>	467
Тетя Вруша. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	470
Пари. <i>Перевод Е. Маркович</i>	475
Кельнер Антонио. <i>Перевод В. Стеженского</i>	484
Марианна в Индии. <i>Перевод А. Кулишер</i>	492
Вольштейн. <i>Перевод Е. Закс</i>	509
После сезона. <i>Перевод А. Кулишер</i>	515
Венеция (Техас). <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	532
Феррарский карнавал. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	556
Пеп. <i>Перевод Л. Гинзбурга</i>	561
Статьи	
Переживание и драма. <i>Перевод Е. Маркович</i>	575
Актерское искусство и религиозность. <i>Перевод Е. Маркович</i>	584
Софокл и Гофмансталь. <i>Перевод Е. Закс</i>	591
«Цезарь и Клеопатра». <i>Перевод Е. Маркович</i>	597
Родоначальница современного фельетона. <i>Перевод М. Вершининой</i>	601
«Персы» Эсхила. <i>Перевод М. Вершининой</i>	606
«Васантасена». <i>Перевод Е. Закс</i>	611
«Вишневый сад». <i>Перевод Е. Михелевич</i>	618
Уоррен Гастингс. <i>Перевод М. Вершининой</i>	626
О Р.-Л. Стивенсоне. <i>Перевод М. Вершининой</i>	629
«Унтер Гриша». <i>Перевод Е. Закс</i>	633
О влиянии и особенностях англосаксонских писателей. <i>Перевод Е. Маркович</i>	637

Как я написал свое первое произведение. <i>Перевод Е. Маркович</i>	641
О Бертольте Брехте. Для англичан. <i>Перевод А. Голембы</i>	643
Советы читателям моих англосаксонских пьес. <i>Перевод М. Вершининой</i>	648
Фрэнсис Бэкон. Опыт краткой биографии. <i>Перевод Л. Миримова</i>	649
Мой роман «Успех». <i>Перевод Е. Михелевич</i>	657
Современный роман интернационален. <i>Перевод Л. Миримова</i>	659
Предисловие к «Трем пьесам». <i>Перевод Е. Закс</i>	664
О смысле и бессмыслице исторического романа. <i>Перевод Е. Закс</i>	667
Мысли в связи с кончиной Горького. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	674
На смерть Эрнста Толлера. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	676
Генрих Манн. К семидесятипятилетию. <i>Перевод Е. Закс</i>	678
Фридрих Вольф. К шестидесятилетию. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	681
Иоганнес Р. Бехер. К шестидесятилетию. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	683
Арнольд Цвейг. К шестидесятипятилетию. <i>Перевод Е. Закс</i>	684
Крамольные мысли о Льве Толстом. <i>Перевод Л. Миримова</i>	688
К моему роману «Оружие для Америки». <i>Перевод М. Вершининой</i>	690
К моим советским читателям!	698
Примечания <i>С. Тураева и Г. Раггауза</i>	705
<i>Е. Закс.</i> Краткая летопись жизни и творчества Лиона Фейхтвангера	739

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
произведений Лиона Фейхтвангера, включенных в 1—12 тт.
Собрания сочинений

	Том	Стр.
Автобиографические заметки	1	53
Автопортрет	1	55
Автор о самом себе	1	61
Актерское искусство и религиозность	12	584
Арнольд Цвейг. К шестидесятипятилетию	12	684
Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ	1	242
Братья Лаутензак	9	411
«Васантасена»	12	611
Венеция (Техас)	12	532
Верный Петер	12	461
«Вишневый сад»	12	618
Вольштейн	12	509
Второе рождение господина Ханзике	12	467
Генрих Манн. К семидесятипятилетию	12	678
Гойя, или Тяжкий путь познания	10	5
Дом на Зеленой улице	12	437
Еврей Зюсс	2	5

	Том	Стр.
Изгнание. Книги 1—2	5	5
Книга 3	6	5
Иоганнес Р. Бехер. К шестидесятилетию	12	683
Иудейская война	7	5
К моему роману «Оружие для Америки»	12	690
К моим советским читателям!	12	698
Как я написал свое первое произведение	12	641
Кельнер Антонио	12	484
Крамольные мысли о Льве Толстом	12	688
Лисы в винограднике	11	5
Марпанна в Индии	12	492
Мир	1	67
Мой роман «Успех»	12	657
Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо	12	7
Мысли в связи с кончиной Горького	12	674
На смерть Эрнста Толлера	12	676
Настанет день	9	5
О Бертольте Брехте. Для англичан	12	643
О влиянии и особенностях англосаксонских писателей	12	637
О Р.-Л. Стивенсоне	12	629
О смысле и бессмыслице исторического романа	12	667
Одиссей и свиньи, или О неудобстве цивилизации	12	415
Опыт автобиографии	1	53
Пари	12	475
ПЕП	12	559
Переживание и драма	12	575
«Персы» Эсхила	12	606
После сезона	12	515
Предисловие к «Трем пьесам»	12	664
Рассказ о физиологе докторе Б.	12	453
Родоначальница современного фельетона	12	601
Семья Опперман	4	345
Симона	6	283
Советы читателям моих англосаксонских пьес	12	648

Современный роман интернационален	12	659
Софокл и Гофмансталь	12	591
Сыновья	8	5
Тетя Вруша	12	470
Тысяча девятьсот восемнадцатый год	1	125
«Унтер Гриша»	12	633
Уоррен Гастингс .	12	626
Успех. Книги 1—3	3	5
Книги 4—5	4	7
Феррарский карнавал	12	681
Фридрих Вольф. К шестидесятилетию	12	649
Фрэнсис Бэкон. Опыт краткой биографии	12	649
«Цезарь и Клеопатра»	12	597

Лион Фейхтвангер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
том двенадцатый

Редакторы *Е. Маркович*
и С. Ошерова

Художественный редактор
Д. Ермоленко

Технический редактор
М. Позднякова

Корректор *Д. Эткина*

Сдано в набор 30/VIII 1967 г. Подпи-
сано к печати 25/IV 1968 г. Бумага
типографская № 1 84 × 108¹/₃₂. 24 печ.
л. = 40,32 усл. печ. л. 39,97 уч.-изд.
л. Тираж 300 000 (1—150 000)
Заказ 1079. Цена 1 р.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано с матриц типографии
«Красный пролетарий» полиграфком-
бинатом им. Я. Коласа Государствен-
ного комитета Совета Министров
БССР по печати. Минск, Красная, 23.

